Т. Кармен

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Scan Kreyder - 30.01.2016
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1982

Р2
Т70

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

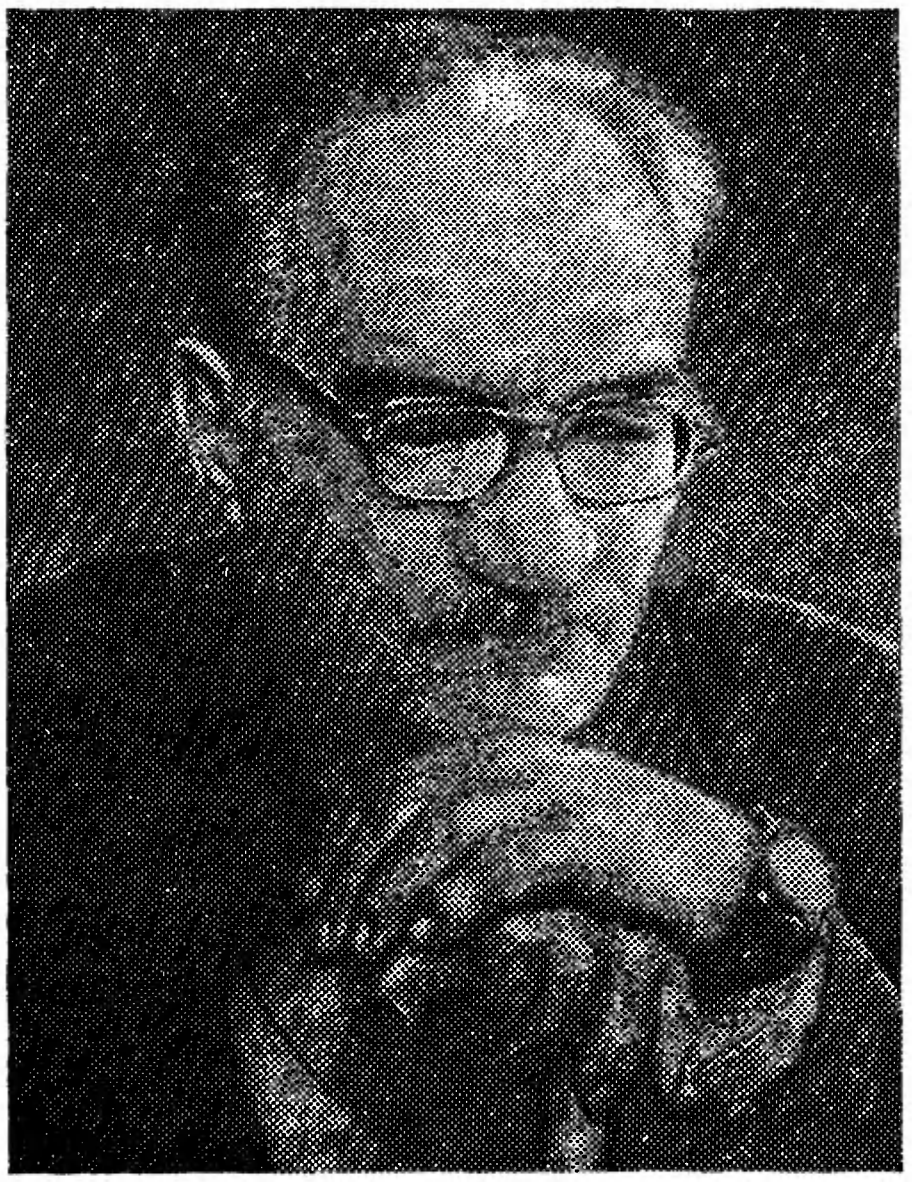
Ответственный секретарь
Елена Мовчан

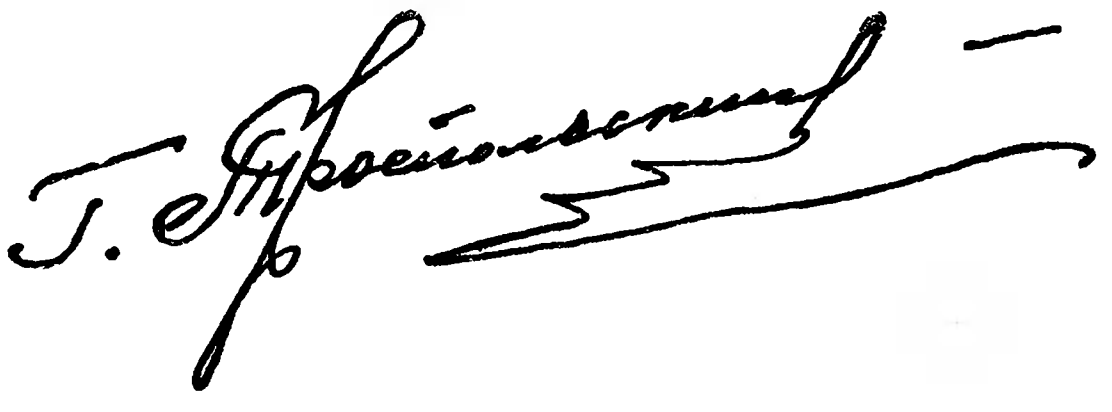
Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Игорь Штокман, Камиль Яшен

Художник С. КОСЕНКОВ

Т $\frac{4702010000—033}{074(02)—82}$ 572—82 (подписное)





ПРОХОР XVII И ДРУГИЕ

ИЗ ЗАПИСОК АГРОНОМА

НИКИШКА БОЛТУШОК

Мне много приходится разъезжать по колхозам. Прежде, до того как подружились мы с Евсеичем, я ездил один. Теперь Евсеич нередко сопровождает меня.

А старик он такой: работает ночным сторожем, но успевает и выспаться и сбегать на охоту или на рыбалку. Иной раз он скажет:

— Давай с тобой, Владимир Акимыч, поеду. Посмотрю, что у людей добрых делается.

И тогда едем вдвоем, разговариваем в пути по душам...

Вот и сейчас мы возвращаемся домой — в колхоз «Новая жизнь». Линейка поскрипывает рессорами, рыжий меринок Ерш бежит рысцой, а Евсеич перекинул ноги на мою сторону, видимо намереваясь вступить в длительный разговор.

Евсеич всегда весел, а рассказчик такой, что поискать. Лет ему за шестьдесят, но здоровью можно позавидовать. Бородка у него седая, остренькая — клинышком; лицо подвижное: то оно шутливо-ехидное, то вдруг серьезное, тогда голубые глаза — внимательные и умные — смотрят на собеседника открыто и прямо; брови, будто не желая мешать глазам, выросли маленькими, но четкими, резко

очерченными. На голове у Евсеича кепочка из клинышков, с пуговкой наверху.

Он любит рассказывать сказки, сочиняет шутливые небылицы, не прочь поглумиться над лодырем, а уж если про охоту начнет, то с таким упоением плетет свою складную, забавную небывальщину, что без смеха слушать невозможно. Он, впрочем, и сам на это рассчитывает. Кепку на один глаз сдвинет и почешет пальцем у виска — вот, дескать, дела-то какие смехотворные!

— Многие думают,— говорю я Евсеичу,— что быть агрономом — простое дело: ходи себе по полю, загорай, дыши свежим воздухом да смотри на волны пшеничного моря. Слов нет, и загораем и на волны смотрим. Хорошо, конечно. Но мало кто знает, сколько сводок, сведений, планов, отчетов, ответов на запросы и просто ненужных бумажек приходится писать агроному. Иную неделю света белого не взвидишь, а не то чтобы — поле. Сводки, сводки, сводки!..

— Бумаги-то небось сколько, батюшки мои! — восклицает Евсеич.

— Иная сводка в двести вопросов, на двенадцати листах.

— Одни вопросы читать — два самовара выпить можно.

— Раз такую сводку сложили в длину, лист за листом, три метра с чем-то вышло!

— Три метра! — качает головой Евсеич.— Ай-яй-яй! Холсты, прямо холсты!

— А сочинители этих холстов,— продолжаю я свои жалобы,— ссылаются то на запросы Министерства сельского хозяйства, то института, то от себя еще добавляют. Иначе откуда бы взяться такому вопросу: «Среднее число блох на десяти смежных растениях капусты, взятых подряд и без выбора?» Хорошо хоть, что в примечании говорится: «В целях упрощения на каждом отдельном растении блох считать не следует». Хоть за это спасибо!.. Только блохи-то — они прыгают: сосчитай-ка! Так графа и остается незаполненной.

— Ясно дело, блоха того не понимает. Прыг — и нет ее! Известно — тварь.

— Что тут поделать! Иной раз так в ответе и напишешь: «Прыгают интенсивно. Подсчет не проводился ввиду активности вредителя».

— Во! Так их! «Активность вредителя» — это правильно! — Помолчав, Евсеич сочувственно спрашивает:— А вам какую-нибудь добавку платят за эти вот самые... холсты бумажные? Или — за так?

Мой ответ, что это входит в обязанности агронома, его не удовлетворяет.

— Шутильником бы их! (Шутильником он называет свой кнут.)

— Кого?

— Да этих... как их, бюрократов... Ведь есть еще кое-где, а? Как ты думаешь?

— Наверное, есть,— подтверждаю я.

Ерш набирает рысь, помахивая головой и озираясь на «шутильник». Полевая сумка у меня на коленях — пухлая, толстая, как размокшая буханка,— полна сводок и сведений.

Едем мы за последними данными: число скирд сена, данные обмера каждой скирды, качество сена в каждой скирде, процент осоки, дикорастущих — естественных, сеяных, однолетних, то же — многолетних, из них люцерны, эспарцета, травосмесей. В общем, последний вопрос: сколько сена?

Но кто же даст в колхозе «Новая жизнь» такие сведения? О счетоводе нечего и думать, он просто скажет: кормов столько-то, сена столько-то, яровой соломы столько-то.

— Евсеич! Кто обмерял стога сена в «Новой жизни?» — спрашиваю я.

— А что?

— Сводка.

— А! Сводка!.. Сколько вопросов?

— Восемнадцать.

— Никишка Болтушок обмерял. К нему надо... Он хоть на тыщу вопросов даст ответ.

— А как его фамилия?

— Кого?

— Да Болтушка, который обмерял сено?

— По книгам Пяткин, а по-уличному Болтушок... Яйцо такое бывает бесполезное — болтушок. Только по книгам он в правлении пишется, а зовется Болтушок. Все так зовут. И ребята его Болтушковы, а жена Болтушиха.

— За что ему такое нехорошее прозвище прилепили?

— Вона! За что? Кому следует, сразу прилепят. Все как надо быть... Лучше не придумаешь, хоть век думай! Народ как дал прозвище, так и умри — не скинешь. Это ему еще с начала колхоза дали: речи сильно любит и непонятные слова.

— Ну, а как он: мужик с головой?

— Дым густой, а борщ пустой.

После этих слов он задумался и замолчал.

...Подъехали к правлению. Там, кроме сторожа, никого не оказалось — все были в поле, и мы направились к Пяткину. Он сидел на завалинке, закинув ногу на ногу, и сосредоточенно курил. Евсеич перегнулся через линейку и прошипел мне на ухо по-гусиному:

— Все в поле, людей не хватает, а он сидит, как лыцарь. И так всегда... шутильником бы вдоль хребтины!

Болтушок, не вставая, подал мне руку и произнес:

— Агрономическому персоналу, борцам за семьвосемь миллиардов, пламенный привет!

Без обиняков я изложил суть дела, по которому он мне потребовался, и объяснил, что не все материалы можно получить у счетовода. Пяткин слушал, многозначительно хмыкая и чмокая цигаркой. Лицо его очень похоже на перепелиное яичко: маленькое, конопатое. На лбу несколько подвижных морщинок: удивляется — морщинки вверх; напустит на себя важность — морщинки вниз; засмеется — морщинки дрожат гармошкой. Глаза малюсенькие, слегка прищуренные, с белыми ресницами; брови бесцветные: их незаметно на лице. На вид ему больше сорока, этак сорок два, сорок три.

— Значит, дебатировать будем вопрос насчет сена. Та-ак! — Болтушок вздохнул, взялся двумя пальцами за подбородок, потупил взгляд в землю и продолжал: — Та-ак. Все эти вопросы мы с вами обследовать имеем полный цикл возможности, тем более, я, как член комиссии, имел присутствие при обмере и освещение вопроса могу произвести.

При этом он с достоинством поднял вверх перепелиное яичко.

— Нам не дебатировать надо,— сказал я,— а просто выяснить кое-что. Есть ли у вас записи обмера и можете ли вы сказать о качестве сена в той или иной скирде?

— Как?

Я повторил.

— Та-ак... Обмеры сдали в правление, а вопросительно качества — знаю, уточнить надо и согласовать надо... Вечером заседание правления — обсудить в корне... О животноводстве будем дебатировать, так и о сене присовокупим по надобности, поскольку есть ваше требование как специалиста сельского хозяйства, к которым мы должны прислушиваться и полностью присоединяться. Что такое животноводство, если...

Я перебил его:

— Мне надо в поле, а тут данные для сводки негде взять.

Болтушок, кажется, обиделся. Его морщинки прыгнули вниз.

— Так, так...— произнес он.— Как я имею понятие, вы предъявляете требование с намерением заполнить сводку на завалинке.

— Никакого такого намерения нет. Но я должен побеседовать с членами комиссии по учету кормов.

Он, будто не слыша, продолжал:

— Пойдемте в правление, сядем честь по чести и продебатируем согласно формы.

Я решил не «дебатировать» и, попрощавшись, поехал в поле.

Вечером, до начала заседания правления, мы со счетоводом ответили с горем пополам на некоторые из многочисленных вопросов о сене.

— Сколько зрящих вопросов в этой сводке! — не выдержал наконец счетовод.— Да и формы такой статистическое управление не утверждало — выдумка бюрократов.

— Да уж,— махнул я рукой,— хватает! И зрящих и бессмысленных...

Кто-то тихонько засмеялся скрипучим голосом, и из угла послышалось:

— Нездоровые в политической плоскости разговоры.

Это был Болтушок. Мы и не заметили, когда он вошел.

— При чем тут «нездоровые»,— возразил счетовод,— когда вместо этой чепухи можно просто написать: «Столько-то сена».

Болтушок подошел к нам, ехидно улыбаясь, и, навалившись животом на стол, заговорил:

— Какая же это будет сводка?.. «Столько-то сена»... Это уже не сводка по форме, это так, черт знает что, а не сводка. Сено! Великое слово — сено! Надо понимать

корень. Я был ведь председателем колхоза два месяца и по животноводству был: соображение имеем в натуральности. Слово «сено», как я понимаю, должно войти гвоздем,— он надавил пальцем на стол,— и в сводке той углубиться и расшириться. Тогда только высшему руководящему составу можно понять корень вопроса. Кузьма Стрючков сказал: «Смотри в корень!»

— Не Стрючков, а Прутков,— поправил я.

— Прутков? — спросил он, выпрямляясь и будто вспоминая, но ничуть не смутившись.— Что-то помнится, вроде Стрючков... Говорит: «Смотри в корень!» И правильно говорит. Поли-итика! — Он потряс пальцем над головой.— Не нами придумано, не нам и отдумывать назад. Сводка есть сводка, и форма есть форма. Никто не позволит, чтобы над установкой высших организаций...

— Ну, пошел, поше-ел! — проговорил кто-то в сенях из темноты.— Теперь удержу не будет: вожжа под хвост попала — телега пропала!

Болтушок покосился в сторону сеней, покачал головой.

— Темнота и есть темнота! Слышь, что Федора Карповна сказала? Одно слово — темнота! — Он махнул рукой, поправил картуз и снова уселся в угол.

Заседание правления собиралось не быстро. Те, что пришли раньше, занимали себя по-разному. Счетовод развернул газету и углубился в чтение.

Три молодых парня склонились над шахматной доской, решая задачу. Один из них, подпоясанный ремнем поверх телогрейки и с кнутом в руках, Петя-ездовой, настойчиво и спокойно советовал:

— Слоном надо! Только слоном.

— Куда? — спрашивал второй.

— На дэ-семь.

— Точно... А теперь... теперь...

— Ферзем: а-четыре,— говорил все тот же Петя.

— Ничего не получается! — воскликнул третий.— Черные на эф-шесть, шах королю, и по-ошла волынка!

И снова все втроем продолжали искать решение задачи. Не утерпел и я, подсел и включился четвертым.

Вдруг за спиной раздался трескучий голос Болтушка:

— Человек с натуральным образованием, а такими пустяками занимается.

— Люблю,— ответил я, оборачиваясь.

Болтушок, ухмыляясь, сдвинул картуз на висок. Реденькие белесые волосы торчали пучком сбоку головы.

— Для этой игры ум требуется,— отозвался счетовод, не отрываясь от газеты.

— Это у Петьки-то ум! — вдруг воскликнул Болтушок, тыча пальцем в спину парня.

А тот, не отрывая глаз от шахматной доски, будто невзначай, тихо проговорил:

— Погоди, вот на этом заседании тебе пропишут ум,— и в задумчивой нерешительности взялся за головку ферзя.

Болтушок для него в этот момент уже перестал существовать.

У Пети — завитки черных волос из-под кепки, широкие черные брови, загорелое румяное лицо с чуть-чуть выдающимися скулами, тихая уверенность во взгляде и недюжинная силенка. Он окончил семилетку и учится заочно в сельскохозяйственной школе. Через три года будет специалистом.

И что ему сейчас Болтушок, когда «белые начинают и выигрывают»!

Из сеней вошли сразу несколько человек, и среди них Евсеич.

Все были возбуждены и улыбались, а конюх Данила Васильевич Головков — широкий, грузный, с украинскими усами и густыми бровями, нависшими над глазами, в жилетке нараспашку и с уздой в руках — басил:

— Ну и Евсеич! Уморил, ей-богу, уморил!

Вошедшие шумно расселись: кто на лавках, а кто просто на корточках, прислонясь к стене спиной.

Евсеичу пришлось вскоре уйти на свой пост: и хочется побыть на заседании, но и на охрану пора.

Данила Васильевич осмотрелся кругом и сказал:

— Кажись, все налицо. Можно за Кузьмичом посылать. Коля! — обратился он к мальчику, стоявшему у стены.— Иди кличь Петра Кузьмича.

Вскоре вошел председатель колхоза Петр Кузьмич Шуров, на ходу поздоровался со всеми сразу и, не останавливаясь, прошел за стол, накрытый красной материей. Счетовод немедля присел сбоку стола с листом бумаги в руках.

Болтушок уселся на переднюю скамейку.

Заседание началось. Председатель, вполголоса посоветовавшись со счетоводом, встал и объявил:

— На повестке дня два вопроса: первый — о животноводстве и второй — о колхозниках, не выработавших минимума трудодней.

По первому вопросу говорил сам Петр Кузьмич. Председателем он работает в «Новой жизни» всего лишь месяцев шесть: краткость его речей, четкость указаний, настойчивость, непримиримость к лодырям и любовь к своему делу выгодно отличают его от многочисленных предшественников.

Колхозники его уважают, но бездельникам житья не стало, он безжалостно вытаскивает их напоказ всему колхозу. А посмотреть — человек с виду так себе: росту невысокого, худощав, пиджачок немудрящий, галстучек... Особого виду нет. Правда, лоб у него высокий, русые волосы вьются, но по комплекции не вышел. И ни тебе брюшка, ни синих галифе, в которые иной председатель при желании поместил бы ползакрома пшеницы,— ничего такого нету, обыкновенный человек! Глаза у него карие, открытые и добрые. А уж если сердится, не разберешь: то ли карие, то ли еще какие, прищурит их и одними зрачками простреливает насквозь, как бы говоря взглядом: «Врешь, прощупаю!»

Большие нелады пошли у него с рвачами и лодырями, нет им развороту никакого. Сколько жалоб посылалось на него в район, в область и даже в Москву! Но об этом после: мы еще не раз встретимся с Петром Кузьмичом и познакомимся с ним поближе.

В своем выступлении председатель сказал так:

— Чтобы выполнить план развития животноводства, нам надо законтрактовать у колхозников двадцать голов телят. И тогда вопрос животноводства будет разрешен. Кормов у нас достаточно. Сейчас необходимо установить цену, по которой будем контрактовать. У кого какие имеются предложения?

И все.

Вопрос казался простым и ясным.

Данила Васильевич подал голос:

— Давайте платить, как и в прошлом году: центнер хлеба и сто рублей за теленка.

По всему было видно, что это предложение не встречает возражений. Но не тут-то было!

— Еще какие предложения есть? Кто желает? — спросил председатель.

Немедленно поднялся Болтушок.

— Давайте скажу я.

— Ну, поехал теперь! — сказал кто-то из заднего ряда.

Болтушок уничтожил взглядом подавшего реплику, укоризненно обернулся к председателю, будто говоря: дисциплина, мол, падает, распустил. Затем провел ладонью ото лба к затылку, отчего образовался хохолок реденьких волос, сдвинул морщины вниз, подбросил подбородок вверх и сразу стал похож на полинялого задиристого петушка с расклеванным гребешком.

— Так, товарищи! Мы сегодня собрались...— он вздохнул, сделал паузу,— на заседание правления... Да. Собрались подвести итоги животноводства прошедшего прошлогоднего года, товарищи, и наметить их на будущий год... и вступить в них с новой силой, как и полагается, и так и далее. А что мы видим, дорогие товарищи? Ни-чего не видим. Мы даже не обсуждаем. Да.

— Короче! — отрезал председатель.

Болтушок обернулся к нему, улыбнулся снисходительно и продолжал:

— Я скажу. Больной скот есть? Есть, товарищи! Где наши витинары? За что мы им деньги платим? Где они, эти спецы, товарищи? Куда смотрит правление: корова сдохла! А? А вы молчите!

Его голос забирал все выше и выше.

— От кого начинает вонять, товарищи? Ясно: от головы. Нету дисциплины ни у спецов, ни у колхозников. Куда мы идем, товарищи: корова сдохла!

— Да хватит тебе! — не вытерпел председатель.— Есть же акт ветеринарного врача. Давай о деле!

— А-а! А это не дело? Критику и самокритику глушишь! А я без критики и самокритики жить не могу, как политически развитой актив населенного пункта...— Он снова сделал паузу.— Что есть больной скот? С больным скотом мы должны бороться, чтобы его не было. Это надо понимать и присокупить к повседневным дням работы.

Данила Васильевич наклонился к Коле и вполголоса, но так, чтобы всем было слышно, сказал:

— Иди к Игнатьичу в шорную и скажи: мол, довязывай хомут! Болтушок говорит. А как кончит — скажем, тогда придет. Успеет хомут доделать.

Болтушок, уже войдя в роль обличителя, выкрикивал:

— Это одно! Одно, товарищи! — И тыкал пальцем

вверх.— А другое — куриный вопрос.— И палец тыкался вниз.

Председатель уныло махнул рукой. Счетовод положил карандаш и взялся за газету. Данила Васильевич вынул шило и приступил к починке узды, зажав ремень между коленями.

— А другое — куриный вопрос! — кричал Болтушок.— Очень жгучий куриный вопрос! Курица — она тоже животная, и ее надо кормить. Кормить, товарищи! Пришел я на курятник, а она — курица старая — сидит в окошечке и на меня страшным голосом: ко-о-о! Ясно, есть хочет! А почему есть хочет? Не кормю-ют! Не кормют, товарищи! Все равно животная: что курица, что корова.

— Не все равно! — громко сказал Петя-ездовой.— Это два разных класса: класс птиц и класс млекопитающих.

— Сам ты млекопитающий! — вспылил Болтушок.— Еще молоко на губах не обсохло, а в разговор лезешь. Товарищ председатель! Веди заседание по форме! Что же это у нас получается? Ишь ты! Классы придумал!.. Итак, товарищи! Возьмем свиней.

Все дружно и безнадежно вздохнули.

— Возьмем свиней, товарищи! Можем ли мы так хозяевать? Нет, дорогие товарищи, не можем. Спим, товарищи! Разбудировать нас надо. Надо перестроить корень. Свинья, она животная...

Он покосился на Петю и продолжал:

— Она животная приятная. Свинья должна быть правильной свиньей, а не тенью антихриста. Это — во-первы́х. А Пегашка хворала две недели, насилу вылечили: худая — вот и тень антихриста.

Все знали, что Пегашка хворала, что от нее не отходили дежурные круглосуточно, но Болтушок все азартнее напирал на «свиной вопрос», «будировал», «дебатировал», «перестраивал корень». Его слова уже не доходили до сознания слушателей: в ушах отдавались лишь какие-то глухие, неясные звуки.

— Следующий вопрос: о колхозниках, не выработавших минимума трудодней! — громко объявил председатель.

Это было так неожиданно, что все встрепенулись. Новый и четкий голос сразу дошел до сознания. Пока Болтушок недоумевал, разводя руками, председатель завершил:

— Проголосуем по первому вопросу: кто за предложение Головкова Данилы Васильевича, прошу поднять руки!.. Единогласно. Запишем: сто килограммов зерна и сто рублей денег за теленка.

— Ка-ак? — взвизгнул Болтушок.— Зажим критики! Кто позволит? Писать в райком буду! Завтра буду писать... В область напишу! Мы еще посмотрим. Я дойду. И спецов дойду и тебя дойду! Глушить актив! Кто позволит?

— Следующий вопрос — о минимуме,— не обращал внимания председатель.— Три человека не выработали минимума без уважительных причин, первый из них — Пяткин Никифор: у него только шестьдесят трудодней. У нас в колхозе дети имеют по сотне трудодней, ученики школы. А Пяткин... Да что там говорить! Вот он — смотрите и решайте!

Что сделалось с Болтушком! То он смотрел на председателя, то оборачивался к сидящим, морщины на лбу играли и замирали и наконец поднялись вверх в полном удивлении, да так и остались; он провел рукой по голове от затылка ко лбу, отчего хохолок исчез, а петушиного вида как не было.

— Житья от него не стало! — говорила Федора Карповна. В накинутой на плечи клетчатой шали, высокая, крепкая, загорелая, она подошла к столу и продолжала: — Я как член правления заявляю: житья не стало! Самый разгар полки был, а он придет и два часа речь держит. А после него у Аринки голова болит: как он приходит, она аж дрожит, бедняга. Другому человеку — наплевать. Брешет и брешет! А другому невтерпеж слушать. Факт, нормы не вырабатываем, как он «агитировать» приходит. Ну пускай, ладно, пускай бы уж говорил, а ведь и работать надо... Шесть-де-сят трудодней! Срам-то какой! Аль закону на него нету?.. Я кончила.

— Закон есть,— заговорил Петя.— Что держать его в колхозе?

Лицо Болтушка вдруг резко изменилось: он шмыгнул острым носиком, глазки забегали и заблестели; озлобленный, как хорек, он выкрикнул, подняв высоко руку:

— Я в активе хожу, а вы меня компитировать! Не-ет! Не позволю! Я по займу два года работал, а...

— Вот тебе «а»! — вдруг рыкнул басом Данила Васильевич.— По за-айму! А сам не уплатил за заем и в этом году. Бессовестные глаза! Мне семьдесят лет, а

у меня четыреста трудодней, а тебе сорока небось нету. Помело чертово! Тьфу! — Данила Васильевич потрясал уздой, гремя удилами, и его бас рокотал в комнате, как в большой бочке. Он плюнул и сел.— Я свое сказал... Колька! Иди к Игнатьичу, скажи: мол, Болтушок высказался. Пущай хомут бросает, если не кончил: в «разных» о сбруе поговорим... Ишь ты, акти-ив! — рявкнул он напоследок.

— Ну что ж, будем голосовать? — спросил у всех сразу председатель.— Возражений нет. Кто за то, чтобы предупредить Пяткина в последний раз?.. Единогласно!

Данила Васильевич, держа широкую ладонь над головой, успокоительно произнес:

— Болячка. Прижигать надо.

Болтушок сидел неподвижно, опустив голову и свесив ладони меж коленей. Лица его не было видно. Понял ли он, что произошло, и спрятал лицо от колхозников или обдумывал новую жалобу в область — кто его знает! Но было в нем что-то жалкое.

...С собрания я шел медленно. Ночь была теплая и тихая. Большая, глазастая луна обливала серебром деревья и траву.

Невдалеке заиграла гармошка и сразу замолкла. Несколько раз подряд кувыкнул сыч и затих. Вот вспыхнул огонек у Данилы Васильевича — пришел домой. Вот еще свет в открытом окне, а оттуда женский голос:

— Что с тобой, Никифор? Аль пьян?

«Да ведь это ж хата Болтушка!» — подумал я и невольно остановился в двух-трех метрах от окна.

Болтушок сидел у стола, ничего не отвечая жене.

Против колхозного амбара окликнул меня Евсеич:

— Акимыч!

— Я.

— По походке узнал...— Он подошел, перекинул через плечо ружье, набил трубку и спросил: — Ну как там с Болтушком решили?

— Предупредили: исключат из колхоза, если еще что...

— Ну а он как?

— Сидит вон дома за столом сам не свой.

— Пробрало, значит. Може, дошло... Хоть бы дошло! — Он вздохнул, потянул трубку и добавил: — На недельку притихнет, ясно дело... А Петр Кузьмич опять один сидит в правлении. Вишь, огонек? Пишет...

Тишина.

За селом по обе стороны урчали два трактора. Они не нарушали привычной тишины ночи, они всегда урчат, и звука мотора никто не замечает, но если заглохнет, все услышат. Так стенные часы, остановившись, напоминают о себе... Вот она какая — тишина в деревне!..

— До свидания, Евсеич!

ГРИШКА ХВАТ

Вспашка зяби закончена.

Кому как, а мне эти три слова нравятся до невозможности. Значит, сделано все: убрано, обмолочено, сложена солома, все взлущено и вспахано — все, все! И совсем не хуже стало от этого в поле, оно не потеряло своей красоты, но оделось в новый наряд.

В самом деле, как хорошо в поле в ясный и тихий осенний денек! Ласковая ярко-зеленая озимь, черная, как вороново крыло, зябь, золото лесных полос, а надо всем — просторная, бесконечная голубизна неба. И немного как будто красок, но какие они сильные, чистые, свежие! А дорога, накатанная до блеска, чистая, без пыли, уже не скрыта от взора густыми колосьями и видна далеко-далеко вперед...

Выйдешь в воскресенье таким осенним деньком, посмотришь вокруг, вдохнешь всей грудью воздух — и пошел на весь день! А если за плечами ружье да рядом собачка, тогда — будь уверен! — домой вернешься только к вечеру.

В субботу к концу дня мне уже не сиделось. «Пойду-ка, думаю, к Евсеичу, да ахнем завтра на охоту по зайцам!»

Во дворе меня встретила гончая собака Найда, села передо мной и подала по старому знакомству лапу. Еще из сеней услышал я заливистый смех хозяина и заразительный хохот Пети, того самого Пети-ездового, что учится на агронома: он Евсеичу внуком доводится.

— Что у вас тут творится? — осведомился я.

Хозяин занят набивкой охотничьих патронов. Очки у него — на кончике носа, в глазах — смех.

— Патроны заряжаем.

— А что ж тут смешного?

— Да вот вспомнили, как... порты соскочили,— смеясь сообщил Евсеич, а Петя снова громко расхохотался, утирая рукавом рубахи слезы.

— У кого соскочили?

— У Гришки Хвата. Садись, Акимыч, расскажу!

Евсеич подождал, пока Петя успокоится, и, отложив в сторону патроны, набил трубку.

Я присел на диванчик, маленький и удобный. Напротив меня, над столом, у которого сидят дед и внук,— портрет Ленина, а по обе стороны его — фотографии двух сыновей Евсеича, погибших в Отечественную войну; одна из них — отца Пети. Над этажерочкой с аккуратно поставленными книгами — портрет Гоголя, в углу — снопик пшеницы, а на полочке, рядом со снопиком,— огромная картофелина, с человеческую голову. Все это уже давно мне знакомо, но уютная простота убранства комнаты всегда располагает в этой хате к душевному спокойствию.

— А мы,— сообщает Евсеич,— бабку и мамку проводили в город на базар на колхозной машине, а сами, значит, с Петрухой дым коромыслом разводим... Так во-от! — Он снял очки, погладил горстью острую бородку и, ухмыляясь, начал: — Весной дело было. Он ведь, Гришка-то, работает в колхозе только весной, когда сеют, да осенью, когда хлеб на токах. Ясно дело, живет так,— Евсеич сделал выразительный жест — сгреб ладонью воздух, сжал кулак и сунул в карман.— Вот как он живет, этот Гришка Хват: урвать себе, а там хоть трын-трава.

— Ну, а при чем здесь порты?

— Вот и стряслось с ним. Назначили его, значит, на тракторную сеялку вторым севаком — семена засыпать, диски чистить, маркер поднимать. Никогда Гришка не упустит, чтобы не хапнуть, и тут, ясно дело, не утерпел — насыпал пшеницы в кулек, килограмма полтора, и привязал пояском под ватные порты, сбоку. Да... Дело к вечеру было, последний ход ехали. Подъехали к табору, а Гришка-то — прыг с сеялки! Пуговка — лоп! — и оторвись. Да случись тут кусок пласта торчком под ногами, он споткнулся. Брык! — голым задом к табору. А кулек сбоку мотается! Мамушки мои, срамота-то какая! Бабы накинулись гуртом: «Снимай порты! Что у тебя там привязано?» А он задрал нос, одной рукой штаны держит, а другой кулаком трясет: «Я вам покажу, как над больным человеком насмехаться. Грызь, говорит, у меня та-

баком обвязана». А и никакой грызи у него сроду и не было... Вот и смеются меж собой теперь колхозники: «А грызь-то у Гришки пшенишная!» Вот мы с Петей и вспомнили. Дела, право слово! — Евсеич помолчал немного и продолжал уже серьезно:— А попробуй скажи в глаза ему об этом. Куда там! За грудки и с кулаками лезет. Да еще и подхалимом обзовет. Невозможный человек! — заключил он.

— Значит, ворует?

Евсеич помолчал, подумал. Петя уложил патроны в патронташ и посмотрел сначала на меня, а потом на дедушку и сказал:

— Ворует.

— А уловить невозможно,— добавил Евсеич.

— Зачем и ловить? Выгнать из колхоза — и все.

— Выгнать-то выгнать, да толку что? — возразил Пете старик.— Ты скажи ему, Гришке-то: «Укради мешок!» Не станет. А бутылкой перетаскает больше. Он в законах и лавирует.

— Как это бутылкой? — спросил я.

— А так. Идет на сев — литровую бутылку молока берет. Выпил молоко, пшеницы насыпал. Баба принесла завтракать, пустую бутылку дает ему, а с пшеницей возьмет. В обед — то же. Вечером — то же. Четыре-пять литров зерна за день — пустяк утащить, а в них, почитай, четыре килограмма пшеницы. Поймай! Брали ее один раз, но и милицию она провела: дескать, россыпь, подобрала, говорит.

Петя добавил:

— А в уборку валенками ворует. Едет в поле в валенках, а домой идет — валенки под мышкой и засунуты друг в дружку. Мы, комсомольцы, раз изловить его хотели. Переняли и говорим: «Разними валенки». А он кулак к носу тычет: «А этого не видал? Вором считаете, сопляки? Завтра, говорит, напишу за оскорбление личности в суд, статья такая имеется»,— и пошел дальше. Потом нырнул в лесополосу, а метров через тридцать вынырнул и остановился. Мы опять к нему: «До дому пойдем с тобой, а не отступим».— «Пошли, говорит, к правлению!» Приходим, председателя нет, один счетовод сидит. «Мы, говорим, видели, как он из зерновоза пшеницу насыпал в валенки». Тут он разнимает валенки и показывает их. Пустые! «Я, говорит, найду на вас управу! Я, говорит, по

сто шестьдесят первой статье за клевету подам». И вышел. А мы сами же, своими глазами видели!

— Во! Статьи он все знает, которые ему надобны,— поддержал Евсеич.— А пшеницу вытряхнул в лесополосе, факт. Вот и улови! Рвет, подлец, с колхоза кусочками. Убытки тут не ахти какие, а народу обидно. Другой колхозник трудится, потому живет хорошо, а этот не трудится, а живет тоже хорошо. В том и вред от него, что рвет-то он ото всех. Да горлом берет, ясно дело.

— Надо,— посоветовал я,— с председателем насчет него потолковать.

— Да про него сейчас в каждой хате будут толковать, а весна придет — забудут. Не до него в трудах-то.

Поговорили мы так, потом я проверил заочную контрольную работу Пети, а на прощание Евсеич сказал:

— Завтра, значит, берем подряд на очистку поля от зайцев.

В воскресенье утром, с ружьями за плечами, мы втроем шагали от села вдоль лесной полосы. Ночью был легкий морозец,— иней на озими таял и серебрился от восходящего солнца. Листья желтым ковром устлали землю меж деревьев. Оттого, что ветви были почти совсем обнажены, лесная полоса казалась реже, чем летом, а стволы — выше. Уже семнадцать лет этой полосе! Многое можно вспомнить из того, что прошло за эти годы, о многих погибших товарищах пожалеть, многому порадоваться, но эти деревья, которые памятны мне с перволеток, я просто люблю. Люблю за ласковый шум во время легкого ветерка; за силу, с которой они, содрогаясь, отражают налеты страшного когда-то юго-восточного суховея; за то, что они приютили новых лесных птиц; за прохладу в июльский зной; люблю и за то, что в них большой кусок и моей жизни, и жизни Евсеича, и вся целиком жизнь Пети, который шагает вразвалку рядом со мною.

— Хорошо! — улыбаясь, сказал Евсеич. Он сдвинул кепку с пуговкой на самый затылок и поднял взгляд к вершинам деревьев.— А ведь какие маленькие были, ну прямо проволочки!

— А я и не помню, как их сажали,— сказал Петя.

Евсеич ласково положил ему руку на плечо.

— Тебе и было всего не то год, не то два. Папашка твой сажал, лесоводом был в колхозе. Понял?

— Знаю,— ответил Петя.

— И ты сажай, Петруша! Сажай больше! Долго люди помнят тех, кто сажает деревья. Кто не любит дерева, тот не любит и человека. Ясно дело.

— А комсомольскую полосу дубков мы-то и посадили.

— Еще больше сажай!

Мы пошли дальше. Петя вдруг остановился.

— Дедушка, смотри — сук надломлен! Зимой снегом отломит.

— А ты приметь дерево, да потом и привяжи сучок к стволу. Он весной и срастется. Буря была недавно, вот и надломился.

— Обязательно привяжу,— сказал Петя.

И я знаю: он хозяин, обязательно привяжет.

Немного прошли молча, а у первой просеки остановились.

— Начнем,— весело сказал Евсеич и стал снимать ружье с плеча.

Найда до сих пор спокойно плелась на сворке за хозяином, а тут начала визжать, рваться, встала передними лапами на грудь Пете, тянулась к лицу, стараясь лизнуть.

— Ну, ну! Целоваться полезла! — шутил Евсеич. Он снял ошейник, ласково похлопал ее по боку.— Не подкачай, Найда!

Черно-красным пятном Найда заюлила по зяби, нырнула в лесополосу, снова показывалась на чистом поле и наконец скрылась в соседней полосе. Евсеич распределил места:

— Ты, Акимыч, оставайся тут! Ты, Петя, давай к дубовой-гнездовой! А я — к яру, в приовражную. Тут, брат ты мой, заяц обязательно этим кругом ходит. Сперва вдоль полосы, потом — в просеку, потом — к дубам, а вдоль них — к яру. Это у них дорога такая. Ясно дело, заяц тоже к лесным полосам приспособился. Теперь и охота в поле иная — и лесная и полевая. Сноровка другая должна быть... А ты, Петя, главно дело — не шевелись, когда он попрет на тебя, замри! Дубки — по пояс, а если мертво будешь стоять, то он выше дубка не увидит, у него глаз глупой...

Петя трусцой, вприпрыжку побежал к дубкам. Евсеич спокойно, не спеша направился к яру, а я, осмотревшись, выбрал местечко и стал за куст так, чтобы можно было стрелять и вдоль полосы и по просеке. Мешала ветка впереди меня. В большом лесу я ее обязательно срезал бы, а здесь нельзя, пусть растет. Справа от меня, за пригор-

ком, видны верхушки лесополосы, посаженной в год начала Великой Отечественной войны; слева, метрах в трехстах,— «Комсомольская», этой всего только семь лет; а дальше по полю видны квадраты лесных полос; они, как дети в многодетной семье, растут лесенкой; каждый год прибавлялось по одной полосе, а набралось уже до сотни гектаров.

От яркого солнца и густой зелени озимых рябило в глазах. Застрекотала сорока, увидев меня; пробежали через просеку хохлатые подорожнички; деловито простучал невдалеке дятел; тихонько захохотала синица, выпрыгнула из чащи, прилепилась к ветке в трех метрах от меня и уставилась черными бусинками в глаза. «И что это делает здесь неподвижный человек?» — казалось, спрашивала она, потом вспорхнула, будто прощаясь, прощебетала: «Чиви! Чиви!» Очень похоже: «Живи! Живи!» «Ну и ты живи!» — подумал я.

Вдруг: «Гав!» Немного погодя еще: «Гав-гав!» И потом ритмично, размеренно: «Гав-ав-ав-ав!» То Найда подняла русака. Только охотник поймет, какая дрожь пробегает по телу при первом лае гончей! Мир сужается до предела: охотник, ружье и, еще невидимые, собака и заяц или лисица. А лай все ближе, все ближе, и дрожь ушла уже внутрь, но руки спокойны и уверенны. И вдруг, как из-под земли, вываливается сам «косой». Он идет прямо на меня «ниткой», смешно закидывая задние ноги вперед, будто на костылях. Выстрел! Заяц перевернулся через голову, высоко подбросив вверх задние лапы... Подвалила Найда, хвостом приветствуя удачный выстрел, полезла целоваться, а через некоторое время снова заюлила, повизгивая, закружилась, засопела и потянула дальше. Вскоре она скрылась из виду и снова погнала голосом, спокойно, ровно, не спеша. В лесных полосах быстроногая собака не годится: из-под нее заяц летит пулей, сбивает с круга и несется как сумасшедший, куда глаза глядят. Но Найду Евсеич приучил так, что она и «взрячую» гонит тихо: «сноровка» другая.

Петя выстрелил дублетом. Собака замолкла, значит, попал. Потом, как из пушки, ахнул Евсеич. По одному зайцу я «расписался» впустую; он проскочил к Пете, тот тоже промахнулся, и только около Евсеича Найда замолчала.

К середине дня все вместе мы убили пять зайцев. Несколько раз перебегали с места на место, перехваты-

вая «круг» сообразно направлению лая Найды, и наконец, порядком умаявшись, устроились закусить.

Евсеич прищурил глаза, почесал висок, сдвинул набок кепку и чуть-чуть шмыгнул носом. Я-то уже знаю, что все это предшествует веселому сочинению.

— Садись, Акимыч, отдыхай! Петька, вон он маячит. Подождем его, а я тебе расскажу заячью историю.

Петя действительно маячил в километре от нас, уже на той стороне яра. Мы уселись на засохший бурьян, Евсеич закурил трубку и начал:

— Зайцев бы-ыло: миллион с тыщами! А один был смелый-пресмелый зайчишка. Так. Хоть и знают косые, что в магазине Союза охотников не бывает к сезону ни пороху, ни дроби, а посылают этого зайчишку в город: все-таки проверь, дескать! Поковылял, значит. Ясно дело, зайцу по городу трудно пройти. Ну, задворками, бульварами пробрался к магазину. Стучит легонько лапкой в окно, машет продавцу: выйди, дескать, на минутку! Выходит: «Что вам, гражданин зайчик?» А тот спрашивает тихонько так: «Порох есть?» — «Нету»,— отвечает. «А дробь есть?» — «Нету».— «Тогда передайте, говорит, товарищу Медведкину (председателю Союза охотников), что мы, зайцы, плевать на него хотели».— «Как так плевать?» — «А так: орешками, орешками!» Подпрыгнул зайчишка, оставил пару орешков, да и был таков... Вот они дела-то какие случаются смехотворные!

Евсеич рассказывает без смеха, но глаза его смеются, так и сыплют искорками, так и сыплют! Счастлив человек, у которого к старости сохранятся такие глаза!

Вдали показался Петя. Он вразвалку идет к нам вдоль лесополосы, изредка останавливаясь и посматривая хозяйским глазом на деревья.

Вдруг лицо Евсеича сразу сделалось серьезным, он даже привстал.

— Гляди, Акимыч! Петька бегом к нам побежал... Что за оказия?

Действительно, Петька торопливо бежит, придерживая одной рукой зайца. Вот он уже близко и на бегу кричит:

— Дедушка! Владимир Акимович! Там... там два дерева... срублены... большие!

Мы заспешили за Петей.

— Тут недалеко... И ветки очищены на месте. Большие,— тяжело дыша и чуть не плача, говорил Петя.

Картуз сбился у него козырьком на ухо. Прядь волос упала на угол лба.

Два пенька рядом сиротливо белели в середине полосы. Потянул легкий ветерок, слегка зашуршали ветви, будто жалуясь... Мы понуро стояли над пнями. Евсеич то мял кепку в руках, то набрасывал ее на голову, то снова снимал и теребил за пуговку; в волнении руки не давали покоя и клинышку бородки; он пробовал зажечь спичкой трубку, забыв набить табаком, и снова совал ее в карман.

Потом сжал кулак и с озлоблением потряс им в воздухе.

— Сук-кин сын! Подлец! Гришка Хват, больше некому!

— Он,— мрачно подтвердил Петя.

Охотиться уже не хотелось. Найда поплелась за Евсеичем. Я смотрел ему в спину, и мне казалось, что он сгорбился и постарел... Мы шли молча. Некоторое время спустя Евсеич сказал, ни к кому не обращаясь:

— Дня три-четыре как срублены — зарубы обветрило: теперь уже не найдешь... Каналья!

Утром следующего дня Евсеич зашел за мной, и мы направились к председателю колхоза Петру Кузьмичу Шурову. Он сидел в своем кабинете, рассматривая какую-то бумагу, делал пометки то красным, то черным карандашом.

Мы поздоровались.

— Знаю, с чем пришли,— заговорил Шуров.— Петя успел сообщить, уже и заметку в стенгазету потащил. Садитесь, подумаем вместе.— Он положил перед нами ведомость трудодней.— Поинтересуйтесь, а потом о деревьях поговорим.

Против фамилий колхозников — цифры трудодней. Пятьсот и выше — в красном кружочке, это, понятно, передовики. Шестьдесят — в черном колечке, тоже понятно — болтуны и лодыри, но таких только три. Но вот пятьдесят два — в красном, а сто пятьдесят — в черном: это не сразу поймешь, и я вопросительно поднял глаза на Петра Кузьмича, указывая на эти цифры.

— То-то вот и оно, что не сразу понять. А разберись— дело простое. Пятьдесят два — это лучшая колхозница,

но она больна, надо помочь ей и направить в санаторий. А сто пятьдесят...

Но я уже вслух прочитал:

— Хватов Григорий Егорович — сто пятьдесят.

— Во! Гришка Хват,— подтвердил Евсеич, подняв палец вверх.

— Минимум выработал: все в порядке, все законно,— продолжал Петр Кузьмич,— работает — шатай-валяй, а живет — сыр в масле. Все понятно, но... с какой стороны его взять? Вот вопрос.

Он задумался. Взгляд его направлен на чернильницу, но, казалось, он видит перед собой Хватова и мысленно всматривается в него, прощупывает.

Евсеич покачал головой.

— Во всяком чину́ — по сукину сыну́. Ясно дело.

Петр Кузьмич оживился, пристукнул ладонью о край стола и решительно встал. Видно было, что его осенила новая мысль, и он ее высказал:

— Брать его надо всего целиком... Выдернуть его и показать всем, а сначала сам пусть на себя посмотрит. И домой к нему надо сходить, посмотреть, раскусить хорошенько. Говорят, мой предшественник — бывший председатель колхоза Прохор Палыч Самоваров — только у Хватова и угощал начальников разных и сам там угощался.

— Там, там, Кузьмич, только там,— подтвердил Евсеич,— туда и баранинку, туда и яички, все туда, а самогонку-то Гришка и сам мастер гнать.

— Сходим, Владимир Акимыч? — обратился ко мне Петр Кузьмич.

— Пошли хоть сейчас!

— Вы там в сарай загляните, в сарай! — напутствовал нас Евсеич.— Да кусок хлеба возьмите! Кобель у него как тигра.

Краюшку хлеба председатель и в самом деле сунул в карман, зайдя в кладовую.

Вскоре мы подходили к усадьбе Хватова. Аккуратная, чисто выбеленная, с новыми наличниками на окнах, по-хозяйски крытая камышом «под гребенку», хата стояла на отшибе, небольшой ярок отделял ее от улицы, будто она откололась от села. Двор огорожен высоким почти новым плетнем, на котором сверху в одну нитку протянута колючая проволока. Ворота забраны тонкими досками с клеймами железной дороги: видно, какие-то ящики

употреблены на это дело. И ни одного дерева, ни одного цветка, не говоря уже о клумбе.

Калитка оказалась запертой изнутри, и мы постучали щеколдой. Залаяла собака, захлебываясь и надрываясь, кто-то цыкнул на нее во дворе, потом загремел засов, и калитка открылась. Перед нами стоял Хватов — Гришка Хват. Он, казалось, был в некотором недоумении и молчал, переводя взгляд с одного из нас на другого.

Небольшого роста, широкоплечий, кряжистый, с крепко расставленными короткими ногами, в клетчатой ковбойке, из-под которой торчала нижняя рубаха; краснорожий, рыжие волосы коротко острижены «под бокс» — по-модному; глаза большие, равнодушные; жирные губы выгнулись полумесяцем; кончик большого и мясистого носа приподнят кверху задиристо и вызывающе. Ему не более сорока лет.

— Милости просим! — наконец проговорил он, пропуская нас вперед.

От калитки к крыльцу, выходящему во двор, пройти можно, но в середину двора нельзя: огромный пес, такой же рыжий, как и сам хозяин, оскалив пасть, бегал вдоль протянутой поперек двора проволоки, на которой каталось взад-вперед рыска́ло цепи.

— Уйми ты его, Хватов! — попросил Петр Кузьмич.

— Заходите в хату! — сказал хозяин так же равнодушно.

— В хату потом,— возразил Петр Кузьмич.— Зашли посмотреть, как живет богатый колхозник, а у тебя... «тигра». Плохо гостей принимаешь.

Гришка понял это по-своему.

— Литровочка есть, и закус найдем.

— Это тоже потом.— С этими словами Петр Кузьмич решительно подошел к собаке совсем близко, но так, что она не могла его достать с цепи, остановился и молча посмотрел на нее в упор, засунув руки в карманы пиджака. И удивительное дело — пес уже не рвался с цепи, не надрывался, он лаял как бы по обязанности. Когда же Петр Кузьмич бросил краюшку хлеба, он мирно поплелся в конуру, недоверчиво оглядываясь на хозяина и погромыхивая колечком рыскала.

Во дворе стало тихо. Хватов, заложив руки за спину, смотрел на председателя без какого-либо выражения гостеприимства и проговорил с ноткой недовольства:

— В укрощатели годитесь, товарищ председатель.

— Ну, как живешь, Хватов? — спросил Петр Кузьмич, будто не обратив внимания на его слова, и уселся на грядушки ручной тележки.

— Да как... Ничего живем, налог уплатил, с займом рассчитался, минимум выработал. Закон есть закон. Все по уставу.

— Все правильно,— подтвердил Петр Кузьмич не без иронии.

Хватов стоял сбоку, опершись ногой о тележку, грядушки которой были новыми и совсем еще сырыми, а колеса — с конных плугов.

— Новые наделки,— заметил я.

Хозяин будто не слышал моих слов, а Петр Кузьмич прищурился и в упор спросил, постукивая пальцем о тележку:

— Ясеньки-то в лесной полосе срубил? Смотри — свежий ясенек, как с корня.

У Хватова не было заметно ни тени страха, ни тени волнения. Он почему-то обратился ко мне:

— А вы видали, как я рубил? Купил на базаре.

— А колеса с плужков? — спросил Петр Кузьмич.

— Видать, с плужков,— ответил Хватов с притворным вздохом.

— Когда снял?

— Купил за двадцать восемь рублей и пятьдесят копеек.

— Где?

— На базаре.

— У кого?

— У чужого дядьки,— мирно ответил Хватов и вдруг перешел в наступление: — Евсеича слушаете! Клеветой руководиться негоже, не по-советски! Сто шестьдесят первая статья на это имеется, можем написать — люди грамотные и ходы знаем, куда подать и к кому обратиться.

Петр Кузьмич пристально смотрел на него не отрываясь, сжав зубы. Краска бросилась ему в лицо, но он тряхнул головой, сдерживая себя, закурил папиросу и уже спокойно сказал совершенно неожиданно и, казалось, не к месту:

— Во время войны где был?

— Служил.

— Где?

— А что? — не изменяя позы и наглого выражения лица, спросил Гришка Хват.— Следствие, что ли, хотите наводить?

— Ну вот ты уже и обиделся! — возразил Петр Кузьмич.— С тобой по-хорошему, а ты...

— Что я?

— Значит, не был на фронте? Ну тогда — где работал в тылу? Тыл — это тоже очень важно. И в тылу много героев. Что делал?

— Служил.

— Где?

Гришка не выдержал словесной перестрелки и сдался:

— В милиции.

— Кем?

— Конюхом.

— Ну так бы и говорил! Хорошая должность — конюх, и у нас в колхозе почетная. Вот теперь и понятно.

— Что понятно?

Петр Кузьмич не ответил на его вопрос, а спросил сам:

— А знаешь, что у Евсеича два сына погибли на фронте?

Гришка молчал. Петр Кузьмич барабанил по грядушке пальцем и потихоньку насвистывал, выжидая. Будто ненароком я прошелся по двору взад-вперед. Квохтали куры, в хлеву похрюкивали свиньи; в углу, между сараем и плетнем,— штабель толстых дубовых дров, хватит года на два; старые колеса от тарантаса, рама от старой конной сеялки, две доски с брички и деревянная ось свалены за сараем в кучу. Запасливый хозяин тащил все, что плохо лежит и за что никто не может привлечь к ответственности. На стене сарая висел большой моток толстой проволоки, две старые покрышки от автомашины и перерезанный гуж от хомута; штабель кизяков — такой огромный, что на две хаты хватит топить полную зиму.

— А навоз для кизяков тоже купил на базаре? — спросил я.

Гришка не удостоил меня ответом, а Петр Кузьмич ответил за него:

— Зимой на поле вывозил: воз — на поле, а воз — домой. Рассказывают, так было. Этак гектарчика на два удобрений и хапанул. Правда, Хватов?

Но тот не ответил.

— Вы по какому делу пришли?

— Да вот ходим с агрономом, знакомимся, как наши колхозники живут,— невозмутимо сказал председатель.

— С обыском, что ли?

— Ой, какой ты, Хватов, законник!

— Законы знаем.

И вдруг неожиданный вопрос Петра Кузьмича:

— Корма корове хватит?

— Занимать не будем.

— А продавать будем?

— Там видно будет.

— Ты же на сенокосе не был, процентов не заработал, как же это получается?

— Покупается,— тоном превосходства ответил Хватов.

Петр Кузьмич решительно встал и открыл дверь сарая. Гришка не выдержал и заскочил вперед. Лицо его стало озлобленным, но говорил он спокойно:

— Отойди, товарищ председатель! Добром говорю! За самовольный обыск тоже статья имеется...

— Да ты никак испугался, Григорий Егорович? — засмеялся Петр Кузьмич.— А мы в сарай не пойдем. Разве можно не по закону? Посмотрю, хватит ли корма. Должны же мы заботиться и о скоте колхозников? Ясно?

— Может, и ясно,— приостановился Гришка, поняв, что не выдержал своей линии.

— А ты не бойся,— продолжал Петр Кузьмич.— Если купил, то все законно и никакой статьи не потребуется. Купил, говоришь?

— Купил.

— Почем же люцерновое сено?

— Двести рублей воз,— не моргнув глазом, ответил хозяин.

— Прошлогоднее?

— Должно быть.

— У кого?

— У чужого мужика. Базар велик.

Я вспомнил, что прошлым летом на семенниках люцерны во время цветения появлялись в середине массива выкошенные пятна, и подумал: «Вот они и пятна».

На крыльцо вышла жена хозяина и поздоровалась так, что слово «здравствуйте» прозвучало как «уходите». Одета она по-городскому. Ни широкой, просторной, с каймой юбки, ни яркой кофточки с пухленькими и такими

симпатичными «фонариками» на рукавах, ни плотно уложенных на макушке волос — ничего этого не было. Короткая, до колен, юбка обтягивала зад, похожий на огромный футбольный мяч; толстые, как гигантские кегли, икры — в тонких чулках; тесная кофточка, в которой с трудом умещалась грудь; громадная брошь в виде плюшки с начинкой посредине: вот какая, дескать, культурная! А лицо! Какое лицо! Жирный подбородок, пухлые щеки с двумя круглыми пятнами румян, маленький нос с полуоткрытыми ноздрями приподнят кверху, белобрысая, а брови намалеваны черные, как осенняя ночь. И рыжий «бокс» на голове мужа, и его клетчатая ковбойка с торчащей из-под нее грязной нижней рубахой — все это как нельзя более подходило к облику его супруги.

— Чего ж в хату не зовешь начальников?

Оттого ли, что она заметила мой пристальный взгляд, оттого ли, что Петр Кузьмич на ее «здравствуйте-уходите» ответил вежливым приветствием, или, подслушав наш разговор, она поняла, что обострять дело не следует и надо нас отвлечь от люцерны,— не знаю почему, но голос ее стал немного приветливее.

— Чего ж не зовешь? — повторила она.— Небось в хате и поговорить лучше. Заходите!

Мы обменялись с Петром Кузьмичом взглядами и взошли на крыльцо.

Я совсем не ожидал, что жена Хватова будет знакомиться с нами, так сказать, официально, но она подала прямо вытянутую ладонь, как толстую длинную вчерашнюю оладью, и произнесла мужским тенором:

— Матильда Сидоровна.

Настоящее ее человеческое имя — Матрена, но сказано ясно — «Матильда». Петр Кузьмич сначала не удержался от улыбки, а потом все-таки прыснул и зажал рот платком, как бы утирая губы. «Ошибочный жест, Кузьмич! Ой, ошибочный!» — подумал я. И правильно подумал: Матильда поняла так, что, утирая губы, председатель просит выпить. Молча, одними взглядами, которые, впрочем, не так уж трудно заметить со стороны, они с мужем согласовали этот вопрос, и Хватов распорядился:

— Собери закусить!

Матильда вышла в сени, а муж «на минутку» выскочил за ней.

— Ну? — спросил я тихонько, когда мы остались вдвоем.

— Подождем, что дальше будет,— шепнул председатель.— Не бойся! По стопам Прохора Палыча в бутылку не загляну. У меня — план.

Возвратился Гришка совсем другой, щеки его вздулись двумя просвирками: он улыбался. Но глаза так и остались мутными и равнодушными, глаза не улыбались. Матильда внесла колечко колбасы и тарелку огурцов и... тоже улыбалась. Ах, как она улыбалась! Накрашенные половинки губ узкими полосами окаймляли рот, а ненакрашенные вылупились из середины. Тяжело ступая и сотрясая телеса, она засуетилась:

— Заведи пока патефон, Григорий Егорович. Выбери какую покультурней!

Хозяин завозился с патефоном, меняя иголку, а мы осмотрели комнату. Тут и громадный плакат-реклама с гигантским куском мыла «Тэжэ» и надписью: «Это мыло высоко цепится, это мыло прекрасно пенится»; и еще противопожарный плакат «Не позволяйте детям играть с огнем»; большие портреты обоих супругов, увеличенные с пятиминуток и разретушированные проходящим фотографом до полной неузнаваемости; ленты из цветной бумаги на стенах, на окнах — и широкие и узкие — ленты, ленты, ленты, как на карусели.

Захрипел патефон, будто на плите убежало молоко, а затем мы услышали пластинку двадцатилетней давности — романс в исполнении Леонида Утесова:

Лу-уч луны-ны упал на ваш портре-е-ет,
Ми-илый друг-уг давно забытых ле-е-ет,
И во-о мгле... гле, гле, гле, гле, гле, гле, гле...

Игла запала в одной строке пластинки, и патефон хрипел: гле, гле, гле, гле, гле... Это была самая высокая нота в романсе, казалось, что исполнителю очень трудно повторять ее.

Матильда стукнула по мембране деревянной ложкой, и игла проскочила дальше. Оттого, что пластинка была очень старой, голос Утесова стал совсем хриплым, натужным, как при ангине. Гришка Хват упер руку в бок, закинул, стоя, ногу за ногу и серьезно, как в церкви, смотрел в потолок, как бы вслушиваясь в звуки патефона.

Патефон отхрипел. На столе — колбаса, огурцы и крупные ломти пшеничного хлеба, такие крупные, что надо открыть рот во всю ширину, чтобы ухитриться

откусить. Хозяин нагнулся, достал из-под кровати литровую посудину, заткнутую кукурузным початком, поставил на стол и сел сам с нами, пододвинув к себе стакан. По всем неписаным правилам таких хватов процедура выпивки с начальством совершается медленно, не спеша.

Петр Кузьмич взял бутылку и, понюхав горлышко, сказал:

— Самогон. Купил?

— Ну, да эти дела, как бы сказать, не покупаются,— ответил хозяин почти радушно.

— Своего, значит, изделия?

Гришка кивнул головой в знак согласия.

— Крепкий? — спросил председатель.

— Хорош! — улыбнулся деревянной улыбкой Хватов.

— С выпивкой — потом. Сейчас давай, Григорий Егорович, договорим о деле и... поставим точку.— Петр Кузьмич поставил точку ручкой вилки на столе.

— Дак мы ж еще ни о каком деле не говорили,— возразил хозяин.

— И стоит вам о пустяках разговаривать! — вмешалась Матильда.— Мы вечные труженики, а на него всякую мараль наводят. Пустяк какой-нибудь — в бутылку рассыпанной пшеницы подберешь на дороге, а шуму на весь район. Да что это такое за мараль на нас такая! И всем колхозом, всем колхозом донимают! При старом председателе, при Прохор Палыче, еще туда-сюда, а вас обвели всякие подхалимы, наклеветали на нас, и получается один гольный прынцып друг на дружку.— Она входила в азарт и зачастила совсем без передыху: — Мы только одни тут и культурные, а то все темнота. Машка, кладовщица, со старым председателем путалась. Федорка за второго мужа вышла, Аниська сама сумасшедшая и дочь сумасшедшая, Акулька Культяпкина молоко с фермы таскает, а на нас — мараль да прынцып, мараль да прынцып.

И пошла, и пошла!

— Я ему сколько раз говорила,— указала она на мужа,— сколько раз говорила: законы знаешь? Чего ты пугаешь статьями зря, без толку? Напиши в суд! В милиции у тебя знакомые есть: чего терпишь? Чего ты терпишь?

Наконец Петр Кузьмич не выдержал и перебил ее:

— Послушайте, хозяйка! Дайте нам о деле поговорить!

Она в недоумении посмотрела на него и обидчиво продолжала, поправив плюшку-брошь и не сбавляя прыти:

— Вот вы все такие, все так: «Женщине — свободу, женщине — свободу», а как женщина в дело, так вы слова не даете сказать. Извиняюсь! Женщина может сказать что захочет и где захочет. Что? Только одной Федорке и говорить везде можно? Скажи, пожалуйста!— развела она руками.— Член правления, актив!

— Нельзя же только одной вам и говорить,— не стерпел я.— Вот вы высказались, а теперь наша очередь: так и будем по порядку — по-культурному.

Последнее слово, кажется, ее убедило. Скрестив руки, она прислонилась к припечку и замолчала.

— Итак, о деле, Григорий Егорович,— заторопился Петр Кузьмич,— о деле...

— О каком таком деле? — недоверчиво спросил Гришка.

И тут председатель словно из ушата холодной водой окатил:

— Вот о каком: первое — люцерну привези в колхозный двор!

Гришка встал.

— Ай! — взвизгнула Матильда.

— Цыц! — обернулся к ней муж и задал вопрос Петру Кузьмичу: — Еще что?

— Колеса с плужков и грядушки с тележки принеси в мастерскую,— спокойно продолжал тот.

— Еще что? — с озлоблением прохрипел Хватов.

Петр Кузьмич взял обеими руками литровку:

— А вот это возьмем с собой. Придется ответить!

Прошло несколько минут в молчании. Гришка вышел из-за стола, давая понять, что выпивки не будет. Лицо его приняло прежнее, внешне спокойное выражение,— он удивительно умел влезать в личину, как улитка,— и только чуть-чуть вздрагивала бровь.

— Ну так как же? — спросил с усмешкой Петр Кузьмич.

— Ничего такого не будет: не повезу. А бутылку возьмете — грабеж... Вас угощают, а вы... Эх, вы! — Он махнул рукой и прислонился спиной к рекламе «Тэжэ».— Люцерну — не докажете, тележку — не докажете, не пойманный — не вор. Купил — и все! Докажите!

— Хорошо,— вмешался я.— Люцерну докажем очень просто. Только в одном нашем колхозе желтая люцерна «Степная», а в районе вокруг нас нет ни одного гектара этого нового сорта. Как агроном могу составить акт.

Гришка вздрогнул. Да, вздрогнул, я не ошибся! Будто невидимой стрелой пронзило его лицо, оно передернулось, и тень страха пробежала во взгляде.

— Понятно? — спросил Петр Кузьмич и, не дожидаясь ответа, добавил: — А колесико с плуга, одно колесико, номерок имеет, а номерок тот сходится с корпусом. Видишь, оно какое дело, Григорий Егорович!

Я понимал, что никаких номерков на колесах плуга нет, а Петр Кузьмич знал, что такой же сорт люцерны есть и в райсемхозе, и в совхозе, и в ряде других колхозов, но, разгадав план председателя, я помогал ему — он прощупывал Гришку, исследовал по косточкам, изучал. Тот стоял у стены, опустив голову, не пытаясь возражать, и смотрел на носки своих сапог, будто они очень и очень для него интересны. Матильда в удивлении и испуге прислонилась задом к рогачам.

А Петр Кузьмич уже добавил:

— Да ты пойми, Хватов! За самогонку — не меньше года, хоть и без цели сбыта, за люцерну — тоже... А? Жалко мне тебя, Григорий Егорович! Ей-право, жалко, а то не пришел бы.

В последних словах я уловил нотки искренности и теплоты и никак не мог поверить, что слова эти обращены к Хватову — к Гришке Хвату. До сих пор Петр Кузьмич изучал, какое действие оказывает прямота руководителя, знание законов, каков Хватов в страхе и как докопаться до страха, а последними словами он докапывался уже до самого человека — до Григория Егоровича Хватова. А тот поднял глаза на председателя — уголок губ дергался, глаза часто моргали, брови поднялись, чувство растерянности овладело им, и он уже не мог этого скрыть, он стоял перед нами уже без скорлупы, с голой, обнаженной душой.

Петр Кузьмич методично оттирал все остатки его личины.

— Привык ты, Григорий Егорович, не тем заниматься, чем следует, а остановить было некому... Оторвался от народа, ушел в сторону и стал единоличником внутри колхоза... Может быть, хочешь остаться единоличником

по-настоящему? Так мы можем это сделать, и есть к тому все основания. Как, а?

И Хватов хрипло проговорил, уже беспомощно и жалобно:

— Исключить, значит... Ну... убивайте! — и, неуверенно сделав несколько шагов, сел на лавку.

Это оказалось самым страшным для него словом, и он сам произнес, рубанул самого себя наотмашь, обмяк, согнулся и уже больше ни разу не взглянул на нас прямо. Ни разу!

— Позора боишься? — спросил Петр Кузьмич.— Не надо до этого допускать.

— Вы... меня теперь все равно...— Хватов не договорил и махнул безнадежно рукой.

Петр Кузьмич подошел к нему, сел рядом, закурил и, пуская дымок вверх, примирительно сказал:

— Ну хватит нам ругаться... Пиши заявление!

— Куда? — спросил Хватов не глядя.

— В правление, куда же больше.

— Тюрьму, что ли, себе написать? — угрюмо бросил Хватов, не оставляя своего метода — отбиваться вопросами.

— Зачем в тюрьму? Колхозную честь соблюсти. Напиши, что просишь принять излишки сена... Ну и... — Председатель немного подумал.— Ну и напиши, что хочешь в кузницу молотобойцем. По ремонту инвентаря будешь работать: руки у тебя золотые, силенка есть... А плужки на твоей совести останутся.

— Через все село везти сено! У всех на глазах! — неожиданно закричал Хватов.— Не повезу!

— Тогда... обижайся сам на себя. Я сказал все.— И Петр Кузьмич встал, будто собираясь уходить.— Значит, не напишешь? — Он заткнул литровку тем же кукурузным початком и поставил ее на окно.

В хате наступила тишина. Лениво жужжала на стекле запоздалая осенняя муха. Тикали ходики. Шумно вздохнула Матильда и приложила к глазам фартук. Кукарекнул во дворе петух... Колбаса, огурцы и хлеб лежали нетронутыми.

Хватов произнес неуверенно:

— Подумаю.

— Ну подумай! Хорошенько подумай, Григорий Егорович! Мы к тебе с добром приходили... Хорошенько подумай! — повторил Петр Кузьмич и обратился к хозяйке

с нарочито подчеркнутой вежливостью: — До свидания, Матильда Сидоровна!

Попрощался и я. Мы вышли. Рыжий пес попробовал залаять, но сразу раздумал, вильнул хвостом в сторону, опустил его снова и поплелся в конуру.

...Через несколько дней председатель зачитал на заседании правления в «разных» заявление:

«Председателю колхоза тов. *Шурову П. К.*
от рядового колхозника *Хватова Г. Е.*

Заявление

Как я имею излишний корм и как в колхозе от засухи кормов внатяг имеется, то прошу принять с одной стороны от меня лишок сена. Точка, желаю жить в общем и целом а также прошу назначить меня молотобойцем в кузницу как я имею понятие по ремонту и тому подобно.

Прошу тов. председатель попросить правление в просьбе моей не отказать а работать буду по всей форме и так далее.

К сему роспись поставил: Хватов».

Все присутствующие знали, что́ это за сено и как оно попало в колхоз, и все глядели на Хватова с презрением, смешанным с сожалением. Он же что-то рассматривал то на потолке, то на кончике сапога и избегал смотреть прямо на сидящих.

Никаких возражений заявление не встретило: Петр Кузьмич заранее договорился с членами правления. Никишки Болтушка здесь не было, и просьбу «удовлетворили» без прений. Только Евсеич напоследок сказал:

— Ясно дело, Гришка! Должон понять, ультиматум тебе поставили. Только думаю — хитришь ты. А?

Хватов ничего не ответил и не возразил. Он переминался с ноги на ногу и мял в руках фуражку.

...Как-то там теперь Матильда Сидоровна?

ИГНАТ С БАЛАЛАЙКОЙ

В один из предуборочных дней я работал на апробации посевов пшеницы: набирал снопы для определения сортовой чистоты, учета болезней и вредителей; сделаешь шагов тридцать — сорок, путаясь в густых хлебах, забе-

решь в горсть пучок стеблей, выдернешь их с корнем — и дальше, а через такой же промежуток — еще пучок. И так до тех пор, пока не составишь средний образец с участка, апробационный сноп, в котором после, уже в агрокабинете, анализируется каждый колосок.

Время перевалило за полдень. Пальцы начинали неметь, стебли в них скользили — не сразу выдернешь: чувствовалась усталость, хотелось отдохнуть, закусить, попить родниковой водички. Игнат понес очередной сноп к подводе, а я остановился, вытер лицо уже влажным платком и осмотрелся вокруг.

Тишина такая, что даже ости колосьев не шевелятся, но вдали хлеба, казалось, волнами уходят в небо, сливаясь с синевой, тают, исчезая в дрожащем мареве, и никак не поймешь, где кончается пшеница и где начинается небо. Так обманчива июльская марь в тихий день, что глаз перестает отличать дальние предметы от ближних; они плывут, дрожат, меняют очертания и будто стоят в воде: марь отрывает их от земли. Вдали на разных участках несколько комбайнов, уже готовых к уборке, расставлены по своим местам; они тоже дрожат, то опускаясь, то поднимаясь вверх выше пшеницы, и кажутся воздушными кораблями: вот-вот тронутся и поплывут над полем! По шляху проскочило несколько автомашин с горючим для уборки, за ними вытянулся огромный хвост пыли. Он долго стоит, подрагивая в общем потоке маревых волн. И вдруг... Гудит, рокочет где-то самолет. Звук то слышится прямо над пшеницей, то совсем пропадает — и вдруг снова близко, отчетливо. Да где же он? Как ни вглядывайся в небо, приложив ладонь к козырьку, не найдешь! Самолет совсем недалеко, километрах в трех, на бреющем полете обрабатывает с воздуха посевы люцерны от вредителей, а кажется, что наполнены шумом и небо и земля и что звучит марево.

Солнце печет. Невидимый жаворонок звенит то в двух-трех метрах от уха, то невообразимо далеко, у самого солнца: будто подвешен колокольчик на громадной нитке и медленно раскачивается с серебряным перезвоном.

В тихий, жаркий предуборочный день в поле есть своя особенная прелесть. Агроному не хочется уходить отсюда: он прощается с колосьями до будущего года, ему становится даже немножко грустно, но грусть эта перемешивается с радостью и надеждами; грусть эта —

глубоко человечная, такая же, наверно, как у инженера, который строил корабль и провожает его взглядом в море, провожает кусочек своей жизни и своего труда.

Честное слово, я так и сказал вслух: «Прощайте, прощайте! До будущего года!» — и пошел к подводе, на отдых, туда, где скрылся Игнат. Шел и думал: и поле уже не то, что было когда-то, лет двадцать назад, когда я был молодым человеком, и люди стали не те, какими были, даже «лодырь теперь не тот пошел», как говаривал уже знакомый нам Евсеич. С такими мыслями я и подошел к Игнату.

Игнат Прокофьевич Ушкин, которого на селе все зовут просто Игнатом, прикреплен ко мне на несколько дней для апробации. Он следует за мной по полям неотлучно, принимает от меня снопы, аккуратно доставляет на руках до подводы, укладывает их так, чтобы не помять и не обмолотить. Сноп он всегда берет осторожно, поднимает над головой обеими руками и несет, как какой-нибудь сосуд с жидкостью, будто боясь расплескать. На Игната пожаловаться никак нельзя: работает он аккуратно, но очень уж медленно все делает!

— Ох, и печет же сегодня!

— Печет,—равнодушно, в полудремоте, согласился Игнат.

Он лежал на траве вверх животом, подложив обе ладони под затылок и накрыв лицо фуражкой от солнца. Лошадь в упряжи, хотя и с отпущенным чересседельником, паслась по краю лощины.

— Отпрягай! Обедать будем. Отдохнем.

— А чего ее отпрягать? — сонно отозвался он, не пошевелившись.

Жара разморила его, он, видимо, тоже устал путаться ногами в густой пшенице, клонило в сон.

— Лошади неудобно так пастись.

— Трава хорошая: и так закусит,— возразил Игнат, не меняя положения и все таким же сонным, с хрипотцой, голосом.

— Ну и лентяй же ты! — говорю.

Он поднялся. Посидел немного, почесал живот, посмотрел на лошадь, на меня, глянул вверх мимо солнца и произнес:

— Печет.— Немного подумал и добавил: — Июль... Почему «лентяй»? — спросил он и тут же ответил: — Никакой не лентяй. Сейчас отпрягу.

Видно, он не обиделся на меня, пошел, насвистывая, не спеша. Он подвел лошадь, распряг ее и стреножил. Мы спустились вниз, в лощинку, к роднику, напились, обмыли лица.

Игнат присел против меня.

— До того нажарило голову, аж в сон бросило. Говорю, а сам сплю. Кажись, сутки так и пролежал бы.

Полуденную дремоту с него согнало, а лицо, омытое ключевой водой, повеселело. Взгляд у него открытый, без прищура, серые глаза окаймлены светлыми густыми ресницами, ему около тридцати лет, но с виду он моложе: круглолицый, с розовыми щеками. Движения у Игната медлительны, но уверенны, всегда спокойны; говорит он тоже медленно, но выразительно, меняя интонацию и жестикулируя руками и даже головой.

— Вот говорят про меня: «Игнатка — лентяй», «Игнат — бездельник», «Игнат дисциплины не понимает».— Он медленно развел руки, будто удивившись, поднял маленькие бровки и вдруг ударил ладонями по коленям.— И вы тоже на меня — «лентяй»! А почему говорят? Это дело глу-убо-окое! — погрозил он кому-то пальцем.— Ты мне дай работу по вкусу! Дай, а тогда говори!

— Кому это ты речь держишь?

— Известно кому — бригадиру, Алешке Пшеничкину.— Голос у Игната очистился от сонной хрипоты и стал довольно чистым тенорком; продолжал он уже энергичнее: — «Ты, говорит, меня замучил! Ты, говорит, летун, а не колхозник! Я, говорит, на тебя докладную подам!» (Игнат написал в воздухе «докладную».) Это я-то его замучил? Нашел дурака. Игнат да Игнат! Да что я им дался?

— Ты это напрасно: Пшеничкин — бригадир очень хороший.

— А я и не сказал, что он плохой. Нет, пущай он даст мне постоянную, чтобы я при деле был. У меня тоже нервов нету, я тоже был на войне, а теперь и работу себе не выбери по вкусу. Я, брат, им покажу. Игнат, думаешь, так себе? Не-ет! Я по облигации пять тысяч выиграл: возьму вот и уеду в санаторию. Почему другим можно, а Игнату нельзя? — спрашивал он не то самого себя, не то обращаясь все к тому же Пшеничкину.— Можно и мне. Можно или не можно? — Игнат посмотрел на меня.

— Можно, конечно, но только в работе скакать с места на место — это плохо. Дисциплину понимать надо,— повторил я его же слова.

Игнат молча посмотрел на меня еще раз, вытер рукавом губы после еды и махнул рукой, будто хотел сказать: «А ну вас всех к лешему!» Встал и пошел к лошади: отогнать ее от посева.

Все остальное время дня он о чем-то думал, изредка грозил молча кому-то пальцем. Иногда дремал и клевал носом в передок брички.

А вечером на наряде он заявил бригадиру решительно:

— На апробацию завтра не поеду: пропекло голову и... работа тяжелая — от солнца до солнца.

Белокурый и голубоглазый бригадир Пшеничкин — тот, что ездит всегда верхом на белом меринке,— воскликнул:

— Ну что с тобой делать? Что ни день, то фокус, что ни день, то опять! Ты ж все работы в колхозе перебрал, и все не по тебе. На ферме был, на волах ездил, прицепщиком был, около цыплят был, в кирпичных сараях был, на свекле был, и все тебе — не та работа.

— На апробацию не поеду,— еще раз сказал Игнат, будто вся речь Пшеничкина его не касалась, и он сообщал это бригадиру как окончательно решенное и не подлежащее обсуждению.

— Тогда никакой работы не дам! — вспылил Пшеничкин и сжал в кулаке свою фуражку.— Иди до дому! Предупреждение у тебя есть, выговор есть, штраф на три трудодня тоже есть: что тебе еще надо? Что по уставу осталось? Подать докладную, чтобы исключили? Так, что ли?

— Подай,— равнодушно ответил Игнат.— Подай! А я им так скажу.

— Скажешь — «воевал»? Знаю... Я тоже скажу, что в роте Игнату Ушкину попадало за нарушение дисциплины.

— Что там со мной было в роте — не твое дело, Алеша, а орден-то за что-нибудь дали Игнату: их зазря не дают.

— Но зато мое дело — где тебе сейчас быть. Понял? Ну Игнат,— убеждал Пшеничкин, протягивая ему обе руки,— ты подумай только, что ты за человек!

— Не! Не поеду. Давай другую работу!

— Нет тебе никакой работы. Иди! — горячился бригадир.— Доложу председателю.

— Ну доложи, доложи, а я пойду в район жаловаться,— все так же невозмутимо говорил Игнат.

— Иди!

— И пойду.

— Ну иди!

— А что ж, не пойду, думаешь? — не меняя тона, спрашивал Игнат.

Жаловаться он, конечно, никуда не пошел, да и сроду ни на кого не жаловался.

На следующий день, еще не ведая о вечернем разговоре с бригадиром, я зашел спозаранку к Игнату, чтобы поторопить с отъездом в поле. Хата его, в отличие от соседних, была неприглядна: глина кусками отвалилась от стен, крыша оползла и осела верблюжьим горбом; навоз навален около хлева так, что можно, как по горке, взойти на самый хлев; лопата с поломанной ручкой валялась у стены.

Солнце еще не взошло, но в хате уже слышалась легкая перебранка. Говорила жена Игната:

— Что ж ты ни за что дома не берешься? Крыша течет, хлев худой, полы надо перемостить, печь переложить, а ты...

— А я гармонью новую куплю, буду учиться играть,— отговаривался Игнат незлобиво, и нельзя было понять — шутит он или нет.— Кордион куплю.

Я вошел, поздоровался.

У Игната ворот рубахи расстегнут, босые ноги висят с кровати и чешут одна другую; волосы похожи на мятый, перепутанный лен: видно, что проснулся недавно. Жена, Домна Васильевна, стоит у печки, уже готовая идти на работу; в хате подметено, стол вымыт. Ростом она выше мужа, полногрудая, чернобровая. Мальчик лет трех сидит на скамейке и играет, гремя коробкой с пуговицами.

— О чем спор?

Игнат ответил не сразу.

— Обвиняет меня супружница в неправильном подходе к личному хозяйству. А я ей говорю, что личное хозяйство теперь — тьфу! При коммунизме не надо будет ни хаты, ни коровы: надо молока — на, бери! — Он сложил пальцы так, будто держал литровую банку и уже кому-то ее подавал.— Надо тебе квартиру — на, бери!

Надо, скажем, тебе гитару тальянскую о двенадцати струнах — на, гитару, бери, только играй, пожалуйста.

— Да тебя до тех пор потолком завалит! — Домна Васильевна подняла беспокойные глаза вверх и указала на пятна.— Хочет с раскрытой крышей до коммунизма дожить. Кто тебя туда пустит с такой хатой? Горе ты мое!

— Пуговку вынь! — спокойно сказал Игнат.

— Что?

— Пуговку Ленька заглотнул: вынь!

— Да что ж ты сам не мог вынуть? — Домна Васильевна кинулась к ребенку.

— Твое дело за ребенком смотреть.

— А если проглотил бы? — спросила она с сердцем и, нажав на щечки мальчика, вынула пуговицу пальцем.

— Ничего ему не подеется. Телок на ферме целый пояс заглотнул, ничего не сотворилось — жив и по сей день! — сказал Игнат, не меняя позы, но было в его тоне что-то тонкое, насмешливое, чего, может быть, не понимала и жена.

— Ну, хватит балясы точить! — почти мирно заговорила Домна Васильевна.— Давай на работу, а я Леньку в ясли занесу.

Игнат посмотрел на меня и сказал, будто отвечая жене:

— Не думал сегодня на работу.

— Да ты что? С ума сошел? — крикнула она.— У меня, у женщины, триста трудодней, а у тебя сто сорок! Ты что, хочешь меня осрамить? Куда ни пойди, все — «летун» да «шатай-валяй»... А ну-ка, одевайся! — Она решительно подошла и без труда сдернула его с кровати.— А ну, иди запрягай!

— От чертова баба! — сказал Игнат и, видимо ничуть не обидевшись, стал обуваться, затем умылся, и вскоре мы вышли с ним вместе.

Три дня промучился со мной Игнат на апробации, но — что интересно! — исполнял все точно и аккуратно.

А бригадиры и председатель продолжали обсуждать, что делать с Игнатом.

На любой работе он дольше недели не выдерживал и просил другую: на вывозке навоза у него «рука развилась», на сенокосе — «нога отнялась», на тракторном

прицепе — «дых сперло от пыли», даже на апробации — «голову напекло» и «нервы не держут». «Нервы, говорит, нужны крепкие. А ну-ка сноп обмолотится или развяжется — вот и беспокойство целый день. Мне нужна работа покойная».

Собственно говоря, он ежедневно на работе и вполне понимает, что — по уставу — его исключить не могут, но заработки его слабые, половинные: полтрудодня ежедневно вкруговую не выходит. «И кому какое дело,— говорит он,— сколько я зарабатываю! А может, мне и этого за глаза хватает».

Вывести Игната из терпения совершенно невозможно, его, как говорится, «ни гром, ни райком» не растревожат. Он иногда поет под балалайку песни — грустные или веселые, смотря по настроению. О музыке поговорить любит и иногда скажет:

— Гармонь у меня «трехтонка» и «грамматика» с заемным басом.

— Что она у тебя — автомашина или книжка? — удивился я как-то.

— В музыке тоже понятие надо иметь,— объясняет Игнат,— «трехтонка» — это в три тона играет, а «грамматика» — это такой лад, грамматический называется.

— Хроматический.

— Вряд ли! — сомневается он.— Все настоящие гармонисты так говорят.

Переубедить его нет никакой возможности: он не спорит, но и не соглашается, оставаясь при своем мнении. Еще в школе, малышом, он сказал учительнице: «Без тебя знаю». А все оттого, что рос единственным сынком, всегда только и слышал, что «умница», да «молодец», да «не тронь топор», «не хватай молоток», «поставь ведро! Сами воды принесем», и ничего ему не приходилось делать: «Сами сделаем. Играй, Игнатка!» Так и привык. Люди стали комбайнерами, бригадирами, трактористами, агрономами, а Игнат — с балалайкой. Так и пошла по колхозу пословица: «Работает, как Игнат с балалайкой».

Ну, это все дело прошлое: год от году Игнат все-таки работает лучше, все-таки минимум стал вырабатывать, хоть и с натяжкой. Однако уважения колхозников все равно нет. Да и какое может быть уважение к человеку, который дальше минимума не идет! А между прочим, Игнат обладает довольно трезвым рассудком и шутку

отколоть любит такую, что запомнится всем надолго; шутит он чаще всего загадками, так, что спервоначалу и не поймешь, и при этом не ждите от него улыбки: лицо не изменится ничуть, останется таким же спокойным, как и всегда, а улыбнется он только после, иногда даже через несколько дней.

Вот, например, какой получился у него случай с плотником Ефимычем, с которым у Игната были всегда хорошие отношения.

Убило громом свинью у Ефимыча. Конечно, в доме — горе. Собрались и соседи и дальние односельчане, набились во дворе, ахают, сожалеют, сочувствуют:

— Эх, какая свинья-то хорошая была!

— Ай-яй-яй! Еще бы две недельки — и колоть можно!

— Убытки-то, убытки-то какие, Ефимыч!

Сам Ефимыч в горестном виде в сотый раз пересказывает, как он стоял около свиньи, как «оно ахнуло, треснуло, разорвалось» около него; как он сперва оглох и что-то «долго пищало в ушах, а потом отлегнуло». А Игнат слушал, слушал, да и говорит:

— Плясать надо, а не плакать.

— Что ты — с ума сошел? — рассердился Ефимыч.

Старуха Ефимыча плачет.

— Бессовестный! У тебя соображение есть или нету? У нас горе, а ты «плясать».

— Иди со двора! — зыкнул могучим басом Ефимыч.— Сам в четверть силы работаешь, да хочешь, чтобы и у других живности не было.

Игнат ушел.

Так расстроенный Ефимыч и не сообразил, что ведь могло ж убить его, а не свинью, что стоял-то он рядом с нею! С тех пор старик остался в обиде на Игната и никогда с ним не разговаривал.

Друзей у Игната совсем не стало, к тому же жена пилит и пилит ежедневно. И решил он уходить в город, но неожиданно, будто бригадир Пшеничкин следил за его мыслями, вызвали Игната в правление. С первого зова он, конечно, не пошел, а сказал посыльному:

— Сперва пусть скажут, по какому делу.

Посыльный вернулся и сообщил:

— На постоянную назначают.

— Пущай скажут, на какую, а я тогда подумаю: идти или нет.

Но все-таки со второго зова Игнат в правление пошел — уступил. Как уж они там решили, не знаю, но только Игнат встретился мне сияющий.

— Назначили,— говорит,— на пожарку! А что ж! Лошадь, бочка воды, насос: больше ничего! Семьдесят пять соток ежедневно: чего Игнату больше надо? Ничего Игнату больше не надо! Дал слово: до конца уборочной дежурить.

Пожарный сарай стоял в десяти — пятнадцати метрах от агрокабинета. С Игнатом мы теперь виделись часто.

Однажды в открытое окно я увидел Игната. Он сидел на пожарной бочке в холодке с балалайкой в руках и изредка отмахивался от мух. Все дни он был веселым, а сейчас что-то загрустил, тихонько потренькивая струнами. Потом, склонив голову набок, Игнат запел:

Ах, где вы сокрылись,
Ах, карие глаз...

— Нет, не так,— оборвал он на полуслове и запел снова, встряхивая головой при ударе пальцев по струнам:

Ах, где вы сокрылись...

— Нет, не так! — снова воскликнул он. Ловко почесав спину углом балалайки, схватил горстью муху на коленке, взял ее двумя пальцами, рассмотрел, бросил в бочку и некоторое время наблюдал: вероятно, муха кружилась на воде, и он любовался рябью. Потом, встрепенувшись, опять запел.

Он повторил куплет раз десять и неожиданно умолк. Поставил балалайку между коленями, оперся подбородком о гриф и задумался.

Ко мне в кабинет вошел Пшеничкин.

— Завтра можно начинать,— сказал он, присаживаясь на стул.

Мы договорились выехать вместе на третий участок к комбайну завтра к десяти часам утра: рано там делать нечего, так как хлеб только-только «подошел» и поутру будет сыроват для уборки.

Пшеничкин собрался уже уходить, но я указал ему на окно. Игнат сидел задумавшись, в том же положении, только ноги чуть разъехались на бочке.

— Во! Сидит... И хлопот же с ним! — сказал бригадир сердито.

— Уйдет?

— А кто его знает! Ведь и малый он не плохой, а поди ж ты, никакого подходу не придумаешь. Мне от председателя, Петра Кузьмича, уже чуть-чуть попало.

— А тебе за что?

— «Ваша, говорит, ошибка как бригадира: ответственности ему не предъявляли в работе, потачку давали. Этого, говорит, штрафом не возьмешь: ответственностью ему в лоб!» Пожалуй, моя ошибка есть,— согласился Пшеничкин.

— Ну, и как же решили?

— Сдали ему пожарный инвентарь, лошадь, сбрую по акту и в полной исправности — на шесть тысяч рублей: уйди попробуй! Мало того, вдруг пожар: не выедет — судить могут. Все это ему втолковали вчера, а в первый день только акт сдачи подписали.

Так вот о чем задумался Игнат, вот откуда тоскливые «карие глазки»! Уходя, Алеша сказал:

— Кузьмич вцепился — не оторвешь: придется Игнату перестроиться.

...А председатель уже звонил в город начальнику пожарной команды и просил прислать специалиста — проинструктировать вновь выделенного пожарника Игната Прокофьевича Ушкина.

Вскоре приехал инструктор и два дня провел с Игнатом. Сначала учил, как обращаться с насосом, как складывать в ящик шланг; потом позвали шорника и переоборудовали сбрую так, чтобы лошадь можно было запрячь в течение двух минут. По сигналу инструктора Игнат подскакивал к лошади, заводил в оглобли и запрягал, но приезжему все казалось, что медленно, и он повторял тренировку до тех пор, пока не нашел работу Игната удовлетворительной. Игнат тоже был доволен: так быстро запрячь ни один человек в колхозе не может! Сам Пшеничкин не может! А Игнат Ушкин может, Игнат знает точные движения!

Затем инструктор ходил с Игнатом в конюшни, на фермы, ездил по полям и говорил:

— Учти! Огнетушителей всего восемнадцать штук — следи за исправностью, прочищай отверстия! Так. У комбайнов имеется шесть огнетушителей: проверяй налетом, как коршун! Комбайнеры недооценивают значение огнетушителя. Так. Токи и скирды опахать: мертвую полосу сделать кругом них, чтоб огонь не подобрался. Так. Зернохранилище обсадить деревьями: защита со временем

будет. Все это на твоих руках. Твоя первая заповедь: «Ни одного пожара за лето!»; от тебя зависит — будет хлеб цел или нет. Когда хата или скирда сгорит, то золу и дурак затушит, а наше главное дело — не допустить пожара. Насчет добровольной дружины думай: поставь на правлении вопрос ребром!

Все рассказал пожарник и уехал.

В первый день после отъезда инструктора Игнат пел полным голосом:

Эх! Как у наших у ворот
Да комар песенку ведет...

— Э-эх! Э-эх! — Он притопывал ногой, давал дробь пальцами по балалайке, передергивал плечами. Видно было по всему, что дела пошли веселые.

В тот же день вечером пришел он в правление. Заседания при Петре Кузьмиче кончались рано, ночных мучений, как при Прохоре Палыче, уже не было, и Игнат попал к «разным».

— У меня есть вопрос ребром,— сказал он, когда счел это нужным.

«Так и есть,— подумали присутствующие,— отказываться пришел. Ну и Игнат!»

Алеша Пшеничкин даже подпрыгнул на стуле.

— Ну что с тобой остается делать? — воскликнул он.

— Я скажу,— ответил Игнат.— Главное дело — не торопись! Чего испугался? Выражаться, сам знаешь, не буду.

— Говори! — улыбаясь, поддержал Игната Петр Кузьмич.

— Товарищи! — начал Игнат и обвел всех взглядом.— У меня на руках на шесть тысяч разного имущества. Задаю вопрос и отвечаю: кто сейчас на пожарке? Никого. Где Игнат? В правлении. А если пожар случится в настоящий вечерний момент, то кто выедет с пожарным агрегатом на тушение такового? Никто. Игната там нету. Что же вы думаете по этому вопросу? Игнат пятеро суток живет на бочке — и день и ночь. Если меня назначили лежать и спать, то буду лежать и спать. Я кончил, а вы решайте!

— Ничего пока не понимаю,— сказал Петр Кузьмич.

— Отказываешься? — спросил Пшеничкин.

— Тогда добавлю. Может человек круглые сутки не спать или не может? — спросил Игнат и тут же автори-

тетно ответил: — Не может, товарищи, обыкновенный человек жить не спавши не может. Не знаю, как вы, а я бы на вашем месте догадался: одного подсменного на пожарку поставить надо обязательно, чтобы двое, один — на ночь, другой — на день. Догадались?

— Догадались,— ответил Петр Кузьмич вполне серьезно.— Удовлетворим.

Игнат повеселел, речь пошла смелее, а Алеша Пшеничкин облегченно вздохнул.

— Не все! — продолжал Игнат.— Случаем — пожар, то как? Двое только и тушить будем? А все прочие — анархия да «Караул!», «Батюшки!»? Нет, товарищи, нельзя! Нельзя. У Петуховых хата горела, то что тогда получилось? Один полез на лестницу да испугался — и назад, а снизу двое сразу вверх лезут: столкнулись и грохнулись наземь все втроем вместе с лестницей. Было ж такое дело? Было, никто не отрицает. Никита печенки отбил где? На пожаре — с лестницы упал... А хата все равно сгорела дотла.

— Разгадал! — воскликнул Петр Кузьмич.— Дружину добровольную надо организовать. Так?

— Точно,— подтвердил Игнат.

После короткого обсуждения решили вопрос и насчет дружины, но Игнат не унимался.

— Не все еще. Что лучше: тушить пожар или не допустить пожара? Каждому ясно, товарищи, что лучше делать так, чтобы пожара не было совсем. Ставлю вопрос ребром,— он поставил ладонь ребром, посмотрел на нее и продолжал: — Опахать токи, обсадить зернохранилище, следить за исправностью огнетушителей,— тут он рубанул ладонью воздух.— Ребятишкам спичек в сельпо не продавать ни под каким видом, и табаку — тоже. Когда это безобразие кончится? Сам с цигарку, а дымит, как паровоз! Так. И еще добавлю: на фермах — под метелку, ни соринки, ни соломинки, чтобы огонь не подобрался. Какая первая заповедь — спрашиваю я вас, товарищи? Какая? Отвечаю: ни одного пожара за лето!

Петр Кузьмич зааплодировал, и все его поддержали.

В тот же вечер Игната отозвал в сторону бригадир Платонов — тот, что ездит только на дрожках,— и сказал так:

— Хорошо действуешь, Игнат Прокофьевич, хорошо.— Тут Платонов сделал таинственное лицо, осмотрелся по сторонам, хотя они стояли в дальнем углу комнаты,

и по секрету зашептал: — Люди могут сказать: мол, за пожарами следит, а своя хата антипожарная. Чуешь? Конек прикрой и глиной залей, обмажь хату, побели!

— То — личное, тьфу! — так же тихо прошептал Игнат и даже плюнул тихонько.

— Другие-то хаты личные, а ты же их охраняешь. Тут пример должен быть. Чуешь?

Игнат задумался.

Несколько дней подряд он ходил с палкой в руках по токам, к комбайнам, бывал на фермах, ходил в самую жарищу, и головы ему не напекло, как на апробации, хотя дни стояли еще более жаркие, чем тогда.

Пришел Игнат в бригаду Алеши Пшеничкина на ток и говорит:

— Опахать! На правлении решили, и инструкция гласит опахать на двенадцать метров кругом.

— Сейчас не могу,— возражает Алеша,— все лошади заняты.

— А после пожара можешь? — задает вопрос Игнат.

— Но! Прилепился! — неосторожно сказал Пшеничкин.

— Как, как? Ты меня ставил на должность?

— Я.

— Почему тогда не выполняешь инструкцию? Если так, давай другую работу!

— Ну завтра, понимаешь, завтра!

— А я завтра иди к тебе проверяй? Их четырнадцать токов в колхозе: если все — завтра, то двадцать восемь дней потребуется. Инструкция гласит: ток готов — опаши!

Алеша начинал волноваться.

— Тебе надо, чтобы я лежал? — обратился Игнат к бригадиру.— Буду лежать.— И он, правда, вытянулся среди тока и подложил ладонь под голову.— Лежу, пока ток не опашешь. Я все сказал, Алексей Антонович. Хоть три дня буду лежать, я могу.— Он помолчал и уверенно заключил: — Опашешь! Скирдой меня закладывать не будешь!

Пшеничкин даже плюнул с досады.

— Сергей Васильевич,— крикнул он,— выпрягай из брички! Давай опашем ток... Плуг там, в сарае.

После того как опахали ток, Игнат направился к комбайну. На ходу взошел на штурвальный мостик, вытащил из держателя огнетушитель, постучал по нему щелчком,

сошел снова вниз, забежал вперед и поднял руку. Комбайнер — молодой, широкоплечий паренек, покрытый пылью и половой так, что и не поймешь, то ли брюнет, то ли блондин,— замахал ему рукой и закричал:

— Сойди, говорю!

Тракторист грозил Игнату кулаком из дверцы кабины и жестом показывал, как он раздавит его в лепешку, но тот стоял невозмутимо. Стал и весь агрегат. Все подбежали к Игнату: тракторист, комбайнер, штурвальный, двое соломокопнильщиков. А Игнат вдруг сел на землю, видимо опасаясь, что его просто столкнут с дороги. Комбайнер совал ему громадный гаечный ключ к носу и кричал:

— Остановить агрегат — преступление! У меня — норма, у меня — сроки! Ты понимаешь — хлеб!

Игнат сказал:

— Садись!

Никто, конечно, не сел, и все дружно плюнули, а тракторист вскочил в кабину и включил скорость. Залязгали гусеницы трактора, загремел комбайн. Но Игнат лег, опершись на локоть, и ковырял соломинкой в зубах. Гусеницы остановились в двух метрах от него: поверни тракторист вправо — хлеб помнешь, поверни влево — зарежешь хедером Игната. А тот поманил пальцем комбайнера: дескать, придешь все равно, через человека не поедешь! Комбайнер подошел, ударил фуражкой оземь и начал выражаться разными словами, а Игнат спросил:

— Огнетушитель для чего? — И, не дожидаясь ответа, сообщил: — Для безопасности от огня. Заряди!

— Да заряжу вечером, на заправке! Не могу допустить простой! В райком пожалуюсь!

— Никакого простоя не будет: вода есть, заряды есть, пятнадцать минут — и готово!

— Вечером, говорю! — кричал комбайнер.— Ты человеческое слово понимаешь или нет! Ве-че-ром!

— Человеческое понимаю, а вот как ты выражаешься, не понимаю,— отозвался спокойно Игнат, глядя вверх на облачко, будто ничего и не случилось.

Комбайнер устыдился и уже тише сказал:

— Ну, слышь: вечером!

— Ничего не вечером. А я, дежурный пожарной охраны, должен к тебе вечером идти проверять? Нет,

вечером не могу. Сейчас делай! Инструкция гласит как? А так: без огнетушителя не смей косить! Без огнетушителя — ни шагу вперед! Затем он и придается к сложному агрегату, который тебе доверили.— Тут Игнат ударил кулаком о землю.— Сам секретарь райкома, Иван Иванович, сейчас был и говорит: «А сходи-ка, Игнат Прокофьевич, проверь огнетушители на комбайнах!» — Игнат решительно встал, отряхнул колени и зад ладонью.— Давай ведро, воду, заряды! Заряжать умеешь?

— Учили... Знаю,— буркнул комбайнер и вскоре загремел ведром.

Делали все быстро: в ведре воды растворили пакеты щелочи, залили раствор в камеры огнетушителя, вставили два стеклянных закупоренных баллончика куда следовало, подвязали кусочек картона под ударник; вся процедура заняла не более пятнадцати — двадцати минут. Когда огнетушитель, уже заряженный, вставили в гнездо, Игнат подал проволочный крючок комбайнеру и сказал:

— Привяжи к аппарату, будешь ежедневно прочищать выходное отверстие! — Не оглядываясь, он пошел к следующему комбайну.

Короче говоря, Игнат Прокофьевич навел полный противопожарный порядок в поле и принялся за фермы. Там он заявлял:

— Говоришь: «некогда», «молоко прокиснет»? А после пожара не прокиснет? Уберите сухой навоз, подметите! Тогда уйду. Вот сижу на молочном баке и буду сидеть хоть трое суток — я могу! — а вам молоко лить некуда.

Сладу с ним никакого не было. Его жена Домна Васильевна, работавшая на ферме дояркой, высказалась так:

— Бабоньки, ничего не поделаешь! Я его знаю: если втемяшится, то паровозом не сдвинешь. Давайте очищать! Он у меня целый месяц уже не обедает дома, а вечером как доткнется до кровати, так замертво и засыпает.

А Игнат, сидя на баке, выбивал на нем всеми десятью пальцами «комара» и объяснял жене:

— Должна понимать, сколько на мне колхозного добра лежит: пожарный инвентарь, пять комбайнов, четырнадцать токов, четыре фермы... А триста хат колхозников? Они хоть и личные, но гореть им пока еще не надо. «Не обе-едает до-ома!» — передразнил он шутливо.—

Так, думаешь, и не обедаю? Сейчас в любом месте в поле можно пообедать — только ешь, пожалуйста! Примерно, пришел Игнат на ток, а ему: «Игнат Прокофьевич, садись за компанию!» — Он снял фуражку, поклонился и продолжал: — Игнат — к комбайну, а ему говорят:« Товарищ Ушкин, отобедать не угодно?» — Он отвел руку с фуражкой в сторону и еще раз поклонился.— У вас вот только и спорить приходится, как с несознательными элементами, а другие сразу инструкцию выполняют.

Конечно, фермы очищались, подметались, Игнату в заключение подносили двухлитровую посудину молока, и все, в конечном счете, были довольны. Даже колхозники не стали возражать, когда он, делая обход, выговаривал:

— Когда трубу чистила? Сто лет назад, в царствование дома Романовых. Инструкция, в примечании, гласит: «За нечистку трубы штраф двадцать пять рублей». Подвергаешь опасности населенный пункт и социалистическое имущество. Завтра проверю.

И все стали аккуратно чистить трубы. Однако когда Игнат зашел к плотнику Ефимычу, чтобы проверить трубу, тот схватил увесистый дубовый метр и, не выслушав контролера, молча погнал его со двора.

Игнат не обижался, Игнат работал с песнями и присвистом, хотя и не спеша. А бригадир Платонов, глядя на Игната, толковал Алеше Пшеничкину:

— Знаешь, Алеша, ему бы коня под седлом да «тулку» за плечи: ой и объездчик был бы мировой! Сам пылинки чужой не возьмет и рвачу не даст.

— Если только новый фокус не выкинет. Боюсь пока за него. Вряд ли он в пожарке-то усидит на одном месте, а не то что в объездчики,— сомневался Пшеничкин.

Но и зимой, на удивление всему колхозу, Игнат остался на пожарке и еще, кроме того, взялся по совместительству вязать сорговые веники для продажи, а когда сдавал их в кладовую готовыми, то говорил:

— На каждом венике вензель выжжен — «Н. Ж. И.». Повыше — «Н. Ж.», а «И.» — чуть ниже. Это значит,— объяснял он,— колхоз «Новая жизнь», а вязал веник Игнат. Таким веником хоть Красную площадь подметай — не стыдно!

Кто ж его знает, этого Игната! Может быть, он и вправду мечтал, что веники попадут в Москву и кто-то будет подметать ими Красную площадь.

Всю зиму увлекался он вениками и наконец стал их делать прямо-таки художественно: вплетал лычки, хитро перевивая на рукоятке, весь веник подбирал по одной стеблинке, а у основания рукоятки приделывал бантик из тонкого белого прутика. Правда, изготовлял он веников вполовину меньше прочих мастеров-колхозников, но лучше никто не вязал.

...К весне ближе, когда пригрело солнышко и набухла речка, когда с бестолковым перекликом полетели гуси да засвистели в сумерках крыльями утки, Игнат заскучал.

Он подолгу прислушивался к скворцу, всплескивал руками и восхищался, когда тот то ворковал голубем, то свистел по-мальчишьи или хохотал по-сорочьи.

— От музыкант так музыкант! — восклицал Игнат.— От скворец — молодец, а ворона — дура!

Иногда часами просиживал около пожарного сарая, встречая и провожая стаи гусей, и тихо говорил:

— Эх вы, гуськи, гуськи! Молодцы гуськи!

Часто заходил, по соседству, ко мне в агрокабинет, сидел молча, читая газету, и никогда не мешал работать, разве только скажет:

— Все пишешь, Акимыч.

— Надо. Требуют, чтобы аккуратно и вовремя все делалось, по плану.

— Летом — днями в поле, зимой — все пишешь... Трудная работа!

— Нет,— говорю,— хорошая, Игнат Прокофьевич, работа.

— Требуют, говоришь? — спросил он, глядя в пол.

— А как же!

— Эх-эх-хе! — вздохнет он.— А с меня никто не требует: вроде так и должно быть.

— Вот подойдет лето, снова будешь хлопотать, добиваться противопожарного порядка: оно и веселее будет.

— Да они теперь, двадцать километров не доезжая, позаряжают огнетушители, а на фермах — привыкли... Чего я буду делать? Нечего Игнату делать! Бочка воды, насос и лошадь: сиди, Игнат, жди пожара! Разве это работа?! — После этих слов махнет безнадежно рукой и выйдет.

Заскучал Игнат и, потренькивая на балалайке, тихонько пел у пожарного сарая:

Эх, летят утки...
Летят утки и два гуся...

Он долго тянул последнюю ноту, потом вдруг резко встряхивал головой, вскрикивал: «Э-эх!», делал паузу и, медленно поникая головой, заунывно продолжал:

Эх, чего жду я... Чего жду я,
Не дожду-у-уся-а-а...

Чего ждал Игнат — неизвестно, но недаром же он переделал куплет на свой лад: «кого люблю» заменил «чего жду я». Пел он тихо, плавно и вдруг давал дробь пальцами по балалайке, высыпал прибаутку:

Бабка сеет вику, дедка — чучавику!
Чучавику с викою, да вику с чучавикою!

— Э, будь ты, Игнат, неладен!

А потом снова:

Летят утки, летят утки...

Перепуталось настроение у Игната, совсем перепуталось! И делать, как видно, он ничего не хотел, даже и ходить стал как-то еще медленнее, нехотя, будто отяжелел.

Дежурство своему подсменному он сдавал перед вечером, около шести часов, уходил на берег речки и подолгу смотрел на воду.

Вот там-то, на реке, и произошел случай, запомнившийся всем в колхозе надолго, случай, о котором часто рассказывают сейчас и будут, может быть, рассказывать внукам.

В ночь тронулся лед, а к утру остановился. На хуторе Веселом этого не знали, и трое ребятишек пришли в школу по льдинам. Учительница, увидев их, перепугалась и домой не отпустила, но Сережке Верхушкину, десятилетнему мальчугану, не то чтобы не хотелось оставаться в селе ночевать, а, наоборот, захотелось во что бы то ни стало перейти еще раз речку. Он и пошел. Дошел до середины реки, а тут где-то захрустело, загремело, вода хлынула к краям. Он побежал к тому берегу, а там разлило по краю так, что впору вплавь бросаться; подумал да бегом назад. Подбегает обратно к селу, а тут еще шире, от льдин до берега — метров двадцать. Не выдержал Сережка, закричал.

Берег в том месте довольно крутой, хотя и не обрывистый, множество тропинок спускается к реке. Люди бежали на крик, собралось уже человек пятнадцать, все кричали с берега:

— Перемычку смотри!

— Сережка-а! Беги влево-о! До перемычки-и!

Влево, метров за двести, действительно образовалась перемычка: в узком месте реки несколько льдин отползло к берегу, и по ним можно бы и пройти, но Сережке внизу не было видно этой самой перемычки, а сверху кричали, махали руками, грохот льда все приближался, лед под ногами вздрагивал, вода бурлила в просветах между льдинами. Мальчик растерялся и уже не кричал, а тихонько плакал, не двигаясь с места. Кто-то пытался добросить ему веревку, но куда там: воды уже больше тридцати метров, а глубина теперь выше человеческого роста! Трое мужчин во главе с Ефимычем тащили лодку. Все сбежали вниз, советовали, кричали; вдруг что-то хрустнуло, огромная льдина на середине реки стала торчком, затем со скрежетом грохнулась о соседнюю, раскололa ее, и лед зашевелился.

Все ахнули.

В этот момент и показался на берегу Игнат. Он спокойно смотрел в течение нескольких секунд на все происходящее и бросился стремглав под гору, к реке.

— А ну посторонись, у кого ума нету! — бросил он на бегу, и все расступились, так как он бежал быстро, не похоже на Игната.

— Не дури! — озлился Платонов.— Не видишь — беда!

А Игнат, не слушая, сорвал с себя пиджак, снял сапоги, бултыхнулся в ледяную воду и поплыл к Сережке.

— Ах-х! — выдохнули все разом.

Перемахнул Игнат воду, вцепился руками в край льдины, пробует взобраться, а никак.

— Пропал Игнат! — сказал кто-то с дрожью в голосе.

Но Сережка — откуда и прыть взялась! — подскочил с краю, снял с себя пиджак, взял его за рукав, а другой подбросил Игнату; тот схватился одной рукой за пиджак, а мальчик, напрягаясь изо всех сил, помог, и наконец Игнат выбрался на лед. Он взял Сережку за руку и побежал к перемычке. Лед тихонько пошел... Игнат бежал с Сережкой зигзагами, обегая полыньи, навстречу ходу льдин, бежал, не выпуская руки мальчика, к тому месту, где река уже и льдины шли плотно к берегу. И люди бежали по берегу вровень с Игнатом и что-то кричали, махали руками, шапками. Вдруг рокочущий бас покрыл все крики и шум льда.

— Дава-а-ай сюда-а-а! Игнат! Сюда-а! — кричал Ефимыч, заметивший у берега затор льдин. Это было ближе, чем перемычка, да и цела ли она теперь там, никто не видел — на горе никого не было.

Игнат повернул на зов Ефимыча и две минуты спустя был уже на берегу. В этот момент прибежал и председатель колхоза и многие другие: народу все прибавлялось и прибавлялось.

Кто-то надел на Игната его пиджак, кто-то подал сапоги, принесенные с того места, где разулся Игнат... С горы приволокли тулуп и сразу набросили на героя, а Ефимыч нахлобучил ему свою громадную баранью шапку. Вручили и сухие ватные брюки. Игнат же спокойно, как всегда, сказал:

— Бабочки, повернитесь передом на запад, а задом на восток и перекреститесь в таком положении. А я портчонки сменю на сухие.

На лицах у всех появились улыбки. Кто-то сказал:

— Ну и Игнат!

А он посмотрел на гору как-то печально, вздохнул, взялся за голову рукой, закрыл глаза и повалился. Упасть ему, конечно, не дали, подхватили на руки, захлопотали, заахали:

— Ах! Ах! Сердце зашлось у бедняги!

— Фельдшера надо!

— Понесли на руках! — скомандовал подбежавший Алеша Пшеничкин.

Из двух весел и из пальто моментально соорудили носилки, положили на них Игната в тулупе и понесли на гору: впереди — Пшеничкин и Ефимыч, позади — сам Петр Кузьмич и Платонов. Игнат был человеком негрузным, и вчетвером они быстро вынесли его наверх.

Как только носилки очутились на горе, Игнат открыл глаза и сказал:

— Хватит. По ровному сам дойду,— и встал как ни в чем не бывало.

— Да ты что? — воскликнул Пшеничкин.

Все недоумевали.

— Э-ва! — сказал им Игнат.— Гора-то во какая высоченная! Чего на нее без дела лезть? — и побежал трусцой, а обернувшись к оставшимся и запахнув полы тулупа, добавил: — Я ж застудиться могу, если лежать до самого дома! А то бы лежал...

Нет, они не просто недоумевали, а буквально опешили и ничего не успели ему сказать на это. Наконец Ефимыч бросил оземь весло, плюнул и сказал:

— А черт его знает, что он за человек!

— Да-а! — протянул Петр Кузьмич.

Ефимыч негодовал:

— Лень ему, вишь, на гору вылезть! Несите его! Знает, чучело, что понесут!

— Да-а! — еще раз сказал председатель.— Подшутил он над нами! Уж не загадку ли он снова загадал нам? Бегают, мол, по берегу, как куры на пожаре, а мальчишка — на льду. Нате вам за это, тащите, дураки, на гору!

— А леший его знает, что он там загадал! — все еще сердился Ефимыч и, обернувшись к Алеше Пшеничкину, уже спокойнее попросил: — Там у меня, под верстаком, четвертинка водки. Дойди быстренько, отнеси ему. Вода ледяная — пропасть может Игнатка. Ему водки сейчас — обязательно: и в нутро принять и снаружи протереть надо. Сходи, Лексей Антоныч, а я... к нему не пойду,— заключил он решительно, попробовал было нахлобучить по привычке шапку, но ее не оказалось. Ефимыч плюнул и добавил: — И за шапкой не пойду!

Я пришел на берег одним из последних. Петр Кузьмич как раз говорил:

— Напрасно, напрасно, Ефимыч! Наоборот, надо тебе сейчас пойти к нему и, пожалуй, даже и выпить с ним по стопочке...

А когда мы втроем пришли к голубой, вновь покрытой хате Игната, то хозяин к тому времени уже успел принять две четвертинки благодарственных приношений и спал как убитый, тихо, без храпа.

— То ничего,— успокоительно сказал Ефимыч.— Через поллитру никакая простуда переступить не может.

ПРОХОР СЕМНАДЦАТЫЙ, КОРОЛЬ ЖЕСТЯНЩИКОВ

Спрашивается: какое отношение к запискам агронома имеет король, да еще семнадцатый?

Вношу ясность.

Прохор семнадцатый — это и есть тот самый Прохор Палыч Самоваров, который еще до Петра Кузьмича

Шурова был председателем колхоза; что же касается королевского титула, то это люди ему прилепили такое — беру только готовое.

Общий вид Прохора Палыча, конечно, резко выделяет его среди всего населения колхоза. С этого и начну.

Комплекция плотная, рост выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова большая, лоб узковат, но не так уж узок; нос узловатый, широкий и тупой, слегка приплюснутый, с синим отливом; нижняя губа приблизительно в два с половиной раза толще верхней, но не так уж толста, чтобы мешала; две глубокие морщины — просто жировые складки, а не то чтобы следы когтей жизни; глаза на таком лице надо бы ожидать большими, а они, наоборот, получились маленькие, сидят глубоко, как глазок картофелины, и цвета неопределенного, будто подернуты не то пылью, не то марью. Прохор Палыч не брюнет, не блондин, но, однако, и не полный шатен.

Одевается он с явным подражанием работникам районного масштаба: темная суконная гимнастерка с широким воротом — зимой и летом, широкий кожаный желтый пояс, ярко начищенные хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на плотной шее Прохор Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости нет кого-нибудь из работников района).

Вот он какой представительный!

Знакомы мы с ним уже порядочное время, довольно хорошо знаем друг друга, давно я хочу о нем написать, но все-таки каждый раз, как возьмешь перо, думаешь: что о нем писать?

Писать о том, что у него огромный клетчатый носовой платок, в который свободно можно завернуть хорошего петуха и в который он сморкается трубным звуком, так что телята шарахаются во все стороны,— это же неинтересно.

Сказать о нем, что он блудлив, нельзя, так как у него было только три жены: первая после развода вскоре умерла, вторая живет с двумя детьми где-то не то во Владивостоке, не то во Владимире, а с третьей он живет и сейчас (пока еще не регистрировался и, наверно, не думает).

Ну что еще? Сказать, чтобы он не делал ошибок, тоже нельзя. Ошибки он делает и всегда их признает рьяно,

признает, даже если этих ошибок нет, а начальство подумало, что ошибки есть. Иной день ему в голову приходит даже такое: «А какую бы мне такую ошибку отмочить, чтобы и взыскания не было и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда оставляет, так сказать, резервы. Вот он, например, как мы уже заметили, не регистрируется с последней женой — это тоже резерв! А ну-ка да скажет высшее начальство: «разложение» или что-нибудь вроде того? Тогда можно признать свою ошибку и скрепя сердце вернуться к прежней жене; так что в конце концов получается — жена у него одна-единственная, а эта теперешняя —так, ошибка.

Или, скажем, написать, что он много водки пьет,— клевета, оскорбление личности! Ничего подобного! Он никогда больше пол-литра в один присест не выпивает. А разве, спрошу я вас, нет людей, которые выпивают больше? Есть. И здесь Прохор Палыч прав, говоря, что он норму знает. Ну, не без этого, конечно, праздник там большой или свадьба в колхозе случится, тогда выпьет вдвое больше или около того; в таком случае в конце процедуры у него появляется непонятное головокружение, душевные переживания всякие, даже тоска какая-то, и он плачет. Прохор Палыч прав, говоря, что когда он пьян, то становится смирным настолько, что и курицу не обидит.

Еще о чем же? Разве о характере? Можно. Характер у него таков: с одной стороны прямой и твердый, а с другой — мягкий и податливый, как воск. Внутри же ничего не видно; тонкое дело — заглянуть внутрь человека! Может быть, со временем и выяснится, что там, внутри, а пока буду писать о том, что видимо как факт и что подтверждает сам Прохор Палыч.

Например, что значит: «прямой и твердый с одной стороны»? Это значит: если он что-либо надумал, а кто-то из людей ниже его по должности перечит, то Прохор Палыч найдет способ доказать твердость характера и прямоту. Быками не своротишь — найдет! Собственно, прямота проявляется чаще всего под конец собеседования, и он не моргнет глазом сказать возражающему: «К черту! Не выйдет по-твоему!»

Теперь: «с другой стороны — мягкий». Тут надо примером. Допустим, заехал из района в колхоз председатель райисполкома, или заведующий райзо, или кто-

либо — упаси боже! — выше, тогда Прохор Палыч, заходя в кладовую, делает следующее: сначала складывает колечком большой и указательный пальцы и произносит мягко, обращаясь к кладовщику: «Ко-ко — двадцать» (яиц, значит, двадцать). Затем покрутит пальцами около лба, завивая рожки, и говорит еще ласковее, со вздохом: «Бе-бе — четыре» (это означает — четыре килограмма баранины). Таким же шифром он передает мед (жужжит), ветчину («хрю-хрю») и наконец щелчком слегка бьет себя по горлу сбоку, подняв шею, и изрекает: «Эх-эх-хе! Маленькие мы люди. Ничего не попишешь: сама жизнь того требует».

В общем, о своем характере он так и говорит: «Я, если залезу на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твердый и прямой, как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: не могу, говорит, покойно видеть начальника, если он не ест и не пьет, аж самому тошно... А тут...— и он легонько постучит кулаком по груди.— Тут! Эх, товарищи, товарищи!» Просто даже интересно становится: а что же все-таки у него внутри? Я не говорю там о кишках, о печенках, о ложечке, под которой у него болит после выпивки, о катаре, который, по словам Прохора Палыча, есть в желудке каждого человека и который, собственно, и урчит-то всегда,— это все вещи известные и местоположение их ясно,— я говорю о характере: снаружи — человек как человек, а вот внутри — загадка.

И тем более, уж если бы он не читал совсем ничего, тогда можно было бы подумать о плесени, о наслоениях прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном... Но он же все-таки читает! Ежедневно, каждое утро читает отрывной календарь. Иногда чтение вызывает у него неожиданные эмоции: сидит на кровати, еще не обувшись, оторвет листок календаря, прочитает о восходе, заходе солнца и долготе дня, прочитает о восходе луны, подумает, подумает и скажет: «Эх вы, календарщики, календарщики! Знали бы вы нашу нагрузку! Не тем занимаетесь, товарищи!» Но какие предложения конкретно он вносит, остается неясным. Думаю, что речь идет об изменении долготы дня, а неопределенность замечания в адрес календарщиков объясняется, надо полагать, тем, что у него все-таки возникают сомнения: зависит ли это мероприятие от них? Прохор Палыч, конечно, не дурак!..

Правда, насчет астрономии у него в голове довольно большая туманность, что объясняется очень сильной нагрузкой; по этой же причине и сведения о химии походят на колбу с бесцветным газом: а черт же ее знает, есть там что, в этой колбе, или нет! Может быть, там и действительно ничего нет, а один обман природы! Недаром же Прохор Палыч говорит про всех землеустроителей: «Знаю я этих астрономов! Мошенники!» И об агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти мне химики: то не так, это не так! Вот они мне где! — И постучит ладошкой по загривку.— Спрашивается: за что зарплату получают?

Нет, пусть бы он сел у меня в правлении да писал или диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он занимается, а то уйдет в поле на весь день — и до свидания! Химики!»

И тут, конечно, Прохор Палыч прав, когда говорит, что насчет теории ему требуется только вспомнить кое-что, но пока сильно некогда.

Больше того. Он определенно имеет склонность к философскому мышлению. Право, редкому человеку удастся из одного-единственного слова построить длинное предложение с глубокой мыслью, а он может, да еще как может! Как-то вытащили его чуть не за шиворот в кружок заниматься. Там-то он и сказал такое умное, что облетело весь район. Когда у него спросили, как он усвоил материал и что думает по этому вопросу, он сказал: «План — это, товарищи, план. План до тех пор план, пока он план, но как только он перестает быть планом, он уже не план. Да. А наши планы были планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план...» Но тут его вежливо перебил руководитель кружка и, вытирая со лба пот, выступивший как-то сразу, сказал: «Мне теперь все ясно. Садитесь!»

Видите! Даже руководителю ясно стало все, так умеет сказать Прохор Палыч.

Нет, Прохор Палыч положительно интересный человек! Во всякий вопрос вносит он свое. Взять, к примеру, оценку своих знакомых. Он разделяет их на четыре группы: на беспартийных, кандидатов партии, членов партии и... кандидатов из партии. При этом он иногда скажет: «Вперед не забегай, сзади не отставай и в середке не толпись!» Но тут-то Прохор Палыч и допустил большую ошибку: не туда причислил себя и думал совсем не так,

как оно получилось. Правда, у него всего только три выговора с предупреждением (или четыре? Нет, три; четвертый — это не выговор, а одно только предупреждение в развернутом решении), но чистосердечное раскаяние всегда и у всех вызывало сочувствие. И это сочувствие заливало туманом его светлый разум, не дало возможности разобраться в том, куда везет его кривая. Он даже иногда, бывало, скажет: «О! Наш председатель райисполкома — человек! С этим не пропадешь!» Но... ошибся. Ой, как ошибся! Ошибся потому, что не учел, что и районные работники сменяются.

И уж если нечего писать о Прохоре Палыче, как сказано выше, то я подумал: «А дай-ка напишу насчет этой самой роковой ошибки жизни!»

Однако ясно, что человек приходит к ошибке не сразу, хотя он ее и признает, поэтому и написать коротко, одним скоком, не удастся, тем более мы еще совсем не знаем, что у него там внутри.

План моих записок таков:

А. Какими кривыми путями привела кривая Прохора Палыча до председателя колхоза, и насколько кривы были кривые пути его.

Б. Как он руководил колхозом, и что из того получилось, и получилось ли вообще что-нибудь.

1

Когда-то давно Прохор Палыч работал в мотороремонтной мастерской. Работал хорошо, старательно, заработки были хорошие. За старательность и силу его уважали. Линия жизни у него была прямая, а сам Прохор Палыч был тогда совсем не таким: и нос не такой, и синевы на лице не было, так как норма подпития была совсем другая, не та, что сейчас.

Но случилось однажды так. Вызвали его и говорят: «Работник ты хороший. Пора к руководству привыкать: пойдешь заведующим складом «Утильсырье». Никак не подберем туда кандидатуру». Прохор Палыч возражал, очень сильно возражал, но он многого тогда еще не знал о товарище Недошлепкине. А товарищ Недошлепкин был тогда председателем райисполкома. Если он, Недошлепкин, сказал: «Я д у м а ю», то это все должны понимать: «Так будет»; если он сказал: «Я п о л а г а ю», то это зна-

чило: «Будет только так»; если же сказал: «Мне кажется», то надо было понимать: «Так должно быть, так и будет». Только много спустя Прохор Палыч приспособился к такой манере руководителя района изъясняться, а тогда еще не понимал ее по неопытности и простоте своей. Товарищ Недошлепкин не дослушал возражений и сказал:

— Я, Недошлепкин, думаю, полагаю, и мне кажется, что ты, Самоваров, пойдешь в «Утильсырье».

Ах, если бы вдумался тогда Прохор Палыч в эти слова! Да где там вдумаешься, когда председатель повторил твердо, с пристуком ладонью по столу:

— Я высказался. Принимай работу!

Не понял тогда Прохор Палыч, что было сказано. Через несколько лет Прохор Палыч с улыбкой вспоминал: «Какой же я был тогда дурак! Не понимал самых простых вещей. Вот что значит неопытность в руководстве!» Понемногу он перенял тон и приемы Недошлепкина, появилась смелость, уверенность в своих силах и так далее, но это много после, а в то время он принял склад «Утильсырье» и приступил к работе.

И пошло!

Трое его подручных были люди опытные, деловые, вороватые. Делали все чисто. Сначала сверх зарплаты Прохор Палыч почему-то получал немного денег, а потом — больше. Поработал год. Вдруг откуда-то, не то из области, не то из центра, следствие: в тюках шерстяного тряпья, в середине, заложены отходы мешков, пакли, кострики, а вместо цветного металла где-то кому-то всучили какой-то черный. Кто туда положил не такое тряпье, Прохор Палыч не знал, но сколько денег он положил себе в карман, он все же знал — всучили-таки, жулики! — и сознавал свою ошибку. И только хотел было изучить утильдело, как его сняли.

И снова он у Недошлепкина. Тот сказал: «Я думаю...». Прохор Палыч понял его уже с одного слова и мигом очутился на складе «Заготзерно». Дело новое, надо подучиться, расспросить, вникнуть в теорию: все-таки хлеб, а не утиль. Но Прохор Палыч был уже куда смелее и в первый же день, по совету Недошлепкина, проверил лабораторию. Походил, походил по ней, посмотрел в зерновую пурку одним глазом, как в микроскоп, потрогал влагомер, надавил пальцем на техниче-

ские весы (отчего лаборантка даже вскрикнула, испугавшись за их целость) и сказал:

— Работу перестрой!

По личному горькому опыту на утильскладе он знал, что с подчиненными надо строже, иначе влипнешь, что подчиненный — не совсем полноценный человек (убеждения приходили постепенно, но довольно прочно). Кладовщиков он собрал под навесом. Сам сел на ящик, а им велел стоять и сказал:

— Я, Самоваров, много не говорю. Коротко: если замечу, что кто-нибудь насыплет ржи в пшеницу или овса в кукурузу,— прощайся с родными: тюрьма! Мне так кажется.

Помнил Прохор Палыч, как подкузьмили его подчиненные на утильскладе, и предупреждал ошибку. Опыт расширялся и углублялся медленно, но все-таки расширялся.

Проработал он год.

И кто же знает, откуда беде взяться! Недостаток обнаружился в девяносто тонн зерна. Какого зерна — толком сразу и не поймешь, но только недостаток обнаружился. Кто брал зерно, когда брали, куда девали — Прохор Палыч, истинное слово, не знал. Он, правда, знал, что конюх привозил ему откуда-то муку-первач, но ведь не девяносто же тонн! Еще вспомнил, что в какой-то не то ведомости, не то отдельном списке он расписывался в получении денег и что бухгалтер говорил насчет этого списка: «Мы его со временем чик-чик — и нету!» А черт же его знал, как это «чик-чик!» Но только следствие было, кое-кого судили, а Прохора Палыча защитил Недошлепкин. Написал отличную характеристику, напомнил, что Самоваров только начинает руководить, что имеет мало опыта, что жулики его обвели вокруг пальца,— много написал Недошлепкин, много беседовал с прокурором, звонил куда-то, хлопотал, и все сошло.

Но ведь и оставить после этого у руководства нельзя. Сняли. Походил, походил Прохор Палыч вокруг районных организаций и учреждений и пошел к своему покровителю. Приходит. Спрашивает его Недошлепкин:

— Ну как?

— Да так,— ответил Самоваров неопределенно.

— А все-таки?

— Так себе!

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

Недошлепкин, как видно, изучал собеседника и мыслил про себя: «Не ошибся ли я в нем?»

— А точнее?

— Обыкновенно! — вздохнул Прохор Палыч, ожидая слов «я думаю» или, что еще лучше, «мне кажется».

— Как так — обыкновенно? — недоумевал председатель.

А Прохор Палыч видит, что тот в недоумении, и осмелел.

— Убил бы!

— Кого? — Недошлепкин привстал в полном испуге, так как был не очень храбр.

— Эх! — замотал головой по-бычьи Прохор Палыч.— Убил бы!

— Кого? — уже шепотом произнес председатель и стал за спинку кресла.

Прохор Палыч молча понурил голову. Начальник продолжал испуганно смотреть на него и не мог, конечно, в таком случае сказать ни «я думаю», ни «я полагаю», ни тем более «мне кажется». Так получилось, что Прохор Палыч ушел в себя, а Недошлепкин, наоборот, вышел из себя.

И третий раз вопросил глава района, еле выдавив из себя:

— Кого?

Прохор Палыч поднял голову, еще раз покрутил ею, ударил себя в грудку (тихонько, слегка!) и наконец с надрывом выкрикнул:

— Себя! Ошибку допустил!

И сразу после этого все вошло в норму: Прохор Палыч вышел из себя, а Недошлепкин ушел в себя — сел в кресло, поднял острый носик вверх, поправил громадные роговые очки и нахмурил брови. Покатая лысина заблестела матово-желтым цветом. Он застучал пальцем по столу, продолжая дальше изучать Самоварова. Глаза у Недошлепкина были настолько узкими, к тому же заплывшими, что создавалось впечатление, будто он ничего не видит даже около своего носа. Но он видел, изучал, задавал наводящие вопросы:

— Ну так как же?

— Да так.

— А все-таки?

— Да как сказать...
— Значит, признаешь?
— Признаю.
— Каешься?
— Каюсь!
— Ну так что же ты скажешь?

Прохор Палыч совсем осмелел и выпалил, жестоко бия себя в грудь:

— Ошибка моя вот тут! — и сделал совсем жалобное лицо.

Недошлепкин расчувствовался — высморкался, плюнул тихонько и так же тихо произнес:

— Вот, черт возьми!

Прохор Палыч тоже высморкался, но трубно, громко.

Конечно, начальник уже был готов произнести чарующие фразы, которые начинаются с буквы «я», но Прохор-то Палыч еще не понимал, что тот готов. Лишь позже он научился догадываться о течении мыслей начальства, но тогда еще много не понимал.

И вот наконец Недошлепкин говорит:

— Что же тебе сказать?

А Прохор Палыч изрекает, уже оправившись от сморкания:

— Я думал, товарищ Недошлепкин, что вы полагаете и вам кажется.

— Да, братец ты мой! — восхищенно воскликнул тот.— Таких проницательных людей я в первый раз встречаю. Вот это — да! Самородок! Кусок народной мысли, как говорит какой-то писатель или историк. Да ты знаешь, какая перед тобой линия открывается? Да ты сам не понимаешь, кем ты можешь быть! — И пошел, и пошел! Хвалил, хвалил, а напоследок напутствовал: — Держись за меня! Со мной кривая вывезет. Помогу, поддержу, научу.

И стал после этой беседы Прохор Палыч торговать керосином в магазине райпотребсоюза. Но не это важно, а важно то, что Прохор Палыч уже понял — точно понял! — что́ такое признание ошибок, как их признавать, когда признавать и перед кем признавать; важно еще, что после этой беседы он понял себя: кто он есть и кем он может быть, то есть оценил себя так же высоко, как оценил его Недошлепкин. И пошел после этого расти и расти! Вот он уже пробует произносить речи — его поддерживают, выдвигают по рекомендации

Недошлепкина. Вот он уже критикует небольших начальников, от которых ему ни жарко, ни холодно, критикует громко, смело, со всей прямотой своего нового характера. Пошел человек в гору!..

На керосине он, правда, прогорел (не то недостача, не то излишек, но больше года и здесь не работал), однако стал директором райтопа и числился уже в районном активе.

Наконец к переменам должностей и профессий он так привык, что считал это вполне нормальным для актива, считал, что настоящий-то актив и перебрасывается «для укрепления»: укрепил в одном месте — крой на следующее, укрепляй еще; не укрепил — признавай ошибку, плачь, сморкайся и валяй дальше — укрепляй в другом месте! Для вытирания носа он завел большой, темного окраса клетчатый платок, о котором мы уже заметили, что он якобы интереса не представляет. Но это только кажется. Действительно, большой платок неинтересен, когда он есть, а вот когда его нет... Попробуйте с полным чувством признать четырнадцатый раз двенадцатую ошибку без платка. Не получится!

На каких только должностях не был Прохор Палыч! И в Сельхозснабе, и на кирпичном заводе, и в лесничестве, и в Конволосе, и по дорожному делу, и по заготовкам сена и соломы, и по яично-птичным делам, и завхозом в МТС. Накопил громадный опыт. Наконец после двух выговоров с предупреждением в его послужном списке значилось: «Председатель артели жестянщиков». А Прохору Палычу перевалило за сорок пять.

И до этого ему учиться совсем не надо было в связи с частой переменой мест, а тут — каждый поймет — жестянщики: кружки, ведра, половники... Чепуха! Опыт руководства большой — Прохор Палыч принялся смело укреплять отстающую артель. Это было по счету шестнадцатое место за пятнадцать лет руководящей работы в районе. С таким багажом укрепить артель — раз плюнуть!

И он приступил.

2

Первым делом он обнаружил полное отсутствие кабинета для председателя артели и задал вопрос:

— Как же вы могли так работать, товарищи? Это же

полный развал! Мне кажется, работу надо перестроить.

Счетовод, маленький щупленький старичок с пушком на лысой голове, осмелился вопросить вежливо:

— А какой же кабинет в такой маленькой комнатке, как наша контора?

Прохор Палыч ответил:

— Я думаю, что так необдуманно думать нельзя.

Все было ясно.

В артели было двенадцать человек мастеров разного возраста, тринадцатый — счетовод, четырнадцатый — председатель. Делала артель большей частью кружки, которые иногда протекали. Требовалось укрепить артель, чтобы кружки были полноценными. Задача Прохора Палыча, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы кружки не протекали, но он уже имел размах, умел вникать, он уже думал, полагал, ему казалось.

Целый месяц половина членов артели во главе со счетоводом работала на «стройкабе», а половина — на кру́жках. (Объясняю новое слово в русском языке — Прохор Палыч их сотворил немало: «стройкаб» — стройка кабинета.) Конечно, кружек сразу стало недостаточно, и домохозяйки начали протестовать: дескать, и так протекают, да еще и недохват. Прохор Палыч, чтобы успокоить всех, вывесил объявление: «Происходит преобразование производства на новые технические рельсы увеличенного плана». Успокоились, стали ждать.

Тем временем кабинет закончили: он занял две трети маленькой комнатки, а одна треть осталась счетоводу со всеми членами артели, которым уже ни покурить, ни газетку почитать стало негде. Но не в этом дело. Какой кабинет выстроили! Блестящий кабинет! Блестящий потому, что стены и потолок обшили белой жестью, на письменный стол, сверху, положили белую жесть; над креслом Прохора Палыча, чуть выше головы, соорудили полку во всю длину стены, обшили ее латунью и поставили в один ряд предметы производства артели настоящего времени и будущего, причем экспонаты были вдвое больше нормального размера: кружка, ведро, половник, таз умывальный, таз стиральный, умывальник, две ложки совершенно различной конструкции, зерновой совок, керосиновая лейка и... чего-чего только не было на этой полке! Любому смертному, вошедшему в кабинет, становилось ясно, что Прохор Палыч уже вник в сущность

производства и освоил детали такового достаточно глубоко.

Вторым шагом по прошествии двух месяцев со дня вступления было ознакомление с массой. Вызывал Прохор Палыч по одному человеку, толпиться в передней запретил, курить велел по норме, обсуждать что-либо шепотом, чтобы не мешать работе. И начал прием. Вопросы он задавал каждому примерно одни и те же:

— Фамилия?

— Мехов.

— Лет?

— Сорок девять.

— Как?

— Точно так.

— Молодец! Отвечаешь правильно... Та-ак. Воруешь?

— Да что вы, Прохор Палыч! Дети у меня есть взрослые, а вы... такое... У нас и красть-то нечего: ну украду я кружку — куда ее денешь?

— Во-первых, я тебе не Прохор Палыч, а товарищ Самоваров. Во-вторых, не притворяйся: знаю я вас — все воры! Развалили артель, сукины дети, а теперь... Ишь ты!

Мехов попятился к двери, разводя руками.

— Перестроишься?

— Да чего перестраиваться-то? Давайте материал, делать будем. А то вот два месяца сидим без дела, а у нас семьи... Я за эти месяцы и полставки не выработал.

— Во-во-во! Я и хотел сказать: лодыри, бездельники!

— Да я же не про то!

— Хватит! Я думаю, я полагаю, что ты перестроишься! Следующий!

За перегородкой все было слышно, и артельщики очень быстренько смекнули, что к чему. Особенно быстро сообразил Вася-слесарь, мальчишка лет семнадцати, молодой, а ушлый!

— Давайте,— говорит,— отвечать одно и то же, а я пойду последним!

Переглянулись жестянщики: так и так. И в кабинете началось. Почти все, как один, повторяли одно и то же с небольшими отступлениями по ходу дела. Прохор Палыч к концу дня устал, вспотел и, развалившись в кресле, задавал вопросы уже нехотя, подумывая о том, не перенести ли ознакомление с массой на следующий чет-

верг. Но вот вошел Вася-слесарь, юркий узколицый парень с прищуренными, смеющимися глазами, и объявил:

— Я последний.

— Фамилия?

— Щелчков! — отчеканил Вася так, что жесть на стенах отозвалась зловещим звяком.

— Щелчков! Ну, брат, и фами-илия! Лет?

— Семнадцать.

— Ишь ты, молодой! Ну, ты-то не воруешь.

— Ворую, товарищ Самоваров!

— Как, как? О! Самокритика молодежи! Ну, молодец!

— Ворую, говорю,— выкрикивал Вася, как молодой петушок.

— Что воруешь?

— Жесть ворую, латунь ворую.

— От брешет, свистун, так брешет! Этот не пропадет, нет! С кем же ты воруешь?

— С вами, товарищ Самоваров! — ответил Вася так же громко и тем же тоном, как и начал.

— Что-о-о? — Прохор Палыч встал.

— С вами ворую,— повторил Вася и сел, проявив высшую степень невежливости.— Сто листов жести на кабинет из кладовой кто принес? Я, Щелчков. Кому? Вам, Самоварову. Латунь кто принес? Я. Кому? Вам. Куда списали жесть? На кружки. Где кружки? Нету. Квартальный план выполнили на двадцать процентов, значит, годовой план уже сорвали.

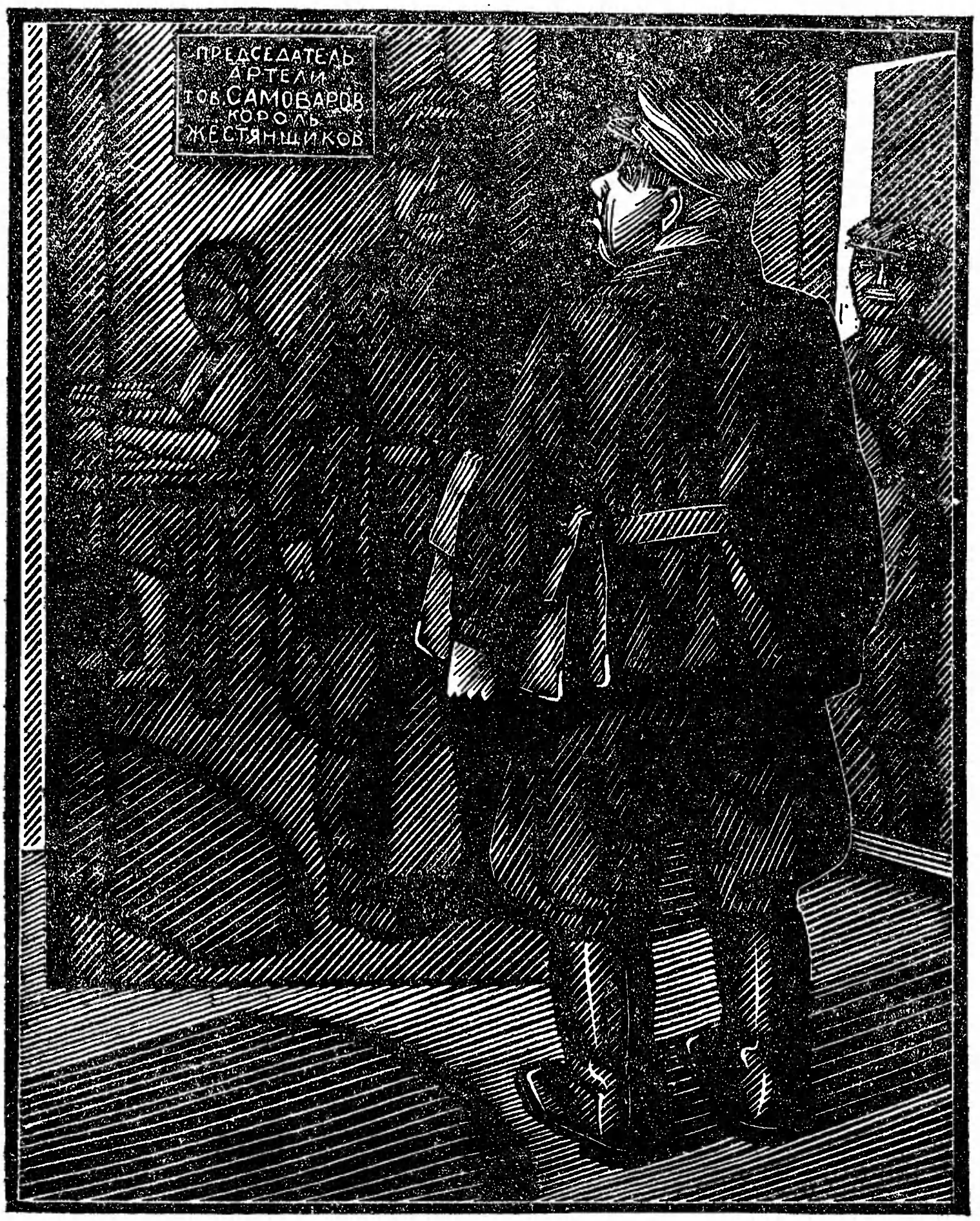
Прохор Палыч сел. Потом встал. Потом еще раз сел. И еще раз встал.

— Как ты смеешь, щенок! — Он схватил с полки умывальный таз и так стукнул им об стол, что весь кабинет заныл жестяной жалостью.— Мы такое загнем, что два квартальных плана в два месяца выполним. Раз плюнуть! Не твоего ума дело! Я думаю, что...

Тут Вася прыснул со смеху, зажал фуражкой рот и нагнулся, содрогаясь от беззвучного хохота.

— Что тебе смешно? Что? Что, спрашиваю? (За перегородкой — сдержанный, но дружный смех.) Кто там мешает работать? — загремел Прохор Палыч и снова обратился к Васе: — Ты думаешь, кто я есть? Отвечай!

— Там,— смеялся Вася,— там написано! — И указал пальцем на дверь.



После этих слов за перегородкой затопотали и, давя друг друга, вывалились со смехом на улицу. Выскочил бомбой и Вася. Прохор Палыч поставил таз на место и, потный, в возбуждении, вышел медленно за дверь. Осмотрел стены, пронзил счетовода взглядом и ничего не увидел. Но вот он повернулся к двери кабинета, чтобы войти обратно, и... увидел! Трудно даже выразить словами состояние Прохора Палыча: это было сплошное переживание от пяток и до носа, ибо пятки сразу зачесались, а

нос потребовал неотложного сморкания. И он высморкался дважды подряд и без передыху. А на новой табличке — «Председатель артели тов. Самоваров» — красовалось добавление: «король жестянщиков».

Вот откуда и появился королевский титул у Прохора Палыча.

Сам я, правда, при этом не присутствовал, но мне так подробно все рассказывал Вася, так усердно дополняли его Мехов и другие, что я не могу не посочувствовать Прохору Палычу. Не буду описывать терзания его души, не буду останавливаться на том, как Прохор Палыч по полночи не спал двое суток подряд, не буду вдаваться в подробности колебаний психики и переливания тоски через край — это очень трудно. Но Недошлепкин настойчиво, очень настойчиво рекомендовал Прохору Палычу приступить к самокритике и ни под каким видом не наказывать Васю, а если возможно, прижать его впоследствии, чтобы понимал твердость характера. При этом он сделал для Прохора Палыча назидание жестом: ногтем большого пальца надавил на стол так, как (простите за натурализм!) давят некоторых насекомых, и добавил:

— Понимай — для самокритики момент наступил, а для того самого,— и он снова надавил пальцем,— еще нет. Подождать надо...

Э, да что там учить Прохора Палыча, когда он сам уже не меньше знает!

На общем собрании артели Прохор Палыч сказал:

— Критика ваша, товарищи, дошла до середки. Дошла! Всем нам надо перестроиться, углубить производство и расширить во все стороны. Все, как один,— в одну точку! Кто отступит — не позволю! Я признаю критику, но не допущу нарушения дисциплины. Переходим, товарищи, с кружки на ложку новой конструкции — модель «Л-2». Потребуется напряжение. Я полагаю, что трудовой подъем будет.

В городе заговорили: «Король жестянщиков разворачивается».

Так и прилепился к Прохору Палычу этот титул.

А тем временем в артели дела пошли по новым рельсам. Трое поехали в командировку за формовочной глиной, трое работали над ящиками-станками для отливки ложек, трое вели экспериментальные работы, имея под руками пять килограммов алюминия, и переливали алюминий из пустого в порожнее, а остальные трое пе-

реоборудовали горн и мехи. Сам Прохор Палыч выехал в Москву на поиски алюминия, пробыл там два месяца, прислал оттуда двадцать четыре телеграммы и получил двадцать девять. В артели вскоре уже была закончена перестройка, и все ждали председателя. Наконец прибыл Прохор Палыч и привез только двадцать килограммов алюминия.

— Ну что ж,— сказал Прохор Палыч,— начнем, а там видно будет.

И начали. Сначала выходило плохо: ложки получались ломкие, с драными краями. Наконец все-таки наладили дело: ложка модели «Л-2» пошла в ход... Но... запас алюминия иссяк.

Кончался год. Ложки делать перестали из-за нехватки материала, а к кружкам не приспособлено производство, перестраивать надо. Так и не получилось в том году ни кружки, ни ложки.

Ну, а дальше что? Дальше Прохор Палыч пятнадцатый раз раскаялся, получил третий выговор и остался без работы. Секретарь райкома вызвал Недошлепкина и говорит:

— Кажется, Самоваров никудышный руководитель — неуч и зазнайка. Он стоит на пороге из партии, случайный человек.

Но нет! Недошлепкин — уже постаревший, облысевший, уже беззубый — защитил, не дал в обиду. Не исключили. Три месяца или, может быть, четыре Прохор Палыч был без работы. Несколько раз заходил к Недошлепкину, ожидал, как в прежние счастливые годы, волшебных слов, но тот указывал пальцем на райком и говорил шепотом:

— Не велит.

— Так, значит, как же? — спрашивал Прохор Палыч.

— Да так...

— А все-таки как?

— Так себе.

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

— А что «как сказать»?

— Обыкновенно! — вздыхал начальник.

И каждый раз на этом кончалось. Казалось, попал в тупик Прохор Палыч.

Но внезапно что-то случилось с секретарем райкома по семейным обстоятельствам, и он уехал из района.

Ведь и с ним все может случиться, как с любым человеком. Это ведь только в романах секретари райкомов не страдают, не любят, не хохочут, а только знай руководят. А в жизни они такие же люди, и с ними все может случиться: может и жена заболеть, и сам даже может заболеть, и даже — даю честное слово! — может и влюбиться. Конечно, мне скажут: «Не может быть, чтобы секретарь райкома да влюбился! Не бывает!» Вот и поговори с ними!.. Бывает, товарищи, что там греха таить! Бывает и так: напихают полный роман либо железа, либо дров, либо машин всяких, а читатель ходит-бродит, бедняга, меж всего этого и ищет людей: не читатель, а искатель какой-то получается. Не спорю, иной читатель, конечно, с первого прочтения находит тропки, делает зарубки для приметы, чтобы не заблудиться обратным ходом; потом вернется назад, прочитает еще другой, третий раз — смотришь, разберется, что к чему.

А насчет секретарей райкомов повторяю: все с ними бывает, как с любым человеком, а не только так, как в романах.

Убедил я или не убедил — как хотите! — но только старый секретарь райкома уехал, а новый приехал. Был он такой: в коричневом костюме и при галстуке (обратите внимание: без черной гимнастерки и без желтого широкого пояса), росту обыкновенного, среднего, русый, круглолицый, веселый, любит в городки поиграть и в шахматишки сыграть; ребятишки у него есть (двое), и мальчишка забегает к нему прямо в райком, посмотрит, нет ли заседания, и сообщает: «Папа, мы чижа поймали».

Одним словом, Попов Иван Иванович приехал.

Недошлепкин — к нему. Так, мол, и так: в колхозе «Новая жизнь» шестнадцатый по счету председатель оказался не того, заменять надо. Для укрепления.

Поехал Иван Иванович туда раз, поехал два, посмотрел, посмотрел: правда, заменять надо. И говорит Недошлепкину:

— И ваша вина есть в том, что в колхозах такая свистопляска с председателями; что ни год, то новый председатель. Большая вина!

— Признаю,— соглашается Недошлепкин.— Каюсь! Ляпсус. Все силы брошу на исправление ошибки. Все, что от меня лично, приму... Действительно, ляпсус... Но без председателя колхоза не может быть колхоза, ибо колхоз до тех пор колхоз, пока он колхоз, но как только он

перестает быть колхозом, он уже не колхоз. (Подобный способ мышления — явное влияние его ученика Прохора Палыча. Ясно.)

Задумался Иван Иванович: видно, не верит Недошлепкину. Но что поделать, если кадров района еще не знаешь, а требуется председатель колхоза! Конечно, приходится обязательно советоваться пока с Недошлепкиным. А тот разгадал мысль секретаря и говорит:

— Моя ошибка тяжела... Но мы можем быстро выправить: есть у нас толковый, опытный товарищ, повезет! Правда, у него в артели жестянщиков — не того, но причина все же в неплановом снабжении артелей, и вопрос не нам решить — надо ставить гораздо выше, так как в районном масштабе алюминия нет, а ложка «Л-2» требует алюминия чистого, как слеза грудного младенца.

— Кто же это такой? — спрашивает Иван Иванович.

— Товарищ Самоваров,— сообщает Недошлепкин.

Так на первых порах Иван Иванович и допустил ошибку.

Вызывают Прохора Палыча в райком.

— Говорите честно,— обращается к нему Иван Иванович,— справитесь ли вы с работой председателя колхоза? Работа трудная и ответственная.

Прохор Палыч думает и сморкается: ждет, когда будут произнесены заветные слова, единственные, которые он сразу понимал. Нет этих слов! А вопрос висит в воздухе!

— Ну так как же? — повторяет секретарь.

И Прохор Палыч, руководствуясь чутьем, развитым многолетним опытом, проделывает следующее: смотрит вниз и в сторону, глубоко-глубоко задумавшись, вздыхает, несмело поднимает глаза на секретаря и говорит тоже задумчиво:

— Товарищ секретарь райкома! Слишком мне тяжело сознавать, что я имею три выговора... (В этом месте он чуть-чуть взвыл). Я понимаю, что четвертый выговор столкнет меня с кривой. Со всей ответственностью беру на себя колхоз, и, я думаю, выправлю его, и вправлю ему линию в передовые...

Иван Иванович, не ведая дипломатии, сказал:

— Мне кажется, что чистосердечное признание своего положения прибавит вам силы.

Все! Для Прохора Палыча было все-все понятно.

А Иван Иванович сомневался, что-то его скребло внутри.

Недошлепкин так разукрасил Прохора Палыча на общем собрании колхоза, так расхвалил, такие гимны пропел его талантам, а Никишка Болтушок такую речь закатил, что даже шапку потерял и ее растоптали в лепешку,— так они оба воспевали Прохора Палыча, что того и в колхоз приняли, а потом и председателем выбрали.

Так Прохор Палыч занял свой семнадцатый пост и стал семнадцатым председателем в колхозе, а отсюда и полный титул пошел: «Прохор семнадцатый, король жестянщиков».

3

Теперь уж я видел Прохора Палыча почти ежедневно. Мы все ближе и ближе сходились с ним и наконец сошлись настолько близко, что он однажды мне сказал:

— Фу ты! Обязательно ему надо культивировать пар за двенадцать — пятнадцать дней до сева! Небось и после закультивируем — денька за два-три.

Я возражал, горячился, целую лекцию об озимых ему прочитал, книгу академика Якушкина ему совал в руки.

— На, прочти!

— Лично я не видал твоего Якушкина. Я, Самоваров, думаю,— за два-три дня.

Я не сдавался.

— Не позволю! (Это я-то так позволил себе сказать Прохору Палычу. И откуда смелость взялась!)

— Что-о-о? — закричал он.— Пошел к черту, химик!

— Не оскорбляйте!

А он отвечает:

— Характер у меня такой прямой. Как штык. Помогать — вас никого нету, а раздражать человека у руководства вы можете.

— Да я же и хочу помочь вам понять агротехнику!

— Пошел бы ты с такой помощью! У меня свиньи дохнуть начали, а тебе вот выложил: за пятнадцать дней! Тьфу!

— Вы ж,— говорю,— не понимаете агротехники! Нельзя так!

Прохор Палыч отвернулся, не желая продолжать разговор, и куда-то в сторону буркнул:

— Столько, сколько ты знаешь, я давно забыл больше.

Что должен делать после этого агроном? Конечно, ехать в район.

Запрягли Ерша в линейку, приезжаю к Недошлепкину. Так, мол, и так, говорю, ничего не понимает, оскорбляет непотребными словами... Угробим осенний сев.

— А вы добейтесь своего,— отвечает Недошлепкин,— и закультивируйте, если действительно надо! Если же можно обождать дня два-три, то уступите по-человечески! У Самоварова мало опыта в руководстве колхозом, ему надо помогать. Правда, прямота у него в характере есть, за словом в карман не полезет. Постарайтесь помириться с ним, он человек сходчивый и самокритичный.

— Так он же меня слушать не хочет!

— Постарайтесь сделать так, будто между вами ничего не было: общее колхозное дело дороже личных отношений. Мы, безусловно, должны забывать все личное.

Ехал я обратно тихонько, шажком и пробовал пробрать себя самокритикой до корней, но, как ни бился, даже Ерша останавливал несколько раз, ничего не получилось. Наверно, все-таки не освоил самокритику на всю глубину. Тут бы и надо мне Недошлепкину сказать: «Признаю ошибку!», потом приехать в колхоз и — к Прохору Палычу: «Признаю», и руку ему подать: «На! Держи! Навечно! Пошли мировую выпьем по двести!» А вот не умею. Но зря! Именно тогда бы меня подняли на щит и говорили бы: «С таким работать можно — сходчивый и самокритичный агрономишка».

Пар все-таки закультивировали: воровским путем, ночами.

А еще раньше, весной, получилось даже чище. Приезжаю в бригаду, а там сеют кормовую свеклу. Не там сеют, где намечено производственным планом,— не по глубокой зяби, а по весновспашке.

— Кто позволил? — спрашиваю я.

— Председатель приказал,— отвечает бригадир Пшеничкин.— Целый час спорил с ним. Тьфу!

Смотрим, Прохор Палыч мчится к нам: жеребец — в лентах, тарантас — в ветках. Подъезжает и сразу грозно:

— Почему простой механизма допущен?

— Я запретил,— говорю.

— Тебя убеждать надо или не надо?

— Говорите!

— Как ты думаешь,— снисходительным тоном начал он,— ходить женщинам полоть — лучше за три километра от села или за полкилометра? Тут,— потопал он ногой по земле,— тут полкилометра, а зябь — за три километра. В организации труда ты что-нибудь смыслишь или нет?

Я стараюсь объяснить ему поспокойней:

— По весновспашке свеклы не будет. Не бывает никогда хорошей свеклы по весновспашке нигде, а у нас, в засушливом районе, никакой свеклы на этом месте не будет. Не взойдет она, и полоть-то нечего будет.

Пробовал растолковать, как устроено семя свеклы, говорил, что всходы ее очень слабые, рассказал, сколько воды требуется для семени свеклы, но Прохор Палыч до конца не дослушал, подошел к трактористу и сказал:

— Я думаю, сеять будешь.

— Нет,— вмешался я,— сейчас надо ехать на зябь и посеять там.

— Ка-ак? — вскричал Прохор Палыч.— Подменять руководство? Кто позволит? Приказываю!.. А из тебя,— обратился он к трактористу,— щепки сделаю! А тебя,— повернулся он к бригадиру,— как бог черепаху! А...— и он круто повернулся ко мне.

— Меня,— говорю,— ни боже мой! Я химик!

— Хуже! — воскликнул он, ударив себя обеими руками по галифе.— Астроном! Мошенник!

Так я понял, что астрономы гораздо хуже химиков.

И зачем, собственно, я все это записываю? По плану обещал описать, как Прохор Палыч руководил колхозом, а пишу черт знает что! Хотя нет: постепенное сближение и содружество Прохора Палыча с агрономией тоже заслуживает внимания. В общем и агроном с бригадирами к нему приспособились: они просто обманывали его для пользы дела. Меня спросят: «А свекла как же? Где посеяли?» Отвечаю: по зяби посеяли. И очень просто. Подхожу я к нему и говорю:

— Характер у вас сильный... Сказал — крышка!

— Я так: надумал — аминь! — и улыбается. Отошел, значит, нутром.

— Езжай,— говорю я трактористу, а бригадиру подмаргиваю, так как тот всем видом протестует против продолжения сева на этом месте.

Прохор Палыч благополучно отбывает и скрывается из виду, а мы... переезжаем на зябь.

Заметил он это не скоро, через месяц, и сказал:

— Ну и ловкач! Ну и мошенник! За этим смотри да смотри!

Так пришло к Прохору Палычу убеждение, что все агрономы — мошенники, все бригадиры — жулики, а он один-единственный руководит, и ему никто не помогает. Трудно все-таки быть председателем колхоза!

Но все это произошло несколько спустя после начала руководства Самоварова колхозом. Это отступление сделано потому, что вопросы агрономии превыше всего, с них и надо начинать. Дальнейшее описание жизни Прохора Палыча в колхозе пойдет уже по порядку.

Еще в первые дни пребывания на посту председателя Прохор Палыч собрал бригадиров и изрек:

— По вечерам нарядов давать не буду.

— А как же нам быть? — спросили все сразу.

— Утром — наряд, вечерами и ночами — заседания. Что я, Самоваров, не знаю разве, как руководят районные работники? Не первый год! С кого пример брать? С вас, что ли?

Попервоначалу стали возражать, перечить, да еще вздумали доказывать. Потом и бригадиры, конечно, вошли в понятие, а тогда, представьте себе, упирались. Прохор Палыч для доказательства твердости характера даже выражаться стал всякими черными словами, а в заключение обмяк и завершил:

— Соображение-то у вас есть или нет? Как можно с вечера давать наряд? А вдруг да умрет кто за ночь — допустим, тетка какая,— а на нее наряд дали: что это будет? Срыв, полная анархия. Я думаю и полагаю, что наряд давать будем только утром.

Когда же бригадиры разошлись, он говорит мне:

— Вот они, работнички! Видал? С первых шагов на подрыв пошли. Ну, я перестрою — выбью из них дурь. Не первый год на руководящей! С этими, верно, наруководишь...— Он будто задумался, а потом добавил: — Менять надо, всех менять! Вот маленько разберусь и поменяю. А эти, видать, жулики и воры. Видал? Тот, чубатый, все улыбается, а тот, седой, все волком смотрит.

Ну, раз уж сам Прохор Палыч заговорил на первых порах о бригадирах, то и нам следует с ними поближе познакомиться, иначе описание жизни председателя не будет ясным.

Бригадиров в колхозе трое: Пшеничкин Алексей Антонович, Катков Митрофан Андреевич и Платонов Яков

Васильевич. Все они очень старательные, хозяйственные, хорошие руководители бригад, почти непьющие, но характеры у них разные. Пшеничкин живет так, будто радуется вечно и полон радужных надежд; Платонов — человек критического ума и иногда говорит: «Надо изживать недостатки, а не только говорить о хорошем»; Катков — это человек быстрый и в работе и в мыслях: он в уме может моментально такие цифры помножить, что диву даешься!

И возраста все трое разного: Пшеничкину — двадцать семь, Платонову — шестьдесят, а Каткову — сорок два.

Пшеничкин — белокурый, кудрявый, голубоглазый, фуражка — набок, чуб над виском, и всегда верхом в седле: с самого раннего утра и до позднего вечера, а в уборку — и ночью.

Платонов, несмотря на почтенный возраст, ни бороды, ни усов не носит, всегда чисто выбрит, волосы, совсем седые, зачесывает назад, ездит только на дрожках.

У Каткова — лоб высокий, нос тонкий, лицо симпатичное, веселое, с шустрыми черными глазами. Этот никаких средств передвижения, кроме мотоцикла, не признает и признавать не желает.

И вот смотрите! Разные люди, совсем-совсем разные, во всем разные, а как они одинаково сильно любят свое дело, сколько работают!

Летом по семнадцать-восемнадцать часов в сутки в труде.

Где-то вы теперь, мои дорогие друзья-бригадиры? Радостно мне было услышать ранним утром, перед восходом солнца, песню Алеши Пшеничкина; больно вспомнить, как он плакал над просом, которое побил град; приятно вспомнить, как его голубые глаза внимательно смотрели на меня на зимних занятиях по агротехнике! С благодарностью помню и наши беседы на отдыхе и мудрость Якова Васильевича Платонова. Вихрем бы помчался теперь с Митрофаном Андреевичем Катковым по шляху на его мотоцикле, а остановившись у комбайна, вместе помогли бы молодому комбайнеру пустить в ход машину. Все знает этот Катков! Умница!

Урчат ли тракторы, грохочут ли громады комбайны, мчится ли юркий самоходный С-4, слизывая на ходу пшеницу, ворочает ли плуг пласты чернозема, гремит ли молотилка, полют ли посевы, сеют ли, веют ли — везде, везде они, бригадиры. Мои верные соратники, с какой охо-

той написал бы я сейчас и о вас, но — что поделаешь — пока приходится писать о Прохоре Палыче. Это очень-очень нужно!

А дни у Прохора Палыча пошли неспокойные.

Утром он встал, прочитал листок календаря, оделся и пошел в правление давать наряд.

— Все в сборе? — спрашивает он, чинно усаживаясь за стол.

— Все,— отвечают бригадиры хором.

— Та-ак. С чего начнем?

— Да у вас небось план имеется,— улыбается Катков.

— Имеется: все в поле, как одна душа! Кто нарушит трудовую дисциплину — дух вон!

— А мне надо подвезти корм лошадям: три подводы,— говорит Пшеничкин.

— Мне надо в лес за дубками для крытого тока: две подводы,— заявляет Платонов.

— У меня в поле сегодня пойдет только десять человек, а остальные —на огород,— подает голос Катков.

— Так. Я, Самоваров, выслушал и говорю: борьба за урожай — первое дело. Меня, Самоварова, избрали выправить, а не распылять. Все в поле!

И началось! Спорить, кричать, доказывать! Пшеничкин, красный, как вареный рак, кричал, что лошади подохнут, что он отвечать не будет, что лошадь — не мотоцикл и не автомобиль, в нее бензину не нальешь, что ей требуется не бензин, а рацион зоотехники и что он вообще не понимает, как понимать непонятное. Катков скороговоркой резал, что огород — это деньги колхоза, что все надо делать планово.

Платонов молчал и думал.

Прохор Палыч слушал, слушал все это, да ка-ак стукнет кулаком по столу:

— Всем в поле! Во всех справочниках и календарях написано — борьба за урожай, борьба за хлеб и тому подобно. А вы с капустой, с дубками, с лошадьми своими лезете! На подрыв пошли! Не позволю!

Платонов молчал и думал. Потом все трое сразу вышли. Алеша Пшеничкин с досады настегивал себя по сапогу плетью. Катков выскочил пробкой и стукнул дверью, а Платонов вышел спокойно, будто ничего особенного не произошло.

Время шло. Уже одиннадцатый час дня, а народ слонялся по двору вокруг правления, многие сели на травку, курили и балагурили; волы и лошади стояли запряженными, ездовые сидели, свесив ноги и греясь на солнышке, как заправские лентяи. Никогда такого не было в колхозе «Новая жизнь», а тут получилось... Вот вышли бригадиры из правления, а народ — к ним: что ж, мол, это такое? Какой наряд?

— Не знаю,— сказал Пшеничкин.

— Черт его знает! — сказал Катков.

— Все в поле! — сказал Платонов, увидев выходящего Прохора Палыча.

Раздались возгласы:

— А чего всей бригаде делать в поле? Капуста пропадет.

— Убирать скоро, а в нашей бригаде крытый ток не закончен. В лес надо.

Прохор Палыч все это слышал. Он сразу понял, откуда ветер дует, и сказал бригадирам:

— Вот полюбуйтесь на вашу дисциплину! Двенадцатый час, а у вас люди лодырничают. Развалили колхоз, проходимцы вы этакие! Да еще и массу подстроили на меня, слова-то говорят ваши! Слышь: о капусточке да о дубочках. Эт-то мы учтем!

Тем временем, пока народ волновался, Платонов сказал двум другим бригадирам:

— Зайдемте-ка в конюшню да посмотрим, что там сделать: пора, наверно, мазать ее.

Прохор Палыч упер руки в бока, расставил галифе во всю ширину и решил наблюдать, будет ли выполнен его наряд, а бригадиры вошли в конюшню. Там Платонов и говорит:

— Алеша, ты садись на меринка — и за село: встречай и направляй своих куда следует; а ты, Митрофан Андреевич, садись на мотоцикл — и на огород: встречай своих и моим скажешь, а я догоню помаленьку на дрожках. Но из села выходить всем только в поле. Понятно?

— Есть! — ответили оба и повеселели.

А Катков, проходя мимо председателя, успокоил его:

— Все будет исполнено в точности по вашему наряду!

Прохор Палыч был очень доволен, что он повернул руль руководства на полный оборот, и, возвратившись, сказал счетоводу:

— Ничего-о! Повернем еще круче! А тебе вот что скажу: ты мне приготовь сведения к вечеру.

— Какие сведения?

— Сколько коров, лошадей, свиней, птицы разной и прочих животных; и притом на малюсенькой бумажечке, чтоб на ладонь улеглась. Понял? Случáем, если доклад — все под рукой.— И Прохор Палыч накрыл ладонью воображаемую бумажку.

Счетовод был человек пожилой, лет пятидесяти пяти, в очках с тоненьким блестящим ободком, полный, но очень живой, подвижной и весьма сообразительный, как и все колхозные счетоводы. Зовут его Степан Петрович. Он пережил уже шестнадцать председателей и толк в них знал очень хорошо. Спорить с Прохором Палычем он не стал, а заверил:

— Будет исполнено в точности!

— Во! Это по-моему! Люблю!

Микроскопическими цифрами исписал Степан Петрович листок из блокнота и, передавая его Прохору Палычу, почему-то улыбался.

— Тоже, наверно, жук! Чего ухмыльнулся?

— Никак нет, не жук. Херувимов Степан Петрович.

— То-то, что Херувимов... М-м-да... Фамилия — того...

Один раз, правда, удалось Прохору Палычу отчитаться по животноводству с этой шпаргалкой, но потом засыпался: о чем ни скажет — всего, оказывается, на самом деле больше, а в бумажке, что под рукой,— меньше. А дело в том, что свиньи поросились, коровы телились, лошади жеребились — всего прибавлялось. Задумался он: как же наладить учет?

Степан Петрович советует искренне:

— Каждый раз надо брать у меня новые данные и проверять в натуре.

Хоть и поразительная фамилия у этого счетовода, но Прохор Палыч попробовал делать так. Все-таки счетовод, а не агроном какой-нибудь.

Однажды вызывают Прохора Палыча с докладом по животноводству. Выписал ему Степан Петрович все, как полагается, и пошел он проверять в натуре. Приходит на свинарник.

— Сколько свиней?

— Сто одна.

— Так. Правильно. А сколько поросят?

— Двести.

— Брешешь! У меня записано сто восемьдесят два.

— Так ночью две свиноматки опоросились.

— Фу, черт! И надо им пороситься тут, в самое это время, будь они неладны!

Пошел в телятник.

— Сколько телят?

— Семьдесят.

— Брешешь! У меня — семьдесят два. Почему, спрашиваю, меньше на два головодня? Зарезали телков, мошенники!

— Да нет же, нет,— взмолилась телятница.— Двух бычков-то сдали, а документа нет целую неделю, вот они и не списаны. Степан Петрович без документа не спишет. И списать невозможно: должны числиться, мы понимаем.

— Документ, документ! — перебил Прохор Палыч.— Я вам покажу документ! А ну, давай считай в натуре!

Накинули перегородку поперек телятника, как при ревизии, и стали выпускать во вторую половину по одному.

— Раз,— считает Прохор Палыч,— два, три... десять... пятнадцать... Кажись, один проскочил... Двадцать... Будь ты неладно, в носу зачесалось. Не к добру... двадцать пять... Воздух-то тут — того. В носу свербит...

Он вынул платок и высморкался по своему обычаю: ка-ак ахнет во всю трубу! Что тут сотворилось! Телята шарахнулись, сбили перегородку, взревели испуганно, истошно — и все перемешались.

Теленок — животное нервное, хотя он и дитя коровы, теленок совершенно глуп и ровным счетом ничего не понимает насчет руководства, но Прохор Палыч обиделся и, плюнув, выразился так:

— Чтоб вы попередохли, губошлепы! Телятся, телятся без удержу, никакого стабилю нет, да еще и не сморкнись. Подумаешь! Дерьмо!

И ушел.

Но надо же вникнуть в животноводство, в самую глубь? Надо. Пришел он в правление, сел в кресло и задумался: «Обязательно им надо пороситься, жеребиться, телиться... куриться!» Тут что-то такое мелькнуло в голове Прохора Палыча, какая-то не то мысль, не то блоха. «Что же такое у меня мелькнуло? — думает.— Вот мелькнуло и нет... Никогда в голове ничего такого не мелькало, а тут вдруг — на́ тебе! Уж не помрачение ли

у меня?.. А мелькнуло все-таки... Ага! Догадался! Слово неудобное: куриться! — И дальше думает: — Как это куры: курятся или как? Оптичиваются? Нет. Петушатся? Не слыхал. Этого слова при людях говорить не надо!»

В самом деле, черт их знает, как они — куры, если Прохор Палыч сроду с ними не имел никакого дела! И вообще в сельском хозяйстве чепуха какая-то! Другое дело какой-нибудь завод или мастерская — там так: есть станок — есть, есть сто станков — есть. Крышка, эти уж отелиться не могут. Мысли, конечно, тяжелые, но правильные. Но как найти выход? Ужели ж самому за всем и следить, проверять, ходить по этим телятницам, поросятницам, курятницам?

Однако выход он нашел: при всяких отчетах и докладах просто прибавлял поголовье на несколько десятков: «Небось отелились! А не отелились, так отелятся,— эта чертова скотина, она такая». Так что с этим вопросом Прохор Палыч вышел из положения, как и подобает человеку, имеющему опыт руководства.

Но дни наступали все беспокойнее и беспокойнее. Что и говорить — это не у жестянщиков! Тому подпиши, тому выпиши, тот с заявлением лезет, этому усадьбу дай, тот аванс просит, а тот лезет: «Прими телка под контрактацию», будто своих мало. Там на свиней болезнь напала, там, говорят, какие-то суслики где-то что-то едят, тут трактористы донимают, агрономы не дают покоя, землеустроители... Все завертелось. Где там в поле попасть, когда тут пропадешь! И Прохор Палыч уже подписывал на ходу, не глядя, что подписывает, совал заявления в карман и отвечал: «Сделаем — я сказал»; но заявления накапливались пачками. А тут — еще новости! — зоотехники навалились и давай и давай точить — то за свиней, то за овец! Дошло до того, что Прохор Палыч одной рукой обедает, а другой подписывает и все-таки ничего не успевает сделать, хотя руль повернул на полный оборот. Сказать, что он растерялся, нельзя: вид у него не такой. Трудно, очень трудно! Не будь водки — пропал бы человек ни за грош! Но он дает себе отдых: норму свою принимает, и все идет нормально и в полеводстве и в животноводстве, несмотря на большую нагрузку.

Зато есть у него точка опоры в руководстве. Есть! Четыре раза в неделю он созывает расширенные заседания правления, заслушивает отчеты о работе за прошедшие

полтора дня и выносит развернутые решения. В этом он незаменим, и все нити руководства у него в руках.

Для примера возьмем одно заседание — очень важное заседание, если говорить без шуток.

Пять часов дня. Близится вечер. Бригадиры бросили поле и прискакали в правление по срочному вызову через нарочного. Прохор Палыч дает распоряжение:

— Расширенное заседание назначаю в семь! Так и объявите! Чтоб все были ровно в девять! Немедленно сообщить всему руководству животноводства, строительства и подсобных предприятий: каждый с докладом. Все!

И пошли бригадиры по дворам уже пешим ходом.

В тот вечер я сидел у Евсеича на диванчике и почитывал. Сам Евсеич плел вентерь и подпевал тихонько, а Петя писал что-то за своим столом и не давал покоя старику:

— Как, говоришь, дедушка? «Богом данной мне властью» и...

— Вот пристал! Ну, «богом данной мне властью мы» — не я, а мы,— «Мы, царь польскай и князь финляндскай и проча, и проча, и проча»...

— А вместо «проча» не писали «и тому подобное»? Терентий Петрович говорит, что можно «и тому подобное».

— Нет, не писали: писали «и проча». Да на что это тебе потребовалось? И все ему надо. На кой ляд тебе, как цари писали?

— Для истории, дедушка! — отвечает Петя, а сам ухмыляется.

— Ну, для истории — валяй!

В это время вошел Платонов и объявил мне о заседании правления.

— Опять?

— Опять,— махнул он рукой.— Пропали не спавши! Аж кружение в голове... Одним сторожам только и покой ночью, не трогает пока.

Из хаты мы вышли вчетвером: Платонов и я — на заседание правления, Евсеич — на пост, сторожить, а Петя нырнул в калитку к прицепщику Терентию Петровичу (о котором речь впереди). Потом Петя появился в правлении, снова исчез и наконец смирненько уселся в уголке на полу. Когда мы шли на заседание, Платонов спросил Евсеича:

— Отнес?

— Сдал самому Ивану Иванычу и от себя добавил на словах.

Приходим в правление. Народ начинает помаленьку собираться. Усаживаются. Однако избегают садиться на скамейки, а больше — вдоль стен на полу и даже между скамейками. Это для того, чтобы удобно было во время заседания поспать, свернувшись калачиком или привалившись головой к соседу. Докладов намечено чуть ли не десять и, кроме того, разбор заявлений, которые лежали перед Прохором Палычем, как стопка вчерашних блинцов, с обтрепанными и завернутыми краями. На столе председателя стоял колокольчик, снятый с дуги: для наведения порядка. На свадьбы Самоваров, правда, продолжал его давать и сам охотно там присутствовал, но чтобы на следующий день колокол снова был на месте.

Колокол оглушительно прозвонил, кто-то тихонько сказал: «Поехали!», а Прохор Палыч объявил:

— Расширенное заседание совместно с руксоставом колхоза «Новая жизнь» считаю открытым. По первому вопросу ведения слово предоставляется мне лично. Товарищи! Сегодня мы, собравшись здесь, заслушаем весь руксостав, рассмотрим весь колхоз. Вопрос один: укрепление колхоза и путь в передовые. В разных, могущих быть возникнутыми,— разбор заявлений. Порядок докладов продуман: первый — бригадир полеводческой бригады товарищ Платонов.

— Подвезло тебе, Яков Васильевич,— вздохнул Катков,— отчитался — и на сон, под лавку.

Прохор Палыч брякнул колоколом и продолжал перечислять порядок докладов:

— Завкладовой, птичница, телятница, все конюха, затем остальные бригадиры. Слово для доклада даю товарищу Платонову. Вам час дается.

— Не надо мне час.

— А сколько?

— Нисколько.

— Как так?

— Очень просто. Нечего мне говорить — вчера докладывал. Вы должны знать и так, без доклада.

— Я без тебя знаю, что я должен знать. И знаю все. Но порядок такой: в докладе должен сообщить, и внутрь глянуть, и вывернуть все на самокритику. Давай!

— Все у меня благополучно.

— А я говорю, докладывай! Не мне докладывай — народу! Вот они!

И Платонов скрепя сердце, нудно, не похоже на самого себя стал отчитывать, как дьячок. И голос-то у него сделался какой-то унылый, и речь несвязная, а все-таки говорил. Стоит ли перечислять то, о чем он говорил, и так надоело!

Прохор Палыч заставлял говорить одного докладчика за другим и думал: «Я их раскачаю! Заговорят как миленькие, разовьются!»

Катков шепнул Пшеничкину:

— Тебе, Алеша, дать, что ли, поспать сегодня? Твой доклад в самой середине, беда тебе не спавши!

— Дай, пожалуйста, Митрофан Андреевич! Умру без сна — четвертые сутки!

— Часа на два могу, а больше дару вряд ли хватит, Алеша.

— И на том спасибо! Мне больше и не надо. Я, может, до полночи еще прихвачу немного.

И около двенадцати часов ночи, когда Прохор Палыч выкликнул фамилию Пшеничкина, тот безмятежно спал, свернувшись калачиком в углу, а около него сидел и бодрствовал Катков. Когда он услышал слово «Пшеничкин», то встал и сказал:

— Мой доклад, Прохор Палыч, а не Пшеничкина, ошибочка произошла. И к тому же я приготовился.

Любил такие передовые выступления Прохор Палыч и поэтому сказал:

— А может, и ошибка, тут голова кругом пойдет. Давай!

И Митрофан Андреевич принялся «давать». Он рассказал о плане Волго-Дона, остановился на учении Вильямса, загнул о происхождении жизни на земле по двум гипотезам, коснулся трактора и описал все детали его по косточкам: лишь бы Алеша спал подольше. О работе своей бригады он почти ничего не говорил, но все, кто еще не успел заснуть, слушали его с удовольствием, а многие даже проснулись. Алеша спал сном праведника до двух часов ночи. Наконец Катков закруглил:

— И так, на основе мичуринского учения, моя бригада и работает. Все!

— Весь высказался? — спросил Прохор Палыч.

— Могу и еще, но уморился,— ответил докладчик и

с сожалением посмотрел на кудри Алеши Пшеничкина, раскинувшиеся по полу.

— Следующий!

Уже перед рассветом, когда загорланили по всему селу третьи петухи, приступили к разбору заявлений. Прохор Палыч обратился к бодрствующим:

— Будите! Начинаем заявления.

— Да какие же заявления? Рассветает!

— Хоть десяток, а разберем. Будите!

Народ зашевелился, закашлял, закурил, раздались сонные, но шутливые голоса:

— Вставай, Архип, петух охрип! Белый свет в окне, туши электричество!

— Аль кочета пропели? Скажи, пожалуйста, как ночь хорошо прошла! Можно привыкнуть спать вверх ногами.

— Завтра работнем, ребятки, спросонья!

— Не завтра, а сегодня.

Рявкнул колокол. Прохор Палыч объявил:

— Первое заявление разберем от Матрены Чуркиной. Просит подводу — отвезти телушку в ветлечебницу. Читай подробно! — обратился он к счетоводу.

— Чего там читать! — сказал спросонья Катков (он тоже чуть-чуть прикорнул перед светом).— Чего читать? Телушка месяц как скончалась.

— Как это так? — спросил председатель, синий от бессонницы.

— Да так — подохла. Покончилась — и все! Не дождалась.

— Как так скончалась? Заявление подала, а померла... То есть того... Зачем тогда и заявление подавать?

— Не Матрена, а телушка,— вмешался Пшеничкин.

Но Прохор Палыч смутно понял, что в результате ночных бдений у него вроде все перепуталось.

— Ясно, телушка,— продолжал он, поправляясь.— Товарищи! Телушка до тех пор телушка, пока она телушка, но как только она перестает быть телушкой — она уже не телушка, а прах, воспоминание. Товарищи! Поскольку телушка покончилась без намерения скоропостижной смертью, предлагаю выразить Матрене Чуркиной соболезнование в письменной форме: так и так — сочувствуем...

Алеша Пшеничкин не выдержал и крикнул:

— К чертям! Матрене телушку надо дать из колхоза: беда постигла, а коровы нет!

— Сочувствую! Поддерживаю,— ответил Прохор Палыч,— но без санкции товарища Недошлепкина не могу.

— Всегда так делали, всю жизнь помогали колхозникам в беде! — горячился Алеша. У него, и правда, почти вся жизнь прошла в колхозе.— Всегда так делали, а при вас — нельзя. Жаловаться будем в райком!

— Жаловаться в райком! — повторил Катков.

— Жаловаться в райком! — поддержал Платонов.

— Жаловаться в райком! — крикнули сразу все, сколько было.

Прохор Палыч громко зазвонил колоколом, восстановил порядок и спокойно сказал:

— Жалуйтесь! Попадет жалоба первым делом товарищу Недошлепкину, а я скажу ему: «Вашей санкции на телушку не имел». Все! Этим меня не возьмешь! Давай следующее заявление! Читай! — скомандовал он счетоводу.

Степан Петрович взял заявление из пачки, надел очки на кончик носа и приспособился было читать, но вдруг прыснул со смеху, как мальчишка, и сказал:

— Извиняюсь, нельзя читать! Невозможно, Прохор Палыч. Сначала сами прочитайте! Обязательно! Здесь для вас одного написано...

— Приказываю: ч и т а й!

И Прохор Палыч откинулся на спинку кресла, а от досады и на телушку, и на бригадиров, и на всех сидящих здесь решил про себя: «И слушать не буду: пусть сами разбирают! Посмотрим, как без руководства пойдет заседание: раскричатся, да еще и передерутся. Не буду и слушать!» И правда, он сперва не вслушивался, а счетовод — шестнадцать председателей пережил — не стал возражать и читал:

— «Ко всему колхозу!

Мы, Прохор семнадцатый, король жестянщиков, принц телячий, граф курячий, и прочая, и прочая, и прочая, богом данной мне властью растранжирили кладовую в следующем количестве: «ко-ко» — две тысячи, «бе-бе» — десять головодней, «хрю-хрю» — четыре свинорыла. И еще молимся, чтобы без крытого тока хлеб наш насущный погноить! И призываю вас, акурат всех, помогать мне в моих делах на рукработе в руксоставе! Кто перечит — из того дух вон! И тому подобное, подобно, подобно...»

— Сто-о-ой! — возопил Прохор Палыч.

Колокол звонил.

Народ встал на ноги и надевал шапки в великом недоумении от королевского послания. Только Петя Федотов сидел в уголке смирненько и, ничуть не улыбаясь, смотрел на происходящее.

— Что случилось? — спрашивали проснувшиеся.

— Где горит? — вскрикнул кто-то.

Прохор Палыч рванул бумажку из рук счетовода.

— Кто подписал? Дайте мне врага колхозного строя!

— Вы, вы... сами подписали! Ваша личная подпись стоит,— с напускным испугом говорил Степан Петрович.— Я же вам говорил, я предупреждал, я вас просил, но вы приказали. У вас же характер такой: сказал — крышка! Надумал — аминь!

Председатель остолбенел. Да и как было не остолбенеть? На послании «Ко всему колхозу» стояла его собственная подпись. Никто не мог бы скопировать извивающуюся змею вместо начального инициала «П», невозможно подделать семь колец буквы «С», а дальше — девять виньеток с двумя птичками и вокруг фамилии овал с прихвостьем ровно в тринадцать завитков. Ни один мошенник не может подделать подобной подписи или даже расшифровать ее — это невозможно! Подписал он где-то на ходу, не глядя. Но кто, кто мог подсунуть? Где этот — тот самый, которого надо раздавить? Прохор Палыч махнул рукой, чтобы все уходили.

...Деятельность Прохора Палыча в колхозе продолжалась четыре месяца. Заседание, описанное выше, было в начале пятого месяца.

В понедельник утром Прохор Палыч собрался ехать в район с крамольным посланием, доказать, что ветер дует от бригадиров, разъяснить, что ему никто не помогает, а все идут на подрыв, и снять после этого всех троих сразу. Но вспомнил: понедельник — день тяжелый, и отложил. Во вторник поехал — кошка перебежала дорогу.

«Чертова живность! Чтоб тебе пусто было! Еще попа недоставало... Этот, если перешел дорогу — то все, вертайся назад! Не первый год, знаю...»

Кошка испортила все настроение, а оно и так в последние дни стояло на отвратительно низком уровне. Ехал он сумрачный, мыслей никаких не было, и в голове ничего не мелькало, кроме одной кошки.

И, странное дело, въехал Прохор Палыч в город, будто в чужой, а не в тот, что был много лет родным гнездом, где он укреплял многие организации и учреждения и где оставил по себе память на долгие годы.

Приехал и пошел прямо к Недошлепкину, чтобы с ним уже идти к секретарю райкома. И снова не повезло — чертова кошка! — Недошлепкина не было. Кабинет закрыт, а секретарь райисполкома говорит:

— Не знаю где. Второй день нету.

Не ехать же обратно — пошел один. Входит он в кабинет секретаря райкома, Ивана Ивановича Попова. Тот его встречает:

— А-а!

А Прохор Палыч и не знает, как понимать это «а-а!». Никогда такого разговора не было. Вынул платок, высморкался. Этому я сам был свидетелем, сидел в кабинете рядом с Петром Кузьмичом Шуровым, с которым я читателя уже познакомил раньше. Но Прохор Палыч не знал Петра Кузьмича и думал: «Свистун какой-то, никакого руководящего виду».

Достает Прохор Палыч «послание» и кладет на стол. Иван Иванович берется читать и... как захохочет. Хохочет, как мальчишка, снял пенсне и вытирает слезы, аж подпрыгнул в кресле и за живот хватается обеими руками. Прохору Палычу показалось, что секретарь рехнулся умом, или, во всяком случае, тронулся мозгами. Не может же так смеяться действительный секретарь райкома! Настоящий секретарь обязан смеяться так: «ха!» и подумать, «ха!» и еще раз подумать. А этот заливается слезным хохотом.

— И подпись-то, подпись-то ваша,— почти умирая, хохочет Иван Иванович.

И Петр Кузьмич хохочет. Закрыл глаза, одной рукой за русые волосы ухватился, а другой отмахивается, будто от мухи, и трясется весь от хохота.

«Бьет смех, как припадочного!» — подумал Прохор Палыч и ничего — абсолютно ничего, ну ни единого нуля! — не понял из происходящего.

Отсмеялись. Пьет воду Иван Иванович и передает стакан Петру Кузьмичу. Напились. Отошел Иван Иванович к окну и смотрит в сад, помрачнел как-то сразу и спрашивает, не глядя на Самоварова:

— С этим и пришел?

— Да. Один подрыв. Никто не помогает — один, как свечка, кругом. Все сам! Чего сам не сделаешь, того никто не сделает. Мошенники и жулики все, особенно бригадиры: снимать надо. Согласовать пришел.

А Иван Иванович будто и не слушает. Сел в кресло, смотрит в середину стола и говорит:

— Что мы наделали? Четыре месяца прошло!.. Ведь вы, Самоваров, что наворочали!.. Молокопоставки просто угробили, поставки шерсти сорвали, контрактацию молодняка проворонили. На носу уборка, а у вас в двух бригадах нет крытых токов, погноите хлеб! Людей с ферм разогнали. Замучили всех ночными заседаниями. Ведь это еще благо, что там золотые бригадиры,— хоть в поле-то все благополучно, в чем вы, кажется, неповинны... Эх!.. Нам колхозники доверяют, а мы? Кого поставили, кого рекомендовали!

Прохор Палыч по своему опыту понял, что наступил момент признавать.

— Признаю. Тяжко мне сознавать всю вину! Допустил ошибку, большую ошибку! И она — вот где у меня! — он стукнул трижды кулаком по груди, трижды высморкался, посопел, вытер сухие глаза и уже тихо произнес согласно надлежащему в этом случае правилу: — Признаю и каюсь!

А Иван Иванович говорит:

— Да не ваша ошибка, чучело вы этакое! Наша, моя лично.

Прохор Палыч встал и, расставив руки с растопыренными пальцами над галифе, попятился назад в полном недоумении.

— Что, не понимаете? — спрашивает секретарь.

Прохор Палыч мотает головой.

— Тогда и о вашей ошибке скажу. Вот у меня коллективное заявление бригадиров и многих колхозников, просят немедленно созвать общее собрание, пишут о вашем самодурстве. Собрание проведем завтра.

Прохор Палыч снова сел и, кажется, начал кое-что понимать.

— Но это не все,— продолжал секретарь.— Вот акт о незаконном «ко-ко» и «бе-бе» на три тысячи рубликов, здесь и Недошлепкину начислили около тысчонки. Вы даже и акт отказались подписать, Самоваров... Такие-то дела!

Прохор Палыч действительно прогнал какого-то щуплого бухгалтеришку, который все совал ему какой-то акт, но что это за акт, ей-богу, не знает и не помнит. А оно — вот что! И он сидел, тучный, широкий, но непонимающий, опустошенный внутри. Внутри ничего не было!

Иван Иванович продолжал:

— Будем рекомендовать товарища Шурова — агрономом!

Прохор Палыч встрепенулся. Он будто опомнился, будто живая струя просочилась внутрь.

— Как? Агроном — председатель? — И вся его фигура говорила: «Мошенника, химика и астронома — в председатели?»

— Да,— ответил секретарь, а Шуров улыбнулся.— О вас же, Самоваров, будем решать вопрос на бюро, что дальше делать. Хорошего не предвижу.

Так бесславно кончилась деятельность Прохора Палыча в колхозе. Не буду описывать, как проходило общее собрание.

Каждый знает, как выгоняют колхозники негодных руководителей — наваливаются все сразу и без удержу отхлестывают и в хвост и в гриву, отхлестывают и приговаривают: «Не ходи куда не надо! Не ходи!»

Стал Прохор Палыч нелюдим и задумчив: что-то такое в нем зашевелилось внутри и ворочалось, ворочалось все больше.

Удивлялись люди: смирный стал, тихий.

Был суд.

Прохору Палычу дали год исправительно-трудовых работ.

Видел я его еще раз, незадолго до суда, в закусочной. Он сидел за столом с Недошлепкиным, и оба были в среднем подпитии. Лицо Прохора Палыча осунулось, он похудел, глаза стали больше, нос — меньше; одет в простую синюю, в полоску, сатиновую рубашку. Его собеседник был все в той же форме «руксостава» — в черной суконной гимнастерке с широким кожаным поясом, в тех же огромных роговых очках,— такой же, как и был.

— Ну, тебя-то,— говорил Недошлепкин,— волей-неволей надо было снимать — с сельским хозяйством не знаком. Я это предвидел. А за что сняли меня? За что прогнали из партии? За что оклеветали?

Прохор Палыч медленно встал, смотря в одну точку. Глаза его были влажными и красными. Вдруг он сжал зубы, стукнул кулаком по столу так, что задребезжали стаканы, и вскрикнул:

— Убил бы!

Недошлепкин отпрянул всем корпусом, будто от удара в лоб, очки спрыгнули на самый кончик носа, на лысине выступил капельками пот, губы что-то зажевали, он поднял ладонь над головой, будто защищаясь, и прохрипел:

— Кого?

— Себя! Ошибку в колхозе допустил: не туда руль повернул. Каюсь,— заныл он по привычке и склонил голову на грудь. Так Прохор Палыч постоял немного, затем извлек из кармана клетчатый носовой платок и высморкался.

ПРИЦЕПЩИК ТЕРЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ

Если вы встретите Терентия Петровича, то на первый взгляд он покажется вам невзрачным человеком. Маленького роста, щуплый, с короткой русой бородкой, в большом, не по плечам, ватнике с подвернутыми рукавами, он посмотрит на вас спокойными прищуренными глазами из-под мохнатеньких бровок. Фуражка ему немного великовата, и козырек всегда чуть набок: мешает глазам. Вы подумаете: ничего, дескать, особенного в этом колхознике нет. Но это далеко не так. В человеке ошибиться легче всего.

Вот если бы вы посмотрели, как относятся к Терентию Петровичу в колхозе, как почтительно все здороваются с ним, то, конечно, призадумались бы, по какой причине такое ему уважение. Ведь даже бригадир Платонов Яков Васильевич на наряде так и обращается к нему: «А вам, Терентий Петрович, самому известно, что надо завтра делать».

Терентий Петрович во время сева работает на сцепе двух тракторных сеялок сеяльщиком, во время прополки — на культиваторе, во время уборки — на комбайне у соломокопнителя, на сенокосе — управляет агрегатом трех тракторных сенокосилок, при скирдовании — на стогометателе, при вспашке зяби — регулирует плуг. В общем точная его профессия — прицепщик.

Замечу, что быть прицепщиком сложных сельскохозяйственных машин не так-то просто. Это не то что прицепил, сел и сиди смотри, как трактор тянет. Вовсе не так! Тут надо знать немало, и знать как следует. Одна только тракторная сеялка имеет больше полутысячи деталей, а сколько есть еще других машин... Настоящий прицепщик, если говорить прямо,— такая фигура в колхозе, от которой во многом зависит урожай. Плохая вспашка или посев сразу отразится на трудодне колхозников. Но Терентий Петрович плохой работы не допустит. Во-первых, он уже дважды был на трехмесячных курсах прицепщиков и дело знает, во-вторых, он исключительной добросовестности человек.

Однажды был такой случай. Пришел Терентий Петрович на дневную смену к тракторному плугу, осмотрел прицеп, дождался, пока тракторист Костя Клюев окончил заливку воды в радиатор, и сказал:

— Глуши трактор.

— По какому случаю? — спросил Костя, недоуменно подняв брови вверх и сдвинув замасленную шапку на затылок.

— По случаю утери лемешка предплужника у пятого корпуса.

— Ерунда-а! — протянул Костя, успокоившись, и поправил шапку.— Поехали!

По молодости и легкомыслию Костя не придавал особого значения такому пустяку, как крошечный лемешок.

— Не поедем. Глуши трактор и давай в отряд за лемешком, а я тем временем подлажу плуг.

— Дядя Терентий! Да как же так? Илья Семенович за ночную смену полторы нормы дал, а я буду в отряд бегать!

— Будешь бегать,— спокойно подтвердил Терентий Петрович.

— Лучше я попашу с полчасика, а ты сходи.

— Потому тебя и посылаю, что пахать нельзя без важной детали. А уйду — знаю, поедешь.

— Все равно поеду.

— Не поедешь!

— А что ты мне сделаешь? — спросил Костя, глядя на Терентия Петровича сверху вниз.

— Что сделаю? — переспросил Терентий Петрович и поднял глаза на высокого, широкоплечего парня.— Чистиком по заду огрею! — При этом он действительно под-

нял чистик — длинную палку с лопаточкой на конце — и воткнул в землю рядом с собой, будто для того, чтобы удобнее было при случае схватить.

Терентий Петрович медленно обошел вокруг трактора, затем вынул кисет и стал закуривать. А Костя, покосившись на чистик, у которого стал Терентий Петрович, оглянулся на ворчащий трактор и просительно произнес:

— Ну?

— Я тебе дам «ну»! — будто осердившись, сказал Терентий Петрович и взялся за чистик.

Конечно, ничего такого не могло быть, Терентий Петрович сроду никого не ударил, но большой Костя отошел от маленького Терентия Петровича, заглушил трактор, отчего сразу стало скучно обоим, и с обидой заговорил:

— Полторы нормы дал, а предплужник потерял! Тоже — передовик называется! А я теперь стой без толку полчаса...

— С этого и начинал бы,— отозвался Терентий Петрович.— Это ты правильно. Доложу директору эмтээс лично.— Тут он немного подумал.— И председателю доложу. И ты доложи... А со мной плохо пахать не будешь. Понял?

— «Доложи, доложи», «понял, понял»!— волновался Костя. Он тоже обошел вокруг трактора и снова остановился перед Терентием Петровичем.

— Ты слышь,— спокойно тенорком заговорил тот.— Слушай меня, что скажу! — И нагнулся к предплужнику.— Он, лемешок, кладет стерню на дно борозды. Так. Стерня та перепреет, а наверху, значит, будет чистый плодородный слой. Агротехника — первое дело.

Косте это было известно не хуже Терентия Петровича. Но кому нравится молчащий трактор! И Костя горячился.

— Да знаю я это давно!

— То-то и оно! А раз знаешь, то нельзя так, без соображения, говорить: «Все равно поеду». Как это так «поеду»? Ты меня везешь, а я качество делаю. Мы с тобой, Костюха, перед народом отвечаем. Понял? А не так, чтобы трактор ехал — и вся недолга. А что он везет за собой, как везет, что из этого получится на будущий год — будто нам с тобой никакого интереса нет... Глупости!

— Конечно, глупости,— повторил Костя и пошел в отряд за лемешком.

Все знают: там, где работает Терентий Петрович, качество будет отличное. Но почет Терентию Петровичу идет не только из-за его трудовых успехов. Есть и еще кое-что. Вот возьмем, к примеру, выпивку. Люди пьют по-разному, и настроение у них бывает после этого разное: одни становятся смирными, другие, наоборот, буйными, третьи даже плачут, иные пляшут, если случится лишний стакан хватить,— всяко бывает с людьми. Но с Терентием Петровичем ничего этого не бывает. Пьет он очень редко — раза два-три в год, но пьет как следует, крепко, по-настоящему, и случается это только в праздники. К середине такого праздничного дня ноги у него еще вполне подчиняются голове, но уже начинают отчасти с нею спорить. В это время он обязательно одет в черную суконную пару, обязательно при галстуке, ботинки начищены до блеска,— но все равно костюм ему чуть великоват и ботинки — тоже.

В колхозе «Новая жизнь» в такие дни не только наблюдают Терентия Петровича, но и группами сопровождают его, останавливаясь невдалеке, когда он останавливается. Вольше того, иногда он даже обращается к собравшимся с короткой речью. А кто увидит в окно Терентия Петровича в таком состоянии, восклицает: «Петрович в обход пошел!», после чего выскакивает на улицу и присоединяется к сопровождающей его группе.

В тот день, о котором пойдет речь, Терентий Петрович, заложив руки за спину, сначала обратился к собравшимся:

— Товарищи! Не такой уж я хороший человек и не такой уж вовсе плохой. Точно. Но когда крепко выпью, то тогда...— он поднял палец вверх, покрутил им над головой,— только тогда, товарищи, у меня ясность мысли и трезвость ума. Точно говорю!

Язык у него не заплетался, даже наоборот — говорил Терентий Петрович четко, громче обычного, но речь складывалась совсем не такой, как всегда. Это был уже не тихий и скромный прицепщик: что-то смелое и сильное звучало в нем. Он повернулся лицом к хате, против которой остановился, и начал:

— Здесь живет Герасим Иванович Корешков. Слушай, Гараська! — Хотя около хаты никого не было, но Терентий Петрович обращался так, будто Корешков

стоял перед ним.— Слушай, что я скажу! Тебе поручили резать корову на общественное питание. А куда ты дел голову и ноги? Унес! Ты думаешь, голова и ноги — пустяк? Три котла студня можно наварить для бригады, а ты слопал сам. Нет в тебе правды ни на грош! Точно говорю. Если ты понимаешь жизнь, ненасытная твоя утроба, то ты не должон тронуть ни единой колхозной соломинки, потому — там общее достояние. А ты весь студень спер, седогорлый леший. Пожилой человек, а совести нет. Бессовестный! — заключил Терентий Петрович и пошел дальше, не обращая внимания на группу колхозников, последовавших за ним на отшибе.

Позади него послышался негромкий разговор:

— Бегал смотреть на Гараську?

— Смотрел. Стоит в сенях, ругается потихоньку, а не вышел.

— Не поздоровится теперь Герасиму от студня.

— Коровьей ногой подавится.

И немного спустя опять спросил первый голос:

— Интересно, куда теперь пойдет Терентий Петрович. В прошлом году у Киреевых останавливался...

Но Терентий Петрович прошел мимо дома Киреевых и неожиданно остановился у Порукиных. Егор Порукин никогда не был замечен в воровстве, минимум у него давно выработан, поэтому остановка здесь была для всех интересной. Кто бы и что в колхозе ни натворил, народ рано или поздно узнает, хотя виновному и кажется, что все шито-крыто.

Однако если о студне разговор по селу был настойчивый, то о Порукине никто ничего не слышал, и нельзя было даже подумать о чем-либо плохом. А Терентий Петрович стал в позу оратора, засунул руки в карманы брюк и заговорил:

— Здесь живет Порукин Егор Макарыч. Давно я хотел до тебя дойти, Егор Порукин, да все недосуг. Слушай меня, что скажу!

Егор Макарыч вышел со двора на улицу и, не подозревая ничего плохого, подошел к группе колхозников.

— Здоро́во! Чего это Терентий у меня стал?

— А кто ж его знает,— ответило несколько голосов сразу.— Выпил человек — спросу нет.

Терентий Петрович, конечно, видел, что Егор Макарыч вышел из дому, но не обернулся к нему, а стоял так же прямо против хаты и продолжал:

— Нет,ты слушай! У тебя, Егор, корова — симменталка, дает двенадцать кувшинов молока. Хоть ты и говоришь «пером не мажу, а лью под блин масло из чайника», но, промежду прочим, на твои двенадцать кувшинов плевать я хотел «с высоты востока, господи, слава тебе!», как поется у попа.— Тут Терентий Петрович передохнул маленько от такой речи и поправил картуз.— Та-ак! Ни у кого в колхозе такой нет: пять тыщ стоит твоя скотина! А спрошу-ка я: откуда у тебя взялась она? Где ты такую породу схапал?

Вдруг Егор Макарыч решительно зашагал к Терентию Петровичу и, остановившись перед ним, сказал решительно:

— Уйди! — Широкоплечий, в синей праздничной рубахе и хромовых сапогах, он нахмурил брови, прищурил один глаз и сердито повторил: — Уйди, говорю! Плохо будет!

Но тут из кружка молодежи вышел тракторист Костя Клюев. Он стал лицом к Порукину, а спиной к Терентию Петровичу, повел могучим плечом и сказал басовито:

— Не замай, Егор Макарыч. Выпил человек — спросу нет.

Порукин смерил взглядом Костю и, будто убедившись в своем бессилии, плюнул и ушел к себе во двор, хлопнув калиткой.

А Терентий Петрович сначала обратился к Косте:

— Правильно, Костя. Действуем дальше! — Затем продолжал начатую речь: — Нет, Егор Порукин, ты будешь слушать. Так. Три года назад ты взял из колхоза телушку-полуторницу, а отдал в обмен свою. Это точно: в колхоз — дохлятину, а себе — породу. Хоть и поздно об этом узнали, но слушай. Ты за что тринадцатого председателя поил коньячком «три свеклочки»? Ты и Прохору Палычу такой напиток вливаешь. Думаешь замазать? Затереть? Не-ет, Егорка, не пройдет! Ты понимаешь, что этим самым мы колхозную породу переведем? У нас и так недодой молока, а ты махинируешь. Мошенник ты после этого, Егор! Точно говорю, товарищи! — заключил он и пошел дальше.

Молодежь, всегда такая шумливая и неугомонная, во время «обхода» вела себя смирно и тихо. Слушали внимательно, изредка переговариваясь или смеясь негромко. Иногда и нельзя было не засмеяться. Вот, на-

пример, остановился Терентий Петрович против хаты санитарного фельдшера (фельдшеров в колхозе трое и один врач). Остановился и ухмыльнулся. На крыльце стоял сам фельдшер Семен Васильевич.

— Приветствую, Семен Васильевич! — поклонился Терентий Петрович.

— Здоро́во, Терентий Петрович.

— Живем-то как?

— Помаленьку. Ничего себе.

— Ну, как: мухам теперь — гроб?

— Гибель. Смерть мухам! — серьезно ответил Семен Васильевич, а сам нетерпеливо то засовывал пальцы за пояс, то вынимал их. Человек уже в годах, больше пятидесяти, с добрым животом, а беспокоится: что же заставило Терентия Петровича остановиться при «обходе»?

— И комарей душить будем снова?

— Ни одного комара в живых. Малярия теперь — тю-тю! Поминай как звали! — пробовал шутить фельдшер, поглаживая рукой красновато-рыжие усы.

— Вот и я говорю: если вы есть врач-муходав или там, скажем, насчет душения комарей, то это тоже хорошо. Муха — она враг народного здоровья: где муха, там бескультурье. Точно. Муходав — это хорошо. Но только зачем же кота отравил, Семен Васильевич? А? Кот — животное полезное для домашнего хозяйства. Вы же сами читали лекцию, что кот — враг мышей, а мышь несет в себе... ту-ля-ре-мию. Так я сказал? Так. А сам отравил кота мушиным порошком. Нет, так нельзя!

— Так то ж нечаянно случилось. Есть, конечно, вина и наша, неосторожность... На кошкину пищу случайно попала повышенная дозировка.

— А кота-то теперь у меня нет! — воскликнул Терентий Петрович.— Сам-то я мышей ловить не способен.

— Я вам, Терентий Петрович, могу подарить очень хорошего котенка,— уже весело говорил фельдшер, видимо радуясь, что дальше кота дело не пошло.

— Благодарность за котенка! Не обижайтесь, Семен Васильевич! Человек выпивши, словам удержу нет. А что касается того, что вы лично с Матрены Щетинкиной взяли петуха, а с Акулины Степановны — окорок, а с Васильевны — гуся, жирного-прежирного, а Матрена Егоровна принесла вам за женские болезни миску сливочного масла, то об этом говорить не будем. В писании

у попа так и записано два лозунга: «Дающая рука не оскудеет» и «Отруби себе ту руку, которая себе не прочит». Бабы действуют по первому лозунгу, а вы, значит,— по второму. Прошу извинения, Семен Васильевич! Об этом говорить не будем. Бывайте здоровеньки!

Семен Васильевич уже пятился задом к двери, шевелил усами, как таракан, бормоча:

— Невозможная личность. Прицепился, как... То есть, как это самое... Действительно, невозможный.— И наконец он скрылся в сенях.

Так Терентий Петрович обходил все село, останавливаясь против тех домов, где он считал нужным высказать критические замечания. Критиковал он действительно невзирая на лица и только там, где проступки заслуживали общественного порицания. Чаще всего о таких уже шептались втихомолку, но Терентий Петрович говорил вслух и громко, и никуда уже нельзя было скрыться от невидимого суда народа. Около квартиры секретаря сельсовета он остановился и коротко обличил:

— Для советского человека — позор! Ты должен пример показывать, а сам по чужим бабам шляешься. У тебя же дитенок есть, маломысленный ты человек! Ты ж себе душу чернилом вымазал, беспутный! Слышишь, секретарь, чтобы этого больше не было. Ни-ни!

Бригадира строительной бригады он отчитал за то, что тот колхозными досками замостил полы в своем доме; заведующую птицефермой уличил в растранжиривании яиц.

К вечеру Терентий Петрович, возвращаясь домой, заходил к хорошим друзьям, которых у него было множество, добавлял внутрь до окончательной своей нормы, целовал напоследок Костю Клюева и, выписывая кривую, продвигался помаленьку домой, где его ожидала жена — тихая и работящая, такая же скромная, как и муж ее в трезвом виде. Терентий Петрович старался идти вдоль линии телеграфных столбов или вдоль радиолиний. При этом он останавливался у каждого столба, стоял некоторое время, прислонившись спиной, затем нацеливался на следующий столб, мотал головой, еще раз нацеливался и говорил: «Дойду. Точно дойду. Ну, Тереша, смелее!» и решительно направлялся к следующему столбу. Шел, конечно, не по прямой, но цели достигал и давал себе небольшой отдых. Так, короткими перебежками, он и добирался до дому.

Утром Терентий Петрович вставал как ни в чем не бывало и отправлялся на работу точно к назначенному времени. Не подумайте, чтобы он выпил и на следующий день! Нет! Такого никогда не случалось. Не скоро выпьет теперь Терентий Петрович, может быть, даже через год. Но после этого дня в правлении появился Герасим Корешков и зашептал счетоводу, что-де принес деньги за «студень», а то все равно доймут — раз Терентий на «обходе» сказал, то доймут.

Егор Порукин, проходя мимо трактора в поле, спросил Терентия Петровича:

— Что же это ты на меня наорал вчера?

— Выпил, Егор Макарыч, выпил... Ничего не помню. Если не так, поправь меня,— скромненько отвечал Терентий Петрович.

Фельдшер, Семен Васильевич, вечером следующего дня принес серого пушистого котенка. Немного посидел, пока Терентий Петрович мылся после работы, а потом все-таки сказал:

— Зря, Терентий Петрович, вчера говорил. Ой, зря!

— Это о чем я говорил? О мухах — помню, а больше, убей, не догадаюсь.

— Ты-то забыл! А народ болтать будет.

— Ну так то ж народ, ему на роток не накинешь платок. А я-то при чем? Забыл, Семен Васильевич,— вздыхал Терентий Петрович.— Если чего неправду наговорил, то меня же люди осудят, а если правду сказал, то колхозники и до меня небось знали. Тут и обижаться нечего. Мало ли чего выпивший человек скажет? Хорошо скажет — слушай, нехорошо скажет — пропущай мимо уха. Да-а-а... А котеночек хороший... Ишь ты, мяконький какой... Кс-кс-кс! Ишь ты!.. Это кто же — кот!

— Кот.

— Ко-от! Смотри-ка, какой ласковый... Кот?

— Кот,— в сердцах ответил фельдшер.

— Да-а... Кот, значит... Может, вы со мной, Семен Васильевич, борща покушаете? С баранинкой борщочек-то.

— Спасибо. Поужинал.

— А я вот только собираюсь покушать... Ишь ты, лезет на стол уже — умный кот. Кс-кс-кс!

Одним словом, у Терентия Петровича в обычной жизни хитринка была довольно тонкая. Но однажды случилось так, что ни хитринка, ни спокойствие не спасли

его от нарушения правил агротехники: хоть чуть-чуть, а нарушил.

Было это в первый день весеннего сева. С утра Терентий Петрович притащил ящичек с разными мелкими запасными деталями к тракторным сеялкам. В ящичке были шплинты, болтики для сошников, жестяные задвижки к высевающим аппаратам, гаечные ключики разных размеров, кусочки проволоки, нарезанные по стандарту, заклепки, запасной чистик, масленка, три-четыре напильника и другие вещи, необходимые для работы прицепщика на сеялках. Все это лежало не как-нибудь, а в соответствующих клеточках-отделениях, на которые разделен ящичек. Все трактористы знали, что Терентий Петрович очень любит порядок, и никто из них никогда не лез самовольно в его маленький склад.

Если же Косте требовался, скажем, маленький гаечный ключик (большие-то у него были, а маленькие постоянно терялись), то он говорил:

— Терентий Петрович, разрешите «девять на двенадцать»?

Тот открывал свой ящик-склад, безошибочно, не глядя, брал с определенного места нужный ключ и подавал со словами:

— Утеряешь — не обижайся.

— Ну что вы, дядя Терентий!

— То-то же! Должен ты понимать, что мы через какой-нибудь копеечный шплинт можем полдня стоять в самое горячее время. А без такого ключика и вовсе беда. (Дать такое наставление Терентий Петрович считал необходимым.)

Но Костя Клюев, такой старательный и честный парень, все-таки терял ключики — не держались в его крупных руках мелкие вещи. Так случилось и в тот день.

Терентий Петрович привинчивал свой ящик к раме сеялки. Костя ладил что-то у трактора. Агрегат с двумя сеялками стоял уже полдня в ожидании того, когда подсохнет почва и можно будет сеять. В поле было тихо, безветренно.

В чистом, прозрачном воздухе черной точкой висел жаворонок и беспрестанно звенел. В другое время — в конце весны и летом — его не видно в мареве, а сейчас — вот он! — смотри, пожалуйста, и слушай.

— Во-он! Видишь? — показал Терентий Петрович пальцем на жаворонка.

— Во-он! — подтвердил Костя.— И птица же! Кроха, а не птица!

— Кажись, дунь на нее — и пропала. А ни один человек не обидит такую птичку. Ласковая птичка, веселая! — восхищался Терентий Петрович.— Ты только подумай: какую ни возьми птицу — она поет либо вечером, либо утром, или, скажем, соловей — ночью. А эта — только днем, когда человек работает. Жаворóнка — птичка такая, что ей цены нету. Человек целый день работает под ее песню. Вот, допустим, мы с тобой сеем. Ничего нам за трактором не слыхать. И вот мы с тобой, скажем, уморились и стали на заправку или на обед, а она, жаворóночка, тебе песенку и сочинит. И на душе от этого весело, и аппетит к работе повышается. Точно, Костя! Такая птичка — незаменимая в сельском хозяйстве. И она понимает, что человек ее любит. Если напал на нее коршун, то она куда, думаешь, бросается? Либо в сеялку, либо прямо за пазуху, под ватник. Отличная птичка!

— Вот кукушка — тоже днем, ну какая-то она... не особенная.

— Кукушка — дрянь, лентяй птица. От нее в трудовой жизни никакой помощи, а так — чепуха птица... А эта — слышь? И сколько у нее ладов разных в голосе.

Они постояли некоторое время, прислушиваясь к жаворонку, и снова принялись за свое дело, но чуть не каждые десять минут Терентий Петрович отходил на несколько шагов от агрегата, пробовал ногами и руками почву.

— Не годится — сырая... Да когда же ты, матушка, поспеешь? — разговаривал он с землей.— Свой срок любишь. Ну ладно...

— Может, попробуем? — нерешительно спрашивал Костя.

— Здорóво! Попробуем! Не видишь, что ли? Тут у самого все нутро дрожит — сеять скорее, а раз нельзя, значит, нельзя.

Уже дважды приезжал бригадир полеводческой бригады, как из-под земли вырастал на своем мотоцикле бригадир тракторного отряда, уже заезжал и директор МТС — волнение в поле нарастало по мере подсыхания почвы, но каждый из них, подходя к сеялкам, говорил вопросительно:

— Сыровато, Терентий Петрович?

— Нельзя,— отвечал тот.— Будьте спокойны, часу не упустим.— При этом он брал горсть земли, сжимал ее в своем маленьком кулачке, с силой бросал на пашню и говорил: — Видишь, не рассыпается? Вы не судите по дороге. Дорога, она высыхает много раньше. По дороге кати куда хочешь, а сеять — сыро. По нашей земле посей так, то и никакого урожая не будет. Заклекнет пашня черепком, хоть блины пеки. Так и называется наша почва — обыкновенный чернозем суглинистого механического состава.

Что и говорить, полное доверие Терентию Петровичу в трудовой деятельности! Отлично знает он прицепные машины и агротехнику, совсем не хуже участкового агронома.

Так-то оно так, но Костя ключик все-таки потерял. Терентий Петрович заметил это уже тогда, когда тот начал ковырять пашню всеми десятью пальцами и бурчать вполголоса:

— Или черт нечистый ключами стал питаться? Скажи, как провалился в землю! Сейчас вот держал в руках — и нету... Тьфу! — и ковырял землю уже огромным ключом, потерять который никак невозможно, разве только запахать плугом.

Терентий Петрович подошел вплотную и спросил:

— Я тебя предупреждал?

— Ну вот, честное слово, сейчас держал в руках — и нету! Как в тартарары!

Присев на корточки и переговариваясь, они стали копаться вдвоем.

— Вот тут ты стоял,— говорил Терентий Петрович,— вот тут завинчивал, а тут он и должен бы упасть.

— Тут, конечно. Не бывает же у гаечных ключей крыльев, не мог же он улететь! — восклицал Костя, разводя руками.

В этот самый момент легковая автомашина остановилась на дороге против наших сеяльщиков.

Дверца машины открылась не сразу. Видно, из кузова наблюдали за тем, как двое копались в земле. Терентий Петрович тихо, будто боясь, что его услышат из автомашины, сказал:

— Вставай, Костя!

— А ключик?

— Приметь место.

— Думаешь, секретарь райкома?

— Нет. У того машина зелсная, а эта черная. Зеленая часто в поле бывает, а эта — раз в год, в начале сева.

Они поднялись. Костя нагнулся над пускачом трактора, Терентий Петрович заглянул под шестерни сеялки: оба делали вид, что заняты подготовкой агрегата, искоса посматривая на автомашину. Вдруг дверца рывком отворилась, и из машины сперва вылез, сгорбившись, главный районный агроном Чихаев, высокого роста и полный, а за ним — не вышел, а выскочил как угорелый — товарищ Недошлепкин, в то время еще бывший председателем райисполкома и другом-попечителем председателя колхоза Прохора Палыча Самоварова. Чихаев остался около автомашины, а Недошлепкин поправил очки и решительно, как в боевое наступление, двинулся к сеялкам. Но, зайдя на пашню, прилип калошами к влажной почве, и одна из них соскочила с ноги.

Не обращая внимания на трудности, он кое-как вдел ногу в калошу и, шлепая, приблизился к Терентию Петровичу.

— По какой причине агрегат находится в преступном простое?

— Сыро, товарищ Недошлепкин. Сеять нельзя. Заметьте, калошки-то липнут. Наши почвы...

— Что это за сырые настроения! Я думаю, немедленно сеять! — уже приказывал Недошлепкин.— Соседний район уже имеет пятнадцать процентов плана, а мы — четыре! Срыв! Полный срыв! Заводи трактор! — крикнул он Косте.

Костя, по неопытности в обращении с начальством, струсил и рванул ремень пускача, и тот застрекотал пулеметной очередью, заглушая крик председателя райисполкома. Было видно, как Недошлепкин открывал по-цыплячьи рот, произнося указания, размахивал руками, но слов его не было слышно. Терентий Петрович спокойно стоял на подножке правой сеялки и ждал, когда замолчит пускач. Наконец пускач успокоился, и трактор запыхтел сосредоточенно, ровно и тихо. Тут-то и посмотрел Костя на Терентия Петровича. Тот отрицательно покачал головой, давая понять, что никакого дела не будет: надо стоять.

— Товарищ Недошлепкин! Нарушение агротехники — это же прямое преступление. Почва не готова — сеять не можем. Мы ждем. Будьте покойны, часу одного...

— Что-о-о-о! Я — преступление! — Недошлепкин рванулся к кабине трактора, снова потерял калошу, поднял ее обеими руками и грозно вопросил: — Как фамилия?

И крупный человек Костя, а стушевался.

— Клю... Клюев Константин,— выдавил он.

— Запишем! Примем меры! Как фамилия? — круто повернулся Недошлепкин к Терентию Петровичу.

— Климцов,— спокойно ответил Терентий Петрович.

— Приму меры! Пожалеете! Срыва плана не допущу! Вперед! Я полагаю — вперед! — И Недошлепкин поднял вверх калошу, как железнодорожник сигнальный флажок перед отправлением поезда.

Терентий Петрович резко повернулся к Косте и махнул рукой:

— Давай!

Сеялки поползли по сырой почве, накатывая ее катышками, примазывая дисками и оставляя семена незаделанными.

Недошлепкин сел в автомашину и помчался форсировать темпы выполнения плана, а Терентий Петрович, не отъехав и ста метров, велел Косте заглушить трактор и сказал:

— Ну, Костя, давай теперь заделывать семена ногами. Все равно стоять... Да оно, видать, только завтра и годится сеять.

Теперь они оба закрывали семена почвой, набрасывая ее носками сапог. Им стало скучно до невозможности. Сначала работали молча, а потом поругались.

— Ты зачем завел трактор? — со злобой шипел Терентий Петрович.

— А ты зачем махнул рукой, чтобы ехать? — басом, во весь голос кричал Костя.

— Если бы ты не завел, то я бы не махнул.

— А если бы ты не махнул, то я бы не поехал.

— Ты главная фигура — тракторист. Сказал бы: «Не поеду!» — и все тут,— наступал Терентий Петрович.

— Я тебя везу,— бубнил Костя,— а ты качество делаешь. Сам так говорил. Кто же главная фигура?

— Ты.

— Нет, ты,— упорствовал Костя.

— Ну, сей один, если я главная фигура. Сей!

— Буду и один сеять.

— Ну и сей! Пожалуйста, сей, сделай одолжение!

— А что ж, думаешь, не буду? Вот возьму да и поеду по сырой почве. В случае чего, скажу — Недошлепкин приказал.

— Я тебе поеду по сырой! Во вредители колхозного строя хочешь идти? Иди, иди! Сей по сырой, маломысленный человек. Я тебе! — И Терентий Петрович подскочил к Косте.

Костя дернул головой, шапка его соскочила с головы, и вдруг... Терентий Петрович просветлел! Из-за отворота Костиного треуха выпал ключик «девять на двенадцать».

Костя поднял его, отряхнул, дунул на него, вытер о засаленный ватник и, уже улыбаясь, сказал:

— Примите, Терентий Петрович. Сунул по рассеянности за шапку и забыл.

— Да тут отца родного забудешь,— смущенно поддержал Терентий Петрович, будто в утере ключика был повинен не Костя, а кто-то другой.

Несколько минут спустя они уже курили, сидя рядом на ящике сеялки, и Терентий Петрович говорил:

— И что только может человек наговорить сгоряча!.. Как я тебя?

— Вредитель колхозного строя! — И Костя заразительно захохотал.

Терентий Петрович тоже захохотал и сквозь смех, подражая Недошлепкину, взвизгнул:

— Впере-ед! Я полагаю — вперед!

К вечеру они проехали пробный ход, и Терентий Петрович заключил:

— Завтра, часов с одиннадцати, начнем во весь разворот. Ну, Костенька, дожили до посевной. В грязь лицом не ударили. Выдержали.

— Факт.

Посевная прошла отлично. Костя Клюев дал самую большую выработку на трактор. Лучшего качества сева, чем у Терентия Петровича, нигде, конечно, тоже не было.

Вскоре после посевной, накануне прополочной, созывалось районное совещание передовиков сельского хозяйства. Правление колхоза выделило делегацию, в которой первым по списку значился Терентий Петрович. Люди были подобраны самые передовые, в этом никто не сомневался, но встал вопрос: кому выступать от лица

колхоза? Костя — хорош, но в ораторы не годится. Илья Семенович Раклин второе место занял после Кости, но голос хрипловатый. Терентий Петрович разве? Все согласны, но... рост уж очень мал: станет за трибуной и — каюк! — скрылся из виду.

Этого, конечно, никто вслух не говорил, но мысль такая витала у многих. Наконец бригадир Платонов сказал так:

— Думать тут нечего. Если Терентию Петровичу стать сбоку трибуны, то лучшего человека не найти. Голос, как у певчей птицы, тон знает, сказать умеет, лучше его никто не сложит.

Было это еще в те, теперь уже давно ушедшие в прошлое, времена, когда председателем колхоза состоял Прохор Палыч Самоваров. После заседания правления он просмотрел список делегатов, вычеркнул всех бригадиров — за «недисциплинированность» — и написал на углу «утвердить».

Счетоводу он велел составить речь для Терентия Петровича и самолично ее поправил. Оратора вызвали в правление, и председатель изрек:

— Выучишь наизусть. Чтоб без запинки. Перед всем районом отвечаешь за колхоз и за мое руководство.

— Да я сам-то, может, лучше надумаю.

— Но-но! — пристукнул легонько по столу Прохор Палыч.— Бери пример с работников районного масштаба. Они как? Положит листок на трибуну, прочитает во весь голос, а потом уж смотрит на собрание. А ты что? Хочешь так прямо сразу и глаза лупить на всех? Не полагается. Я, Самоваров, установку тебе дал. Выполняй!

Терентий Петрович взял речь, свернул вчетверо, сунул в боковой карман и вышел. То ли ему не понравилось сочинение счетовода, то ли еще по какой причине, но перед самым отъездом он заявил:

— Речь читать не буду.

Это было уж чересчур, и Прохор Палыч вспылил. Делегаты уговаривали Терентия Петровича, но он упорно отказывался.

Ходил задумчивый, иногда шептался о чем-то с Костей, ходил к Евсеичу и тоже шептался с ним, о чем-то секретничал с бригадиром Платоновым. И вдруг столь же неожиданно, будто у него созрело какое-то решение, заявил:

— Ладно, речь читать буду.

Совещание открыл секретарь райкома Иван Иванович.

Он хоть и новый в районе человек, но колхозники успели его полюбить за простоту, ум и прямоту характера. В своей речи он сказал, что у нас есть много таких колхозников, которые овладели машинной техникой, знают агрономию, совсем разучились плохо работать, что это новые люди — строители коммунизма, что это большие люди, что по своему труду они — вожаки масс. В числе других передовых колхозников он упомянул и прицепщика Терентия Климцова.

Терентий Петрович слушал и вспоминал, как Иван Иванович не раз заезжал к нему на сев и, не дойдя еще несколько метров, уже здоровался:

— Привет Терентию Петровичу! — А подойдя, подавал руку и спрашивал: — Как успехи?

— Двадцать пятый гектар добираем сегодня.

— Вот это да! Мне, Терентий Петрович, у вас, честное слово, нечего делать! Но, знаете, все-таки буду заворачивать. Мы ваш метод — заезды, засыпка семян по ходу, технический уход, часовой график — уже пропагандируем. Завтра к вам заедет корреспондент районной газеты.

Иван Иванович закончил свою короткую простую речь. У Терентия Петровича было радостно на душе. Он аплодировал вместе со всеми и вдруг увидел в президиуме Недошлепкина.

Стало почему-то сразу скучно, и возникла жгучая потребность громко, на весь зал сказать о своем неудовольствии.

В перерыве он подошел с Костей к буфету.

— По сто? — спросил Костя.

— Можно,— подтвердил Терентий Петрович, но скука его не прошла. Он угрюмо взял стопку, чокнулся с Костей, но пить не стал — задумался.

Костя опрокинул свою стопку, воткнул вилку в сардельку и недоуменно спросил:

— Ты что ж, Петрович?

Терентий Петрович ничего не ответил. Он оставался в задумчивости и слушал духовой оркестр, исполнявший вальс.

— Что с тобой? — участливо повторил Костя и, нагнувшись к его уху, прошептал: — Ты ж хотел как на «обходе»... Пей.

— Нет. Не буду пить, Костя.

— И говорить не будешь? — удивился тот.

— Буду.

— Так для смелости и долбани чуть... Сто — ничего не означает, а сил прибудет.

— Нет, не буду. Чую я в себе сейчас силу и без водки. Понимаешь, Костюшка... Не надо пить.— И Терентий Петрович уже открыто взглянул на своего молодого друга.

Костя заметил в его глазах какой-то сильный и смелый огонек.

— Не надо мне сейчас пить! — решительно повторил Терентий Петрович.

Они вошли в зал и заняли свои места.

— Слово предоставляется лучшему прицепщику района товарищу Климцову Терентию Петровичу,— объявил председательствующий, главный агроном товарищ Чихаев.

Терентий Петрович поднялся на сцену. Он стал сбоку трибуны и, держа перед собою заготовленную ему «речь», начал читать унылым голосом, без чувства и без выражения, что совсем на него не было похоже.

— «Товарищи передовики района! — читал он.— Товарищи руководители района! Исходя из соответствующих установок высших организаций и на основе развернутого во всю ширь соревнования, а также под руководством районных организаций и председателя колхоза мы одержали громадный успех в деле выполнения и перевыполнения весеннего сева на высоком уровне развития полевых работ и образовали фундамент будущего урожая как основу нашей настоящей жизни в стремлении вперед на преодоление трудностей и...» Ох! — вздохнул Терентий Петрович и посмотрел в публику. А раз посмотрел в публику, то потерял строчку. Но он, однако, не смутился, а честно объявил: — Потерял, товарищи... Ну, пущай, ладно. Я с другой строчки пойду.— И продолжал: — «Мы, передовики колхоза «Новая жизнь», под напором энтузиазма закончили сев в пять дней...» Ага! Вот она! Нашел! Та-ак... «В пять дней... И мы, передовики колхоза «Новая жизнь», обязуемся вывести все прополочные мероприятия в передовые ряды нашей славной агротехники и на этом не останавливаться, а идти дальше — к уборочной кампании в том же разрезе высших темпов. И мы, передовики колхоза «Новая жизнь», призываем вас, товарищи передовики нашего района, последовать нашим

стопам в упорном труде».— Тут Терентий Петрович вдруг прервал чтение, посмотрел еще раз в публику и сказал: — И тому подобное, товарищи. А теперь я скажу от себя.

Кто-то зашипел в публике, и Терентий Петрович увидел, что Прохор Палыч Самоваров делает ему знаки, воспрещающие дальнейшее выступление. Председатель совещания призвал звонком к порядку и сказал, повернувшись к оратору:

— Продолжайте.

— Товарищи! — начал снова Терентий Петрович.— У нас совещание лучших людей. Мы должны и поделиться опытом, и отметить недостатки. Я дам сперва наводные вопросы и буду на них отвечать.— Голос у него становился чистым, четким, взгляд — веселым и хитроватым.— Я спрашиваю: зачем нам понаписали вот эти шпаргалки? — Он потряс в воздухе «речью».— Ведь все читаем готовое, всем понаписали счетоводы. Или мы маломысленные люди? Это ж обидно, товарищи! (Зал загудел одобрительно.) Мне бы надо говорить о часовом графике на севе, а меня заставляют читать «последовать нашим стопам». Да на что они мне сдались, эти «стопы», прости господи! Отставить надо такую моду, товарищи. Это раз. Еще наводной вопрос к главному агроному товарищу Чихаеву: может ли председатель райисполкома нарушать правила агротехники весеннего сева? Может ли он заставить сеять по грязи?

Зал заволновался и слегка загудел. Недошлепкин потянулся было рукой к звонку, но Иван Иванович горстью захватил звонок и тихо придвинул его к себе, не отрывая, однако, взгляда от Терентия Петровича. Чихаев сначала покраснел, потом вспотел и уже не высыхал до самого конца совещания. Он все же ответил на вопрос Терентия Петровича.

— Он, конечно, может, но не должен... То есть должен, но не может. Как бы сказать...

Недошлепкин был, видимо, доволен таким ответом.

А Терентий Петрович слушал, подавшись вперед и оттопырив рукой ухо, и вдруг, выпрямившись, рубанул:

— Вы, товарищ Чихаев, были вместе с товарищем Недошлепкиным около моей сеялки. Почему вы даже не подошли к сеялке? Почему не запретили незаконный приказ районного начальства? Когда это самое кончится? Товарищи передовики! Каждый из нас — хозяин своего дела. Почему товарищ Чихаев не хозяин своего дела?

Я, прицепщик,— хозяин, а почему Чихаев болтается по колхозам, как пустая сумка? Зарплату получил — и ни клоп в лысину. Нельзя так, товарищи! Нельзя! Партия требует от нас, народ требует отдать все силы на строительство коммунизма!

Последние слова Терентий Петрович произнес твердо и настолько убежденно, что гром аплодисментов заполнил зал и долго рокотал, то затихая, то усиливаясь вновь. Иван Иванович хлопал в ладоши так же сильно, как Терентий Петрович хлопал раньше ему. Но Терентий Петрович продолжал еще стоять около трибуны и наконец поднял руку.

Аплодисменты стихли. Только Костя еще несколько раз хлопнул дополнительно, но это никому не показалось неуместным.

— А вы, товарищ Недошлепкин,— звонко продолжал Терентий Петрович,— лезли ведь к агрегату по грязи, даже калошку свою утеряли и вынесли ее, несчастную, на руках! Вы что же, думаете, мы после вас сеяли? Да нет же, не сеяли! И вы думаете, меня накажете? Нет, не накажете, точно вам говорю. С работы меня снять невозможно никак. А я спрашиваю: когда кончится такое? Когда мы перестанем для сводки нарушать агротехнику и понижать урожай? Это же делается без соображения. Точно говорю, товарищи: без со-обра-же-ния!

И снова аплодисменты сорвались, будто огромная стая голубей захлопала разом крыльями. Недошлепкин отодвинулся со своим стулом от стола президиума, потом подвинулся еще в сторону и таким манером скрылся от взглядов публики.

Он, правда, тоже хлопал, но ладони его при этом не соприкасались. Если бы все вздумали так хлопать, то аплодисменты были бы абсолютно бесшумны. С Чихаева пот лил ручьями, он покашливал, смотрел то на потолок, то под стул и ерзал на стуле беспрестанно.

Когда Терентий Петрович спустился по ступенькам со сцены и зал притих, секретарь райкома встал и сказал:

— На вопросы, поставленные товарищем Климцовым, я постараюсь ответить в конце совещания. Вопросы он поставил чрезвычайно важные. Но сейчас скажу одно: спасибо вам, Терентий Петрович! За правду спасибо! Райком партии вас поддержит.

И снова зал аплодировал так же сильно,

Вот как выступил Терентий Петрович! И ведь ничего не выпил — ни грамма! — а заговорил полным голосом перед делегатами большого совещания,— на весь район заговорил!

Ну и Терентий Петрович!

ТУГОДУМ

Удивительный случай произошел в колхозе «Новая жизнь». Никогда такого не было. У председателя колхоза Петра Кузьмича Шурова в кабинете оказались на столе четыре горшка молока, миска сливочного масла, накрытая чистой полотнянкой, две пустые базарные корзинки и коромысло.

— Чей это маслобойный завод? — спрашивал он, улыбаясь, у бригадира Платонова.

— Не ведаю,— отвечал тот и брал в руки коромысло, рассматривая его внимательно.— Метки никакой нет!

— Не из твоей ли бригады? — переводил взгляд Петр Кузьмич на Алешу Пшеничкина.

Пшеничкин щупал корзинки, заглядывая внутрь, исследовал горшки, недоуменно разводил руками и, в свою очередь, спрашивал:

— Кто принес-то?

— Ребятишки. Около дороги в траве нашли.

Петр Кузьмич поспрашивал еще кое-кого, подумал и решил вывесить объявление о находке.

Счетовод Херувимов написал объявление тонко, с хитрецой:

«Объявление

Июня двадцатого дня найдено нижеследующее продуктовое имущество:

1. Горшков с молоком: штук — четыре.

2. Мисок сливочного масла (зеленая): штук — одна.

3. Корзинок базарных, наполненных вышеупомянутым: штук — две.

4. Коромысло обыкновенное (без примет): штук — одна.

Заинтересованной личности обратиться к председателю колхоза. Во избежание прокисания все найденные восемь мест помещены на временное хранение в колхозный ледник до востребования».

Петр Кузьмич прочитал объявление, хитровато улыбнулся и сказал:

— Пусть будет так. А лучок попридержим. Интересно!

Килограмма два лука-репки он выложил из найденных корзин в ящик письменного стола и запер на ключ. В объявлении лук не значился. Бригадирам он почему-то тоже о нем не сказал.

Молва о находке распространилась по колхозу, обошла и поле и фермы. Перед вечером народ толпился около объявления, и каждый высказывал свои замечания. А Петр Кузьмич работал в своем кабинете и помаленьку слушал через открытое окно.

— Корзинок базарных... Коромысло обыкновенное...— прочитал Евсеич.— Так, так. Ясно дело, человек шел на базар. Кто ж бы такой это был? — спрашивал он не то у самого себя, не то у присутствующих.

— Разве Матрешка Хватова? — предположил конюх Данила Васильевич.

— Нет, та копнила сено на лугу. И сейчас там копнят,— ответил Евсеич.— Главное дело, почему корзины поставлены в траву? Не иначе, тут конфуз какой-нибудь получился. Ясно дело.

Терентий Петрович Климцов пришел позже. Он тоже прочитал объявление и спросил, обращаясь скромненько ко всем сразу:

— А может, Сидор Фомич Кожин?.. Нет, не он, у того в корзине должен быть обязательно лук-репка, а тут лук не обозначен. И вроде бы он был сегодня на работе. Был Сидор на работе?

— Был,— ответило ему несколько голосов сразу.

— Кто ж бы это мог быть? — совсем тихонько проговорил он.

— Терентий Петрович! — позвал из открытого окна Петр Кузьмич.— Зайдите-ка ко мне на минутку по одному дельцу.

Терентий Петрович тщательно вытер ноги в сенях и вошел.

— А почему у Сидора Фомича должен быть лук? — спросил председатель.

— А потому, что, кроме него, никто до июня месяца не додержит прошлогодний лук. Он его впятеро дороже продает — полтинник за головку. Человек такой: в колхозе — легкую работу, а дома — до поту.

— А если в корзине лук?

— Тогда — он.

Петр Кузьмич поманил к себе Терентия Петровича и отодвинул ящик письменного стола. Терентий Петрович как глянул, так и воскликнул:

— Он! Точно говорю, он. «Тугодум» — по прозвищу.

— Так, так. Теперь надо выяснить обстоятельства, при которых все это оставлено в траве. Придется послать за ребятишками.

Через некоторое время у двери кабинета председателя стояли двое ребят — Миша Сучков и Валька Силкин.

— Ну, иди! — подталкивал Валька товарища.

— Нет, ты иди первым! — пятился от двери Миша. Мальчик он был смирный и способный, не озорник.— Ты натворил, ты и входи сначала.

Дверь открылась. На пороге стоял Петр Кузьмич.

— Давайте, давайте, ребята. Вы мне очень, очень нужны. Без вас тут вопроса решить нельзя.

Валька вошел и снял фуражку, попробовал пригладить вихорок на голове над виском, но вихорок не подчинился. Курносенькое озорное лицо с острыми глазками обратилось к окну так, будто пришел Валька по особо важному делу и ждет начала разговора.

Миша хотел сначала спросить, как взрослый: по какому, дескать, случаю вызвали, но шмыгнул тонким носиком, помялся на месте, держа перед собою в опущенных руках фуражку, и сказал:

— Пришли.

Петр Кузьмич улыбался одними глазами и смотрел на ребят. Было им лет по двенадцати, не больше.

— Вот что, ребятки,— начал он.— Все, что мы будем здесь говорить, должно остаться тайной. Ни один человек не должен знать о нашем разговоре.— Ребятишки навострились и смотрели уже прямо на Петра Кузьмича.— Первое дело: в каком классе учитесь?

— В четвертом,— вполголоса, будто по секрету, ответили оба сразу.

— Хорошо — уже большие, можно доверить. А отметки как?

— Пятерки,— с достоинством ответил Миша.

А Валька молчал.

— А у тебя?

— По арифметике... тройка...

— Э-э! Как же это так?

Валька посмотрел на пол, увидел там сучок, потрогал его носком чувяка и не ответил. Миша счел бестактным молчание товарища и сказал:

— Он арифметику знает. Только на контрольной записал неправильно условие. Надо было: «Один паровоз вышел со станции А, а другой со станции Б», а он записал: «Паровоз вышел со станции А, а пароход — со станции Б». Пока он думал, на каком расстоянии встретился паровоз с пароходом, время прошло. Так, Валька?

— А тебя спрашивают? Лезет тоже,— недовольно проговорил тот.— А может, железная дорога была вдоль канала Волга — Дон? Ты почем знаешь?

— Так то ж задача,— возразил Миша.

— А канал — это тебе не задача?

— Ну не арифметика же?

— Ну и не лезь!

Спор заходил уже всерьез. Петр Кузьмич счел нужным прервать их.

— А теперь давайте о деле поговорим. Спорить нам нечего: и задачу надо записывать правильно, и на канале все может быть. Оба вы правы.— Ребятишки посмотрели друг на друга уже примирительно, а он вдруг спросил: — Как же вы нашли корзинки?

— В траве,— ответил Миша.

— Это ни о чем не говорит. Расскажите подробно: как шли, куда шли, за чем шли, кто встречался на пути. Все расскажите. Но чтобы после — молчок. Поняли?

— Рассказывай ты, Миша.

— Ишь какой! Ты же сказал: Сид... Ох! — встрепенулся Миша и испуганно посмотрел на товарища.— Ты и рассказывай.

— А кто сказал: давай отнесем корзинки в правление? Ты? Или кто?

— Ладно. Рассказывай ты, Миша,— обратился Петр Кузьмич.

— Ну... пошли мы с Валькой утром рано на подсолнух — дополоть свои паюшки.

— До солнышка,— добавил Валька.

— Идем себе и идем. Тут Валька и говорит: «Давай, говорит, сходим на речку, посмотрим наши верши,— может, рыба попалась».

— Нет, ты первый сказал: «Рыбки бы теперь поймать», а про верши это я уже потом, после. Ты сказал:

«Рыбки бы», а я сказал: «Днем опрыскиватель пойдет по подсолнухам, а дополоть надо раньше».

— А я-то тебе не говорил, что раз на работу идем, то не до рыбы? — спрашивал Миша.— Что я — лодырь, что ли?

— Ну и я не лодырь. Двадцать трудодней имею.

— Похвалился! У меня двадцать три, а молчу.

— Ну, рассказывай ты, Валя,— сказал Петр Кузьмич, всеми силами стараясь сохранить серьезный вид, хотя это было очень трудно.

— Пришли мы к месту,— начал теперь Валька.— Видим: бежит с коромыслом Сидор Фомич. Бежи-ит, трусит! Трух-трух-трух-трух...— Он немного помолчал.— Вчера же на наряде все ломали голову, как бы управиться с сеном и подсолнух дополоть — барометр на дождь пошел,— а он бежит на базар. Бежит себе, и ему не совестно.

— Это я сказал так: «Бежит себе, и ему не совестно»,— перебил Миша.

— Да ладно! — отмахнулся Валька.— Ну, шел он и все оглядывался. Мы и думаем: «Бессовестный! Люди — на работу, а он — на базар». Так ведь, Мишка?

— Так.

— Тут я и говорю...— Валька замялся, пристально посмотрел на Мишу, потом на Петра Кузьмича, и лицо его почему-то стало виноватым. Он понизил голос и совсем уже тихо сказал: — Говорю: «Давай корзинки отнесем в правление...» И...

— Стой, стой, Валя! Что-то тут немножко не так. Значит, отняли корзины? — будто ужаснулся Петр Кузьмич.

Миша подвинулся вплотную к Вальке и, слегка толкнув его локтем, сказал:

— Все равно, Валька, узнают. Раз по секрету разговор, то... Раз уж оба придумали, то оба и отвечать давай.

И вдруг Валька оживился, заволновался, вихорок его задрожал, и он быстро заговорил:

— Мы и думаем: «Давай вернем его на работу». Так, Мишка? — Тот кивнул головой утвердительно.— Поравнялся он с нами, мы ему и говорим: «Дядя Сидор! А бригадир сейчас поскакал на базар и говорит: «Поеду посмотрю, кто из симулянтов подрывает скирдование сена». Тут Сидор Фомич остановился и спросил: «Правда?» А мы и говорим: а председатель, мол, сейчас собирается

ехать в город — линейка уже запряжена. Сказали мы так и вроде пошли на подсолнух, а сами сели в кустах. Постоял, постоял он и вернулся. Только прошел немного и опять стал. Он же думал как: на базар пойти — там бригадир, вернуться обратно — председатель на линейке встретит. Тогда он сошел в траву, поставил там корзины и пошел домой через сады. Ну, тут мы и говорим: «Давай отнесем в правление».— Валька вытер фуражкой выступивший пот и сконфуженно закончил: — Раз виноваты, то, значит, виноваты. Мы больше не будем.

— Теперь все ясно,— сказал Петр Кузьмич. Он серьезно посмотрел на ребят, встал, подошел к ним, положил ладонь на плечо Миши, потрепал легонько вихорок Вали и сказал: — Я никому не скажу. Но вы больше так не делайте. Не надо, ребята, обманывать. А рыбу ловите, вам ловить полагается. Идет сейчас рыба-то?

— Все больше — линь,— ответил Миша.

— И плотва пошла хорошо,— добавил Валька.— Да все нам как-то некогда.

— Работа. Прополочная,— степенно закончил Миша.

...Все это я записал со слов самого Петра Кузьмича. В тот вечер, совсем в сумерках, мы сидели с ним вдвоем в его кабинете, и он рассказал мне о ребятишках и их находке. Свой рассказ он закончил так:

— А все-таки важно то, что Сидор Фомич шел на базар не с чистой совестью... Не пожелал встречи с бригадиром или с председателем. Это очень важно.

Мы уже собрались уходить, как в дверь кто-то осторожно постучал.

— Войдите,— откликнулся Петр Кузьмич.

В кабинет вошел Сидор Фомич.

— Добрый вечер! — угрюмовато поздоровался он.

— Добрый вечер! — приветливо ответил Петр Кузьмич.— Садитесь, Сидор Фомич.

Но Сидор Фомич не сел, а переминался с ноги на ногу, не решаясь начать разговор. Крепкий на вид, с украинскими усами, чисто выбритый, с редкой проседью в рыжеватых волосах, он сначала почесал висок, медленно повел плечами, легонько крякнул и без обиняков сказал:

— Значит, лук-то украли... В объявлении не обозначен.

— Так это ваше все? — будто удивился Петр Кузьмич.— Что же раньше не зашли?

— И зашел бы, да... народ тут кругом. Думаю, вечерком схожу.— Он себя чувствовал явно неудобно: то рассматривал стены, то вдруг заглядывал в окно, хотя на улице ничего нельзя было разобрать в темноте.— Значит, лук пропал? А его там два килограмма — рублей на тридцать будет...

— Нет, не пропал. Жалеючи вас, я про лук-то никому не сказал. Все же неудобно: горячая пора в колхозе, а вы — на базар.

— А что ж тут такого? — возразил без особой силы Сидор Фомич.— Я к двенадцати часам дня был бы на работе. Как часы был бы.

— Выходит так — одни будут работать с утра, а другие с половины дня. Так, что ли?

— Продухция...— неопределенно произнес Сидор Фомич.— Огородное дело, как бы сказать, требует.

— А работать в колхозе?

— Мы работаем. Выполняем, как полагается. Сто пятьдесят трудодней за прошлый год имею. Но без овоща нам никак нельзя.

Удивительным мне показалось тогда, что Петр Кузьмич не возражал Сидору Фомичу, хотя можно было бы говорить и о производительности труда и о многом другом. Он только спрашивал:

— А так, между нами говоря, Сидор Фомич: рублей на сто с лишним будет продуктов в двух корзинах?

Тот прикинул в уме, посмотрел в потолок и изложил:

— Лук — тридцать. Молоко — двадцать. Масло — сорок пять. Да. Так примерно рублей на сто должно быть... Кому-то хотелось чужим добром поживиться, да, видно, помеха вышла.— Он даже улыбнулся и повеселел, но ненадолго.

— А как же эти корзины вы потеряли? — спросил Петр Кузьмич.— Интересно!

— Как бы сказать, допустим, я иду...— Он растерялся и искал выхода.— Вижу, что вроде бы облака пошли. И я, значит, иду... Да! Дай, думаю, за плащом вернусь. А оно вон что вышло.

— За плащом, значит!

— За плащом.

— Значит, облачка находили?

— Облачка. Находили.

Так и не сказал никаких особых речей председатель — все спрашивал да улыбался. Но Сидор Фомич,

ссыпавши лук в мешочек, уходил потный и красный, как из бани, и вполголоса говорил:

— А работать будем. Как это так — не работать? Только овощ, он свое время знает. Без этого невозможно. И на базаре овощ требуется. Без этого нельзя.

Вскоре и мы с Петром Кузьмичом разошлись по домам.

Июньские ночи короткие: все кажется — вечер, а глядишь — уже полночь на дворе. Ночь была темная. Тучи плотно закрыли небо, и звезд не было видно. Изредка поодиночке падали капли дождя. В голове возник беспокойный вопрос: «Доскирдовали сено или нет?» И как бы в ответ сначала послышался девичий смех, потом говор людей, и вдруг, наперекор пасмурной погоде, грянула многоголосая песня:

...Ка-алинка, калинка моя,
В саду ягодка-малинка моя...

Кто-то на ходу притопывал, кто-то позванивал о косу в такт песне, под которую хорошо плясать. Люди шли с сеноуборки довольные, веселые, говорливые.

Скоро все стихло.

Земля запахла так, как она всегда пахнет перед дождем в июне. Тут и молоденький, от первых цветов гречишный медовый запах, и душистое — свежее-свежее! — сено, и такой ласковый душок крошки чабреца, даже подорожник, и тот пахнет по-своему. Все это то смешивается в воздухе, то поочередно вырывается струйками. Корни растений в такие ночи издают особый, какой-то прочный, могучий, богатырский земной аромат. Может быть, поэтому среди всех запахов настойчиво побеждает аромат земли. И кажется — земля дышит. А беспрестанный, ровный и напористый рокот тракторов один господствует над всем живым: больше никаких звуков. И если человек, хотя бы однажды, ощутил дыхание такой ночи, то она надолго останется в памяти. Но если человек с детства дышал этим родным и любимым, то никогда он не забудет, где бы ни был, куда бы ни привел его жизненный путь. Хорошо летом в темную ночь перед дождем!

Шел я медленно и думал о Сидоре Фомиче. Я очень давно его знаю, с первых лет своей работы. В бездонной степной темени ничто не мешало воспоминаниям, и передо мною вдруг поплыли прошедшие годы. Что только не вспомнит человек, проживший полвека!

И вот вспомнилось такое...

Было это в 1933 году. У Сидора Фомича корова объелась дурной травы. Пришла из стада и собралась издыхать: живот раздуло бочкой, лежит, ноги вытянула кольями, язык вывалила, кряхтит... Беда! Кончается корова, а до ветеринарного врача — пять километров (тогда во всем районе было только два ветеринара). Жена Сидора Фомича побежала за бабкой Унылихой, единственной бабкой, оставшейся из всех бабок. Присеменила та бабка. Маленькую кружечку с водичкой принесла с собой. Держит она кружечку, как живого звереныша, в обеих ладонях и — вокруг коровы... Шепчет, крестится, водичкой сбрызгивает. А корова уже и ногами дрыгает,— пропащее дело!

Хозяйка с заплаканными глазами дергала корову за хвост и сквозь слезы говорила:

— Ну, вставай же! Вставай!

Сам Фомич растерялся.

— Что же это ты, Машка? А? Бросать нас хочешь, а? Пропадем! Машка!

Случилось мне в тот день проходить мимо хаты Сидора Фомича. Услышал я бабий вой, зашел во двор и увидел всю эту картину.

Сидор Фомич смотрел на меня остановившимися глазами. Брови у него поднялись, усы обвисли, а щетина на давно не бритом лице растопорщилась во все стороны иглами, картуз сбился на сторону и затащил за собой прядь длинных волос, завернувшихся конопляной куделью. Лет ему было тогда не более тридцати, а видно — постарел он за эти минуты. Сначала он смотрел мне в лицо неподвижно, потом проблеснуло в глазах что-то вроде надежды, и он даже шагнул в мою сторону. Но вдруг махнул рукой, будто хотел сказать: «Ну, что там — агроном! Что он понимает по коровьим делам!» — и снова уставил взгляд на корову.

Жена его перестала плакать и смотрела на меня умоляюще. Еще моложавая, русоволосая, с голубыми, блестящими от слез глазами, полнощекая, чуть курносенькая — видно, боевая бабочка, а сейчас вот потерялась вся и всхлипывает.

— Товарищ агроном! Подыхает Машка-то. Как же?

Бабка Унылиха выплескала всю «святую» водичку и тоже растерянно прошамшила, держа пустую и бесполезную кружку костлявым пальцем:

— Трава такая есть, чертов волос называется. Вот и объелась. От нее и святая крещенская вода не помогает.

— Где паслась корова? — спросил я Сидора Фомича.

— На зеленях,— угрюмо, с недоверием ответил он.

— Тимпанит. Срочно надо прокол делать.

Незнакомое ли слово или уверенность, с которой я говорил, оказали действие — на меня смотрели с явной надеждой.

Терять времени никак нельзя было. Пока до врача доберешься, скотина подохнет.

— Дай-ка, Сидор Фомич, камышинку из крыши,— сказал я.— Да поскорее! — А сам нащупал пах у коровы, кольнул карманным ножиком и вставил в отверстие поданную камышинку.

Воздух из брюха пошел со свистом. Все молчали в волнении и неведении. И только через несколько минут после того как корова шумно вздохнула, хозяйка бросилась ко мне:

— Голубчик, родимый! Да откуда тебя бог принес?

А Сидор Фомич поправил картуз, высморкался в сторону, потрогал усы и произнес:

— Наука, она, брат... Да-а.

Пробовал я, по молодости, объяснить, что тут особой науки и не требуется и что есть даже простой инструмент — троакар, которым пользуются при тимпаните. Но эти «тимпанит» и «троакар» звучали так, что по лицу Сидора Фомича было видно: он и не собирался что-либо понять. Он только поддакивал и переспрашивал:

— Как говоришь — пантомит?

— Тим-па-нит.

— Ишь ты... А как этот: туракар?

— Тро-а-кар.

— Ну, где там! — уже весело воскликнул он.— Одно слово, наука.

Во время нашего разговора жена его юркнула в хату и вскоре вышла, держа в чистой тряпочке кусок сливочного масла. Она стала против нас и молча ждала окончания беседы. Корова тем временем стала ворочаться. Мы помогли ей подняться и заставили ребятишек гонять ее помаленьку по улице.

Сидор Фомич добродушно пригласил:

— Сядем давайте на скамеечку. Или в хату пожалуйте!

Сели с ним рядом около хаты, на лавочке. Хозяйка стала сбоку. Теперь Сидор Фомич стал уже совсем другим. Глаза у него, оказывается, острые, чуть прищуренные, усы он завинтил вверх, а лицо совсем повеселело. В расположении духа он сострил:

— Пантомит, пантомит, у Машки живот болит.— Но вдруг сразу помрачнел.— Да-а... Чуть было беда не стряслась. Спасибо вам! Никогда не забуду, во веки веков. Мы ведь к ней, к корове, большое уважение имеем... Кормилица... Без нее пропадешь. Да. Наука — она... сила.

— Вот в колхозе,— сказал я,— десять коров в день так же, как у вас, заболели, а ветеринар приехал и всех спас. Там действительно наука. А вы, Сидор Фомич, до сих пор не в колхозе. Нехорошо.

Он был заядлым единоличником, хотя колхоз существовал уже три года. И никакая агитация на него не действовала. Таких было дворов десять в селе. «Не прошибешь мозги,— говорил председатель сельсовета,— тугодумы». Пользуясь добрым расположением Сидора Фомича, я завел разговор о колхозе, пробовал убеждать. Помню, говорил горячо, волнуясь, как и полагается молодому агроному.

Вдруг, среди моей речи, Сидор Фомич поднял брови, провел ладонью вниз от переносья, отчего усы опустились, и проговорил медленно, глядя вниз:

— Ты вот что, товарищ агроном... Сколько тебе платить за корову-то? А о колхозе... где-нибудь...

Ошпарил он меня этими словами так, что я ничего не нашел сказать, кроме слов:

— Какой ты... тяжелый.

— Слыхал,— так же угрюмо проговорил он.— И тугодум — слыхал.

Жена его попятилась немного назад, спрятала кусок масла под передник и ушла в избу, оглядываясь.

Стало еще обиднее, когда Сидор вынул пятерку и протянул мне со словами:

— Спасибо. Во веки веков не забуду. Поверь.

Отходя от хаты, я обернулся и увидел, что Сидор Фомич сидит полусогнувшись и держит пятерку в опущенной вниз руке. Таким он и остался в памяти.

Хорошо помню, что Сидор Фомич вступил в колхоз одним из последних. Он все присматривался, взвешивал и чего-то боялся...

Дождь стал накрапывать настойчивее. Капли все чаще падают на дорогу. Так начинается окладной дождь — без грома, тихо.

В ту ночь я долго не мог уснуть — Сидор Фомич не давал покоя. Вспоминалось, с каким интересом он посещал лекции по овощеводству и никак не хотел слушать о чем-либо другом. Он спрашивал: «А будет там насчет овощей?» Если же ему отвечали отрицательно, то говорил: «Тогда мне и делать нечего». Потом возникло в памяти заседание правления, где обсуждали вопрос о позднем выходе некоторых колхозников на работу и о раннем уходе с поля на свои усадьбы. Многое вспомнилось.

Да. Давно я знаю Сидора Фомича, очень давно.

И еще припомнился разговор.

Совсем недавно Сидор Фомич работал с Евсеичем, которого одна ночная работа сторожем никогда не удовлетворяла. Работали они на воздушно-тепловом обогреве семян гречихи. Дело это очень простое: вороши семена и прогревай, чтобы тепленькими стали. Площадка для обогрева была вблизи агрокабинета. Я иногда выходил проверить, как идет работа, или наблюдал из открытого окна.

— Видишь, до чего додумались,— обращался Евсеич к Сидору Фомичу.— Семечко, допустим, живое, а не всхожее. А погрей его — и оно взойдет. Ясно дело — научность.

— А взойдет? — сомневался Сидор Фомич.

— Ясно дело, взойдет. Не первый раз такое делается у людей.

— Я еще не видал. Будет ли дело?

— И не обязательно надо видать. Агрономия, она, брат ты мой, знает, как оно там растет. И над землей знает и под землей знает. Я так думаю, что при коммунизме мы по сто центнеров зерна с гектара будем получать. А может, и больше. Ясно дело.

— Ну и загнул, Евсеич! Сто! Ты прикинь сперва, а потом говори. Я на своем огороде все по науке делаю, а вот даже чесноку по сто центнеров с гектара не получается. А ты — зерна сто.

— Чудак ты, Фомич! На Алтае уже было по сто центнеров пшеницы, сам читал.

— Чем же это я чудак?

— А тем, что на своем огороде все по научности делаешь, а тут не веришь, взойдет или не взойдет, будет или не будет по сто. Ясно дело, будет. Конечно, не сразу, а со временем.

— То-то вот — со временем. А кто его знает, как оно там будет со временем?

Он молча постоял в задумчивости, потом принялся снова за работу, но вскоре опять остановился и совсем неожиданно сказал:

— Маловато — полгектара.

— Это чего?

— Огорода, усадьбы.

Евсеич рассмеялся.

— А ты напиши по этому вопросу в Москву. Так, мол, и так: работаю на своем огороде столько же, сколько и в колхозе, и желаю иметь другой. Тут тебе сразу из центра бумага и придет: дать Сидору Фомичу два огорода. Пущай, дескать, пробует хрип гнуть, если забыл, как гнул когда-то. Пущай на него колхозники посмотрят. Ей-бо, так и напишут! А ты, значит, как получишь эту бумагу...

— Ну вот! Не может он без подковырки,— с досадой перебил Сидор Фомич.

— Какая же тут подковырка? — возразил Евсеич, и видно было, что он еле сдерживает смех.— Это ты будешь подковыривать лопатой, а рядом будут гусеничные да электрические над ухом гр-рр, гр-рр! Копай лопатой два огорода, по полгектара каждый, копай, хоть облупись. Не возражаю.

Сидор Фомич молчал — видать, рассердился — и ворошил семена. А Евсеич долго смотрел на него и наконец окликнул:

— Сидор, а Сидор!

— Ну?

— Или у тебя портки колючие, что тебя от огорода не оттащишь? Сел — не отдерешь.

— Тьфу! — отплевывался тот.— И пожилой человек, а... Ну, как бы сказать, скребница, что ли. Дерет и дерет по коже.

— Ой, Сидор! Много нас с тобой драть надо. Ей-бо, много! Ясно дело, отдерут. Отдеру-ут!.. И такой станет человек чистый и.., приветливый.— Евсеич вздохнул.

— А кто ж его знает...— нерешительно и уже примирительно произнес Сидор Фомич.— Может, и так...

Он задумался и продолжал работу молча.

Я поделился этими своими воспоминаниями с Петром Кузьмичом на следующий день.

Он слушал внимательно, не перебивая, а потом сказал задумчиво:

— Сидоры Фомичи — это самый трудный участок работы. Таким скорее можно доказать делом, дойти словом до них гораздо труднее. Недаром прозвище ему — Тугодум. Колхоз должен выращивать столько овощей, чтобы колхозник не так дорожил своей усадьбой. Убежден, что это очень важно.

Мы долго сидели вдвоем. Прикидывали, высчитывали, записывали и наконец пришли к выводу, что колхоз может обработать не меньше сорока — пятидесяти гектаров огородных культур, не считая картофеля. Договорились начать это дело в нынешнем же году, если общее собрание разрешит сделать некоторые изменения в годовом производственном плане.

Петр Кузьмич не любит откладывать дела. В ближайшие дни он уже повез в район выписку из решения правления, в которой было написано: «Распахать за ольшаником осоковый луг на площади пятьдесят гектаров под огороды. Увеличить производство овощей в десять раз. Просить райсельхозотдел планировать ежегодно нашему колхозу: лука — пятнадцать, чеснока — десять, капусты — двадцать гектаров. Организовать специальную овощную бригаду» .

Перво-наперво Петр Кузьмич попал к товарищу Чихаеву — главному агроному райсельхозотдела. Тот долго читал бумагу, рассматривал, удивлялся, а потом, вздохнув, сказал:

— Зачем столько овощей? Обузу себе выдумали. Я считаю, что наш план достаточен. Раз мы областной план разверстали — значит, он теперь будет стабильным. Овощей и на усадьбах колхозников хватит.

Так вот и сидели два агронома друг против друга: Петр Кузьмич, председатель колхоза, и товарищ Чихаев, который прожил за письменным столом двадцать с лишним лет и насчет планирования двух собак съел. Петр Кузьмич доказывал свое, а Чихаев — свое. Петр Кузьмич спорил, улыбаясь, а товарищ Чихаев сердился. Они не пришли к соглашению, и Чихаев в конце концов написал

резолюцию: «Укрепляйте полеводство и животноводство согласно решениям вышестоящих организаций, в которых об овощах не сказано». На словах он добавил:

— Хлопот полон рот, а будет ли доход? — И, очень довольный своим остроумием, вернул бумагу Петру Кузьмичу.— Все.

— Нет, не все,— сказал Петр Кузьмич.

— То есть как?

— К Ивану Ивановичу в райком схожу.

— Видите ли,— малость смешался Чихаев,— я приблизительно согласен... Я так и ставлю вопрос: будет ли доход? Если будет, то можно, а если не будет, тогда руководствоваться тем, что сама жизнь покажет, практика.

Петр Кузьмич хорошо понял Чихаева, но с секретарем райкома, Иваном Ивановичем, все-таки посоветовался и приехал в колхоз вполне довольный.

Вскоре он созвал заседание правления совместно с активом колхоза и пригласил Сидора Фомича принять участие в этом важном совещании.

Об организации овощеводства мне пришлось сделать доклад довольно обстоятельный. Дело для колхоза новое, требующее точных расчетов, учета затраты трудодней, внедрения механизации и так далее. Слушали все внимательно. При обсуждении никто не возражал, а лишь уточняли, выясняли, вносили свои соображения. Только Сидор Фомич сказал так:

— Оно, конечно, хорошо. Слов нет — дело сурьезное. Только чеснок — штука то-онкая. Его же требуется с осени закладывать, накрывать сухим сыпцом, посадить точно, вовремя. Хлопотная штука! У нас в колхозе и на пяти гектарах овощей хромота идет, а тут будет пятьдесят. Может, подождать бы? Такое мое соображение.

— До каких пор ждать? — перебил Евсеич.

Они всегда спорят друг с другом, но никогда не порывают дружеских отношений.

— Ну, годик-другой, пока укрепится укрупненный колхоз.

— А укреплять чем будешь? Палочкой-поджидалочкой?

— Отказать в таком предложении,— подал голос и Терентий Петрович.

После прений высказался Петр Кузьмич.

— Три задачи решаются в этом вопросе,— сказал он,— обеспечение колхозников овощами, снижение цен на

рынке, увеличение денежного дохода колхоза. Думаю, что общее собрание утвердит проект, предложенный докладчиком.— Длинно он говорить не умел и перешел прямо к делу.— Сенокос у нас закончен, поэтому за ольшаником можно поднимать пласт, обработать его в пару́, а с осени приступать к закладке чеснока и другим подготовительным работам. Овощную бригаду надо укомплектовать из колхозников, знающих это дело. Вношу предложение создать два огородных звена; звеньевыми назначить следующих товарищей: члена правления Федору Карповну Васину и Сидора Фомича Кожина — мастера по огородничеству. Если Сидор Фомич сумел у себя, то в колхозе ему никак невозможно дать плохой урожай. Придется, конечно, отвечать теперь и за общее дело, а не только за самого себя. Какие будут суждения?

— А как будет обстоять дело с коромыслом? — намекнул Терентий Петрович.— Насчет базарных дел как? С тех самых кувшинов так и идет по народу поговорка: «Кто — на работу, а кто — с коромыслом».

— Пусть он сам скажет,— ответил Петр Кузьмич.— По-моему, Фомич справится...

— У него свой огород — золотая левада. Некогда будет работать на колхозном огороде,— сказал кто-то из угла.

А Сидор Фомич молчал. Крепко задумался он, очень крепко.

— Ну, как же решил? — спросил Петр Кузьмич.

— Дайте хоть немного подумать,— проговорил вполголоса Фомич.

— Сколько времени тебе на думки отпустить? — спросил Евсеич, перебирая пальцами клинышек бородки и усмехаясь.

Но Сидор Фомич не заметил иронии Евсеича и искренне ответил, глядя ему прямо в лицо:

— Ну, хоть бы... с недельку подумать надо.

Наступило молчание. Петр Кузьмич смотрел на Сидора Фомича внимательно, будто проник ему в душу и видел, что там у него творится внутри. В тишине слышно было, как тикают торопливые часы-ходики, которым ожидать не полагается — они идут и идут.

Сидор Фомич вздохнул.

В этом молчании послышался голос Терентия Петровича:

— Позвольте слово.

Терентий Петрович на собраниях говорил редко, больше подавал реплики, но после совещания передовиков уже иногда и выступал. Многие обернулись в его сторону, но по малости роста его не было видно, поэтому послышалось сразу несколько голосов:

— Выходи, Петрович, наперед!

— Давай на вид становись!

Терентий Петрович вышел к столу и тихонько, спокойно начал:

— Так, товарищи. Сидору Фомичу мы внесли предложение. Хорошо. А он собирается подумать с недельку. Выходит, если каждому из нас над таким делом думать по недельке, то получится развал колхозного строительства, а не путь к коммунизму. Точно говорю.— Сидор Фомич поднял голову и внимательно посмотрел на оратора. Они встретились глазами, и Терентий Петрович чуть-чуть повысил голос: — Помнишь разговор на сенокосе, Фомич? Помнишь! Ты что тогда сказал? Ты сказал, что тебе, дескать, при социализме жить хорошо. Ладно... Это правильно. А что ты сказал еще? — Терентий Петрович вдруг заговорил баском, подражая Сидору Фомичу: — «Мне коммунизм не к спеху. Мне и при социализме неплохо». Спорили мы с тобой? Спорили, подтверждаю. А что после того спора? «Подумаю!» — говоришь. Ладно, думай. Но только я скажу еще: значит, тебе твоя усадьба дороже всего на свете. Одна рука — в колхозе, а другая — на базаре. Вот какой вывод я тебе делаю.

Тут Сидор Фомич встал и заявил прямо:

— Не иначе — ты выпил.

Терентий Петрович шагнул к нему и, подняв лицо вверх, сказал вежливенько и так же спокойно:

— Давай дыхну! — И, не дожидаясь согласия, дохнул открытым ртом на Фомича.

— Тверезый! — удивился тот и сел.

— Да разве ж можно по такому вопросу пить! — отозвался Терентий Петрович.— Небось думаешь: «По какой причине он говорит?» Я отвечу. Что ж, Фомич, слов нет, ты живешь вроде честно. Ты и чуть больше минимума выработал, но...— Терентий Петрович поднял палец вверх, вскинул бородку и раздельно произнес: — Но ты сейчас — тормоз движения на данном этапе. Эх, Фомич, Фомич! И не один ты. Через то самое я и выступаю, а то молчал бы. Собственник ты, Фомич! Если ты хочешь понимать жизнь, то это самое — не лучше воровства. Точно

говорю.— Терентий Петрович немного помолчал и вдруг воскликнул: — Не может того быть, чтобы у тебя и душа чесноком пропахла! Все ж мы тебя знаем — трудовик. Ну что ты всю жизнь упираешься? Тебя — вперед, а ты — обратно.

Сидор Фомич еще раз встал, и в голосе его послышалась просительная нотка.

— Ну, Терентий Петрович! — Он махнул рукой и сел, опустив голову.

— Слышь, Терентий! — заговорил Евсеич.— Ты что, не видишь, человек стронулся с места и без того? Должон понимать: это же не с глазу на глаз разговор, тут народ.— И в его словах прозвучало что-то теплое.

— Ладно, я кончил,— неожиданно сказал Терентий Петрович и пошел на свое место. А уже оттуда добавил: — Только ты подумай над моими словами. Вопрос сурьезный, Сидор Фомич. Я тебе не для критики, я душевно сказал.

Петр Кузьмич спросил у присутствующих:

— Ну как же? Дадим Сидору Фомичу подумать?

На этот вопрос никто не ответил, но Сидор Фомич отозвался сам. Он сначала повел плечами, будто стряхивая какую-то тяжесть, поднял лицо к председателю и медленно, с расстановкой сказал:

— Что ж... два дня хватит. Послезавтра скажу.

Петр Кузьмич улыбнулся и заразил всех — все улыбнулись: дескать, сразу пять дней уступил... Только Сидор Фомич все ж таки снова вздохнул. Он даже оглянулся на сидящих, но, не увидев в глазах ничего похожего на злобу, потрогал усы и, кажется, улыбнулся тоже. А может быть, мне просто показалось.

С совещания мы шли вдвоем с Петром Кузьмичом. Шли некоторое время молча. Он заговорил первым.

— Я был неправ, Владимир Акимыч,— сказал он, заключая вслух какую-то свою мысль.

— В чем?

— Можно и до Сидора Фомича дойти словом, но только надо уметь найти это слово. Вот Терентий Петрович нашел. И Евсеич всегда находит. А я нет... Наверно, слово это должно быть точным и правдивым, как у Терентия Петровича, и душевным, как у Евсеича.

— Ты, Петр Кузьмич, делом доходишь лучше.

— И все-таки этого мало,— задумчиво проговорил он.

Мы попрощались.

«Найдешь ты и слово! — думал я.— Не такой ты человек, чтобы не найти».

ОДИН ДЕНЬ

Ранним утром в деревне тихо. Птицы в это время еще молчат. Звука тракторов еще не слышно: они на техническом осмотре и заправке горючим после ночной смены. И такая тишина стоит, что кашлянет кто-то в километре, а слышно.

Накатанная дорога тянется ровными автоколеями посреди широкой улицы и кажется чисто подметенной. Грач-одиночка по-хозяйски идет по дороге и что-то высматривает, изредка клюнет потерянное зернышко. Теленок бредет по улице и суется к каждому предмету: о дерево почешет шею, о забор потрется боком, у яруса строительных бревен обнюхает торец сосны и лизнет его, постоит немного и плетется дальше. На грача он смотрит долго и внимательно, с каким-то не то недоумением, не то любопытством. А грач будто и не заметил потомка лучшей в колхозе коровы — прошел мимо сосредоточенно и деловито: у раннего грача-разведчика хлопот много.

А больше никаких видимых признаков жизни на улице пока нет.

Еще не сошел с неба, на западе, серовато-мутный налет, но зарево на востоке уже возвещает о близком восходе солнца. И все живое молчит. Все ждет солнца, не нарушая тишины. Только разве петух на ферме спросонья прогорланит и захлебнется, будто подавившись: собратья отвечают ему нехотя и лениво: рассвело и без нас, дескать. И снова тихо, тихо.

Но вот знакомый звук зашевелил тишину: автомашина, груженная мешками семян, выползла из-за угла зернохранилища, выправилась на дорогу, набрала скорость и засигналила теленку. Тот повернул мордочку, стал попрочнее посреди дороги, наблюдая, что будет дальше. Конечно, машине дорогу он не уступил: видели, дескать, мы тебя на ферме — не удивительно! Пришлось шоферу аккуратно объехать упрямца.

— Лена,— послышался негромкий голос с фермы.— Шалопут опять ушел. Не видела?

— Во-он! По дороге плетухает,— ответил второй женский голос.

Девушка в белом халатике показалась со двора и направилась к теленку, беззлобно разговаривая с ним на ходу:

— Опять удрал, Шалопут? Ну иди, иди, горе мое!

И снова тишина. Зарево на востоке все краснее и ярче. И жизнь становится живее и живее. С ведрами прошла к колодцу женщина. Конюх потихоньку вывел на проводку жеребца-производителя; тот заржал голосисто и призывно, и ему ответил голос молодой кобылицы. Тихой, развалистой походкой прошел во двор пожилой колхозник с кнутом в руках. Все движутся медленно спросонья, а говор — несмелый, тихий. Только где-то вдали крикнул пастух, выгоняя коров на первые выпасы:

— Куда пошла-а? — и щелкнул кнутом, рассекая тишину.

Никто пока не спешит.

Но вот... лопнула тишина! Раскололась вдребезги на мелкие звуки. Застрекотал пронзительной пулеметной очередью пускач дизельного трактора, и звук его забарабанил по селу, несколько минут тормошил хаты, позвякивая в стекла: и трещит, и трещит, и трещит. Так же сразу он умолк, вслед за ним послышались сначала спокойные вздохи, а затем и ровный рокот дизель-мотора. Вот и еще такой же пускач рассек воздух, и снова уже другой дизель заговорил баском на все поле. Веселым перебором ворвались в общий рокот колесные тракторы ХТЗ.

День колхоза «Новая жизнь» начался. Ездовые заспешили во двор. Плотники застучали, запилили, и звуки топоров, застревая в общем потоке рокочущей волны, то терялись, то возникали снова. А веселое весеннее солнце взошло и брызнуло на колхоз чуть теплыми лучами.

Для меня этот день начался неплохо. Мне необходимо было провести в бригаде Митрофана Андреевича Каткова весь день. И я решил пораньше найти бригадира: днем трудно поймать его в поле на громадном массиве бригады в тысячу гектаров. Встретились мы в воротах бригадного двора.

— Доброе утро! — поздоровался он.

— Доброе утро!

— А я домой: на завтрак.

— Что так рано? Солнце встает, а уже и завтрак.

— У меня заправка такая: наряд — вечером, ранним утром — во двор, а потом — в поле, на весь день.

Мы договорились о плане наших поездок по полям. Вдруг ни с того ни с сего он взял меня за локоть и спросил:

— А ну-ка, Владимир Акимыч, скажите: что есть блин?

— Блин? — удивился я.

— Да, блин. Не знаете? Блин — залог здоровья. Солнце, воздух, вода и... блин! — Он весело расхохотался.— Пошли ко мне, зоревой завтрак учиним. Попробуйте, какие блины умеет сотворять моя хозяйка. Пошли, пошли!

Я пробовал отказываться, упирался. Но где там! Он стал против меня, взял за пуговицу ватника и молча улыбался шустрыми черными глазами. Не пойти было невозможно. Мы зашагали рядом.

— Значит — залог здоровья? — переспросил я.

— Именно. Эх, сколько этих блинов поедается всем колхозом! Уму непостижимо. Есть у меня в бригаде Прокофий Иванович Филькин. Вы-то его знаете хорошо. Так вот он умеет едать блины. Отлично умеет. Пригласила его как-то теща в гости: приходи, дескать, Проша. «С нашим, говорит, удовольствием, мамаша». Навела она добрую дежу теста и стала его кормить, Прокофия-то. Стал он есть. Только блин со сковороды, а он его трубкой — раз! — в сметану и в рот целиком. Раз! — и в рот! Раз! — и в рот. Она печет, а он на лету поедает их. Раз! — и в рот. Раз! — и в рот. Дежа кончается: такая дежа, что пятерым хватило бы. Умаялась теща. Испекла она последний блин, сбросила со сковороды и говорит: «Ух! Как и не пекла!» А Прокофий Иванович-то вытер пот рукавом и отвечает: «Э-хе-хе! Как и не ел!»

Я рассмеялся. Митрофан Андреевич тоже. Трудно поверить, что вот этому веселому, не по летам моложавому человеку сорок два года, что он четыре раза ранен во время Отечественной войны, что на его плечах тысяча гектаров земли и двести человек и что сейчас разгар весеннего сева.

Мы подошли к дому Каткова. Это не просто хата, а четырехкомнатный домик, крытый железом, с аккуратным палисадничком. Из трубы тянулся легкий дымок. А когда взошли на крыльцо, то запахло и блинами.

— Фрося! — приветливо крикнул хозяин, входя в комнату.— Вдвоем пришли завтракать.

— Пожалуйте,— ответила она.— Мне хоть еще двое. Хватит.

Мы помыли руки и уселись за стол. Катков шутил:

— Не знаю, как оно там по медицине, но если я с утра упакую дюжину блинков в полный диаметр сковороды да закантую поясом, то целый день хоть бы что. Правильно, Фрося?

Ефросинья Алексеевна, наливая блин на вторую сковороду, ответила:

— Хвастаешь! Больше семи блинов не съедаешь.

— Ну, уж и нельзя лишнего прибавить.

Ефросинья Алексеевна улыбнулась и положила горячий блин на чистое полотенце, разостланное на столе.

Запах подрумяненного круглого и пышного блина заполнил всю комнату. Ну и запах! Недаром же вся улица пахнет блинами там, где их пекут. Опустишь такой блин в миску со сметаной, положишь его в рот, а он так и дышит во рту! Вот уж действительно настоящие блины, какие не каждому доводилось есть.

Отличные блины!

Шипела сковорода. Потрескивало в печке. Хозяйка стояла к нам вполоборота, опершись на чаплик. Голова ее была повязана голубенькой, с цветочками, косынкой; лицо уже покрыл легкий весенний загар. Она первая прервала молчание:

— Я ведь, Владимир Акимыч, насилу приучила его питаться,— она указала на мужа.— Бывало, вскочит чуть свет, схватит кусок хлеба за пазуху и бежит. Теперь наладился. Вы ему не верьте, когда он о себе говорит. Я-то его знаю. Пришел вот завтракать, будто только и день у него начался, а сам на рассвете уже и в тракторный отряд на мотоцикле съездил, и на ферме побывал, и наряд проверил.

— Уважаемая Ефросинья Алексеевна! — строго-шутливо обратился к ней Митрофан Андреевич.— Не переходите на личности: аппетит понижается.

Позавтракали мы отлично. Вымыли руки. Я поблагодарил хозяйку.

— Мне-то куда сегодня? — спросила она у мужа.

Митрофан Андреевич схватился за голову обеими руками и воскликнул:

— Прорыв! Развал бригады! Гроб дисциплине! Своей жене забыл наряд дать. Подскажи, пожалуйста, сама. Не на огороды ли? Точно: туда.

Жена спокойно улыбалась.

Мы вышли. На крыльцо медленно поднялся нам навстречу отец бригадира, Андрей Петрович. Волосы у него совсем белые, как молоко; бородка подстрижена аккуратно, лопаточкой, а волосы — в кружок. Сразу видно — опрятный старик. Без малого девяносто лет у него за плечами, но видит и слышит еще хорошо и не может не работать.

— Здравствуйте, Андрей Петрович!

— Здравствуй, детка! (Всех, кому меньше шестидесяти, он называет «детка».) А я вот утречком-то в огородике покопался. Я люблю — утром.— Он присел на лавочку.— Все торопитесь. Весна. Хорошо — весна. Торопиться надо. Только вот не пойму одного: зачем перекрестный сев. Для какой радости два раза по одной пашне ездить вдоль и поперек: туда — полнормы семян, сюда — полнормы? Ну ладно, пущай урожай выше на полтора центнера, но узкорядный-то так же дает, как и перекрестный. Вот и делали бы узкорядные сеялки, а не гоняли тракторы вдоль и поперек. А то, вишь ты,— обратился он к сыну,— в одном месте не начинал сеять,— теряешь половину урожая,— а в другом — взад-вперед, вдоль-поперек, вдоль-поперек! А гасу-то, гасу сколько попалят!.. Сколько раз я тебе, Митроха, говорил: «Брось ты эту затею! Не может быть того, чтобы наука гоняла тракторы туды-сюды». Узкорядные — надо: один раз сеять по одному месту.

— План есть на перекрестный сев, папаша. План надо выполнять.

— «План, план»... Заладили, как сороки на суку. Ты, Митроха, смотри за этим,— на то ты и партейный, значит. Если план подходялый для колхоза и государства, то делай, а если неподходялый — плюнь! Аль напиши им туда.— Дед махнул рукой вверх: туда, куда, по его мнению, следовало писать.— Право слово, верно говорю,— обращался он уже ко мне.— Мне и то доходит, а вы должны душой болеть. Ишь ты! Вдоль-поперек, вдоль-поперек!

— Андрей Петрович,— сказал я,— пока нет узкорядных сеялок, надо сеять перекрестно... Урожай надо повышать.

Он посмотрел в пол и тут же согласился:

— Пожалуй, так. А насчет узкорядных напишите туда... Блинков-то поели? — по-стариковски перешел он вдруг на другую тему.

— Сыты, папаша.

— Блинки — это хорошо. После них человек делается прочный, тугой. Ходит себе день-деньской, до самого вечера... Ну, идите. Торопитесь, неугомонные, торопитесь! — И он, покряхтывая, направился в хату, но в дверях сеней повернулся к нам и сказал: — Митроха! Денька через два, а может, и завтра, дождик должон быть. Налегни на сев-то.

— Вот тебе на! Гляну на барометр,— забеспокоился Митрофан Андреевич. Он ушел в хату и тут же вернулся.— Давление падает.

— Ты на свою машинку смотри не смотри, а на днях дождю быть,— сказал Андрей Петрович.

— Как же это вы, Андрей Петрович, узнаете об изменении погоды? — спросил я.

— Э-э, детка! Давно уж я живу-то. По всем приметам узнаю. Ласточка идет низом, значит — мошка летит низом. Это — раз. (Он загнул костлявый палец.) Курица обирается носиком — перо мажет жиром. Это — два. (Он загнул еще один палец.) У курицы, значит, шишка такая над хвостом — жировая... Свинья тоже чует: тело у нее зудит, чешется она, солому в зубах таскает. Животная, она чувствует. И человек чувствует. Только иной замечает, а иному наплевать... И в сон ни с того ни с сего клонит, и если, по старости, кости ноют, и волос на голове не такой делается, и спина — того...

Андрей Петрович загнул уже несколько пальцев, а Митрофан Андреевич нетерпеливо посматривал на меня и будто говорил глазами: «Разошелся папаша, а времени у нас нет». Однако вслух он, обращаясь ко мне, заметил:

— Точно узнает папаша: живой барометр.

— И лебеда тоже вот хорошая примета,— продолжал загибать пальцы Андрей Петрович.— Как с низу листочков слезки пойдут, так и смотри другие приметы. Если все приметы сходятся, то уж хочешь не хочешь, а дождю быть... Примет этих много, детка. Много.— И он ушел в сени, так и не разогнувши пальцев, будто еще вспоминал приметы и собирался отсчитывать их на пальцах. Из сеней все еще слышался голос старика: — Дым,

примерно, низом стелется, в трубу плохо тянет — тоже к дождику. Солнышко в тучи садится — жди мокрости. Много примет. Много. И все правильные.

Мы сошли с крыльца.

— Теперь минут на десять завернем во двор. Могут оказаться отставшие, надо их подтолкнуть,— сказал Митрофан Андреевич и ускорил шаг.— Громадный опыт у папаши,— продолжал он на ходу.— Интересно, почему ученые метеорологи не дадут научных объяснений народным приметам? Люди тысячи лет примечали: не можем же мы выбросить эти наблюдения.

— Практически мы их и не выбрасываем, но объяснить, конечно, надо бы метеорологам,— согласился я.

Войдя в ворота бригадного двора, мы увидели двух колхозников. Один из них, Витя-гармонист, осматривал колесо, а второй, тот самый Прокофий Иванович, запрягал лошадей. Митрофан Андреевич как-то сразу помрачнел и направился прямо к ним.

— До десяти стоять будете? — спросил он строго.

Витя-гармонист — с пышным чубом, в клетчатой кепке, заброшенной на затылок так, что, казалось, вот-вот она упадет,— ухватил рукой обод колеса брички и потряс его.

— Обратите внимание, Митрофан Андреевич: рассохлось. Разваливается. Виляет по дороге восьмеркой. Не колесо, а вальс «Разбитая жизнь». Не по моей вине задержался — ищу колесо.

— А почему допустил до этого? Ты ездовой. Разве раньше не видел, что колесо надо перешиновать? Тебе что: няньку на бричку надо?

Митрофан Андреевич засыпал Витьку вопросами так, что тот не сумел ничего ответить и стоял, вытаращив свои большие голубые глаза, будто недоумевал и собирался сказать: «А ведь и правда — я виноват! Как же это я так?» Но он ничего не сказал в оправдание, а только привел широкую кепку в надлежащее положение и спросил:

— Ну, а сегодня-то как же?

— Сегодня получишь штраф в один трудодень за халатное отношение к колхозному имуществу. Третий раз уже тебе замечаю, теперь придется штрафовать. Колесо возьмешь новое. Отправишься немедленно в поле. Завезешь в кузницу старое колесо... Эх, ты! «Разбитая жизнь»!

— Ну, во-от! Скорей уж и штраф. Безо всякого подхода. Я человек старательный, а ко мне безо всякого убеждения. Возражаю.

— Уже третий случай с тобой. Хватит. Убеждал, убеждал, а ты теперь и с колесом допустил. То постромку потерял, то на «Разбитой жизни» ездишь.

Витя немного подумал и сказал:

— Исправлюсь. Клянусь инструментом! — И он постучал по ящику с баяном, который стоял в передке брички.

Митрофан Андреевич посмотрел на баян, потом на Витьку, брови его вздрогнули, и в глазах появилась чуть заметная улыбка.

— Клянешься? — спросил он.

— Не повторяю. Сказал твердо.— Витя ткнул себя большим пальцем в грудь.

— Ладно. Но только — в последний раз. И, кроме того, музыка музыкой, но среди бела дня не баловать, а работать.

— Днем настроения быть не может.

— Что ж, ты играешь только ночью?

— Да, вечером или ночью. «Каприччио» разучиваю.

— И как оно?

— Получается.

— Вот с колесом только не получается.

— Проза,— возразил Витька и закинул ногу на ногу, опершись на бричку.

— Да ты что на одной ноге стал? Или думаешь до обеда стоять? Я с тобой уже пять минут потерял.

— Я что? Я ничего. Вы же сами музыкальный разговор затеяли.

— На́ ключ от сарая! Бери колесо.

— Момент! Один момент — и Витька будет в поле.

— Ну, куда побежал? (Витя с разбегу остановился и обернулся к нам.) Наряд возьми в кузницу. Колесо не примут без него.

— Не учел. Есть наряд взять в кузницу.

Митрофан Андреевич развернул блокнот, положил его на грядушку брички и быстро написал наряд. Он подал листок блокнота Витьке, а тот ринулся в сарай, выкатил новое колесо и действительно моментально заменил старое и выехал со двора, снова забросив фуражку на затылок.

— Ох, Витька, Витька! Горе мне с тобой,— вполголо-

са сказал бригадир, глядя ему вслед.— Парень окончил семилетку, а места не найдет. В сельскохозяйственную школу отказался наотрез, в техникум ни под каким видом не хочет, а зарубил одно: в музыкальное училище.— Он помолчал.— Наверно, надо правлению хлопотать да определять его по музыкальной линии... Все равно уйдет сам. Ну, этот с большим талантом,— у него балалайка и та плачет... А все остальные тоже уходят. Как только окончил семилетку, так и до свидания: поминай как звали! Из всего колхоза один Петя Федотов агрономом будет, а другие — кто куда. Даже обидно: семилетка — в колхозе, а по сельскому хозяйству не учат. Только и знаний дают, как фасоль прорастает. С детства отбивают интерес от поля; выходит парень из семилетки и ни бельмеса не соображает ни в полеводстве, ни в животноводстве, ни в технике сельского хозяйства.— Митрофан Андреевич с досадой стукнул блокнотом о ладонь и заключил: — Честное слово, напишу в Цека партии по этому вопросу.— Вдруг он спохватился и глянул на ручные часы.— Уже больше десяти минут торчим здесь, а он все запрягает,— и кивком головы указал на Прокофия Ивановича.

Прокофий Иванович — мешковатый на первый взгляд, тучный мужчина лет пятидесяти, с круглым красным выбритым лицом — медленно обходил вокруг брички. Он неуклюже переставлял мощные ноги и ощупывал колеса, постромки, поправлял хомуты, трогал вожжи. Все как будто бы было в порядке, но он снова принимался просматривать, ощупывать, что-то прилаживать и поминутно каким-то полусонным голосом говорил:

— От ты, елки тебе зелены!

— Что он медлит? — спросил я потихоньку у Митрофана Андреевича.

— Ему стронуться с места труднее всего на свете.

— А вы пошевелите его построже.

— Этого нельзя. Я его отлично знаю: растревожь с утра, так целый день будет мучиться. Но уж если начнет работать, то... В общем, сами увидите.— Однако Катков не выдержал и двух-трех минут и обратился к нему: — Прокофий Иванович! Что у вас там?

— Хомут,— многозначительно ответил тот.

— Что — хомут?

— Не видишь: с Великана хомут.

— Великан захромал.

— Знаю — захромал... От ты, елки тебе...

— Ну?

— Что — ну? Другого коня дал конюх заместо моего. Сам знаешь.

— Так что ж тут такого? И поезжайте.

— А?

— Поезжайте, говорю, быстрее: спешить надо. Потник под хомут вчера подшили, подогнали хорошо.— При этом Митрофан Андреевич потрогал хомут, засунул под него ладонь.— Хорошо сидит хомут. Не задерживайтесь.

— От ты, елки зелены! У меня лошади не парные, а я сломя голову скачи. Надо все проверить, приладить и... этого... Великана посмотреть. Ты посмотри сам: может, лечить надо, а я — уеду и не узнаю. А потом ты же и скажешь: Прокофий, мол, такой-сякой.— Говорил он все это будто нехотя, с расстановками, без жестов и, казалось, обдумывал каждое слово.

Наконец терпение бригадира иссякло.

— Да до каких же пор стоять-то будешь?

— Великана посмотри,— все так же невозмутимо отозвался Прокофий Иванович.

— Тьфу! — плюнул Митрофан Андреевич и, отвернувшись в сторону, сказал: — Веди Великана! Я и без тебя его смотрел и знаю, что с ним.

— А то при мне посмотри. Лошадь, елки зелены, любит хозяина. А я, елки зелены, должен целый день думать, что с моей лошадью.— При этом он, казалось, пытался сойти с места, но это далось ему не легко.

— Да веди же лошадь! — слегка повысил голос Митрофан Андреевич.

— Что ж ты сердишься? Тут без никакого сердца. Лошадь за мной закреплена, я на ней пять лет работаю. Как это так: сел — и уехал? Лошадь, она, елки зелены... как бы, например, к человеку приставлена.

— Прокофий Иванович! Ей-богу, не выдержу! — воскликнул Митрофан Андреевич.

После этих слов Прокофий будто и чаще зашевелил ногами, но зато шажки стали далеко мельче и никакого ускорения не получилось — одна видимость. Наконец он вывел прихрамывающего Великана. Митрофан Андреевич поднял больную ногу лошади, зажал ее меж колен и заговорил, сдерживаясь:

— Плоское копыто. Намяла под стрелкой, ковать надо на войлок.

— Вот и я так думаю. Правильно.
— Подкуем завтра утром.
— Кто?
— Кузнец, конечно.
— А кто поведет?
— Конюх.
— Не-е! Я сам. Пиши наряд! Завтра чуть свет сам поведу в кузницу.
— Ох! — вздохнул бригадир. Он написал наряд и вручил его Прокофию Ивановичу.— Ну теперь-то все?
— Все,— утвердительно ответил тот. Он аккуратно сложил наряд вчетверо, положил в полинялую кепку, надвинул ее прочно и полез в бричку. Наконец тронул лошадей, но они, чуя характер ездового, тоже не спешили. И уже через десяток метров Прокофий Иванович вдруг остановил их: — Тпруу! Елки тебе зелены! — Теперь он сдвинул кепку легонько на лоб, почесал затылок. Оглянулся на нас. Посмотрел на лошадей. И потом снова — в нашу сторону и... продолжал стоять, пока не увидел мальчика у ворот двора.— Пашка-а! — крикнул он.
— А-а?
— Иди-ка!
Мальчик подбежал и спросил:
— Чего вам, дядя Прокофий?
— Подай-ка сумку с продухцией. Вон она лежит. Заторопился — забыл.
Паша подал объемистую сумку, и Прокофий Иванович тронулся наконец с места.
— Как уж это начнут торопить, как начнут, то обязательно, елки зелены, забудешь чего-нибудь... Но-о! Заснули-и! — Он слегка взмахнул кнутом, который у него был для видимости (лошадей он никогда не бил), и выехал за ворота.
Громкоговоритель отбивал поверку времени. Митрофан Андреевич заторопился.
— Семь,— сказал он.— Задержались немного.— Он быстро выкатил мотоцикл из сарая и сразу повеселел.— Вот машина незаменимая: ИЖ-49. Три подарка нам от Советской власти в последние годы: самоходный комбайн, мотоцикл ИЖ-49 и... автомашина «Москвич».— Последнее слово он произнес с легким вздохом.
Никаких средств передвижения Митрофан Андреевич не хочет знать, кроме мотоцикла (хотя на «Москвич» уже собирает деньжата). Он не просто ценит мотоцикл как

машину, он его любит. Вообще Катков к машинам неравнодушен. Зная эту его слабость, я прислонил ладонь к ребрам охлаждения мотора — он был горячим — и подумал: «Э-э! Да он и правда полполя объездил еще до солнца».

— А заводить будем полчаса? — пошутил я.

— Он у меня и холодный заводится как часы.— В словах его послышались ревнивые нотки.

Митрофан Андреевич слегка — совсем маленечко — надавил педаль стартера, не прикасаясь руками к мотоциклу, и мотор заработал так, будто только и ждал хозяина: тихо похлопывая и слегка вздрагивая.

Я сел на заднее сиденье, и мы помчались в поле. Но около зернохранилища нам замахали руками, закричали, требуя остановки. Сильнее всех кричала Настя Бокова:

— Стой! Подожди! Митрофан Андрееви-ич! Стой! — Она стояла в кузове автомашины и махала платком.

Мы завернули к зернохранилищу.

— Что у вас тут? — спросил Митрофан Андреевич.

— Не тут, а там,— указала рукой Настя в поле. Сильная, раскрасневшаяся от возбуждения, она была, видно, не в себе.

— Что там?

— Беда, Митрофан Андреевич...

...Отец Насти убит в боях во время Отечественной войны, мать вскоре после этого умерла, и Настя осталась десятилетней сиротой. Взял ее к себе тогда Прокофий Иванович Филькин, который после ранения остался «по чистой»; воспитывал, как мог: брал ежедневно с собой в поле, еще девчонку научил работать косой, топором, управлять лошадьми, а к семнадцати годам Настя уже умела делать любую мужскую работу. Теперь ей уже двадцать лет, и она живет в своей собственной хате, что осталась от семьи. Но Прокофия Ивановича любит, как родного отца. Колхоз для нее — родной дом, но вот только не любит Настя женской работы, не любит полоть тяпкой, сажать овощи, вязать снопы; во время сенокоса она косит наравне с мужчинами; во время сева и уборки грузит зерно, иногда подменяет Прокофия Ивановича, когда тому надо отлучиться, и работает на его лошадях. (Кроме нее, он никому не доверяет своих лошадей, а из колхоза отлучается лишь в самых исключительных слу-

чаях.) Вообще-то Настя собирается быть шофером. Сейчас она работает грузчиком на автомашине и еще с рассветом начала развозить семена по тракторным сеялкам.

— Митрофан Андреевич! Дизельный трактор стал — авария,— тихо произнесла Настя.

Первая песенница и шутница на селе, она и «барыню» откаблучит так, что парни за затылки хватаются, и «русскую» выбьет с дробью — головой закачаешь. А сейчас не узнать Настю.

Митрофан Андреевич нахмурился и посмотрел на запад, где плотные кучевые облака вылезли ватагой. Он буркнул потихоньку:

— Вот черт возьми!

— Давай — в отряд! Скорее! — сказал я.

— Все теперь пойдет вверх ногами на весь день! — возмущался он.— Перекрестного посеяли половину, а половина осталась. Пойдет дождь — беда.— Он завел мотоцикл и с ходу набрал скорость.

Через несколько минут мы были в отряде. Тракторная будка прилепилась к вершине лощины в затишке. Около нее стоял гусеничный трактор ДТ-54 с отнятым картером. На гусенице рядышком сидели два тракториста: Костя Клюев и Илья Семенович Раклин. Раклин сосредоточенно курил, а Костя держал в руках аварийную деталь и поругивался про себя чуть слышно.

— Что? — спросили мы оба сразу.

— Нижнюю головку шатуна разорвало. Картер пробило,— ответил Илья Семенович.

Голос у него с хрипотцой. Он работал в ночной смене: весь вымазан в нигроле, глаза от бессонной ночи красные.

— Что ж стоять? — загорячился Катков.— Снимайте головку, вынимайте поршень. Надо шатун теперь заменять тоже... Черт возьми, и картер везти в эмтээс — сажать латку... Тьфу! Не меньше как на двое суток вышел из строя. Чего же стоите-то?

Илья Семенович выслушал Каткова и так же сосредоточенно и спокойно ответил:

— Авария серьезная. Без старшего механика даже бригадир отряда не имеет права разбирать трактор в таких случаях.— Он указал кивком головы на будку: — Слышите?

Из будки было слышно, как кто-то вызывал по рации:

— «Урожай»!.. «Урожай»!.. «Урожай»!.. Черт возьми!

Мы вошли с Катковым в будку. Около рации стоял вполоборота к нам бригадир тракторного отряда Федулов.

— «Урожай»! Ну, «Урожай» же! «Урожай»! — Он пристукивал при каждом слове гаечным ключом по столу.— «Урожай»!.. Тоня-а! — вскрикнул он и вдруг бросил ключ на стол.— Тоня! Где ты пропадала, черт возьми?

Рация отвечала граммофонным звуком:

— Я тебе, Василь Василич, не Тоня, а «Урожай». И ключом по столу не стучи. Если все так будете стучать, то связь невозможна.

— Да я же полчаса стою как дурак...

— Я в этом не сомневаюсь.

— У меня авария, а тебе шутки.

— У меня сегодня вторая авария. Если мне с каждым плакать, то глаза высохнут,— тебе же хуже будет,— а рация охрипнет от мокрости. Кого тебе?

— Старшего механика. Поскорей, пожалуйста.

— Сотая доля секунды! — ехидничал граммофонный голос дежурной Тони. Потом слышно было, как она крикнула: — Иван Васильевич! У Федулова авария.— И пока все ожидали механика, Тоня спросила: — Вася?

— А? Я,— ответил Федулов и оглянулся на нас.

— Раскис? «Ава-ария-а»! — И слышно, как она стучала по столу, подражая ему.— Не капризничай, Федулочка: Иван Васильевич вылечит.

— Не вылечит так скоро. Дело серьезное,— все еще угрюмо возражал Федулов.

— А ты ляжь вверх животом на пашню и кричи: «Караул!» Ей-богу, поможет.

Федулов улыбнулся и снова посмотрел в нашу сторону.

— Тебе шутки, а у меня в одном ДТ двадцать процентов всей силы отряда.

— Что там у тебя стряслось? — послышался в рации голос старшего механика.

— Картер пробило. Нижнюю головку шатуна, в третьем, разорвало.

— Не может того быть! — воскликнул механик.— Сейчас выезжаю. Через двадцать минут буду.

Я подошел к рации и вызвал:

— «Урожай»!

— Я «Урожай»,— ответила Тоня.— Кто?

— Луков.

— Здравствуйте, Владимир Акимыч!

— Здравствуй, Тоня! Позови-ка быстренько старшего агронома Михаила Петровича.

— Он здесь. Собирается уезжать. Сию минуту!

— Я слушаю,— вскоре отозвался Михаил Петрович.

— Дизельный вышел из строя суток на двое. Делаю перегруппировку отряда: два ХТЗ прекратят культивацию, дадим каждому по одной сеялке и будем продолжать перекрестный в течение суток. В графике делаю соответствующее изменение.

— Свет для ночного сева будет на обе сеялки?

— Отвечай, Василий Васильевич,— обратился я к Федулову.

— На одну не будет,— ответил он.

— Сделаешь свет,— сказал Михаил Петрович.

— Да ведь фары нету! — воскликнул Федулов.

— Возьмешь в восьмом отряде и сделаешь свет,— повторил твердо Михаил Петрович, а мне сказал: — С перегруппировкой согласен, вносите изменение.

Потом все притихло.

Федулов как-то смущенно повел могучими плечами, провел по черным волосам ладонью ото лба к затылку и задумчиво посмотрел в окошко.

Катков, наоборот, чуть просветлел и обратился ко мне:

— А Михаил Петрович толковый агроном! Сразу понимает дело, с полслова понимает.

Федулов зашел за будку, будто спрятался, но не прошло и двух минут, как оттуда рявкнул заведенный мотоцикл. Федулов выехал из-за будки и сквозь треск мотора крикнул:

— Доеду в восьмой отряд. У них один трактор стоит, фару возьму на ночь. Приедет механик — снимайте головку. Вернусь быстро.

— Подожди-ка, Вася,— сказал Катков, сделав ему знак заглушить мотор.

Стало снова тихо.

— Ты сперва напиши трактористам распоряжение, а то уедешь, а я буду с ними договариваться полчаса. Пиши.

Федулов положил блокнот на бачок мотоцикла, написал распоряжение и вручил его Каткову. Затем он умчался, а Катков посмотрел на часы и сказал:

— Без десяти восемь. Едем?

Я не ответил и смотрел на Илью Семеновича Ракли-на. Тот как сидел на гусенице, так и заснул, откинув голову и прислонившись к капоту двигателя. Костя заметил мой взгляд и сказал:

— Он уже две ночи не спавши. И третья не предвидится. Так вот, меж делом, заснет на ходу...

— А ты? Ты же подсменный.

— На втором дизеле тракторист болен. Мы втроем на двух тракторах: днем сеем, а ночью культивируем... И сам Федулов сегодня ночью работал, не спал ни вот столечки.— И Костя показал самый кончик ногтя.

— Ты-то тоже не спал сегодня?

— Я — что, я могу,— угрюмовато ответил он и вздохнул, глядя на кусок головки шатуна, который продолжал держать в руке.— Вот горе-то наше! И надо же ей лопнуть сегодня! Подождала бы недельку... Ведь оно ж вон сколько кругом не сеяно!.. Смотрите,— Костя протянул мне кусок головки шатуна.— Раковина, заводской дефект. Я тут ни при чем.

— А сколько, по-твоему, придется стоять?

— Да сколько? Картер в эмтээс везти надо. Гильзу новую надо. Поршень, шатун. Если все это есть, то... кто ее знает, а если нету, то тогда я уж и не знаю.

Катков рванулся в будку, и оттуда было слышно, как он говорил по рации:

— «Урожай»! «Урожай»? Тоня! Узнай срочно: есть ли для дизеля запасные детали — гильзы, шатуны, поршни.

Через несколько минут Катков вышел из будки.

— Все есть,— сказал он.

Костя повеселел. Он зашел вперед трактора, похлопал по радиатору и сказал, как живому:

— Ну, ты, инвалид! Ничего, ничего.

На душе стало немного легче, и мы с Катковым помчались переводить ХТЗ на сев. По дороге встретилась нам автопоходная мастерская. Наверно, механик разыскал ее в массиве по радио и направил сюда. Нам стало веселее. Митрофан Андреевич прибавил скорость и по-мальчишечьи крикнул:

— Держись, Владимир Акимович!

В ушах засвистело. Борозды пошли вкруговую. Автоколея, по которой мы ехали, набегала на нас узкой лентой и проваливалась под мотоцикл, как молниеносный

конвейер, а та колея, что рядом, бежала в противоположную от нас сторону. Никаких толчков — так мягок в езде ИЖ-49.

Митрофан Андреевич что-то подпевает в тон мотоциклу, но что — разобрать трудно. А телеграфные столбы несутся к нам редким частоколом. Каждый из них, проскакивая мимо мотоцикла, кажется, чуть сваливается в сторону, и звук мотора ударяет о столб хлестко и звонко: «ж-жих!» — и проскочил, «ж-жих!» — и проскочил.

Но вот близ дороги стоит трактор. Тракторист кончил загон пахоты и, видно, собирается переезжать в другое место. Мы остановились около него. В средине загона пахота была отличной — черная пашня лежала без единой полоски огрехов, но края пахоты пестрели «облизами», треугольнички незапаханной стерни, похожие на балалайки, и канавки от небрежных заездов уродовали вид пашни. Иной бригадир, глядя на такое, будет кричать на все поле, выходить из себя, а бывает,— что там греха таить! — и выражаться начнет черным словом, для крепости. «А как,— думал я,— отнесется к этому Катков?»

Митрофан Андреевич сдвинул фуражку на лоб.

— Та-ак...

Он бросил пристальный взгляд на тракториста, ухмыльнулся и с хитроватой веселостью крикнул:

— Здорово, Леня-а! Как спалось?

— Я пахал ночью,— ответил Леня. Малый он молодой, лет девятнадцати, над губой пушок, вымазанный с одной стороны автолом. Невысокого роста, плотный, он смотрел недоверчиво на Каткова.— Вон сколько напахал. Во! А вы — «спалось»!

— Значит, все отлично?

— Отлично. Пахота — во! — Леня поднял большой палец и вытер рукавом лицо, отчего оно стало еще грязнее.

В его покрасневших добродушных глазах исчезла искорка недоверчивости, они прямо-таки подкупали, и мне стало жаль юношу. Боялся я острого на язык Каткова. Только, как оказалось, напрасно боялся.

— А что я хотел у тебя спросить?..— продолжал Катков серьезным тоном.

— Что?

— Если я сошью тебе первейший из всего колхоза кожух... Черной дубки или хромовой, как шелк, выделки,

из самой лучшей овчины...— Он щелкнул пальцами и вытянул ладонь, будто кожух уже висел у него на руке.

— Ну?

— Подожди, я договорю. Сошью такой вот кожух, а воротник и опушку сделаю из старой, дохлой, полинялой козы... Будешь носить такой кожух?

— Не. Не буду. Это, может, дурачок какой будет носить. А зачем портить дорогой кожух? Лучше уж не шить совсем.

— А ты-то именно так и сделал! Сшил дорогой кожух, а опушку — от облезлой козы.— И он показал Лене на «балалайки», канавки, валики, в общем, на всю «опушку».

Леня слегка покраснел, сделал движение локтями, будто почесал бока, и не нашел ничего ответить.

— Ну хорошо. А как ты думаешь — моя учетчица примет от тебя такую пахоту? Нет, не примет. И я акт не подпишу.

— Значит, пропахал задаром всю смену? — нерешительно спросил Леня.

— Благо, ты первый сезон работаешь, а то бы припечатал я тебе расход. Теперь уж и не знаю, как быть... Что Владимир Акимыч скажет, так и будет.— И он пошел к мотоциклу, посвистывая, будто и не интересно ему знать, что я скажу Лене.

— Опаши края хорошенько,— сказал я.— Сейчас опаши, пока старший агроном не проезжал. А в следующий раз без контрольной борозды не начинай пахоты. Сперва поперек краев бóрозды пройди, а потом и начинай. Плуг будет сразу входить в пашню. И... опушкой не будешь портить кожух.

Леня улыбнулся.

— Опашу. Прямо сейчас я опашу.— Он облегченно вздохнул.

Мы поехали дальше. Я оглянулся и увидел, что Леня держал в руке шапку и смотрел нам вслед. Ну, этот еще молод, начинающий. А ведь многие трактористы, научившись отлично обрабатывать землю, не считают нужным заправить края пахоты или сева, привести в порядок дорогу около пашни. Едешь потом близ такого посева и видишь: в середине — отличный хлеб, а с краю — бурьяны да канавы. Бьются бригадиры полеводческих бригад над этим вопросом, спорят, доказывают, настаи-

вают, но «балалайки» нет-нет да и выскочат над дорогой. Ну и здорово же придумал Катков с кожухом!

Оба ХТЗ мы перевели на сев без задержки и направились на посадки лесополосы — за девять километров от села, на границу землепользования колхоза.

Снова засвистело в ушах, снова — поля, поля. Кажется, и нет края этому могучему простору. Бескрайность колхозных полей в степной черноземной зоне поражает не только человека, впервые увидевшего поле. Этот простор удивляет и того, кто в поле встречает и провожает каждую весну. Удивляет потому, что редко встречаются люди без машин: то встретите деловитый ДТ с сеялками или культиваторами, торопливо перебирающий гусеницами, будто спешащий поскорее охватить этакую громадину поле,— и кажется он рачительным хозяином, главным из всех тракторов; то вдруг из-за пригорка вынырнет поджарый тракторчик У-2 и спешит-спешит, старается изо всех сил с одной сеялкой; или старичок ХТЗ, доживающий в труде последние годы, ползет со своим отвислым животом-картером, опираясь на неуклюжие колеса, и урчит-урчит себе по-стариковски, напоминая о том, что он совсем недавно был лучшим из всех марок тракторов (теперь уже таких не делают). И снова ДТ — такой молодчина трактор!

На каждом прицепе — один-два человека, не больше. Так мало людей, и так много земли они засевают. Поразительна сила машины в наше время! Люди управляют машинами и сами подчиняются ритму техники. Разве только на склонах, над яром, да на огородах увидите отдельные группы людей на ручной работе, а так — везде машина, машина. И уже много лет мы видим такое, а — поди ж ты! — радостное удивление возникает снова и снова, когда весна приходит с птичьим перезвоном в поле, когда тракторные будки стоят в затишье лощины под огромным голубым небом.

Мы оставили мотоцикл на дороге и пошли через пашню к месту лесопосадок пешком. Это близенько, метрах в ста пятидесяти от места остановки. Митрофан Андреевич мне сказал, указывая на лесопосадки:

— Дедовская «техника» из одиннадцати деталей.

— Как это? — не понял я.

— Очень просто: лопата плюс десять пальцев.— Он чуть помолчал и добавил: — Одну бы лесопосадочную машину на эмтээс — и достаточно. Вот буду сидеть

целую весну на посадках всей бригадой, а плана все равно не выполню. Не успею.

— Надо успеть.

— Это ты, Владимир Акимович, по обязанности говоришь. Давай по душам говорить.

— Давай.

— Почему наш колхоз имеет хорошие посадки, мы знаем оба. Сажаем столько, сколько осилим прополоть. Почти ежегодно не выполняем плана, а лесополосы хорошие и — много. Бьют нас за это и в хвост и в гриву, а лесополосы есть. Но почему же в большинстве колхозов района посадки — не посадки, а рассадник бурьянов? Вот и вы небось скажете: «Секретарь колхозной партийной организации, товарищ Катков, а говорит не так, как надо говорить». Постойте, постойте! Дайте сам буду отвечать,— заторопился он, будто боялся, что я снова буду говорить по обязанности.— Да потому, что спустят,— понимаете? — он засмеялся,— спустят план в двадцать гектаров на весну, доведут,— понимаете, «доведут»? — саженцы до колхоза этак тысяч на двести, и — выполни! Выполняют старательно многие. Сажают до июня месяца, когда уже и саженцы распустят листья и земля просохнет. План-то выполняется, а леса нет. Так я ответил или нет?

— Что ж тебе сказать, Митрофан Андреевич? Говоришь ты правильно. И то, что лесопосадочные машины есть замечательные, а у нас в эмтээс ни одной,— тоже правильно. Но то, что они будут в каждой эмтээс,— за это ручаюсь,— тоже правильно. И сажать лес в поле мы будем: никто и никогда не отменит учение Докучаева.

— С этим я согласен на сто процентов. Но только, думаю, промахи есть в этом деле большие. Денег ухлопываем по району уйму, а дело с лесозащитными полосами в колхозах не ахти как ловко.— Митрофан Андреевич помолчал.— Я вот думаю написать и министру машиностроения.

— О чем?

— О чем с неделю назад говорили: о навозоразбрасывателях, о туковых сеялках. Ведь этакая махина навоза пропадает зря только потому, что не успеваем его внести «машинкой в одиннадцать деталей», а удобрения разбрасываем так, как сеяли сто лет тому назад, при царе Николашке, из лукошка. Понимаете, ведь невоз-

можно! — Лицо Каткова вспыхнуло, он рубил ладонью воздух при каждом вопросе.— Как же вы думаете, товарищ министр, с этим делом? Нет, не писать об этом невозможно, Владимир Акимович!

— Надо писать,— подтвердил я.— Напишем вместе.

Мы подошли к лесопосадочным звеньям. Женщины работают здесь уже несколько дней. Мы поздоровались. Все ответили приветствиями, сразу же окружили нас и заговорили в несколько голосов, разом:

— Саженцы кончаются!

— Вода на исходе!

— Без поливки сажать или нет?

— Митрофан Андреевич, Хвист приедет?

Митрофан Андреевич замахал руками, затем приставил к ушам ладони трубочкой, повернулся в кругу женщин и тоже закричал:

— Ничего не слышу! Не слышу! Громче!

Женщины засмеялись. А он уже спокойно, без шутки, говорил:

— Поодиночке, не все сразу.

Но он всех услышал и все понял. Он привык слушать хоровой разговор колхозниц, которые часто высказываются все вместе, но замолкают, если предложить выступать поодиночке. Не дожидаясь возобновления вопросов, он ответил:

— Саженцы и воду привезет автомашина в обеденный перерыв. Без полива не сажать. Товарищ Хвист должен приехать: была от него записка еще вчера. Разрешите зачитать?

И, опять не дожидаясь ответа, достал записочку и прочитал шутливо-торжественным тоном, упершись одной рукой в бок:

«Глубокоуважаемый товарищ Митрофан Андреевич Катков!

Согласно плану, спущенному со стороны райпотребсоюза, и развернутому графику движения полевой торговли сельпо, в горячие дни весенней посевной кампании в вашу бригаду прибудет разъездная торговля разными товарами. Продажа в порядке живой очереди. С горячим кооперативным приветом предсельпо

Е. Хвист».

Все слушали молча, улыбаясь. А Катков спросил шутливым тоном:

— Какие будут соображения?

— Хвисту взбучку дать,— коротко сказала звеньевая Анюта.— Давайте, бабочки, баню ему устроим!

— Покритиковать не мешает,— поддержал и Митрофан Андреевич,— но только по-хорошему, вежливо.

— А мы и так вежливо,— сказала все та же Анюта.— А то до чего дошел: неделю сидим без спичек, а у мужиков без табаку уши попухли. Приди в магазин и спроси у него: «Спички есть?» — «Есть, но для полевой торговли».— При этом Анюта вздернула лицо вверх, сморщила и без того маленький носик, сложила руки по-наполеоновски, отставила одну ногу и, подражая председателю сельпо, произнесла: «У меня план спущен сверху донизу!» — Все разом захохотали: очень уж похоже изобразила Анюта товарища Хвиста.— «Я тебе продам табак,— продолжала она в той же позе,— а план должен провалить! Ин-те-рес-но! Хм! Я план полевой торговли выполню на пятьсот процентов! Я пять дней накопляю силы! Я — во!» — И она, под общий хохот, ударила себя кулаком в грудь.

Весело смеясь и переговариваясь, женщины стали занимать свои места на линии посадки и принялись за работу. Я прошелся по рядам новой лесополосы: все было в порядке. А работающие нет-нет да и оглянутся на меня — не найдет ли, дескать, какого изъяна?

Мы отправились с Митрофаном Андреевичем дальше пешком. Метрах в двухстах от нас расположен склон, на котором работа на тракторах почти невозможна. Такие участки обрабатываются всегда лошадьми. Надо было решить на месте, судя по почве: нужна там культивация в этом году или можно обойтись двухследным боронованием. Вдоль яра, по краю, протянулась приовражная лесополоса, посаженная восемь лет назад; молодые листочки уже распустились, и уже какая-то пичуга приветливо чирикнула нам из-за веток. Облака стали менее густыми, и солнце, проглядывая на землю в просветы, помаленьку расталкивало их в разные стороны. Было тихо. Там и сям поперек склона колхозники боронили зябь во второй след.

Прямо к нам двигалась пара лошадей, запряженных в бороны, а сбоку около них шагал Прокофий Иванович Филькин. Он держал вожжи в руках, поигрывая ими, и покрикивал на лошадей. Шаг его был ровным и размеренным настолько, что, казалось, он подчиняется какой-

то неслышной команде: шаг, шаг! Шаг, шаг! И так — целый день по мягкой пашне, в которой утопают ноги по щиколотки.

Уже по одной этой мякоти пашни видно, что никакой культивации здесь не требуется.

— Добрый день, Прокофий Иванович! — приветствовали мы разом.

— Здоровеньки были! — ответил он, но не остановился, а продолжал отмеривать свой бесконечный путь.

Мы пошли с ним рядом.

— Ну как сменная лошадка? — спросил Митрофан Андреевич.

— Да... как? Так себе. До Великана — куды там ей! Великан — конь! То лошадь такая: брось вожжи и пусти по пашне, сам поведет бороны и огреха не сделает, и назад повернет сам. То лошадь — ум! — Он вздохнул и прикрикнул на лошадей: — Но-о! Заслушались, елки тебе зелены! Разговору рады!.. Я на том коне,— продолжал он снова спокойным и ровным голосом,— пять лет работаю изо дня в день: цены нету Великану.

— Может, покурим? — предложил я.

— Не занимаюсь: некурящий.

— И никогда не курили?

— Кури-ил. Курил здорово. Давно уж бросил.

— Говорят же, трудно бросить? — спросил Митрофан Андреевич.

— Тоись как это трудно? Есть дела потруднее. А это — надумал и бросил. Но-о! Разговоры!.. Куды ей до Великана!.. Бросил курить. Пришел с работы и надумал... Бросил кисет в печку, а цигарку положил на подоконник, готовую. Да. Положил... Да куды ты лезешь, елки тебе зелены! — беззлобно увещевал он лошадь.— Как это потянет меня курить тогда, а я подойду к цигарке и говорю: «И не совестно тебе, Прошка: сам себя не пересилишь?» — и положу опять цигарку на свое место. Пересилил. За два дня пересилил.— Он немного помолчал и продолжал тем же неизменно ровным и спокойным голосом: — Себя пересилить можно... А вот бабу... не пересилил...

Митрофан Андреевич подмигнул мне незаметно.

— А что такое случилось? — спросил я.

— Да что: Настя-то ушла от меня через бабу. Вот, елки тебе зелены...

— Надо было как-нибудь уладить,— вмешался Митрофан Андреевич.

— Где там «уладить»!.. Женился-то я второй раз. Мне было сорок пять, а бабе — тридцать. Сперва — ничего. А потом пошли у нас споры да разговоры. Настя по воскресеньям книжки читает, а баба зудит, а сама, елки тебе зелены, по грамоте — ни в зуб ногой. Я и так, я и этак — ничего не выходит. «Ты, говорит, обуваешь-одеваешь неро́дную». Это она про Настю так... «Ты, говорит, вставь мне золотой зуб...» — «На́ тебе золотой зуб, елки тебе зелены,— думаю я.— На!» Вставил за сто рублей: таскай сотенную в зубах, елки тебе зелены, только утихомирься. Я их улаживаю, а она, баба-то моя, опять: «Ты, говорит, каракулевый воротник на пальто купи и мне, как у Насти».— «На́ тебе каракуль, елки тебе зелены, за четыре сотни». Да. Ну, теперь-то, думаю, все! Одежа, как на крале, харч у меня всегда настоящий. Нет — одно: зачем неро́дная живет в хате?.. Ушла Настя... Выпил я тогда с неспокою. Хотя и немного — одну кружку медную, грамм на четыреста,— но выпил... Рассерчал. Прогнал бабу из дому. Теперь один.

— А как же дальше теперь? — спросил Митрофан Андреевич.

— Кто ее знает, как. Настя все время говорит: «Возьмите жену обратно, не надо из-за меня жизнь расстраивать. Я сама на себя заработаю всегда, а вас, говорит, всегда, как родного отца...» — У Прокофия Ивановича дрогнул голос, и он с горечью сказал: — Вот, елки тебе зелены... А Настю я обязан и замуж выдать по-настоящему, как и полагается.

— А как она — женщина-то?

— Серафима-то? Да баба она работящая, сготовить умеет хорошо,— любой харч в дело произведет... Правда, одеться любит... И из себя — отличная баба... Все при всем... Но ведь я же сироту воспитал. А у нее к Насте неприятность... Значит, человек без сердца... Ух ты, елки тебе зелены! — крикнул он сердито. Но нельзя было понять, к кому это относится: то ли к новой лошади, то ли к бабе.

Мы прошли, разговаривая, до края загона. Он повернул лошадей, глянул, не останавливаясь, на солнце и произнес:

— Двенадцать.

Митрофан Андреевич посмотрел на часы и подтвердил:

— Почти точно: без десяти двенадцать. Можно на обед отпрягать.

— Не. Осадку надо сделать. Иначе ноги не отдохнут, без размину.

Прокофий Иванович пошел за боронами медленнее, сдерживая лошадей и, как мне показалось, притормаживая ногами. Сразу остановиться он, наверно, не мог, как не мог быстро размяться утром. Какая-то громадная сила внутренней трудовой инерции в этом человеке: он трудолюбив до бесконечности, но медлителен до невозможности.

— Лавка приедет! — крикнул ему вслед Митрофан Андреевич.— У лесополосы станет, под курганчиком.

— Там и моя бричка,—отозвался Прокофий Иванович.

— Как, по-твоему: хороший он колхозник? — немного погодя спросил я Каткова.

— Неплохой,— ответил Митрофан Андреевич.— Сколько ему попадало от всех семнадцати председателей за нерасторопность! Ай-яй-яй! А я его всегда защищал: человек он такой.

Мы вернулись к приовражной лесополосе. Там уже собрались на отдых женщины, девушки и несколько мужчин. Вскоре подкатила автомашина. В кузове стояла Настя и придерживала рукой связки саженцев.

— Ну-ка, дружно прикопать! — крикнула она.

Несколько человек встали, перенесли саженцы в заготовленную канавку и забросали их землей, оставив на поверхности одни лишь верхушки. Настя открыла борт, подложила на край кузова два бревна-накатки и одну за другой ловко скатила четыре бочки с водой. Пустые бочки она вкатила в кузов по тем же накаткам и закрыла борт автомашины. Все это она делала быстро и уверенно, по-мужски, а бочками, казалось, просто играла.

— Экая сила! — шепнул мне Катков.

— Молодчина девушка! — поддержал и я.

А Настя, закончив разгрузку-погрузку, выпрямилась в кузове, поправила закатанные до локтей рукава кофточки, поправила косынку, даже приладила привычным движением колечко-локон. Эти движения были у нее мягки и женственны. Вот она взглянула вдаль, в поле, и несколько минут присматривалась к чему-то. Черные узкие брови, длинные-длинные ресницы, четко очерченные

губы и румяные щеки были некоторое время неподвижны.

И вдруг она улыбнулась как-то иронически, вздернула брови вверх и громко сказала:

— Бабочки! Хвист плетется. Во-он! — Она показала рукой вдаль и, взявшись за борт, легко спрыгнула вниз. Вскоре на дороге показалась странная подвода. Большой ящик, прикрепленный к дрогам, тащила тощая кобыленка с обтрепанным хвостом. Ящик был похож на те, в которых возят хлеб, но значительно шире и выше — в рост человека. На передке, свесив ноги, сидел возница, старый и дряхлый старикан с трубкой в зубах по прозвищу «Затычка». Дед хотя и состоит в колхозе, но никогда в нем не работает, а отирается то около кооперации, то в сельсовете, а то и просто уходит из села невесть куда. Спросу с него никакого нет: стар уже. Рядом с ним, в той же позе, сидела продавщица сельпо, тетя Катя, в белом фартуке и таких же нарукавниках. Полное ее тело колыхалось при каждом покачивании возка, а лицо было сердитым. Дед Затычка, наоборот, был весел, как всегда, и когда подъехал к нам, то приложил руку к козырьку и произнес тоненьким голосом:

— Прибыл на каникулы!

Он кряхтя сполз с передка на землю и немедленно пристроился отдыхать прямо на земле, животом вниз.

Вдруг из-за фургона, с задка, ловко соскочил щупленький председатель сельпо и молодцевато воскликнул:

— Привет трудовому народу! — Он отряхнул брючишки, дунул почему-то на рукав коричневой тужурки, поправил серенькую кепку, тронул двумя пальцами узел галстука и произнес: — Приступим. Катерина Степановна! Пожалуйста!

Но та слезла не сразу. Она поставила сначала ногу на оглоблю (отчего дуга перекосилась, а клячонка пошатнулась), а затем уже грузно спустилась вниз.

— Фу-х! Боже ж ты мой! — произнесла она, вытирая лицо фартуком, и открыла двери фургона.

Товарищ Хвист заглянул внутрь своего походного магазина, осмотрел, все ли в порядке, и улыбнулся. Серые бесцветные глаза устремились на тетю Катю. Говорят, что глаза выражают работу мысли, а вот у товарища Хвиста они, например, ровным счетом ничего не выражают: наверно, врут люди. Одним словом, он посмотрел на тетю Катю и обратился к ней так:

— Для начина, многоуважаемая Катерина Степановна, понимаешь, кружечку пивка — начальству. Без этого, каб-скть, нельзя. Начин — великое дело. (Часто употребляемое «как бы сказать» он произносил в скороговорке — «каб-скть».)

— Ты уж третью кружку вылакал: чем я буду расплачиваться? — проворчала продавщица вполголоса, но пива все-таки налила.

— Напрасно, каб-скть, волнуетесь.— Он подмигнул тете Кате, принял от нее кружку пива, отхлебнул глоток и объявил столпившимся колхозникам: — Только в порядке очереди!

Настя о чем-то пошепталась с Анютой и сказала громко, так, чтобы все слышали:

— А горшков привезли, Ерофей Петрович?

От взрыва общего хохота даже и лошаденка засеменила ногами. Казалось бы, чего тут смешного? Но это был намек на то, как в прошлом году Ерофей Петрович выехал без возницы и забыл торбу; когда же потребовалось кормить лошадь овсом, он попробовал накормить из горшка. Кончилось все это тем, что лошадь укусила его за плечо. С тех пор Ерофей Петрович возненавидел всякую глиняную посуду и перестал ею торговать. А колхозницы прямо-таки взвыли без этой посуды. Вообще по сельскому хозяйству Ерофей Петрович соображал плохо. По этой причине он завез в сельпо двести хомутов громадного размера, из которых только один годился на Великана. Все же остальные валяются на складе и по сей день. А ведь он, по его словам, руководствовался совершенно правильным принципом: маленький хомут налезет не на каждую лошадь, а большой — на любую. Вероятно, поэтому же кобыленка, запряженная в фургон, могла бы при желании пролезть в свой хомут с ногами.

И почему только люди смеются? Не понять. Вот и теперь, когда все смеялись, Ерофей Петрович не пошевелил бровью, он пил пиво и изредка посматривал вверх, на облака. Все стали подходить к дверцам фургона и покупать — кто спички, кто табак, кто платок.

— В порядке очереди! — еще раз предупредил их Ерофей Петрович.

Но никто его не послушал.

Подошел и Прокофий Иванович. Сначала он бросил взгляд на фургон и ухмыльнулся; затем обошел вокруг

лощади, просунул руку, до локтя, под хомут, покачал головой и с горьким сожалением сказал:

— Животная.

Ерофей Петрович искоса осмотрел его с ног до головы, тоже ухмыльнулся и отвернул лицо в сторону.

— Папаша! От меня — пивка! — сказала весело Настя и подала Прокофию Ивановичу бокал пива. (Больше никто, конечно, пива не купил, а возил его Ерофей Петрович, вероятно, «для начина».)

— Можно, Настенька,— согласился Прокофий Иванович. И большими глотками разом осушил сосуд.— Так-ак,— произнес он удовлетворенно.— Перед обедом пиво пользительно... А эта косынка что стóит?

— Двадцать восемь,— ответила уже повеселевшая тетя Катя. Глаза у нее, оказывается, добрые и немножко хитроватые.— Двадцать восемь — не деньги, а расцветка — лучше быть не может.

— Настя! Померь-ка косыночку,— ласково обратился Прокофий Иванович.

Тетя Катя набросила на нее косынку, быстро приладила и, любуясь, затараторила:

— Это ж прямо-таки для нее делано! Ай, матушки, как идет!

Прокофий Иванович неторопливо вынул кошель, рассчитался, отошел к нам, развязал сумку с продукцией и принялся обедать. А Настю окружили девчата и все разом стали вносить суждение о косынке, попивая ситро. Мы с Катковым полулежа наблюдали торговлю. Все шло весело. Тетя Катя подобрела окончательно: предлагала девчатам конфеты, женщинам — фартуки, чулки. Но вот Анюта снова пошепталась с Настей и крикнула:

— Ерофей Петрович! К нам!

Тот улыбнулся, потрогал еще раз двумя пальцами галстук и приблизился к девушкам.

— Ерофей Петрович! А можно мне купить полный ящик спичек? — спросила Анюта.

— Даже для вас, каб-скть, хоть вы и симпатичны, но нельзя. Не больше, понимаешь, пяти коробок.

— Как же нам быть-то, девчата? А?.. А вы, Ерофей Петрович, еще будете «силу набирать»? (Девчата прыснули со смеху.) Мы совсем без товару остаемся, пока вы набираете... прыть на пятьсот процентов.

— Всегда и везде. А к посевной — обязательно,— ответил Ерофей Петрович.

Митрофан Андреевич сказал мне тихонько:

— Дурака не выправишь — это верно. И тут обидно не то, что он дурак. Обидно другое: ты ему говоришь, что он дурак, а он ни капельки не верит.— Он помолчал и добавил: — До общего собрания пайщиков как-нибудь дотянет, но не больше.

А Настя снова пошепталась с Анютой, и обе подбежали к нам. Но обратились они к Прокофию Ивановичу:

— А где Витя?

Прокофий Иванович резал сало на квадратики толщиной с большой палец руки и, пожевывая, ответил:

— Лошадь упустил. Отпрягал — убежала. Приедет. Куды ему деться?

Отошли они медленно: видно, приуныли. Но через несколько минут Витя вынырнул из лесной полосы, привязал лошадей к бричке, задал им корм и уселся на колесе с независимым видом. Девушки потянулись к нему и заговорили:

— Витенька! Ситреца стаканчик!

— Витя! Пару «Ривьер» от имени девичьего населения!

— Сперва поесть надо. Умаялся.

Торговля прекратилась совсем. Дед Затычка спал около фургона. Ерофей Петрович разбудил его.

— Поехали!

— Куды? — спросил тот, не вставая.

— Домой.

Дед Затычка поднял голову, посмотрел вокруг и сказал:

— Съездили бы во вторую бригаду. Все равно завтра тащиться.

— План, понимаешь, каб-скть, график.

— А там без табаку им теперь — график?

— Ну-с?

— Вот тебе и «ну-с». Налаживаю.— И он стал подтягивать чересседельник и прилаживать неказистую сбрую.

Тем временем Настя что-то шептала на ухо Вите, а тот кивал головой, посматривая в сторону фургона. Там уже сидел на своем месте дед Затычка, уже примостился позади, на приспособленном стульчике, сам Хвист, а тетя Катя еще не уселась.

Наконец дед Затычка поплевал на ладони, свистнул кнутом и крикнул:

— Впере-ед!

Лошадка потопталась на месте, натужилась, бедняга, и стащила с места странную повозку. И в то время, когда тетя Катя помахивала на прощанье рукой, а Хвист сидел надутый, как индюк, Витя перестал есть. Он быстро достал баян, растянул его и грянул веселую «частушечную». Настя и Анюта, подбоченившись, запели под переборы баяна:

У товарища Хвиста
Кобыленка без хвоста,
Потащилася шажком.
Подкорми коня горшком!

Ерофей Петрович заерзал на стульчике, потом перегнулся на бок фургона и замахал деду Затычке. Что кричал, не было слышно, но ясно — он торопился отъехать.

Митрофан Андреевич встал, подошел к девушкам и сказал коротко:

— Спать! Отдыхайте! — Посмотрел на Настю и добавил: — Машину за народом надо прислать вечером.

Волей-неволей все подчинились бригадиру и разошлись по лесополосе. Автомашина уехала. Витя продолжал есть. А Митрофан Андреевич обратился к нему:

— Вечерком, Витя, вечерком поиграешь девчатам. Сейчас — спать.

— Безусловно,— согласился Витя.

— Лошадь-то как же упустил? — тихонько спросил бригадир, так, чтобы никто не слышал.

— Жавороночек бросился от коршуна под бороны. Я боялся: тронут — сомнут птичку. Ну и... отложил постромки. А Козарка хвост трубой — и вдоль яра... Поймал!

— Кого: птичку?

— И птичку и лошадь. Птичку пустил... Дрожит в руках, бедняжка.

— А лошади полчаса без корма. Какой же им отдых так-то?

— А что ж: давить жаворонку? — удивленно спросил Витя.

— Да не-ет. Надо бы и птичку не давить и лошадь не упустить.

— А-а! Попробовал бы.

— Ну, ладно. Пусть так.— Митрофан Андреевич вздохнул и неопределенно сказал: — Ох, Витька, Витька!

— Ну вот! Опять «Витька, Витька». Я же стараюсь.

— Да я ничего,— примирительно и даже с ноткой ласки утешил его Митрофан Андреевич.

Мы договорились с Митрофаном Андреевичем о второй половине дня. Ему — проставить вехи для начала сева на завтра, проверить работу тракторной сеялки на севе овса,— остального времени еле хватит для повторного объезда поля и учета выработки за день каждым колхозником в отдельности. Мне — разбить под гнездовой посев два участка, расположенные близко отсюда, и выверить гнездовую сеялку на норму высева.

Митрофан Андреевич пошел к мотоциклу и вскоре умчался по шляху.

Стало тихо. Все отдыхали. Было слышно, как лошади жуют овес: «хр-рум», «хр-рум», «хр-рум»... За яром равномерно урчали тракторы. Я расстелил ватник и лег животом вниз, положив ладони под грудь, а щеку на рукав ватника: самое лучшее положение для отдыха в поле весной, когда еще земля не прогрелась по-настоящему. Немало молодых агрономов, по неопытности, ложились отдыхать на спину или на бок и потом отлеживались в больнице месяцами.

...Уже и дрема находила, когда я услышал тихий говор.

— От самой Польши? — спрашивал Витя.

— От самой Польши,— отвечал Прокофий Иванович приглушенным баском.

— А как же вы столько тыщ на конях проехали?

— Вишь, какое дело, елки тебе зелены... Мы, значит, отступали, а он напирал нам на пятки. Едем и едем, едем и едем: и день, и ночь. Кони попристали, мы — тоже, харч пошел никудышный. Одним словом, дело было, эх... елки тебе зелены... Вспомнишь: сон. Прямо — сон. Я в обозе, конечно, всю войну. Оружие у нас — одна винтовка полагалась. Бывало, едешь и на сижу спишь и на сижу ешь. Возьмешь его, кусок хлеба-то, посмотришь, посмотришь да ножичком и разметишь: это — на завтрак, это — на обед, это — на ужин. А на завтра — неизвестно. Иной раз и по два дни не евши. Да. А около коней, сам знаешь, сколько хлопот: много. Захудал я тогда здорово, но... ехать надо. То раненых везешь, то амуницию, то снаряды: чего-чего только не возил я.

— А награду где получили? — спросил Витя.

— Это уж потом. Когда за Дон пришли. Тут мне перед полком благодарность была и, конечно, орден, как и полагается. Командир полка речь сказал нам в роте: «Вот, говорит, товарищ Филькин от границы Польши до Дона проехал на своей подводе и сохранил все до последней супони. Сотни, говорит, раненых были спасены им при отступлении». Вот как он сказал... Конечно, все так, не я один.— Прокофий Иванович умолк, и разговор у них больше не возобновлялся.

Я задремал.

...Наверно, я все-таки не спал как следует, потому что сквозь дрему услышал голос Прокофия Ивановича. Он говорил громко, во весь голос:

— Витя! А ну-ка побуди народ. Два часа ровно. Начинать надо.

Сразу же после этих слов Витя ударил «Марш футболистов». Люди вставали, потягивались, умывались около бочки и как-то все разом приступили к работе. Только Прокофий Иванович еще некоторое время ровнял постромки, поглаживая лошадей, и вполголоса разговаривал с ними о чем-то. Наконец и он медленно повел лошадей к боронам.

Я взял с собой на подмогу двух девушек и отправился на разбивку.

До самого вечера мы работали по подготовке участков для гнездового посева подсолнечника. И все время беспокоил вопрос: что там с аварийным трактором ДТ-54? Хуже всего бывает, когда ускорение какой-либо работы не только не зависит от тебя, но ты даже не имеешь возможности устранить какой-либо недостаток. Так и теперь: торчать над душой трактористов бесполезно и даже вредно (они и без того из себя выходят), а ждать — терпение надо большое. Тут уж приходится делать очередное дело, а мозгами шевелить: что делать завтра, если ДТ будет стоять еще сутки. Агроном обязан предусмотреть заранее: не сумеешь этого сделать — не агроном. И мы спешили дать работу гнездовой сеялке. Маленький У-2 здесь да два ХТЗ на зерновых сеялках — это уже немало, а с культивацией придется наверстывать ночами. В общем же, как бы я ни раздумывал, а бригада Каткова из-за аварии трактора сразу превратилась в «узкое место». Но ведь есть еще две бригады: что там? Такие вопросы волнуют агронома целый день. И все же

если он не умеет отдохнуть в обеденный перерыв, не умеет вовремя спать, не найдет времени почитать, то пропащее дело! Либо будет мотаться из бригады в бригаду высунув язык, либо вовсе упустит вожжи из рук. С годами пришло убеждение: если ты приехал в бригаду, то на целый день, никак не меньше, только тогда предусмотришь на несколько дней вперед.

...Уже заходило солнце, когда я подошел снова к курганчику около приовражной полосы. Автомашина уже приходила и увезла женщин. Осталось несколько девушек, которые стояли около Витиной брички и ожидали, когда он запряжет.

Настя не поехала сейчас обратно с автомашиной и была тоже около Вити: то помогала ему запрягать, то отряхивала ему ватник. Прокофий Иванович «ладил сбрую», запрягая лошадей. А когда у него все было готово и он уселся, то пригласил меня:

— Подвезу с большим нашим удовольствием. У меня не тряско.

Я забрался в бричку. Девушки, в том числе Настя и Анюта, сели к Вите. И мы поехали. Витя бросил вожжи и взял баян. (Его пара лошадей шла за бричкой Прокофия Ивановича.) Вот он сначала прошелся по клавишам уверенным перебором, пророкотал басами и замолк. Думал ли он, с чего начать, или прислушивался к предвечерним звукам поля, не знаю.

А вечер опускался на поле тихо, тихо. Воздух замер. Ни малейшего дуновения ветерка! Край неба еще горит там, где зашло солнце, а уже веселая звезда-зарница приветливо начинает мигать из темнеющей синевы: мигнет и скроется. И на земле уже не то, что днем. Пашня вдали уже сливается в предвечернем полусвете с озимью, а озимь, уходя, тает где-то там, в небе. Это еще не вечер, но уже и не день. Это — время, когда небо натягивает над землей завесу, под покровом которой все постепенно начинает менять свои очертания, линии сглаживаются, тают и мало-помалу исчезают. Запоздалый жаворонок еще прозвенит невысоко и сразу умолкнет. У тракторов не такой чистый треск, как утром, и не так напористо они рокочут, как в ясный день: они осторожно шевелят тишину приглушенной и плавной, густой нотой...

Но что это? Мне почудилось, что трактор и впрямь звучит уже басовым аккордом... Да. Звучит... Да ведь это Витя! Он нашел бас в тон звучанию трактора, неко-

торое время тянул его, прибавляя другие басы, и постепенно перешел на мотив песни «Мне хорошо, колосья раздвигая».

Настя запела эту песню чистым, сильным грудным голосом... Анюта включилась второй.

Прокофий Иванович слушал, слушал да и опустил голову, задумавшись. Ему, видно, взгрустнулось. Он покачал головой и произнес, вздыхая:

— Эх-хе-хе!.. Елки тебе зелены...

Но вот песня кончилась. Не прошло после этого и пяти минут, как Настя и Анюта соскочили с брички и подбежали к нам.

— Папаша, пересаживайтесь в нашу бричку,— сказала Настя.— Владимир Акимович! И вы тоже.

Анюта уже теребила Прокофия Ивановича, а Настя тащила меня за рукав ватника. Сопротивлялись мы не очень. Нашу подводу девчата перевели назад, за бричку Вити.

Прокофий Иванович уселся на футляре баяна, девушки сели на грядушки, а я на задке.

Все наперебой стали приставать к Прокофию Ивановичу с просьбой спеть. Он сначала отмалчивался, а потом задумчиво сказал:

— Ну давай, Витя... «Ямщика».

Тот не замедлил взять нужные аккорды. Прокофий Иванович кашлянул, поправил картуз, расстегнул ватник и запел:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку...

Певец грустил. Голос его на высоких нотах жаловался, а в конце каждого куплета заунывно дрожал так, что последние слова он выговаривал совсем тихо, будто говорило само сердце.

Прокофий Иванович преобразился: это был уже не медлительный, как утром, не распотевший от трудной и бесконечной ходьбы по пашне ездовой и не удивительный силач, поднимающий куль муки одной рукой. Грустил ли он о безвременно умерших жене и дочке, жалел ли Настю, тосковал ли о новой жене?..

Прокофий Иванович закончил песню:

Под снегом-то, братцы, лежала она —
Закрылися карие очи...
Налейте, налейте бокал мне вина:
Рассказывать больше нет мочи.

Поле повторило последний печальный звук, и он, дрожа, растаял в полусумерках.

Настя сидела на грядушке и задумчиво смотрела в сторону, а мне показалось, что у нее глаза стали влажными. Анюта печально опустила голову.

Все молчали.

Прокофий Иванович вдруг улыбнулся и сказал, обращаясь ко всем:

— Ну, вы! Приуныли, елки зелены... Оно так — песня, она штука такая: может и за сердце взять, если протяжная, и за животики ухватишься, если веселая. Без песни, елки зелены, никуда... Сроду так на селе.

Витя перебирал клавиши. Казалось, он переключал настроение, все учащая ритм перебора.

Против тракторной будки я сошел с подводы. Прокофий Иванович пересел в свою бричку. И мы расстались.

У тракторной будки я увидел мотоцикл Каткова. А вот и он сам: улыбающийся, видно, в отличном настроении. Мне даже пришло в голову: «Не похоже что-то на Каткова. У него «узкое место», а он в повышенном тоне». Но я ошибся. Оказалось, что старший механик еще среди дня привез картер от старого, выбракованного трактора и все необходимые детали, а сейчас заканчивается полевой ремонт.

В ночь трактор пойдет в работу.

...Уже смеркалось, когда мы с Катковым, оставив мотоцикл в бригадном дворе, подошли к его домику. Немного посидели на крылечке. Поговорили о том, о сем. (О работе не говорили — все теперь ясно и войдет в норму.)

Вдруг я услышал в открытое окно что-то похожее на тихое бормотание и прислушался. Митрофан Андреевич заметил это и сказал вполголоса:

— Папаша богу молится.

— Молится? — переспросил я.

— Угу.— Он подсел ко мне вплотную, наклонился над ухом и зашептал: — Очень верующий: молится. Но в последние годы с богом вроде бы на равную ногу становится. В прошлом году, летом, подслушал я его молитву.

— Интересно, какая же? — спросил я так же тихо.

— Вот слушайте. «Господи, отче наш, царю небесный... Да будет воля твоя. Сушь-то какая стоит, господи... А? Ни одной приметы на дождик. Хлеба-то незавидные, господи... Я не партейный человек, и то болею серд-

цем, а ты все-таки бог. Как же дождя-то? Надо ведь обязательно. Или уже мы на самом деле грешники какие? Вот посохнет, тогда что? Ну, пущай, старики, может, и нагрешили, а детишки-то тебе не виноваты. Ты должон сочувствовать, господи». Потом он вроде спохватился и закончил: «Да приидет царствие твое. И во веки веков. Аминь».

Пока мы этак шептались, бормотание прекратилось. Мы помолчали. Я встал, подал руку на прощанье и сказал:

— Ну, теперь увидимся не раньше как через два дня.

И вдруг село заполнилось звуками баяна. Витя где-то поблизости играл вальс. Уже не хотелось уходить, и мы все стояли и стояли, заслушавшись.

— Эх, Витя, Витя! — задумчиво заговорил Митрофан Андреевич.— Все простишь тебе, Витя!

...Шел я до квартиры тихо. Уж очень хорош вечер. Да и на душе было спокойно и легко.

Подходя к какому-то палисадничку, я услышал сдержанный девичий голос и не устоявшийся еще юношеский баритончик.

— Уедешь, значит? — спрашивала она.

— Осенью уеду.

— Забудешь, Витя...

— Нет, Настя, никогда тебя не забуду.

Чтобы не быть невольным свидетелем, я обошел их серединой улицы...

Взявшись за щеколду своей калитки, немного постоял и прислушался к звуку тракторов: оба ДТ урчали — значит, и Костя выехал.

Вот и кончился еще один день...

Покойной ночи, добрые люди!

1953.

У КРУТОГО ЯРА

Рассвело. В поле тихо-тихо, ни звука. Кругом ни души. Сеня Трошин сидел на корточках в молодом овсе и пристально смотрел на большую каплю росы. Русые, почти белые волосы с завитушками над висками ничем не прикрыты. Сеня отводил голову то в одну сторону, то в другую, наклоняясь и прищурив глаза. Нет-нет да и улыбнется. В руке он зажал фуражку — в ней что-то зашевелилось. Сеня приоткрыл фуражку и погладил крохотного зайчонка с гладким и нежным пушком.

— Сиди, сиди, дурачок! Ничего тебе худого не будет.

Зайчонок пошевелил ноздрями, еще плотнее прижал уши и доверчиво полез к Сене в рукав, откуда шло тепло.

— Ну, сиди в рукаве. Ладно. Сиди, так и быть: будешь там, как на курорте... Забавные эти зайчата-сосунки: ничего не смыслят ровным счетом — бери его руками и неси...

Сеня снова устремил взор на ту же каплю росы. Если посмотреть на нее слева, то виден в ней предутренний розово-красный горизонт неба; если посмотреть справа, то видно отражение зелени поля и облака. Настоящие, но крохотные облачка! Целый мир в капле! И Сеня видит

это крохотное отражение мира, тихого, спокойного в предутренней свежести. Если смотреть одним глазом, закрыв другой, то картинка становится отчетливее, ярче.

Он присел на колени и посмотрел вокруг. Роса на листьях играла и переливалась. На каждом листочке — капля, и в каждой капле — маленький мир. Много удивительного видел Сеня в поле, но такое заметил первый раз за свои двадцать четыре года.

Он встал. Пересадил зайчонка в фуражку и сунул ее за пазуху. Чуть постоял. Перекинул перепелиную сеть через плечо, а на второе плечо вскинул связанные ботинки. Поднял с земли сумочку, в ней затрепыхались перепела. Еще раз посмотрел на разбросанные по полю хрусталики росы и пошел прямиком, по посевам. Брюки у Сени уже давно были мокрыми до колен — сильнее намочить их уже не страшно. Да и роса была такая приятная, освежающая, бодрящая. Как хорошо в поле на рассвете!

Но вдруг он остановился: впереди на кургане, как изваяние, появившееся на грани ночи и дня, стояла огромная волчица. Сеня долго смотрел на нее не шевелясь, потом тихо прошептал:

— Здоро́во, знакомая!

Волчица, повернувшись всем корпусом, посмотрела в его сторону и спокойно ушла за курган.

Выбравшись на дорогу, Сеня пошел не в село, а в противоположную сторону: он шел на работу прямо с охоты. До села надо было бы пройти километров шесть, а до места дневной работы, на пропашку подсолнечника,— не более километра. Для такого случая он и завтрак припас с собой в рюкзаке.

Вскоре он подошел к бригадному стану и скинул у лесной полосы ватник. На работу люди приходили не раньше семи часов, и Сене оставалось еще часа три-четыре на сон. На стане было так же тихо, как и вокруг. Сторож, инвалид Отечественной войны Григорий Фомич, крепко спал сидя, вытянув деревянную ногу и склонив голову на грудь: заревой сон крепок и сладок.

— Пусть поспит,— произнес Сеня тихо.— Сейчас тут и красть-то нечего. Вот когда хлеб, тогда другое дело. Тогда, если уснет, разбужу.

Затем он достал зайчонка и посадил на ладонь: тот был не больше гусиного яйца.

— Давай-ка я выпущу тебя тут, в лесополосе. А? Тут тебя коршун не достанет,— обратился он к зайчонку.

Сеня присел, чтобы посадить зайчонка под куст. Но тут послышались издали ритмичные щелчки, похожие на легкое щелканье кнутом. Он прислушался и подумал: «Константин идет. Подожду выпускать — дам ему посмотреть». И накрыл сосунка другой ладонью.

Щелчки изредка, но регулярно повторялись и приближались. А через несколько минут на просеке показался человек. Он шел, подняв голову, будто смотря все время перед собой, постукивал палочкой по голенищу сапога и тихо мурлыкал какую-то песню. Одет он был хорошо: тонкого сукна брюки забраны в добротные сапоги, коричневая сатиновая рубаха, на плечи накинут серый летний пиджак. Кроме палочки, у него в руках ничего не было. Не доходя до Сени шага три-четыре и постучав палочкой о голенище, остановился, держа голову все так же высоко.

— Кто тут? — спросил он.

— Я.

— Сеня... Как охота?

— Шестерых поймал.

— Хорошо.

— Роса с полночи упала, а то больше поймал бы. Перепел в росу не идет под сеть. Орет как оглашенный, а ни с места.

— Ишь ты какое дело! Боится замочиться... Жирные?

— Ничего... Садись-ка сюда, Константин. Что-то покажу.

— А ну? — И Константин, осторожно ступая, подошел к Сене. Он был слеп. Открытые глаза были неподвижны. На вид он казался ровесником Сени. Тонкими, мягкими кончиками пальцев он прикоснулся к Сене, затем они крепко пожали друг другу руки.

— Зачем и куда ходил в такую рань, Костя?

— Это тебе — рань, а мне все едино... На кукурузу ходил — обошел всю: теперь знаю, где она в этом году посеяна и как к ней идти.

— А-а... И нашел? Как это ты смело по полю ходишь? Не боишься заблудиться?

— А вот она.— Костя поднял палочку и постучал ею.— Я по ней правлюсь. Пусть, скажем, передо мной столб впереди — чуть стукну ею по сапогу, и она скажет:

столб. Вот дошел до бригадного стана и вижу сразу — стан. Или вот ты сидишь, а я иду мимо: молчи, пожалуйста, я все равно увижу. Каждое вещество отражает звук по-разному. И посевы тоже: подсолнечник свое отражение дает, рожь — свое. Я все вижу. И волна такая тонкая от каждого предмета доходит к лицу... Не понимаешь? — спросил он вдруг.

— Нет, почему? Понимаю. Но только считаю — мне это недоступно. Мне закрой глаза — и каюк. Ты вот и щетки делаешь, и хомуты вяжешь, и сети плетешь, на все руки мастер. Все это и я, конечно, могу научиться, но только глазами. А так — недоступно.

— Оно и мне кое-что недоступно. Вот смалу слышу: «Свет, свет», а что оно такое — понятия не имею. Скажем, зеленый лист и желтый лист осенью — это я вижу, пальцами определю. А свет — не знаю. Оно, вишь, какое дело, мне это недоступно, значит.

— Ну ладно,— перебил Сеня, видимо не желая углублять тему разговора.— Ты смотри, кого я под комком нашел.— И он приблизил к Косте ладони с зайчонком.

— Вроде бы крольчонок...— Костя гладил зайчонка и трогал тонкими пальцами шерстку, ушки, лапки.— А-а! Зайчонок?

— Точно, он.

— Мяконький какой... А зачем ты его от матери унес? Нехорошо это, Сеня. А?

— Как раз наоборот. Тут, в лесной полосе, ему безопасно, а там его коршун может в два счета слопать. А матерей у него столько, сколько зайчих с молоком.

— Это как так?

— Очень просто. Она, зайчиха, как, значит, народит зайчат, то покормит их сразу же, а они тут же — шмыг, шмыг! — в разные стороны и под комочки или в ямочки. Все. И прощай, мамаша!

— А потом?

— А потом так: как он захочет есть, то тихо-онько пищит: «Пи-пи-пи!» Тогда бежит к нему зайчиха с молоком, какая ближе от него. Иной раз и две сразу бегут, только ешь, пожалуйста, не ленись.

— Смотри-ка! Это ж удивление!

— Я все это сам видел, лично. «Пи-пи-пи!» И она бежит, ковыляет. Обмокнет вся по росе, как баба у белья на речке, а бежит, спешит. И другая бежит. Ну эта, ко-

нечно, опоздает. Первая кормит, а вторая сидит рядом, головой кивает, как нянька. Ей-богу, так!

— Как нянька! — рассмеялся Константин.— Прямо чудеса ты видишь на охоте.

— Все равно всего не вижу.

Константин повернул к нему голову в удивлении: чуть выпятил губы и поднял брови.

— Чего удивляешься? Вот сейчас видел я небо в капле. Первый раз в жизни видел! — воскликнул Сеня с восхищением.— Понимаешь: облачка, заря — все в капле...

Константин спокойно улыбнулся и убежденно сказал:

— Не понимаю.

— Да и не только ты. А Маша, жена, та понимает. И я в ней все понимаю.

— И моя Настя меня понимает, хоть и зрячая.

— Это хорошо, когда понимают друг дружку. Вот и Алексей Степаныч, председатель колхоза, я так думаю, понимает, что я без охоты не могу: не препятствует. А бригадир тормозит мне. Я что: меньше других выработал трудодней? Больше, а не меньше.

— А я вот Алексея Степаныча не понимаю. Я ему говорю, что из кукурузных султанов можно веники такие вязать — для чистки одежды употребляют в городе. За каждый такой веничек — рубль, а я один свяжу пятнадцать — двадцать штук за день. А то и больше. Тебе, говорит, и без того работы много — не управишься. Это меня-то работой испугал! Выгоды не видит. Ладно, я ему докажу по осени. Как созреет кукуруза, навяжу штук десять и принесу прямо в правление — рассмотрит и поймет.

Оба помолчали. Константин достал карманные часы — с крышкой, но без стекла,— скользнул по выпуклым точкам циферблата кончиком пальца и сказал:

— Полчаса пятого. Пойду.

— А я посплю маленько. Да в обед прихвачу часок.

— Ну поспи, поспи.— И Константин, выйдя на дорогу, зашагал по направлению к колхозу, орудуя палочкой: то стукнет ею перед собой, по дороге, то — по голенищу.

И долго еще доносились до слуха Сени пощелкиванья и стуки Константина: тук, тук... щелк... щелк, щелк... тук... «Хороший человек Константин,— подумал Сеня, выпуская зайчонка.— Иной и с глазами того не стоит».

Солнце начало всходить. Свистнул суслик, будто давая знать, что он проснулся первым. Крот начал выталкивать из норы свежую землю. Пробежал полевой хорек. И еще раз свистнул суслик. Вспорхнул жаворонок над посевом и сразу же опустился: рано еще петь. В чистом, свежем утреннем воздухе за километр было слышно, как спросонья заговорили трактористы у будки, заправляя тракторы для дневной смены. Сеня улегся на ватник и сразу уснул.

Когда сторож Григорий Фомич проснулся, он увидел Сеню, раскинувшего руки и ноги. «Ишь ты,— подумал он.— Не разбудил меня. Крепко я подремал, крепко. Ну и ты поспи, охотник... Спи».

Около семи часов на дороге показался «Москвич» председателя колхоза. Григорий Фомич приободрился, но Сеню будить не стал. Из машины вышли председатель колхоза Алексей Степанович Зернов и бригадир Корней Петрович Ухов.

— Доброе утро, Фомич! — приветствовали оба сразу.

— Так же и вам!

— Э, да тут уже и Сеня,— громко сказал Алексей Степанович.

— Шшш! — зашипел Григорий Фомич.— Пусть поспит. Он же с охоты. Люди подъедут, тогда и встанет. Он никогда не опоздает.

Но Сеня услышал говор и поднялся. Протер глаза, умылся около бочки с водой и подал поочередно руку приехавшим.

— Здравствуйте! Приехали, значит. Что-то раненько сегодня?

— На сенокос пробираемся,— ответил Алексей Степанович.— Как бы не пришлось туда людей перебрасывать: сено в рядах, а барометр падает. Дождя боимся.

— Сегодня не будет дождя,— уверенно сказал Сеня.

— Ну, ты все знаешь! — иронически возразил бригадир.

— Роса сильная была ночью,— ответил Сеня.— После росы в тот день дождя не бывает.— Он подумал и добавил: — И перепел на утренней заре не молчал. А перед дождем он больше молчком ходит.

— Барометру, значит, не верить, по-твоему? — спросил бригадир.

— Может давление падать, а дождя может и не быть. При сильной росе никогда не бывает дождя,— еще раз повторил Сеня.

— Вполне научно,— подтвердил Алексей Степанович.— Правильно. Грести сено надо, но горячку давай не тачать,— обратился он к бригадиру.— Перебрось туда человек десяток — и хватит.

— И нога моя не ноет,— вмешался Григорий Фомич.— Перед дождем она напоминает.

Бригадир не стал перечить председателю, но по лицу было видно, что он недоволен всеми тремя собеседниками. Ему казалось, что все они не понимают самого важного: схватить сено до обеда, а не возжаться с ним до вечера. Алексей Степанович, наоборот, был вполне доволен «местным прогнозом». Он знал, что нарушение ритма в работе — вещь опасная: туда перебрось, тут дело оставь, а среди дня снова вези людей на это же место.

— Корней Петрович,— вдруг обратился к бригадиру Сеня.— Как закончим пропашку междурядий, отпусти меня дня на два.

— Вот! Видишь, Алексей Степаныч,— сразу вспылил тот.— Опять «отпусти». Ночами бродит по полю от молодой жены, да еще и от работы хочет уйти.

— У меня трудодней больше всех,— возразил Сеня.— Отпусти, пожалуйста. Наверстаю. Воскресенье буду работать.

— Не могу сейчас. В поле дела позарез, а ты — «отпусти». Понятия, что ли, нету! — воскликнул бригадир.

Алексей Степанович спросил у Сени:

— А куда ты собираешься?

— Да не хотел я говорить заранее. Может, там ничего и не получится.

— А ты скажи,— может быть, и отпустим.

Сеня посмотрел на бригадира не особенно доверчиво и ответил председателю:

— В Крутых Ярах, в самой гущине — в терника́х, волчица с выводком... Вырастет потомство — полстада овец перережут.

— Ну, а ты что с ней делать хочешь? Убьешь, что ли? — нетерпеливо говорил бригадир, посматривая на взошедшее солнце.

— Может, и убью.

— А на что тебе два дня?

— Да как сказать — может, и больше. Ее же надо

выследить и...— Сеня не договорил и, махнув рукой, отошел в сторону.

Председатель и бригадир что-то говорили между собой, но Сеня не слушал. Ему было обидно, что бригадир не понимает его. Он думал, как ему быть: волчица беспокоила его уже не первый день.

Алексей Степанович подошел к Сене и спросил:

— А подпустит она тебя с ружьем-то? Волки хитры.

— Так надо ж сперва без ружья... Проследить, сообразить, а потом уж... Она мне уже знакомая. Знаю, сразу с ружьем нельзя. Тогда она или уйдет заранее, или в норе отсидится, или перетащит волчат в другое логово, в иное место... Разве логово раскопать? — спросил он сам у себя.

Алексей Степанович смотрел на Сеню и думал. Сеня тоже думал, глядя перед собой в поле.

— Ты чем сегодня занимаешься? Какой наряд тебе? — спросил Алексей Степанович через некоторое время.

— За конным планетом хожу: на конях рыхлим подсолнечник. Сегодня, пожалуй, кончим.

Алексей Степанович больше ничего не сказал. Он отошел к бригадиру. Тот что-то записывал и не поднял головы. Но Сеня услышал его голос.

— Алексей Степаныч! — говорил бригадир, возмущаясь.— Сами требуете ритма в работе, а сами вон что советуете: отпустить колхозника с поля. Не понимаю!

Потом они говорили тихо и вскоре поехали дальше.

Целый день Сеня рыхлил междурядья. Сегодня он был молчалив. На вопросы отвечал неохотно, а на шутки совсем не отвечал. В обеденный перерыв он лег спать, как обычно, но уснуть не смог: волчица не выходила из головы. Никто, как казалось ему, не думает об этом опасном звере. В прошлом году десятка два овец перерезали волки. Неужели допустить и в этом году? Кричать на правлении да ругать пастухов — дело нехитрое...

Но не один Сеня задумался о волчице. Алексей Степанович утром, когда отъехали от бригадного стана, говорил бригадиру:

— Сеню надо отпустить. От волчицы могут быть большие убытки. А может быть, она и не одна там.

— Да не убьет он ее,— возражал Корней Петрович.— Разве ж один охотник, да еще с одностволкой, может убить матерую волчицу? Нет. Месяц будет ходить,

а не убьет. Дело Сеньки — перепела, утишки, зайчишки... Он и так мне надоел со своей охотой: то его на уток отпусти весной, то он зимой уйдет да попадет в самую пургу, а ты за него душой болей. Прекратить это надо. Да еще и так сказать: молод он и неразумен еще, чтобы на волчицу одному отправляться.

— А все-таки отпусти его, Корней Петрович,— настаивал председатель, пряча улыбку в черных усах. Загорелый, как южанин, он смотрел перед собой, ведя машину. Ветерок шевелил его седеющие волосы.— Отпусти, отпусти! Дело важное.

Корней Петрович безнадежно вздохнул и отвернулся в сторону.

Но вечером, на бригадном стане, он подозвал Сеню и сказал коротко:

— Ну, ступай. Два дня тебе.

— Алексей Степаныч отпустил-то?

— Ты иди. Раз разрешаю, значит — иди. Все.

— Все,— подтвердил Сеня.

Подошла грузовая машина. Они сели в кузов вместе с другими колхозниками и больше не перекинулись ни единым словом. Но уже около гаража Корней Петрович сказал, сойдя с машины:

— Ты вот что, Сеня, один-то против волчицы с выводком не очень там... Поосторожней, говорю.

— А я думал, прямо как приду, так ее за глотку: кхг! А она меня: хрык! — и готов.— Сеня сказал это серьезно, без улыбки.

Но Корней Петрович понял иронию и махнул рукой.

— Чудак ты человек, Сенька! — сказал он на прощанье.

Дома Сеня поужинал с женой, расстелив скатерку на траве под кленом. Жареные перепела были очень вкусны, а блинцы со сметаной показались Сене и вовсе замечательными. Он тщательно вытер последним блинцом тарелку, проводил его в рот и сказал:

— Спасибо, Машенька! Ловко поужинал... Садись-ка сюда — я тебе рассказывать буду.

Он принес из клети кинжал, сделанный из укороченного штыка от немецкой винтовки, и расположился с ним у камня. Маша присела около него на завалинку. Маша — молодая, сильная, полногрудая, с задорными серыми глазами, смеющимися из-под черных густых бровей. На селе удивлялись: как это такая красавица вышла

за такого «тихоню Сеньку». Правда, Сеня не был каким-нибудь щупликом, но и особой силой не отличался на первый взгляд, хотя мускулы его напоминали твердую резину, такую, что бывает у накачанного баллона автомашины,— не помнешь. И ростом — средний. И такая, прямо сказать, красавица полюбила Сеню.

Спрятав руки под фартук, Маша ласково-шутливо спросила:

— О чем же будешь рассказывать? Про куропаток, что ли?

— Нет. Ты слушай.— Он начал точить кинжал и, не отрываясь от дела, заговорил: — Ты в каплю смотрела когда-нибудь утром, рано?

— В каплю?!

— Ага.

— Ну, ты что-то того-этого.— И она потрогала его за голову, потрепав легонько волосы.

Сеня рассказывал Маше подробно.

— Понимаешь, Машенька: дрожит, переливается то ясно, то смутно... И такая крохотулька. В кино того не может быть — недоступно им.

Маша слушала и смотрела на Сеню. И никакого задора в ее глазах не было, и уже не казалось, что вот-вот слетит с ее губ острое словцо, которого так боялись некоторые в бригаде.

— Хороший ты...— тихо произнесла она.

— А Корней Петрович говорит — «чудак».

— Ну и пусть говорит.

Кинжал потихоньку лизал камень.

Вечер стал уже темно-синим, деревья — почти черными.

— Завтра я уйду, Маша. На два дня уйду,— доложил Сеня, вставая от камня.

— Далеко?

— Волчицу выслеживать.

— Страшно, Сеня. Она ведь с волчатами... Сказывают, их двое матерых в одном месте поселились: самка да самец.

— Ну и что ж из того? Я на них так вот сразу и не полезу. Послежу. Подумаю... Как ты на это скажешь?

— Да ведь все равно уйдешь.

— Уйду.

— Ну иди. Ладно.— Она обняла его и чуточку так посидела, прижавшись щекой.— Пойдем, Сеня.

Вскоре Сеня уже спал, положив голову на руку Машеньки. А она дремала, боясь пошевелить рукой, чтобы не разбудить его.

Рано утром Сеня вышел из дому. За спиной — рюкзак, через плечо перекинул косу, за голенищем — кинжал. Сеня шел и внимательно смотрел по обочине дороги, сорвал пучок чабреца и натер им кинжал — запах железа пропал совсем. После этого он ускорил шаги и направился к Крутому. Часа через полтора он был уже на взлобке яра. Отсюда были видны все четыре берега яра, расходящегося в этом месте развилкой. Яр был широкий, с крутыми берегами, заросшими густым терником, орешником, шиповником, изредка дикими вишнями. Одиночками стояли в непроходимой чаще кустарника большие дикие груши. Внизу виднелась узкая и глубокая промоина с белым меловым дном и совершенно отвесными краями, а по ней тихонько журчал ручей, питаясь из родника, спрятанного внутри развилки в непроходимой чаще. Ручеек тек недалеко, он пропадал в полукилометре отсюда в меловом слое.

Дальше, по ту сторону яра, начинался лес — такой, какие бывают только в черноземной зоне: среди дуба и зарослей лещины вкраплено множество диких груш и яблонь. Лес закрывал горизонт, и казалось, здесь конец степи и простору.

Между лесом и яром — чистая прогалина с редкими кустами. Со взлобка, где стоял Сеня, хорошо было видно все вокруг обеих развилок яра: куда бы ни прошла волчица, Сеня увидел бы. Но пойдет ли она? Где ее лаз? В какое время суток она уходит и приходит? Где точно логово? Здесь ли и самец? Все эти вопросы Сеня задавал себе, присев на краю заросшей бурьяном воронки от взрыва бомбы.

Он отдохнул немного, затем подкосил вокруг бурьян, уложил на траву рюкзак, достал брусок и стал точить косу. Коса зазвенела, и звук ее пронизал заросли яра. Сеня знал: волчица слышит, насторожилась, может быть, смотрит на него — что за человек вторгся в тишину сырого яра; знал, что волки не любят звука железа. Но он нарочно точил и точил. Потом выбрал площадку лучшей травы и стал ее косить, медленно, спокойно, с останов-

ками. Человек косит траву, должна подумать волчица, и больше ничего,— таков был первый расчет.

Весь день Сеня пробыл, как ему казалось, на виду у волчицы, косил, обедал, делал вид, что спит. Но он ни разу не заметил признаков присутствия зверей.

Перед вечером, когда Сене надо было быть особенно осторожным и бдительным, на противоположной стороне яра показался человек. Он обошел заросли и подошел к Сене. Это был Гурей Кузин, по прозвищу Гурка-Скворец. Гурка, старик лет шестидесяти, шел с престольного праздника из села Житуки, куда он ежегодно уходил на троицу и пропадал там по нескольку дней. Задержать его не было никакой возможности даже всем правлением вкупе. Он сдавал лошадь и говорил скороговоркой:

— Человек я леригиознай. Обратно, в Житуках у меня теща престарелая: должон я ей предпочтение преподнести. Обратно же, и в храм Христов обязан там сходить, поскольку у нас не имеется. Грехов-то на нас, грехов-то! Осподи вышний, грехов-то! — При этом он не без ехидства смотрел на присутствующих конюхов с явным убеждением в том, что у них грехов гораздо больше, чем у него, и он даже может помолиться и за них, если они попросят по-христиански.

Но конюхи не просили его ни о чем, и кто-нибудь из них сердито говорил Гурею:

— Иди, иди... Ты — водку пить, а за тебя кто-то должон работать. Азуит ты, Гурей.

Ни председатель колхоза, ни тем более бригадир ничего не могли поделать с Гуреем в таких случаях: он знал, что за это ему, старику, ничего не могут сделать плохого. На успенье, в разгар уборки, он уходил еще дальше, под самую Ольховатку — за семьдесят километров, и тогда отсутствовал не меньше недели.

— Как это так,— возражал он,— на успленье да не пойтить! Да для чего я тогда и живу? На успленье к троюродным братам, обратно, надо сходить.

Но ходил он просто-напросто пить водку. В жизни же был ехидный старикан, завистливый и большой охальник.

— Здорово, Сеня! Обратно косишь? — зачастил он писклявым голосишком, ухватившись за тощую бороденку.

— А что?

— Да площадку-то скосил не мене соток пятнадцать. Кто, значит, в колхоз косит, а кто себе.

— Да что ты, Гурей Митрич! Это я не для себя.

— Обратно брешешь, Сенька. Коси, коси. Только и урвать на заполье — ни один черт не увидит. Коси: у коровы молока больше — Машка твоя, обратно, толще. Хи-хи!

Сеня внутренне осердился, сжал зубы. Но, сдерживаясь, вдруг сказал:

— Садись, Гурей Митрич, покури. Я хоть и не курю, а ты покуришь и... послушаешь.— В последнем слове у Сени появилась такая нотка, что будь Гурка поумнее, он поспешил бы уйти.

— Обратно, покурю. Ладно. Коси, черт с ней, с травой... Туда, в колхоз, как в прорву,— не накосишься... А Машка твоя — бабища во! Да-а... Все качества у нее. Хи-хи!

Сеня не терпел никогда похабства и теперь готов был сунуть в морду охальнику, но он решил отучить Гурку похабить, по крайней мере при нем, и таинственным голосом спросил:

— Гурей Митрич! Как же ты через яр шел?! А-а!

— А что-о?! — вытянул бородку Гурей в испуге.

— Да там же восемь волков! Сам видел. Я уж тут сижу сам не свой — не знаю, как и с места стронуться.

— А... я... ч-ч-ч... через яр...

— Съедят!!! — воскликнул Сеня, изобразив полный испуг.— Сам видал. Вот те крест!

Гурка сначала подпрыгнул сидя, не поднимая ног, потом неожиданно вскочил и побежал от воронки, оглядываясь на яр.

— Старый охальник! — крикнул Сеня.— А я тебе сбрехал за милую душу. Знаю — слаб душонкой. Никаких волков не видал. Но смотри, чтоб при мне не похабил. Не погляжу и на возраст.

Гурей резко остановился, круто повернулся к Сене и закричал:

— Колхозную траву коси-ить! Воровать! Над верующим человеком насмехаться! Я тебе покажу... Я тебя дойду! Сукин сын, обратно...— Наконец, поддернув штанишки, он засеменил дальше, выкрикивая ругательства, на замаливание коих потратит еще один рабочий день.

Придя в колхоз, Гурей, не заглядывая домой, не вошел, а впрыгнул в правление и растрещался о том, что «Сенька колхозную траву косит и возит домой». Во дворе

он стрекотал о нарушении «дистиплины», о развале колхоза такими, как Сенька. Бригадир задумался: «Откуда взял все это Скворец?» Он подумал, подумал и доложил председателю, Алексею Степановичу. Тот, не поверив, вызвал Гурку и подробно расспросил. Но и после этого Алексей Степанович не поверил и сказал:

— Сам поеду посмотрю.

Тем временем Сеня лежал в бурьяне и встречал ночь на краю воронки, не спуская глаз с зарослей. С юга, на горизонте, выпучился кусок тучи да так и остался черной, мрачной горой. Где-то там, вдали, вспыхивали молнии. Тихонько зарокотал гром, тихо-тихо, будто в глубине земли. «Сухой гром»,— подумал Сеня. Вскоре темень накрыла землю непроглядной завесой, и ничего уже не было видно. Вспышки молнии стали видны ярче, но удары грома слышались все так же под землей. Потянул настойчивый ветер — бурьян заныл, лес за яром зашумел, зашумел беспокойно, с рокотом. Сеня свернул ноги калачиком и продолжал смотреть и смотреть. И вдруг... позади он услышал звук: будто кто переломил в пальцах тоненькую сухую будылинку бурьяна. Сеня повернул голову, насторожившись. Далекая молния на секунду слабо осветила окрестность: волчица тенью стояла позади Сени, шагах в двадцати. Она зашла против ветра и следила за Сеней раньше, чем он ее заметил,— вынюхивала, изучала. Так близко волки могут подойти к человеку только тогда, когда он без ружья — Сеня знал это. Он увидел ее на какую-то долю секунды. Потом снова темень, непроглядная, тяжелая, давящая на плечи. Сене все казалось, что волчица стоит позади, но вскоре он заметил сбоку, еще дальше, два фосфорических огонька, похожих на свет кусочков глинушки: «знакомая» спокойно уходила к логову. И это было уже успехом — она не нашла ничего опасного. Однако не было возможности определить, где она вошла в заросли.

«Сухая гроза» кончилась. Ветер притих. И Сеня уснул, завернувшись в плащ.

На рассвете он проснулся и, не поднимая головы, окинул взором местность. Все было так же: в сероватом свете предутра яр казался мертвым, а лес — спящим крепким заревым сном.

Сеня ждал. Предрассветный час — час беговой охоты волков. «Знакомая» должна выйти. Но где? — вот вопрос... Увидел ее Сеня уже вдали, в полукилометре от яра:

волчица вышла незаметно для Сени. И он дрожал внутренней дрожью, думая огорченно: «Не поверила, не обманул».

Утро раздвинуло серый налет, висевший над землей. На востоке загорелось огромное, необъятное зарево, но до восхода солнца оставалось еще не меньше часа. Далеко отойдя от зарослей влево, Сеня спустился к ручью, предварительно натерев подошвы чабрецом, попавшимся по пути, и зачерпнул воды. Так, с котелком в руке, он немного постоял на дне оврага. Под ногами был мел, а размытые кручки берегов промоины пронизаны корнями, свисающими до дна. Сеня посмотрел на подножие кручки. И вдруг его осенила мысль. Он нагнулся низко над землей и стал рассматривать. На мелу он заметил пятнышки: это были следы когтей волка. Волки не убирают когтей, не втягивают их, как иные звери. Ясно — волчица ходит протоком, под прикрытием стенки кручи, появляясь в степи далеко от логова. Но раз она вышла, то должна и вернуться. Так думал Сеня. Он поспешил подняться наверх, взял косу и снова стал косить, поглядывая на проток.

Перед восходом солнца он заметил спину «знакомой», она не бежала, а тихо шла под кручей к зарослям, будто и не слышала звуков покоса. «Человек косит траву — и все,— мысленно вдалбливал ей Сеня.— Понимаешь, косит».

А через час, не более, появился самец; он бежал широкими прыжками напролом, пересекая склон без предосторожностей, и влетел в заросли стрелой. «Значит, логово близко от родника»,— определил Сеня.

Весь день он был в отличном настроении. Косил, варил еду, спал, развалившись на свежескошенной траве, собирал в копны вчерашний покос — без граблей, руками и концом деревянного косья, сняв с него косу. Среди дня волки парой ушли в поле и вернулись только вечером, в сумерках: волчица шла впереди, самец — позади, следуя за ней по протоку яра. В солнечный день волки редко остаются у логова — они уходят, оставляя волчат. Ни один зверь так регулярно не кормит детенышей, как волчица, но и лишнего сосать не дает — она уходит от логова, охотясь или отлеживаясь неподалеку от выводка. В это время ни самец, ни самка уже не бродяжат, как обычно, по чужим окрестностям,— они живут семейством,

«дома», то есть в радиусе не более пяти — семи километров вокруг логова.

— Значит, пришли домой,— сказал Сеня вслух и присел на копну. Ясно — днем можно заходить в квартиру к «знакомой». Он собрался и пошел домой.

А вскоре подкатил к этому месту «Москвич», прыгая и переваливаясь уткой на кочках и промоинах. Из машины вышел Алексей Степанович, за ним выпрыгнул Гурка-Скворец, а уже после него появились член ревизионной комиссии, бородатый Агап Егорович, и бригадир Корней Петрович. Первым застрочил Скворец:

— Я, понимаешь, иду с престола. Иду, а Сенька мне, обратно, говорит: «Покури». Я, понимаешь, обратно, курю, а сам высмотрел все и говорю себе в уме: «Колхозным добром того...» Ну, думаю, пущай ночь, а я пойду до председателя... Иду, а они мне, восемь волков, навстре-ечу! Во-осемь! Ох! Нет, думаю, обратно, не испугаюсь! Все равно не вернусь — пойду до председателя. Я ничего, обратно, не боюсь. Я, понимаешь, для правды, обратно, на что хошь пойду.

— Да подожди ты тараторить,— перебил его бесцеремонно Алексей Степанович.— Все это ты уже сто раз пересказал. А вот я не вижу, где взято сено. Ты говоришь: «Возит домой». След от копны должен бы остаться. Да и половина сена сырого — сегодняшний покос.— В сумерках он обошел весь участочек скошенной травы, нагибаясь и рассматривая.

— Значит, где-нибудь обратно косит. Значит, оттуда возил. Я сам лично видал: возил, возил, истинный господь, возил.

Агап Егорович говорил басом:

— На всяк случáй акт составим, Степаныч. Потом разберемся... Да-а... Аль уж Семен свихнулся?.. Не похоже. А факт: скошено.— Он тоже ходил по покосу, нагибался низко над землей, щупал сено и говорил: — Это вчера скошено, а это — нонче... Факт: скошено.

Корней Петрович все время молчал — думал. А Алексей Степаныч заключил:

— Никакого акта составлять не будем.

Сеня, ничего не подозревая, укладывался спать и тихо говорил Маше:

— Днем к ним пойду «в гости». «Знакомая» здоро-

вущая, с теленка!.. Хитрая, а обманул: знаю, когда уходят и когда приходят и где лаз.

Уснул он крепким, безмятежным, спокойным сном.

В полночь кто-то постучал в окошко.

— Кто? — спросил Сеня.

— Я — Константин.

— Не спится, что ли?

— Открой, дело важное.

Сеня вышел на улицу.

— Дело, брат, нехорошее затевается,— встретил его Константин.

— А что случилось?

— Понимаешь, нехорошо... Я в правлении был. Акт на тебя хотели составить... Гурка-Скворец все говорил: «Составить акт на Трошина Семена...»

— Акт? За что? Сам же бригадир... А Алексей Степанович что?

— Он только и ответил: «Я свое мнение сказал».

— О чем «мнение»?

— А кто его знает,— неопределенно сказал Константин.— Ты сено косил?

— Косил.

— Возил себе?

— Да как же я колхозное сено себе возить буду!

— Хорошо... Значит, Гурка-Скворец наплел... А ты почему косил там, где не положено, где сенокоса не начинали?

Сеня подробно рассказал, зачем ему надо было косить. Заключил он так:

— Неужто поверят, что я сено стал косить для себя? Да не возьму я и былинки колхозного! Убей — не возьму! Ну как это я не догадался раньше! Лучше копал бы лопатой.— Но, подумав, он сказал: — Нельзя лопатой: не копает там никто и никогда.

Константин постучал палочкой в раздумье, а потом сказал:

— Ну, ты спи. Спи — утро вечера мудренее.

Сеня ничего не сказал Маше, чтобы не волновать ее. Он тихо лег спать.

...Около часа ночи Алексей Степанович сидел у себя дома за столом в одной майке. Он только пришел с работы, начинающейся с шести утра, и пил молоко. Домашние все спали. В одной руке он держал газету, бегло просматривая ее, в другой — кружку молока. Через откры-

тое окно он вдруг услышал, как кто-то стукнул о плетень палисадника и осторожно, будто крадучись, шел вдоль плетня к калитке. Тихо скрипнула калитка. Человек шел уже вдоль стены хаты, внутри палисадника. Такого еще никогда не было, и Алексей Степанович подумал уже недоброе: выключил свет и стал в простенок меж окон, прислушиваясь. В хате было тихо. В палисаднике тоже тихо. Так прошло несколько минут. Потом Алексей Степанович услышал, как человек, осторожно ступая, пошел обратно к калитке.

«Значит, кто-то просто подслушивал»,— подумал хозяин и, высунувшись в окошко, окликнул:

— Кто тут?

— Не спишь, Алексей Степаныч? Это я — Константин.

— А ведь ты ко мне забрел, Костя. Заблудился?

— Нет. В своем селе я не могу заблудиться. Но только думал я так: не спит — постучу, спит — уйду.

— Ну, садись на лавку. Я выйду.

Когда Алексей Степанович вышел из хаты, Костя спросил:

— Читал, наверно? Тихо у тебя как.

— Читал газету.

— А мне Сеня привез Островского «Как закалялась сталь». Эх, и книга, Алексей Степаныч! Какие люди бывают! — Он немного подумал и добавил: — Эх, и книга! По-нашему написана — для пальцев, по Брайлю.

Алексей Степанович подумал: «И как это я ни разу не привез ему книги? Привезу, обязательно привезу».

— Я тебе спать не даю. Я — по делу,— сказал Костя.

— Значит, важное дело, если ночью пришел.

— За то, что ночью пришел, прошу прощенья. А дело важное: про Сеню поговорить пришел.

— А что такое? — спросил Алексей Степанович, будто и не догадываясь.

Константин рассказал Алексею Степановичу все так, как рассказывал ему Сеня.

— Понимаешь, Алексей Степаныч,— закончил он,— у него даже и в уме не было, что подумают плохое. Волков он выследил. А что он еще мог там делать из таких работ, какие всегда видят волки? Копать нельзя — никто там не копал. А сено там скоро косить будут — на лугу покончили. Гурке-Скворцу не верь: Скворец — брехун спокон веков, и ничего-то он не видит. Слепой он в жизни,

этот Скворец несчастный,— так ему и помирать, безобразнику и охальнику.

Ровная и спокойная речь Константина в тихой ночи лилась убедительно. Алексей Степанович понял сейчас, здесь, рядом с Костей, что хотя он и управляет колхозом уже около трех лет, но в душу каждому еще не заглянул. Вот и Константину не заглянул. А глядеть надо. И он произнес после молчания:

— Я и не поверил Гурке. Не волнуйся, Костя.— Он подумал немного и, положив на плечо Константина ладонь, задумчиво сказал: — А насчет веничков для чистки одежды я подумаю. Только все это надо организованно. На зиму надо заготовить материал. Подумаю.

— Спасибо тебе, Степаныч! — взволнованно произнес Константин.— А я, признаться по душам, подумал уж так: человек ты рабочий, с завода, пятнадцать лет не был в селе. Механику знаешь и агротехнику уже изучил. Но... понимаешь ли колхозников? Видишь, как я подумал-то неумно. Вот и хорошо: ошибся я, значит.

— Привыкаю, Константин. Помаленьку привыкаю понимать,— говорил Алексей Степанович, не снимая руки с плеча собеседника.— И Сеню начинаю понимать: один любит сад, другой — пчел, а Сеня любит охоту, поле, природу. И колхозник хороший.

Константин ушел домой успокоенный, а прикосновение руки председателя чувствовал до тех пор, пока не уснул.

Утром пришел за Сеней посыльный: вызывали в правление. Сеня шел туда мрачный. Внутри кипела горькая обида.

— Садись, Семен Степанович! — пригласил его председатель.— Мы по отцу-то тезки с тобой.

Сеня сел, смотря прямо в лицо председателя. Тот заметил, что Сеня угрюм, и, догадываясь о причине, увидел в его взгляде нечто новое, чего не замечал раньше: глаза Сени выражали непреклонность и готовность защищаться.

— Ну? Выследил? — спросил Алексей Степанович.

— Выследил.

— Теперь дальше что?

Сеня прижал фуражку к груди и с оттенком досады сказал:

— Да не возил я сена! Не себе косил...— И он, не договорив, отвернулся к окну.

Алексей Степанович встал из-за стола, накинул крючок на двери, чтобы никто не вошел, и несколько раз молча прошелся по кабинету.

— Ты вот что, Семен Степанович! — заговорил он наконец.— Иди-ка на волков и сегодня... Раз выследил — надо дело до конца доводить. Сколько тебе дней потребуется?

Сеня поднял удивленные глаза, широко открытые, и проговорил неуверенно:

— А сено?..

— Плюнь. Понимаю. Убей волков, Семен Степанович.

— Не знаю. Может, и убью.

— Ты брал когда-нибудь волка?

— Нет. От старых охотников, в Житуках, слышал, как их...

— Убей.

— Сегодня нельзя еще идти: подготовиться надо, картечи накатать. И день надо ясный, солнечный: в такие дни они от логова уходят.— Сеня говорил тихо, уверенно, но он не сказал ни одного лишнего слова.

Алексей Степанович толком не понял, как это он собирается бить волков у логова в то время, когда они уходят от него. Председателю, может быть, и не это было важно: он понял человека.

— Не куришь? — спросил он, подавая папиросы.

— Нет.

— Ну и не кури. Это лучше. Расскажи-ка мне, как к тебе приходил Гурей Кузин, к Крутым Ярам.

Сеня рассказал, ничего не скрывая. Алексей Степанович одобрительно улыбался, и Сеня повеселел.

Кто-то постучал в дверь. Алексей Степанович сказал:

— Ну, Семен Степанович, действуй. Уничтожить выводок — огромная польза колхозу. На тебя надеюсь... Да! А может быть, загонщиков дать?

— Непроходимое там место, загонщики не выгонят.

— Ну, думай. Действуй.

Снова кто-то постучал. Алексей Степанович откинул крючок, и Сеня столкнулся в дверях, лицом к лицу, со Скворцом. Маслянистые прищуренные глазки у него сверкали искорками смеха, мелкие морщины перерезали щеки крест-накрест так, будто оставили следы его безалаберной и бездумной жизни. Гурка был явно в веселом настроении.

Сеня вышел.

— Вызывали? — весело и громко спросил, кланяясь, Гурей.

— Вызывали,— угрюмо и тихо ответил Алексей Степанович.

— Явился, обратно, как часы!

— Явился, «обратно»,— иронически повторил председатель.

— Обратно,— сказал Гурей, уже сбавив тон.

— Обратные часы,— зло сказал Алексей Степанович. Гурей растерялся и затоптался на месте, будто стоял босыми ногами на рассыпанных колючих кнопках, и повторил: — Часы. Точно.

— Нет, не точно. Ты — часы обратные: не в ту сторону стрелка идет.

В соседней комнате послышался сдержанный смех.

Гурей ничего не понимал: он сразу как-то раскис, растопырил ноги и уже моргал медленно, опуская веки, как сонная курица надвигает пленку на глаза. И молчал.

— Та-ак. Давно врешь? — рубанул вопросом председатель.

Гурей молчал.

— «Обратно» забыл? Эх ты, Гурей, Гурей! Ну что тебе за такую ложь придумать?.. Судить за клевету по статье — пользы тебе не будет. Вот что: возьми подводу, поезжай к Крутым и перевези все сено на колхозный двор. А Семену Степановичу отвезешь, как и полагается по уставу, каждую десятую копну. Это тебе в наказание за брехню: и люди будут знать, и сам запомнишь.

— Это как? К Крутым? К в-в-волкам?

— А это уж я не знаю к кому. Сено перевезешь. Понял? И Семену Степановичу — десять процентов. Дошло?

— А это кто же будет, обратно, Семен Степанович?

— «Обратно» забыл? Сеня-охотник — вот кто! Не Сеня он, а Семен Степанович Трошин.

Гурей почесал локтями бока и тоненько заскрипел:

— Я человек, обратно, леригиозный. Мне лучше бы в церкву пойтить, раз уж грех такой. Замолил бы грех, раз уж так. В церкву бы, чем за сеном. Он и сам перевезет.

— Ничего, ничего. Перевези сено, а потом замолишь. Кстати, и мой грех замолишь: мне бы судить тебя за клевету, а я вот против закона поступаю. Замолишь?

Гурей вздохнул и поплелся из кабинета, шаркая подошвами.

Весь день Сеня работал на черном пару, разбрасывая навоз по клеткам. Усталый, но довольный, он пришел вечером домой. Маша задержалась на прополке картофеля — ее не было дома. Сеня отмыл ботинки от налипшего навоза, вымыл ноги, снял рубашку и вымылся до пояса. Маша пришла, когда он уже вытерся полотенцем и так, без рубахи, копался в ящичке, выбирая лучший свинец. Она разожгла огонь под таганом, на загнетке, поставила варить картошку, а сама подошла к Сене и молча обняла его. Потом она просмотрела рубашку Сени и, обнаружив маленькую дырочку, тут же искусно зашила ее. Сегодня она была особенно ласковая, но какая-то тихая. Сеня чувствовал это по ее прикосновению к волосам, по улыбке и все поглядывал да поглядывал на нее, бросая взгляд осторожно, незаметно. Он резал свинцовые палочки на картечины да поглядывал. И наконец сказал:

— Ты сегодня особенная...

— Как это «особенная»? — с оттенком легкой грусти спросила она.

— Да я и сам не могу тебе сказать, какая ты.

Она неожиданно села рядом с ним на лавку, прислонилась щекой к его голому плечу и прошептала:

— Может быть, тебе не ходить на волков?.. Боюсь, Сеня. Один ведь идешь.

— Как это так «не ходить»? — удивился Сеня.— Сам Алексей Степаныч дал команду — уничтожить выводок.

И снова Маша оказалась побежденной.

Рано утром следующего дня Сеня тщательно скатал нарезанные вчера кусочки свинца в круглые шарики — получилась отличная картечь; зарядил десять патронов, пересыпав картечь картофельной мукой (для кучности боя), залил верхние пыжи воском, чтобы не отошли, и отправился к Крутым. Вместо ботинок он опять же, как и в первый раз, надел сапоги и сунул за голенище кинжал. В рюкзаке была буханка хлеба, на плечах — легкий ватник. Он шел налегке, не обременяя себя ничем лишним: ружье и лопатка.

Теперь-то он шел с ружьем — волки далеко могут его почуять. Поэтому, еще задолго до подхода к месту, он обогнул яры и пошел против ветра. Надо было сделать так, чтобы ни разу ветер не донес запаха ружья до ло-

гова и, что не менее важно, чтобы волки не увидели Сеню. Иначе вся охота пропадала.

Но, несмотря на все предосторожности, в тот день он не видел волков.

В сумерках он осторожно — теперь уже под ветер — отошел на полкилометра назад и заночевал в остатках прошлогодней соломы ,старой скирды. Огня разводить нельзя было. Сеня поел хлеба, густо посыпанного солью, и лег на солому. Ему не спалось: он думал о волчице. Видела ли она его или нет, но было ясно, что она осторожна. Сеня был убежден: «знакомая» знает его в лицо, узнает его по походке, даже по кашлю или чоху, и, если учует при нем ружье, перетащит волчат в другое место немедленно. Волк не может поверить человеку. Сеня знал, что, если поранит волчицу, а не убьет наповал, волчица, защищая детенышей, перекусит ему горло, как ягненку: раненная у логова волчица страшна даже для бывалых волчатников. Так думал Сеня, засыпая. «Вдвоем бы»,— мелькнуло в мыслях. Но в селе нет охотников, кроме него.

На второй день он увидел волков среди дня в километре от Крутых. Значит, волки на день уходили. А раз уходили, то только по протоку — иначе он их заметил бы. И Сеня решил начинать. Перед заходом солнца он сполз по водомоине вниз в яр, прикрываясь бурьяном и ковылем, и засел в засаду около стенки протока, под густым кустом.

Стемнело. Наступила ночь. В овраг опустилась холодная, мутная пелена тумана. Самого тумана не было видно в темноте, и казалось, тяжелая мокреть придавила человека в глухом яру. Ружье стало влажным, скользким. Сеня и не пытался вытирать ружье, избегая малейшего движения, даже ничтожного шороха. Это было очень трудно: кости вскоре начали неметь, пальцы от непрерывного сжимания шейки приклада сделались твердыми и непослушными; он старался чаще шевелить ими, но даже и это движение ему казалось опасным: волки чутки! Короткая июньская ночь была в этот раз длинной, тяжелой, сырой! Уже за полночь, а Сеня не видит и не слышит ничего: ни единого звука, ни малейшего шороха.

Но вдруг... он вздрогнул! — хрустнула кость. Он явственно это слышал: позади него хрустнула кость. Потом он услышал легкое повизгивание, похожее на то, когда

провинившийся щенок скулит, перевернувшись вверх лапками в ожидании наказания,— или волчонок был за что-то отлупцован матерью, или они покусали друг друга за трапезой... Ясно: волки были за спиной у Сени — в глубине зарослей, у родника. Они вошли не протоком, где сидел Сеня, а иной тропой. У Сени мелькнула мысль: «Не означает ли это повизгивание того, что волчица уже начала перетаскивать волчат на другое место?» И ему сразу показалось, что он в очень глупом положении: сидит, и волки знают, что он сидит. Но как же так? Когда он засел, то ветер еще тянул на него от логова, потом сразу опустился туман, притупляющий чутье волка, потом Сеня вместе с ружьем стал мокрым — это тоже выгодно для него, так как уменьшает запахи до предела. Но могло быть и так: волчица подходила к Сене, но он не разглядел из-за тумана. Нет. И этого не могло случиться: дно протока меловое, белое, и на нем даже в тумане можно видеть волчицу за пятнадцать — двадцать шагов; он присмотрелся к кустам и еще раз подтвердил мысленно: «Нет, этого не могло случиться». И тем не менее все было туманно для Сени, как туманно вокруг, в яру.

С такими мыслями, с онемевшим телом, продрогший от сырости, он услышал на рассвете шорох: волки шли по зарослям. Видимо, была у них тропа: шорохи были легкими — волки не пробивались через колючий терник, а шли своей тропой, изредка шевеля ветки, задевая их боками. Потом все стихло.

Сеня осторожно повернулся лицом к зарослям. Теперь он смотрел вверх, на край яра, где, по его мнению, должны появиться волки,— там выходила наверх узкая и мелкая, в полметра, промоина. Вероятно, подошва ее не имеет растительности, а кустарники просто скрывают ее своими сплетенными ветвями. Сеня не ошибся: волчица и волк вышли там. Они чуть посидели, посмотрели вокруг, в разные стороны, и медленно, спокойно пошли — волчица впереди, волк позади. Это было метрах в двухстах от Сени. Он решил так: если они вечером или ночью входили в заросли там же, то ружье они не могли почуять. Другого утешения он придумать не мог, но и на этот раз надежда не оставила его.

Кое-как разогнув онемевшие ноги, он размял их, потоптавшись на месте, пошевелил руками, энергично потер локтями бока и поднялся на верх яра, к воронке

и копнам сена. Сеня замер от неожиданности: здесь никакого тумана не было — все далеко-далеко было видно.

— Дурак я, дурак! — Сеня шлепнул фуражкой о землю.— Да как же я не сообразил, что по туманному яру она не пойдет!

И верно: в тех случаях, когда чутье чем-либо ограничено, волк надеется на острое зрение. Так и в ту ночь — они входили и выходили сразу наверх по другой тропе. И Сеня снова вполголоса ругал себя:

— Эх ты, Сенька, Сенька! Сколько же тебе еще лет жить надо, чтобы поумнеть? Какой же из тебя охотник?

Но как бы обидно ни было, а теперь Сеня окончательно считал волчицу хитрее себя, осторожнее, опытнее и проникся к ней уважением.

— Ну молодец ты, знакомая, молодец! — говорил он тихонько, успокоившись.

Взошло солнце. Запели жаворонки. Запоздалая зайчиха проковыляла на покой, на дневку: заляжет теперь в лежке и заснет с открытыми глазами, видящими и во сне; прижмет уши так, что слуховые отверстия остаются открытыми, всегда наготове.

«Ох ты, мудрая! — подумал Сеня.— Около волчьего дома уцелела. Съедят они тебя, дай срок: не доживешь до зимы. Разве ж ты не знаешь: где волки, там зайцев нет? А ты все живешь, косолапая теща. И ты, должно быть, хитрее меня».

Сеня вздохнул и присел на копну. Вдали, влево от леса, на чистом паровом поле, он снова увидел волков — значит, далеко от логова не уходили. Они трусцой перебегали сейчас мимо работающего трактора, не обращая внимания на его близость и рычание мотора.

Вскоре Сеню потянуло в сон. Он прилег на копну и, прижав к груди уже разряженное ружье, уснул сразу.

Спал он недолго — на вольном воздухе человек отдыхает быстро. И Сеня проснулся приблизительно в завтрак. Он сел, закусил, протер ружье и устремил взгляд на то место, где, по его определению, должно быть логово.

Ветерок потянул ему в лицо — это хорошо. Но что делать теперь дальше? Оставить жить семью волков и идти домой на посмешище всему колхозу? Нет, он не уйдет от яра. А дальше? Сидеть еще ночь, две, три? Нет уверенности в том, что «знакомая» не учует его. Раскопать логово? Но тогда можно взять только волчат. Зато

после волчица будет нещадно мстить всей округе. Бывали случаи, когда старая волчица вырезала до тридцати голов овец в одну ночь, мстя за своих детенышей. Нет, так нельзя. И постепенно, рассуждая сам с собой, взвешивая свои наблюдения за все дни, Сеня решил.

Как только пришло решение, он немедля встал, оставил рюкзак в копне, проверил патроны и направился на другую сторону яра — туда, где выходила скрытая промоина. Вскоре он был уже там. Короткий и пристальный осмотр подтвердил, что тропа есть. Сеня застегнул ватник на все пуговицы, хотя ему и без того было жарко. Но ватника он в копне все-таки не оставил: он был ему необходим при исполнении намеченного. Идти по волчьей тропе было невозможно: колючие кустарники и сплетения ветвей настолько густы, что пройти по ним можно, только расчищая путь топором. Сеня стал на четвереньки и пополз вниз по узкой промоине. Местами он передвигался по-пластунски. Верх ватника изорвался в клочья на половине пути. Он исцарапал лицо и руки о колючки терна и шиповника, но все лез и лез. Вскоре Сеня услышал журчание родника. Он остановился передохнуть. Прислушался. Вдруг на рукаве ватника он увидел самую настоящую мясную муху; это и обрадовало его, и в то же время мурашки пошли по спине, близко мясо — близко логово. Он уже почуял запах псины. А через минуту наткнулся на телячий череп. Сеня встал.

В пяти шагах от него была кручка. Над нею росла огромная дикая груша, корни которой свисали вниз. А между корнями зияло отверстие — нора в естественном углублении. Перед норой — небольшая площадка в три-четыре квадратных метра, чистая, без растительности. И на этой площадке сидели два волчонка возрастом месяца полтора. Они смотрели на Сеню сначала удивленно, а потом все же юркнули в нору друг за другом: странный все-таки гость на двух ногах появился у них в доме,— лучше убраться.

Сеня срезал кинжалом лещину и потыкал ею в норе, держа наготове ружье в правой руке. Нора была совсем неглубокой, не более метра, но широкой внутри. Волчата урчали там тихонько, удивляясь появлению палки, но других звуков никаких не издавали (волки лаять не умеют). Волчицы не было. Сеня снял с себя узкий ременный поясок, положил его в карман и стал расчищать лопаткой входное отверстие норы. Время от времени он

останавливал работу и прислушивался. Иногда ему чудились шорохи — тогда он брал ружье наизготовку и некоторое время сидел в напряженном ожидании. К счастью, шорохи оказывались не волчьими. Но один раз он действительно весь похолодел: неожиданно над самым ухом застрекотала сорока, будь она неладна! А эта птица может привлечь волчицу своим криком. Она так, эта чертовка сорока: человек пройдет — протрещит, волк пробежит — протрещит, заяц проковыляет — трещит, окаянная! Иногда Сене казалось, что ружье лежит не так удобно, чтобы при случае быстро схватить его, тогда он клал его прямо перед коленями, со взведенным курком, и продолжал работать. Встреча со «знакомой» здесь не обещала ничего хорошего — она появилась бы из гущины зарослей одним прыжком,— и Сеня работал, работал до боли в суставах. Все ему казалось, что входное отверстие расширяется медленно. Но это только казалось: через полчаса он уже мог пролезть туда до половины туловища.

И вот он снял ватник. Прислушался. Вытер пот со лба рукавом. Еще раз посмотрел на ружье и... полез в логово. Какой-то особенный запах волчьей псины ударил в нос. Он ощупал рукой впереди себя дно логова: оно было чисто, без подстилки. Он повел ладонью по дну вправо и, наткнувшись на мягкое, заграбастал всеми пальцами волчонка. Звереныш попался так, что рука Сени перехватила ему горло, и тот захрипел. Сеня вылез. Разжал пальцы. Волчонок хлебнул несколько раз воздух и, сразу опомнившись, попробовал нырнуть в логово. Но Сеня прижал его обеими руками и, несмотря на то что тот скалил зубы, извивался, урчал, перевязал его поперек живота пояском. Темно-темно-серый щенок, не видевший никогда человека, уже возненавидел его всем существом: он грыз ремешок, кусал землю, но ничего не мог сделать. Сеня завернул его в ватник и направился старым следом на верх яра. Теперь, на гору да с волчонком, ползти по промоине стало труднее. Но надо было спешить, иначе он может встретиться со «знакомой» здесь, на волчьей тропе,— нос к носу!.. И снова — проклятая сорока! Но он спешил, спешил изо всех сил.

Когда он поднялся наверх, рубашка представляла сплошные лохмотья, а тело исколото и иссечено во многих местах; это не так страшно — пройдет, главное в том, что Сеня уже наверху. Он вновь срезал палку, привязал

к ее концу ремешок от волчонка и потащил его. Волчонок упирался, то волочась на всех четырех лапах, то на боку; иногда он ухитрялся вцепиться зубами в ремешок и так тащился волоком, свернувшись калачиком.

Сеня шел быстро. Но когда волчонок начинал кувыркаться, он останавливался, давал ему немного отдышаться и снова тащил его дальше. Шел так, чтобы ветер дул все время в спину. Так он дотащил волчонка до воронки, откуда следил за волками ранее, в первые дни. Здесь он развязал обессиленного и измученного волчонка, который уже и не пытался укусить,— он тяжело дышал, вздрагивая. Затем Сеня быстро выкопал маленькую ямку в полметра глубиной, завернул волчонка в ватник и уложил сверток в яму, закрепив ремешок колышком к земле.

Теперь Сеня сидел с ружьем в руках, лицом на ветер, в ту сторону, откуда тащил волчонка. Расчет у него был таков: волчица пойдет по следу волчонка обязательно, пойдет немедленно, как только появится у логова; ветер будет от нее — ружья она не почует, а Сеню увидит только в нескольких шагах. Он сам шел на короткую и страшную встречу со «знакомой».

Прошло уже много времени — Сеня не знал, сколько прошло. Он не заметил, как солнце свалилось за полдник, как уже упала прохлада, но он сразу ощутил приближение вечера по уменьшению ветра. Ветер затихал. Это было очень и очень плохо. Но как только он это подумал, он увидел... «Знакомая» на рысях бежала по следу детеныша, опустив голову. Сеня прижался к земле, сжимая в руках ружье. Волчица бежала, не раздумывая, торопясь, прямо и прямо на Сеню: она была готова на все. Вот уже двести метров... Сто... Она повернула голову и посмотрела в сторону, не останавливаясь. Вот уже Сеня видит широкий лоб, палкой опущенный хвост и горбинку на спине.

«Не поранить,— думал он,— не поранить. Или наповал, или совсем не попасть». На какую-то малую долю секунды он вспомнил Машу, но это было только на миг... «Знакомая» остановилась в десяти шагах от Сени с ходу, будто напоровшись на что-то. Она почуяла. Она подняла шерсть на спине и, чуть оскалив зубы, пошла шагом. Сеня увидел бледно-красные десны волчицы. О, она уже точно знала, кто взял волчонка. Знала! И Сеня выстрелил ей в грудь. На секунду дым закрыл

волчицу от него. Он-то знал, что перезаряжать одностволку поздно, и выхватил кинжал, встав на колени. И увидел: «знакомая» пала на колени, уткнувшись носом в землю; она подняла зад на лапы, не желая падать совсем; она еще хотела встать и сделать прыжок — один-единственный, последний прыжок, чтобы вцепиться зубами и, не разжимая их, умереть. Но она встала на четыре лапы и... рухнула наземь.

Все было кончено. «Знакомая» лежала перед Сеней. А он еще с минуту все стоял на коленях с кинжалом в руках, с запекшейся от царапин кровью на лице, в изорванной рубахе; он тоже был страшен.

...Самца он убил на следу волчицы: Сеня тащил ее волоком метров сто и снова засел в засаду. Волк напоролся на него, подскочив на больших прыжках, не подозревая засады. Увидев Сеню, он резко повернул в сторону, бросившись наутек, но картечь ударила в бок.

— Трус! — презрительно сказал Сеня, подходя к мертвому самцу.

В логове оказалось еще три волчонка. Их Сеня добыл уже утром следующего дня. Он стащил матерых волков и тех трех волчат в воронку и потихоньку пошел домой, неся под мышкой живого волчонка, завернутого в ватник. Он освободил ему голову совсем, ослабив ремешок на шее. Может быть, потому, что волчонку было уютно и тепло, а может быть, исстрадавшись, он был уже благодарен за то, что его приютили,— он не кусался, не рычал, но на Сеню не смотрел, отворачивая мордочку в сторону и вниз.

Последние метры до своей хаты Сеня шел через огороды с трудом, пересиливая себя, чтобы не лечь прямо на картошку.

Маши не было дома. Сеня посадил волчонка под печку, снял остатки рубахи и брюки, подошел к колодцу во дворе, вылил на себя ведро холодной воды, немного посидел, без мыслей, на срубе и только после этого стал мыться.

...В правление он вошел тихо, как и обычно, и постучал к Алексею Степановичу. Тот отозвался:

— Входите!

А когда Сеня вошел, пожал ему руку.

— Алексей Степаныч! — обратился Сеня.— За волками подводу бы послать.

— Уби-ил?!

— Убил.

И только после того как привезли волков, а народ собрался глазеть на них, обсуждая и восхищаясь, Алексей Степанович оценил и понял, что сделал Сеня: на это могли решиться только три охотника вместе, не меньше. А Сеня постоял перед волками в задумчивости и, не обращая внимания на похвалы и восклицания, тихо произнес, глядя на «знакомую»:

— Вот и все.. Вот и все...

Ему до боли жаль было расставаться с волчицей.

Гурей понял это по-своему и сказал:

— Это, Семен Степаныч, тебя осподь бог, обратно, спас.

— Глупый ты, Гурей Митрич, хоть и пожилой человек,— возразил Сеня.

И удивительно: Скворец ничуть не обиделся, а сказал в ответ так:

— Кажному человеку, Семен Степаныч, богом, обратно же, свой разум дан.— Он помолчал и с явной завистью продолжал: — Это, значит, по триста рублей за голову от государства — полторы тыщи, да за шкуры, обратно, не меньше шестисот. Эва! Больше двух тыщ! — Он почесал в затылке, крякнул от зависти и поддернул брючишки, уцепившись одной рукой за переднюю пуговку, а другой — позади. Гурка-Скворец очень сожалел сейчас о том, что не он убил волков, и ему казалось, что он вполне мог бы это сделать. Но он только повторил еще раз: — Да-а... Более двух тыщ.

Алексей Степанович дополнил:

— Это не все, Гурей Митрич: полагается премия от колхоза — по овце за каждого матерого волка.

Но Сеня не слушал Гурку. Сеня смотрел и смотрел на «знакомую» не отрываясь и сказал еще раз, тихо, шепотом:

— Вот и все кончено...

Дома он вытащил волчонка из-под печки и задумчиво смотрел на него долго, долго. А рядом сидела восхищенная Маша.

Было это два года назад. Волчонок стал уже большим волком. Никому из чужих он не позволяет к себе прикасаться, кроме Кости. Алексей Степанович все так же бессменно руководит колхозом и часто заходит

к Сене домой. Тогда волк смотрит на председателя спокойно, с достоинством.

В общем, если хотите видеть ручного волка, заходите к Семену Степановичу Трошину прямо в колхоз «Светлый путь». Только имейте в виду, днем его не застать — он обязательно на работе. А если охотится, то придется подождать его денька два. Он все тот же, так же любит жизнь — вот эту, нашу, настоящую жизнь, что порою отражается и в капле.

СОСЕДИ

Пожалуй, не каждый в селе скажет, где живет Макар Петрович Лучков. Но только произнеси «Макар Горчица» — любой младенец укажет путь к его хате. Почему такое прозвище ему дано, не сразу сообразишь, но колхозник он по всем статьям приметный. Главное, работает честно. Пьянства за ним никогда не замечалось, но годовые праздники он справляет хорошо, прямо скажем, совсем не так, чтобы лизнул сто граммов — да и язык за щеку. Нет. Например, за первое и второе красное число майского праздника литра три-четыре самогонки он ликвидировал полностью. При этом говаривал так: «Попить ее, нечистую, всю, пока милиционер не нанюхал». И правда, выпивал всю. Однако сам Макар Петрович никогда самогонки не гнал, а обменивал на свеклу без каких-либо денежных расходов. В компанию большей частью он приглашал соседа, Павла Ефимыча Птахина. В таком случае он говорил жене Софье Сергеевне:

— Сергевна-а! Покличь-ка Пашку Помидора.

Та никогда не перечила — знала, что раз праздничное дело, то Макар обязан «попить все». Павел Ефимыч приходил. Приносил с собою либо бутыль, либо кувшин, заткнутый душистым сеном или чабрецом, завернутым в чистую тряпицу, и говорил степенно и басисто:

— С праздником, Макар Петрович!

Он ставил кувшин на лавку, снимал фуражку, разглаживал обеими руками белесые волосы, заправлял украинские усы, но пока еще не садился.

— С праздником, Пал Ефимыч! — отвечал Макар Петрович.— А что это ты принес, Пал Ефимыч? — спрашивал он, указывая на кувшин.

В ответ на это Павел Ефимович щелкал себя по горлу и, широко улыбаясь, добавлял:

— Своего изделия.

— А-а!.. Ну, милости просим!

После этого Павел Ефимыч садился за стол. Они пили медленно, долго. Два дня пили. Ложились спать, вставали и снова сходились. Начиналось это обычно после торжественного заседания, на которое, к слову сказать, ни тот, ни другой никогда не приходили выпивши. Наоборот, там они всегда сидели рядом в полной трезвости, следили за всем происходящим внимательно, с удовольствием слушали хор или смотрели постановку, а уходили оттуда уже в праздничном настроении.

Надо заметить также, что никто из них никогда пьяным не валялся. А так: чувствуют — захмелели,— переждут, побеседуют, попоют согласно, потом продолжают, но опять же по норме. Но при обсуждении любых вопросов они оба избегали в эти дни говорить о большой политике, даже если это приходилось косвенно к разговору. Иной раз, правда, Макар Петрович и расходится:

— Я, Пал Ефимыч, пятнадцать лет работаю конюхом. Понимаешь: пятнадцать! — Он поднимал палец вверх, вздергивал волосатые брови, наклонял голову, будто удивившись, и сердито продолжал: — Были председатели за это время разные, но такого... Ты ж понимаешь, Пал Ефимыч, какое дело: конопли на путы не могут приобресть — из осоки вью путы. А? Свил нонче, а через три дня оно порвалось. Я этих пут повил тыщи — счету нет. И просил, и говорил, и на заседании объявлял им прямо: «Что ж вы, говорю, так и так, не понимаете, что в ночном без пута — не лошадь, а обыкновенная скотина. Я ж говорю, все посевы могут потоптать». Где там! Не берут во внимание.

— Не берут? Ай-яй-яй! — поддерживал Павел Ефимыч.

— А вот если я,— горячился Макар Петрович,— напишу в центр: так и так, мол, из осоки заставляют путы вить, не могут гектара конопли посеять. Знаешь, что ему будет?

— Кому?

— Да председателю.

— А что ему будет, Макар Петрович? Он мужик неплохой.

— Осоковым путом да вдоль...

— Эге, Макар Петрович! Мы с тобой уговор имеем — при выпивке о политике ни-ни! А ты — в центр. Об этом надо в трезвости.

— И то правда,— успокаивался Макар Петрович.

Одним словом, в праздничные дни никаких разногласий у них не было. Даже если и возникал какой-нибудь спор (чаще со стороны Макара Петровича), то прекращался он как-то неожиданно.

— Ну об чем речь, Макар Петрович? — скажет Павел Ефимыч.— Да разве ж нам в такой праздник перечить друг другу? А?

Тогда Макар Петрович вдруг встряхивал головой, закрывал глаза и затягивал сразу на высокой ноте:

— Шу-умел ка-амы-ыш, де... (тут он делал короткую паузу и набирал полные легкие воздуха)... ре-е-евья гну-у-улись!

А Павел Ефимыч склонял голову набок и подхватывал:

— ...де-е-еревья гн-ну-улись...

Люди услышат такое и говорят промежду собою: «Вот, дескать, по-соседски живут. Добрые соседи — Макар Горчица и Пашка Помидор. Добрые!»

Но как ни говорите, а это все одна сторона жизни. А вообще-то во многом у них с Павлом Ефимычем разница. И большая разница: и по характеру и по хозяйству. И к председателю колхоза относятся по-разному, что, как мы уже заметили, проскальзывает даже при выпивке, несмотря на обоюдный уговор.

И лицом они разные.

Макар Петрович усов не носит. Нос у него длинный, глаза чистые, светлые, прямодушные, а брови волосатые. Так что, если вы его встретите первый раз, то из-за своих бровей он покажется суровым; а взгляните ему в глаза получше — и вы сразу скажете: «Чистая душа — человек». И по обувке его можно приметить: на нем всегда сапоги сорок пятого номера, потому что ни в валенках, ни в ботинках в конюшне или в ночном работать не будешь. Росту он высокого, чуть сутуловатый и весь какой-то костистый, сразу видно, что кость у него прочная, выносливая; на такую кость черт знает что можно навалить — выдержит. Нет, если разобраться до тонкости, то, ей-богу же, ничуть не зазорно, что Макар Петрович два дня в году пьет по-настоящему за все свои остальные трудовые дни.

Павел же Ефимыч, наоборот, усы, как уже известно, носит по-украински, а бороду бреет; глаза у него остренькие, серые, хитроватые, брови жиденькие; лицо круглое, красное, можно сказать, сдобное. За такое обличье он и прозвище получил в юности — Помидор. Весь он какой-то круглый со всех сторон. Думается, положи ему мешок на плечи — соскочит. И руки у него не такие крупные, как у Макара Петровича. И обувается не так, как Макар Петрович: летом — ботинки солдатского покроя, зашнурованные ремешком, а зимой — валенки.

Кроме всего прочего, Павел Ефимыч совсем не курит, а Макар Петрович никогда не расстается с трубкой.

Теперь о хозяйстве. Главное, конечно,— корова. Корова была и у того и у другого. Но это очень и очень разные животные.

У Макара Петровича коровенка немудрящая. Ростом — подумаешь, телушка; длинношерстая, пузатая, но все-таки особенная. Не по молоку особенная, а по характеру. Иной раз взберется по навозной горке к самой крыше сарая, станет под солнышком и, пережевывая жвачку, смотрит на окружающий мир. Иногда ляжет на теплом навозе, который свален в кучу для кизяков. Ляжет там и шумно пыхтит, закрывши глаза. Однако, если ее испугать — крикнуть или свистнуть,— то она бешено вскакивает и во всю мочь мчится, задравши хвост, вниз и дальше. В общем, корова нервная, с телячьим характером,— бывают такие коровы, хотя, правда, и редко. Сергеевна доила эту корову, только спутав ей ноги. Иначе, если и надоит какую пару литров молока, то коровенка обязательно разольет его одним выбрыком.

У Павла Ефимыча корова была самая обыкновенная: молока давала много, на навозную кучу не лазила, а по характеру была такая, что даже от ружейного выстрела не вильнет хвостом. Ну просто — корова, в ней только и интересу — молоко. Может, конечно, кто-нибудь скажет, что это и есть главный интерес в корове — молоко. Так-то оно так, но не всегда. Более того, в этом самом вопросе между соседями были довольно большие расхождения.

Сидели как-то наши добрые соседи на завалинке рядом. День был воскресный. А в такие дни они частенько беседовали меж собою не только о каких-нибудь мелочах, а и о политике, и о коровах вообще, и о том, какой

главный интерес в корове, в частности. Тут шел душевный разговор. Так было и в тот день. Макар Петрович подошел к хате Павла Ефимыча и сказал:

— Сидишь, значит.

— Сижу. Гуляй со мной.

— И то правда — отдохнуть.— Он сел и первым делом начал набивать трубку самосадом.

— И что ты ее, Макар Петрович, сосешь, непутевую? — спросил Павел Ефимыч.— Курил бы хоть цигарку. А то — ишь ты! — сипит, как форсунка.

Правда, когда Макар Петрович посасывал трубку, то она действительно «сипела». Но он возражал так:

— А что? То сипит смак, есенец самый. (Он иногда любил вставлять ловкие, по его мнению, словечки.) А что насчет цигарки говоришь, то по душам скажу: не накурюсь я ею досыта.

— А не все равно?

— Э, не-ет. Цигарка, та берет одну поверхность. А из трубки потяну — чувствую, берет. Если же еще приглотнуть малость, то и вовсе хорошо, бере-ет! То есть самый витамин из трубки доходит, чувствую.

— Ну, кури,— согласился Павел Ефимыч.— Кури, раз душа требует. Само собой: кому что идет. Вот финагент наш тоже трубку курит.

Слово «финагент» сразу навело собеседников на размышления. Макар Петрович приглотнул из трубки и заговорил, будто продолжая когда-то начатый разговор:

— Дак вот я — о коровах. Это же получается неправильно... И моя корова, по-ихнему, дает доход в три тысячи и твоя. И я за нее плати четыреста налогу, и ты за свою — четыреста. Возражаю. Это политически неправильно.

— А ты заведи хорошую, ярославку, как у меня.

— Э, нет, Пал Ефимыч. Я докажу. Я, может, и сам понимаю, что моя корова не соответствует действительности. Так. Но учти: ни свет ни заря я ухожу на конюшню, а затемно прихожу домой. Если же еду в ночное, то забегаю только поужинать. Сергевна тоже: раненько — в колхоз, а домой — вместе со стадом. Кто будет держать уход за хорошей коровой? Некому. Девку замуж отдал, парень на сверхсрочную остался.

— А я что ж, по-твоему, не работаю в колхозе? — уже хмурился Павел Ефимыч.

— Работаешь, слов нет. Но ты же, Пал Ефимыч, даже от ездовой должности отказался — без коней на работу ходишь.

— А как же? У меня хозяйство: корова, овчонки, куры, свинка, пчелки. Кто ж будет ухаживать?

— Нет, Пал Ефимыч. Это в корне неверно. Аленка у тебя прицепщица, Володька — на элеваторе, на зарплате, сам — хочешь выйдешь на работу, хочешь — нет. Баба — до минимума дошла и хорошо.

— Это как то есть?

— А так: в хозяйство больше вникаешь. У тебя курс в личное дело.

— А ты дай мне десять рублей на трудодень. Может, я тогда...

— А где я тебе их возьму? — уже слегка горячился Макар Петрович.

— Не ты, а они.

— Кто — они?

— Ну, правление, что ли... Тот же председатель.

— Да это ж мы и есть! — воскликнул Макар Петрович и еще энергичнее потянул из трубки.— Все гуртом если, как один, на работу, тогда, может, и трудодень будет прочный.

— Будет! Держи карман шире,— осаживал Павел Ефимыч.— А тут,— он показал пальцем через плечо, во двор,— тут дело надежное. А налог — что? Купи хорошую корову — оправдает... Слов нет, налог, конечно, большой.

— Да мне больше четырех литров молока и не требуется. Зато моя корова — золотая по выносливости. Она и под кручу к речке сама спустится, напьется, сама же и выскочит обратно наверх и — во двор. А твоей надо носить воду за полкилометра.

Но Макар Петрович чувствовал, что говорит совсем не то, что надо, и от этого еще больше горячился. Однако настоящих слов для опровержения соседа не находил. К тому же, откуда ни возьмись, подошел финагент Слепушкин.

— Здорово были, соседушки! — поздоровался он и сразу раскрыл записную книжку.— До вас, Макар Петрович. Должок по налогу значится — триста.

А Макар Петрович и так уже был не в себе.

— Ты мою корову видал? — спросил он с сердцем.— За что я плачу? Она сама стоит семьсот, а за нее на-

логу четыреста. Аль вы не понимаете самого коренного вопроса?

— Не наше дело политику переиначивать. Не нужна корова — продай. Мы должны личное хозяйство того... к уклону. И налогов будет меньше.

— Налог того...— вздохнул Павел Ефимыч.— Трудноват, конечно. Ну, я-то расплатился.

— А я возражаю! — закричал Макар Петрович.— Понимания у тебя, товарищ Слепушкин, нету.

— Я что... Мое дело — взыскать.

— А! Взыскать! Ну взыщи, взыщи. Где я тебе столько денег возьму?

— Не знаю. Это не мое дело, а твое.

— Я тоже не знаю. Почему мало денег на трудодни дают? Я день и ночь работаю в колхозе. Я пятнадцать лет у коней живу.

— Вот я и говорю,— вмешался Павел Ефимыч.— Если на трудодень надежи нету, то без хозяйства нельзя.

— Как это так надежи нету? — рассердился Макар Петрович.— Не в том дело. Председатель наш не соответствует действительности. Настоящего надо выбирать.

— Ну, это ты далеко заходишь! — возразил Павел Ефимыч, посматривая, однако, на Слепушкина. Он при этом подумал: «Передаст еще наш разговор председателю — хлопот не оберешься, и отношение может попортиться».

— Не-ет. Не далеко захожу, а в самый раз. Ты ж понимаешь, товарищ Слепушкин: пута — несчастного пута! — не может организовать, вью из осоки. Разве ж с ним будет трудодень! — Макар стучал трубкой по ладони и говорил все горячее.— Я по любой подводе — приезжай она за сто километров — председателя узнаю. Узда хорошая, сбруя хорошая, путо на грядке привязано дельное — значит, и председатель того колхоза дельный. А у меня сердце разрывается, когда я начну лошадей обратывать в тряпичные узды да осоковые путы вязать. Не можно так дальше! — воскликнул он.— Где я возьму, Слепушкин, денег? Негде.

Макар замолк неожиданно и засипел трубкой. Слепушкин не наседал — знал, что Макар заплатит,— и тоже молчал и сосал трубку, но с удивительным спокойствием. А Павел Ефимыч кряхтел и потирал бока. Так же неожиданно Макар Петрович сказал:

— Заплачу. Нельзя не платить, сам понимаешь.

— А говоришь — где деньги взять? — уже с улыбкой сказал Слепушкин.

— Это не твое дело, а мое,— угрюмо ответил Макар Петрович.

— А и правда, Макар. Где ж ты столько денег возьмешь? — участливо спросил Павел Ефимыч.

— Я свою обязанность нутрем сознаю... должен я найти.

— То правильно. Хозяин знает, где гвоздь забить,— согласился сосед.

— Знаю. Конечно, знаю. Но только,— он выпрямился, стукнул трубкой о колено так, что посыпалась зола с искрами,— только неправильно это. В корне неверно: и за мою корову четыреста, и за твою столько же, да прибавь еще за усадьбу. Ты, Пал Ефимыч, не обижайся. Но это вопрос самого главного интересу в корове.

Павел Ефимыч и правда задумался. Посидел, посидел и говорит:

— А кто ее знает... Оно, наверно, неправильно. Но ты ж не Верховный Совет?

— Как так — не Верховный? Я — народ. Мы это понимаем. И там понимают.— При этом Макар Петрович указал вверх трубкой.— Должны они правильную линию надумать. Там люди-то — во какие головы! — Он растопырил руки над головой и добавил: — Ум! Если туда написать все это, товарищ Слепушкин, то поймут, ей-бо, поймут.

Но Слепушкин встал, попрощался и ушел, не говоря ни слова: он, видимо, боялся дальнейшего углубления вопроса. «Макар Горчица наговорит,— подумал он.— Макар и секретарю обкома скажет, что захочет. С ним и влипнуть недолго».

А Макар Петрович продолжал свое:

— Если добавить про рваные узды да про осоковые путы — тоже поймут.

Павел Ефимыч явно не верил Макару Петровичу и тут же высказал это:

— Пока туда-сюда, то да се, а свое хозяйство надежнее... А там посмотрим.

— Ну, посмотри, посмотри,— сказал Макар Петрович сердито. Он сдвинул брови, сунул трубку в карман, буркнул: — Прощевай покедова,— и ушел.

Вот так они поспорили и разошлись. Разговор, конечно, крупный, разногласия большие.

Обычно не проходило и несколько дней, как соседи снова сходились, снова спорили и обсуждали. Но на этот раз Макар Петрович отпросился в правлении на два дня и, никому ничего не сказав, ушел ночью. Сосед вроде бы ненароком спросил у Сергеевны:

— Мужик-то где?

— В городе. Повел корову продавать.

— Корову! — ужаснулся сосед.— Продавать?!

— Продавать.

— И ты допустила?

— Обоюдно согласились.

— А как же дальше?

— Там дело покажет,— уклонилась она от ответа.

Павел Ефимыч покачал, покачал головой и ушел в задумчивости, тихо разговаривая сам с собой:

— Корову продавать... Продать корову... Мыслимо ли это дело — без коровы? А может, купит хорошую?.. Да где он денег-то возьмет!.. А? Как это так — продать корову!

Тем временем Макар Петрович продавал корову на базаре. Один базар прошел — никто не купил. Вывел на второй базар. Продавал он ее прямо-таки артистически.

— Ты подумай,— говорил он покупателю, такому же, как и он, костистому колхознику, но с окладистой бородой,— это ж не корова, а мысль! Корму ей — горстку, теплого не пьет — давай из речки или прямо колодезную, ключевую, холод ей нипочем. С такой коровой всей семьей в колхозе будешь работать, а молочка — само мало — четыре-пять литров в день. Молоко жирное... Смотри хвост — перхоть желтая! Ребром прочная. Корова ласковая, правильная корова: двор знает, шататься не любит. И не то чтобы тугососая, а в самый раз для бабьих пальцев сиськи приделаны. В самый раз. Все статьи правильные. Я бы ее ни в жисть не продал, но финансовый мой вопрос не соответствует действительности.

А покупатель ходил вокруг коровы, щупал ее, гладил. Он уходил и снова возвращался, снова щупал и все повторял одно и то же:

— Не омманешь — не продашь... Не омманешь — не продашь...

Макар Петрович не возражал против такой базарной истины и говорил:

— Смотри сам! Свой глазок — смотрок, своя рука — правда. Рукой не пощупаешь да глазами не полупаешь — молочка не покушаешь.

Такие слова действовали на покупателя положительно. Он наконец решился приступить к пробе доения — самому важному во всей процедуре купли-продажи коровы. Тут совсем не то, как, скажем, купить автомобиль. Там так: паспорт сунул в карман и давай газ. А тут — извините! Животное со своим индивидуальным характером, который может и соответствовать, а может и не соответствовать требованиям покупателя. И Макар Петрович понимал это отлично. Поэтому он, зная характер коровы, сказал вопросительно:

— А может, спутаем? На всяк случáй.— И показал путо, но не осоковое, а настоящее конопляное.

— А зачем? — будто удивился покупатель.— Разве ж она — того?

— Да не то чтобы того, а, как говорится, все может быть... Человек ты новый, и, главное,— не баба. Корова к бабе привычна. Сам знаешь, у нас с тобой дух такой есть, корове не по нюху приходится.

— А може, без пута?..

Макар Петрович не ответил, а смотрел куда-то на чужую свинью, будто очень она ему понравилась. Покупатель же стоял в раздумье и говорил:

— Конечно, мужик — не баба, дух не тот.— Ему вдруг что-то пришло в голову. Он энергично почесал живот и произнес: — Не омманешь — не продашь. Давай без пута пробовать. Цена для меня подходящая, должон я пробовать по-всякому.

Макар Петрович гладил корову, уговаривал, заглядывал в глаза. Он чувствовал, что в решительный момент дойки она может подвести, а может и не подвести, в зависимости от настроения. И, конечно, при первой же попытке прикоснуться к соску последовал выбрык ногой...

— А она того? — ехидно спросил покупатель.

— Немножко того,— смущенно ответил Макар, опустивши руки и отдавшись весь на усмотрение покупателя. Больше ему уже нечего было говорить.

Прикоснуться к вымени корова не позволила ни разу.

— Ну давай путай,— сказал покупатель.

После того как задние ноги коровы спутали, он начал доить.— И — удивительное дело! — корова стояла как вкопанная: привычна к путу. Молоко зажурчало струйками. Макар Петрович слушал. Жжих, жжих! Жжих, жжих!..— звенели струи о ведро. Грустно стало Макару Петровичу. Жжих, жжих! Жжих, жжих! — хлестало его что-то по самой душе. Он вздохнул и отвернулся, глядя на пожарную каланчу.

Покупатель напился молока, пробуя его медленно, с причмоком; при этом он, когда отрывался от ведра, смотрел в землю, будто сосредоточившись весь на ощущении вкуса. Так курильщики на базаре пробуют рассыпной самосад: затянется раз и стоит, потупившись, решая — «берет или не берет».

— Ну как? — тихо спросил Макар Петрович.

— Она хоть и того — насчет дойки, но зато молоко... скусное, ох, скусное!

— Не молоко, а форменные сливки,— уже веселее подтвердил Макар Петрович.— Ну, а насчет этого... путанья-то как скажешь? Не купишь, наверно? — почти уныло спросил он.

— Оно, вишь, какое дело,— заговорил скороговоркой покупатель,— я тебе прямо скажу. Была у меня корова. Та, батенька мой, как зверь: ка-ак даст, даст! И ведро летит, и баба — с копыльев долой. Во какая была корова! А эта стоит, спутанная, смирно. Этак можно. Вполне выносимо. И цена подходящая, а это главное дело. Уступишь сотню — возьму корову.

Но Макар Петрович уступил только четвертную. Сладили они за семьсот рублей и по семь с полтиной на магарыч с каждого. Макар Петрович и не хотел тратить деньги на магарыч, но правила того требуют — выпили по сто пятьдесят граммов.

И вот уже поводок обрывка, накинутого на рога, оказался в руках нового хозяина. Вот он повел корову по базару. А вскоре и совсем скрылся в толпе. Но Макар Петрович, прижимая карман с деньгами, все смотрел и смотрел в гущу базара. Базар шумел. Урчали автомашины, мычали коровы, блеяли овцы, хрюкали свиньи, кричали, споря, городские торговки. Продавцы и покупатели торговались то слишком громко, с азартом, то, наоборот, почти молча, перебрасываясь односложными

замечаниями. И все эти звуки сливались в общий гул. Вдруг вырвался из общего гомона поросячий визг и долго висел над толпой, пронзительный, истошный, висел до тех пор, пока новый хозяин не засунул поросенка в мешок. Зато на смену визгу взвился аккорд гармони. Невидимый гармонист ударил «барыню», хлестнул по толпе перебором, и, кажется, пошла плясовая и над головами и под ногами, подталкивая к переплясу. Какой-то подвыпивший колхозник, видимо удачно закончив продажу, рывком положил одну ладонь на затылок, вытянул другую перед собой и забарабанил каблучной дробью так, что из-под сапог пыль полетела клубом! Макар Петрович даже и не повернул головы в сторону плясуна, хотя и был от него близко. Потом замолкла и гармонь. Базар шумел и шумел. Мощный радиорепродуктор тоже говорил в тон общему гулу, перекрывая все. Но вдруг из того же репродуктора заструились звуки хорошей, сердечной музыки. А Макар Петрович все стоял и стоял неподвижно и все смотрел и смотрел в ту сторону, куда увели его корову. Он видел громадную толпу, в которой смешались люди, лошади, коровы, автомашины... Кому какое дело до того, что Макар Петрович продал корову? Никому.

А базар все шумел. Макар Петрович стоял, опустив голову. Кто-то толкнул его мешком. Он оглянулся. Высокий и сильный парень в новеньком ватнике, сердито глядя на Макара Петровича, выразился непристойно и добавил для пояснения:

— Что стоишь на дороге? Забыл, что базар? Иль нализался?

Но Макар Петрович был совершенно трезв. Он посмотрел своими светлыми и добрыми глазами на парня, поднял мохнатые брови и сказал безутешно:

— Я, брат... корову продал...

— Видишь ты, дело-то какое! — участливо сказал парень, поставив мешок на землю.— Дошло, что ли? Или заменять думаешь?

— Как тебе сказать... Финансовый мой вопрос не соответствует действительности.

— Аль ваш колхоз бедный?

— По правде сказать — плохой.

— Понятное дело! Отсюда и «финансовый вопрос».

— А ты откуда? — спросил Макар Петрович, совсем не обижаясь на первые ругательства парня.

— Из Алешина. Колхоз «Чапаева» слыхал?

— Слыхал. Это у вас по семь рублей на трудодень?

— У нас. Да еще по три кило хлеба. А ты откуда?

— И зачем тебе, паря, знать? Не желаю, чтобы ты и знал. Плохо у нас, председатель не соответствует...

— Ну хоть скажи, по скольку денег дали на трудодень?

— Дали... по сорок копеек,— смутился Макар Петрович.

Парень рассмеялся громко, на весь базар. Он присел на свой мешок и сквозь смех говорил:

— Какого же вы черта сами-то смотрите! Небось по хатам отсиживаетесь да за личное хозяйство зубами уцепились. Кто их вам привезет, деньги-то? Вы же без настоящего колхоза посохнете, как подсолнечные будыли перед зимой.

— Это ты, паря, не мне говори: я, брат ты мой, пятнадцать лет конюхом работаю. Изо дня в день работаю. Не обижай так-то.

Макару Петровичу очень хотелось поговорить. Но парень поднял мешок на плечо и, уходя, сказал уже без смеха:

— Десятеро будете работать, а сто в окошко выглядать — ничего у вас не будет.

— Да ты постой, постой!

— Нскогда мне с тобой... с сорокакопеешным. Ты корову продал, а я четыре тыщи за пшено наторговал — последний мешок несу на весы.

— Правда?!

— Аль тебе денег дать? — шутил парень.— Не да-ам. Сами делайте. Мы за таких, как ваш брат, четыре года поставки выполняли.— Потом обернулся и добавил душевно: — Да ты не обижайся. Может, и наладитесь.

Макар Петрович пробовал идти за ним и говорил:

— Ты ж учти: ты же мне громадное дело сказал. Я, понимаешь...

Но тот уже нырнул в толпу и вскоре скрылся из виду.

Макар Петрович теперь всматривался в толпу, различая каждого. Для него это была уже не безликая масса людей, снующих между бричками или продающих. Вот в рваном кожушке стоит совсем не старый колхозник и продает двух кур, которых держит под мышкой. «Сорокакопеешный»,— подумал Макар Петрович. А вот румяный мужчина — фуражка набекрень — держит це-

лую связку разной мануфактуры и две пары новеньких сапог и спокойно смотрит вокруг. «Семирублевый»,— решил он.— Накупил, как (он мысленно не находил подходящего слова)... как юрист»,— заключил Макар Петрович. Но мысль эта была не только беззлобной, а скорее доброжелательной.

Вечером того же дня он приехал с попутной автомашиной домой и зашел в хлев. Грустным бывает хлев ночью, когда там никто не дышит — ни корова, ни овца. Пусто было и внутри, что-то сосало под ложечкой, а в ушах все звенели струйки: жжих, жжих! Жжих, жжих!..

Макар Петрович только сейчас почувствовал, что он с самого утра ничего не ел. И сразу же решил мысленно: «Человек, который голодный, веселым быть не может».

Он вошел в хату.

Сергеевна обрадовалась и воскликнула:

— Да где же ты пять дён пропадал?

Он ответил не сразу. Разделся, повесил фуражку на гвоздь, осмотрел хату, сел за стол и только после этого ответил:

— Два базара продавал.

— И что же?

— Да такую корову где хочешь продать можно.

— За сколько же?

— За семьсот.

— А не дешево?

— Какая сама, такая и цена. На базаре цены не продиктуешь. Покупатель-то, сама знаешь, прахтиктованный пошел.

Сергеевна собрала ему на стол еду. Он съел полную миску борща, такую же миску каши. После этого по привычке протянул руку к полочке, что висела над столом,— там всегда стояла литровая банка молока, приготовленная для хозяина к ужину из вечернего удоя. Макар Петрович машинально взял эту банку и поставил на стол. Банка была пуста. Он торопливо сунул ее обратно на полочку.

Сергеевна посмотрела на него и вдруг, приложив фартук к глазам, заплакала.

Макар Петрович крякнул и встал из-за стола. Он постоял в раздумье перед Сергеевной, глядя в пол, потом поднял на нее глаза и заговорил:

— Ты, слышь, Сергевна... Ты этого... брось. Гляди на меня, что скажу.

Сергеевна подняла лицо и посмотрела ему в глаза. Она любила эти прямодушные глаза своего Макара, глаза, в которых видна вся его душа.

— Проживем, Сергевна,— утешал он.— Я тебе докажу, как пять пальцев. Парнягу я одного встретил из «Чапаева». Алешино знаешь?

— Знаю.

— Оттуда он. Четыре тыщи за пшено наторговал. Во! У них семь рублей и три кило на трудодень. Во, Сергевна! Ты прикинь сама. Я-то дорóгой сосчитал. Если на наши с тобой восемьсот трудодней по три килограмма да по семь рублей, то слушай: пять тыщ шестьсот рублей чистых денег, да хлеба — можно двенадцать центнеров продать. Допустим, это будет просо. А мы его таким манером на пшено перерушаем... Это тебе, само мало, сорок пудов пшена или четыре тыщи. Да там пять тыщ шестьсот. Это сколько будет? Без малого десять тыщ. Во, Сергевна!

— Да ведь это ж в «Чапаеве». А мы-то с тобой триста двадцать рублей за весь прошлый год получили.

— Ага! Поняла? Сорокакопеешный наш колхоз! Без настоящего колхоза нам — труба. Корень-то у нас с тобой в колхозе.

— В колхозе, Макар. Правда.

Легли спать они все-таки в каком-то раздумье. Макар долго не мог уснуть и время от времени говорил:

— Я им, сукиным сынам, сделаю стыдно.

Или так:

— Я тебе покажу, как каждый день водку глушить... Праздников не понимаешь, толстый черт...

Потом помолчит, помолчит и снова:

— Мыслимое дело: за пшено — четыре тыщи! Значит, там у них все соответствует действительности.

— Да спи ты, неуемный,— засыпая, увещевала Сергеевна.

А он свое:

— Эх! Про путы у него не спросил. И про сбрую бы надо... Убег от меня... «Сорокакопеешный»...

Так он и уснул с этими мыслями, вернее — с одной мыслью, которая засела у него в голове гвоздем.

...Рано утром следующего дня Макар Петрович пошел, как обычно, на конюшню. Несколько часов подряд он ворчал, проклиная кого-то, а больше отводил душу на других конюхах:

— У вас всегда так: уйди на два дня, так вы навозом обрастете. В дверях — кучи навоза, в стойлах мокрость развели. Иль уж у вас понятия о порядке нету? Ну что стоишь, чешешься? Чисти хорошенько.

Он увидел во дворе председателя колхоза Черепкова.

Низкого роста, пузатенький, председатель стоял посреди двора и отчитывал доярку:

— Ты мне дай рекорд хоть с одной коровы. Другим уменьши норму, а с Милки дай пять тысяч литров. Безобразие! В прочих колхозах по две-три коровы дают рекорды, а у тебя хоть бы единственная...

— У нас стойла развалились, где уж там до лекорда! — возразила доярка.

— Я тебе не о стойлах... Мне в район стыдно показываться. «Лекорда»! Даже слова этого не сумеешь сказать... С вами надоишь пять тысяч.

Тут подошел к нему Макар Петрович и без обиняков сказал, указывая на конюшню:

— Так и в зиму пойдем? Крыша-то горбом осела: перекрывать надо.

— Надо,— ответил тот, глядя на конюха снисходительно и покровительственно.

Но когда Макар Петрович почуял от председателя запах водки, то совсем осерчал.

— А это что? — показал он рваное осоковое путо.— Что это есть, товарищ Черепков?

— Трава,— ответил тот все тем же тоном.

— Срам это для колхоза. И это — срам на весь район.— Он показал рваную узду.

— А что ж, я тебе еще путами да уздами буду заниматься? У меня хлопот полно: досок достань, гвоздей достань, в поле досмотри... За вами такими — глаз да глаз...

— Ага,— сказал Макар Петрович.— Досок достань, гвоздей достань... водки достань.

— Как ты сказал? Как сказал? — вскипятился председатель.

— Как сказал, так и вылетело... Не воробей — не поймаешь. Меня теперь хоть в морду бей — я сказал.

Председатель молчал, что-то соображая. А Макар Петрович заговорил быстро, отрывисто:

— У людей... по семь рублей на трудодень, а мы... мы прошлой осенью всю овощь поморозили. У людей

по три килограмма, а у нас подсолнух попрел. А ты водку глушишь. Веры в тебе нету, веры нету, председатель... У самого у тебя нету веры... А это мой корень.— Макар сбился с тона, заговорил тише: — Мы ж так дальше не можем... А ты — водку...

Черепков вдруг выпалил:

— Дали тебе прозвище Горчица — ты и есть горчица! Указывать — вас много, а работать — «выходи десятый». Ишь ты! Что ты понимаешь? Я директором маслозавода был! «Веры»! Тебя отпустили на два дня, а ты прошатался пять дней. Я т-тебе пропишу «веру».

Макар стоял и смотрел в упор на Черепкова. Удила рваной узды позвякивали той же дрожью, что и Макар. Он неожиданно опустил голову вниз и тихо проговорил:

— Я, брат... корову продал... А ты — водку...— Он вдруг резко повернулся и зашагал к конюшне. Там он зашел в лошадиный станок и оперся грудью о перекладину. Лошадь повернула к нему голову и потрогала за щеку мягкими, как бархат, губами. Макар повернулся к ней, погладил, обошел ее вокруг и дрожащей рукой потрепал холку.

Вскоре было заседание правления. Стоял вопрос об отводе из конюхов Макара Петровича Лучкова за прогул. Макар Петрович сидел в углу со связкой узд и пут. В полутемном углу лица его не было видно. Когда Черепков объявил вопрос о Лучкове, то и тогда он не пошевелился. Но вдруг он услышал голоса:

— Это кого? Макара Петровича?

— Да он пятнадцать лет...

— Лучшего колхозника у нас и нету!

— Как это так — Макара...

Все присутствующие загалдели, перебивая друг друга, говорили с возмущением. Кто-то крикнул:

— Человек корову продал!

Черепков почувствовал себя явно неловко. Он наконец понял, что хоть и председательствует больше года, а Макара Лучкова не заметил. Торчит человек целыми днями в конюшне, сует всем к носу осоковые путы — и все. А черт его знает, какой он! Что у него дома? Чем он дышит? До всего этого Черепков не дошел. Он навел порядок и обратился к Макару Петровичу:

— Что ты скажешь, Лучков?

— Ничего не скажу,— ответил тот.

— А если снимем?

— Я с конюшни не пойду,— ответил он угрюмо.— Я без коней не могу.

Конечно, Макара Петровича не уволили. Даже и вопроса этого не обсуждали, а просто взгалделись еще раз дружно и сняли с повестки дня, без последствий. Но когда все притихли, Макар Петрович встал. Он подошел к столу, положил связку рваных узд и истрепанные осоковые путы перед счетоводом и, не глядя на председателя, сказал:

— Заприходуй амуницию. Пущай потомство в музее изучает. А я вам сделал стыдно: для своих закрепленных лошадей купил узды новые и веревку для пут. Новое стоит оно сто восемьдесят рублей. Отдадите деньги — хорошо, не отдадите — еще лучше: стыда больше.— Тут он выволок из угла мешок, развязал его, вынул несколько ременных недоуздков, показал всем при общей тишине, затем снова все запрятал, взял мешок под мышку и вышел.

Все долго молчали. Курили и молчали. Молчали и курили. Кто-то наконец сказал:

— Давайте расходиться.

— Давайте,— поддержало несколько голосов.

Заседание закрылось само собой. Так бывает всегда в любом колхозе, когда дело заходит в тупик. А счетовод — пожилой, симпатичный человек с поднятыми на лоб очками — обратился к уходящим, минуя взглядом Черепкова:

— Куда же я буду девать... амуницию?

— Сказано — в музей,— ответил дряхлый дед.— Напиши год, число и в царствие какого председателя.

Черепков пробовал встать, но почему-то не решился.

— А мы где? А вы где, товарищи правленцы? — вскричал счетовод.— Копейку добыть не умеем, а добудем — беречь не умеем. У меня с вами за каждую сотню рублей война, а на дело денег нет.— Теперь он смотрел только на председателя.— Глазу у нас хозяйского нету, а от этого и касса как решето.

— Ну, разошелся,— оборвал его председатель.— Слыхал твою ноту. Ты и в хозяйстве развернуться не даешь.

— Брошу! Ей-богу, брошу! Лучше в тюрьму сажайте, а брошу! — Счетовод хлопнул книгой о стол, сунул ее в ящик и вышел.

Черепков остался один. Он сидел за столом и стучал карандашом.

Вот ведь, товарищи, что может натворить корова Макара Петровича! Помните, мы говорили о том, что интерес в корове — только молоко? А оно вон что вышло. Не продай Макар корову — может, и не было бы всего того, что произошло на этом заседании. Однако теперь не вернешь, корова продана. Макар Петрович, конечно, уплатил остаток налога — триста рублей, а остальные деньги отдал Сергеевне, в том числе и полученные от правления за «амуницию», всего — четыреста рублей. Из этих денег Макар Петрович не пропил ни копейки. Да и никогда он не тратил денег на водку, а употреблял, как мы уже знаем, местного изделия — только в особо торжественные дни.

Подходила осень. Лошади стали шерстистые, а поэтому и хлопот с ними стало больше, на одну только чистку надо два-три часа. В ночное ездить перестали — значит, четыре раза задай корму да воды накачай вручную два раза в день на двенадцать голов. Это ведь сказать только легко! Да конюшню вычистить утром и вечером. Очень много работы у колхозного конюха. А день стал меньше. Приходилось Макару Петровичу выходить из дому задолго до рассвета, а возвращаться домой совсем поздно, с фонарем. Но чем ближе к осени, чем больше работы в конюшне, тем как-то живее он становился. К соседу Павлу Ефимычу Птахину он забегал лишь изредка и то только в тех случаях, если тот сидел на завалинке.

— Зашел бы, Макар Петрович! — окликнул он однажды.

— Здорово, Пал Ефимыч! Некогда мне. Ну, чуть посижу, на полтрубки — не больше.

— Значит, хлопочешь? — как-то неопределенно и, как показалось Макару Петровичу, с чуть заметной улыбкой спросил сосед.

— Хлопочем. Как же, хлопочем. Скоро осень. Это, брат, время важнецкое.

— А авансу и по килограмму не дали.

— Должны дать.

— Ой ли?

Макар вместо ответа сказал:

— На отчетном председателя надо менять. Не соответствует.

— Мне какое дело, какой там председатель! Что ни поп, то батька. Этот нехорош, да известный характером... Потрафь ему и — порядок! А другой-то неизвестно еще — то ли лучше будет, то ли хуже. Сколько их было-то? Не меньше как десять аль одиннадцать.

— Рассуждение у тебя, Пал Ефимыч, не в ту сторону. Без настоящего колхоза нам никак невозможно. А председатель — всему голова.

— А этот разве не голова? А что водочку любит, дак то не вещь. Кто ее не любит? Оно даже нам и сподручнее.

— Ка-ак? — удивился Макар Петрович.

— Я, к примеру, хочу в лес поехать,— продолжал Павел Ефимыч.— Что я должен делать?

— Ну?

— Ясно, перво-наперво — достать подводу. У иного председателя умри, не выпросишь, а нашему «полмитрича» поставил и — с богом! Насчет этого он простой человек, обходительный... И сенца можно добыть таким манером побольше. По мне — он неплох.

— А по мне — дрянь! — воскликнул Макар Петрович.

— Опять свое! — развел руками Павел Ефимыч.— Ты покорись ему. Покорись, Макар Петрович. Позови, угости, помирись. Чего ты встрял против него?

— Ты ж пойми! Нам голова нужна для колхоза, а не пивной котел. Пропадаем мы этак. Что ж ты-то думаешь!

Павел Ефимыч не ответил, видимо оставаясь при своем мнении. Он помолчал немного, подумал, а потом сказал:

— Опять же вот морозы пойдут — плохо это. И дожди если — тоже плохо.

— Это что же так: и морозы — плохо, и дожди — плохо?

— Дожди если — хлеб попреет в ворохах, а морозы — всей овощи могила.

— А ты не допускай.

— А при чем тут я?

— Не допускай,— повторил Макар Петрович.— Тормоши председателя, сам работай понатужней.

— Иль ты думаешь, мне дома делать нечего? — спокойно возразил Павел Ефимыч.— В колхозе я и так работаю по силе возможности.

После этих слов Макар Петрович встал. Полтрубки времени уже проходило, а опровержение соседу надо было дать, без этого он уйти не мог по своей натуре. Он посмотрел на соседа и неожиданно сказал:

— А ну встань, Пал Ефимыч.

Тот хотя и в недоумении, но встал. Макар Петрович нагнулся над тем местом, где сидел сосед, как бы вглядываясь, и сказал:

— Нету червонца — не высидел, Пал Ефимыч. Садись еще. Да всей мякотью прижимай — может, десятку на трудодень и высидишь.— И ушел.

А Птахин стоял в ошеломлении и только произнес:

— Горчица и есть горчица.— Помолчал, почесался и добавил: — Каплю ее в рот положи, а она тебе и в нос шибает и в глаза бьет.— Но сказал он все это тихо, про себя, Макар Петрович не слышал.

Тот шел и тоже про себя бурчал:

— Помидор и есть помидор. Сидит, округляется, наливается, зреет, сукин кот. Три выходных в неделю — два дня на работе, один день дома.

Долго после этого разговора они не сидели рядом на завалинке. Встретятся, поздороваются — и дальше. Что-то такое похожее на настоящую ссору и недружелюбие началось меж соседей, началось и все углублялось. Больше того, даже и бабы ихние поссорились из-за пустяка: петух на чужой насест сел.

Дело с этим петухом получилось так. У Павла Ефимыча — как на грех! — петух подох. А Макаров-то петух, как птица всегда охочая до чужих кур, стал кое-когда садиться на чужом дворе ночевать. Он, петух-то, небось так думает: чтобы не обидно было всем курам, сегодня сяду там, а завтра тут. Может, он и прав — определить трудно. Но ведь это же сущий пустяк! Это же обыкновенный птичий вопрос, не стоящий выеденного яйца. Ни в жизнь не поссорились бы жены соседей, если бы между мужьями не пробежала кошка. А петух взят, можно сказать, для придиру. Макар Петрович все это понимал и даже однажды, при очередном препирательстве соседок, сказал так:

— Петух — птица нахальная. Курица — глупая птица. Или вы хотите, чтобы я сказал, что и бабы похожи на них? Брось, Сергевна, в глупости вникать.

Сергеевна немедля ушла от плетня. Но Степаниха — жена Птахина — еще долго кричала:

— Если у нас беда случилась — петух подох, то вам и горя мало. А еще соседи! Жалко им петуха на время дать — попользовать для чужих кур. Не отвалится ничего у вашего петуха! Он и петух-то ни к чему не способный,— разве такие бывают петухи!

— А ну, наддай, наддай, подбавь перцу! — пошутил Макар Петрович и, сняв петуха, вошел во двор к соседу. Он посадил петуха на их насест и сказал Степанихе:

— Когда купите кочета, они подерутся с моим и разойдутся по своим супружницам. Только и делов.

— На что он нужен мне, твой петух! Куды ты его принес?! — надрывалась соседка.— Не желаю твоего петуха пользовать.

— Цыц! — рыкнул басом Павел Ефимович на жену, выходя из хлева.— Пущай сидит, где ему хочется.

Соседи поздоровались и разошлись. Нет! Нету былой дружбы, а одна неприятность. Чем бы все это кончилось, трудно сказать; какую линию взяла бы эта ссора, тоже предположить невозможно. Но очень уж к тому времени великие дела стали твориться на селе, чтобы разногласие соседей нельзя было забыть.

В воскресный сентябрьский день Макар Петрович шел из правления с газетой под мышкой. Шел быстро, непохоже на свою походку, будто боялся опоздать. Завернул он прямо к Птахину во двор, минуя свою хату. Тот тесал какой-то кол и обернулся не сразу. Макар Петрович зашел ему наперед и, постукивая громадным пальцем по газете, спросил:

— Слыхал, Пал Ефимыч?

— Чего там? — Он воткнул топор в бревно и выпрямился. Вся его фигура говорила: «Опять пришел Горчица».

— Ну, брат ты мой, и головы там! — Макар Петрович развернул газету и стал читать вслух.

Читал он, правда, медленно, но правильно, с толком, поймет и малый ребенок. Птахин от удивления встал. Макар Петрович тоже встал, не отрываясь от газеты.

— А ну дай-ка — я сам почитаю,— неожиданно сказал Птахин.

Они сели теперь на бревно, прямо среди двора. Птахин читал тоже не очень бойко. Он время от времени останавливался, поднимая палец вверх, давая себе по-

размыслить. Потом снова читал Макар Петрович. Потом — опять же Павел Ефимович. В течение трех последующих дней они несколько раз сходились уже поздно вечером и снова читали. Газета уже разлезлась по складкам, но ее склеили и знали точно, что там написано, под склейкой. И снова и снова принимались читать и обсуждать.

— Я тебе говорил, Пал Ефимыч: там надумают!

— Говорил. Правильно, говорил. Не отрицаю!

— Я ж тебе и еще скажу: там они мою душу чувствуют.

— И мою! — тыкал себя в грудь Птахин.

— И твою,— согласился на радостях Макар Петрович.— Тут и тебе хорошо и мне ловко. Значит, теперь получается так: заплати налог с сотки — и крышка. Есть у тебя скотина, нет ли скотины, хорошая у тебя корова или плохая — неважно. Сотка определяет налог. И до чего же это правильно!

—И не только в том, Макар Петрович. А льготы-то какие! Налогу вполовину меньше, молока — вполовину. Да все напополам меньше.

Что-то такое сблизило соседей: это была общая радость, общая уверенность в лучшем. Оба соседа неразлучно посещали собрания, а после усаживались на завалинку и засиживались за полночь. Днем им невозможно сойтись, потому что Макар Петрович все время был в конюшне и работал там с каким-то особым усердием. А Павел Ефимыч ни с того ни с сего частенько стал наведываться в город и наконец привез какие-то железные трубы. Вскоре Макар Петрович отправился в город и привел очень хорошую телушку — породистую, смирную, ласковую. Для этой покупки он прибавил к своим четыремстам рублям аванс, полученный из колхоза на трудодни. Казалось бы, пришел мир между соседями: главный спорный вопрос решен. Но опять-таки получилось не так.

Однажды вечером сидели они, как и полагается, на завалинке. Сидели и беседовали. По улице «шла гармонь». Девчата и парни пели частушки. Сначала наши соседи не слушали песни, увлекшись собеседованием (Макар Петрович рассказывал о том, какой золотой характер у его телушки, и убеждал соседа в том, что характер у скотины — это тоже очень большой интерес).

Но когда молодежь поравнялась с ними, девичий голос под переборы гармошки пропел:

Ой, товарищ Черепков!
Разведем теперь коров.
А еще будем просить,
Чтоб и сено нам косить.

— Слышь, Макар Петрович, что поет моя Аленка?

— А к чему это она? — не сразу сообразил Макар Петрович.

— Они, слышь, все наши пересуды в песни складывают. Значит, я и говорю: скотину разведем, слов нет, но корму нам надо теперь много. Вот, к примеру, про себя скажу. По уставу я буду иметь корову, телку, овец...— Тут он подумал немного.— Овец десяток, пчел, скажем, ульев пятнадцать, свинью, допустим, кормленую да поросенка малого на смену... Свинью забил — поросенка корми... Налог все равно такой же, имей я или не имей ничего. Значит, тут еще бы остается так сделать: половину лугов колхозу, а половину нам.

Макар засипел трубкой.

— Эге-е! Во-он ты что-о! — Он подумал и вдруг с усмешкой сказал: — Ты ж воды не натаскаешься на такую ораву скотины.

— А я и таскать не буду. Я трубчатый колодезь прямо во дворе пробью. Трубы и насос купил. Ясно, разве ж мыслимо бабе столько воды носить. Ей и без этого теперь в колхозе не придется работать, дома хватит по горло.

— Как так не работать? — вскочил Макар Петрович.

— А так, что и самому теперь придется подумать: то ли пойти, то ли нет.

— А ты читал, как написано? Там сказано, кто не будет работать в колхозе — налогу больше на пятьдесят процентов.

— Это написано неправильно.

— Как неправильно?

— А так — неправильно. Не разорваться же мне надвое — и там и тут.

— А! Вон как! — Макар то заходил на одну сторону от соседа, то на другую, а тот поворачивал за ним голову, не видя его лица в темноте.— А! Вон как! Значит, и от колхоза и от правительства тебе все дай, а ты колхозу — ничего! Ты что? Ты что? — все больше горячился

он.— Ты же говорил, что тебя о н и понимают. А сам-то ты их понимаешь? Ты куда гнешь?

— Но! Раскричался, как на пожаре.

— И буду кричать! На собрании даже буду кричать. Пашка Помидор не в колхозе хочет разводить скотину, а у себя во дворе.

— Да ты пойми, садова голова! — уже с сердцем говорил Павел Ефимыч.— Если будет большой трудодень, я, может, тогда и сокращу скотину, а сейчас буду разводить.

— А! Ждать будешь, когда другие добьются большого трудодня. Не-ет! Не будет так, кричать буду! Я твою нутренность увидал. Всю, как есть, увидал. У тебя корень во дворе, а сухие сучья в колхозе.

— Ты что кричишь на всю улицу! — рыкнул вдруг Помидор.— Что кипишь, Горчица?! — И придвинулся вплотную к Макару.

Тот не отодвинулся ни на сантиметр и воскликнул:

— Где же твоя совесть колхозная, чертов Помидор!

— Горчица! — сказал Птахин.

— Гнилой Помидор! — сказал Макар Петрович.

— Я еще за петуха с тебя стребую: твой петух моему голову всю раздолбал — нового опять покупать. Я еще...

— Возьми и моего петуха, черт с тобой! — Макар добавил пару крепких, неписаных слов, плюнул и ушел домой.

Вот ведь как оно получилось! Никогда так не было, никогда не ругались так, чтобы бросать друг другу прозвище в глаза.

Больше того, доподлинно известно, что Птахин ходил к председателю колхоза Черепкову, с которым у него сложились неплохие отношения, и говорил ему, что «Макар Горчица стоит против сентябрьского Пленума и не дает ему разводить скотину». Известно также, что Макар Петрович посетил секретаря колхозной партийной организации и сказал так: «Пашка Помидор — гнилой колхозник, и он, Помидор чертов, не соответствует действительности».

Если ко всему этому добавить, что болтает народ, то просто невозможно предположить, во что выльется вся эта заваренная каша. А народ вот что промеж себя говорит: будто между председателем колхоза и секретарем партийной организации — большая неприятность; будто

насчет председателя имеется в районе нехороший слух и что его будут заменять на непьющего или хотя и пьющего, но по норме, а не без числа. А еще был слух — это уж точно,— что Макар Петрович самолично ходил к секретарю райкома партии и полчаса разговаривал с ним о председателе колхоза; один ходил, по своей воле, взял палку в руки и пошел, как в свое правление. Что ж, все это могло быть — народ зря болтать не будет.

На Октябрьскую Макар Петрович выпил, как и требуется,— за два дня «попил все» и кричал в колхозном дворе, что он и в область мог бы дойти, да смыслу нет — в районе тоже не дураки: «политику знают и Макара понимают». Но ни он не пригласил Павла Ефимыча в гости на праздник, ни Павел Ефимыч не позвал Макара Петровича. Даже кланяться друг другу перестали. Вот до чего дошел конфликт! Так продолжалось до самого отчетного собрания.

А там получилось у них несколько иначе.

Когда открыли собрание, то Птахин посмотрел, кто сел с ним рядом. Оказалось — Макар Петрович! Он пришел перед самым открытием, потому что задержался на вечерней уборке в конюшне. Они оба так привыкли к своим местам, что независимо друг от друга оказались рядом.

Председатель колхоза Черепков отчитался. Все цифры, конечно, запомнить нельзя, но то, сколько выдали на трудодень и сколько еще будут давать за этот год, было очень ясно: получилось по два с половиной килограмма пшеницы и по семьдесят копеек на трудодень. Это уже хорошо. Докладчик напирал на то, что он добился высокой оплаты хлебом, он «наметил дальнейший рост зажиточной жизни колхозников». Но Макар Петрович просто перебил его и, не вставая, прокричал:

— Правительство с нас половину поставок скостило, а то бы ты дал нам «зажиточную»!

Ну, конечно, тут все немножко посмеялись, и многие сказали себе под нос: «Макар Горчица высказался правильно». Потом обсуждали доклад, ругали правление, говорили, как надо действовать дальше. Когда все переговорили, то председателя сняли уже без всякой критики; просто кто-то из задних рядов сказал: «Заменять надо» — и все дружно согласились. Черепков посматривал на Птахина, ожидая поддержки, но тот так и промолчал.

Но когда выоирали нового председателя, то вопросов ему было несть числа: сколько лет от роду, сколько имеет детей, разводился ли с женой, сколько классов окончил, как насчет водки — с утра пьет или только вечером, в нерабочее время; где работал, почему ушел оттуда и много, много других вопросов. Час целый отвечал кандидат на вопросы. Человек он, видать, скромный, в гимнастерке, с виду суховатый, но голос твердый. И фамилия, как показалось Макару Петровичу, подходящая, простая — Телегин, а зовут Петр Иванович. Из ответов выяснилось: окончил семилетку, работал бригадиром восемь лет, заочно кончил сельскохозяйственный техникум; значит, теперь по званию — агроном со средним образованием.

— Я,— говорит Петр Иванович,— от вас и живу-то не особенно далеко — из Алешина я...

Тогда Макар Петрович вскочил и спросил:

— Из Алешина?

— Из Алешина.

— Из «Чапаева»?

— Из «Чапаева».

— Это у вас по семь рублей и по три кило на трудодень? — продолжал Макар Петрович.

— У нас.

Все притихли, затаив дыхание, и слушали вопросы Макара Петровича и ответы Петра Ивановича.

— Значит, я понимаю так: если на мои трудодни вместе с Сергевной получить так, то выходит без малого десять тысяч.

Телегин согласился с этим и подтвердил, что в колхозе имени Чапаева так и есть.

— Слышь, Пал Ефимыч? — спросил Макар Петрович.— А ты — колодезь во дворе! — Последние слова он сказал тихо — одному соседу, забыв вгорячах ссору.

Только Павел Ефимыч его уже не слушал, а встал сам и задал вопрос так:

— Как ты понимаешь, Петр Иванович, сентябрьский Пленум?

— Очень уж вопрос большой — сразу и не ответишь,— улыбнулся Телегин.

— Я уточню,— сказал Птахин.— Как ты понимаешь сентябрьский Пленум по вопросу скота у колхозников?

— А-а! Догадался, о чем речь.— Он чуть подумал в общей тишине, а Макар Петрович и Павел Ефимыч даже привстали от напряженного ожидания.— Главное в том, чтобы улучшить жизнь колхозников.

— Правильно! — перебил его Птахин.

— Постойте минутку. Я попросту вам скажу: у нас в «Чапаеве» девяносто процентов своего дохода колхозник получает от колхоза... Наши личные интересы там зависят от колхоза и отчасти от своего хозяйства. Богаче колхоз — мы богаче, беднее колхоз — мы беднее. Так и сентябрьский Пленум надо понимать: сделать все колхозы богатыми. Если же разводить скот в одном только личном своем хозяйстве, то это будет извращение решений партии.

— Очень правильно! — сказал теперь Макар Петрович.— Это соответствует действительности.

А Птахин задумался. Он опустил голову и молчал. Макар Петрович тихонько толкнул его локтем и сказал, указывая кивком на трибуну, где стоял Телегин:

— Человек! А?

Павел Ефимыч промолчал.

Через некоторое время Макар Петрович, вытирая пот со лба, произнес:

— Духота!

— Духота,— ответил, как эхо, Павел Ефимыч. А это все равно, что промолчал, и даже хуже.

Макар Петрович слушал, следил за всякими предложениями и высказываниями, но оттого, что сосед не пожелал разговаривать с ним, он внутренне начинал горячиться. «Молчит,— думал он,— и разговаривать не хочет, чертов Помидор». А Павел Ефимыч тоже думал: «Лезет с разговорами, Горчица».

Уже после того как проголосовали за Телегина и он поблагодарил за доверие, Макар Петрович вышел прямо на сцену. Он стал перед столом президиума, но обратился к новому председателю:

— Петр Иванович! Управляй нами правильно.— Он с секунду помолчал, подыскивая слова. Знал Макар Петрович, что слова эти должны быть важные, что они должны быть сильнее самой длинной речи, поэтому и приостановился чуточку, обдумывая.— Будешь управлять, как диктует партия,— мы тебя на руках будем носить. Не будешь так — прогоним. Прямо говорю: прогоним. Ты требуй от нас, требуй, пожалуйста, но... имей к нам

уважение. Плохо у нас было. Ведь до чего дошло: пута — несчастного пута — не могли добыть. Понимаешь, пута! На одной-единственной корове рекорды делали. Учти, Петр Иванович, скотина рогатая у нас гиблая, а такие колхознички, как Пал Ефимыч Птахин, собираются разводить ее не в колхозе, а у себя во дворе.— Как и всегда, Макар не выдержал долгой речи, смешался и совсем тихо сказал: — Должен ты понимать: были «сорокакопеешные», не сразу будем «семирублевые». Трудно будет тебе.— Тут он прижал шапку к груди и отчетливо, громко, на весь клуб, спросил: — Вера в тебе есть, что сделаешь?

— Есть,— ответил Петр Иванович не задумываясь.

— Тогда все! — И Макар Петрович под бурные аплодисменты сошел со сцены.

С собрания соседи вышли каждый сам по себе. Макар Петрович пошел вдоль одной стены, а Павел Ефимыч пересек зал и пошел вдоль другой. Но опять же — вот ведь штука! — в дверях они столкнулись вместе. Тут уж назад не пойдешь — надо вперед. Пошуршали они кожухами друг о друга и вышли на улицу. Волей-неволей некоторое время шли рядом. Идут и молчат.

— Луна-то,— наконец сказал первым Макар Петрович.

— Луна,— отозвался Пал Ефимыч.

— На мороз, надо быть.

— На мороз.

Идут и молчат снова.

— Снегу-то нынче — ого-го! К урожаю,— произнес Макар Петрович.

— К урожаю,— все так же угрюмо откликнулся Павел Ефимыч.

Нет настоящего разговора, да и только. Далеко зашла ссора. Трудно жить молча, когда прожил рядом с человеком всю жизнь. Очень трудно. Оба чувствовали это. Но куда денешься от неприязни, если она есть!

«Значит, далеко разошлись»,— подумал Макар Петрович.

«Как и не соседи»,— подумал Павел Ефимыч и вдруг решительно направился на другую сторону улицы.

Макар Петрович постоял, постоял, посмотрел соседу в спину, дождался того, как он пересек улицу, и пошел своей тропой.

Так они и шли домой: на одной стороне улицы хрустят по снегу сапоги Макара Петровича, а на другой — валенки Павла Ефимыча. Сапоги хрустят гулко, со звонким скрипом, и звук ударяет о стены хат хлестко, похозяйски. Валенки — эти похрустывают с шепотком, намного тише сапог.

Хр-р-руст, хр-р-руст! — слышится с одной стороны.

Хр-р-ристь, хр-ристь! — доносится с другой.

По этому звуку в зимнюю ночь соседи узнали бы друг друга за полкилометра и в былое время заскрипели бы навстречу. А теперь... Кто ж знает, как оно будет у них теперь!

А ведь все началось с коровы...

МИТРИЧ

На стене висит охотничье ружье.

Бывает так: посмотришь на ружье и что-то вспомнишь. И потекут мысли в прошлое. Всплывают в памяти мягкие вечера в августовском лесу, окружающем осоковое озеро, утренние зори весны, ласковая осень с золотисто-желтым ковром листьев или бодрый, как юность, беззаботно-веселый солнечный зимний день первой пороши. Многое вспоминается. И везде ты проходишь не один. Кто-то встает в памяти среди этого прекрасного, родного и любимого.

А отлетающие журавли! Они напоминают почему-то о прожитых днях. И так хочется лететь с ними! Но когда услышишь первую трель скворца или жаворонка, не хочется никуда улетать — ты стоишь и с замиранием сердца слушаешь. Слушаешь дыхание родных просторов, слушаешь и биение своего сердца и тот же крик журавлей, вернувшихся снова. Они вернулись! И журавлиная песнь уже не кажется такой печальной, как осенью. Нет, она радует и веселит в опьяняющем весеннем смешении перезвона трелей, далекого урчания тракторов, запаха набухающих почек деревьев и ласковых «барашков» молодого тальника, примостившегося на островке половодья. Нежные эти барашки! Нежные, как мочка уха ребенка.

И все это жизнь.

И все это вспоминается. И среди всего этого — люди. Много людей, разных. Много потому, что много лет прожито, много раз повторялись веселые весны, и красивые,

по-своему печальные осени, и бодрые, а иногда суровые зимы. Но среди множества разных людей всегда кто-то неотступно живет в памяти.

...Тот весенний вечер во время половодья помню хорошо.

Уже почти стемнело, когда, покинув лодку и подкормив кряковую утку, я раскладывал костер на берегу половодья. Сумерки весной наступают, кажется, как-то сразу: то видишь далеко-далеко, а повозись чуть, забывшись,— через двадцать минут и соседний дубок еле рассмотришь. И вот уже остаются одни силуэты: опушка леса, кусты орешника, одинокий сухой татарник на меже — все черно, все кажется крупнее, чем днем. В такие вечера природа в каком-то тихом, торжественном ожидании счастливого и большого — все ждет настоящей зеленой весны.

Совсем недавно в могучем раздолье половодья утонула зима, а вербы уже обозначились почками-сережками, и запах этих бархатных, нежных шариков струился в воздухе для каждого, кто любит родное. А и всего-то обыкновенная верба: скромная, простая, российская. Весенний тихий, безветренный вечер был наполнен звуками, но тоже тихими: пискнула где-то вблизи мышь; над опушкой прокричал запоздавший любовник-вальдшнеп свое «хор-хор-хор»; кто-то невидимый шуркнул в кустах: ласка ли, хорь ли — неизвестно; просвистели утиные крылья, а издали, с острова, донесся переговор гусей, обсуждающих весенние дела. Но все эти звуки до того были осторожны, до того мягки, что тишина не нарушалась и оставалась такой же ласковой.

Но вот разгорелся костер, и окружающее совсем ушло в темноту, покрылось черной завесой. Лишь ближайшие кусты казались живыми — они шевелились и вздрагивали в играющих отсветах огня. Потрескивание костра уже не позволяло различать тонких звуков, зато как уютно на этом светлом пятачке среди всеобщей темени!

Вот тогда-то я и услышал, как кто-то медленно, не спеша подходит к костру. Из темноты вырезалась фигура крупного человека.

— Огонек,— как-то задумчиво произнес он. И потом уж поздоровался: — Добрый вечер!

— Добрый вечер! — ответил и я.

Незнакомец снял с плеча ружье, сетку с селезнями и присел перед огоньком на колени; потом по-хозяйски

поправил костер палкой. Все это он делал молча, смотря в огонь и будто не обращая внимания на мое присутствие. Казалось, он хозяин, а я гость, но ничуть не наоборот.

— Значит, охотиться в наши места заехали? — спросил он ровным баритоном.

Теперь он смотрел на меня. Было понятно: он с первого взгляда определил, что дело имеет с человеком не из здешних мест.

— Заехал,— говорю.— Назначили агрономом в Лисоватое. Послезавтра приступлю к работе.

— А-а... — протянул незнакомец неопределенно.— К нам, значит. Я-то из Лисоватого.

Затем он расстегнул ватный пиджак, вынул из-за пазухи сверток, развязал его, достал оттуда краюшку хлеба, посолил и стал есть. Во время еды спросил:

— А вы откуда прибыли?

— Из Шустовалова.

— У вас-то там как?

— Насчет чего?

— Насчет колхоза. Всех — того?

— Все вступили.

— А у нас не все: двое отказались — уехали из села, в город.

Он замолчал снова. Перестал есть. Задумался. Потом вздохнул и, как бы застеснявшись своего вздоха, взглянул на меня. Что-то тяготило моего собеседника. И я решил продолжить прерванный разговор.

— А вы,— спрашиваю,— вступили?

— Вчера отвел лошадь...— Он вздохнул уже без стеснения.— Отвел...— А помолчав, добавил: — Жеребая...

— Жалко, значит?

— А как же... Думки разные.— Он положил на колено хлеб, почесал за ухом, чуть сдвинув треух на висок, и продолжал: — Привычка. Жеребеночком купил ее. Воспитал. Работал на ней... Отвел теперь. Совсем отвел. Нету лошади.

Он безнадежно махнул рукой, взял краюшку и снова принялся жевать. На левой ладони он держал разостланную тряпицу, в правой руке — краюшку хлеба; откусывая хлеб, он чуть наклонялся к тряпице, собирая крошки. Делал он все это так, как делают дети, когда едят халву. Ел и молчал.

Я тоже ел и посматривал на собеседника. С виду он был спокойным, неторопливым. В меру широкий нос, небольшая, но плотная борода как нельзя лучше подходили к могучим плечам. Глаз его не было видно под густыми сдвинутыми бровями; он казался суровым. Ему можно было дать лет пятьдесят пять.

— А давно купил лошадь-то? — спросил я.

— В двадцать шестом году. Жеребеночком, говорю, купил. Четыре года ей теперь.

— А до этого были лошади?

— Не было. При Советской власти нажил, при Советской власти и... прожил.

Закусывать мы кончили одновременно. У меня остался кусочек хлеба, и я по привычке бросил его недалеко от себя. А мой собеседник стряхнул крошки с тряпицы на ладонь, проводил их в рот и недружелюбно заговорил:

— Я так думаю: не пройдет коллективизация.

— Это почему же? — спрашиваю.

— Ты, вишь, кусок бросил, а надо... крохи беречь. Когда я подметаю ток, то, может, на такой кусок и намету всего-навсего. А ты выбросил.

По тому, как он неожиданно перешел на «ты», я понял, что потерял его уважение.

— Ну, крошки-то не экономия,— пытался я оправдаться.

— Не постой за кроху, и всего ломтя не станет. Слыхал такую пословицу?

Мне нечего было возразить, и я только сказал:

— Конечно. Да.

— То-то вот и оно. И в колхозе так может получиться: один будет по зернышку собирать, а другой кусками выбрасывать.— Он немного помолчал и продолжал: — Опять же эти самые трудодни... Как это так?

— Ну, будут записывать, а потом распределять — кто сколько заработал.

— Здорово! — ухмыльнулся он.— Здорово! Год работай, а там... Нет, ты мне дай квитанцию такую: проработал, дескать, день. И чтобы печать была.

Спорить я не стал, потому что и сам еще не знал, что лучше — просто записывать или давать квитанцию с печатью. А до трудовых книжек мы еще не додумались.

— И лошади, скажем, тоже... На моей вчера же работал Илюха Козодой. Всю в мыле пригнал. Ну, как это так? — спрашивал он не то у себя самого, не то у кого-то

отсутствующего, но только ко мне этот вопрос не относился: он просто не считал меня лицом компетентным, видел во мне юнца со школьной скамьи. Однако я спросил прямо:

— Не верите в колхоз?

Он пристально посмотрел на меня. Подумал. Потом уж ответил совсем мягким тоном, не похожим на недавний:

— Как тебе сказать? Не то чтобы не верю, а... сумлеваюсь.— Он наклонил голову в задумчивости.— Оно ведь на всю жизнь. А как все получится — неизвестно. Сумлеваюсь.

Так с наклоненной головой он посидел еще немного и неожиданно сказал:

— Пойду.

— Домой?

— Домой.

— А на утреннюю зорьку не хотите остаться?

— Хватит: четырех убил.

Так же неторопливо он собрался, перемотав портянки, и сказал:

— Прощевайте!

— Как же звать-то? А то просидели вечер, а...

— Митричем зовут,— ответил он уже на ходу.

— До свиданья!

Его чуть-чуть сутуловатая спина медленно потонула в темноте.

Где-то далеко прогоготал гусь. Костер затухал. Звезды стали еще ярче, и Млечный Путь перекинулся торжественным мостом через весь мир. В ушах прозвучало: «Сумлеваюсь... Не то чтобы не верю, а сумлеваюсь...» Именно тогда я и почувствовал остро, по-настоящему: началось новое, большое, началась борьба за нового человека. Почувствовал, несмотря на свою молодость.

Я разгреб остатки костра, подмел то место ветками сушняка, постелил сухой прошлогодней травы и улегся спать. Но уснуть сразу не удалось. Какая-то неловкость оставалась внутри от знакомства с Митричем, но что это такое — сразу не мог сообразить. И вдруг понял! Встал, отыскал со спичками тот, брошенный кусочек хлеба, подул на него со всех сторон и положил в сумку.

Было мне в то время двадцать пять лет.

Колхоз «Заря» в Лисоватом входил в мой агрономический участок. Там я и поселился.

Однажды при встрече спрашиваю у председателя Лисоватского сельсовета Сучкова:

— Виктор Филатьевич! Какое ваше мнение о Митриче?

— Коршунков?

— Да.

— Василь Митрич. Та-ак! А что? — спросил он еще раз и, как показалось, посмотрел на меня подозрительно.

— Знакомый.

— Контра чистая ваш Митрич.— И с откровенной неприязнью осмотрел меня с головы до ног. Он сдвинул широкую кепку на затылок, засунул обе ладони за узкий кожаный поясок и пояснил: — Во всех мероприятиях контра.

— Кулак?

— Если бы кулак — раскулачили бы. Не придерешься. А контра.

— Объясните поподробнее,— попросил я.

— Поживешь, молодой человек,— может, и увидишь. Зря с ним связался. «Знакомый»! — ухмыльнулся он, сдвинув губы на одну сторону.

По официальному тону председателя и по иронической улыбке можно было легко почувствовать, что неприязнь к Митричу в какой-то степени перешла и на меня. Сучков ушел, даже не попрощавшись.

А недели через две после этого случая мы с председателем колхоза, Махровским Иваном Степановичем, объезжали поля. И увидели такую картину. Пар десять лошадей, запряженных в бороны, стояли на отшибе, неподалеку от трактора. Никого около них не было. А у трактора собралась группа колхозников, вчерашних единоличников. Среди них был и Митрич. Шел какой-то большой спор. Мы услышали голос Митрича:

— Тогда слазь, к чертовой матери!

— Это как так — слазь? — кричал тракторист с сиденья.— Ты меня не сажал!

Мы подъехали. Сошли с тарантаса. Спор сразу прекратился.

— В чем дело? — спросил Иван Степанович.

Никто не ответил.

— Почему не работаете? — повторил он еще раз.

Заговорил Митрич:

— Если так работать — лучше не работать. Это

что? — указал он на сеялки.— Одна сеет, а другая портит. Вы ж нас так угробите.

Как раз в этот момент и подъехал председатель сельсовета Сучков. Он, не слезая с седла, крикнул:

— Опять против! Опять не так!

— Опять не так,— ответил угрюмо Митрич и, отвернувшись от нас, смотрел вдаль, в поле.

— Чего ты с ним валандаешься? — обратился Сучков к Ивану Степановичу.— Выгони ты его из колхоза!

Иван Степанович ничего не ответил. Он вместе со мной осматривал обе конные сеялки, спаренные для тракторного сева. Спокойный, как всегда, скупой на разговоры, он держался за короткий русый ус двумя пальцами и о чем-то думал. Потом посмотрел на меня, слегка прищурившись, будто спрашивая: «Ну, новый агроном, что скажешь?»

— Попробовать надо,— говорю ему, отвечая на взгляд.

— Ну, давай попробуем. Заводи,— сказал он трактористу.

Тот завел трактор и потихоньку поехал. Мы пошли за сеялками. Высевающий механизм одной из сеялок то работал, то вдруг начинал стучать, сотрясая сеялку, и переставал выбрасывать семена. Получались невидимые огрехи, обнаружить которые можно только после всходов. Мы остановили агрегат и оглянулись. Все боронильщики стали расходиться по местам; один из них безнадежно махнул рукой и выразился непечатным словом. Митрич шел к нам, а рядом с ним ехал верхом Сучков.

— А куда выгонишь? — спрашивал у него Митрич.

— Место найду. Раз ты против Советской власти...

Митрич остановился около нас и перебил Сучкова, глядя ему прямо в лицо:

— Такая Советская власть, как ты, мне не нужна.

— А! Та-ак! Без контрреволюции не можешь слова сказать! Будьте свидетелями,— обратился он к нам.

— Опять таскать будешь,— угрюмо и зло сказал Митрич.— Не поймешь: мы ведь через твои дела перво-наперво и видим Советскую власть.

— А какая же тебе нужна Советская власть? — горячился Сучков.

— Вот такая,— указал Митрич на Ивана Степановича.

— Может, прекратите? — спросил у спорщиков Иван Степанович.

— Вот это поддержал! — воскликнул Сучков.— Развалишь ты колхоз.

— Нет. Не развалю.

— В сельсовете о тебе вопрос поставлю.

— Ставь.

— И поставлю! — Он отъехал от сеялок, но сразу же вернулся и спросил: — Сеять будете или так стоять?

— Ремонтировать сеялку будем,— ответил Иван Степанович.

— Исправную?! Ремонтировать?! — воскликнул Сучков.

— Исправную. Ремонтировать,— нехотя ответил Иван Степанович и обратился ко мне: — Что будем делать?

— Придется разбирать. С полдня простоим — ничего не поделаешь.

— Ведь сеет же, сеет! А вы — ремонтировать! — озлился совсем Сучков и помчался в галоп от сеялки.

Все помолчали.

— Прямо замучил,— заговорил первым Иван Степанович.— Шагу не даст ступить по-своему, а сам не смыслит.— И спросил, глядя в землю: — Ну, что ты с ним будешь делать?

— В газету написать,— сказал я.— Новые формы хозяйства — по-новому и руководить надо. Раз написать, два написать — поймет, исправится.

Митрич посмотрел на нас поочередно, почесал висок и заключил:

— Из свиной щетины кудрей не завьешь. Не способен.

Сеялку отремонтировали.

А к концу посевной получили новенькую тракторную сеялку. Митрич стал сеять на этой сеялке, хоть и видел-то ее первый раз в жизни. Он ровным счетом ничего не понимал в механизме, а только следил за тем, чтобы семена сыпались ровно и заделывались хорошо. В противном случае он останавливал трактор и категорически запрещал двигаться вперед. Даже секретарь райкома, а не то чтобы какой-либо уполномоченный, не смог бы заставить Митрича поступить иначе. В таких случаях он посылал кого-либо из ребятишек или шел сам за мной,

за Иваном Степановичем или за бригадиром тракторного отряда.

Все детали машины он называл необычно, по-своему: шестеренки — «зубовые колесики», сошники — «клевцы», высевающие катушки — «рубельки» (видимо, от слова «рубе́ль»). Только колеса сохраняли свое настоящее название, известное еще прадедам Митрича. К слову сказать, и тракторист, молодой малый, тоже ничего не понимал в тракторной сеялке. Вот так и сеяли в те, давно ушедшие в прошлое времена. Трудно тогда было агроному, а еще труднее председателю колхоза.

И все-таки по настоянию Сучкова на заседании сельсовета вынесли Ивану Степановичу выговор «за срыв сева исправной сеялкой» и предложили Митрича «снять с сеялки как сомнительного в политической плоскости вопроса». Сучков голосовал это предложение трижды, то есть до тех пор, пока не получилось большинства.

Вскоре в районной газете появилась моя статья «Самодур Сучков». Я решил заехать к Митричу домой и показать ему статью самолично. Но он встретился мне по дороге. В руках у него был посошок, за спиной — сумка.

— Далеко? — спрашиваю.

— В райком.

— Не ходи, Митрич. Вот смотри.— И я показал газету.

Он здесь же медленно прочитал, шевеля губами и время от времени почесывая висок. Потом расправил бороду, надвинул картуз плотнее и сказал:

— Здо́рово. А все-таки пойду. Это дело,— он указал на газету,— потянется далеко. А надо сразу.

Отговаривать его я не стал — знал, что бесполезно.

Секретарь райкома Некрасов принял Митрича хорошо. Усадил его в кресло.

— Как вас величать? — спросил он вначале.

— Василь Митрич Коршунков — кавалер георгиевского креста.

— Постой, постой! Что-то я вспоминаю... Где-то я слышал...

— «Контра»,— напомнил Митрич.

— Гм... Да. Точно — «контра».— Теперь уже Некрасов смотрел на Митрича испытующе.— Что же вы хотели?

— Повидать вас хотел.

— Ну, вот я.

— Значит, такое дело. Не получится ничего из колхоза: без хлеба могем остаться.

— Не понимаю.

— Тут и понимать нечего.

— Вы что, против колхоза?

— Нет. Не против. Но сумлеваюсь.

— В чем?

— И в вас вот сумлеваюсь.

— Это дело ваше,— с оттенком недружелюбия сказал Некрасов.

— Ясно, мое. Только не обижайтесь. Я правду говорю. К примеру, вы главный райком. А почему Сучкова допустили к Советской власти?

— Выбрали,— неопределенно ответил Некрасов.

— То-то вот и оно. Вам же и поверили. Вы же тут обсуждали, а мы вам верим. Вот я и сумлеваюсь теперь.

— Вот оно что! Да-а,— протянул Некрасов.

— Да. Были, значит, кулаки — Сучкову надо было их осаживать. Осаживал. Нас не касался. Теперича кулаков нету, а он привык осаживать. Ну и... не туда прет. Не может простого сумления отличить от контры.

— Так, так. Говорите, говорите!

— А я все сказал: сумлеваюсь и в вас. Должны видеть все до тонкости.

Некрасов развернул газету со статьей о Сучкове. Митрич внимательно следил за собеседником и молчал. Потом секретарь райкома посмотрел в окно и, задумавшись, сказал:

— Да... Сучков часто говорит, что он «стоит на платформе Советской власти»... А получается вот как.

— Не верьте вы ему. Не верьте. Он, может, и стоит на платформе, да поезд-то давно уже ушел дальше, а он все стоит.

Некрасов рассмеялся. Но Митрич не улыбнулся. Он сказал:

— Ничего тут смешного. Все правильно.— И, кажется, даже обиделся: взял картуз, сумку и встал, приготовившись уходить.

Некрасов тоже встал из-за стола, усадил Митрича, отнял картуз и сумку и сказал:

— Все рассказывайте подробно. Все. С самого начала. Как жили до колхоза, как дела в колхозе, дома.

— Так, значит. Кобылу я отвел в колхоз жеребую. Теперича ее помаленьку стал забывать. Ну, трудно забыть такую лошадь: иной раз заскребет в душе так нудно — не без того...

И Митрич рассказал обо всем, что случилось в его жизни за последний год.

После того как Сучкова сняли с поста председателя сельсовета, он, выпивши, встретил меня по пути в правление колхоза, остановился, посмотрел в упор и произнес презрительно:

— Писака... Хуже контры.— Потом взялся рукой за затылок, смяв фуражку, скривил тонкие губы и воскликнул: — Была Советская власть — нет Советской власти! Все! — и пошел дальше покачиваясь.

Он, бедняга, и не подозревал, что, кроме меня, в его катастрофе виноваты и Митрич, и секретарь райкома, и Иван Степанович, с которым беседовал наедине Некрасов. Мне почему-то было жаль Сучкова, опоздавшего, по выражению Митрича, на поезд и не понявшего этого. Он не стал пьяницей. Нет. Он просто попил несколько дней с горя и бросил. Из колхоза никуда не ушел и работал заведующим фермой, а несколько лет спустя — кладовщиком.

А Митрич так и жил — с виду спокойный, но внутренне напряженный.

Шли годы.

Колхоз «Заря» жил неровной жизнью: иной год на трудодень дадут подходяще, а при недороде — граммов триста — пятьсот хлебом и около полтинника деньгами. В такие годы Митрич становился угрюмым. На общих собраниях он говорил мало, коротко, но всегда ругался: и председателю Ивану Степановичу, и райкому, и агроному — всем доставалось. На одном из отчетных собраний, когда Иван Степанович сообщил о недороде яровой пшеницы как причине маловесного трудодня, Митрич попросил слова и спросил:

— Зачем сеем яровую пшеницу, если она у нас спокон веков не родила?

— План,— коротко ответил Иван Степанович.

— Так и будем без хлеба,— заключил Митрич при общем одобрительном гуле собравшихся.

— Надо искать пути повышения урожая яровой пшеницы,— вступился я за Ивана Степановича,— а это не так просто.

— Вот и ищи эти самые пути. Найдешь — тогда и давай, сей,— сразу возразил кто-то из задних рядов.

И вдруг Митрич неожиданно вышел к столу и сказал, обращаясь к президиуму, будто говоря от имени всех:

— Значит, так: деды пробовали сеять — не родилась, мы пробовали — не родилась, а вы на моем пузе опыты с яровой пшеницей... Не будет дела из нашего колхоза.

Ну, что ему ответить? Мы переглянулись с Иваном Степановичем. Потом он посмотрел в окно и застучал пальцами о стол: дескать, нечего ему ответить, попробуй ты. Приходилось говорить о том, что мы не сделали всего, что надо сделать для урожая яровой пшеницы, что виноваты и мы и колхозники. Но Митрич еще раз встал и сказал в заключение:

— Уж как апельсин хорош! Да нельзя же его у нас, в Воронежской, сажать. Нельзя? Конечно, нельзя. А скусно. Ой, скусно!

Сдержанный шепот прокатился по собранию. Послышался легкий смешок.

А вечером, после собрания, мы сидели с Митричем на завалинке и разговаривали по душам.

— Кто виноват? — спрашивал Митрич прямо, без обиняков.

— Планы не те,— отвечал я.

— А ты пиши, стучи, говори там наши слова: «Не родит, мол, спокон веков». Пиши в газеты — ты умеешь. Ты напишешь, другой напишет — сразу поймут. Ведь хотят же там, вверху, хорошей жизни народу? — спрашивал он и поднимал палец вверх.— Хотят,— отвечал он, и я поддержал его кивком головы.— Хотят,— подтверждал Митрич еще раз с полной уверенностью.— Откуда же у вас такой рыбий закон: «Плыви — молчи, лежи — молчи»?

— Не в этом дело, Митрич. Ученые говорят, что яровая пшеница будет по пласту родить, что «белое пятно», где она якобы не давала урожая, выдумано, что она должна родить. Надо пласт создавать из многолетних трав.

— Не будет она родить,— категорически заявил он.— Народ лучше знает. Не будет. Ее «швейка» заедает (так он называл вредителя яровой пшеницы — шведку). А «бе-

лое пятно-то» не у нас, а в мозгах того ученого, который народа не слышит. А мы от этого в сумленье входим.

Вот так Митрич всегда и сомневался, всегда искал разрешения своего сомнения. Иногда мучительные вопросы оставались неразрешенными, и он надолго замолкал. Но работал ежедневно — от зари до зари. Даже если уходил на охоту в дни особо сильных сомнений, то только на зорьку, а к утру — в колхоз, на работу. Сомнения же свои он мог высказывать любому. Приедет, например, какой-нибудь уполномоченный из области, Митрич и с ним может сразиться.

Однажды после такого спора уполномоченный из области в присутствии Некрасова спросил у Ивана Степановича о Митриче:

— Что за колхозник?

— Работник хороший,— ответил Иван Степанович коротко, как всегда,— но... с душком.

— Это как понять?

— Работает хорошо, но всегда недоволен чем-нибудь.

— Чем именно? Точнее.

Иван Степанович помялся. Ответил не сразу:

— Недостатками... неправильным руководством... планированием. Мало ли чем...

— Был раскулачен?

— Нет. До революции — бедняк. С двадцать шестого года — середняк.

— Странно! — удивлялся приезжий руководитель.— Колхоз уже десять лет существует, а у вас такие... митричи. Запустили. Массовую работу запустили.

— Ничего странного,— не особенно смело, но с достаточной уверенностью возразил Иван Степанович.— Ему почти никогда невозможно возразить — всегда в точку.

— Значит, и против планирования агитирует тоже «в точку»? — И уполномоченный в упор рассматривал Ивана Степановича.

И Иван Степанович решился:

— В точку, да. Не родит же яровая пшеница? Нет. А кукуруза родит, да ее нам не дают. Колхозники-то в годы недородов живут усадьбой. А что на усадьбе? Картофель... кукуруза.

После этого и уполномоченный, и Некрасов, и Иван Степанович замолчали. Они смотрели в разные стороны,

поочередно барабанили пальцами по бочке, около которой стояли на току, потом закурили и начали говорить о погоде, о сроках уборки, о заготовках — в общем, о самых важных делах. Интересно, что Некрасов совсем не вмешивался в этот разговор — он изредка улыбался, будто говоря: «А посмотрим, что извлечет уполномоченный из таких прений». Потом-то они, может быть, между собой и говорили на ту же тему — не знаю. Наверно, говорили. Умный был человек!

А Митрич в тот день продолжал скирдовать снопы. Он стоял на скирде, пропуская через свои руки, может быть, шестую тысячу снопов за день, и, конечно, ругал своих помощников-скирдоправов:

— Ну, как кладешь гузырь?! Куда затянул? Ямкой сложишь — мокрость пройдет до дна... Я чего сказал?! Надо все планово делать. Планово,— повторял он несколько раз, подразумевая под этим «хорошо», «толково».

Никто не видел Митрича уставшим. Никогда он не спешил, но и не сидел без дела. И все-таки ему никто из приезжавших (уполномоченных или другого начальства) не доверял, видя в нем человека ненадежного. Этому отчасти способствовал и Сучков, работавший с тысяча девятьсот тридцать восьмого года кладовщиком колхоза; он при всяком удобном случае произносил свое слово «контра» и добавлял:

— У нас народ — беда! Любому руководителю шею свернут. С таким народом выйдешь в передовые — держи карман шире!

Но, несмотря на утверждения Сучкова о народе, свертывающем шею «любому руководителю», Иван Степанович бессменно оставался председателем колхоза. Каждый год на отчетных собраниях его разбирали «по косточкам», ругали напрямик, обвиняли в смертных грехах — «сеет не то, что надо сеять», «денег мало дает на трудодень», «свиньи убыточны». Послушает иной раз такое кто-либо из районного руководства да и поставит вопрос в райкоме о переизбрании председателя. Так действительно и случилось однажды, когда сам Некрасов чуть-чуть не ошибся, но колхозники его поправили.

Дело было так. Приехал он на отчетное собрание. Сначала, как и полагается, сделал доклад о работе Иван Степанович. Потом критиковали председателя по всем швам. Сильно ругали! Видит Некрасов — недоволен

народ. Открылись ему и недостатки, которых он не замечал раньше. Вот и поставил вопрос о замене председателя. Тут-то и началось.

— Кто имеет слово по вопросу о замене? — спросил председательствующий на собрании старший конюх Егор Ефимыч Ермолов.

Никто не отвечал. Молчали. А потом из заднего угла при общем молчании послышались громкие возгласы, совсем не относящиеся к повестке дня:

— Мишка!

— А?

— Ты быка загнал?

— Загнал. А что?

— Как «что»? Бык же.

— Ясно, бык.

— Кто имеет слово? — повторил вопрос Егор Ефимыч. Он стоял за столом президиума, чисто выбритый, высокий, жилистый, очень крепкий, несмотря на свои полсотни лет, и ждал ответа.— Кто имеет слово?

В ответ — голоса:

— Покурить бы.

— Уши попухли от недокура!

— Перерыв! Надо перекур.

А от стены кто-то заговорил с этакой тонкой иронией:

— И что это у нас за председатель колхоза! На собрании — не покури, в клубе — не ругнись, в коровнике фартуки белые на доярках. Тьфу!

— Конешно, перерыв надо,— перебил его другой голос без всякой, казалось, связи.

— Объявляю перерыв! — крикнул Егор Ефимыч густым басом, отлично идущим к нему.

Да и что оставалось делать председательствующему, если поднимается галдеж и никакого укороту сделать нельзя — хоть звонок разбей. Егор Ефимыч хорошо знал народ своего колхоза.

Почти все вышли из клуба, разбились на группы и разговаривали уже тихо. Потом от одной из таких групп отошел Митрич и направился прямо к Некрасову. Он подошел к нему и заговорил, отведя его чуть в сторону:

— Я прошу слова насчет председателя.

— Пожалуйста! Вот начнем сейчас — первым и выступите.

— Нет, я вам хочу сказать. Одному.— И, не обращая внимания на удивление собеседника, начал так: — Иван Степаныч — человек партейный. Знаем мы его с самого малу, с пастушонка. В подпасках он у меня ходил. Понимаете: сирота.— И замолчал, ожидая того, какое действие произведут эти слова.

— Таких биографий много,— сказал Некрасов.— Но надо смотреть, как руководит. Свиноводство-то в плохом состоянии? В плохом. В поле...

Но Митрич перебил без стеснения:

— Конешно. Географиеф таких много. И толк не из каждого выходит.— И продолжал начатую ранее речь: — Сирота, значит. В комсомолах ходил — телят пас, до колхоза. В партию поступил, тоже до колхоза,— на «фордзоне» работал в СОЗе[1]. А пото-ом уж, потом выбрали в председатели. Правильно: география его без образования. Но скажу: книжек у него полон дом. И такие толстючие есть — как саман. Прямо — саман!

— Да вы же сами уничтожили его своей критикой! — воскликнул Некрасов.

— Ну, что вам сказать! — воскликнул уже и Митрич, хлопнув руками по бедрам.

Подходили к ним поодиночке и другие. Прислушивались. Курили, конечно, весьма сосредоточенно. А Митрич, оглядываясь на подходивших, продолжал убеждать собеседника.

— Разве ж мы его изничтожили? Нет. Саду у нас сорок гектар: при ком посажено? Коровы: где лучше? А? Мы все это понимаем, видим. А раз видно, то чего об этом и говорить! Нечего об этом язык чесать.

— Вы же, вы сами ругали его десять минут назад,— обратился Некрасов к окружающим.

Все почувствовали некоторую неловкость. По взглядам было видно, что каждый так и думал: «А ведь и правда — сами же разделали Ивана Степановича под орех». И вот уже большинство собрания окружило Митрича и Некрасова. Лишь Иван Степанович не выходил из клуба, догадываясь, что разговор идет о нем, да счетовод из учтивости оставался с ним в помещении. От такого скопления свидетелей в разговоре «с глазу на глаз» Митрич постепенно терял дар речи, как и всегда: в этих случаях

---

[1] СОЗ — артель совместной обработки земли.

он мог сказать разве две-три фразы. И он сказал напоследок, незаметно перейдя на «ты»:

— Такое дело, понимаешь... Был у меня сын, Павел. Помер он — двое внучат при мне выросли. И мать ихняя померла... Помер.— Он прямо смотрел в глаза Некрасову и закончил: — А ведь я его раза два порол ремнем, Пашутку-то. Разве ж я его не любил... сына?

Общее молчание прорвалось сразу со всех сторон:

— Мы ругали, мы и уважаем!

— Не желаем менять Ивана Степановича!

— Только колхоз поднялся на ноги и — менять!

— Не на-адо!

Из зала клуба вышел счетовод и зазвонил колокольчиком, приглашая к продолжению собрания.

Входили, переговариваясь, балагуря, спеша докурить остатки цигарок, чуть задержавшись для этого в дверях. В зале стоял шум. Казалось, собрание будет бурным.

Еще раз прозвонил звонок. И снова тот же вопрос Егора Ефимыча, заданный уже со вздохом:

— Кто имеет слово?

В зале тишина.

— Кто имеет слово?

Слышно — жужжит муха на стекле окна. Вслед за вопросом Ермолова послышался полушепот женщины:

— Осподи! Вот уж еще пристал!

Сказано это тихо-тихо, но все услышали и поняли, что относится это к председательствующему. Сразу — взрыв хохота! Некрасов смеялся со всеми вместе. Егор Ефимыч тоже смеялся, хотя и позванивал вяло звонком, и, наконец, спросил:

— Что же будем делать?

— Резолюцию писать,— ответил за всех Митрич.

— Сперва работу надо признать,— вставил Сучков, ожидавший бури и втайне мечтавший о председательском месте (работать кладовщиком он считал ниже своего достоинства, не подозревая того, что находился именно на своем месте).

— Как признаем работу? — спросил у собрания Егор Ефимыч.

— Хорошей! — крикнуло сразу несколько голосов, будто сговорившись.

— Голосую!

Признали работу хорошей, а дальше, в резолюции, шел длинный перечень недостатков, такой длинный, что не укладывался на двух листах.

Вот так и получалось: Иван Степанович оставался бессменным председателем колхоза с начала его организации.

Уже сад стал доходным, а там и на конопле, в низах, стали получать до двухсот тысяч дохода, бахча приносила не один десяток тысяч. Год от году доходы росли и уже перевалили через два миллиона, трудодень через восемь рублей перескочил, не считая хлеба,— колхоз стал самым лучшим в районе, а Митрич... все ругался и всегда был чем-либо недоволен. Он даже и на Ивана Степановича ходил жаловаться в райком, этот беспощадный старик.

...Внуки Митрича, Николай и Петр, выросли, казалось, незаметно: то были недавно мальчишки, а то уже оба на машинах — Николай на тракторе, Петр на комбайне штурвальным. Оба плотные, коренастые — «в дедову породу пошли», как говорил Митрич не без удовольствия. Может быть, им иной раз и хочется поспать подольше, да дед теребит. У него правило: вставать до восхода солнца. Людей, которые встают после солнышка, он просто считал лентяями, недостойными земной жизни. Такая уж философия была у Митрича. Но как бы там ни было, а жизнь все улучшалась и улучшалась. Ребята стали хорошо зарабатывать, Митрич не хотел от них отставать — в дом пришел достаток. И Митрич стал подумывать, что пора женить внуков. Он высказал мне эту мысль спокойно, как решенное, выкладывал расчеты по расходам на это важное дело и заключил:

— Иначе нельзя. Разве ж это работа? Ему вставать на смену, а он только-только от соловьев прибыл... Да и старуха моя... того... слабеет: молодую хозяйку надо в дом.

И все это говорилось просто, обыденно, без тени намека на то, что и самому Митричу идет шестьдесят восьмой год, что он воспитал двух внуков, что это было очень трудно, что были годы бесхлебья, когда выручала усадьба. Ничего этого Митрич не говорил и, видимо, об этом не думал. Он только частенько ругал ребят, которые, как ему казалось, работают вполсилы. Да все так же высказывал свое недовольство непорядками в колхозе, в районе, в области и, прямо скажу, добирался иной раз до

самого правительства. Так однажды он мне и сказал:

— Дали нам трактора и разные машины — спасибо! В ноги могу поклониться за то. Вот могу поехать в самый Кремль, стать на коленки и поклониться. Но...— тут он разводил руками, поднимал мохнатые брови в удивлении,— но налог-то с колхозников неправильный: с земли надо брать, а не со скотины. И еще скажу: да дайте же нам возможность сеять то, что нам хочется... Ну? Как? — спрашивал он в упор, не опуская бровей, глядя открыто и доверительно мне в лицо и отряхивая колени так, будто он только-только встал с земли.

Посмотрит, посмотрит Митрич так — и улыбнется. А я высказывал ему свое искреннее убеждение в том, что в социалистическом государстве необходимо планировать сверху. Мы спорили, но Митрич оставался при своем мнении, настойчиво высказывая его из года в год.

А некоторые люди, из районного руководства, услышав такое, не спорили с ним, а утверждали, что «митричи» — люди опасные, подрывающие доверие к общественному плановому хозяйству. И Сучков со всей категоричностью произносил снова свое неизменное «контра». Не было доверия к Митричу со стороны начальства.

Но мы с Иваном Степановичем понимали, что Митрич очень хорошо знает землю колхоза, помнит тысячи разных местных примет, почти точно определяет сроки сева разных культур, поэтому и шли к нему сами за советом. И кроме того: куда ни поставь Митрича в колхозе — он все сделает только отлично. Он в совершенстве владеет мастерством скирдоправа, знает толк в выпасах, точно знает, в каком поле можно пахать глубоко, а в каком нельзя; никто лучше его не наладит упряжь или телегу. А к его «особым» мнениям и постоянным сомнениям волей-неволей прислушивались, обсуждали между собой, иной раз спорили. Иногда Митрич сам приходил в правление и спрашивал у нас с Иваном Степановичем:

— Никак завтра собираетесь просо сеять?

— Даем наряд,— отвечаем.

— Обождите: бобовник не зацвел.

— Задержим же сев! — воскликнет Иван Степанович.

— И правильно задержите. Бобовник, он зацветает, когда земля нагреется. А просу в холодной земле — могила.

Митрич уходит, а мы решаем: часть посеять «по Митричу», а часть — по-своему. И получается: «по Митричу» лучше — урожай больше.

Но Митрич старел. Незаметно, но старел помаленьку — белели все сильнее волосы, баритон стал отдавать хрипотцой. И все же это был еще сильный старик: по-прежнему он ежедневно работал так, что дай бог молодому так сработать. А по праздникам надевал очки с ниточками вместо заушников и читал газету или слушал хороводные и протяжные песни. Сидел на завалинке, закрыв глаза, и, не снимая очков, слушал. Послушает, послушает, встряхнет головой, скажет:

— Ух ты! Какой голосище-то у Мариши. Вот ведь какие девки бывают на белом свете! — и снова почитает газету.

Водки он не пил совсем никогда. А Кольку, внука, явившегося раз пьяным в хату, выпорол ремнем без каких-либо раздумий, несмотря на то, что парню шел двадцать первый год. Мало того, что Николай два дня подряд украдкой почесывал зад, Митрич еще и припугнул его:

— Вот пойду в этот самый твой комсомол да скажу: напился, мол, сукин кот — они тебе там на собрании гуртом еще добавят ремня.

— Ну уж... Ладно,— ворчал Николай.

— То-то вот и ладно. Иван Степанович поумней тебя, а видал ты его пьяным?

Николай молчал.

— Не видал,— отвечал за него дед и задавал вопрос: — Понятно?

— Понятно,— сдавался внук.

— Ее, дуру чертову, водку, пить-то надо с умом. Без настоящего ума к ней и прикасаться нельзя... Молод еще.

После этого случая у них в семействе ремень получил особое название — «вытрезвитель».

Так вот и жил Митрич со своими правилами, простыми и четкими: любя внуков, он их не баловал; работая не покладая рук в колхозе, возмущался недостатками; любя Советскую власть, иногда поругивал и ее, если считал что-то неправильным согласно своему убеждению и хозяйственным соображениям. При этом ему совершенно было неважно, что о нем подумают (по крайней мере так казалось со стороны).

В те памятные дни Митрич был оживленным — он еще и еще раз обсуждал с ребятами вопрос о свадьбе. Купил дополнительно кабана, откармливал бычка,

ездил за покупками. Для меня все же оказалось неожиданностью, когда он, войдя к Ивану Степановичу, сказал:

— Ну что ж... К тебе, Степаныч. Ребята просят в сваты. Маришу сватать за Николая.

Это был особый знак уважения и почтения. И Иван Степанович, несмотря на занятость, не отказал. Свадьба была назначена на последнее воскресенье июня — самое удобное время, когда и прополка закончена и пары готовы, но уборка еще не начиналась, а сено в копнах. Все было предусмотрено, чтобы не нанести ущерба в тракторном отряде и в колхозе. Да и время хорошее — зелень, цветы, тепло: гуляй хоть сутки напролет.

О водке тоже договорились: гостям — до отвала, хозяевам — в меру, «по мере возможности», как выразился Митрич.

До свадьбы оставалась одна неделя. Все было готово.

И вот...

Среди дня, во время обеда, кто-то неожиданно застучал в окно, застучал кулаком в переплет рамы так сильно, что, казалось, сейчас посыплются стекла.

— Кто? — спросил я, вскочив из-за стола и подбегая к окну.

— Открывай! Беда! — крикнул Иван Степанович.

Я выскочил на улицу. Он положил мне на плечо руку и чуть сжал. Рука его слегка дрожала.

— Одевайся! Война!

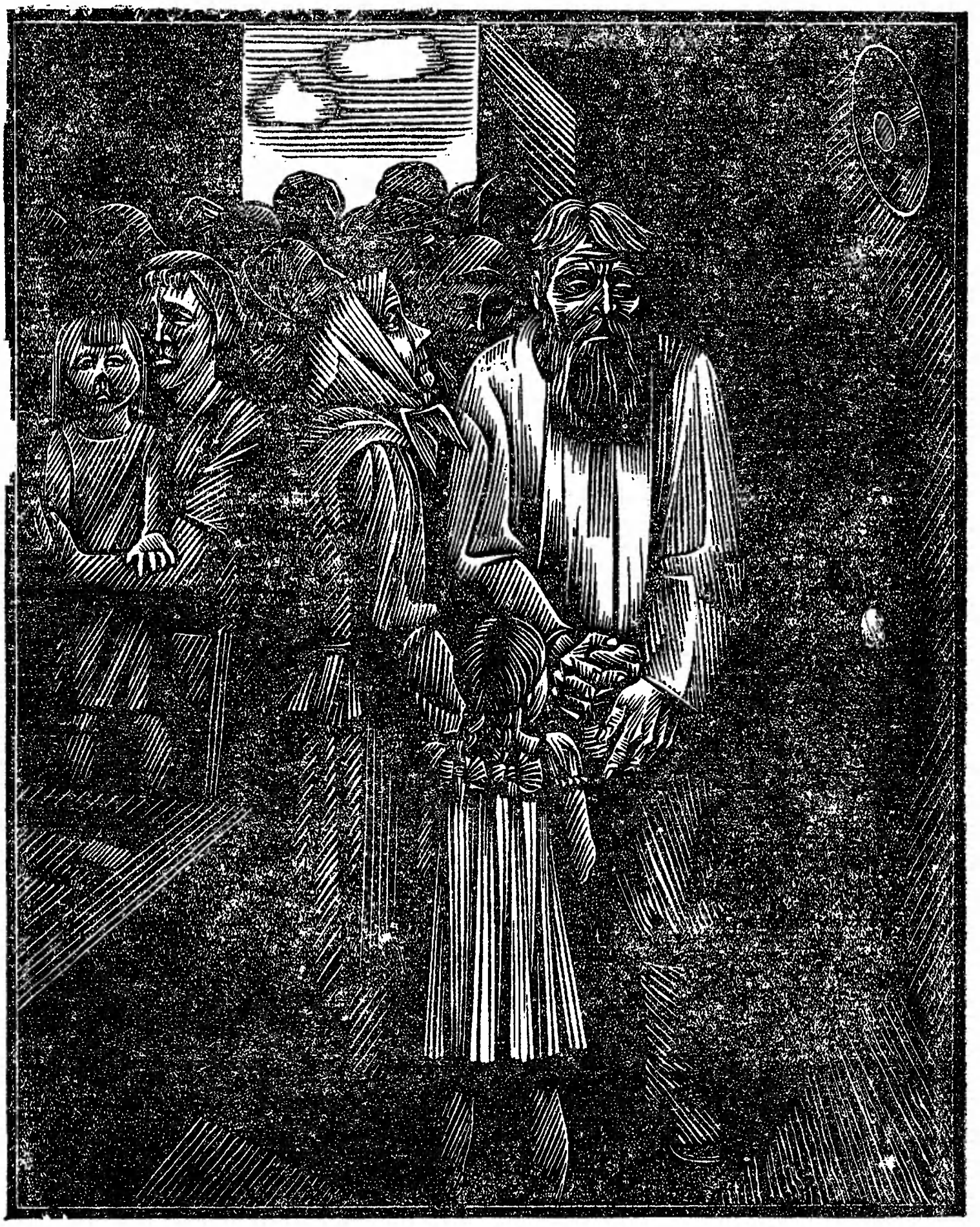
Черная туча наплыла на солнце и мрачной тенью поползла над селом.

Кто-то проскакал по улице верхом. Где-то заголосила женщина. Беспокойный, тревожный, как при напасти, говор пошел по селу. Завыла собака, днем завыла. Очень редко воют собаки днем. Люди спешили с поля: тарахтели брички, звенело привязанное позади телеги ведро.

К правлению колхоза собирался народ. Люди шли туда, где определялась их судьба, шли так, будто там, в правлении, еще могли что-то сделать, чтобы предотвратить лихо. «А может быть, это еще и неправда»,— думал каждый.

В правлении — уже битком. Репродуктор, потрескивая, молчал. Кто-то сказал, нарушив тяжелое молчание:

— Как же это так: мы с ним договор заключили, а он — вон что?



— Значит, подлый, собака,— ответил угрюмый голос.

И снова тишина. Курили. Изредка перебрасывались односложными фразами. Все ждали голоса из репродуктора. А репродуктор потрескивал и молчал.

Но вот все услышали позывные Москвы, потом голос Вячеслава Михайловича Молотова. Он обращался к народу.

Война...

Враг напал на Родину.

Митрич стоял рядом со мной. Картуз он держал перед собой, опустив руки. Белая прядь волос перекинулась на щеку. Он стоял молча, не шевелясь, склонив голову, будто сосредоточенно смотрел в землю.

Так он стоял все время, пока говорил Вячеслав Михайлович, не пошевелился и тогда, когда говорил Иван Степанович и другие. А когда закончился стихийный митинг, Митрич посмотрел на меня, откинул прядь волос, надвинул картуз. Он что-то хотел сказать, но, видимо, трудно это было ему сделать. Я тоже смотрел ему в лицо. Оно было сурово и... спокойно. И вот он сказал то, что хотел:

— Ребят собирать надо. Пойду.— И пошел размеренным шагом, совсем не по-стариковски.

А через день провожали новобранцев. Провожали всем колхозом — от мала до велика. Женщины плакали. Новобранцы пели песни. Играла гармонь. Старики шли молча, угрюмые, знающие, что такое война. Вдруг неожиданно все затихало, все шли молча, семейными группами растянувшись по дороге. Но вот... ударила снова гармонь. Ударила... плясовую. Русскую!

Ах, гармонь, гармонь! Простая гармонь! Великую службу несешь ты на нашей земле. Это твоя теплая радость струится в цветущем вишняке, когда первая любовь зарождается в душах молодых парней и девушек; это ты отщелкиваешь частушки, от которых парень краснеет, пьяница прячется на задворках, а лодырь волей-неволей идет на работу; это под твои залихватские переборы выскакивают обличительные четверостишия, такие, что самому господу богу становится тошно; это ты вреваешься «барыней» в человека, так что трясутся поджилки, и все равно не выдержать никому, кто родился в России,— все равно пыль из-под каблуков полетит!.. Это твои печальные звуки раздаются по осеннему заморозку, придавившему последнюю траву, и тогда кажется: идет где-то парень и тоскует о том, что не женился, а жениться край надо; идет этот парень и жалуется белому свету: ой, как надо жениться! Это ты, гармонь русская с заемными басами, бодришь народ на току в самые тяжелые страдные дни; это на твоих белых ладах, перекрывая дальний рокот тракторов, подыгрывает жаворонкам тракторист, свободный от смены. Да что там говорить! Тебя и соловей не боится: ты играешь любовную, а он рядом, тут же в кустах шиповника, поет свое, но очень похожее

по настроению и смыслу. Но ты же,— ты, гармонь! — в предвечернем затишье боя, под глухую, далекую бомбежку прибавляешь силы утомленному солдату и напоминаешь ему о нежных и ласковых березах у колхозной околицы, о родных бескрайних полях, о милых сердцу людях, о Родине. Вот какая у нас гармонь!

Только ведь это я сейчас так говорю, а тогда я просто услыхал плясовую и повернул лицо к Митричу. Рядом с ним, с котомками за плечами, шли оба внука. Митрич посмотрел на меня, потом на Петра и вдруг, как мне показалось, улыбнулся. Да, он улыбнулся, толкнул Петю в бок и сказал:

— А ну, Петруха, покажи нашу породу! — и неожиданно ударил картузом о дорогу.

Петя снял котомку, обеими руками поплотнее закрепил на голове кепку и пошел в пляс. Нет! Никто в Лисоватом так задорно не плясал до рождения Петьки! А с виду — скромный белокурый паренек с удивляющимися всему на свете глазами. Он не знает, что такое война. И дед это чувствует, дед хочет, чтобы он подольше не знал этого, и кричит:

— Наддай, Петруха! Дроби! Дроби больше! Не плачь, бабы-девки,— Расею никто не поборет!

...Потом снова шли, то переговариваясь, то молча. Так и дошли до станции: плакали, плясали, молчали и думали, думали об одном: «Что-то будет?»

...Первый звонок. Тишина. Провожающие стоят у вагонов.

— А телушку продай,— говорит колхозник лет сорока своей тихонько плачущей жене.— Хлеб расходуй с умом... Война войной, а ребятишкам жрать надо. А обо мне что печалиться? Обуют, оденут, накормят. Не один иду — не плачь...

— Ничего, Коля! — говорит Митрич.— Придешь — оженим.— Он смотрит на невесту Николая, стоящую рядом, и спрашивает: — Ждать будешь, Мариша?

— Буду,— отвечает та и плачет.

У Николая навертываются слезы, и он, обнимая, целует невесту.

— Вот видишь: будет ждать. Не горюй — все будет, как и должно быть... планово,— произносит Митрич.

Второй звонок. Мертвая тишина. Гудок паровоза. Несколько женщин бросились с воплями к подножкам ва-

гонов, а одна из них обняла поручни и запричитала старинное причитание:

— Улетает сизый голубь, улетает в бурю. На кого-то спокидает он свою голубку! На кого ж ты спокидаешь деток-голубяток да под той ли черной тучей — горькою судьбою? Ой вы тучи, черны тучи, облаки небесны, схороните мого мила, спрячьте от напасти...

— Гражданка! Поезд отправляется,— строго и официально заявил кондуктор и решительно, силой, оттащил женщину от вагона.

Голос кондуктора был сухим, строгим, и многим было не по себе от этой строгости, пока не увидели, что по лицу кондуктора текли слезы. Все плакали. Только Митрич стоял, смотрел на ребят и советовал мягко, ласково и, казалось, спокойно:

— Главное дело — портянка должна быть сухой завсегда, постиранной. Нога в холе — телу вольно. Это — само главно для солдата. И окромя того: случаем придется с пищей туго, то в тот день затягивай «вытрезвитель» сразу на две дырки — способней в походе будет. Солдатская жизнь, она, брат, наука.— Последние слова он сказал уже тогда, когда поезд тронулся и он немного прошел за ним по перрону.

И вот поезд отошел. А люди все стояли и стояли и смотрели вслед. И вдруг у Митрича тоже покатились слезы. Он не рыдал, даже не всхлипывал: просто катились слезы по внешне спокойному, суровому трудовому лицу, которое каждый день видит восход солнца. Ребята уехали, не для кого казаться бодрым — вот и покатились слезы.

... Через две недели провожали на войну и Ивана Степановича. Всем колхозом проводили. Говорили речи, обещали, что колхоз останется передовым. А Ивану Степановичу надо было говорить ответное слово. Он встал на табуретку, сказал:

— Дорогие мои товарищи! Дорогие старики! Мы...— Он не смог дальше говорить и неожиданно, будто торопясь, у всех на глазах, приложил платок к глазам.— Мы... будем воевать хорошо... Прошу вас... Больше хлеба!

Колхоз плакал...

Если вы, дорогой читатель, видели, как плачет колхоз, провожая на войну любимого председателя, то поверите и мне, что очень трудно это описать: слишком дрожит все внутри человека, когда он вспоминает такое.

Слезы народные жгут сердце. Это не были слезы неверия и слабости. Нет! Это были те самые, знакомые всем нам слезы, которые потом перешли в ожесточенную ненависть к врагу. В начале войны наш народ не умеет ненавидеть, так же как умеет прощать после войны.

— ...Больше хлеба! — повторил еще раз Иван Степанович уже твердым, окрепшим голосом, повторил громко, во всю свою силу, так, будто хотел, чтобы его слышали все колхозы.

— Будет хлеб! — крикнул Митрич.— Не сумлевайся!

— Будет! — повторили эхом старики и женщины.

Молодежи призывного возраста среди провожающих уже почти не было.

Шла война. Председателем колхоза избрали Егора Ефимыча Ермолова — бывшего старшего конюха. Руководил он, исходя из одного плана — хлеб фронту. И это было всем понятно. Бывало, идет он раненько, перед рассветом, вместе с бригадиром вдоль улицы, увидит — из трубы дым не идет, заходит в хату и говорит, почесывая морщинистую бритую щеку:

— Слышь, Марья! Может, пораньше бы истопила печку? Опоздать можешь.

И Марья, работавшая восемнадцать часов в сутки, стыдливо опускает глаза и отвечает:

— Проспала, Ефимыч, уж ты не серчай...

— Ну, к чему! — И уходил.

Ложился Ефимыч позже всех, вставал раньше всех, а если надо было, то сам и косил и пахал. Очень крепкий человек!

А война шла. С фронтов приходили печальные вести: враг продвигался с угрожающей быстротой. Наши войска отступали. Осенью, в слякоть и изморозь, застревали автомашины отступающих войск, проходила пехота, измученная, угрюмая. А в колхозе рыли картошку, спеша убрать до морозов. Женщины, старики и дети копались в грязной и мокрой земле посиневшими руками, сносили картофель в бурты, а вечером отправляли собранное в ближайшую воинскую часть, с последующим переоформлением в отделе заготовок.

Бывало, напекут в обед картошки, сядут есть тут же, в борозде, и молчат. Потом кто-то из женщин скажет, вздохнув:

— Отступают.

— Отступают,— подтвердит другая.

Алена Вишнякова, хрупкая с виду женщина, проводившая мужа и сына, потихоньку заплачет. Но подходит Митрич, одетый в зимний кожух и плащ, и говорит душевно, но строго:

— Нельзя. Ему от этого будет хуже. Право слово, такая примета есть. Прекрати, Алена, прекрати. Что ты, аль добра ему не желаешь?

И Алена переставала плакать, потому что плакать о живом — плохая примета: Митрич знает лучше.

Иногда Митрич выходил на дорогу, когда женщины, отдыхая, засыпали замертво, смотрел на проходящие войска, думал, взвешивал. Низко нависали над землей осенние косматые облака, мжил, как через мелкое сито, дождик-моросей, хлюпала слякоть под разбитыми солдатскими сапогами, измесившими эту грязь от Польши до колхоза «Заря». Солдаты шли, кого-то проклинали, кто-то кого-то ругал матом. Митрич подходил ближе и обращался к ближайшему солдату:

— Ну, как там дела-то, ребятки?

— Прет, собака...

— Как же теперь, ребята? А?

— Вот... говорят, закрепляются наши,— неуверенно ответит солдат.

— А зачем же вы того... уходите? Как же так, ребята? — И горечь слышалась в словах Митрича, и упрек, и тяжкое сомнение, какого не было у него еще никогда, никогда за всю долгую жизнь.

Солдаты уходили от этого упрека, понурые и молчаливые. А Митрич все стоял и стоял у дороги, провожая их взглядом. А потом шел снова рыть картошку, рыл до сумерек скрюченными пальцами и рассказывал женщинам:

— С командиром роты говорил. Сказал: «Закрепляются»... Закрепятся и — хоп! — крышка. Уж командир роты знает!

Конечно, выдумывал он все это сам и усердно распространял среди женщин. Но чаще он оставался угрюмым, молчаливым. Старел он буквально неделями. А к весне тысяча девятьсот сорок второго года уже ходил с палочкой, тяжело на нее опираясь. Печальные вести все ниже и ниже гнули Митрича, но он неизменно вставал рано, даже раньше Ефимыча, выходил в поле, «разламывался» помаленьку и работал, работал. В ту весну

он был ответственным за качество сева тракторными сеялками, поэтому находился при них неотступно.

Однажды, во время сева, к сеялке подъехали на военной тачанке два солдата.

— Здорово, дед! — поздоровался невесело один из них.

— Здорово, солдат! — ответил Митрич.

— Давай нам проса пару мешков. Шамать нечего — от снабжения отстали. Обрушаем — пшено будет.

— Поди в правление и спроси,— резонно заметил Митрич.— Это не мое, а колхозное.

— Может, и сеять-то не стоит,— заговорил второй.

— Как так? — спросил дрогнувшим голосом Митрич.

— Так — через месяц-другой, может, и сюда докатится,— ответил первый солдат.

Митрич преобразился: он вытянулся, выпрямился, посмотрел вдаль, в поле, потом на сеялки, на бурт мешков с просом, на солдат этих двух, воткнул свою палку с чистиком на конце в землю, расправил плечи и сказал:

— Подойди ко мне, солдат.

Подошел тот, что заговорил первым, и спросил:

— Ну? Насыпáть, дедушка?

И вдруг, неожиданно, Митрич ударил его в лицо кулаком. Ударил со всей былой силой. Ударил так, что солдат упал навзничь.

— Какой части?!! — заревел Митрич на второго.— Какой ты солдат, если не веришь... твою мать!!!

И второй солдат опустил голову. Потом очухался и первый; он посидел на земле, вытер рукавом кровь с лица и стал искать глазами ушанку, но встретился взглядом с Митричем, наклонившимся над ним. Тот помог ему встать и сурово спросил:

— Ну, как?

— Эх, дед, дед! — с горечью ответил тот.— Самим тошно и... стыдно.— И ударил ногой по земле с озлоблением. Потом нагнулся, взял в горсть земли, сжал зубы так, что выступили на челюстях желваки, и сказал: — Наша земля-то... Тошно, дедушка!

— Тошно? А нам-то, а твоему отцу, твоей матери не тошно? Не должон ты сумлеваться, сукин ты сын! Закрепляются. Понимаешь: закрепляются... Мне генерал говорил, сам генерал. А сюда не придет он. За Дон не придет!

Трактористке-девушке Митрич строго-настрого приказал молчать об этом случае. А в бригадном стане рассказывал так:

— Подъезжают двое солдат. Спрашиваю у них: «Как там дела?» Отвечают: «О! На Дону такую силищу скопили, что не только немец, а даже все государства пойдут, и то — ни можно». «Ну, говорю, нате вам за такие добрые слова ведро проса. В ступе протолкете — каши наварите». Хорошие ребята! — Но все же добавлял: — Только кое-кто, из слабых нутром, распустились маленько, отступаючи. Ну, теперь-то все пойдет планово. Главно дело — хлеб им надо.

То ли Митрич в раздумьях сам дошел до той мысли, что Дон будет гибельным рубежом для врага в этой местности, то ли краем уха услышал в частых разговорах с военными, но случилось все именно так — немца здесь через Дон не пустили и начали бить его беспощадно. И до Лисоватого враг действительно не дошел, хотя был в Воронеже. Митрич, казалось, ободрился, повеселел, но без палки уже не мог ходить. Однако палка палкой, а на душе нет того камня, что лежал и давил. К тому же от Николая получил письмо, утешающее, бодрое. А Петр писал: «По легкому ранению определили в госпиталь. Пролежу месяца три, а там отпустят, наверное, домой». Какое уж там у него ранение — молчал, но главное — жив.

Пошли добрые вести одна за другой. Немца погнали обратно. А хлеба требовалось все больше и больше. Все понимали это без слов. Не хватало лошадей — стали запрягать коров колхозников; не хватало семян в колхозе — свозили свое собственное зерно, сберегаемое и хранимое про черный день; не хватало людей — каждый трудился за троих. Митрич, несмотря на преклонный возраст, работал ежедневно. И никаких сомнений у него не возникало. Никаких!

Но вот отгремели орудия. Прозвучала по стране радость победы. Начали приходить домой оставшиеся в живых. Вернулся Иван Степанович без левой руки, и через неделю принял снова колхоз. Пришел Николай, в чине лейтенанта с пятью орденами, и сел за руль трактора. Вернулся и Петр, без ступни — на протезе, но тоже занял свое место штурвального на комбайне.

Все налаживалось. А Митрич вдруг, для всех неожи-

данно, заговорил своим давнишним, довоенным языком. На общем собрании в присутствии нового председателя райисполкома Тачкова он сказал:

— Неправильно! Мы в войну и половины пшеницы яровой не сеяли, а хлеба давали больше. А люцерна! На кой ляд ее? У нас спокон веков проса рожаются да кукуруза, а нам люцерну да яровую пшеницу суют.

— Да вы, дедушка, что: против основы нашей жизни, против планирования идете? Вы уже старый — не понимаете. А если понимаете, о чем говорите, это еще хуже,— убеждал Тачков.

— Я еще не стар: семьдесят седьмой только. Люди до ста живут. Только я говорю: или там вверху не видят, что нельзя сеять то, что не надо? Сколько лет об этом говорю!

— Мало ли что вы захотите, дедушка. Может быть, вы Советской власти не захотите.

И Митрич уже кричал в сердцах:

— А какая же это Советская власть — проса рожаются, а их нам дают сеять столько, что и гулькин нос кашей не намажешь. Сумлеваюсь! Не пойдет так дело. Контроль нужен, слов нет, но чтобы сеять то, что родится.

Старые, старые, давно знакомые речи Митрича!

А новый председатель исполкома уже спрашивал шепотом Ивана Степановича:

— Что это за дед? Что он делал во время войны?

— Обыкновенный колхозник,— отвечал Иван Степанович тоже шепотком.— Делал то же самое — работал.

— Хвостизмом от тебя пахнет, товарищ председатель колхоза.

— «Сумлеваюсь»,— возражал, улыбаясь, Иван Степанович, подражая Митричу.

А после собрания мы втроем засиделись в правлении. Иван Степанович говорил председателю райисполкома:

— А подумать хорошенько — Митрич-то и прав. Что важно? Больше получить хлеба и кормов. А это значит — не сеять таких культур, которые дают плохой урожай.

Нечего было возразить против этих слов. И все втроем решали: посеять сорок гектаров проса «сверх плана» за счет «погибшей» люцерны, а озимые увеличить (опять же «сверх плана»), используя картофелище и площадь после уборки чечевицы.

Только Митричу этого было мало. Он главному (главному!) агроному райзо сказал однажды после лекции:

— Мы твою структуру не понимаем пока. Сперва хлеб требуется всем и мясо, а потом эта самая, как ее, структура.

— Ты, дед, ставишь вопрос вверх ногами,— горячился агроном.

— Так и надо. Попа если поставить вверх пятками, тогда только и узнаешь, что он в портках ходит.

А агроном уже ворчал вполголоса:

— Эх-хе-хе! Корявая старина...— и начинал все снова, искренне полагая, что его не понимают.

И удивительнее всего то, что Митрич продолжал терпеливо слушать. Слушал каждый год по нескольку раз, сомневался и возражал. Возражал всегда.

...Но вот уже и подошло время, когда Митрич не смог нести обычной для него физической работы,— пришла старость. А не работать он не мог — шел в поле и все-таки работал. Иван Степанович все это замечал и думал о том, как облегчить труд Митрича. Наконец он вызвал его к себе и говорит:

— Василий Димитриевич? Бахчу некому охранять. Нужен надежный человек. Может быть, станете...сторожить?

Митрич, в пропотевшей пятнами рубахе, оперся подбородком на палку, посмотрел в пол, подумал. Потом поднял глаза на Ивана Степановича, увидел, что председатель-то тоже совсем седой, прикинул, что Ивану Степановичу уже за пятьдесят, и сказал:

— Что ж поделаешь... Бахчу надо воспитывать. Надо. Дело твое — кого поставить.

И стал жить в поле, в шалаше.

Ночами Митрич не спал — ходил по бахче, а если послышится шорох, стрелял из ружья вверх и кричал: «Держи, держи его! Егор! Забегай справа!» Никакого Егора с ним не было: это он так — для острастки.

Ребятишки, конечно, шалили, подползая на животах и откатывая арбуз в овес, и ночные крики Митрича регулярно повторялись. Охранял он добросовестно. Утро он встречал так: дождется восхода солнца, трижды, по привычке, перекрестится на него, умоется родниковой водой и пойдет осматривать бахчу. Крал ли кто, заяц ли обгрыз зеленую дыню, волк ли полакомился спелой дыней — все заметит Митрич. То сорняк вырвет при обходе, то плети поправит, то арбуз перевернет для дозревания. Потом, к вечеру, доложит обо всем Ивану Степановичу: какой урон за ночь и что сделано днем. После ут-

реннего обхода сноха, Мариша, жена Николая, занесет завтрак. Митрич позавтракает и ложится спать на часок-другой.

И вот однажды случилось так. При утреннем обходе бахчи Митрич почувствовал, что ноги как-то отстают от него — сделались тяжелыми, непослушными. За всю свою жизнь Митрич ни разу не болел никакими болезнями, а тут вдруг, ни с того ни с сего, ноги отяжелели. Мариша принесла завтрак, стала у шалаша и смотрит на деда. Он увидел осот в междурядьях и захотел уничтожить, как это делал обычно. Попробовал выдернуть — никак. Еще раз попробовал — не выдернул. Постоял-постоял около сорняка, покачал головой, глянул на восход и вслух спросил сам себя:

— Что же это ты, Василь Митрич Коршунков? А?

Потом обернулся к шалашу, увидел Маришу и пошел к ней. Шел медленно, волоча ноги, зачеркивая носками свой последний путь по полю. Подошел. Сел. Сказал:

— Вышел конь из упряжки — и пустую бочку не везет...

— Что с вами, дедушка?

Он посмотрел Марише в глаза, светло улыбнулся и без какой-либо горечи сказал:

— На днях помру, Мариша. Подводу мне — домой надо.

Дома приказал себя искупать, постелить на кровать чистое белье, надеть смертную рубаху, припасенную покойной женой, зажечь лампадку. И лег сам, без чужой помощи. Зашли соседки-сверстницы, засветили две свечи и предложили Митричу позвать батюшку.

— Не грешил я — не в чем каяться,— ответил им Митрич.— Бог, он на меня в обиде не будет... И не особо дружно мы с ним жили... а обижаться... ему... не на что.

Он говорил все реже и реже. Лежал, смотрел в потолок и — странно! — изредка улыбался, расправляя брови и чуть поднимая их вверх. Умирал человек и улыбался. Улыбался суровый всю жизнь, обыкновенный человек, не свершивший ни одного героического поступка.

Неожиданно он поманил к себе Николая. Тот подошел.

Медленно заговорил Митрич:

— Коля!.. Хотя ты и партейный, а... может, попа-то

ко мне позвать... Грех вспомнил: солдата... ударил...— И Митрич замолк.

Даже если и позвали бы священника, Митрич уже не смог бы ничего ему сказать о своем грехе. Он умер.

В осенний ясный и тихий день проводили Митрича на погост. В числе других шли и мы с Иваном Степановичем. Легкая паутина плыла в воздухе. В чистом светло-голубом небе курлыкали невидимые журавли, парящие в высоте. Ласточки, собираясь к отлету, уселись на телефонные провода, будто и задержались они для того, чтобы проводить Митрича: сидели рядами, как черно-белые живые бусы, и осенним прощальным щебетанием заполняли село.

И не было ни у кого слез: так провожают из жизни человека, который сделал все, что мог сделать, для которого поэтому и смерть — естественный конец, поражающий своей простотой и ясностью. И если бы кто-либо стал горевать, то самому Митричу, будь он снова жив, было бы обидно. Но, верьте, было у меня необычное для этого случая чувство, которое я и сам, пожалуй, еще не определил тогда точно: это было чувство благодарности за то, что он жил рядом со мной.

А в поле в это время тяжелым и сочным земным грузом лежали, будто нарочито разбросанные богатой осенью по бахче, громадные арбузы и дыни. Воткнешь нож в такой арбузище, а он лопнет вдоль, не дожидаясь движения ножа, лопнет в нетерпении, брызнув сахарным соком. Дескать, берите, поминайте Митрича! И вот лежат розово-красные куски арбуза, они тоже свидетельствуют о мощи земли и людей, работающих на этой земле. Осенью всякие плоды земли очень хороши! Они — для жизни.

Здравствуй, жизнь!

Прошла зима. Наступила весна.

За несколько дней до весеннего сева мы с Николаем ушли на охоту по селезням. И снова был вечер. Был и костер.

Настрелявшись вдоволь, мы улеглись спать рядом. Николаю — около тридцати, мне — скоро полсотни, а мы с ним большие друзья. Он теперь бригадир тракторного отряда в том же Лисоватом, в колхозе «Заря».

И я рассказал Николаю, как четверть века назад вот на этом самом месте впервые встретил Митрича. Лежал со мной рядом богатырь-тракторист, лейтенант запаса Коршунков, и слушал. А потом сказал:

— Вот ведь как трудно было расстаться с лошадью... Ну, дай мне сейчас эту самую лошадь! Что делать с такой обузой? Куда ее девать? — Он помолчал и добавил: — А насчет хлеба — правильно. «Не постой за кроху — всего ломтя не станет».

Была та самая ласковая тишина, когда все живое ожидало настоящей зеленой весны. Так же вдали прогоготали гуси, так же свистели крылья невидимых в темноте уток, так же струился запах подснежников, как и каждую весну. Весна повторяется. Но каждую весну появляется новое в человеке. И в этом — большая доля счастья людей, живущих на земле.

В КАМЫШАХ

ПОВЕСТЬ

Охота зело добрая потеха, ее же
не одолеют печали и кручины всякие.

«Урядник сокольничья пути»

1. МОЕ ДАЛЕКОЕ

Это было в юности. Из старинной одноствольной шомполки я выстрелил в чирка и, конечно же, промазал. Но с тех пор уже никогда не расстаюсь с ружьем.

Годы летели и летели. Жизнь почти прошла, я по ней — всегда скороходом, всегда работы по горло. Но мне не забыть первого выстрела из той старушки шомполки, перевязанной проволокой у колодки.

Сотни анкет заполнил за свою жизнь, отвечая на разные там вопросы. В каждой из них обязательно значилось: «Фамилия — Перегудов, имя и отчество — Тихон Иванович, пол — мужской, профессия — агроном, за границей не был»... Но ни в одной анкете не было вопросов: «Занимался ли охотой? С какого времени? И в каких местах?» А жаль. Ей-же-ей, тогда было бы видно человека насквозь, даже и по анкете.

Я, например, с первого выстрела охотился только на Тихой Ольхе, в тех самых камышах, где бороздили на долбленках мой отец, деды и прадеды. Но предки мои ничего не оставили после себя, кроме устных рассказов. Я же исписал десять тетрадей. И в них — все об охоте, о камышах, о Далеком, о Тихой Ольхе.

А какие у нас камыши! Таких камышей, как в Далеком, нигде нет. Да и речка хороша.

Вы выезжаете на челноке вниз по течению. Жужжит потихоньку моторчик «Чайка». Камыши наклоняются к вам и иногда ласково скользят листьями по плечу. Еще раз осматриваете, правильно ли лежит «хозяйство»: ружье, патронташ, корзинка с кряковыми утками, плащ, корзинка с продуктами, бачок с бензином; и если осенью, то еще привязана ли к краю лодки суховилка — такой длинный, метров семь, тонкий и прочный шест с рогаткой на конце. Без нее, без суховилки, в Далеком не проехать — такие там густые камыши и сплошной резак. Но до Далекого вы едете моторкой — километров двадцать от Камышевца.

Сначала, прямо от села, широкий плес, потом купальня, и вдруг русло становится узким, в пять — десять метров, вода здесь быстрая, как в горной речке. Это место и называется Быстряк. Потом течение все медленнее и медленнее, вы подъезжаете под мост, что против кирпичного завода. Река все шире и шире, и наконец неожиданно открывается взору водная гладь полкилометра шириной — это и будет Сазанка.

Спокойна здесь Тихая Ольха. Камыши отражаются как в зеркале, высокой стеной: вверху камыши, внизу камыши. Заглушите моторчик, послушайте реку вечером и смотрите на воду. Месяц трепещет в ней, как большая серебряная плотва: то он дрожит, то бьется. Плеснет рыба, оставив круги. Они все шире и шире — так и кажется, вот-вот они зазвучат. А месяц, шалун, уже бросился в тот круг и притворяется себе, будто попался, запутался,— играет. Так охотники и говорят: «Месяц играет».

Осторожно, чтобы не спугнуть тишину, крякнет в камышах дикая утка, то ли подзывая утят, то ли собираясь отлететь на ночную кормежку... И больше ни звука, ни движения, ни вздоха. Одна за другой осыпаются в водную гладь звезды: появляются внизу и там остаются, вздрагивая от вечерней свежести, то пропадая, то блестками объявляясь вновь. И вдруг где-то далеко-далеко слышится тихая песня девчат, чуть тоскливая, плавная, широкая, как родные просторы... Слов не разобрать. И кажется, что поет река — тихая, спокойная... Хороша, очень хороша река Тихая Ольха!

А дальше вы едете совсем уже по другим местам,

каждому из которых свое название. Перед челноком вдруг вырастает на средине реки забор из камыша, но он только для тех, кто не знает: это всего-навсего Перерост. Проскочите в прогалину — и откроется река, уже новая, совсем не похожая на то, что вы видели: причудливо извилистая, с омутами и неожиданными коленами. Потом вновь узкий проход, течение быстрее, и вдруг... водопад! Челнок прямо-таки ныряет мимо кривой ветлы. Здесь — ухо востро! Малейшая ошибка — и вы в воде. Это место называется Кайдан.

Потом река узкая, потом широкая. Вновь извилины и крутоверти — вы едете то вперед, то поворачиваете назад и снова на курс.

За Лещевом камышей уже больше. Километр за километром не увидите берега, кроме пятачков или больших кочек,— вода, вода и вода, а с обеих сторон камыши, камыши и камыши. И чем дальше, тем они выше и выше, в пять-шесть метров.

Но вот справа неожиданно прервалась стена камышей. Поворачиваете в затон, к лесу. Это и есть остров Далекое, окруженный водой с камышами, поросший разнолесьем, с вечной прохладной свежестью, с зелеными лужайками, тысячами соловьев, весной наполненный крупными, необычной красоты ландышами, подснежниками, фиалками, а к сроку — ежевикой, земляникой и разной благодатью земли.

Все озера, протоки, топи и необозримые пространства камышей — тоже все вместе называется Далекое. Это огромный массив, нетронутый пока, потому что сама природа устроила так, что человек не смог ее здесь испортить — не проедешь, не пройдешь. Не каждому доступны дебри Далекого. Все здесь стоит таким же, как и тысячу лет назад.

Нигде в мире нет такого места, как остров Далекое.

Даже зимой, когда смотрю на охотничье ружье, что висит на стене, то и в комнате чудится мне шелест камышей.

И я жду весны. Жду солнца.

2. В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

И вот она снова пришла, весна! Каждый по-своему встречает ее. Булькают капли с крыш. Они торопливо и настойчиво вразнобой, как расстроенный пульс, отсту-

кивают последние минуты жизни зимы: кажется, капают они не потому, что снег тает и расползается во все стороны, а сам старик снег тает оттого, что капли продолбили его рыхлое и уже немощное тело. Каждая капля спешит в ручей.

Неистово чирикают воробьи, размахивая полами пиджачков и наскакивая друг на друга задиристо и безрассудно, упоенные любовью и оглушенные ревностью, потерявшие всякий воробьиный облик в этой вакханалии. Еще недавно он, такой доверчивый и смирный попрошайка-воробышек, сидел на форточке при последней поземке и ныл: «Чик-чирик! Подайте Христа ради! Чик-чирик! На бедность и погорельцев — чик-чирик!» Теперь тот же самый воробьишка наскакивает на соперника, хотя у самого уже общипан хвост и изодрана прическа. Потом он, паршивец, отлупив врага, распушится, растолстеет и надрывается, орет благим матом как оглашенный и, кажется, вот-вот лопнет от спеси, от любви, от ревности, от неимоверного эгоизма. Надо же!

А воробьиха, которой будто и безразлично, что там у них, у мужчин, происходит, неожиданно для всей бесшабашной публики выбирает именно этого обтрепанного эгоиста — ласкает его, и жмется, и кокетничает, шельма. И тогда становится абсолютно ясно: раз уж воробьишка-пострел вообразил себя пупом земли — то весна пришла!

Серые вороны, у которых и сам бог не различит по одежде, кто из них она и кто он, как торговки на базаре, нахально обзывают друг друга разными непотребными вороньими словами. Топчутся у мусорного ящика и спорят — кто сильнее. Эти не дерутся, эти соперничают только в том, кто у кого кусок вырвет. Но вдруг одна из них, завладев лакомством, отлетает в сторону, где сидит другая ворона — поджарая, нервная, по-вороньи красивая, и отдает ей кусок. И та клюет. Понятно, он принес ей что-то такое несравнимо вкусное. Так началась любовь: улетели они вдвоем. Остальные же, переругавшись окончательно, поднялись вслед за теми счастливцами.

И ворона ищет счастья! Значит, весна пришла.

Но вот залетели к нам и грачи — милые, черные, умные и такие родные, российские птицы, спутники хлебопашца во все века — от деревянного сучка вместо сохи до современного трактора. Серьезные, сосредоточенные, работящие однолюбы, но живущие всегда все вместе. Они уже хлопочут над парком, голосисто перекликаясь

и перепутав номера летних квартир. Кто их поймет: может быть, они уже теперь знают, где поля отстающих колхозов, куда они ежегодно весной слетаются собирать не заделанную в рядки кукурузу, а по осени, до самого снега, лакомятся подсолнечником и такими вкусными початками; может быть, потому они стали отлетать так поздно, уже по морозам. Но весной раньше времени не прилетишь. Если уж грач пришел, то весна настоящая! Тут уж дудки! Не обманешь.

А по ночам легкие заморозки еще чуть-чуть приглушают капель. Еще нет-нет, да и зашуршит опадающий, прозрачный от луны гребешочек, оставшийся от бывшего сугроба-великана. В открытое окно уже слышен требовательный шум реки, доселе молчаливой и покорной. Ночью все звучит, все поет.

И я уже не могу усидеть дома.

Тогда на столе появляется заветный ящик с охотничьими припасами. Гильза за гильзой встают солдатиками. Сначала вставляешь только пистоны, потом каждому «солдатику» по норме пороха, потом войлочные пыжи, на них — дробь и еще пыжи картонные, под закрутку. При каждой такой операции «солдатики» перестанавливаются то вправо от тебя, то влево. Заряжаешь и дрожишь: весна!

Еще несколько дней до открытия охоты, а все уже собрано, все приготовлено и упаковано в рюкзак. Еще за неделю-две приучаешь к холодной воде кряковых уток и подкармливаешь до́бро. Иначе нельзя. Брось утку в ледяную воду прямо на охоте, без подготовки — ничего не выйдет. Может, и покричит она полчасика и того меньше, а потом замолкнет — раскиснет, распушится и начнет тонуть.

Все чаще и чаще берешь в руки ружье и тренируешься на вскидках по разным точкам в комнате, «набиваешь руку».

Собака моя, Лада, волнуется и не старается этого скрывать. Она знает, что весной на селезней ее не беру, и — тоскует: то подойдет к столу, положит морду на мое колено и так стоит; она очень долго может так стоять не шевелясь; то она становится лапами на подоконник и смотрит на мир, что-то вспоминая.

Между делом я разговариваю с собакой. Она слушает внимательно. И понимает: люблю. Важно, чтобы она это понимала.

День за днем приближается открытие весенней охоты. Уже по ночам слышен гогот гусей и свист утиных крыльев. Мы с Ладой выходим слушать весну. Хорошо!

В один из таких беспокойных дней рано утром я проснулся оттого, что Лада тихонько дергала за уголок одеяла. Она уже третий день так делает, как и на охоте: не дает проспать. Она не знает календаря, но точно знает по всему моему поведению, что в какой-то из этих дней я обязан ехать. Именно в это утро я и поехал искать охотничье счастье.

Лада виляла хвостом, подходила ко мне, потом к двери и ждала. Тоже ждала счастья — побыть со мной в Далеком. Я погладил ее, потрепал по шее и... не взял. Она отошла, села и уныло опустила голову. Я приблизился и посмотрел ей в глаза, печальные и влажные, со слезинкой. Лада плакала... Вы можете мне не верить, люди, пожалуйста. Но у меня была такая собака.

А в тот день была весна. И все было хорошо вокруг.

Кому и какое дело до того, что где-то какая-то собака плачет!

...В шесть утра я уже сидел в кузове попутного грузовика, направляясь в Камышевец (в тот год мне пришлось работать в одном из колхозов, в пятидесяти километрах от этого села, но — только год, потом снова переехал в Камышевец).

Утро было ясным. Впереди охота, а это уже начало счастья. Так всегда кажется.

Перед Доном произошла задержка: понтонный мост еще не навели, а катерок перевозит только людей. Баржа на той стороне с привалившимся к ней катерком-тягачом, как мне сказали, переправляет автомашины вечером, когда подвезут из колхоза молоко. Положение весьма неприятное: завтра утром открытие охоты, а я и к ночи не попаду в Камышевец. Надо что-то придумывать.

С очередным рейсом пассажирского катерка еду на тот берег и по сходням взбираюсь на баржу.

Там живописно расположились три молодых парня: один лежал на весеннем припеке и, задрав рубаху, видимо, грел живот; второй, закрыв от солнца козырьком глаза и подвернув ноги калачиком, сидел рядом и грустно-лениво смотрел на воду; третий (как оказалось потом, старший баржи), лежа на спине и мечтательно смотря в небо, играл на балалайке «Светит месяц».

Никто из них и не пошевелился, когда я вскарабкался на палубу. Кажется, я мог бы походить-походить, вернуться обратно на берег, но они не обратили бы внимания.

— Здравствуйте,— говорю.

Грустный парень — тот, что сидел,— сдвинул козырек на затылок и лениво ответил за всех:

— Привет из Крыма.— Не глядя на меня, сказал: — Гля-ка, Кирюха... Рыба идет... по-над берегом.

Кирюхой оказался тот, что грел живот. Он встал на колени, глянул за борт, сказал будто спросонья:

— Рыба.— И снова лег. Теперь он запахнул полы пиджака и засунул руки в рукава.— Потеплело — она и пошла... Запрет на нее.

— Какой запрет? — вновь попытался я пробить броню невнимания.

Но Кирюха промолчал (пусть другие скажут, если это так уж важно).

Ответил старший:

— На рыбу запрет. Весной нельзя.

— Ну и что же: не ловите?

— А мы ее никогда не ловим. Мы не рыбаки.

— Ну, речники,— говорю.

— Колхозники... Эта посудина своя, колхозная... Когда нам заниматься рыбой-то... День при дне на работе.

— И сегодня на работе?

— А как же? — Старший встал, потянулся, глянул на реку, потом на небо и подытожил обзор окрестности: — Погода изменится.

— А чем же вы занимаетесь? — спрашиваю.

Старший ухмыльнулся и покачал головой: дескать, какой непонятливый.

— Перевозим,— ответил теперь Кирюха.

— Кого?

— Молоко.

— Как молоко?

— А так: молоко. Утром подвезут — переправим четыре машины, молоковозы. Вечером подвезут, в сумерках,— доставим на тот берег.

— И все?

— А что же еще? Каждый день колхоз к сводке попадает. От нас все зависит: попадет или не попадет.

— А днем?

— Днем плохо. Скушно.

— А как платят?

— Хорошо платят. По два трудодня.

— Вы-то довольны?

Кирюха становился разговорчивей:

— А чего нам? По двадцать копеек на трудодень — итого сорок монет... Скушно только. А так ничего.

Старший тоже навострил уши:

— А вы что: издалека, что ничего не знаете? Да мы каждую весну так, пока понтон наведут. Месяц целый тут опухаем.

— Еду на попутной,— уклонился я от ответа.— Вон стоит на том берегу. Видишь?

Никто из них не повернул головы «на тот берег». Но Кирюха сказал:

— До вечера будет стоять.

— Почему так?

— Молоко повезем — захватим и вашу... ежели председатель разрешит.

— А где он?

— Там,— ответил теперь старший, указав на село.— Сходи к нему, попроси. Тут недалеко — километров пять.

— А без председателя не получится? — спросил я.

И опять никто не ответил. Все трое снова стали до удивления скучными, безразличными и, казалось, равнодушными.

На том берегу появился еще один грузовик. Он почти воткнулся носом в воду да так и замер в полной безнадежности; затем из проема дверцы высунулись ноги: шофер расположился спать в ожидании своего череда.

— Ну, так как же? — спрашивал я, обращаясь ко всем троим сразу.

Кирюха глянул на меня изучающим взглядом и задал вопрос старшему:

— Ты как, Степан?

— Никак,— ответил тот.— Сказано «никого», кроме молоковозов,— и крышка... На этой посудине чужие машины переправлять опасно.

— Свои-то перевозите?

— Своя утопнет — один ответ, в суд никто не подаст. А чужая булькнет — не расхлебаешь... Нет... нельзя.

— Уж пожалуйста,— не отставал я.

— А ну-ка да случись что, а мы молоко сорвем. Нельзя. Молоко — это тебе не собачий... хвост.

К чему такое противопоставление, я так и не удостоился узнать и бросил последний козырь:

— Заплачу хорошо.

— Сколько? — спросил Степан.

— Не знаю. Сами скажете. Не возьмете же лишнего.

Все трое сошлись на другом конце баржишки, тихо обсуждая несколько минут мое предложение.

Потом подошел один Степан. Теперь я увидел его во весь рост — широкоплечий русоволосый русский богатырь! Он сказал коротко:

— Три рубля.

— Давай,— говорю.

Нет! Мне не приходилось в жизни наблюдать такого необыкновенного перевоплощения. Степан махнул рукой, как командир эскадры. Кирюха подскочил к причалу, а третий, доселе молчавший и оказавшийся Ленькой, вскочил в катерок, прилепившийся к барже, как подсосный поросенок к свиноматке. Потребовалось не более пяти минут, чтобы мотор катера заревел, изрыгая струю воды, а сходни были сняты,— и маленькая баржишка заскрипела, отчаливая.

Оказалось, все трое вовсе и не лентяи, а им просто-напросто нечего делать. Только тогда я и понял, что значит «целый месяц опухаем»: тоже нужна привычка. На средине реки я высказал эту мысль Степану. Он как-то виновато улыбнулся, стал совсем-совсем другим (наверно, тем самым настоящим, чем он и был в жизни, дома в семье, с товарищами).

— И не говори... Тоска смертная. А тут весна! — воскликнул Степан.— Кто выдержит! Никто. Мы только... Я вот охотник, и ружье есть. Душа трещит! — Он положил на грудь могучую ладонь.— Места не нахожу: завтра открытие!.. Трудно.

Передо мной раскрылся человек, пребывающий в героическом безделье. И такая печаль лежала у него на лице, что мне стало не по себе.

Потом спустили вместо сходней две широкие доски, нашитые на пару бревнышек. По ним и надо было, как в цирке, взобраться автомобилю на баржу. За нашим въехал второй грузовик. Шофер-эквилибрист вползал черепахой, тихо, осторожно. А взобравшись, спросил:

— Бесплатно за этот плавучий цирк?

— Рупь,— ответил Кирюха.

— Заткнись! — прикрикнул на него Степан и ответил шоферу: — Бесплатно... Лезет не в свое дело,— заворчал он на Кирюху.

Я не понял такой неожиданной перемены в отношениях между товарищами. Но Кирюха притих, а шофер больше не повторил вопроса. Видимо, они знали Степана хорошо.

На другом берегу, когда уже закрепили баржу к причалу и стали спускать автомобили, Степан увидел мое ружье.

— Охотник?! — восхищенно спросил он.

— Он самый.

— На охоту?

— Да.

Он отвел мою протянутую руку с трояком, коснувшись ее шершавым пальцем, и грустно сказал:

— К чему? Не полагается.— И отвернулся.

— А как же ты-то на охоту?

Этот вопрос, казалось, переполнил чашу терпения, и Степан почти вскрикнул:

— Убегу! Если не отпустит, убегу все равно.

Когда я отъезжал, то оглянулся и увидел: Кирюха стоял, смотря на воду; молчаливый Ленька сел верхом на бочку, Степан провожал меня в гору взглядом. А может быть, он смотрел в небо, в простор, туда, где вылезали темно-сизые облака — явный признак ухудшения погоды.

К середине дня в Камышевце я хлопотал с Алешей у Тихой Ольхи, спуская на воду челноки.

Алеша — это тракторист из совхоза, что в пяти километрах от Камышевца. Он ежедневно ездит на работу на велосипеде или ходит пешком: каждый день десять километров пути и десять — двенадцать часов работы. Так изо дня в день, из года в год. Он прекрасный тракторист, я знаю его этак лет двадцать подряд. И, кроме того, у него челнок — и у меня челнок, у него мотор — и у меня мотор, у него ружье — и у меня ружье. Одним словом, Алеша Русый — мой друг, прямой и всегда со мной откровенный. Не одну ночь скоротали мы с ним в камышах, не одну зорю отметили в Далеком, и много-много раз наши челноки стояли рядом под спокойным месяцем, окропленные росой или припудренные инеем, а мы по

душам разговаривали или молчали, понимая друг друга. Всяко бывало — и дожди мочили, и солнце сушило.

А в тот беспокойный и хлопотный весенний день, перед открытием охоты, мы с ним выезжали из Камышевца на двух моторных челноках. Все было уложено по-хозяйски, закурена на земле последняя папироска, поставлены в нос лодки садки с кряковыми. Взревели моторы. Мы пошли по разливу, держась русла и взяв курс на Далекое.

Кругом вода, вода и вода. Вдали на пригорке — крохотный хуторок из карточных домиков. Верхушки старого затопленного камыша, высунувшись из воды, беспрестанно трепетали оттого, что вода, напирая, все толкала их и толкала. Вот он, кажется, уже утонул насовсем — нет его, но неожиданно снова выскакивал, вздрагивая и отряхиваясь. Даже мертвый стебель не сдается! Не сломай его силой, он истлеет на месте, но погибнет стоя, дожидаясь молодого, которого еще не видно, но который отрастает от его же корня.

Через час мы были уже около дамбы — через нее надо перетаскивать челноки волоком. Все хозяйство выгрузили и вдвоем переволокли сначала один, потом второй челнок. Работа эта трудная, потная, но мы не унывали.

На другой стороне дамбы снова все уложили и присели отдохнуть. Алеша вытер пот со лба рукавом. Прядь русых волос прилипла к виску да так и осталась, а он сдвинул треух на сторону и проговорил:

— Отдохнем, пожалуй.

Я знаю: ему не надо бы никакого отдыха сейчас. Он просто захотел послушать реку.

А река шумела особенным, весенним шумом. Всплески воды, набегающей на дамбу, и шорох старых камышей, и бульканье водоворота у моста, почти залитого до краев, и кряканье утки где-то неподалеку, и ответное шавканье селезня, и смех скворца, заржавшего чистым жеребеночком, и далекие человеческие голоса где-то там, за ветлами,— все это трепетало и жило в общем шуме.

Алеша неожиданно воскликнул:

— Смотри-ка! Лягушка! — Он указал пальцем на сухое пятно земли.

Лягушка смотрела на нас с наивным и спросонья ленивым любопытством.

— Проснулась, тварь? — спросил у нее Алеша.— Подумать, как рано... Так редко бывает... Весна будет теп-

лая. Примета такая.— Он потрогал лягушку кончиком хворостинки.— Надо же! Ничуть не боится. Всему миру доверяет... А тварь обыкновенная... Весна!

Алеша живет бесхитростно, с открытой душой нараспашку. Если чем недоволен — скажет не держа в рукаве; начальству смотрит в глаза прямо и не замедлит высказать любому высокому лицу свое возражение, если к тому есть причины. Все рабочие и трактористы уважают его С семнадцати лет и до сорока он работает на тракторе.

Когда подходит срок охоты, Алеша становится беспокойным, непохоже на него торопливым. Он идет прямо к директору совхоза, минуя мелкое начальство, и говорит:

— Уж пожалуйста... На два дня.

Тот сначала посмотрит на него, потом накричит («Может, завтра пахать! А ты со своей охотой!»), а все-таки отпустит. Знает, что Алеше без охоты невозможно — уйдет все равно.

И только после того, как Алеша выезжал на челноке, посматривая на лежащее перед ним ружье, он снова становился спокойным и веселым. Так случилось и на этот раз.

Мы просидели на дамбе минут десять. Вставая, Алеша сказал:

— Небо заволокло. Ветер потянул... Поболтает нас с тобой, Тихон Иваныч, за милую душу.

И правда, камыши заныли, вода покрылась рябью даже и здесь в затишке,— погода изменилась. Мы тщательно укрыли вещи брезентом, подоткнули его поглубже, завели моторы и двинулись дальше: Алеша впереди, я за ним.

Сразу же за поворотом реки, на выходе на простор, на нас повалили волны, но ветер тут был встречным, челноки шли бодро, хотя штормовка на мне стала влажной от брызг.

Кто видел охотничий челнок на волнах, издали, тот знает, что он похож на утлую скорлупку, которую вот-вот захлестнет и скроет под водой. То он появится, то нырнет, то закроется фонтаном, и видно лишь корму да маленького на ней человечка.

Но так кажется со стороны. Камышевецкий челнок, длиной в шесть метров и шириной не более метра, на ходу довольно-таки устойчив: только неумеха может опрокинуться. Веками охотники приспосабливали это суденышко к Тихой Ольхе. (Еще жив один из великолеп-

ных мастеров этого дела, семидесятипятилетний охотник, по прозвищу Беда.) Такой челнок иглой пройдет по дремучим камышам, его не так-то уж трудно одному вытащить волоком на берег, но в нем можно жить на воде во время охоты неделями: сверху палатка, внутри душистое сено — сиди себе или лежи, вытянувшись во весь рост.

На таком-то челноке я и ехал. Его сделал сам Беда! Поэтому волна в полметра высотой, встретившая нас на Сазанке,— сущий пустячок. Вот если большая волна да прихватит поперек хода, тогда, конечно, трудно.

Но ветер все крепчал. К вечеру он стал плотным и напористым. И, как часто бывает ранней весной, с ветром пришел колючий, секущий дождь. Сначала он накрапывал несмело, хотя и хлестко, а потом забарабанил вовсю.

Когда мы миновали Сазанку и вошли в более узкое место, где волна спокойнее, Алеша замедлил ход, сбавив газ почти до отказа, и дал знак рукой. Я выровнялся с ним и тихонько подошел борт к борту. Алеша отвернул капюшон плаща и сказал весело:

— Дождик-то обнаглел совсем. Не переждать ли?

— Уже вечер,— говорю.— Скоро смеркаться начнет, а по темноте-то хуже будет.

— Ночью нам так и так ехать. Но под Лещевом теперь волна страшенная — надо бы миновать завидно. Видишь, буря-то какая нахальная. Ты как?

— Поехали.

— Поехали! — воскликнул Алеша, а лицо его озарилось этакой удалью и веселостью, будто он пошел в перепляс.— Поше-ел!

Моторы заревели. Мы теперь шли по крутым поворотам, то врываясь в волну, то выходя в затишек у края берега.

Но вот уже подходим и к Лещеву. Здесь река образует огромный затон длиной около двух километров. Ветер бьет вдоль затона, а волны, нарастая в нем, выкатываются на простор реки и, уже могучие, с белыми гребешками, бьют поперек течения прямо в берег.

Итак, нам надо пройти вдоль течения, но... поперек волны. Это сделать невозможно! Воткнувшись в протоку, мы посоветовались. Решили: ехать обязательно — завтра открытие.

У Алеши мотор стационарный, а управляет он веслом. У меня подвесной: веслом не управишь, а только винтом.

Из протоки надо рывком выйти на волну и поставить челнок по ветру. Только так. В любом другом положении волна накроет немедленно.

А дождь! Обнаглел окончательно. А буря! По-настоящему нахальная.

Первым выскочил Алеша. На полном газу он прижался челноком к камышам протоки, рванулся на простор, взвился на гребень волны и ударил веслом. Брызги беспорядочным фонтаном скрыли челнок... В следующую секунду Алеша вынырнул носом по ветру и пошел в затон, то опускаясь в провал волны, то поднимаясь на гребень.

Я во всем точно подражаю Алеше. Выхожу из протоки вплотную к камышам с подветренной стороны, там разворачиваю вполветра — пока волна еще не так сильна — и... полный газ!.. Вровень со мной, на уровне глаз,— вода! Еще доля секунды... Кажется, ошибка! Но... Челнок задрал нос вверх... Еще доля секунды — и он провалился носом, а я вверху. Порядок! Иду на ветер точно, как по нитке.

Вдали Алешин челнок ныряет и выныривает.

В конце затона в затишке мы разворачиваемся и идем обратно уже под ветер. Так и входим в русло другим берегом затона.

Чтобы обмануть бурю и миновать пятьсот метров поперечной волны, мы сделали крюк в три-четыре километра. Иначе нельзя. Алеша знает дело.

В спокойном месте мы причалили к берегу, отчерпали воду из челноков и присели на борт Алешиного челнока, покуривая из-под капюшонов. Дождь барабанил по брезентовой одежде.

Алеша сказал:

— Ночь будет холодная.

— На остров съедем — и в землянку.

— Захар Макарыч Пушкарь тоже там. Он раньше нас ушел часа на три.

— Веселей будет.

— А что я хочу сказать,— заговорил вновь Алеша.— Что, если бы в такую чертокопытную погодушку тебе бы сказали: поезжай вот так за двадцать пять километров и там ты получишь пятьдесят рублей. Ведь не поехал бы?

— Ни за что. За сто рублей не поехал бы.

— Я тоже. А на охоту едем — мокнем, рискуем, а едем. Чудно́е все-таки творение — человек. Страсть!

Охота! Весной-то еще туда-сюда: две недели — и охота кончилась. А вот как наступит осенняя, то ведь ни единого воскресенья дома не бываю. Моя Ася уже привыкла: в такую пору все выходные мы врозь. Ничего. Ладим. Понимает... Охота! — повторил он еще раз.

И я рассказал ему про тоску Степана с баржи. На это Алеша вымолвил:

— На охоту не пускают — страдалец!

И вот мы вновь уселись в свои суденышки. «Чертокопытная погодушка» не унималась. Начало смеркаться.

Вдруг издали:

— О-о!!! Спа-аси-ите-е!

Ветер донес жуткий крик. Алеша вскочил, отбросил капюшон и весь превратился в слух.

Слышу теперь четко:

— Спа-аси-те-е! Е-е-е!.. Спа-а!..

— Человек тонет!! — крикнул Алеша мне, как глухому.

Он выбросил из моего челнока рюкзак, я — корзину с кряковыми и ружье. Он столкнул пустой челнок в воду и сел на дно. Я — за руль.

— Прямо — на ветер! — скомандовал Алеша.— Левее!.. Правее! Так держать!.. В затоне он!

Он властно выкрикивал во весь голос. Мне оставалось только выполнять приказания. Вот он махнул рукой на берег, приложил ладонь к уху, и я понял: «К берегу». Он дополнил:

— Заглушить мотор! Слушать!

С трудом подошли к берегу. Но неожиданно Алеша встал на колени и рявкнул:

— Вот он!

В наступающих сумерках и в пелене дождя теперь и мне было видно метрах в ста от нас перевернутую вверх дном лодку, которую уже прибило к камышам, тоже залитым водой.

— Разворачивай!

Это на такой-то волне! Но моей воли уже не было ни капли. Была только воля Алеши.

Лодку, конечно, захлестнуло, залило водой чуть ли не наполовину. Алеша схватил черпак и, как машина, заработал им, отливая воду. Потом он сбросил плащ... Сбросил и пиджак... Метрах в двадцати от нас мы увидели, как человек, держась за нос перевернувшейся лодки, боролся за жизнь. Он уже выбился из сил. Он не видел нас.

Алеша скинул сапоги... Крикнул мне:

— Подходи бортом! — Утопающему заорал во все легкие: — Держи-ись!!!

Тот услышал. Метрах в десяти от нас он бросил свой челнок и кинулся, бедняга, к нам в ужасе и беспамятстве.

— Что ты делаешь, мать твою!..— заорал Алеша неистово.

Человек схватился обеими руками за средину борта. Но окоченевшие руки соскользнули, а челнок наш пронесся мимо, снова зачерпнув воды. Казалось, все кончено — у утопающего не было даже щепки, чтобы за нее ухватиться. А я просто отупел, что ли, и поэтому не заметил, борясь с волной, как все случилось.

Алеша в ту же секунду, как соскользнули руки человека, бросился в реку и обхватил его под мышки со спины.

Секунда. Другая. Третья. Вечность!

Позади меня, метрах в десяти, Алеша вынырнул из воды и крикнул дико:

— Це-епь!!!

Я понял. Но как подойти?! Врезаюсь в камыши, точнее — в их торчащие из воды верхушки. Глушу мотор. Выхожу на весле по ветру к Алеше, выбрасываю причальную цепь в воду. Алеша одной рукой схватился за нее, другой держал человека.

— Мото-ор!!! — рявкнул Алеша.

Рванул мотор.

Челнок шел вдоль затона, под ветер, к берегу реки.

Спереди видна только красная, окоченевшая рука Алеши.

Глушу мотор, чтобы не разбить голову Алеши о берег. Хватаюсь за весло. Но Алеша уже оттолкнулся от лодки и выбирался на берег.

В ледяной воде он пробыл не меньше десяти минут.

Человек оказался не кем иным, как Недолиным Петром, или, как его прозвали охотники, Петька Плакун — тоже охотник, но вечный неудачник. Он был в полубессознании, ворочал белками, кашлял и кричал одни и те же слова:

— Ружье! Пропало ружье! Пипер! Пропал Пипер!

Мы бежали к старой скирде камыша, что стояла на берегу, на курганчике. На бегу Алеша ругал Петьку Плакуна на чем свет стоит.

— Корова ты, а не охотник, Плакун чертов... Ружье ему жалко стало...

— А то не жалко,— возражал тот, уже всхлипывая.

У скирды Алеша приказал:

— Берите камыш. Давай сюда... Кру́гом, кру́гом его! Шире круг! Да не так, черт вас дери!.. Быстро — пока дождь перестал!

За три-четыре минуты образовалось два полукруглых валка из камыша метров пять-шесть в диаметре, с двумя проходами. Мои спички в кожаном чехольчике оказались-таки годными. Камыш подожгли со всех сторон. И вот уже Алеша стоит голый в средине круга. От его тела идет пар. С явным удовольствием он пошлепывает себя ладонями. При этом играет каждый мускул — весь он сильный, сухой, точеный. А рядом с Алешей стоял жалкий, тщедушный Петька Плакун и держал над огнем одежду, от которой пар валил столбом.

Я подкладывал камыши в пламя так, чтобы в кругу было тепло, но не жгло.

Буря постепенно утихала.

Алеша обратился непосредственно к небу:

— Так, так, чертова непогодь! Нельзя же издеваться над человеком. Давай, давай затихай, пожалуйста... Давай мирное сосуществование.

Когда же образовался валик золы высотой в полметра, Алеша скомандовал:

— Хватит подкладывать! Баста! — И сел в кругу на корточки, разложив одежду.

Остальное я сделал уже по своей собственной воле: сбегал к тому месту, где остался Алешин челнок и мои вещи, притащил рюкзак, вошел с ним в теплый круг, достал поллитровку.

— Сразу видно — человек! — восхитился Алеша.— И соображенье есть!

С этой секунды его командирство прекратилось, мне уже можно было не подчиняться беспрекословно, как прежде.

Они оба выпили по стакану водки. Из рюкзака я вытащил запасную пару теплого белья и подал Алеше. Он взял ее в руку, подержал чуть и подал Петьке со словами:

— На, надень... Загибнешь ведь, сухарь чертов...

— Ты что лаешь?! Что лаешь! — вскипятился тот. Но белье надел.— Человек ружья лишился, а он...

— Присохни, Петька,— перебил его Алеша.

Петька Плакун «присох»: замолчал и стал приплясывать.

Мои высокие охотничьи сапоги с ботфортами, конечно, не пропустили ни капли воды, а штормовка, хотя и стояла колом, не промокла. Поэтому я разделся, снял белье, отдал Алеше (у нас с ним одинаковый пятьдесят четвертый размер), а сам остался в теплых ватных брюках. Мой ватник надел Алеша.

Теперь мы сидели, окруженные теплом. Сверху начали выпрыгивать из облаков звезды. Потом и серп луны поехал по облакам лодочкой, то скрываясь, то появляясь вновь и будто проверяя, что же случилось на земле во время бури за его отсутствие... Почему-то мне опять вспомнился Степан с баржи.

— Как же ты опрокинулся, чучело? — спросил Алеша спокойно.

— Как... Очень просто... Надо бы до конца затона ехать, а мне показалось, можно разворачиваться... Ну, и...

— Кукла ты — больше никто,— беззлобно утвердил Алеша.— Лень тебе проехать пятьсот метров лишних... И всегда ты выкинешь какую-нибудь кадрель. Охота — это тебе не игрушки. А ты...

— Ну уж...— попытался возразить Петька.

Но Алеша его перебил:

— Ты мне не возражай! Кто своего собственного кобеля поймал на удочку? Ты. Кто сам себя поймал за ухо щучьим тройником? Ты. Кто наступил в лодке на голову кряковой утке, своей личной утке? Опять же ты. Кто прострелил дно в собственном челноке? Ты! Да что там! — Алеша безнадежно махнул рукой.

— Ну, было. Ну, было... Дак то ж случайно,— все еще пытался отговориться Плакун.

Но Алеша его давил:

— Сидел бы ты в своей артели да делал горшки, раз у тебя к тому талант есть.

Мне даже стало жаль Петьку. Я ведь хорошо знаю, какие чистые, блестящие, идеально гладкие, а иногда и расписные горшки он выдает из своих рук.

Наконец все обсохли и все просохло. Алеша надел свои кальсоны и рубашку, потом верхнюю одежду. Пла-

кун тоже. Так мы потеряли не меньше полутора часов. Была уже ночь.

Петьку мы высадили на противоположном берегу. Он вылез из челнока, постоял-постоял немного и сказал в абсолютной безнадежности:

— Пойду в Лещево. Ночую.

А когда скрылся в темноте, Алеша проговорил:

— Ну и фигура! Завтра будет весь день болтаться по затону, ловить челнок да искать ружье. Придет в Лещево к рыбакам и заканючит: «Пи-ипер поги-иб!» Ну, и... найдут ему.

— Думаешь, найдут?

— Найдут. Жалко вот уток. У него две кряковых — теперь потопли.

— А может быть, не потопли?

— Потопли. Он ведь их в фанерном ящике возит, чудо преестественное. Жалко уток.

Иногда весной бывает так: налетит буря, погуляет часа два-три и так же неожиданно затихнет, как началась. Река присмирела. Лишь мелкая волна похлестывала о берег. Просвистела стая уток.

Мы подъехали к своей первой стоянке, снова все уложили, привели в порядок хозяйство и тронулись дальше.

До самого Далекого мы уже ни разу не остановились и не перекинулись ни единым словом. Под журчанье мотора, напряженно всматриваясь вперед, я вспомнил Степана: как-то они перенесли бурю?.. Наверно, как раз молоко перевозили...

А челнок бежал и бежал. И урчал. Хороши — очень хороши! — вот такие урчащие ночи после бури. Ты — и ночь. Ты — и вода. И больше ничего. Ненастье где-то уже далеко позади.

Часов в двенадцать мы высадились на острове Далеком, вытащили челноки, захватили ружья и рюкзаки и пошли в землянку за триста — четыреста метров от берега, на бугре.

Лес тихонько шумел тем особенным весенним шумом, когда ветерок пронизывает насквозь еще голые ветки: то он звучит басовой струной, то взвизгнет со свистом, то — как шмель, то будто кто-то дует на листы плотной бумаги, а то вдруг все эти звуки смешиваются в общий гул, беспокойный, нетерпеливый, требовательный при порыве ветра. Потом снова затихнет, и тогда скрипнет

старая осина, наверно, уже сухая, но ее тут же заглушит настойчивый весенний шум. Голос гнилой осины никогда не может пересилить шум молодого леса.

Из землянки, как только мы открыли дверцу, на нас пахнуло теплом. У жарко растопленной печки сидел Захар Макарыч Пушкарь и подкладывал дрова. Он обернулся к нам, вскочил и отчеканил, вытянувшись во фронт:

— Докладываю: караульное помещение натоплено, чай готов! Лось подходил к землянке! Никаких происшествий не случилось.

— Вольно! — ответил Алеша и так же шутливо спросил: — Оружие при себе?

Я рассмеялся, а Захар Макарыч выпалил:

— Так точно! — Но вдруг, спохватившись, с поткой обиды проговорил: — Ты, Алеша, не тово... Кто старое вспомянет, тому глаз вон.

Только мы втроем знаем, о чем шла речь. Было однажды так, что Захар Макарыч приехал на охоту... без ружья. Забыл дома. Это могло случиться только с ним — ни с кем больше. Однако даже такой случай не умаляет достоинств нашего друга.

Потом мы под карманный фонарик пили чай. Макарыч сидел против меня. Лицо у него широкое, скуластое, с большими губами, изрезано крупными редкими морщинами. Если кто-либо встретит его в камышах или в лесу впервые, то он, пожалуй, может показаться страшным. Но стоит ему заговорить или засмеяться, как перед вами уже совсем-совсем другое лицо: так плавен и мягок у него голос и так чист и искренен смех. И тогда вы обязательно посмотрите ему в глаза, потому что они сами смотрят открыто и просто. Ему уже шестьдесят пять — он на пенсии,— но дать больше пятидесяти невозможно. Роста он ниже среднего, коренастый, с короткой мускулистой шеей. В его больших руках кружка с чаем кажется маленькой чашечкой.

Захар Макарыч пил чай с удовольствием. Сначала он откусывал большой кусок хлеба и отправлял его за щеку, затем с хрустом прямо-таки отрубал зубами кусочек сахару и шумно отхлебывал чай до тех пор, пока шишка, образовавшаяся на щеке от хлеба, не исчезала. И тогда все повторялось снова в том же порядке. Уж до того аппетитно!

— Покачало вас? — спросил он во время чаепития.

— Малость,— ответил Алеша.

— Не то чтобы малость, а средне,— уточнил я, не желая явного преуменьшения.

— А ты как доехал? — спросил Алеша.

— Я-то? Я хорошо доехал. Буря меня почти не захватила.

— А мы Плакуна вытащили,— сказал Алеша так, будто он вытащил из воды жука, не больше.

— Опять тонул! — воскликнул Захар Макарыч.

— Опять. Лодка перевернулась. Ружье утопил. Пошел в Лещево.— Алеша говорил это в раздумье, как бы мимоходом, и все только что происшедшее, казалось, уже далеко и не заслуживает серьезного внимания. Он так и заключил: — А ну его, чучело...

Так-таки я не мог понять, почему неприязненно отзывается о нем Алеша. И спросил:

— Отчего ты так поносишь Петьку? Ты же его спас, а сам кроешь с первой же минуты.

Алеша ответил, смеясь:

— Воспитываю. Агитатором к нему закрепился.— Потом серьезно:— Его хоть сто раз вытащи из воды — все равно опять тонуть будет.

— Пока не утопнет совсем,— добавил Захар Макарыч.

— «Утопнет...» Есть такие люди: тысячу раз помирает, а до ста лет живет.— Так Алеша вновь обошел мой вопрос.

Захар Макарыч относился к Плакуну тоже явно недоброжелательно. Он сказал, вытирая губы:

— Плакун и есть Плакун. Ему при каждом несчастье люди помогают, а он — никому. Леший с ним... Давайтека поговорим про охоту.— Лицо его подобрело.— Вот вопрос: какая заря будет? Пошли подумаем.

Мы вышли из землянки.

На небе вызвездило, но ветерок пока еще гудел в ветвях и шумел в камышах. После теплой землянки мне показалось сначала холодно и даже сиверко, но погода явно улучшалась.

— Заря будет холодная,— определил Алеша.

— Зато тихая,— с надеждой сказал я.

Все согласились иметь тихую зарю и с этим настроением вернулись в землянку, захватив из челноков кряковых. Они энергично загалдели между собой, но вскоре, договорившись, умолкли, успокоились.

Мы постелили на полу сена, заготовленного хозяйственным Макарычем, развесили над печуркой на жерди одежду и улеглись, погасив фонарик. Я — в середине, слева — Алеша, справа, прямо у жерла печурки,— Захар Макарыч. Он сам пожелал лечь поближе к теплу, предварительно подбросил еще дров на ночь и растянулся в полном блаженстве.

— Вот она, настоящая жизнь-то, где! И чего тебе еще, Захар, надо? Ничего не надо,— спрашивал и отвечал сам себе Захар Макарыч.

— А хорошую зорю? — спросил я.

— И еще хорошую зорю завтра. А больше ничегошеньки.

— А две пары селезней? — докучал я.

— Ага. И еще две пары селезней... Тьфу, пропасть! Никак человеку не угодишь,— спохватился вдруг Захар Макарыч.— Все ему мало, человеку. Уж вот, кажись, все-все хорошо и все есть, а, поди ж ты, опять не хватает чего-нибудь... Может ли человек быть счастливым? — спросил он.

— Сам же сказал: «Опять не хватает чего-нибудь»... Человеку все мало,— ответил Алеша.— Только умом все довольны и всем хватает до отказа. Только умом все довольны... Ни один идиот не жалуется на нехватку ума. А всего прочего всегда мало.

Захар Макарыч приподнялся на локоть, и его мягкий голос зазвучал совсем близко от меня:

— Что я скажу, Тихон Иваныч, про эту самую жар-птицу, счастье. Мы, брат, сами не знаем, когда счастливы, не замечаем... А когда несчастны, то понимаем все...

— Пожалуй, загибаешь,— проговорил Алеша.

— Подожди. Слушай. Я двадцать шесть лет проработал на комбайне. Сколько труда, неприятностей, пыли, грязи! Сколько я, прости бог, матерков навешал на хедер сушить... И-их! Вспомнишь, аж совестно... и муть на душе. А как пошел на пенсию... как стал сдавать комбайн, тут и...— Голос его чуть-чуть задрожал. Он снова лег.— Что ж ты думаешь: вспомнил и утречко в поле, и хлеба́... много хлебов. Я их убрал — счету нету... Сдал комбайн — сердце заболело. И думаю: да неужто же так я больше и не буду на комбайне-то? — Он откашлялся.— И показался я себе тогда несчастным человеком... А раньше не замечал, что хорошо-то.

Он замолчал. В землянке стало тихо. Алеша заснул крепким богатырским сном, откинув на меня руку. Захар Макарыч некоторое время ворочался с боку на бок, потом тоже уснул. А мне что-то не спалось.

И припомнился июль 1956 года.

Директор и механик стоят на штурвальном мостике комбайна Захара Макарыча Пушкаря. Он вывел его на первый круг. Объехал раз... другой. Всю зиму и весну он готовил комбайн, как на парад: не было той гайки что бы он не подержал в руках. Это был прощальный ремонт. Захар Макарыч был молчалив: никому ни слова. Рядом с ним стоял Сережка, молодой парень лет двадцати трех, новый комбайнер. Ему-то и должен был сдать комбайн Захар Макарыч, уходя на пенсию.

Вот уже проехали и третий круг. Директор сказал:

— Ну что ж, Захар Макарыч... наверно... надо. Пора.

— Пора,— глухо произнес старый комбайнер.

Они сошли на стерню. Это значило, что сейчас комбайн будет передан другому.

Захар Макарыч обходил вокруг машины — такой знакомой, послушной и безотказной, гладил ладонью железо и деревянные планки хедера. Взобрался на мостик, глянул на поле и, опустив голову, махнул безнадежно рукой. Потом сошел вниз. Губы у него задрожали, суровое и грубо выточенное лицо в тот миг было — ей-богу — нежным. Он подал руку Сереже и сказал:

— Бери... Сережа... Работай лучше меня... И это...

Захар Макарыч не мог договорить. Отвернувшись от нас, он прижался лбом к стенке под выгрузным шнеком.

В то лето он выходил к комбайну каждое утро, как и много лет подряд. Иной день он заменял Сережу.

Засыпая, я очень желал счастья Захару Макарычу Пушкарю, знаменитому когда-то в районе комбайнеру.

Кто-то стукнул дверцей. Я лежал с закрытыми глазами, уже проснувшись. Не хотелось даже шевелиться — так овладел мной покой. Дверца скрипнула еще раз, и Захар Макарыч рявкнул:

— Подъе-ем!

Заря приближалась! Сборы были короткими. Мы вышли в затон на веслах. Там разъехались в разные стороны. Алеша — на Квочку, я — в Голову, Захар Макарыч —

на Голубую. Это все названия плесов и озер, окруженных камышами.

Теперь я совсем один: вода, камыши и я.

Ветер не шелохнет... Тишина. Ее не хочется нарушать даже всплесками весла. Бесшумно опускаешь весло в воду и так же тихо гребешь. Слышно лишь, как стекают капли, когда весло на минуту оказывается над водой. Старые, прошлогодние камыши темнеют стеной, а лес на фоне предутреннего неба совсем черный.

Зоревой, полусонный и бледный, как кусок матового стекла, месяц уперся рогом в край земли, кажется, задумался: ложиться на отдых или подождать еще маленько, пока погаснет последняя звезда.

В полутьме я виляю на челноке по протоке, ведущей в Голову. От тишины шумит в ушах.

По тому, как от нечаянного удара веслом начали брызгаться на меня камыши, замечаю: ложится роса — предвестник ясного утра.

Еще несколько минут — и я на озере, в Голове.

Потом утро серой пеленой повисло над водой с легким, чуть-чуть заметным туманом-дымкой. В этот час камыши на краю озера кажутся далеко от тебя, но на самом деле они всего в двадцати — тридцати метрах. Это еще не утро — это конец ночи, такой бурной в начале и такой смирной и тихой в конце. Вчера, сразу же с вечера, она сердилась, бурлила, неистовствовала, а теперь вот до того покорна и спокойна, что нежная светло-алая полоска на востоке без труда отсекла горизонт от ночи, затолкала за лес бледный серп месяца, так долго раздумывающий и нерешительный, и уже занимает небо все выше и выше, все шире и шире. Заря именно занимает небо. Как все-таки точно русский человек выбрал слова: «Заря занимается».

Получилось, что я не заметил, как встал со скамейки и снял треушник. Да так и стоял, боясь стронуться и спугнуть тишину.

И вдруг... Я вздрогнул! Тихо каркнула цапля. Этот звук настолько неожиданно ворвался в тишину, что, казалось, он рассек пополам озеро. В раздумье я и прозевал начало охотничьей зари. О чем жалеть!

И вот, уже торопясь, въехал в заводь озера. Неподалеку от берега островком торчала прошлогодняя куга. Она густа и лежит в одну сторону, как расчесанная гребнем. Осенью она была высока — около двух метров,— а

теперь лежит пластом. Лучшего места для засидка не найти, и никакого шалаша не надо строить. Мы его сделаем в два счета!

Вы переходите в нос челнока, подъезжаете к островку наполовину затопленной куги, кладете весло в лодку. Затем, поднимая перед собой шалашиком кугу, постепенно въезжаете в нее, пригнувшись. Когда лодка войдет вся в этот шалашик, подвязываете изнутри с каждой стороны по одной хворостине, заготовленной тут же у куста, что рядом с вами. Засидок готов! Он ни для кого не заметен — вы спрятались от острого глаза птиц. Теперь остается выпустить кряковую утку. Для этого осторожно выезжаете из шалашика и на бечеве (с грузилом) выпускаете утку и вновь возвращаетесь в готовый засидок. Вот и все. И ждите счастья.

Теперь мир сузился до предела: в отверстие видна только крякуха и немного воды. Где-то сначала нерешительно, а потом смелее закричала дикая утка. В ответ ей прожавкал селезень. Он, кажется, у того края озера. Моя Аленка, услышав его голос, забила любовную тревогу в частуху, надрывно, со страстью, чуть пришлепывая крыльями.

Все! Весь мир заслонили эти крики. Внутри дрожь. Пальцы сжимают шейку приклада. Сердце бьется часто-часто...

Свистят крылья селезня. Он делает первый круг «с голосом», второй молча и, не выдержав призыва, плюхается в трех-четырех метрах от Аленки. В полумраке еще не очень четко видно любовника. Он то покажется силуэтом, то сольется с кочкой — стрелять нельзя. И вот сначала слышу, а потом уж вижу: он рядом с Аленкой. Она ласково и так часто-часто щебечет ему: ка-ка-ка-ка! Она приседает, чуть откинув крылья. Потом...

Они полюбили друг друга.

Теперь вижу его отчетливо: красавец, с галстуком! Он отплыл от Аленки метров на пять. Потом на десять. Он зовет ее, зовет с собой, на волю, в воздух, приглашает к взлету в небо. Он соблюдает веками установленный этикет — не подниматься в брачный облет раньше самки. Аленка рвется на бечеве, она бьет крыльями, стремясь к супругу, но что можно сделать!.. Он уже перестал ее звать и смотрит удивленно, озираясь по сторонам, почуяв что-то неладное...

Все вокруг уже видно даже и через кугу: можно стрелять. Но надо ли?.. И я опускаю ружье... Редкий охотник убьет селезня, покрывшего его утку, да еще с первой зари, с первого крику. Разве можно убить счастливого!

И тогда от моего легкого стука ладонью о борт челнока красавец срывается с воды и без облета, без прощального круга, уходит ввысь. Аленка кричит отчаянно, безнадежно, в великом горе и одиночестве.

На несколько минут она наконец замолкает. Потом кричит уже редко и основательно, прислушиваясь и склоняя головку набок. Крикнет раза три-четыре — и слушает. Крикнет — и слушает.

И снова свист крыльев. Снова крик нового селезня. Аленка дает «осадку» страстно, музыкально и почти беспрерывно. В переводе на человеческий язык это означает: «Ах-ах-ах-ах! Какой вы прелестный и молодой! Ах-ах-ах! Не проходите мимо! Ах-ах-ах! Как отлично вы одеты и какой исключительный галстук! Ах-ах-ах!» Разве не все равно ей — какой это селезень! Вот стерва, прости боже... Он отвечает ей жавкающим сиплым голосом: «Что ж-ж-ж, по-ж-жалуй, мож-жно».

Но этот оказался «битый». Он дал один круг, второй. Вот уже зашел и на третий, а на посадку, видно, и не собирается. Я встал в куге во весь рост, приложился и выстрелил. Селезень, как ошпаренный кипятком, упал метрах в тридцати от меня. Эхо взбудоражило утро. Дрожь внутри прошла.

Точный выстрел — и я счастливый. Охотника делает счастливым первый удачный выстрел. Удивительное существо — человек!

Слышу справа — Захар Макарыч ахнул!.. Прямо от меня — вдалеке ударил Алеша... Потом еще раз — моя удача. За полчаса зари каждый выстрелил несколько раз.

Заря кончилась. Солнце вышло из-за горизонта, брызнуло золотом по верхушкам леса. Золотым ковром оно пересекло озеро и заиграло на воде блестками. Становилось все теплее и уютнее.

Четыре селезня уже лежат у меня рядышком. Аленка, довольная, как оказалось, всем происшедшим, встряхивалась, сидя на лавочке, и обирала перышки. Селезни ее уже не интересовали: заря кончилась.

Было тихо и золотисто. И такой покой был вокруг и рядом со мной, что не хотелось двигаться. Так я

и стоял посредине озера еще добрых полчаса, ни о чем не думая.

Слава тебе, грядущий весенний день!

Через двое суток на обратном пути, переправляясь через Дон, я узнал печальную весть.

Во время той бури баржу стукнуло о берег. Степан бросился на край палубы с бревном, чтобы подложить под автомобиль-молоковоз и тем спасти его — а иначе, по мокрому, он сполз бы юзом в воду. В этот момент баржу ударило еще раз. Автомобиль вместе с бревном скользнул, ударил храбреца бортом в голову...

Степана не нашли...

Рассказал мне об этом Кирюха.

— Пока не нашли,— закончил он с тоской и тяжко вздохнул.

Потом он сел, подвернул под себя одну ногу и грустно, задумчиво смотрел в воду.

Дон был спокоен, тих, невозмутим. Чайки плавно скользили над водой. Сверху чибис спросил у нас: «Чьи вы?» — но на него никто не обратил внимания. Солнце грело.

На обрывистом берегу молоденькая женщина дико выкрикивала только одно слово:

— Степа-ан!!! Степа-ан!!!

Этот жуткий крик терзал сердце.

Мне трудно было дышать.

3. ЗАРЯ БЕЗ ВЫСТРЕЛА

А весна разыгралась.

На солнцепеке невесть откуда появились красные пятна — это божьи коровки, смирные, доверчивые. Нежные сережки вербы крупными серебряными бусинами осыпали ветки. Щеточкой вылезла трава на лугу, и он заиграл неповторимой свежей, весенней зеленью. Вода начинает сбывать, с каждым днем все больше и больше, освобождая затопленную пойму. Все цвета чистые, точные, без мягких переходов одного к другому, но сами они удивительно мягки: серебряные сережки, красные божьи коровки, зеленая травка, голубое-голубое небо вверху, необъятное и величественное, и голубые-голубые подснежники внизу — капельки неба на земле! А утром и вечером — золотая вода, разукрашенная солнцем.

Прошло несколько дней, как я расстался с друзьями. Мы договорились: вновь ехать в Далекое на воскресенье. Алеша — на две зари, а мы с Захаром Макарычем — на четыре, то есть на два дня.

В субботу вечером мы уже сидели на берегу Далекого у костра, уже отохотившись вечернюю зо́рю. Алеша взял двух селезней, я — одного, Макарыч — нуль. Утки стали не так доверчивы, как в первые дни прилета (по выражению Захара Макарыча, «практикованные»).

— А и как им не быть практикованными,— подтвердил Алеша, подкладывая в огонь сучья.— На пять километров от Камышевца на каждой кочке охотник, а в каждом паршивеньком болотце кряковая утка. Это ведь сюда никто не заглядывает — большой воды, камышей боятся,— а та-ам, боже мой, что там творится! Так орут кряковые, так орут — кажется, с них шкуру снимают с пером и лапки прочь отдирают.

Захар Макарыч, соглашаясь с собеседником, спокойно поддерживает разговор:

— Он, селезень-то, за сто километров поймет такой ералаш у Камышевца. Летит пулей мимо них и — сюда, и — сюда... Так что не каждый подсядет теперь и к нашим.

Мы с Алешей не возражаем против того, что «селезень за сто километров поймет»,— мы знаем склонность нашего друга к преувеличениям. Он, например, может сказать: «Я тебе говорил четыре с половиной миллиона раз!»

В тот вечер он сказал Алеше:

— Ты что: пять тыщ сучков хочешь сжечь? Хватит подкладывать — и так жарко.

Алеша посмеялся:

— Четыре тысячи двадцать пять с половиной... Еще полтысячи — и достаточно.— Он подложил все-таки еще пару крупных веток и спросил: — А чего же ты, Макарыч, на нуль сегодня сел? И не стрелял?

— Нет. Не стрелял.

— А чего?

— Нельзя было.

— Почему нельзя? — приставал Алеша.

— Как тебе сказать... Такая штука получилась...— Захар Макарыч замолчал, не договорив.

Я тоже пристал к нему.

Макарыч открыл нам секрет:

— Завтра свадьба будет. Сваты приходили.

— Э-э! Тогда понятно! — воскликнул Алеша.

Мне же ничего не было понятно: что за свадьба тут в камышах? Какие сваты? Почему нельзя было ему стрелять селезней? Все эти вопросы я высыпал перед Захаром Макарычем в одну кучу.

Они оба рассмеялись. Потом Алеша наконец-то ответил, протянув:

— Ца-апли-и. Это он про цапель.

Мне стало стыдно оттого, что не понимаю. Но я уже чувствовал, что мне предстоит сделать открытие. И, как всегда в таких случаях, заволновался.

А Захар Макарыч подсел ко мне и ворковал:

— Если вечером рядом с ними стрелять, то свадьбу не увидим — улетят в другое место... за пять тыщ километров... Поедем на утреннюю вместе? Чудно́ будет — дым из макушки! Из десяти тыщ охотников один только, может, и видал такое.

Алеша подправил:

— Из тысячи один — это точно. А я видал. Захар Макарыч показывал. Покажет и тебе, Тихон Иванович. Ты езжай с ним, езжай — не пожалеешь.

Хотя ночь была по-весеннему холодна, но ночевали мы на открытом воздухе, постелив остатки прошлогоднего сена на то место, где был костер, и предварительно очистив всю площадку веником из прутьев. Уснули быстро.

...Алеша толкнул меня в бок:

— Пора вставать. Скоро заря.

На двух челноках мы отправились с Захаром Макарычем на протоку. Это подобие узкой канавы в камышах, ведущей на край луга. Ехать надо было не меньше трех километров — мы спешили, отталкиваясь веслами, стоя во весь рост. Хотя челноки двигались довольно быстро, к месту мы прибыли, когда уже заря занялась, но все-таки еще не рассветало. Я следовал по пятам за челноком Захара Макарыча. Он с ходу воткнул челнок под ветви ветлы, боком склонившейся над сухими камышами. Я сделал то же самое, и мы оказались рядом, борт к борту. Мой спутник приложил ладонь к губам: дескать, надо тихо! За все время пути он не произнес ни единого слова. Мне казалось, что он наслаждался тишиной. Но

тут надо было молчать, вероятно, по необходимости. К тому же мы попали в самое что ни на есть начало зари. Я указал на корзину с кряковыми, что означало вопрос: «Будем пускать или нет?»

Захар Макарыч притронулся к моему плечу: «Не будем».

Ладно. Сидим без единого шороха.

Нигде ни звука.

Потом упала с ветлы в воду капля — звонко и чисто так, как мне никогда не приходилось слышать за все сорок лет охоты. Это, конечно, от неимоверной тишины. Из всего мира звуков, которые мы всегда слышим, чистого, свободного «от помех» падения весенней крупнейшей капли мне, оказывается, не пришлось слышать. Они, капли, всегда окружены беспокойными шумами, а здесь — звонко-презвонко: блюк-к-к!

Я ждал второй капли, но она беззвучно ударилась о камышинку. Ждал третью...

Третьей капли для меня не было — я ее уже не мог слышать: ухнула выпь! Этот дисциплинированный горнист природы открывает зо́рю всегда точно: заиграл — значит, подъем для всего живого в камышах. И тогда крякнет утка, тогда спросонья защебечет камышевка, тогда шлепнет ногой о воду цапля и завозится в ветвях невесть какая птичка. Выпь-горнист и вечером «играет отбой» — закрывает зо́рю: если она ухнула вечером, то все — охота кончилась! Только, пожалуй, взлетит утка, уходя на кормежку уже в темноте. Но взлетит с голосом, как бы приветствуя и благодаря горниста и предупреждая молодежь (если летом) о том, чтобы сидели тихо и ждали голоса горниста — тогда она прилетит вновь. Ухнет выпь летним утром, прислушаешься — запищат утята: сейчас мать прилетит.

Итак, заря началась.

Светало.

В нескольких шагах села утка, а за ней в ту же минуту шлепнулся селезень. Она прокричала дважды. Еще второй селезень упал рядом. И пошла катавасия! Оба красавца сцепились в жаркой схватке, с озлоблением шипя и клокоча. Тот, что явно посильнее, наконец впился в «шапку» противника и стал его топить, кружа на воде и ударяя крыльями. Оставив часть собственных перьев, побежденный вырвался и улепетнул прочь, рассекая воду и вытянув шею. Но он не улетел, а, пристроившись у края

островка, притих в полной покорности. И только после того как победитель сделал все, что ему нужно сделать, тот неудачник поднялся от стыда в воздух. Делать ему тут больше нечего. Он и поднимался-то как-то тяжело, неуклюже, боком, в этаком безутешном унижении.

Начало всходить солнце.

В камышах кто-то тихонько шлепнул о воду. Потом еще, уже в другой стороне от нас. Потом звук: кр-рп... Знаю: цапля! Ответ последовал более нежно: р-рп-р-р. После этого — несколько голосов по очереди громко и призывно: кар-р! кар-р! Но это совсем не похоже на карканье грача, а чуть-чуть с гортанным клекотом, однако и не так, как цапля кричит перед дождем (тогда она орет на лету во все горло, предвещая ненастье).

И вот она вышла шагах в двадцати от нас на островок, около которого только что сидел несчастный селезень. Вышла чинно и даже чопорно. Остановилась, расправила огромные крылья, чуть присев, затем сложила их, чуть встряхивая, и огласила окрестности брачным призывом.

Где-то под ветлой, позади нас, зашумело. Мы теперь увидели, как самец выплыл на крыльях планером, чуть отлетел от невесты и, вернувшись, пошел над ней кругами, выкрикивая тихо и нежно: кар-р! кар-р! Следом за ним появился второй. Потом третий... Их было шесть женихов. И все полетели друг за другом по эллипсу, то заходя под кроны огромных ветел, то появляясь на просторе. И все покрикивали свое «кар-р». Она же поворачивалась, то вытягивалась, то приседала, приоткрыв крылья.

Солнце взошло совсем. Позолотило ветлы. В его лучах сверкали серебряные крылья серых цапель. Они все ходили и ходили точно по эллипсу, явно соблюдая какой-то ритуал. То кто-то из них немного снизится и каркнет погромче, а она ответит на цапельном языке этаким ласковым коротким курлыканьем; то один самец догонит другого и обойдет его на невидимом для нас треке. Мне так и осталось непонятным, как она выбирает супруга на таких чудесных, таких чинных и до удивления красивых смотринах. Именно красивых!

Но один из них, кажется самый большой, сузив круг, неожиданно сел рядом с невестой. Она несколько раз переступила, изогнув шею и опять же приоткрыв крылья. Он обошел вокруг нее. Потом еще раз обошел, но уже

в обратную сторону. Снова повторил то же самое и в том же порядке. Было очень похоже на плавный танец.

Потом он направился к протоке. Там остановился у маленькой заводинки, замер и вдруг вытащил из воды рыбку... Как он с ней шел обратно! Как шел! Гордо, уверенно и в то же время удивительно вежливо. А она, уже полураскрыв крылья, приветствовала его голосом. Он подошел и подарил ей рыбку из клюва в клюв. Она присела! Проглотила подарок. И только тогда все случилось.

Я не заметил, куда делись побежденные женихи — их уже не было. Не заметил потому, что так захватывающе было зрелище с подарком.

Супруги ушли в старые камыши пешком. Впереди шел он, за ним — она. Шли медленно, тихо, степенно, как от церковного аналоя, освещенные уже ярким солнцем.

Кроншнеп прокричал свое «тоу-у! тоу-у!».

Захар Макарыч вздохнул и сказал первые слова за всю зорю:

— Диво! Чистое диво! Пятый раз смотрю, а все интересно... Ка-ак он к ней шел! Ты только подумай: откуда это у птицы такая ласка? Ведь цапля, если сравнить с другими птицами, урод, а, поди ж ты, какая нежность, какой обряд... И, главное дело, подарок от жениха обязательно.

Все это он говорил в каком-то раздумье, тихо, удивленно, а на его грубом лице сияли голубые глаза, ничуть не тронутые возрастом.

Когда же я рассказал ему, как толкунчики, насекомые, перед спариванием преподносят подарок самке, то он сложил руки на груди крест-накрест, закатил глаза, собираясь тут же умереть от удивления, и воскликнул:

— Помрачительно! Тыщу лет живи — всего не узнаешь!.. Удивленье! Ей-право, удивленье. Понимаешь, Тихон Иваныч: вот я уже, пожалуй, старик, а все это занятно.— Но почему-то он еще раз вздохнул все-таки.

Мы выехали из засады и наладились возвратиться на остров Далекое, так и не разрядив ружья за эту зорю.

И вдруг... выстрел! Где-то неподалеку от нас, по направлению к руслу, кто-то охотился. Прислушались. Отчетливо донесся неосторожный, сильный всплеск весла: настоящий охотник не болтает веслом, как мешалкой в кадушке.

— Кто бы это мог быть? — спросил я вполголоса.— За всю зорю ни единого выстрела, а теперь вдруг...

— А ну-ка, поедем туда,— сказал Захар Макарыч.

Не дожидаясь согласия, он оттолкнул челнок.

Метрах в четырехстах от нас мы обнаружили торчащую из засидка корму челнока. Подъехали. Там сидел Петька Плакун.

— Ты чего стрелял? — спросил Захар Макарыч.

— Промазал,— ответил Плакун, казалось, безразлично.

— Почему не в зорю, без времени? В кого?

— Опоздал я на зорю.

— Стрелял в кого? — настаивал Захар Макарыч.

— Да в селезня же, в селезня. Чего пристал?

— Без зари он не сядет. Нет, постой! — Захар Макарыч подтянул свой челнок, перехватившись за камыши, и уже буквально зарычал, глянув под корму: — Да ты что же натворил, чертова рожа?! — Он перечислил в качестве приложения несколько не очень печатных слов и выхватил из челнока Плакуна убитую утку-самку.— Что ты делаешь, гад заморский?!

— Я, я... нечаянно,— пытался оправдаться Плакун.

— Ах ты нечисть! — ревел Захар Макарыч.— Миллион раз нам долбят: «Не тронь утку весной». Ты кого убил? Мать убил. Двадцать голов от нее было бы осенью, а ты, подлец, убил мать. Давай билет охотничий! Давай сюда, рыло!

— А кто ты такой, что я тебе билет выложу? Отвяжись. Присучился... Ну убил, ну нечаянно. С кем не бывает.

— Ни с кем не бывает! Ни с кем! Только с тобой! Ты хам в природе. Хуже зверя, сказать тебе прямо.

— Если ты еще раз скажешь такие гадостные слова, я тебе! — Плакун погрозился кулаком.

— А ну, подавай сюда билет,— потребовал и я, помогая Захару Макарычу и стараясь сохранить спокойный вид.

Плакун крикнул:

— Никакого билета не дам! — И схватился за ружье.

Мы прижали оба челнока к бортам Плакуна.

— Ружьецо положи,— теперь спокойно сказал Захар Макарыч.— Стрелять ты в нас не будешь. Вот так. Три челнока из камышей не спихнешь. Сиди аккуратненько и не топорщись. А я кликну сейчас Алешу.

При этом он отнял у своего ружья цевье, потом стволы. Провел языком по губам, приставил к ним ствол и издал такой сильный трубный звук, что похоже было на охотничий рог. Так повторил трижды: протяжно и требовательно. Это был наш условный сигнал опасности.

Плакун снова пытался угрожать ружьем, пробовал выехать из засидка, но Захар Макарыч, держа утку за лапки, замахивался на него и рыкал:

— Сиди!

— Сколько сидеть? — кричал тот.

— Цыц!

Вдруг Плакун шагнул в своей лодке, очутившись лицом к лицу с Захаром Макарычем, схватил его за грудки и, как хорек, накинулся, взвизгнув:

— Убью-у!

Я схватил его за руку, но он отмахнулся, отступив, а я чуть было не полетел в воду. Плакун оттолкнул наконец свой челнок, оторвавшись от нас.

Тогда я сказал:

— Плюнь, Захар Макарыч. Приедем домой, составим акт и передадим в суд.

— Суд на такую сумму не принимает,— зло усмехнулся Плакун, уже наладившись ускользнуть.

— Егерю передадим! — грозился я.

— С нашим удовольствием,— загадочно сказал Плакун и поехал.

Из протоки, широко взмахивая веслом, стоя в челноке, показался Алеша Русый. Он увидел всех нас троих, о чем-то, наверное, догадался и с ходу подошел к борту Захара Макарыча.

— Что за крик? — спросил он.

— Вот смотри.— Захар Макарыч показал утку и ткнул пальцем в сторону Плакуна.

Тот уже был метров за сто от нас. Но Алеша, взяв в руки утку, окликнул строго:

— Петька!

— А? — отозвался тот.

— Постой-ка.

Петька стал.

— Давай сюда,— позвал Алеша.

Петька, к моему удивлению, повернул назад и подъехал. Лицо его теперь уже было трусливое и жалкое.

— Ты? — спросил Алеша, протянув утку.

— Я ж... нечаянно,— съежился Плакун.

— Билет,— тем же спокойным тоном потребовал Алеша.

Плакун отдал охотничий билет без единого слова. Тогда Алеша взял Петьку за шиворот, как котенка, и, так придерживая, ударил его уткой по лицу. Потом еще раз. Плакун — ни слова, ни звука! Алеша — тоже. Так он огрел его раз пять-шесть и спросил:

— Будешь?

— Не буду...

— Не надо, Алеша... не бей! — просил Захар Макарыч.— Не надо.

Я взглянул в его сторону. Лицо его выражало жалость: он не мог смотреть, когда бьют человека. Впрочем, он так и дополнил:

— Человек же!

— Кто? Петька? Плакун чертов, вот он кто.— Алеша обратился наконец к Петьке: — Я бы тебе тут молотьбу устроил, если бы... не они.— Алеша указал в нашу сторону.— На билет, разнесчастный.— Алеша бросил ему в челнок билет и утку и добавил: — Брысь отсюда!

Плакун — ни слова. Он поехал и поехал себе, утираясь рукавом.

— А зачем же отдал билет и утку? — спросил я у Алеши.

— Длинное это дело: к егерю, потом акт, потом к областному инспектору, потом штраф... в один рубль. И — только. А так-то крепче и дельнее действует на Плакуна.

— Не надо бить, Алеша,— убеждал Захар Макарыч.— Да еще по лицу...

— А разве я его бил? Ничуть! Так просто: уточкой его, уточкой, похабника. Ни разу не прикоснулся кулаком, клянусь...

— А вдруг он да пожалуется на тебя в суд за побои? — спросил я.

— И не подумает. Я его характер знаю... Ведь совсем отучил от браконьерства, а вот опять... отрыжка образовалась. Теперь уж конец. Все. Плакун не убьет утку. Может, будет человеком.

В глухих камышах свои законы — Алеша знает их лучше меня. Когда он, например, обнаружит браконьерскую сеть на реке, то поступает очень просто: поднимает ее в средине, берет свой охотничий нож и перерезает пополам; иногда же вынимает при этом и замаскированный

кол-притычку, чтобы половину сети снесло течением. Попробуй поставь еще раз! Там, где охотится Алеша, браконьеры чувствуют себя неудобно.

Эти мысли утешали меня, и хорошее настроение вернулось вновь.

Мы ехали друг за другом: впереди Алеша, за ним я, а последним Захар Макарыч. Чуть замедлив ход челнока, я подождал Захара Макарыча и спросил:

— Как они, цапли-то? Хороши!

— Точно! — воодушевился он.— А ты знаешь, что они говорят вдвоем между собой?

— Что?

— А вот расскажу сейчас.— Он крикнул: — Алеша! Обожди, что-то отмочу!

Тот остановился, и мы стали в протоке вплотную борт к борту. Закурили.

— Чего «отмочишь»? — спросил Алеша.

— А вот слушайте... Когда он парит над ней, она кричит: «Кар-рпо! Кар-рпо!» То есть Карпо, по имени. Тогда он садится к ней, танцует вокруг и ласкает так тихонько: «Мар-рфа! Мар-рфа!» А она ему: «Карпо, р-рыбки! Карпо, р-рыбки!» Он идет в обратный круг около нее и отвечает: «Р-рад, Мар-рфа! Р-рад, Мар-рфа!» И за рыбой — то-оп... то-оп... А когда несет рыбу-то, она так: «Кар-рпо, р-родной! Кар-рпо, раскр-расивый!» Он отдает ей подарочек и с приплясом так, весело: «Мар-рфа, р-рад! До гр-роба, Мар-рфа!»

Захар Макарыч так удачно подражал цаплям, так имитировал их голоса, что на остров мы приехали уже в самом веселом настроении. Позавтракали плотно и легли отдохнуть прямо под солнцем. Весной оно мягкое и ласковое.

— Малость полежу и поеду домой,— сказал Алеша.— Завтра мне на работу как штык — к восьми... Не хочется уезжать.

Было тепло и тихо.

«Карпо» с «Марфой» и Плакун с убитой уткой расплывчато мерещились мне в полудреме... Муравейчик заполз за воротник и больно укусил. Ни капельки обиды на него не было. Он исследовал, по обыкновению, а я его, наверно, прижал в дремоте и помешал работать.

Через час-полтора Алеша собрался, уложил все в челноке по порядку, выпотрошил своих четырех селезней (двух он убил в это утро). А мы проводили его с

почестями: шутливо обнялись, дали салют из ружей в честь отплытия, а Захар Макарыч протрубил в ствол сигнал отправления.

И мы остались вдвоем. День будем на острове, а зорями охотиться. Моего вчерашнего селезня мы ощипали и приготовили сварить его к обеду.

Между тем солнце поднялось уже на полдень.

Только-только распустившиеся листочки деревьев, «язычки» молодого камыша, высунувшиеся свечками из воды, сине-голубые подснежники и золотые цветы мать-и-мачехи у кручки распространяли такой аромат вокруг, что порой кружилась голова. Ко всему этому примешивался запах весенней воды и влажной земли. А все вместе — аромат весны, торжественный в этой дикой тишине, могучий и в то же время какой-то нежный и так близко родной.

4. МУРАВЬИНАЯ ПОВЕСТЬ

Захар Макарыч взял котелок и сказал:

— Пойду в родник за водой. Из ключевой-то вкусней обед будет.

Я посмотрел ему вслед. Перекинув ружье через плечо, пошел он медленной, уверенной походкой, чуть вразвалку, широкий и костистый, погромыхивая котелком.

Вскоре Захар Макарыч скрылся в лесу острова. До родника тут всего с полкилометра: через пятнадцать — двадцать минут он вернется, и мы заварим обед.

Но прошло и полчаса, а Пушкаря все не было. Прошло еще минут пятнадцать. Есть хочется, а его нет и нет. Вот уж истинно: пропал, как в воду упал.

Потом мною овладело беспокойство: что могло случиться? На острове, кроме семьи лосей, нет никаких крупных животных. Недобрых людей тоже не должно быть. Где же Захар Макарыч?

Пошел я к роднику «искать козу с орехами».

Родник притаился в низинке, вокруг которой бережком возвышались края естественной чаши, без леса и кустарников. На этой большой поляне в свое время уйма земляники, а сейчас просто травка, только-только ожившая.

Вышел на край поляны, вижу место, где родник, а Захара Макарыча нет как нет. Остановился, прислушался. Слева до меня донесся ровный и тихий голос. Повер-

нулся в ту сторону и увидел: на опушке сидел Захар Макарыч, а рядом с ним стоял человек и что-то говорил, изредка жестикулируя правой рукой. Мне нетрудно было узнать за сотню метров, хотя и в спину, безрукого — то был Петр Михайлович Чумак. Давненько уже не видно его здесь.

Подошел ближе.

Захар Макарыч сидел на коленях почти рядом с муравейником. Его ружье висело тут же, на сучке. Он смотрел снизу вверх на Чумака, не сводя глаз, слушал очень внимательно. Шутки ради я решил не обнаруживать себя до поры до времени и стал за кусты. «А посмотрим, когда принесешь воду, товарищ Пушкарь»,— думаю себе. Слышу, говорит Чумак:

— Понимаешь, Захар Макарыч, насекомые воспринимают весь окружающий мир совсем не так, как мы.

Ясно: рассуждают о муравьях, иначе зачем же Макарыч уселся у муравьиной кучи. Он спросил:

— Вот я стучал тут палкой о палку: не слышат. Почему так?

— Недоступны им такие звуки, поэтому-то муравьи и кажутся нам совсем глухими. Но зато они издают ультразвуки и принимают их антеннами-усиками. А мы таких звуков никогда не услышим. Их мир звуков гораздо богаче нашего.

— А видят они хорошо? — спросил Захар Макарыч.

Конечно же, он забыл об обеде!

— Ничего не видят,— ответил Петр Михайлович.— Слепые совсем. Цвета для них нету. Они живут запахом: уходят на большие для крошки насекомого расстояния и без труда находят свой муравейник.

— Интересная живность. Диво дивное. И ты смотри: выроют себе гнездо — чем! — натаскают всякой всячины, накроют. Целый город внутри нагородят. Подумать!

— А ты почем знаешь, что там внутри? — спросил Петр Михайлович.

— Давно еще было: интересу ради раскопал.

— Кусали?

— Отлично кусали, дружно... Там у ни-их! Не разберешь ничего.

— Э, не-ет! Все разберешь... Некоторые ученые всю свою жизнь посвятили муравьям... Жизнь на Земле, Захар Макарыч, сложнейшая штука. А человек все еще мало ее знает. Наука, она похожа на окружность: чем

больше расширяется круг знаний, тем больше и больше неизвестного...

Разговор на некоторое время затих. Видимо, они уже разобрали по частям всю жизнь муравьев.

Заговорил теперь Захар Макарыч.

— Сколько же ты знаешь, Петр Михайлович! А ведь на фронте-то думалось: «Капитан — и только». Ну, конешно, деловой был... и все такое... И не полагал, чтобы ты так-то... все знаешь.

— Это тебе только кажется... Все мы так еще мало знаем, так еще много надо знать... А война... Давно это было, война-то... Кажется, сто лет прошло.

— Сколько тебе сейчас?

— Сорок два.

Так невольно я и услышал, что оба они воевали вместе. Безрукого Чумака знаю уже давно: он тоже работал агрономом, а в последнее время председателем колхоза совсем в другом районе. Как он появился здесь сейчас, весной, в первые дни сева — было непонятно. Однако мне не хотелось подслушивать того, чего, может быть, мне и не следует слушать.

Я крикнул:

— Пошел кувшин по воду!

Захар Макарыч встрепенулся, схватил котелок и второпях оправдывался:

— Забылся... Вот... Петр Михайлович пришел.

Чумак приветливо поздоровался, протянув единственную руку (охотился он, приспособив к прикладу ременную петлю). Захар Макарыч набрал в котелок воды, и мы втроем пошли к табору.

— Какими судьбами сюда? — спросил я у Чумака.

— Насовсем. Я ведь здешний — из Семеновки.

— А председательство?

— Сняли,— коротко ответил он.— Уже больше года не работаю.

Было неудобно расспрашивать. К тому же я заметил, что Захар Макарыч идет без ружья, неся воду на отлете, чтобы не расплескать.

— Где же ружье? — спросил я.

— Ой! Запамятовал. На суку висит.— Он сунул мне котелок и прытко побежал к муравейнику обратно.

Мы с Петром Михайловичем усмехнулись, глядя друг на друга: с Макарычем это может быть.

...Обед был отличный.

На разостланном плаще стоял котелок горячего супа, рядом с ним куски утятины и большие ломти черного хлеба. Закуской служили пара огурцов, коробка крабов да ветчина, нарезанная «пальчиками». Петр Михайлович поднес каждому по порции из неприкосновенного запаса.

— Эту проклятую всегда с собой приходится брать на охоту. Намокнешь — спасет, из сил выбьешься — поддержит, ноги промочишь — в каждый сапог по рюмке — и никакая простуда не подкопается.

— А зачем же расходовать зря? — спросил я.

— Ради встречи. Полагается... Да я вам обоим больше порции и не дам. К тому же погода стоит, как в раю... А не виделись мы... Потом подсчитаем, сколько лет не виделись.

Петр Михайлович был в добром расположении духа. «Порцию» отмерял пластмассовой крышечкой от термоса.

Конечно, же, через полчаса спокойных хлопот котел оказался пуст, а от селезня остались бренные косточки. После такого божественного обеда Захар Макарыч, устроившись на том месте, где мы ночевали, вскоре уснул (полевая многолетняя привычка: пообедал — спать).

— Итак, сколько же лет мы не виделись? — начал Петр Михайлович, обращаясь ко мне.— Подсчитаем... Так...

Он сморщил высокий лоб, вспоминая, отчего карие большие и без того открытые глаза стали еще больше. В его облике есть что-то похожее на ученого. А в чуть грустных глазах было еще, как я и раньше заметил, что-то от больших переживаний.

— Вы когда уехали из Камышевца? — спросил я.

— В пятьдесят четвертом... Переметова-то знаете?

— Малость знаю. Но под началом у него не пришлось быть.

— Наверно, мы с вами и не виделись с пятьдесят четвертого года,— уточнил Петр Михайлович. Но, спохватившись, передумал.— Нет, позже виделись. Припомните-ка: в областном управлении сельского хозяйства, на совещании.

— Помню! — воскликнул я.— Большачков, завоблзу, тогда проехал по вас. Это было... в пятьдесят пятом. Мы же после «бани» обедали вместе, вдвоем.

— Проехал Большачков... Силен был, силен, как... коряга. Но ведь он-то говорил «по сказкам» Переметова... Было мне!

Вспомнилось, как кричал Большачков Чумакову: «Вырублю корень сопротивления плану преобразования природы!» Но какой «корень сопротивления» он «вырубал» тогда, я уже запамятовал. И поэтому спросил:

— За что он тогда навалился? Из памяти выскочило.

— Дело длинное... Помните? Так и значилось: «В основе государственного плана преобразования природы лежит учение Мичурина — Вильямса — Лысенко». То-то вот и оно. Завяз я в конце, в Лысенко: мне лоб набили. Переметов тогда был у нас первым. Так вот он-то и сказал мне в то время: «Рушишь учение. Подрубаешь основу. Все правильно! А ты против установки». Я возьми да и скажи Переметову на полном серьезе: «А как думает народ?» Вытаращил глаза Переметов. «Ты — народ? Какой из тебя народ? Ты — агроном государственный! — кричит мне.— И обязан выполнять установку».— «Тогда дело плохо, товарищ Переметов». Так я ему и рубанул... Ой, что тут было! Обвинили меня в антипартийном поведении. Переметов лично нашел у меня на участке уйму недостатков и объяснил это внутренней гнилью. Чуть не исключили из партии. Да вот...— Он указал на пустой рукав.— И тут...— Петр Михайлович прочертил пальцем поперек груди два ряда воображаемых колодочек.— Иначе не то было бы...

Последние слова Петр Михайлович говорил все медленнее и медленнее, будто раздумывая. И вдруг прижал ладонь к темени. Так посидел некоторое время. Потом встряхнул головой и сказал:

— Отпустило... В последние годы это у меня бывает: сдавит что-то в башке, прижмет — нет терпенья...

— А вы постарайтесь не думать. В самом деле... А? — попытался я прекратить разговор на эту весьма тяжелую для него тему.

— Не могу же я, черт возьми, не думать! — вспыхнул он.— Не говорить об этом могу... Долго уже не говорю, но думать... думать — прошу прощения! — думать буду, потому что... не могу не думать... Будем же — будем! — будем снова сеять травы!.. Уничтожение трав — дикость... Как тут не думать... Впрочем, и контузия опять сказывается... Да и работа председателя колхоза, если по душам... тяжкая. Ни дня, ни ночи. Одно к одному... Устал я, Тихон Иванович... Колхозники требуют... начальство требует... Хвост вытащишь — нос завяз, нос вытащишь — хвост завяз. Так и дергаешься день при дне... Шесть лет

я так-то... Придешь к ней, к тетке Марье, пожурить за невыход на работу, а ее дома нету. Глянешь: тащит она на себе вязанку хворосту из лесу на топку. На себе!.. Говоришь ей: «Подводу дам — за дровами. Ходи на работу».— «Спасибо, говорит, но только у меня трудодней мало. Заедят тебя, председатель, ежели дашь подводу». Я ей в ответ: «Ты меня не жалей, себя жалей».— «Мне, говорит, себя не жалко: у меня их трое, все школьники, мал мала меньше. В холодной хате небольно-то здорово писать: «Мама мыла раму». Вот и хожу через день «на работу»: день в колхозе, а один день за вязанкой хворосту за четыре километра». Ну что ей скажешь? Повторяет одно и то же: «В колхозе мало дают за работу». Поговори с ней! Года два подряд выдавал и я на трудодни хорошо — по три кило хлеба и по два рубля деньгами, старыми, конечно. Тогда и тетка Марья работала за троих. А потом...

— Почему же потом стал меньше давать?

— Как это ни странно вам покажется, дело тут в Вильямсе, но только... все наоборот. В общем, я уже рассказал: попал в переплет — чуть не выгнали за охаивание «плана преобразования природы». Та-а-к... Ну, думаю, стаж председательский уже четыре года — кое-что смыслю, кое-чему научился, теперь мне и карты в руки. Но вот беда: у меня в колхозе было четыреста гектаров меловых и супесчаных земель — почва бросовая, десять — двенадцать сантиметров толщиной, и та бедная-пребедная. Разбил я там короткий севооборот с одним полем клевера: так что через каждые пять лет клевер приходил бы в поле. Что же вы думаете? Пошел урожай! На такой земле без клевера невозможно. И стал я ежегодно сеять по семьдесят — восемьдесят гектаров клевера, не больше. А урожаи прыгнули! По двадцать центнеров с гектара пшеницы озимой — это на такой-то землице. И вот... Тут и начинается это самое... Тот же Переметов, который «убивал» меня за «сопротивление», теперь объявил меня... травопольщиком. Сбили меня с линии. Упал урожай. А свекла на таких землях совсем не идет. Плохо. Мне — выговор... Вот и все...

— Убеждали? — спрашиваю.

— Как же! Убеждал. Говорил, что, мол, клевера получаю сорок центнеров сухого сена с гектара. Все говорил. Убеждал: случай-то в нашем колхозе исключительный — участок почвы бедный... Куда-а там! Смотрит

на меня Переметов с сожалением и цедит: «Плохо, брат, дело. Установку рушишь. Плохо. Не везешь. Постромки отпускаешь». Отвечаю ему: «Я не лошадь, а агроном». Обиделся: «Тебе, говорит, отдыхать надо. Пенсия у тебя хорошая — чего тебе здоровье подрывать. Пиши заявление». Так вот и «ушли меня» «по собственному желанию»... Вот... и вся моя муравьиная повесть. Я муравей. Всю жизнь работал... А Переметов не понимает того. Он наступил мне на лапки и приказал: «Назад!» А я не хочу назад... Мне хотелось кричать: «Верьте мне!..» Убийственная это вещь — оскорбление недоверием... Убийственная...— Последние слова Петр Михайлович произнес почти шепотом и снова обхватил голову, полузакрыв глаза.

Проснулся Захар Макарыч. Он зевнул, почесался обоими локтями, посмотрел вокруг и крякнул в полном удовольствии:

— Красота! — Потом глянул на Чумака и с участием спросил: — Опять голова?

— Отлегло уже,— ответил тот.

— Это от воздуху,— сказал Захар Макарыч.— Воздух тут весной пьяный. Так и тянет в сон. Это ничего: для здоровья полезно. Правда?

— Правда,— ответил Петр Михайлович.— Дня три-четыре побудешь тут — и всякие болезни пропадают. Какой бы камень ни был на душе, становится легче.

Ясно, что Петру Михайловичу надо было «свалить камень». Нигде не бывает так прост и искренен человек, как на открытой природе. Так и было с Чумаком в тот день.

Потом мы пили горячий чай. Приближался вечер. Вверху парил коршун, снижаясь над островом кругами. Захар Макарыч и Петр Михайлович схватили ружья, чтобы встретить хищника, но тот не пошел на нас — заметил.

Заря была отменно удачной. Победителем оказался однорукий охотник: он привез пять штук крупных селезней, похожих друг на друга. Он знает здешние места. Я видел, как сияло на его лице охотничье счастье, и сам был счастлив от этого. Знаю, Петр Михайлович провел здесь, в Далеком, много дней своей жизни. Еще в детстве он проникал в эту глушь, в этот милый уголок мира.

У каждого человека есть свое Далекое.

Тот весенний вечер был в этом сезоне последним — срок охоты закрылся. Но вскоре пришлось встретиться со своими друзьями: меня вновь перевели в Камышевец, на старое, насиженное место. К тому же Алеша Русый и Захар Макарыч приглашали меня и Петра Михайловича к себе в гости. И я приехал как раз на первомайский праздник.

Хороши такие праздники в Камышевце! Демонстрация была короткой и веселой — с песнями и плясками.

Мы ходили вчетвером: Алеша, Захар Макарыч, Петр Михайлович и я. Захар Макарыч шел гордо, выпрямив грудь: на ней — два ордена и пять штук медалей. У Петра Михайловича два длинных ряда колодочек.

А вечером, за гостевым столом, Алеша шептал мне на ухо:

— Захар-то — лихой полковой разведчик был на войне. У Петра Михайловича под началом был. У-у! Такие дела делали!

Нет, не рассказал ни тот, ни другой о своих похождениях. И просил, но не рассказали. Петр Михайлович на это только и молвил:

— Не надо.— И почему-то посмотрел на Захара Макарыча.

А старик, подвыпивши, уж пел:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...

И плакал.

Жена его погибла во время бомбежки, не дождавшись мужа.

Когда он надевал ордена и медали, то к вечеру пил и плакал.

Я же только и сказал:

— А помнишь, как в Далеком охотились? Помнишь, Макарыч? — и обнял его, как старого друга.

Он сразу оживился, повеселел, грубое его лицо стало милым, потому что засияли голубые глаза. И тогда пошла беседа об охотничьих зорях, как сказка. У каждого из четверых было что вспомнить. Мы уже мечтали и об осенней охоте. Захар Макарыч утверждал, не моргнув глазом, что в Далеком «миллион и две тыщи уток, не считая лысух и прочей дичи». Мы не отрицали.

Очень хорошо, что и у него тоже есть свое Далекое.

5. РЕКА ПЕЛА

Кажется, совсем недавно был на весенней охоте, а, поди ж ты, в полевых хлопотах и не заметил, как пришло лето.

Летом Тихая Ольха нежится на солнце, разукрашенная белыми кувшинками в заводях и затишках. Местами она сплошь покрыта сочными широкими листьями этого ласкового растения. А в затонах и в самих камышах — ковер ряски. С восходом солнца, когда еще все живое не разомлело от солнцепека, ряска серебрится; к средине дня она — зеленое кружево, а к вечеру или при тихом ветерке чуть-чуть краснеет. Иной раз увидишь, что на сплошном ее коврике обозначились извилистые полоски: то плавала дикая утка или лысуха; а если ряска изрезана замысловатыми виньетками, то здесь были и утята. Они, еще в пушке, с первого дня жизни умеют самостоятельно находить корм и спасаться от многочисленных врагов.

Случалось так: рано утром, неожиданно выезжая из-за поворота, ты видишь выводок. Одна секунда — и ничего нет: утка взлетела с тревожным криком, а утята... Где же утята?.. Подъедешь и смотришь. Вот тут они только-только что были и... провалились. Но опытный глаз охотника, осмотрев затончик или плес, начинает читать книгу Тихой Ольхи. Здесь всего лишь одна страничка, и ее надо проверить буква за буквой, строчка за строчкой, медленно, не шевелясь. Вот торчит из воды тонкая кужица... С чего бы это она чуточку, еле-еле вздрогнула? Может быть, на верхушке села муха или зацепил неосторожный комар? Взгляд скользит сверху вниз по этой нежной густо-зеленой и стройной кужице: на верхушке никого нет, средина чистая, а у самой поверхности воды — маленькое темновато-зеленое пятнышко, и на нем две точки на манер блошек. Эге-е! Две «блошки» — это и есть ноздри утенка. Он прицепился носиком за кужицу, повис под водой, вытянув лапки, и преспокойно дышит. Их тут было штук десять, утят, но даже самый искусный чтец книги природы обнаружит всего лишь одного-двух.

А через полчаса ряска снова затянет дорожки утиных следов так, будто здесь никто и не был.

Камыши по краям реки, спокойные, стройные и могучие, наполнены звуками песен камышевок — веселых,

непоседливых и таких доверчивых маленьких птичек. Иной раз она зацепится лапками за стебель, повиснет боком в метре от тебя и очень внимательно смотрит в глаза. Если не шевелиться, она будет долго-долго смотреть, наклоняя головку то вправо, то влево, удивляясь и будто раздумывая: «А нельзя ли все-таки клюнуть в эти самые шары, что больше моей головы?» Возможно, она интересуется тем, как двигаются ресницы, и наблюдает, что же из всего этого получится. Кто ж ее знает!

Летом в тихий день река спокойна и кажется ленивой. Вечером она торжественна, задумчива и кажется мудрой и такой же древней, как звезды, дрожащие в ней. Утром она чиста и нежна, как ребенок, спросонья обнимающий мать.

Большинство охотников в такую пору не может усидеть в четырех стенах, не может спокойно ходить по земле. Их тянет на воду, туда, где душа всегда становится на свое место. Но лето — запретный срок для охоты. И тогда некоторые охотники меняют квалификацию и становятся рыболовами, вливаясь на это время в ряды самоотверженных, чертовски терпеливых «бездельников», для которых весь мир сосредоточивается на тонком конце удилища, как у сазанятников, или на поплавке, как у прочих, более мелких членов этой огромной армии слегка помешанных, но неистребимых и преданных своему делу до самозабвения.

Если любому из этого племени туземцев, привязанному удочкой к одному только месту планеты и влюбленному в свой край, предложить удить из каменного бассейна, кишащего рыбой, то согласится на такой позор только безвозвратно погибший. Настоящему рыбаку нужно много: река, цветы, камыши, утренние зори, таинственные ночи, голубые вечера и... тишина.

Разве ж можно и охотнику усидеть летом в субботу вечером и в воскресенье утром. Это немыслимо и даже непостижимо. А я не исключение. Именно поэтому в один из июньских дней я плелся по Тихой Ольхе на челноке.

Мне очень хотелось разыскать Василия Кузьмича Кнутикова. Он должен быть где-то недалеко. Его любимое сидало недалеко от Сорокомылки (место реки так называется), туда я и наладил лапти. Очень уж интересно с ним ловить рыбу. А вечерком он всегда что-то расскажет из своей жизни или о своем колхозе, а иной раз и о больших материях заведет речь.

Давно-давно я знаю Василия Кузьмича Кнутикова — лет этак тридцать с лишком. Как тогда, в молодые годы, так и теперь он отличается удивительным прямодушием и чистой совестью. Когда-то по праздникам малость любил выпить. По его словам, это самое называлось «потешить душу». И еще одна примечательность: его юмор всегда выражается в действии, без особо острых и сальных слов.

Одним словом, помню Василия Кузьмича еще с тех времен, когда он, имея одну тощую лошаденку, перебивался с хлеба на квас и слыл не очень-то охочим до работы в личном хозяйстве.

А после организации колхоза Василий Кузьмич неожиданно оказался таким старательным, что всю неделю с утра до ночи работал не покладая рук. Ни от какой работы не отказывался. Но в воскресенье — извините! — он на работу не пойдет. Ни за что. Даже если из города понаедут шефы убирать картошку — все равно не пойдет.

Он надевает синюю рубаху, новые суконные черные брюки, праздничную кепку и проводит праздник в полном отдыхе. С утра он идет степенно по улице, заложив руки за спину, высокий, сухой, жилистый и до удивления серьезный. А бывает, продефилирует так мимо шефов, толпящихся у сельсовета. Идет тихо по направлению к магазину сельпо. Встречным он кланяется первым, но от ребятишек категорически требует, чтобы они снимали перед ним картузы. В противном случае он не замедлит отпустить подзатыльник и при этом же добродушно заметит:

— Почитай старших, козявушка.— И пойдет дальше.

Вскоре он вернется обратно таким же манером — тихо, спокойно. Что и означает: у сельпо пока народу нет, а он просто гуляет. Примерно через полчаса он идет снова к магазину, теперь чуть быстрее, потому что там уже слышен говор.

— Здорово были, колхознички! — приветствует он сидящих на широких порожках магазина.— С праздником вас! Чего же это вы шефов-то одних бросили на произвол судьбы?

Все улыбаются, а Василий Кузьмич и бровью не дрогнет.

— Здорово, трудяга! — скажут ему, будто и не обратив внимания на его вопрос.

— Ну! Так как же? — вновь спрашивает он.

— А что?

— Как так «что»? Праздник же!

— Знамо дело, воскресенье,— подтверждают прочие со вздохом, изображая нарочитую грусть.

— Ну-с... по троячку? — опять же вопрошает Василий Кузьмич.

От такого довольно четкого предложения лица отчасти просветляются. Конечно, складчина получается мелочная, пустяковая, рассказывать тут нечего, но во всяком случае завмаг выносит стакан и селедку. Происходит нечто вроде символической выпивки — по сто граммов на рот.

После этого Василий Кузьмич идет по улице уже быстрее, руки за спиной не держит и даже изредка пощелкивает пальцами. Однако не так уж много пролетит времени, как он скороходом спешит к сельпо снова. Здоровается со встречными отрывисто, но весело, с улыбкой, без той утренней степенности. Ребятишки снимают шапки, но он отвечает им так снисходительно:

— Один раз снимал мне — хватит, козявушка. Молодец. Хвалю.

На обратном пути по той же улице (ее не миновать!) он кричит мне в раскрытое окно:

— Тихону Иванычу! Алый привет!

До сих пор я так и не знаю, почему «алый». Но тогда, бывало, спрошу из окна:

— Пошел?

— Поше-ел! — ответит Василий Кузьмич и махнет длинной рукой вперед так, будто ему предстоит сегодня пересечь земной шар по экватору.— Варвара! — кричит он доярке, стоящей у калитки.— Варварушка! — Помотает головой, крякнет и добавит: — Ух ты, Варвара! Ох и бабочка ты, Варвара! Золотая ты наша работяга. Ух! — И засмеется от души, без какой-либо задней мысли. Он-то лучше других знает цену этой труженице и красавице.

— Спасибо, Василий Кузьмич! Зашли бы,— приглашает она.— Папаша дома — он всегда вам рад.

— Не могу — Домаша теперь ждет дома. Я ведь уже три раза был «у обедни». Куда же кроме ткнуться? Некуда. А теперь домой надо. Не могу зайти, Варварушка.

— Ну, воля ваша. Тогда одну минутку! — Она скрывается в калитке и вскоре выносит сверточек.— Это тете Домне. Пирожки у меня нонче вышли на славу — пусть

отведает. По ее рецепту — с содой. Мастерица у вас тетя Домна.

— Варвара! Без подхалимажу! — отсекает на полном серьезе Василий Кузьмич.

Во время такого разговора у калитки или где-либо в другом месте Василия Кузьмича окружат девчата, тоже нарядные по-праздничному. Кто-то из них начнет вроде бы издалека:

— Надоели старые песни, Василий Кузьмич.

— А ну вас! — отмахнется он.— Где я их вам возьму? Прошлое воскресенье дал две новых. Хватит.

Тогда они хором и вразнобой начнут канючить: «Василий Кузьмич, да Василий Кузьмич, да пожалуйста, да хоть одну»... И он, конечно же, сдается. Подзывает самую голосистую, говорит ей вроде бы по секрету, но так, что все окружающие слышат каждое слово:

— Вот тебе — про Аришку Гузыреву.

Мой милок опять свистить —
Кличет на свидания.
Ой, нельзя к нему пойтить —
Опять заседания.

Подобные частушки Василий Кузьмич сочинял мгновенно. В общем, ко всем качествам можно прибавить еще одно: он был признанным поэтом на селе и поставлял девчатам веселые песни. Те запоминали и пели, а Василий Кузьмич тут же забывал свое сочинение, как, впрочем, и любую шутку. На каждый день у него были новые шутки — не запомнишь.

Перед собственной хатой Василий Кузьмич, изображая разгулявшегося, прямо-таки кричит:

— До-омна-а! Прише-ел!

— Вижу — пришел.— И она тоже соблюдает серьез с глубоко скрытым юморком. Она-то лучше других знает, что муженек никогда не напьется пьяным, а сейчас только шутит.

— Как ты понимаешь, Домна: кто я есть?

— Ты?

— Я. Кто я есть?

— Трудовик вечный,— отвечает она, зная, какой ответ ему по душе.

— Отвечаешь правильно.— Он сразу переходит на трезвый тон и говорит: — На-ка вот тебе от Варварушки — сними пробу.

Они садятся на завалинке, пробуют тот пирог. Иной раз Василий Кузьмич подставит ей спину:

— Почеши-ка маленько...

После обеда они хорошо поспят, попьют чайку, перечитают, в который раз, письма от двух сыновей. Домна Петровна скажет с сожалением:

— Ванятка домой не вернется. Все.

— Ну и пусть. Все уходят. А он у нас в науку ударился. По крайности за мукóй в город не будет ездить. И то — здорово.

— Это ты к чему?

— А я уж забыл к чему. Ты-то о чем?

— Ванятка, говорю, не вернется... И в отпуск не едет. Два года не был дома... Пусть женатый, пусть дети пошли свои, пусть там и ученый он, а все равно дите родное... Сердце тоскует.

— «Отпуск, отпуск»... Заладила. Он студентов обучает. А они, знаешь, какой народ? О! Народ!.. Во! — Василий Кузьмич показывает большой палец, что означает: студенты — народ отличный и их надо учить хорошо.— Все ты зря, Домаша. Пишет же: приедет на два месяца.

— Может, и приедет. Только вряд ли,— вздыхает Домна.— Какой уж раз обещает.

— Обязательно приедет,— утешает муж.— Ванятка — охотник заядлый: в ноябре по уткам, северная пойдет; и по зайцам опять же открытие в ноябре... И по первой пороше в декабре. Как не приехать? Обязательно приедет.

Вечером они прослушают лекцию в клубе «О вреде алкоголя» или посмотрят кино «О передовом опыте возделывания технических сельскохозяйственных культур». Там они начинают помаленьку засыпать. А дома спят крепко, успокоенные, отдохнувшие для того, чтобы снова шесть дней от солнца и до солнца работать без разгибу.

В правлении очень уважали их за труд. Одна только и была запятая у Василия Кузьмича: иной раз нападала на него рыболовная одержимость. Тогда он уезжал на лодке еще на ночь, под воскресенье. А для этого волей-неволей надо было уходить с работы в субботу часа на два-три раньше. Удержать его невозможно никакими увещеваниями. Сам председатель пробовал уговорить, но Василий Кузьмич отвечал ему короткой речью, будто со сцены:

— Дорогие товарищи! Отдаю свой полный трудодень стоимостью в один килограмм хлеба за эти три часа субботнего вечера. Свою ошибку признаю, но выправить ее уже трудно. Горбатого исправит одна могила, а на меня и двух могил мало. Миру — мир, а я пошел на рыбалку. Алый привет!

Вот какой был Василий Кузьмич Кнутиков, к которому я пробирался на челноке в разомлелый июньский праздничный день. Да, именно был. Теперь он уже не такой. Совсем, совсем не такой.

Как говорят в газетах, многолетним и самоотверженным трудом в колхозе Василий Кузьмич заслужил всеобщий почет и уважение, и год от году его авторитет в массах повышался. И вот он уже на постоянной почетной работе — заведующий птицефермой! — и зачислен правлением в постоянный список актива, участвует на расширенных заседаниях, обсуждает выполнение и перевыполнение, утверждает планы, предварительно утвержденные райисполкомом. Его птицеферма выдала годовой план продажи яиц к первому июля. Небывалый случай в районе! Из полудохлого птичника — передовая ферма! Вот он какой стал, Василий Кузьмич. Попробуй теперь уйди на три часа раньше. Или выпей стопку на порожках магазина. Нельзя — массы осудят. Человек на постоянной — нельзя.

Теперь Василий Кузьмич появляется на речке только в воскресенье, чуть свет.

...В тот полуденный час река дремала. Я тихонько шевелил в воде веслом, еле-еле продвигаясь, прислушиваясь к тишине и боясь ее нарушить. Спешить мне некуда.

Где-то совсем близко, рядом со мной, кто-то запел частушку, тихонько-тихонько, для самого себя. Я замер. Не далее как в трех метрах торчали из камышей два удилища и краешек кормы челнока. А оттуда голос:

Гармонист, гармонист —
Рубаха горохом!
Не играй ты, гармонист,
Всяким там... пройдохам.

Голова высунулась из камышей, и песня оборвалась.

— Кого я вижу! — воскликнул Василий Кузьмич.— Алый привет!

Рыбак сидел на лавочке челнока без рубахи, в засученных по колено брюках. Мы пожали друг другу руки.

— Тоже не вытерпел? — спросил он.— Надолго?

— Два дня пробуду тут.

— Я на ночь. Больше не могу. Нельзя.

— Частушки у тебя здорово получаются! Талант! — сказал я.

— А-а... Это я сам себе. Забавляюсь. В поле две воли, а на воде вдвойне. Конечно, спел бы и дома, но... Когда был рядовым колхозником, тогда другое дело — и девчатам помогал, а сейчас... Только тут, на речке, человеком станешь: ни тебе начальства, ни тебе плана, и массы нету — осудить некому. И на душе просторно.

— Клюет? — спросил я.

— Как в могиле: ни печаль, ни воздыхание. Вишь, как печет,— где уж там ей клевать. Она что, рыба-то, дура, что ли, клевать в такую жарищу? Курица — дура: в любое время жрет, весь день жрет... А рыба срок знает... Ох, уж эти мне куры!..

— Подкормку бросил?

— А как же. Да еще и со жмыхом. Вечерней зарей да ночкой обязательно поймаем.

— Один тут?

— За поворотом в затончике Захарка Пушкарь сидит.

— Поймал он чего утром?

— Два ерша и ракушку.

— Поехать к нему, что ли?

— Сиди тут. Не мешай ему... Жука-плавунца и пиявку изловил он да в банку с водой посадил.

— Это для какой же цели?

— Уясняет: будут драться или нет... На ночь приедет сюда... Ну и печет же... Спасу нету, печет.— Василий Кузьмич лениво глянул на солнце, прищурившись, зевнул во весь рот, потянулся с хрустом и добавил еще раз: — Печет... Спать хочется. Выбирай место, бросай подкормку да давай-ка поспим в удовольствие. Ночевать будешь тут?

— Буду.

— Резон. Втроем, значит... Налаживай себе место, налаживай. Утром рыба играла — лучше не ищи.

Отъехав метров на двадцать, я загнал челнок в камыши, измерил глубину, бросил подкормку, искупался, бултыхнувшись с кормы челнока. Затем разровнял траву на дне лодки и вытянулся во весь рост.

Приятная тень от камышей защищала от палящего солнца, но спать мне не хотелось. Ловить сейчас нет

смысла: не клюет... Василий Кузьмич малость поворочался в челноке и затих. Раз ему хочется поспать, то и не надо его тревожить. Ежедневно от рассвета и до темной ночи он ведь на ферме, поэтому, когда подходит срок отдохнуть днем, он засыпает обязательно... Пусть поспит... А если меня не клонит, то и нечего стараться — полежу так...

Когда лежишь вверх лицом, то пятиметровые камыши кажутся огромной высоты — уходят в небо, к самым облакам, реденьким и лениво плывущим невесть куда, но уж обязательно мимо моих, вот этих, камышей... Плывут облака... Если закрыть глаза, то кажется, и ты плывешь по небу вместе с челноком и облаками. Можно и не открывать: я знаю уже все окружающее меня, все до единого стебелька и листа... И я плыву спокойно и радостно... Плыву по небу...

Плеснула рыба. Чиркнула по воде крылом чайка. Вздрагивал надо мной паучок, уже соорудивший свою сеть.

— Тихон Иваны-ыч! — проснувшись, окликнул Василий Кузьмич.

— Гоп-го! — бодро отозвался я.

— Пора начинать. Рыба заиграла. Теперь будем жить тихо. Молчок: как куры на насесте.

И я стал разматывать удочки.

С первого же клева мне повезло: вывернул «лаптя» — твердого красавца окуня. Потом эта удочка «замолчала» — червя никто из рыб больше не пожелал; но оживела вторая, что насажена пшеничкой: гусиный поплавок вздрогнул, покачнулся и лег на воду плашмя... Подсечка! Леска упруго натянулась струной, конец удилища — дугой. Короткая борьба — и вполне порядочный лещ уже бился в подсаке. Зато в садке он вел себя тихо и мирно, абсолютно не представляя себе, что такое сковорода.

Ну и что же, на пшеничку — так на пшеничку. И бодро заправил удочки пшеничкой. Настроение было на взводе: путь к рыбе был найден!

...Но целый час удочки молчали. Тогда вновь подкралось сомнение: «Может быть, напрасно охаял червей?» Показалось, что именно так оно и есть. И я спешно выбрал наилучших по качеству, самых вертлявых червяков и исправил ошибку.

Конечно же, поплавок немедленно скрылся под водой: взяла огромная рыбина! Подсечка!.. Мне стало очень

грустно: попался самый маленький в мире... ерш — зародыш сатаны, колючий, большеротый, лупоглазый антихрист. Он заглотнул весь крючок полностью...

Потом я решил вернуться к старому методу: одну удочку — на пшеничку, другую — на червя. Потом наоборот: ту — на червя, а эту — на пшеничку. Но и двойственный хитрый метод не вызывал ни малейшего восторга у рыбы.

Солнце уже зашло за горизонт — заря на исходе. А я анализировал свои ошибки: если бы ловил только на пшеничку, то, возможно... А если бы только на червя, то, можно полагать... И вообще: я наверху, рыба внизу, я ее понимаю, а она меня ни чуточки... Такая неблагодарность к моим стараниям возмущала.

И вдруг конец удилища потянуло в сторону. В раздумьях я не заметил, как и когда утонул поплавок. Схватил удилище, дернул слегка вверх, но рыба... Рыба ли это? Еще раз потянул — ни с места. Пробую посильнее: что-то сдвинулось. Осторожно, чтобы не оборвать леску, тащу и тащу... Ботинок! Старый, с полуоторванной подошвой, растоптанный, непригодный для носки солдатский ботинок.

Сначала я настроился, с досады, на мрачный тон: «Вот жил солдат, вот он разбил ботинки, бросил их в реку и пошел босиком...»

К чему бы привело течение мысли, не знаю, но подъехал Захар Макарыч Пушкарь.

— Шабаш — заря кончилась. Жму! — Он зажал в тиски мою ладонь.— Ночуем?

— Обязательно.

— Как улов?

— Окунь, лещ и... вот, смотри.

— Да то же мой ботинок! — воскликнул Захар Макарыч и рассмеялся.— Вижу — разорился, взял — бросил. Им, ботинкам-то, лет двадцать — с войны принес. На рыбалку пока годились — брал, а теперь со святыми упокой. Утром бросил.

— Твой?

— Мой. Утром, говорю, закинул. Тут еще один должен быть: посиди — поймаешь... Тут яма. Их, должно, в ямку-то и снесло течением.

Ботинок полетел обратно в воду, но уже на середину реки. Полетел старый, рваный остаток войны.

Ясно: утром буду ловить только на пшеничку. И ерш и ботинок попали на червя. Все начнем снова. Лихо смотав удочки, я бодро поплыл вслед за Захаром Макарычем на кочу.

Коча — это кусок сухого берега, чистого от камышей. Кочей же здесь называют и крохотный островок среди болота, поросший сплошь камышом. В тот вечер мы расположились у самого края реки: рядом с одной стороны вода, а с трех сторон — стены камышей. Великолепный домик с украшенным звездами потолком и с открытыми воротами к звездам в воде. Вверху звезды, внизу звезды, а посередине мы втроем.

Июньская ночь коротка. Поэтому ни кашеварить, ни разводить огонь мы не стали. Улеглись рядом, настелив на землю слой камыша, а на него слой осоки.

— Постель царская,— определил Василий Кузьмич.

Захар Макарыч был молчалив,— видно, о чем-то думал. Он глядел в небо, подложив ладони под затылок.

— Какие новости в банке? — спросил я у него.

— Откуда ты знаешь про банку?

— Доложил лично,— опередил меня с ответом Василий Кузьмич.

— Дела непонятные: плавунец жив и пиявка жива — не трогают друг друга. Ведь оба хищники. Думалось: кто кого? А они плавают себе в банке, как ни в чем не бывало. Я же сам видал, как плавунец расправлялся с головастиком. Пробрался по протоке на болотце и смотрел часа два, как он воюет: раз-раз — молнией! — готов головастик. А тут тихоня.

— В неволе — вот и посмирнел,— сказал Василий Кузьмич.— А почему пиявка на него не лезет? Вот вопрос. Она же и из банки присасывается. Она же слепая — не понимает неволи.

И тогда я рассказал им, что у пиявки целый десяток глаз. Что она несет яйца и сама же роет дырки для коконов. И пожалуйста: гнездо. Через месяц потомство.

— Ты скажи, какие глупости на земле... Вот те и слепая! А она, вишь, гнездо. Как курица. Смехота! — заключил свое суждение Василий Кузьмич.

— Чудак ты, Кузьмич,— возразил Захар Макарыч.— Сколько тебя знаю — всегда чудак. Какая же тут смехота?

— И смех и чудо,— не уступал Василий Кузьмич и добавил вполне серьезно: — Посади рядом на гнездо ку-

рицу и... пиявку. Смехота! Может, у них заведующий пиявочной фермой есть?

Мы с Захаром Макарычем рассмеялись, а Василий Кузьмич и бровью не повел. Он так умел.

Наконец Захар Макарыч безнадежно махнул рукой, встал и полез в челнок смотреть банку.

— Живые оба,— сказал он, вновь укладываясь рядом со мной.

Некоторое время мы лежали молча. Меня начало клонить в сон. Но Захар Макарыч заговорил с Василием Кузьмичом:

— Комбайны-то отремонтировали в колхозе?

— Комбайны? Нет. Два стоят верблюдами.

— А что так?

— Почем я знаю? Говорят, запчастей нету. Вот и стоят.

— Вам что же: дядя будет убирать? Июль на носу.

— Может, и дядя... Мало ли какие «дяди» к нам приезжают убирать... Таких комбайнеров, как ты, Захар, теперь нету у нас. Нету.

Видно, это польстило Захару Макарычу. Он спросил:

— Аль вспоминают?

— А как же! Чудак ты, Захар, право. Тебе до всего было дело. Это, брат, редкая штука — до всего доходить. Я вот, к примеру, не могу, не способен. Мне птицеферма — главный вопрос.

— А как ты туда попал?

— Как? Очень даже просто... Дохнут и дохнут куры — яиц нету. Дохнуть перестанут — опять яиц нету. Тыщи цыплоков привезут с инкубаторов — подохнут, как мухи осенью. Опять везут... Кого ни поставят руководить — куры яиц не прибавляют. А план давай! И маслом выполняли за яйца, и мясом — покупали на стороне... Было дело... Да... И говорит мне Домаха моя: «Может, ты взялся бы за курей: смотреть тошно на всю эту гармонью». Подумали-подумали мы так, и пошел я в правленье. Говорю председателю: «Чего кур гробишь? Разума не хватает? Человек ты представительный, ученый, все умеешь, а курицу за вошь считаешь». Как он вскочит! Как он распалится! «Ты, говорит, критикан!» Это я-то «критикан». «Вы, говорит, только и умеете подсиживать да шептать за углом». Говорю ему: «Я тебе не за углом, а в лице членов правления».— «Указывать вас много, а делать некому. Возьмись сам да и подыми фер-

му на высоту».— «На высоту? — спрашиваю.— На высоту не могу, а на середину можно». Тут, конечно, все посмеялись, а председатель спрашивает с сердцем: «Ты, говорит, в цирк пришел или в правленье?» Отвечаю ему: «В цирке таких курей не держат». Опять смеются, которые посмелее. Та-ак. А сидел тут в уголке незнакомый парнишка в кепочке и в очках (сперва его не заметил). Встал он, подошел к председателю и вежливенько так поясняет: «А может, этот человек и есть тот самый, кого нам нужно». Уж потом я узнал, что парнишка тот вовсе не парнишка, а зоотехник из района новый. Да. Только, конечно, прогнал меня председатель: «Иди, иди своей дорогой». Я ему возьми да и скажи: «Так-то и я тебе, Григорь Палыч, могу сказать». Тут уж не до смеху всем: испугались. А зоотехник на меня смотрит и смотрит, так сурьезно смотрит... Ну, я и ушел домой. А утром они ко мне: сам председатель и тот парнишка-зоотехник — Сережей его теперь зову. Ух, молодчина! Ух, мозгун! Ну, пришли... Слово за слово. Рассказывать тут нечего: сами назначили мне чин. И оказался я на птицеферме, заведующий.

— Самозванцем! — удивился Захар Макарыч.

— Ага, самозванцем.

— Ну и что же?

— Вот и все. Работаю. В прошлом году выполнили годовой план по яйцам к первому июлю. За весь год дали два плана.

— А председатель как: сердится на тебя?

— Куда та-ам! Агнец! «Кузьмич да Кузьмич... Да не надо ли курям насчет витаминов — капуста есть лишняя... Может, хату тебе покрыть? Ведь худая». А мне, сказать по душам, не до хаты: хлопот полно. Когда был рядовым, все было просто, а теперь вот...— Василий Кузьмич вздохнул.— Как там убирают хлеб, чем убирают, кто убирает — ничего не знаю: птицеферма — главный вопрос на Земле.

— А отчего же тебе теперь плохо? — спросил Захар Макарыч.— Все налажено, перед начальством в почете, в активе ходишь.

— Хожу-то хожу, слов нет. Ну... с председателем райисполкома нелады у меня.

— Ого! — воскликнул Захар Макарыч.— Эка хватил.

— И доси косится,— продолжал Василий Кузьмич.— Был бы он, скажем, плохой человек — наплевать мне,

пусть дуется, а то ведь... вроде бы он ничего себе... Ну да ладно — толкач муку покажет.

— А что случилось? — спросил я.— Может, расскажешь, Василий Кузьмич.

— Да оно как-то и рассказывать про это неудобно.

Захар Макарыч подбодрил:

— Почему неудобно? Сам говоришь: «В поле две воли, а на воде вдвойне». Валяй. Чего там «неудобно».

— Вопрос-то политический... Ну ладно, расскажу, так и быть. Но — между нами.— Теперь он снова лег на спину и стал рассказывать тихо, вполголоса: — Дело было в прошлом году. Добыл я хорошего-прехорошего кочета: красавец, могутной такой, кахетинской породы. Молодой петушок, а ростом с наших стариков. За двадцать пять километров ходил за ним, на руках принес, как дите малое. Это такой кочет, каких у нас не было с роду родов. Картинка! Хоть на иконостас вешай... Голубь мира, а не кочет — вот какая птица... Принес я его и посадил вечером на насест. А сам тем же оборотом на актив: объявили еще вчера — собраться по важному делу. По какому — не знаю. Пришел. Сидим час, сидим два, а председателя нет и нет. И пришло мне в голову такое: «Зачем я кочетка своего посадил сразу к старикам! Утром заклюют!» Ну и, конечно, вскочил и — бежать. Пересажу, мол, пока под корзинку. Прибегаю. Цап-цап — нету кочета! Я — фонарь: нету кочета! Я к сторожихе: «Где кочет?» — «Какой такой кочет?» — «Я же посадил вот-вот, два часа назад».— «Меня не было, когда сажал. Знать не знаю».— «Где кочет?! Молодой, рыжеватый. Красавец!» — кричу ей. «Э-э! Тогда к председателю отнесли. Вот записку прислали — велел петушка дать: председатель райисполкома приехал голодный — покормить надо». Я бежать к председателю колхоза. Его дома нету — на актив ушел. Спрашиваю у его хозяйки: «Покажи, пожалуйста, перья». Показала в корыте: мой кочет! Мой красавец! Двадцать пять километров тащил, как дите малое... С них надо начинать, с кочетков, если хочешь много яиц добыть... Ай, мамушки, погиб производитель! Ладно. Пришел на актив. Сидят. Говорит, конечно, председатель райисполкома Фомушкин. Трудно мне, но все ж таки понял, о чем речь: один план продажи хлеба выполнили, надо теперь еще второй, а актив должен поддержать это самое на общем собрании. «Валяйте,— думаю себе,— я на все согласен, но только чего

на трудодни дадим — вот вопрос». Одним словом, сказать по душам: злой я был по случаю смерти кочета, а через то и вредные мысли.

— А что ж ты думаешь: это ведь не пустяк — сбегать за двадцать пять километров,— сочувственно поддержал Захар Макарыч.

— Не в том дело. Петушина-то был царь-птица, а не кочет.— Василий Кузьмич чуть помолчал и продолжал дальше: — Пошли все на общее собрание. Начальство с виду, может, довольное, улыбаются — актив подготовили. Григорь Палыч подходит ко мне, председатель наш, и говорит: «Выступи — поддержи. Вопрос большой: область с планом садится — ничего не поделаешь. Как? Я, говорит, отвертеться не могу».— «Ладно, говорю, так и быть. Актив же. Не рядовой же я». А когда подошли вопросы после доклада, мне так-то стало тяжко через того самого кочета, так-то тошно!.. Осерчал еще больше, а виду не показываю. Слышу: «У кого вопросы есть?» — спрашивает Григорь Палыч. Я и задал: «А почему так: по хлебу — два плана, по мясу — четыре раза в год спускали план тот? Неужто нельзя одним разом? Так, пожалуй, и ума не приложишь, как за трудодни расплачиваться, как самим планировать хозяйство, как дебет-кредит наводить». Ответил председатель райисполкома Фомушкин: «Этот план не от нас... Дополнительный... Надо поддержать... Работаете плохо — вот и мало на трудодни в этом году». Но вижу, замялся. Вопрос-то политический! Тогда я ему так, для утешения: «Конечно, слов нет: что потопаешь, то и полопаешь. Тыщу лет этой пословице. Что ж: будем топать. Я не против второго плана. Дело ваше». Тут звонок. Еще раз звонок. В президиуме заторопились, заторопились и объявили перерыв. Подходит ко мне Григорь Палыч: «Поди-ка за мной: товарищ Фомушкин кличет — поговорить желает с тобой». Иду. Знаю, будет воспитывать. А я — злой и к воспитанию не способен в таком разе. Фомушкин — из клуба, я — за ним. Фомушкин — за угол, я — за ним. Говорит мне с глазу на глаз, в полной темноте: «Товарищ Кнутиков! Василий Кузьмич! Как же так подводишь? Актив называется! Гнилой ты актив. Народник ты — вот ты кто». А сам (чую по словам и по голосу) улыбается. Ну, думаю, лаяться начал, ругательные слова всякие... И тут я ему отрубил: «Ладно, пускай я народник. А ты колхозного кочета слопал! Это похуже народника.— И стал

его, со зла, воспитывать: — Ты знаешь, какой это был кочет? Царь-птица!» — «Стой! — говорит.— Какой кочет? Где он?» Я легонько ткнул ему в пуп: «Тут кочет». Он-то, конечно, не знал, о чем речь, а, чую, догадывается — растерялся. Тогда я ему: «Зови Григорь Палыча». Ушел. Смотрю — идут вдвоем. А когда дело выяснилось, они оба тише воды ниже травы. «Объявишь на собранье?» — спросил Григорь Палыч. «Не дурак я, чтобы на собранье. Но без заведующего фермой никто не имеет права вмешиваться в жизнь и воспитание курей. Если вам моя линия не подходит, снимайте. С меня хватит. Я бы сам дал петушка, какого полагается есть,— не помирать же начальству посередь колхоза! — а вы сожрали... царь-птицу».

— Так и сказал? — спросил Захар Макарыч.

— Так и сказал. Отнимись язык, так сказал.

— А они что же?

— Что? Григорь Палыч ударил себя по лбу и, прямо сказать, вскрикнул: «Ну какой же я остолоп!» А Фомушкин вежливо: «Тут, товарищ Кнутиков, надо нам извиниться... Я-то... но все-таки скверно. Плохо. Извиняюсь. Только зачем же вы так против плана?» Я ему отвечаю: «Не против плана. А это не план. Это переплан. Вы только вникните, товарищ Фомушкин: мясо себе стоит рупь, а продай за семьдесят пять копеек: денег — пятнадцать копеек на трудодень, а хлеба...» — «Что предлагаешь?» — спрашивает Григорь Палыч и тихонько подталкивает меня в бок: дескать, предлагай. Я ему: «Думаю, что из второго плана и половины хватит. Вы только вникните!» На том дело и кончилось. И зло с меня соскочило. Раз они понимают, что натворили с кочетом,— за что на них и серчать. Осталась одна жалость: хорош был кочет. Ой, хорош!

— Ну, а на собранье что? — допытывался Захар Макарыч.

— Аль там ты не был? — удивился Василий Кузьмич.

— Не был,— как-то виновато ответил Захар Макарыч.

— А-а... Тебя, значит, это не касается — пенсионер... Что на собранье? Я молчал.

— А второй план как?

— Григорь Палыч сказал им всем, что и половины второго плана достаточно.

— А сам райисполком?

— Не возражал. Мирно все обошлось. Там же прикинули: по полтора килограмма на трудодень осталось. Это

вполне допустимо... Тут, Захар Макарыч, надо сурьезно думать: вопрос политический... Большая это политика! На трудодни давать надо обязательно.

— А чего же он на тебя косится и теперь, Фомушкин-то? — спросил я.

— Кто же его знает. Так он человек неплохой, старательный, в сельском хозяйстве дотошный. Хоть и новый он, а уважают его колхозники. Не чета Переметову... Помнишь, был в райкоме?

— А чего его помнить, если он и сейчас живет в Камышевце в отставке.

— А мне, как бы сказать, интересу теперь нет — где он там живет. А Фомушкин с головой. Худа не скажешь... Но только вот встретится со мной, подаст, конечно, руку и отводит глаза. Значит, серчает, полагаю. Разве ж узнаешь, что у человека на душе?

Оба они некоторое время молчали. Потом Захар Макарыч сказал, будто обдумав:

— Не-ет, Василий Кузьмич! Ты не чудак. Нет... Не первый год тебя знаю, а вот, поди ж ты, и не угадал, что ты за человек.

Было совершенно ясно, что Захар Макарыч открыл нового, незнакомого ему Василия Кузьмича. Я тоже не знал его таким, каким он был сегодня,— задумчивым, спокойным. А все оттого, что звезды вверху, звезды внизу, а кругом камыши и тишина. Спать уже не хотелось.

Василий Кузьмич сказал:

— Я десять крючков поставил на соменка на ночь. Поеду проверю.— И неслышно поплыл на челноке.

Захар Макарыч вежливенько захрапел — тихо, без нажиму.

«Вот оно какое дело-то,— думалось мне.— Пока я анализировал свои ошибки, Василий Кузьмич расставил крючки на ночь без всяких сомнений. Пожалуй, и мне надо так поступать — спокойно, помаленьку, надежно. И всегда будет удача».

Он действительно приволок четырех сомят и в полном удовлетворении улегся «на царскую постель». Уже засыпая, он лениво и тихо-тихо замурлыкал под легонький храп Захара Макарыча.

— Разве ж это храп... у Захара-то?.. Одна срамота, а не храп... Себе под нос... Так-то и кошка храпит...

— Пусть, в свое удовольствие,— ответил я.

— Вот у покойницы, бабки Васены, была дудка-то!.. Вот это был храп... Двор-то ее у проулка был, а через тот проулок мужики с нашей улицы в поле ездили... Бывало, она в обедах заснет под сараем да ка-ак захрапит!.. Ох!.. Плетни треском трещат... Храпит, как перед концом света... Пугливая лошадь никак не шла в проулок: жуть, а не храп — стон дьявола... Зайдет мужик во двор к ней, разбудит и молит: «Тетка Васена! Дай бога ради проехать!» — «Проезжай, говорит, скорей, пока опять не заснула, а то время мне подошло». А у Захара не храп, а приветственная речь... с трибуны... по записке... Ну пусть. Он человек хороший. Чудак, конечно, Захар-то... но человек хороший. Только вот чудак. Мухи ему разные, жуки нужны. Все глупости. Хороший человек Захар. Пусть себе храпит... помаленьку.

...Разбудила меня выпь-горнист. Ухнула где-то рядом.

Василий Кузьмич уже собрался домой: ему ведь надо поспеть на работу к пяти часам утра. Он о чем-то тихо беседовал с Захаром Макарычем. Я подошел к челноку, над которым они оба наклонились. Захар Макарыч повернул ко мне голову и с восторгом объявил:

— Сожрал плавунец пиявку! Одни хлопья остались.

— Сожрал, собака,— удовлетворенно подтвердил и Василий Кузьмич.— Смехота! Ночью сожрал...— Он оттолкнулся веслом от берега и скрылся за поворотом...

За утро я поймал еще одного окуня. И все. Захар Макарыч ничего не выудил: он сидел всю зорю метрах в пяти от меня и, казалось, не обращал внимания на удочки. Но сидел недвижимо.

Когда мы, чуть шевеля веслами, ехали домой вдвоем с Захаром Макарычем, солнце уже поднялось «выше завтрака».

У моста, причаливая челнок, он сказал:

— Завтра пойду в колхоз. Как это так: два комбайна негодные, а уборка вот-вот?

— А что сделаешь? Запчастей-то нет.

— Когда-то вовсе никаких запчастей не было, а работали. И убирали... Отремонтирую. Я могу. Двадцать пять лет ремонтировал — знаю.

Трещала в камышах птичка-барсучок. Вскрикивали чаечки. Заливались сотней голосов камышевки, шелестели камыши...

Река пела.

Пусть она поет. И пусть она течет. Берегите ее, люди.

6. ПЕРЛАМУТРОВОЕ ОБЛАКО

Главный праздник охотников — открытие летне-осеннего сезона. Этот день обычно назначается на первое или второе воскресенье августа. Самые завзятые верующие никогда так не ждут пасху, как охотники свой праздник. Любители легавых все чаще и чаще натаскивают собак, шатаясь без ружья по лугам и низинам и нащупывая дупелей или бекасов; с той же целью утятники ползают со своими спаниелями по болотам, возвращаясь к концу выходного грязные, пропитанные благодатным трудовым потом. Любители пострелять уток на перелете стоят зорями на взгорье истуканами (иногда с биноклем в руках), изучая утиные воздушные дороги на кормежку и обратно. «Лодочники», эти не раз совершат труднейшие путешествия в заросли камышей, изрежут челноками несколько километров непробойного резака, и все только для того, чтобы определить точно, где выводки, где утренняя садка, куда иной раз собирается несколько десятков кряквы.

Жены охотников либо начинают вздыхать, либо пилить мужей (смотря по характеру), предчувствуя расставание с ними на все выходные, до конца сезона. Жены знают: сказавши однажды «Ни пуха ни пера», они будут повторять это каждую субботу вечером. В воскресный же вечер будут встречать мужей. А они — эти самые, с позволения сказать, мужья,— поевши, падают в постель и засыпают как под наркозом. Режь такого — умрет, не проснется. Но умрет улыбаясь.

Однако не все таковы охотники. Они тоже разные. Многие, азартно готовясь к открытию, поохотятся разок-другой, придут с пустой сумкой и потом — ружье на гвоздь. Это уже не охотники, а так себе — неудачники или лентяи, распугивающие дичь в первые дни и оставляющие сотни подранков.

Но все равно, какого бы характера ни был охотник, он выезжает на открытие. В этот день можно встретить с ружьем и колхозника, и рабочего, и учителя, и агронома, и инженера, и председателя райисполкома, и секретаря райкома, и даже секретаря обкома, и юношу, впервые взявшего в руки ружье, и почтенного пенсионера с таким же дряхлым легашом как и хозяин; впрочем, попадаются и пенсионеры, что хоть в бочку запрягай.

Вот там-то эти чудаки становятся (почти все!) хоть чуть-чуть, но не такими, какими они бывают всегда. Респектабельный на улице пенсионер отдерет вам в камышах частушку, а вечером с увлечением расскажет о гражданской войне, о своих походах и боях в те годы. Колхозник выложит всю подноготную своего колхоза председателю облисполкома да еще добавит: «Куда же вы-то смотрите».

Одним словом — все становятся не совсем такими, какими мы привыкли их видеть.

Для настоящих охотников день открытия — это вздох полной грудью, долгожданное наслаждение лесом и лугами, камышами и птичьими песнями, водой и землей, небом и тишиной — всем тем, без чего не может быть никакого счастья, не может быть свежей мысли и радостного труда.

Именно поэтому в один из августовских дней я снова оказался в Далеком. Приехал туда накануне открытия — не хватило терпенья. Захар Макарыч Пушкарь прилип снова к комбайну, Алеша Русый «не вырвался от директора» раньше срока, поэтому мы договорились: они оба будут в Далеком тоже накануне открытия, но только вечером, в субботу.

Весь день мне предстояло провести одному.

Далекое в августе совсем не то, что весной в половодье. От русла Тихой Ольхи и до острова затон сплошь покрыт лилиями-кувшинками и пятнами резака. Снежно-белые с кремовым оттенком лилии на зеленом фоне своих широких и сочных листьев, отгороженные от горизонта зелеными камышами, кажутся какими-то сказочными. Здесь все так не похоже на ту природу, что вблизи селений и городов. Нежно-беленькие кувшиночки, зеленый-зеленый, чуть трепещущий от ветерка ковер ряски и голубые окна воды. Белое, зеленое, голубое — других цветов нет. Разве лишь по краям, у самых камышей, выпрыгнет полоска цветущей розовато-голубой речной мяты, пахучей и нежной, с темно-темно-зелеными пушистенькими листьями. И все это залито ослепительным солнцем, все слегка поблескивает.

Я остановился среди такой неописуемой красоты. В который-то раз в жизни! И снова был удивлен и поражен, как и ежегодно.

Вот передо мной, на расстоянии полутора метров, вода заиграла золотыми причудливыми узорами. Я долго

любуюсь искусным плетением: кружево все время движется и изменяется, то сужаясь плотнее, то рассыпаясь вдребезги, то снова возникая будто ниоткуда. Это маленькие жучки-вертячки. Их тут, пожалуй, будет больше сотни — редкое собрание. Они кружатся на воде, вертятся каждый в отдельности, а солнце ткет живые золотые кружевца из их следов. Кажется, что здесь неимоверно хитроумный танец, но на самом деле это обычная работа безобидных, стального цвета жучков: они гуртом охотятся, вылавливая микроскопически малую добычу.

Можно подумать, что они настолько увлечены своим занятием на воде, что не замечают ничего вокруг. Не тут-то было! Попробуйте взмахнуть рукой или веслом — золотые брызги взметнутся в разные стороны. И — нет жучков, пропали узоры. Мало кто знает, что у вертячки удивительные глаза. Они разделены поперечной стенкой: нижняя часть видит на воде и под водой, а верхняя — с поразительным вниманием следит за всем, что над водой; одна половина глаза охотится, другая стережет от врага сверху. Ведь это же чудо природы. А некоторые люди не замечают, проходят мимо.

Шагах в десяти от меня, по широким листьям кувшинок, у края камышей, прокатился серенький комочек и вдруг замер в центре листа... Снова прокатился и снова замер... Потом — назад той же дорогой, и так же быстро, и так же с остановками. Пушистый комочек меньше куриного яйца. То он скроется, то снова выкатится из камышей, но от них далеко не отбегает. Кто это?

А я знаю — кто. И вовсе это никакой не комочек, а цыпленок болотной курочки. Ему несколько дней от роду, а он уже сам умеет находить пищу и ночлег. Забавная птичка. В гнезде водяной курочки никто никогда не видел птенцов — даже Захар Макарыч Пушкарь не видел, хотя и пытался не раз. Оказывается, эти детишки, как только вылупятся и чуть обсохнут, убегают из гнезда и уже больше туда не возвращаются. Еще не оперившись, покрытые наполовину пушком, они бросают мать насовсем и разбегаются.

И вот он строчит себе и строчит по листьям, питается всякими дарами земли и воды. Но... неожиданно, где-то поблизости, лысуха тревожно крикнула об опасности; крачка, маленькая чаечка, надрывно вскрикнула, предупреждая о приближении коршуна. В камышах зашуршало. И затихло. Цыпленок укатился туда в одно мгнове-

ние. А коршун проплыл над затоном бесшумно и грозно: всех неспособных он, конечно, уничтожит, а те, что понимают язык птиц-сторожей, начхали на него. Цыпленок — тоже: когда миновала опасность, он выкатился снова, но бегал опять-таки только рядом с камышами. Этот не пропадет — ушлый цыплочóк, дотошный. Меня он не замечал совсем: челнок был в камышах от кормы до носа, а сидел я неподвижно.

Стая нежно-расписных щурок, появившись неожиданно и невесть откуда, запорхала над водой с веселым щурканьем. Проворные и говорливые, они что-то старательно высматривали, то совсем низко опускаясь, то взмывая вверх.

Зимородок нырнул камешком с куста в воду, не раскрывая крылья, и... «утонул». Но он вытащил рыбку и, как ни в чем не бывало, полетел, ничуть не замочив перышки.

Иной раз мне хочется сидеть, отдыхая, наслаждаясь и восхищаясь миром, прислушиваясь, всматриваясь. Здесь ничего не стараешься запомнить, но ничего и никогда не забываешь.

День прошел незаметно.

Только после того как ржаво проскрипел вдали коростель, я понял, что вечереет. Мысленно поблагодарил эту пешую птицу за предупреждение и направился на остров, на ночевку. А коростель ритмично скоблил и скоблил, будто ногтем по гребенке, будто звал меня: «Пора варить... Пора варить...» Тоже интересная птица: летает неохотно, большую часть жизни проводит «в бегах»,— даже во время перелета на юг коростель значительную часть пути отшлепывает пешком... Ладно, живи так — бегай, как положено по чину, и скрипи свою зорю. Каждому свое.

У берега острова, в том месте, где обычно причаливают редкие здесь охотники, уже стоял чей-то челнок. Был он выкрашен не под зеленый цвет камыша, а в ярко-голубой; бортики обведены белилами, а на борту, ближе к носу, красовалась белая же надпись: «Только вперед!» Странное явление: в этакой глуши появился размалеванный челн, от которого вся дичь будет шарахаться за километр. Не надо быть следопытом, чтобы догадаться, что прибывший на разукрашенном судне не имеет никакого охотничьего опыта. Он, видимо, слишком еще молод, чтобы знать, что такое маскировка. Не было в лодке

и суховилки, без которой в осеннюю охоту здесь не пробраться на плес по густому резаку и зарослям камыша, а лежало одно лишь короткое весельцо-игрушка, для легких прогулок.

Но где же сам охотник?

Расположившись на лужайке под дубком, я решил сварить кашу-сливуху (авось охотник и сам объявится).

Вскоре костер уже пылал под котелком.

За спиной зашуршало. Оглянувшись, я увидел, как человек тащил огромную вязанку сучьев и хвороста. Лица его пока не было видно — он согнулся под тяжестью ноши. Когда же поравнялся со мной, то сбросил вязанку наземь, вытер потный лоб рукавом и подошел ко мне.

Это был... Переметов!

Хотя я не был с ним коротко знаком, но знал точно, что он никогда не охотился. Больше того, он когда-то высмеивал охотников и рыболовов, называя их бездельниками.

— Никак ты? — спросил он.

— Здравствуйте, товарищ Переметов! Не знал, что охотой занимаетесь.

— Думаю заняться... Надо заняться. Вот видишь, лодку новую заказал.

Он присел у огонька. Лицо его — цвета розового древоточца, в меру упитанное и почти безбровое: сняв фуражку, он обнажил легкую лысину ото лба. Передо мной сидел бывший руководитель района (даже трех районов поочередно). Лет ему не больше сорока пяти.

— Стареешь,— сказал он мне.

— А вы ничуть,— ответил я, не солгав ни капельки.

Он слегка ухмыльнулся и спросил:

— Чего так рано приехал? Открытие-то завтра.

— В отпуске... Хотелось денек отдохнуть на воле.

— Отдохнуть — это неплохо. Неплохо... Да-а, неплохо. Вот так...— говорил он снисходительно и, пожалуй, покровительственно, как за письменным столом служебного кабинета.— Вот так... Неплохо отдохнуть. Отдохни. А я пойду работать.

— Чего ж тут работать?

— Эге, братец! Да ты в охоте, видно, не силен... А я вот по привычке: с народом советуюсь... Порасспросил, узнал.

— И что же узнали?

— А то: завтра понаедут тут... всякие, захватят самые хорошие места, а ты будешь болтаться. Из-за того и приехал на день раньше... Работать надо, работать. Вот так... Работать.

— Палки-то зачем нарубили? — спросил я уже с живым интересом.

— Палки? — Он опять ухмыльнулся.— Шалаш буду над лодкой городить.

— Здесь же кругом камыши! Не надо никаких шалашей. Вы же себя демаскируете. Ветки ваши и палки далеко будет видно. Надо так: въехать в камыши, завязать их над челноком аккуратненько, и все.— Мне казалось, что говорю убедительно.

Но Переметов подарил свою розовую и ласковую улыбку и возразил, вставая:

— Ой и хитрец ты, я вижу! Ты бы, значит, убил бы, а я — с пустой сумкой. Ишь ты!

Я сообразил наконец, что советовать Переметову бесполезно (он по привычке сам все знает), и перевел разговор в другую плоскость. Очень уж собеседник мой показался мне занятным здесь, среди природы.

— Вы садитесь-ка,— говорю,— да отдохните. А я расскажу, что сегодня видел. Интересно!

— А ну-ка, ну-ка? Послушаем.— И он снова сел.

Я рассказал ему про жучков-вертячек.

Он констатировал коротко:

— Ничего особенного. Обыкновенная тварь.

Рассказал ему про цыпленка.

Он отрезал:

— Мало их, цыплят разных. Всякие бывают цыплята.

Наконец, уже без волнения, без всяких там красок сказал ему:

— Дергач, коростель, пешком топает на юг.

— Птица так не может,— заключил он. Потом подумал и дополнил: — А если, допустим, и ходит на юг, то почему бы ей и не ходить, если от природы дана такая установка... Только вряд ли.

Он ничему здесь не удивлялся, ничему не верил. А встав с земли, заявил:

— Дите ты малое, в полном смысле... Поеду шалаш делать.

— Где думаете стать с шалашом-то?

— На реке. На реке... Думаю, на реке.

— Надо в глушь забиваться, на плеса. На русле вряд ли что получится. Утка любит крепи, дебри. Вот когда морозы ударят, тогда другое дело... тогда — на русло.

— В глушь пусть другие забираются. «Утка любит!» Почем ты знаешь, что утка любит? Карась тоже любит, чтобы его жарили в сметане.— Он рассмеялся над своей остротой и, легко подняв вязанку, пошел к челноку, довольный, уверенный, розовощекий.

Снова я остался один. Но уже не хотелось прислушиваться к тишине леса, уже не радовал огонек костра и запах свежей каши.

Понятно, я был немало обрадован, когда у берега кто-то весело крикнул:

— Эй, у костра! Пусти ночевать под небом.

— В нашей хате — каждый гость! — ответил я бодро и сам направился к берегу.— Кого бог принес?

— Я неверующий. И богу от меня мало проку, чтобы носить.

— Бог, он — не дурак, знает кого носить. Никак Валерий Гаврилович?..

— Он самый. Фомушкин по фамилии. Бывалый охотник и небывалый стрелок: из двенадцати уток выбиваю тринадцатую — остальные летят своей дорогой.

На охотнике был поношенный ватник-телогрейка, видавший виды картузик, коричневые брюки, заправленные в охотничьи, с ботфортами сапоги. Крепкого сложения, среднего роста, он легко выволок челнок наполовину из воды, подтащил свое охотхозяйство к огоньку и подал мне руку:

— Гора с горой... Год прошел, как я в районе, а не приходилось нам с вами вот так-то.

— Зато о вас мне кое-кто рассказывал,— загадочно сказал я.

— Например? — насторожился Фомушкин.

С притворным вздохом я ответил:

— Например, Василий Кузьмич Кнутиков.

Фомушкин схватился за голову:

— Неужели про петуха выложил?!

— Совершенно точно.

— Понимаете, какая история вышла? А? Не могу до сих пор смотреть ему в глаза. Хотите верьте, хотите нет — стыдно.

— Ну вы-то при чем же? — попробовал я утешить.

— Жрал же я петуха породистого. Как это так при чем? Скверно получилось. Но я замолю грех: я ему таких цыпляток подброшу с инкубатора! Он поймет.

— Конечно же, поймет,— согласился я.

Валерий Гаврилович уселся у огонька, закурил папиросу. Роговые очки не придавали ему никакой степенности — его широкобровое лицо с чуть-чуть выдающимися скулами было все равно открытым. Лет ему можно дать не более тридцати — тридцати пяти.

Без всяких там экивоков он принял мое приглашение и стал уплетать со мной кашу-сливуху, как дома. Ложки у него не было, поэтому он тут же выстрогал ножом лопаточку и орудовал ею.

Я спросил:

— А где сейчас работает Переметов?

— Нигде. Ждет место... Что это он вас заинтересовал?

— Он здесь. Поехал городить шалаш. Разговаривал с ним.

— Странно,— произнес неопределенно мой собеседник.— Что это он возгорел страстью к охоте? — Фомушкин вздохнул: — Беда мне с ним!

— Что-нибудь случилось?

— Ничего, конечно, не произошло, но в неделю два раза он посещает меня в райисполкоме и дает указания, советует, как надо работать. Бывает так, что...

Он не договорил, потому что от берега послышался сначала говор, а потом чуть хрипловатый голос Алеши Русого:

— Охотников принимаете?

— Ворота настежь — заезжайте прямо во двор! — ответил Фомушкин.

И мы направились с ним к берегу.

Приехали два моих друга, каждый на своем челноке: Алеша Русый и все тот же Захар Макарыч Пушкарь.

Не успели мы подойти вместе с приехавшими к своему табору обратно, как с острова подошел Петр Михайлович Чумак.

— Эй вы, сонные тетери, открывайте брату двери! — крикнул он еще шагов за двадцать.

Захар Макарыч прямо-таки сорвался с места и побежал к нему навстречу, а Фомушкин сказал, обращаясь ко мне:

— Ученый прибыл.

— Шутите? — спросил я.

— Вполне серьезно. Не шучу. Я же с ним в одном районе лет пять работал вместе: он — председателем колхоза, я — тоже.— И шепнул на ухо: — Думаю рекомендовать его своим заместителем. Чш-ш-ш! — Он обратился теперь к подошедшему Чумаку: — А кого, позволька спросить, за сонных тетерь принимаешь?

— К слову пришлось,— ответил тот в самом добрейшем расположении.— А впрочем, может, ты и есть сонная тетеря. Чего забываешь друзей? Как стал председателем райисполкома, так уж и... Подумаешь! Чин! Небось как с дипломной работой — висел у меня на шее, а тут — ни гугу.

— Каюсь. Признаю! — воскликнул Фомушкин, потрясая руку Чумака.

А тот крикнул:

— Огня! Будем поджаривать председателя райисполкома!

— Огня! — заревел Захар Макарыч и первым ринулся в лес за сухими сучьями.

Мы тоже — за ним. Уже в сумерках всей компанией набрали ворох топлива. Вновь заполыхал костер. Теперь вокруг уже ничего не было видно: мир стал маленьким и уютным и уместился весь на этом пятачке, освещенном пламенем.

— Сказать вам всем новость? — спросил Алеша, подкладывая сучья в огонь.

— Всегда рады хорошей новости,— ответил Фомушкин, подвешивая чайник на козелки.

— Мы с Захаром Макарычем видели на русле чудо преестественное.

— А ну-ка? — встрепенулся Петр Михайлович Чумак.— Чего видели, кого видели?

— Пе-ре-ме-това!

— Шуршит хворостом, возится, как нечистый дух,— уточнил Захар Макарыч.

— Новость твоя, Алеша, уже с бородой. Знаем,— сказал Фомушкин и почему-то бросил взгляд на Чумака.

И тут я заметил, как Петр Михайлович, сидя на коленях у костра, сначала чуть помрачнел, а потом встряхнул головой, взмахнул единственной рукой, неожиданно рассмеялся, казалось, без всякой причины и произнес возвышенно:

— Отгремевшая гроза района!

Трещал костер, выхватывая из темноты то целое дерево, то куст, а то и всю поляну сразу. И тогда дерево дрожало, куст, казалось, шевелился, а поляна играла бликами. Но так — лишь на несколько секунд, при игре огня. Кругом же была темнота. Только звезды осыпали нас сверху и с боков. Очень яркий Юпитер висел прямо над еле различимым силуэтом леса, будто выглядывая и прислушиваясь к ним.

Потом мы пили чай. Захар Макарыч рассказывал, какой хороший хлеб в этом году («на полкруга — полный бункер!») и как его, Пушкаря, по-доброму встретили в колхозе. В заключение он подытожил:

— Этим летом я убежал маленько от старости.

— Тебе, Макарыч, осталось и жить-то каких-нибудь восемьдесят лет,— подсчитал Алеша и тут же начал было выкладывать Валерию Гавриловичу о своем совхозе: — Я вот вам сейчас — всю подноготную...

Но кто-то, идя от берега, кашлянул два раза, будто поперхнувшись.

— Кто? — спросил Алеша.

— А ты кто? — послышался ответный голос.

— Переметов идет! — тихо воскликнул Петр Михайлович.

— Пропал вечер,— вздохнул Валерий Гаврилович. А к Алеше обратился тихонько: — Потом расскажешь. Сейчас о делах — ни мур-мур.

— Соображаю,— согласился Алеша.

— Все тут? — спросил Переметов вместо приветствия.

— Вас не хватает, Яков Гордеевич,— ответил Захар Макарыч.— Остальное все в порядке.

— Раз, два, три... Пятеро,— сосчитал нас Переметов, как овец в отаре.— По десять штук — пятьдесят уток... Где же им наплодиться, уткам-то!

— По десять нельзя,— возразил Алеша.— Разрешается только по четыре на нос. Три дня поохотитесь — пожалуйста, можно и двенадцать.

— Кто это тебе сказал? — спросил Переметов, явно наметивший себе десять жертв на завтра.

— В газете написано.

— В газете... Мало ли что в газете... Возможно, и в газете,— неожиданно передумал Переметов.— Если в газете,— то — установка... Вот так... По четыре? Ну, по четыре так по четыре,— примирился он.

Переметов все еще стоял у костра, пока Валерий Гаврилович не пригласил его:

— Садитесь, Яков Гордеевич, чайку выпейте. Помогает — поднимает настроение.

Тот сел. Петр Михайлович подал ему свою алюминиевую кружку и сахар:

— Помогает чай здорово — голова лучше работает.

— Это точно,— согласился Переметов.— По себе знаю. Точно — помогает.— И пил чай, шумно отхлебывая.

В первые минуты все мы почему-то прислушивались, как он пьет чай — с аппетитом, со вздохами, с большим удовольствием. Но он, еще не докончив чаепитие, стал поучать и наставлять:

— Ты думаешь, Фомушкин, руководить районом — раз плюнуть? Нет, брат, не так. Не так совсем... Надо с народом держать связь. С народом. Вот так...

— Держим связь,— попытался отбрыкнуться Валерий Гаврилович, но это только подлило масла в огонь.

— Ты — связь! Нету связи. Оторвался от народа.— Он, казалось, сердито отхлебнул последний глоток и, не глядя, возвратил кружку Чумаку.

— А это еще надо доказать,— бросился в защиту Алеша.— Нужны факты. Дайте фактики.

— Факты? — переспросил Переметов и окинул всех нас взглядом.— Я бы тебе тысячу фактов привел... да не место тут об этом балясы точить. Все идет к худшему и к худшему. С такими темпами отрыва от народа не скоро придем к коммунизму, а обратно пятиться будем.

— А может быть, вам это только кажется? — как-то вяло, нехотя спросил Валерий Гаврилович.

— Что мне кажется?

— Ну, что все хуже в районе, чем при вас.

— Нет, брат ты мой! Это тебе кажется все хорошо. Вот так...

— Мне не кажется. Есть и хорошо, есть и плохо. Поразному.

— Ничего я не вижу хорошего в районе. Ни шиша. Вот так... И вам, дорогие товарищи, придется потом расплачиваться за свою совесть. Придется выпить горькую чашу. Я не пророк, но так оно и будет.

— А мы ее уже выпили до дна, горькую чашу,— рубанул неожиданно и на полном серьезе Захар Макарыч.

Никто из нас не понял намека. Переметов спросил в недоумении:

— Как так — выпили до дна?

— А так: перед тем как ехать сюда, мы с Алешей целую поллитру раздавили, как головастика. Крэк! И — нету.

Мы рассмеялись. Однако Алеша даже и не улыбнулся. Он, казалось, приготовился слушать ответ Переметова на шутку. Но тот, покачивая головой, повторял с сожалением:

— И это — руководители! Руководители называются! Как же вы с народом будете разговаривать? Руководители... Дошли до ручки... Тоже мне, руководители...— Он напирал на это слово, поглядывая на Чумака и Фомушкина с участием как на больных.— «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь»,— сказал писатель Гоголь. И правильно сказал...

Захар Макарыч в данном случае представлял «народ», который тоже смеялся и любил смеяться. Меня же, конечно, Переметов не причислял ни к тому, ни к другому слою общества, поэтому я хохотал от чистого сердца.

Когда же стали располагаться, чтобы вздремнуть перед зорькой часок-другой, Переметов заметил, что место мы выбрали не то, и что костер развели не там, и что варить чай не умеем, что варить его надо с умом, а «не раз плюнуть».

Алеша нарочито вежливо остановил его поучения:

— Вы ложитесь-ка, Яков Гордеевич. Ложитесь. Мы народ тугой — за один вечер не перевоспитаешь. Ложитесь — отдохните. Чего зря слова тратить. Если бы так с месячишко, то польза была бы. А за один вечер — не получится, говорю.

— Пожалуй, верно,— согласился Переметов, улыбнувшись наконец. И уже весело, ласково, будто поглаживая при этом по спине лошадь, убеждал Алешу: — Вот ты — рабочий человек: с тобой я — по душам. Возьмем лет десяток назад. Совсе-ем другой вид был у руководителей района: что осанка, что голос, что внушение умел дать! А сейчас? Вот они, смотри на них. Посмеиваются себе, как Аркадий Райкин.— И он ткнул пальцем в Фомушкина и Чумака.— Приди ты в райисполком сейчас: сидит за столом не председатель, а вроде бы школьный учитель — ни формы, ни стати, ни авторитета для посетителя...

— Коне-ечно,— согласился Алеша вполне серьезно и степенно (он так умел).— Вид должен быть. Вот при вас-то бывало... Э, да что та-ам!

— То-то вот и оно. Понимать надо.

— Надо,— опять же поддержал Алеша.— Когда бабка моя готовилась сказку сказывать, то начинала так: «Кто ума не занимает, тот и сказку понимает».

— Правильно бабка говорила. Умная бабка,— подтвердил Переметов и стал укладываться, покряхтывая и ворочаясь.— Тоже мне, охотники... не могли потолще настелить.

Алеша прямо-таки встрепенулся:

— Да если бы я знал, что вы тут, то тогда...

Взаимопонимание Алеши и Переметова было буквально трогательно. Только Переметов-то не знал, что в Алеше бес сидит глубоко.

Петр Михайлович из-под плаща, которым он накрылся с головой, спросил полусонным голосом:

— А чего это вас прорвало на охоту, товарищ Переметов? Думалось, звать вас на охоту — все равно что курицу звать в воду.

— Посмотрим завтра, кто из нас охотник,— лениво ответил Переметов.

— Я не к тому,— докучал из-под плаща Петр Михайлович.— Откуда неожиданно страсть?

— А может, она и была у меня, страсть... да положение не позволяло... «Предрика, а с ружьем шляется». Так может сказать народ? Может. А к народу надо прислушиваться... И кроме того: где ты сейчас купишь утку? Нигде в районе не купишь. С мясом засели... С такими руководителями, как вы, утятины не покушаешь...

Он что-то говорил еще и после, но слова проскакивали мимо моих ушей. Было уже неинтересно. Лишь одно я вынес: Переметов был глубоко убежден, что без его личного руководства Камышевецкий район гибнет безвозвратно и уже никогда не сможет подняться вновь.

Перед самой зарей чуть-чуть покрапал нежный дождичек и оброси́л все вокруг. Легкий туман повис над камышами. С утра дождь — это не дождь, а туман с утра — к вёдру. Приметы верные — будет хороший день.

Перед рассветом мы расползлись по камышам на своих челноках, а Переметов заболтал весельцем к реке, в свое сооружение.

Мы с Валерием Гавриловичем решили стать в «голове» вдвоем. На таком озере можно и вчетвером.

Зашалашились мы довольно быстро, легко и просто. Нужен был только небольшой моток шпагата и — больше ничего.

Валерий Гаврилович устроился метрах в ста от меня, лицом к заре, так же, как и я.

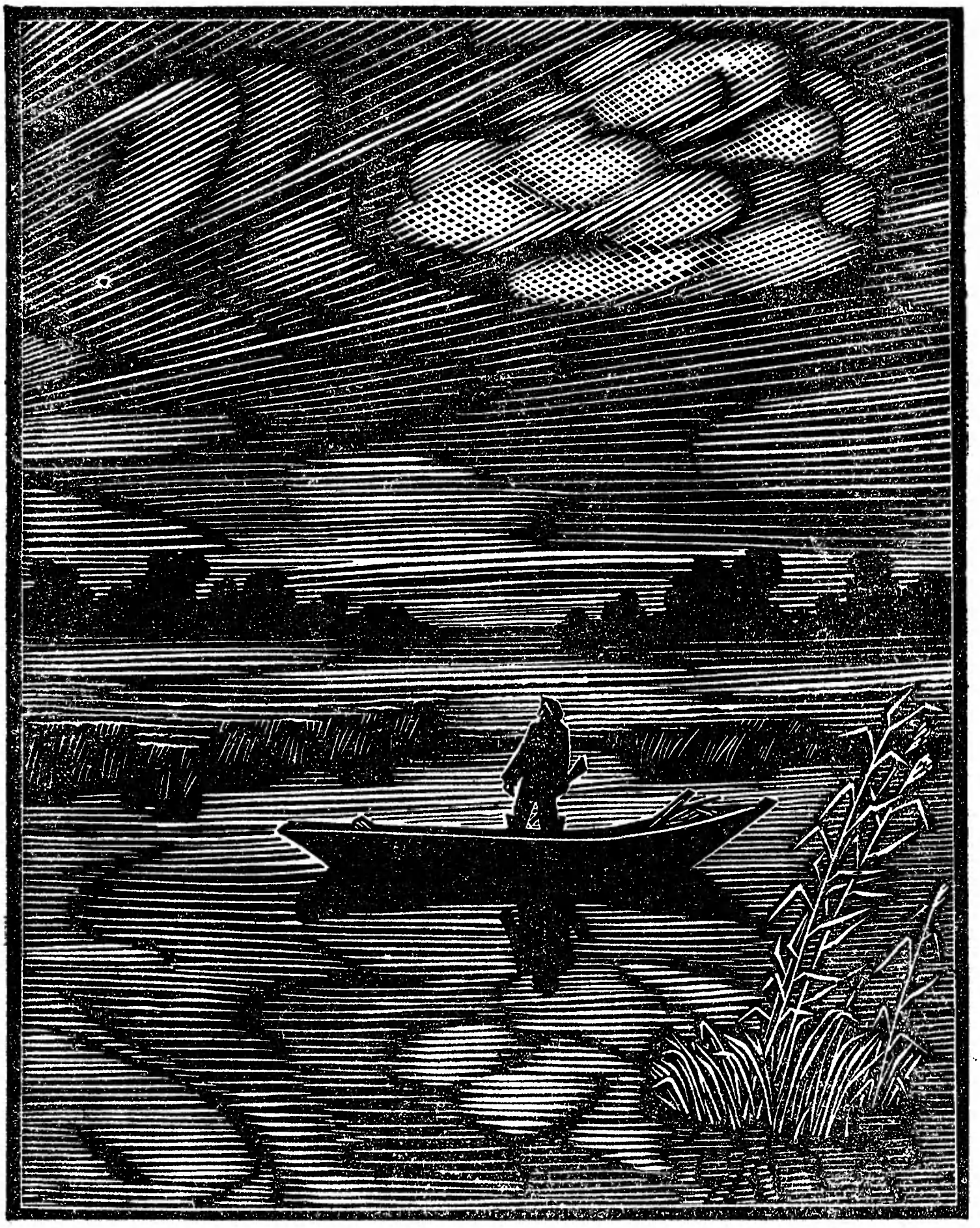
Туман над озером курился теплым парком. Листья камышей, хотя я и отряхнул их веслом, то и дело беззвучно бросали капли в челнок и на траву, но на мой плащ — хлестко. Больше ни звука. Небо пока еще закрыто сплошными серыми облаками, пока еще все вокруг было в мутноватой серой пелене, свежей по-утреннему, сырой, но приятной, бодрящей. Пелена была живой: она двигалась над водой, то мутнея, то просветляясь. Августовское предутро повисло над Далеким, задумчивое, напоминающее о том, что осень не за горами.

Но сколько прелести в самом утре в это время года!

Вот постепенно появляются красноватые просветы в облаках — это солнце подходит к горизонту. Оно близко, совсем близко. Облака становятся все жиже и жиже, редеют, отступают перед солнцем. И вдруг, как-то совсем неожиданно, образовалось в облаках окно, а мощные лучи прорвались в него и ударили по небу веером. Вокруг этого окна, по краям,— золото. Горы золота над землей. Из золотого окна — прямые дорожки лучей. Утро наступало торжественное, величественное и, наверно, опять и опять неповторимое в своей могучей красоте.

Сотни раз я встречал зо́рю, но не помню, чтобы одна была похожа на другую. Настолько щедра наша земля на подарки человеку, что вы можете получать их так часто, как захотите сами. Мне, например, в такие зори слышится какая-то, кажется, знакомая-знакомая симфония. Кажется мне, что слышу утро, слышу и эту неимоверную тишину, врывающуюся в самое сердце. Всегда в такие минуты чуть-чуть внутри дрожь.

И вот солнце уже растолкало облака, рассыпало их по куполу, как добрый пастух отару овец. Вскоре облака стали прозрачными и рассеялись поодиночке по всему небу, а между ними все больше и больше расширяются голубые-голубые просветы. Нет-нет да и пересечет



луч в один из таких просветов все небо, розоватый, с синим отливом. И растает, уйдет никуда. Но вдруг я увидел необыкновенное и незабываемое, увидел впервые в жизни.

Три облака сошлись незаметно и образовали причудливое, с извилистыми золотыми краями огромное окно. Казалось, края его, изменяясь с каждой секундой, дрожат от лучей еще не взошедшего солнца. Оно изо всей силы бросалось в этот просвет и вскользь осветило одно

из далеких расплывчатых облаков, которое было почти на противоположной стороне купола, самое высокое, где-то в верхнем слое. И то облако заиграло перламутровыми переливами. Из множества уже белых облаков это было единственное во всем небе с тончайшими и нежнейшими оттенками, без каких-либо резких переходов и границ цветов. Оно играло над землей мягко-радужными цветами, в каждом из которых было чуть-чуть голубого. Это было чудное явление природы и редчайшее в наших местах. Перламутровое облако!

Не многим удается видеть такое.

— Смотрите! Смотрите! — крикнул Валерий Гаврилович.

Две стайки уток, испугавшись, сорвались со средины озера. Голова Валерия Гавриловича торчала над пригнутыми им камышами (он, видимо, стоял на скамейке челнока). А рукой показывал мне на перламутровое облако:

— Смотрите! Скорей смотрите!

— Вижу! — ответил я ему. И повторил еще раз, вложив весь свой восторг: — Ви-ижу-у!

Оно, это чудесное видение, исчезло так же неожиданно, как и появилось. Но зато осталась в сердце отметинка на всю жизнь: я видел перламутровое облако и был в те минуты счастлив; а неподалеку от меня стоял в челноке мой новый знакомый,— знаю, мой новый друг,— тоже счастливый в тот миг и восторженный.

...Мы просто прозевали зо́рю: стреляли уже часов в шесть, когда с кормежки шли последние утки. И всего-то мы взяли по парочке. Если к тому же добавить, что в моей парочке был один чирок, то можно сказать, возвращались мы «с пустым полем».

— Ну и пусть,— сказал Валерий Гаврилович, когда, проталкиваясь суховилками в резаке, мы направились к острову.— Зато какое утро! Какое облако! А?

Мне нечего было ответить, потому что мы уже понимали друг друга.

А на берегу Алеша задумчиво сказал:

— Говорят, нет чудес на свете. Да в таком чуде фанатик может вообразить что угодно: и икону какую-нибудь и даже самого бога Саваофа.

— Может. Факт, может,— согласился Захар Макарыч.— А все так просто. И все было душевно в том облаке.

После того как мы сошлись под дубком, Валерий Гаврилович спросил у всех сразу:

— Что-то Петра Михайловича до сих пор нет? Не застрял ли? С одной рукой ведь... А резак вон какой густой...

— Не застрянет,— уверенно ответил Захар Макарыч.— Он тут каждую камышинку знает. С детства знает.

Прошло еще с полчаса, как наконец появился Петр Михайлович. Он, не выходя из челнока, позвал нас взмахом руки. Мы подошли.

— Переметова надо спасать. Один пробовал — не получается: все-таки две руки — это руки, а одна рука — это просто рука.

— Что случилось? — спросили мы в один голос.

— Захряс в резаке и сидит чучелом.

А получилось все очень просто. Переметов, видимо, услышав выстрелы и не обнаружив никакой дичи над своим сооружением, решил срочно переехать в другое место. Никаких угодий он здесь не знал и не представлял, что такое резак для челнока. Со своим веслом-мешалкой он протиснулся на сотню метров, пытаясь пройти в дебри Далекого, но из этого ничего не вышло. А назад — никак.

Мы подъехали всей компанией и остановились у края резака. Переметов сидел на дне челнока ссутулившись; фуражка сползла козырьком набок, пот струился по лицу, рубаха прилипла к телу; весь он выглядел измятым, раскисшим, в полной безнадежности.

Алеша перешел в челнок Захара Макарыча. Они вдвоем, в две суховилки, пробились к незадачливому охотнику, взяли его на буксир и с трудом выволокли на протоку. Он молчал, вытирая рукавом пот со лба. Когда же наконец оказался на чистой воде, то шумно вздохнул.

— Что, тяжко? — участливо спросил Захар Макарыч.

— Пропади она пропадом, ваша охота...— ответил Переметов угрюмо.

Петр Михайлович обратился к нему же, но не без иронии:

— Ты, Яков Гордеевич, облако видел?

— Какое такое облако? — уже в полном изнеможении пробурчал Переметов.

Ухайдакал резак «отгремевшую грозу района».

Алеша сказал ему с этаким нескрываемым сожалением:

— Поезжайте-ка вы, Яков Гордеевич, домой. Дружеский совет вам от всего сердца. Ей-правда, поезжайте.

Переметов поехал домой один, не оставшись на вечернюю зо́рю. Поехал угрюмый.

На борту его челнока красовались белые броские буквы: «Только вперед!»

А поехал он назад. В растерянности и удручении он сел в челнок задом наперед и булькал своей мешалочкой. Потом-то, в пути, он, конечно, заметит, что сидит не так. Да толку-то!

7. ХУТОРОК НАД РЕЧКОЙ

В один из субботних дней августа вздумалось мне поехать вверх по Тихой Ольхе. Когда-то там были отличные места для охоты на бекасов и дупелей. Правда, берега реки и там заросли камышами, но зато в пойме есть чистые луга с мелкими болотцами и кочкарником, заросшим мелкой осокой, хвощом и мочажинником. Конечно же, в таком случае была со мной в челноке и моя Лада.

Хотя первые порывы радости и восторгов у нее уже прошли, но она, сидя в средине лодки, все еще изредка вздрагивала от волнения.

На моторе в это время года можно проехать вверх довольно далеко от Камышевца, километров за двадцать. Но дальше, перед бекасиными местами, речка заросла настолько, что пробраться по ней можно лишь на веслe.

Итак, мы с Ладой были почти у цели и не спеша ехали к пойменным лугам, что в двадцати пяти километрах от Камышевца.

Небо было пасмурным. Облака закрыли солнце совсем, и казалось, нет им ни конца, ни края. В безмолвной тишине безветрия камыши стояли спокойно. Огромнейшие здесь листья кувшинок были тоже недвижимы. Река в этих местах течет тихо, лениво, а в августовском беззвучии кажется в каком-то полусне позднего лета. Разве нет-нет да прощебечет камышевка, из тех редких экземпляров, что поют даже и позднее конца августа. Но ближе к вечеру на лужайке, недалеко от берега, все еще свистит погоныш, одиноко и прощально. Свист его, отрывистый и звучный, очень похож на свист погонщика

волов или пастуха коровьего стада. Недостает только того, чтобы погоныш еще крикнул что-то по-человечески, как настоящий заправский пастух. Но я мысленно дополняю это сам. Погоныш: фийт! фийт! А я: «Куда пошла, зараза!»

Еще при первом его свистке Лада встала передними лапами на лавочку, замерла. Потом оглянулась на меня: «Слышь, свистит? Может быть, сходим за ним?» Я покачал отрицательно головой. Она, чуть послушав еще, снова села на средину челнока.

Так мы и едем — тихо, в полусонном окружении.

Даже лягушка и та проквакала ленивым смешком, без обычного упоения. «Ква-ке-ке — не все ли равно, лето кончается... Ква-ке-ке».

Потом, к концу нашего пути, где-то далеко-далеко монотонно и еле слышно заурчал комбайн — значит, уже убирают и просо. Эти звуки настолько ровны и беспрерывны, что тишина ничуть не нарушалась, и даже наоборот: казалось, сама тишина журчит. Так бывает неслышен в предосеннем лесу резвый ручеек в могучей тишине — он становится ее частью. Поэтому же и я слышал только всплески своего весла. Остальное было тишиной.

К берегу мы пристали против маленького хуторка с обидным названием Вонючка. Он на противоположной от нас стороне реки прилепился на взгорье кое-как, будто наспех, на несколько дней, без улицы и в полном беспорядке. Вокруг изб — ни деревца, ни кустика. Нет и надворных построек — одни избы, тоже съетаженные кое-как, впопыхах, из самана и соломы, серые, небеленые. Так и кажется, что люди здесь живут несколько недель, не больше одного лета, а потом они вот-вот уедут.

В каждом селе, где бы я ни побывал в последние годы, много новых домов, колхозники строятся. И это примета времени. Но хутора и крохотные деревеньки кончают жить, расползаются, тянутся в село, в город. Таков и этот хуторок. Знаю, было здесь сорок дворов, а теперь осталось... Сколько? Считаю: тринадцать. На местах бывших изб видны курганчики, заросшие бурьяном.

Облака были серыми, недвижными, казалось, они придавили заброшенный, доживающий последние годы хуторок, но он все еще пытается топорщиться верхушками соломенных крыш. Многих из его жителей я знал

когда-то близко, еще с тех времен, когда здесь ели лебеду в голодный год. А кто теперь там остался? Этого не знаю, потому что не бывал там более пятнадцати лет, то есть с тех пор, когда Вонючка входила в мой агроучасток, а колхозик назывался «Светлый путь».

Старые, знакомые места!

— Лада! — окликнул я тихонько.

Она преданно смотрела мне в лицо.

— Ты собака хорошая, Лада... Ты молодчина... Начнем? — спросил я, погладив ей голову.

Лада прыгнула на берег и сразу же пошла челноком: влево-вправо-вперед, влево-вправо-вперед. На поворотах она каждый раз бросала на меня взгляд. Вначале горячилась, спешила, нервничала, но вскоре, чуть пропотев, пошла ровно и спокойно.

Вот она резко остановилась, будто наткнувшись на что-то, чуть пригнулась и, еле переступая, пошла на потяжку, бесшумно переставляя лапы: шаг ее становился все реже и реже, все осторожнее и осторожнее, и наконец она замерла на месте, приподняв переднюю лапу, замерла, как изваяние. Стойка!.. Та самая стойка, любоваться которой без страстного биения сердца не может ни один настоящий охотник.

Где-то близко от Лады, там, куда она направила взор, затаилась дичь. И я тоже дрожу, переступаю тоже осторожно, держа ружье на изготовку и не спуская глаз с Лады. Она недвижима.

Еще два шага... Стою позади Лады и тихо приказываю:

— Пиль!

Пружиной она прыгнула вперед и в ту же секунду легла, приподняв голову. Бекаса будто выбросило. Он мелькнул над травой в полроста человека. Секунда — и я накрыл его стволами. Выстрел! Промах! Дублет!.. Серый комочек клюнулся в траву.

Лада встала, смотрит на меня с укором: «Что же это ты, Тихон Иваныч, промазал первым-то? Ай-яй-яй!»

— Это ничего, Лада, ничего. Я тоже волнуюсь... Подай!

Лада несет бекаса по всем правилам и отдает мне «из рук в руки». И тогда мы с ней коротко объясняемся в любви.

...Небо в тот августовский вечер все гуще и гуще затягивалось свинцово-сизыми облаками. Мы с Ладой

взяли еще одного бекаса. Дважды я промазал, как школьник, за что получил от Лады выговор: она с обидой отвернулась и лишь изредка поглядывала вполоборота в мою сторону. На собачьем языке это значило: «Уму непостижимо! Или ты мой труд ни за что не считаешь? Я работала. А ты пуделяешь в воздух. А ну тебя, мазила, к лешему!» Я перед ней извиняюсь, объясняю, что очень высоко ценю ее работу. Но кто же живет без ошибок! В конце концов мы находим общий язык и продолжаем охоту. Лада умеет прощать.

Однако больше мы уже ничего не взяли — начал накрапывать дождишко, теплый, тихий, мелкий, как через сито. Лада захлюсталась до ушей и наконец совсем стала, поглядев на меня внимательно: ничего не чую, дескать, мокро.

Сбоку от нас оказалось пойменное озеро Почка, поросшее там и сям кугой, окруженное узкой полоской невысокого здесь камыша и действительно похожее по форме на почку. Эка, куда мы забрели. Я решил осмотреть озеро и направился вокруг него сначала к ольшанику, рассыпанному на противоположном берегу. Там, думалось мне, можно влезть на сук дерева и окинуть взором весь этот небольшой водоем — может быть, есть утки.

Но не успел пройти и сотни шагов, как совсем близко послышалась песня. Певца не видно — наверно, он сидел за камышами. Пел он как-то разухабисто, с выкриками и надрывом, по-блатному:

Темная ночь... И-эх... Только пули свистят... Мама!

Потом молчание. Но вдруг с этаким озлоблением и удалью пошло «переложение» известной лирической песни:

Ты меня ждешь,
А сама с капитаном живешь
И у детской кроватки
Сульфидин принимаешь.

— Мама! — дико выкрикнул он, завершив этим куплет.

Певец замолчал.

Через сотню шагов я увидел: на старом, полуистлевшем пеньке сидел человек, подперев руками подбородок, и смотрел в одну точку. На коленях у него лежало ружье. Заслышав мои шаги, он встал, пристально смотря в мою сторону. Даже и в те секунды, когда я подошел и

поздоровался, он бесцеремонно продолжал смотреть мне в лицо, однако же ответил на мое приветствие с явной иронией к себе:

— Привет из Вонючки!

На нем была изодранная телогрейка с торчащей в двух местах ватой, множество раз латанные засаленные брюки и совсем новые резиновые сапоги; совершенно новенький картуз сидел козырьком набок и чуть набекрень, обнажая густые русые кудри. По одежде сверху и снизу охотник был новый, а в средине старый. От угла глаза и ниже — большой шрам, наискось через всю щеку. Больше тридцати — тридцати пяти лет ему дать было нельзя.

Умные, остро простреливающие глаза, глубокие, но небольшие, шарили по мне: охотник будто изучал меня со всех сторон.

Как мне показалось, на лице у него блеснула чуть заметная улыбка, а шрам вздрогнул. Он спросил:

— А ты, случаем, не Тихон ли Иваныч?

— Он самый. А вот тебя не могу признать. Ты чей же будешь?

— Данилу Шмеля помнишь? Данилу Сергеевича?

— Как же! Рыбак известный.

Данилу я знал хорошо, даже несколько раз ночевал у него когда-то, вместе рыбачили. Помнил и то, что для Данилы главным средством существования была речка. Сразу же всплыло в памяти, что у него был сын, парень лет шестнадцати-семнадцати, шустрый и деловой — на все руки мастер. Были еще две дочери. Все дети Данилы хорошо работали в колхозе.

— Так вот я и есть его сын. Митькой звали,— подтвердил охотник.

Я не мог поверить своим глазам. Митька заметил мое недоумение и спросил:

— Что, не тот Митька? — И ответил, чуть прищурив глаз со стороны шрама: — Федот, да не тот.

Лицо его от этого резко изменилось: на нем стало два лица, две половины, причем одна из них мне смутно знакома, другая — чужая, неизвестная, жестокая.

— Неужели ты... Митька?

— Я. Митька Шмель. Он и есть... Самогоночки выпить не хотите, Тихон Иваныч? — И вынул из-за пазухи бутылку,— Граммов двести еще есть. За встречу...

Думал леснику поднести, если наскочит... Да черт с ним! Его, видать, и в лесу нету. Или убег.

Мой отказ он понял по-своему:

— Думаете, воняет? Ничуть. Чистый спирт. Аромат! «Белой акации запаха нежного мне не забыть ни-ико-гда»,— пропел он вполголоса с цыганским надрывом, ничуть не уродуя мотива.— Оч-чень приятна. Это я про самогонку. Из ссылки привез рецепт. Аромат!

— Из какой ссылки? — изумился я еще больше.

Вместо ответа он сказал:

— Дождик... Лучше не может быть для сева... Вы, должно быть, в деревню пойдете ночевать? Приглашаю. Батя будет рад.

— Живой, значит?

— Живой. Да только дальше избы — ни шагу. Ноги... Ревматизм скрючил. От воды это у него. Вот и сидит теперь... Рад будет.— Говорил он все это уже задумчиво, присев снова на пень и поглаживая Ладу.— Новый человек в хуторе — для нас редкость.

Хотя я мог бы заночевать где угодно, натянув над челноком палатку, но мне самому захотелось побывать в хуторе. Я поблагодарил за приглашение.

— Ну, так и пошли.— Он вытер стволы ватой, вынутой тут же из телогрейки, взял лежащий сбоку чехол и положил в него ружье.

Мы шли к лодке. Идти предстояло километра два по лугу и кочкарнику. Я волей-неволей часто смотрел под ноги, чтобы не споткнуться, а Митька Шмель шел хотя и не торопясь, но глядел прямо, будто каждая кочка была ему знакома: ноги привычны к этим местам.

Дождь перестал. Но в воздухе повисла и осталась на ночь мутная сырость: туман не туман, пар не пар; казалось, облака осели на землю, зацепились за нее, навалились всей тяжестью. В такую муть не ощущаешь неба, а есть только земля под ногами.

В этой предвечерней мóкрети, когда мы вышли на тропинку, спина моего спутника потеряла точные очертания, чуть расплылась, а поэтому он казался шире, выше и мощнее, чем был на самом деле.

— Дмитрий Данилыч,— спросил я,— тебе нельзя, что ли, рассказывать? Или не хочется?

— О чем? — спросил он, не оборачиваясь.

— За что сидел-то?

— Почему нельзя? Можно. Только все это тошно... Восемь килограммов пшеницы взял на току и нес домой... Милиционер засек... Цац-царап! Акт... Суд... По закону «от седьмого августа» дали восемь лет... Где твоя лодка? — резко прервал он рассказ.

— Налево...

Мы пошли берегом над камышами.

— А потом что? — допытывался я через несколько минут.

— Потом? Так все и пошло... Для других несчастное число — тринадцать, а для меня сразу два — семь и восемь: восемь килограммов, «от седьмого августа», восемь лет в каменном карьере... Угнали восемнадцати лет, а пришел двадцати шести... Все науки превзошел — полный курс восьмилетки... Хочешь, покажу? — Не дожидаясь согласия, он остановился и резко повернулся ко мне.— Вот у тебя на плече ружье. Вот ты его снял и держишь в руках. Так. Правильно. Я беру тебя за плечи и поворачиваю кругом: р-раз!.. Где твой портсигар?

Я ощупал карман, а Митька выхватил уже из своего кармана... мой портсигар.

— Вот и все! — закончил он эту молниеносную операцию.

— Как же так возможно?! — воскликнул я.

— Наука и техника,— ответил он. И добавил не без гордости: — И искусство. Ты снимаешь ружье — руки заняты: считай — две точки. Я беру за плечи: считай — еще две точки. Для головы человека четыре точки хватит, через глаза достаточно. Поэтому и нельзя заметить, как мои пальцы скользнули в карман... Я ведь только опустил пальцы, а вытащил портсигар ты сам, когда поворачивался... Не смотри на меня так: сразу все равно научиться нельзя: Тут — школа! — Он рассмеялся, как мне показалось, грустно.

Именно в этом смехе мне отчетливо представился облик знакомого когда-то разбитного хуторского парнишки, кудрявого Митяя.

— Тогда тебя Митяем звали, а не Митькой,— сказал я.

— Точно,— ответил он, уже повернувшись спиной и продолжая путь.— А в ссылке был Сидор. Сидором звали. Сидор — мешок. Или все равно — колхозник.

Мы подошли к челноку, где уже сидела Лада и приветствовала нас хвостом.

— Старая, должно быть, собачка? — спросил Митяй.

— Старая.

— И работает?

— Помаленьку, но верно. Жалею ее.

— Собаку надо жалеть. Как же! Собака — животная ласковая, не то что человек.

— Не все же,— возразил я.

— Конечно, не все, но...

Как и каждый раз, когда надо было высказать что-то важное, он замолкал. Но меня не могла не интересовать его такая жестокая философия, непривычная для деревенского жителя. Поэтому, когда мы отъехали от берега, я возразил еще раз:

— Есть восточное изречение: «Кто равнодушен к страданиям людей, тот не достоин звания человека».

Митяй, не медля и ничуть не задумываясь, отпарировал:

— На земле много людей ходят без этого звания.— Он усмехнулся и добавил презрительно: — Звание! Выдумают же...— И выругался по-блатному.

Теперь со мной рядом был уже не Митяй, а Митька Шмель, Сидор, тот самый, что в тюрьме «превзошел все науки» и принес оттуда песни, подобные той, что я уже невольно слышал. Его философического настроения как не бывало: он повернулся ко мне боком, той стороной лица, где шрам, и костерил небо, землю, дождь и людей. Озлоблен он был до конца.

И тогда я решился.

— Ты перестань выплевывать пакостные слова! — заорал я.— За кого ты меня считаешь?!

Митяй посмотрел на меня снисходительно, шрам дважды дернулся и замер. Лицо его, казалось, застыло. Он ничего не ответил. Но когда челнок подходил к берегу, сказал угрюмо:

— Держи правее — на камень наскочишь.— Выпрыгнув на берег, подтащил челнок за причальную цепь, выволок его наполовину из воды и сказал, не меняя тона: — Теперь ты на нашей земле.

— Ругаться будешь?

— Не буду.

Вскинув рюкзак на плечо, я взял и корзинку, ожидая, что Митяй возьмет палатку, чтобы помочь. Но он проговорил:

— Оставляй все тут. Накрой палаткой.

— Как так? На ночь оставлять?
— Никто не тронет. Одно ружье возьми.
— А вдруг?
— Сказал: никто не тронет — значит, не тронет. Я сказал! — подчеркнуто произнес он последние слова.

Мы тронулись в гору, к хутору. По тому, как он произнес: «Теперь ты на нашей земле» и «Никто не тронет», я понял: с этой минуты Митяй считает меня своим гостем. И правда, он заговорил на ходу первым:

— Вот ты, Тихон Иваныч, обругал меня... «За кого ты меня считаешь», сказал... Верно: как зло спадет — не ругаюсь, найдет тоска — ругаюсь. Тут ничего не поделаешь... А считаю тебя за человека. Отчего так? Помню, как нам было тяжко тут в голодовку. И тебе тяжко было. А ты никуда не уходил — жил с нами... За твои слова другому бы морду расквасил... А вот шуганул ты меня — стало... не того. Человеком считаю.
— А себя не считаешь? Ругаешься, как сатана.
— Не считаю. Нет! И никто не считает.
— Ты сам себя убедил в этом — и только.
— Говорю тебе, никто не считает. Ссыльный! Как же!
— Брось ты глупости говорить, Митяй. К чему?
— Не глупости. Нет, Тихон Иваныч, это не глупости. Ты вот послушай. В ссылке я шофером работать научился.
— Там что: школа такая была?
— Не было школы. Окликнули: «Кто шофером может?» Кричу: «Я могу!» А сам ни бельмеса. «Иди в гараж». Пришел: «Выручайте, братва, засыпался». Из Одессы там был один, «вор по закону», Скопа по кличке, говорит: «Топай ко мне, Сидорок, сменным»... Дня четыре — с ним, а потом помаленьку привык — и пошел... Через месяц нас погнали сдавать на права — сдал: сам стал возить камень из карьера. Ну, конечно, пока-то — за колючкой. В последний год и на волю возил, к железной дороге... Да. Перебил ты меня... Пришел я из ссылки этой, предъявил права в колхозе. Сперва — никак, а потом дали молоковоз: «Вози молоко». Понимаю: дескать, тут ему «налево» не схватить — цистерна. Ладно, черт с вами, думаю, докажу... Два месяца работал. Глядь: в цистерне с молоком оказалась рыбка, пескарик махонький. На молокозаводе засекли... Суд да дело — в молоке вода речная. Ах, туды-т твою... Не буду ругаться, не буду. Рыбу из коров надоили, гады! Опять сижу. Опять

суд. Дали год — отсидел... Теперь, кроме вил и лопаты, ничего не доверяют — уже не человек... Да дай же ты мне хоть разок ругнуться!.. Вот чуть и отлегло... А как все случилось, не знаю. Цистерна оставалась всегда на ночь в Степном, рядом с фермой — сбоку речка, ручей такой. Кто зацепил рыбешку тогда? Убей — не знаю. Финку в ладонь — не знаю! А там ведь как? «Судим?» — «Судим».— «Сколько?» — «Восемь».— «Ну, на́ тебе еще год!» За что? Да́ за то, что ты уж сидел. Ты не человек. Вот видишь: «без звания» хожу по земле. Только и утешения — ружье да лодка.

— Постой-ка. А где же твоя лодка? Не мог же ты на тот берег попасть пешком?

— Там и осталась. Пригонят ее вечером.

— Кто?

— Да наши двое. Ольху берут на топку... Меня попросили: «Посиди, мол, с ружьем на отшибе, чтобы случаем лесник не нарвался». Ну вот, сидел на том берегу...

— А он знаком тебе, лесник-то?

— Боится меня. Как же! Митька Шмель! Ссыльный! Это я для него и песенку рыдал: услышит — обойдет за версту... И в правлении боятся. Рассказывал мне конюх, будто говорил завхоз председателю: «Он, Шмель, в яблоко пулей попадает». А я никогда не стрелял в яблоко... И пули никакой нет у меня... Ну ладно — пусть...

Больше он не промолвил ни единого слова до тех пор, пока вошли в его избу. По хутору мы шли молча.

Я осматривался вокруг. Здесь, на горе, туман меньше — видно все шагов за двадцать — тридцать.

Грустная картина!

Вот стоит изба, а рядом два-три холмика, поросших лебедой (остатки бывших изб); потом еще изба, и опять холмики, как большие могилы. Некоторые курганчики совсем еще свежие, без травы, с разрушенным и еще не обветренным саманом. Ни одного живого существа, кроме кур, мы не встретили.

— Как мертвый ваш хутор,— сказал я Митяю.

Он объяснил:

— Кто на кукурузе, кто на ферме... Тут, в полкилометре, телячья ферма.

— В какой же вы бригаде?

— В четвертой. Теперь четыре хутора и село Степное — все в одной бригаде. Большая бригада — до начальства далеко.

Еще раз я окинул взором хутор, насколько позволял туман. Избы стояли на возвышенности, круто спускающейся к реке. В одну сторону — степь, в другую — мутные в тот час луга и Тихая Ольха. Ольшаника не было видно совсем. Усадьбы засажены только картошкой и кукурузой — пополам, по своеобразному «двуполью». Никаких овощей нигде нет и в помине.

Мы подошли к избе Митяя. Она ничем не отличалась от прочих. Разве только развешанная на кольях сеть свидетельствовала, что хозяин — рыбак.

Открыв дверь, Митяй бросил в избу:

— Папашка! Встречай гостя.

На кровати лежал старик. Он встал, опустив босые ноги. Данила Сергеевич был совершенно сед.

— Послал бог гостей — и хозяин будет сытей... Ты кто же будешь? Откуда?

— А угадай-ка, Данила Сергеевич! — крикнул я на всю избу.

— Ты не кричи — я хорошо слышу. Я востроух еще. И вижу — дай бог каждому. Ноги вот, правда, не того.— Он, говоря это, всматривался в меня, не узнавая.

— Тихона Иваныча, агронома, помнишь? — спросил Митяй.

— Аль и взаправду ты? Тихон Иваныч?.. Ей-богу, ты! Постарел здорово. Постарел. Тебе сколько годков-то?

— Шестой десяток добираю.

— Это ничего. Это еще ничего. Это ты еще молодой. Ничего. А я вот восьмой доживаю. Хе-хе! Все еще ничего себе, крепкай я, кре-епкай. Ничего. Ты садись-ка, садись, Тихон Иваныч. Садись. Гостем будешь. Митяй! Соображай угощение.

— Не надо никакого угощения, Данила Сергеевич.

— Э, не-ет! Дома ешь — как хочешь, а в гостях — как велят. От этой пословицы за всю жизнь не убежишь.

Митяй вышел из избы.

— Давно я тебя, Тихон Иваныч, не видал. Давно. Постарел ты, а так ничего, прочный,— продолжал старик, видимо обрадованный и тем, что ему есть с кем поговорить.

— Как живется, Данила Сергеевич? — спросил я, давая ему волю наговориться.

— Живется? Как тебе сказать? Живется ничего себе. Вот без бабы нам плохо с Митяем. А так — ничего. Это

еще ничего. Хлеб есть. Рыбы он наловит. Картошка своя. Топки он тоже вдоволь готовит. Это еще ничего. Только без бабы нам плохо.

— Жениться ему надо,— говорю.

— Не хочет.

— Почему же?

— «Девка за меня не пойдет никакая — ссыльный». Так он говорит... Дело его... А вдовушка тут... Не мое дело. Только без бабы плохо. Хутор весь разъехался, все уезжают. Кто — в город, кто — в Степное. Что мы без бабы будем делать?

— А как там сейчас, в Степном? Хорошо?

— Там-то? Там хорошо. Там электричество, клуб, говорят, двухэтажный, кино там всякое... Только нам-то с Митяем это все мало требуется. Молодежи, знамо, другое дело. У нас тут молодежи-то нету никакой. И в Степном мало. Уехали. Все уехали. Ходит, ходит в десятилетку, ходит, ходит, а потом — глядь! — нет его: уехал. Все уезжают. Дорогу ищут. Все ищут. А так — жизнь ничего. Это еще ничего. Хлеб есть, картошка своя.

— На трудодни, значит, дали хорошо?

— Хорошо дали. По килу хлеба и по пятнадцать копеек на трудодень. Это еще ничего. А то — помнишь? — плохо было. Триста граммчиков — это плохо было: чуть более полфунта — пустяк. А теперь хорошо. Это еще ничего себе. И вольнее стало. Далеко вольнее. Колхоз наш хороший.

— То есть как вольнее?

— Судить не стали. Никого не судють. А то Митяй-то через то и пропал: брали с поля все, а ему одному из всего хутора отвечать пришлось. Все брали... Теперь можно жить. Это еще ничего.

— Теперь не воруют хлеб?

— Хлеб не воруют. Нет, не воруют. Теперь, бывает, кукурузу берут.

— Это плохо, Данила Сергеевич.

— Иначе-то как же? Оно ведь иной раз как получается: кило — это мужику на день. Заработал и съел. Баба, знамо дело, не съест, а мужик съест кило. В три присеста — как раз. Это еще ничего — кило. Да. Притом же — ребятишки... Свинка небось тоже есть — всех кормить-поить надо... А кукуруза-то, она — что: и каша, и пышки, и блины, и суп. На все годится. И скусно. Почему ее раньше не сеяли — диву даюсь. С ней — жить

можно. Это еще ничего. И взять ее сподручно. Ведь зерно, скажем,— надо посуду какую ни на есть, а кукурузу — хорошо. Десяток початков в день — почитай, два кило. А то и так: корове на рога пару стеблин привяжут вечерком, вдоль спины — от мух вроде — да концы свяжут травкой. Приучили коров-то. Она идет, стало быть, домой. Конечно, домой! Их у нас восемь штук в хуторе, коров... А сейчас, скажем, какие такие мухи? Никаких. Несет кукурузу домой, початков шесть-семь. Хе-хе! С кукурузой жить можно. Корова — она не дура: к хомуту легко приучается, а к этому делу — очень даже просто... Несет кукурузу домой. Вот она какая дела... Бабы — тоже. Мужики не берут: нельзя, не полагается, А бабы берут. С бабы какой спрос! Мужика-то, если поймают, може, и на суд на товарищеский: «Покайся, дескать».— «Каюсь — не бывать тому больше. Все!» Это мужика-то. А баба — что? Бабу — нельзя: это тебе не при царизме!.. Равноправие... Значит, берут кукурузу. Берут помаленьку.

— И по многу так-то?

— На что оно, лишнее-то? Лишнего не берут. Это хорошо. Теперь не судють. Зачем оно, лишнее-то? На продажу? Не полагается — довольно совестно... И самогонку на продажу — ни-ни! Для своего существования — пожалуйста, выгони, угости и соседа. А на продажу — не полагается. И кукурузу — тоже.

— И в Степном берут?

— Год я там не был. Сейчас — не знаю. Там не так сподручно, как у нас. Ну там вишь какое дело: козьми живут теперь.

— Как?

— Козьми... Козочками пуховыми... Держут по три-четыре штуки на двор и вяжут платки. Там давно так. За год по семь тыщ на платках добывают. У-у! В Степном бабы рукодельные. В колхозе — машины: чего ей, бабе, в колхозе работать? Она на платках всю семью содержит. У них это заведено. А у нас нет, не приучены, хлебом жили исстари.

— Не собираетесь переезжать в село? Скучно ведь здесь.

— Двора три еще собираются. Другие, кто не выдержал, уехали. А прочие не хотят подниматься.

— Почему же все-таки не хотят?

— Тут сподручнее: выпустил теленка — наелся, погнал мальчонка коров — наелись. По очереди пасут их у нас. Курица вышла — наелась. И посевы рядом. Тут сподручнее... И чего это Митяй запропал? Должно быть, за Нюркой пошел... Либо она в поле? — Он рассуждал уже сам с собой: — За водкой если? Своя есть. А-а! Это он, пожалуй, мясца взять хочет. Чапелькины овцу резали ноне — завтра на базар везут, а он, стало быть, Гриньку разыскивает. Принесе-ет... А ты сапоги-то сыми, Тихон Иваныч, пускай ноги отомлеют.

Вошел Митяй. А вслед за ним — молодая женщина, лет тридцати — тридцати двух, сильная, стройная, загорелая, черноволосая. Она поклонилась мне, поздоровалась. Митяй положил кусок мяса на край стола и сказал:

— Сделай, Нюра, получше.

Они, видимо, договорились обо всем еще по дороге сюда, потому что Нюра сразу же начала хлопотать. Я заметил, что она знает, где и что лежит,— ей не приходилось искать корзинку с яйцами, сковородку и другие необходимые предметы.

— А ведь я тебя, Нюра, что-то не припомню. Давно я тут не был.

— Я не здешняя. Из Лещева. Замуж сюда выходила. Десять лет тут живу.

Нетрудно было догадаться, что это и есть та самая вдовушка, о которой проболтался дед. Поэтому никаких вопросов я уже ей не задавал.

— Ну, папаша, небось душу отвел? — спросил Митяй и обратился ко мне: — Не заговорил он тебя?

— Отвел. Хе-хе! Отвел душу,— весело ответил отец.

— Давай, Тихон Иваныч, радио послушаем.— Митяй полез в сундук, вынул оттуда чемоданчик, похожий на футляр из-под баяна, но пониже, поставил его на стол, открыл боковую крышку. В этом самодельном, искусно сделанном чемоданчике оказался радиоприемник и батареи в разных отделениях. Тут только я заметил, что через всю избу под потолком протянута антенна.

— Не держу его на столе,— сказал Митяй.— Летом — мухи. Да и батареи дольше служат.— Он воткнул штепсельки антенны и заземления.— Сейчас музыка должна быть —самое время. Последние известия мы прозевали. Ночью послушаем.

— Известия— это хорошо,— вмешался отец.— Мы

всегда слушаем... Аденавер — о! — хитроумный гусак. Мало им попало взашей, так еще хочет. Хе-хе! Говорят, мы с ним ровесники. Туда же! Сидел бы на печи. Нет, туда же!

— Погоди, папаша. Постой.

Данила Сергеевич замолчал.

Хата заполнилась звуками. Струнный оркестр народных инструментов исполнял «Лучинушку». Скворчала сковородка на загнетке, но она ничуть не мешала музыке, а как-то даже дополняла. Все мы слушали. Я заметил: Митяй бросил как бы нечаянный взгляд на Нюру, а она ответила ему тем же.

Данила Сергеевич пересел с кровати на лавку, причесал гребнем голову, застегнул пуговку рубахи и, чуть опустив белую голову, слушал. Митяй неотрывно смотрел на радиоприемник, будто видел там весь оркестр.

К сожалению, мы попали на последнюю вещь концерта. Диктор объявил: «Через минуту слушайте передачу для работников сельского хозяйства».

— Это не для нас,— сказал Митяй.— Долго, и скучно, и — не то.— Он выключил приемник.— Батареи беречь надо.

Затем он снова сложил футлярчик, снял его со стола, поставил на сундук.

Вскоре сковорода жареной баранины, сковородка яичницы и отдельно жареный картофель появились на столе. Митяй принес из погреба две небольшие копченые щуки и тоже положил на стол. Перед каждым из нас — деревянная ложка.

— Ну, я пойду,— сказала Нюра.

— Куда ты пойдешь? — возразил Данила Сергеевич.— Никуда не пойдешь. Довольно совестно от гостя уходить. Садись, садись. Нельзя так.

Митяй постучал по табуретке ладонью, молча приглашая Нюру. Она села.

Самогонку разливал сам Данила Сергеевич: всем поровну — по полстакана. Потом он взял свой стакан. Рука у него ничуть не дрожала.

— Ну, будемте здоровы! С божьей помощью,— начал он первым и вытянул все, совсем не по-стариковски. Крякнул. Вытер усы.— Хороша, нечистая!

Тут только мне вспомнилось, что первую здесь пить полагается не сразу всем, а поочередно. Митяй, взявши стакан, сначала сказал, глядя на меня:

— Спасибо, что не погнушался.

Я понял его и не мог не выпить, хотя никакого желания не было.

Может быть, и не стоило бы упоминать, что люди пьют самогонку. Но ведь я просто охотник-любитель и пишу только для себя. Не могу же я врать самому себе!

Выпил и я. Самогонка была чистой, без запаха и довольно крепкой.

Нюра перед выпивкой сказала свое, как и полагается в таких случаях:

— Не осудите, если невкусно сготовила. Как умею.

Но все было вкусно.

— Еще? — спросил отец.

— Не буду,— ответил я.

— Просить можно, неволить нельзя,— поддержала Нюра.

— Ладно — так и так. Тогда тебе, Митяй, еще порцию, а мы — в сторону.— Отец налил сыну и обратился ко мне: — Ему можно. Этого не споишь: как в прорву. Хе-хе! С поллитры не пьянеет. Силен!

— А ведь строго за нее сейчас,— показал я на бутылку.

— Конечно, строго,— подтвердил Митяй, усмехнувшись.— Но ведь ее без аппаратов готовят, в канистрах. В одном дворе сделают — в воскресенье попьем гуртом, в другом выгонят — попьем опять.

— И от ревматизьму помогает,— добавил старик.

— Все привыкли,— как-то несмело вставила и Нюра.

— Вот так и живем, как видишь,— подмигнул мне Митяй.— Красота! «Звание — человек!»

В его словах нетрудно было услышать иронию. Видимо, поэтому Нюра сказала:

— Человеки, прости господи! Уезжать надо отсюда. Говорю им, уезжать надо.

— Никуда я не поеду,— нахмурившись, перебил Митяй.— Некуда мне ехать — дороги нету, по какой мне ехать.

— Вот так всегда,— со вздохом произнесла Нюра и замолкла, явно не желая, чтобы я был свидетелем какого-то спора между нею и Митяем.

— Да и мне некуда ехать,— вмешался Данила Сергеевич.— Тут родился, тут и помру. Тут сподручнее. Это еще ничего. Жить можно. Хлеб есть, картошка своя, ры-

ба своя. Жить можно. И ты, Нюрка, не езжай. Куда ты с мальчонкой двинешься, с Колькой-то? Живи тут. Хочешь, переходи к нам и...— Дед осекся, потому что Митяй пристукнул легонько по столу, чтобы отец не переходил границы.

Было совершенно очевидно, что отец беспрекословно подчинялся сыну.

— Я — што? Я — ништо, — оправдывался Данила Сергеевич.— Мое дело маленькое: куда волк — туда и хвост. Только если все уедут, то кто же на хверме тут останется, кто телят глядеть будет? Вот вопрос.

И дальше пошел у нас разговор о ферме, о колхозе, о добром урожае того года. Нюра рассказала, как трудно работать на отдаленной ферме и как трудно ходить мальчику в школу за девять километров.

— Мальчата есть, а лошади — ни одной. Зимой-то квартиру снимаем в Степном для ребятишек... А в пургу — тоска смертная.

Рассказывала она неторопливо и с грустью. Печальное ее лицо в те минуты было красивым. Митяй слушал ее и молчал. Весь вечер молчал. Только после того, как проводил Нюру в сени и она ушла домой, он, вернувшись, сказал, сжав челюсти:

— Не будь тебя, Тихон Иваныч, напился бы... Полный сидор накачал бы... Ну за что?! — тихо произнес он и сел на лавку, глядя в окно, в темь.

— Оно обойдется, Митяй. Помаленьку обойдется,— сочувственно, но просто сказал старик.— Все бывает. И все проходит.

Потом Митяй принес охапку сена, и мы с ним улеглись на полу рядом.

— Последние известия не будем слушать? — спросил отец.

— Нет,— ответил сын.— Пора спать.

Некоторое время мы лежали молча.

Митяй вздохнул. Я спросил тихо:

— Скажи по душам: воровал после «восьмилетки»?

— Нет. Устоял. Не свихнулся. В хутор потянуло, на родину... А ты говоришь «мертвый хутор»... Речка тут, луга, простор... Приснится, бывало: тоска... Спи, Тихон Иваныч. Хватит.

Луна через просветы в облаках прокралась в окошко избы и надолго уютно устроилась в ламповом стекле.

Данила Сергеевич спал посапывая.

— Погожий день будет,— сказал Митяй.
— Хорошо бы, если так... На охоту пойдешь?
— Нет. Завтра на работу: силосные ямы копать.

В окошко забарабанили. И сразу женский голос:
— Митяй! Митяй! Пожар! Пожа-ар!!!
Мы выскочили на улицу. Нюра, указывая за избу, повторяла с дрожью в голосе:
— Пожар... Пожар... Ферма загорелась! Пожар!
Забежав за угол, мы увидели язык пламени. Данила Сергеевич тоже выполз и загоревал:
— Беда, Митяй. Беда, сынок. Горит хверма. А там одни бабы. Что они сделают?.. Ай-ай-ай! Пропадут телятишки.
Несколько минут Митяй смотрел туда не шевелясь. Потом сорвался с места и — в сени. Там он что-то колотил молотком, будто по куску сухой глины. Потом выскочил с каким-то свертком из мешковины и скрылся в кукурузе. Слышно было, как он бежал к пожару. Нюра — за ним. А вслед за нею затрусил и я. Очень мешали высокие охотничьи сапоги — пришлось снять их и взять в руки. Теперь стало легче. Кто-то бежал из хутора за мною позади, кто-то обогнал и бежал уже спереди. Поднялся весь хутор.
Соломенная крыша деревянной, рубленой фермы горела сбоку, с короткой стороны. Женщины кричали, вопили. Их было здесь уже человек восемь-девять. Трое мужчин, в том числе и Митяй, выгоняли обезумевших телят. Их приходилось выталкивать силой, напирая на задних. Передних тащили волоком, чтобы за ними, шаг за шагом, следовали и остальные.
Митяй командовал:
— Бабы! Гоните телят подальше. Два человека — хватит. Давай лестницу! Бочку сюда! Раз-два, взяли! — И он сам впрягся первым в бочку.
Ее подкатили ближе к огню. Митяй подставил лестницу к ферме в том месте, где не было огня. Крыша, смоченная с вечера дождем, горела недружно, но огонь лизал ее все дальше и дальше. Вот уже затрещали жерди решетника. Огонь прыгал по небу и играл на лицах растерянных людей, беспомощных, испуганных, бегающих туда-сюда без всякой пользы.

Митяй кошкой вскочил на крышу, подобрался близко к огню и что-то положил на крышу у самой застрехи. Ему было горячо. Он отскочил и крикнул:

— Воды! Мне воды!

Кто-то взобрался по лестнице, ему передали снизу ведро, а тот передал Митяю. Еще ведро пошло вверх: на лестнице стояли уже двое. Бочку перекатили к лестнице поближе. Митяй вылил два первых ведра на себя и снова подскочил к линии огня. Снова что-то положил у огня (теперь чуть выше), еще положил (еще выше). Так он со своим свертком обошел крышу снизу вверх. Казалось, он колдовал. Потом он бросил что-то в самое пламя, у края. Еще. Еще бросил. Белый дым прямо-таки волной отрезал огонь.

— Давай сюда, мужики! — кричал Митяй.— Ко мне-е! Бабы! Воды! Бабочки, воды! Даешь воды!

Те двое полезли на крышу. Вместо них на лестницу стали две женщины. Ведра пошли вверх. Митяй веером выливал их в белый дым, что возник на границе огня после его таинственных манипуляций. Я тоже подавал воду, стоя в цепи среди женщин.

Чудное дело происходило на глазах: огонь дальше не распространялся, доедал солому в той части крыши, что горела. Белый дым то чуть стихал, то вновь взвивался медленным облаком.

Но вот все услышали:

— Вода кончила-ась!!! — дико кричали от бочки.

Митяй скатился вниз:

— Багор! Где багор?!

— На той стороне,— ответила женщина.

Но кто-то уже тащил багор.

— Мужики, за мной! Бабы, за мной!—приказал Митяй.

Багром зацепили стропила среди огня и стали раскачивать.

— Ай, бабочки, еще раз! — Мне показалось, Митяй кричал это весело.— Еще, бабы, один ppa-аз! Ой, раз! Еще раз! Еще разик, еще раз!

Стропило рухнуло. Его стащили наземь и отволокли в сторону. Потом стащили еще несколько бревен. Мужчины вилами стали отковыривать крышу в двух местах от сгоревшей части. Митяй просто рубил топором плотную солому, а другие двое расковыривали и бросали вниз. Наверх взобралась Нюра, а за нею две женщины, тоже с вилами. Всем теперь было ясно: Митяй задумал

отрезать путь огню. И пламя унималось. Потолок под сгоревшей частью крыши уже дымился, но огонь принялся за накатник и верхние бревна сруба. Митяй будто следил за этим — он снова крикнул:

— Бабочки, песку! Ведрами песку давай! Песку, бабочки!

Ферма стояла на песчаном пустыре, поэтому ведра с песком тотчас же поползли на крышу, а мужчины сыпали его на потолок. Горстка людей теперь самоотверженно билась с огнем — каждый знал, что ему делать, надо только не пропустить мимо ушей то, что крикнет Митяй.

Но вот с другой стороны вспыхнуло пламя: крышу вновь схватило, облизало, и огонь вгрызся в уже подсушенную им же старую, спрессованную временем солому. Митяй что-то хотел сделать: он рванулся с вилами к огню, но, будто оступившись, вскрикнул и пополз на четвереньках сначала вверх, к коньку, а потом вниз, к лестнице.

— Степан! Алеха! Песку на огонь! Скорей!

Сам он слез вниз и сел на землю, вытирая пот и тяжело дыша.

— Пожарка подъезжает,— сказал он.— С крыши видать.

Наконец из Степного прискакала «пожарка» — две бочки и насос. Опасное пламя сбили тут же. Загорающийся потолок засыпали песком и полили водой.

...Рассвет пришел незаметно и прополз мимо: на него никто не обратил внимания.

Среди черных от копоти и мокрых женщин стоял, как я понял из разговора, председатель колхоза. А с ним рядом молоденький милиционер. Ни того, ни другого я не знал. Я подошел к ним и стал позади женщин там, где сидел Митяй (приезжие его не замечали). Он тоже, казалось, их не замечал. Мне очень хотелось сказать председателю, что Митяю надо вынести благодарность за спасение телят и фермы, поэтому я приблизился. Но милиционер отвел председателя шага на три от женщин. Я тоже шагнул туда же и услышал, как говорил милиционер:

— Придется, наверно, взять Митьку Шмеля... Пока... Потом разберемся. Зарегистрированный он — на учете. Кроме некому.

— Шмель ни при чем,— сказал я категорически.— Ночевал я у него. Могу поручиться головой.

— Вы кто? — спросил милиционер.

Они оба не знали меня в лицо, оба были людьми новыми для здешних мест.

— Дело не в том, кто я есть. А дело в том, кто есть Шмель.

— Непонятно,— сказал милиционер.— Мы знаем, кто он есть.

И тогда подошел Митяй. Он ведь все слышал, все, кроме первых слов милиционера, сказанных тихо. Он все понял! Подходил он медленно. Стал перед милиционером. Лицо Митяя, почерневшее от дыма и копоти, теперь с черным шрамом, улыбалось угрожающе. Никогда в жизни я не мог бы поверить, что улыбка может быть именно угрожающей. Штанина у него была разорванной и обгоревшей по краям, рука кровоточила. В другой руке вилы, на которые он небрежно оперся. Митяй посмотрел-посмотрел так и ушел, не сказавши ни единого слова, ушел с угрожающей улыбкой.

— Ручаетесь? — спросил у меня милиционер.

— Ручаюсь. Перегудов моя фамилия. Когда-то агрономом здесь работал. Запишите, если надо: Перегудов.

Но он, кажется, понял свою оплошность и скоропалительность. Да и сами женщины, покричав, пошумев и слегка поругавшись между собой, вскоре установили, что загорелось от трубы кормокухни. Вечером не затушили огонь, а сторожиха вздумала печь кукурузные початки да и задремала.

— Винюсь, бабы. Винюсь, товарищ председатель. Никто не виноватый, я виноватая. Я! — всхлипывала старушка сторожиха.

Что с нее спросить?

— Молодцы хуторяне! — сказал председатель перед отъездом.— Вдесятером ферму отстояли. Молодцы! Уж что-что, а дружный народ.

— Куда там! — возразил милиционер.— Верблюда украдут — и то спрячут. Дружные!

— На что нам твои верблюды! — сверкнула глазами Нюра.

— Он пошутил,— попытался замять председатель.— Уж нельзя и пошутить. Пошутил он.

— Шутка шутке рознь,— отрезала Нюра.— Вы бы, товарищ председатель, лучше посмотрели бы, как у нас в телятнике. Грязи по колено. Осень подходит. Разве мы

сами осилим — щебнем засыпать? Дали бы автомашину дня на три-четыре.

— Дам,— твердо сказал председатель.— И крышу будем теперь крыть шифером.

— И красного уголка нету. Вместо красного уголка — сарайчик для курей. Отдохнуть негде.

— Сделаем,— коротко согласился председатель.— Маленько мы тут у вас недоглядели. Признаюсь. Соглашаюсь.

Не знаю, как он выполнил обещания, но на меня он произвел тогда хорошее впечатление.

Митяя нигде не было. Куда он ушел, неизвестно. Я направился в хутор. Только по дороге вспомнил, что в избе осталась Лада. Верно, дед не выпустил ее, иначе она легко бы нашла меня.

В избе были двое: Данила Сергеевич стоял перед Митяем, опершись на рогач, а Митяй сидел на лавке и гладил голову Лады. Она рванулась ко мне, приласкалась и снова вернулась к Митяю, положила голову на его колено. Он был суров. На лице отразилась боль. Он даже чуть простонал, вытягивая ногу. Кажется, они о чем-то уже переговорили с отцом, потому что словоохотливый старик молчал. Я заметил через обгорелую штанину у Митяя ожог.

— А ну, снимай брюки,— распорядился тут же.

Он, сморщившись от боли, снял штанину. Большое пятно ожога охватило часть бедра и колено. Он и полз-то по крыше, чтобы сбить с себя огонь, ворочая ногой, пристукивая и оглядываясь — как бы не загорелось еще и от него.

Я было схватился бежать — нарыть картошки, но неожиданно остановился, глядя на Митяя.

Он сморщил лицо, помотал головой и простонал:

— Ну за что?..— Слезы текли по глубокому шраму.

В избу вскочила Нюра. Она увидела Митяя таким, каким он был в ту минуту,— с обнаженной ногой, с черным лицом. Она бросилась к нему, обвила его руками, прижалась щекой и повторяла:

— Не надо, Митенька... Не надо... Так не надо... Никуда я от тебя не поеду... Не надо.

Я вышел. Я не мог.

...Потом мы с Нюрой копали картошку, мыли, терли на терке и слоем укладывали на ногу Митяя.

А отец сидел с ним рядом и говорил:

— Чего сокрушаться? Это еще ничего... Все, Митяй, бывает и все проходит. Потерпи маленько. Отлегнет. Это еще ничего... Серу всю, должно, пожег на пожаре?

— Всю,— ответил Митяй.

— Почитай, ведро целое,— говорил уже мне Данила Сергеевич.— На волков и лисиц готовил — выкуривать. Надолго бы хватило. Всю пожег. Это еще ничего... А телятишки целы остались. Это хорошо, Митяй. Где ты узнал, что серу — на пожар?

— В «восьмилетке»,— ответил Митяй.

Отец явно старался отвлечь сына от боли. И это ему, кажется, удавалось.

...Ушел я к челноку уже среди дня после обеда.

Митяй пожал мне руку и посмотрел в глаза. И я его понял. Слов было не надо.

Данила Сергеевич вышел-таки проводить меня и стоял у избы, пока я скрылся под горой. В ушах у меня звучало: «Это еще ничего... Так жить можно...»

У челнока сидел мальчик лет девяти.

— Ты зачем тут? — спросил я.

— Маманя послала покараулить лодку. Тут чужие проезжали — она и послала.

— А ты чей же будешь?

— Коровин я. Николай Коровин. Анна Ивановна моя мать.

— По отцу-то как?

— Николай Матвев Коровин.

Не надо было догадываться: он очень похож на мать.

— Ну что ж, Николай Матвев, пока до свиданья!

Мы подали друг другу руки.

— Приезжайте еще на охоту! — крикнул Коля, когда я уже отчалил от берега.

— Обязательно,— ответил я.

Солнце светило вовсю. Последнее тепло всегда радует.

Но в тот день я уже не охотился.

Ехал тихо.

Казалось, стою на месте, а камыши, задумчивые и почти по-осеннему печальные, проплывают мимо.

Река молчала.

8. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С НАДЕЖДЫ

От Захара Макарыча Пушкаря я получил записку: «Пошла северная валом. Несколько миллионов утки пролетело за ночь. Большие тыщи».

Его склонность к гиперболам достаточно известна, но врать он не будет: значит, утка действительно шла. Сколько уж там, «миллионы» или «тыщи», но дичь появилась с севера.

Кстати сказать, недавно прочитал в районной газете коротенькую заметку: «...старый комбайнер, пенсионер З. М. Пушкарь хорошо поработал — убрал за сезон пятьсот гектаров и сдал комбайн в полной исправности». Заметка была сухая, как корка хлеба, зато вкусная. Мне известно, что означает пятьсот гектаров, а Захару Макарычу — тем более.

И захотелось вновь побывать в Далеком вместе с моим другом, послушать камыши.

Ведь уже скоро зима. О ней несколько раз напоминали заморозки и первый ранний зазимок с предвестником белого поля — порхающим пушистым снежком. В тот день земля покрылась сединой, как голова пожилого человека. Пришел тот снежок с неделю тому назад неожиданно, полежал несколько часов, предупредил людей, улыбнулся и ушел. Старики говорят: вернется через сорок дней, ляжет в зиму насовсем. Зато после зазимка наступили необыкновенно ясные и теплые дни, с утренними туманами, чистым небом среди дня и крупными глазастыми звездами ночью. Что-то похожее на второе бабье лето, обманчивое и всегда короткое в средней полосе России. Разве можно пропустить такие дни? Не двести лет живет человек!

И вот передо мной вновь любимая Тихая Ольха.

День выдался на славу: солнечно, тихо, а для середины ноября тепло не по-осеннему. У Захара Макарыча, видимо, опять засорился карбюратор: мотор заглох где-то позади меня. Не доезжая Далекого, я остановился подождать своего спутника.

В ушах зашумело от тишины.

Ни звука, ни шороха, ни дыхания.

Вверху большое желтое солнце. Внизу, подо мной, прозрачная вода и чистое-чистое дно. Там, в глубине, тихо и спокойно, даже как-то лениво, прошла стайка небольших окуней.

Берега реки стали совсем другими, ничуть не похожими на летние. Да что там летние! Месяц назад все здесь было не так.

Осень... И в ясный день в это время немножко грустно.

Осока, что куртинами вкраплена в окрайки камышей, переломилась пополам, опустив концы листьев в воду, желто-серая, старая, измятая. Осень сердито потопталась по ней, перепутала, да так и бросила. И поникла осока в воду кончиками, будто не желая расставаться с родной матерью-рекой. Из воды вышла, в воду ушла. Осень...

Зато какой молодец чакан! Он стоит зеленый, сочный — и заморозки не взяли. Этого не скоро свалишь. Он лишь вместо светло-зеленого стал темно-темно-зеленым, чуть суровым. Его широкие листья-сабли будто приготовились к борьбе; пока что он гордый, пока выделяется на краю берега резкими пятачками. Ну что ж, держись, дружище!

У подножия камышей, прямо в воде, удивительно красивый, такой пахучий и осенью, темно-зеленый бордюр, но уже с темно-коричневыми пятнами. Это речная мята; ниже, к поверхности воды, зеленая, а чем выше вырос стебель, тем больше он прихвачен заморозком. В чистом, чуть-чуть стеклянном осеннем воздухе запах мяты напоминает лето. И становится от этого грустно. Что поделаешь — осень...

А камыши все так же могучи, даже и умирающие. Высоко вверх держат они свои серые, цвета заячьей спинки, метелки, бесшумно вздрагивающие и в безветрие. Верхние листья, захваченные врасплох сильным заморозком, так и держатся поперек, не обвисают, а нижние уже обмякли, подались вниз. Желтые огромные, но грустные камыши печально и задумчиво смотрятся в воду с теневой стороны реки, молча и безропотно. Лишь изредка, при незаметном и неощутимом движении воздуха, затрепещут мелкой дрожью верхние сухие листья, зашевелятся метелки. И тогда слышится тончайший, еле уловимый ухом шепот. Камыши вспоминают о прошлом. Осень...

По лицу скользнула паутинка. Я перехватил ее и попытался подтянуть к себе паучка, что сидел на конце нити, но тот не пожелал иметь дело с человеком. Паучок

зацепился за камышинку и быстро-быстро пополз кверху. Бегом, бегом, бегом.

Паучки летели. И было вокруг тихо.

Неожиданно: свирк-свирк! Еще раз: свирк-свирк! Около меня, рядом, оказались две камышовые синички — маленькие, живые, веселые, жизнерадостные. Они юрко лазали по камышам вверх-вниз, что-то там аппетитно клевали, а играли, как дети. Жили и играли. Честное слово, мне стало весело.

В самом-то деле, ведь осенняя грусть в такой погожий денек — это вовсе не горе, а теплое, любовное сожаление о прошедшем лете, пожалуй, даже жалость к растениям, может быть, чуть-чуть сожаление о том, что и твоя юность уже не вернется. И вдруг синицы... Все идет как полагается: живут и играют. Жизнь идет. Рядом с вами, синички, и подожду Захара Макарыча.

Они и правда долго не улетали, не смущаясь моим присутствием. Камышовые синички очень доверчивы.

Наконец сначала издали, а потом все ближе и ближе стал слышен рокот мотора.

Подъезжая ко мне, Захар Макарыч махнул рукой вперед: дескать, не останавливаюсь, заводи мотор и давай за мной. А поравнявшись, ткнул пальцем в мотор и крикнул:

— Как проклятый! Не заведешь никак!

Я понял, что он боится застрять еще и в этом месте.

Вскоре мы были около Далекого и уже вооружились веслами, чтобы идти затоном к острову.

Захар Макарыч отфыркнулся губами:

— Паутина в рот лезет... И время для них вроде бы прошло, а они еще маленько полетели... Поздныши.

— Как это так — поздныши?

— Они ведь, паучки, выводятся из яиц сразу скопом. Самки-то несут яйца дружно, и молодь вылупляется дружно. Пригреет солнышко — и полезли. Нынче, значит, позднышки созрели.

— Ну? А потом? — спросил я, опустив весло.

— Вылупятся, значит, и вскорости ползут на какую ни на есть верхотурию. Там он, паучок, начнет отпускать паутинку и... полетел себе, по-лете-ел.

— А ты-то сам видел? Своими глазами?

— А как же? Я с ними понянчился, с паучишками. Сперва никак не мог уяснить, за каким лешим они летят, чего они потеряли. А оказывается дело, им переселяться

надо сразу после рождения: иначе пожрут друг дружку при таком-то скопище.

— Видал, как и выводятся?

— Видал. Миллионы миллионов!

Дальше, конечно, следовали неизбежные преувеличения, относящиеся только к чистым эмоциям моего друга. Всякие «миллионы», «миллиарды» и даже «тыщи» произносились им просто, как восклицания: «Ах, боже ты мой!», «Ай, как много!» На эту черту его характера я давно уже перестал обращать внимание.

Впрочем, было однажды и такое: заблудились мы с ним в лесу в неимоверно темную ночь и попали в заповедник, где среди других зверей жил хромой лось-убийца. Этот лось не мог выносить одного вида человека. Наверно, он когда-то был изувечен браконьером. А «убийцей» прозвали того лося потому, что он действительно убил женщину прямо на лесной дороге. Лишь после пяти заседаний совета заповедника решили застрелить непокорного мстителя. Но когда мы заблудились, свирепый лось был еще жив, и нам предстояло пройти — в этакую темнотищу! — где-то недалеко от его места обитания.

— Ну и попали мы с тобой, Макарыч! — сказал я тогда.— Пули у нас с тобой нет, а от картечи он еще страшнее станет... А ночь — черт голову сломит.

— Что ночь?! Что ночь? Темная ночь нипочем — для совы да для смелой головы! — произнес он гордо, бодро и даже кашлянул громко, будто хотел сказать: «А ну, выходи, лось, выходи!»

Зато уже на опушке, когда опасность миновала, он вздохнул и заключил:

— Семь потов от страху скатилось. Ух! — Немного погодя добавил совсем другое: — Лось — пустяк.

В общем, Захар Макарыч глядел на мир то в увеличительное стекло, то в уменьшительное, смотря по обстоятельствам и настроению. Так и в этот теплый ноябрьский день я пока не видел «миллионов северной утки». А в затоне мы не обнаружили ни одной.

— Ничего! Она, утка, вся на плесах и на озерах,— не падая духом, опередил мои сомнения Захар Макарыч.

— Конечно же, на плесах,— поддержал и я без особой уверенности.

— А раз так, то давай-ка мы, Тихон Иваныч, ехать прямо на озеро, в Голову. Пока скрадки сготовим, пока туда-сюда, она и — ночь. Заночуем в челноках...

— Натянем палатки, скипятим чаю вечерком,— развивал я его идею.

А он продолжал:

— Утром настреляем утишек, какую-нибудь там сотенку-другую, и — домой.

Мы прошли мимо острова прямо на Голову, бодрые, окрыленные надеждой, воодушевленные и жизнерадостные, как синицы. Главное — верить в удачу. С этого начинается настоящий охотник.

Однако же... Осторожно выглянув из протоки в Голову, мы увидели... чистую, казалось, мертвую остекленело-синевато-свинцовую воду. Уток не было.

— Тогда тут кто-то есть,— сказал убедительно Захар Макарыч и сразу гаркнул: — Гоп-го!

— Гоп! — откликнулся чей-то голос. Человек встал в лодке на лавочке и крикнул нам: — Заезжайте в гости!

— Эге,— сказал Захар Макарыч,— тут Ванятка.

К моему удивлению, это был действительно Иван Васильевич Кнутиков, сын Василия Кузьмича, доцент сельскохозяйственного института, биолог, а в недалеком прошлом Ванятка Кнут по-уличному. Лет пятнадцать назад уехал Ванятка в институт, а в тридцать пять лет он уже доцент. Не заметил я, как проскочили эти полтора десятка лет, жил скороходом и не обращал внимания — пять лет прошло или десять. А давно ли это было! В тысяча девятьсот тридцать третьем голодном году шести- или семилетний Ванятка набивал живот тыквой и вполне серьезно, по-взрослому, повторял каламбур отца: «Захочешь есть — тыква есть. А хлеб — потом, когда суп с котом». К лебедным пышкам-лепешкам прикладывалась у них особая говорушка:

Здравствуй, пышка-лебеда!
С молоком ты — не беда,
Лебедушка-пышка,
Здравствуй, пышка-лебеда!

В семье Кнутиковых унынию не было места даже в самые трудные годы бесплатной работы. Спасала своя усадьба, да корова, да руки всех членов небольшой семьи, взрослых и маленьких, да веселый характер папашки.

Ивана я не видел... Сколько же лет?.. Лет, наверно, десять, что ли,— не припомнишь.

Он вытолкал челнок из скрадка, оказавшись весь на виду, положил вновь весло и сел на лавочку, поджидая нас. Мы подъехали.

Протягивая руку, он заговорил первым:

— Хоть живые души за три дня увидел. Здравствуйте! Покурим ради встречи? — И угостил нас папиросами.

На нем был обыкновенный колхозный ватник не первой свежести (кажется, с плеч Василия Кузьмича), не очень поношенный треух. Лицом похожий на молодого отца, он и фигурой напоминал отдаленно его же: сухой, широкоплечий, высокий. Никакого ученого вида в нем здесь не было ничуть. Только очки в толстой роговой оправе не ложились в тон одежде. А в общем, он улыбался и был явно доволен встречей с нами.

— У-у! Какой моторчик у вас, Захар Макарыч! Сразу видно — специалист... Хорошо тянет?

— Отлично тянет! Всю душу вытянул. Четыре часа тянул,— с досадой ответил Захар Макарыч и сплюнул в сторону.

— Ай, как здорово! И чего это я папашку не уговорил — ехать со мной. Совсем было сдался, а потом на попятную: «Главный вопрос — птицеферма».— Он рассмеялся.— А рад бы он был. Ей-ей! Я и всего-то десять дней как в отпуске, а уже дважды от него слышал: «Вот Захар Макарыч — да! Это работник, это комбайнер... Вот Тихон Иваныч — да! Это агроном по всем статьям». Если бы я знал, что вы тут, на веревке его притащил бы. Маху дал!

— Ну, а насчет утишек какие тут мотки? — осторожно спросил Захар Макарыч, хотя и не скрывая своего разочарования (мотор не тянет, дичи нет, а день на исходе).

— За три дня... четыре штуки.

— Куда же она делась, пес ее возьми? — спросил у самого себя Захар Макарыч, глядя через корму в воду, будто ища там утку.— Шла ведь валом.

— Должно быть, мимо прошла,— попробовал я утешить его.— Время позднее, ноябрь. Надо полагать, прошла вся.

— А бывало и так,— твердо заявил Иван Васильевич.— Сегодня нет, а завтра тьма-тьмущая.— Ему явно хотелось подбодрить чуть-чуть скисшего Захара Макарыча.

— Бывало, бывало,— встрепенувшись, подхватил тот.— Сколько раз так было: нету и нету, а назавтра миллион.

Надежда на удачу у всех закрепилась несмотря ни на что. Надо было готовиться.

Мы с Захаром Макарычем поползли каждый к своему скрадку. Пришлось подбавить камыша для маскировки, нарезав его подальше от места охоты. Потом желтые и тонкие снопики поставить над челноком дополнительно к той привязке, что сделана еще раньше, когда листья были зелены и густы. Теперь получился почти незаметный, в тон окружающему, желтый шалашик на всю длину челнока.

Пока туда-сюда, а солнце покатилось на покой. Слышу: Пушкарь мой запустил уже кряковую. Я тоже расставил в живописном беспорядке свои двенадцать чучел, а ближе к челноку пустил крякуху. В другом конце озера доцент покрикивал манком (видимо, он приехал без чучел и без утки).

Потом мимо меня неожиданно, торопливо упираясь веслом, проплыл Захар Макарыч, заломив треух на затылок.

— Куда? — спрашиваю.

— Ванятке утку подсажу. Я пока с одной буду.

Там, около Ванятки, произошел у них короткий спор: один кричал: «Не надо», а второй: «Нет, надо».

Через несколько минут Пушкарь проскочил обратно в свой скрадок. Теперь подсадные кричали в трех концах озера. Все было в порядке. Но... дикие утки не летели.

Завечерело. Медленные сумерки незаметно надвигались над озером. Крякухи замолчали. Тот берег камыша и лес на острове постепенно таяли, будто удаляясь все дальше и дальше, и наконец слились с небом и водой. Потом там все стало уже темным, без очертаний, без теней и бликов. Взошла звезда. День кончился. Хороший субботний день.

Ночевали мы втроем. В густой камыш воткнули нос к носу челноки, закрепили их веслами и натянули палатки. И вот уже сидим на передних лавочках лицом друг к другу.

Горит подвешенный на камышах фонарик. Зашумел примус с чайником. Вокруг темно, а у нас уютно.

Никому, видимо, не хотелось перебивать шум примуса. Так лучше: все слушали его ровный, бодрый и на-

стойчивый голос. Здесь, в нашем маленьком мире, все стало по-другому, не так, как днем. Свисающая метелка камыша кажется большой и очень важной. Другие метелки там, высоко, в самом небе, и их еле-еле видно. Все близкие к нам предметы приобрели необычные очертания: нос челнока кажется намного больше и представляется площадкой крыльца; камыш — толще, хоть избу руби из него; листья — шире и длиннее; а силуэты моих друзей в отсветах огня чуть-чуть дрожат.

Закипел чайник. Примус замолк. Тогда ворвалась тишина, в которой голос Захара Макарыча послышался как из репродуктора, установленного против сельсовета,— во всю мощь:

— Пожалуйте к столу!

Стол — это нос его лодки, куда он положил еще с борта на борт переносную скамеечку. А мы — с двух сторон: слева — я, справа — Иван Васильевич.

Наелись.

За чаем, как и водится, потянуло всех на разговор. Охотники же!

— А правда, что ты написал книгу про грибы? — начал Захар Макарыч.

— Правда.

— Во-от... Значит, написал книгу! — Эти слова он произнес с оттенком гордости, так, будто был соавтором.— Про грибы?

— Про грибы.

— Надо же! А чего ж про них писать так много? Про насекомых — другое дело. А гриб что ж: гриб он и гриб. Насекомых-то миллионы миллионов...

— Про грибы — очень важно, Захар Макарыч. Очень.

— Не может того быть,— не сдавался тот.— А ну, расскажи хоть малость.

Иван Васильевич прочел нам целую лекцию о микоризах — микроскопических грибах, сожителях растений, о том, что у большинства зерновых культур тоже открыты недавно свои микоризы. Мы узнали, что Иван Васильевич работает в институте над сложным вопросом: он изучает способы культуры этого замечательного гриба.

Закончил он так:

— Если мы научимся культивировать микоризу, то могут полететь вверх тормашками всякие системы земледелия. Мы еще не знаем той системы, какая должна быть...— При этом он так взволнованно говорил, что,

казалось, речь шла о единственно важной мировой проблеме. В нем отпечатался весь характер отца. («Птицеферма — главный вопрос на Земле».) — Надо только найти способы культуры микоризы... Надо только найти...— Иван Васильевич перешел на тихий, спокойный тон. Последние слова он произнес, уставившись в одну точку, на метелку камыша, будто забыл о нашем присутствии: — Надо найти.

— Найдешь, пожалуй... Так я думаю, Иван Васильевич,— пробудил его Захар Макарыч.

— А? — встрепенулся ученый.— Полагаете, найду?.. Это очень трудно. Очень.

— Конечно, трудно. Еще бы... Вот тебе и на! Думалось: гриб он и гриб. А оно... Ну и ну! — Захар Макарыч явно не находил слов для выражения удивления. Может быть, поэтому и сказал: — Давайте-ка на боковую. Утром разберемся, чего к чему присоединяется... Мозговой ты, Иван Васильевич. Право, мозговой.

— А мне кажется, Захар Макарыч, что если бы у вас сложилась жизнь иначе, то вы были бы ученый настоящий, а не такой, как... мы.

— Нет. Я на это не способен... Так... просто... мне всякая живность интересна, а чтобы в науку — нет. Не способен. Да и горяч я для этого. С юности горяч. Все равно не годился бы.

Я знаю, что он был бы способен, но промолчал. Возражал ему Иван Васильевич:

— В том-то и дело, что интересно. В том-то и дело, что горячка есть.

— Эх-хе-хе! Чего же теперь... после драки кулаками махать. Прошла она, жизнь-то! И прошла, скажу вам, совсем не так уж плохо, если бы... Э! Не надо.— Он отмахнулся от какого-то воспоминания, как от мухи.— Полжизни на комбайне, шесть лет на войне. Скажешь, плохо? Со стороны не очень, а по мне — дай бог каждому так-то.

Тогда вмешался и я:

— Вот вы говорите «был бы» про Захара Макарыча. Каждый мог бы «быть», но... надо было и хлеб делать, и воевать. Ваше поколение, Иван Васильевич, удачливее...

— Не возражаю. Не нам ныть. Да и совсем не обязательно всем быть профессорами. Пожалуй, тут важно другое: важно, чтобы человек, где бы он ни был, светился

своим собственным светом, а не отражением другого источника. Для этого горячка нужна.

— Пока не понимаю, о чем ты! — воскликнул Захар Макарыч.— Ну-ка, ты по-простому-то.

— Дайте договорить,— спокойно возразил Иван Васильевич.— Бывает так: человек уберет комбайном за свою жизнь десятки тысяч гектаров, выдаст горы хлеба несмотря ни на что, ни на какие там «культы». Или потоком отправляет яйца, молоко... Целую жизнь! Такие люди светятся своим светом, горячим светом, они греют! Вместе они — солнце. А кое-кто часто светит их же светом, но только отраженным от себя. Да, да! Отраженным. Больше того, кое-кому кажется, что этот отраженный свет и есть их собственный, что они якобы освещают само горячее тело. Не-ет. Не может луна светить солнцу. Все наоборот.

— Ясно теперь: светит, а не греет. Все понятно,— удовлетворенно подытожил Захар Макарыч.— Орел к свету, а сыч во тьму. Та-ак. Ну, а у вас-то там, в науке, все светют, аль как?

— Тоже разно. Иной светит, иной... коптит. В науке, Захар Макарыч, «свет» распределен не всегда правильно. Слава человека подобна его тени: чаще она бывает длиннее роста. И в литературе. И в искусстве может так быть. Я уж не говорю о так называемых административных кадрах! Там бывает и так: тень дли-инная-предлинная и остается надолго. Даже если самого-то человека почти нет, а он «живет» этой длинной тенью.

— По поводу «административной тени» мне не очень ясно. Например? — спросил я.

— Далеко не будем ходить,— так же спокойно ответил Иван Васильевич (волновался и горел он только тогда, когда говорил о грибах).— Почему, скажем, Переметов месяц тому назад снова стал руководить районом? В Камышевце «засыпался» — сняли; походил-походил, погрустил самую малость и — вновь назначили. Теперь уже в другой район. Да еще хотели первым... Председателем работает.

— Этого не может быть! — воскликнул я.

— Говорю — значит, знаю. Уже работает в соседнем Корневецком районе. Что это значит? А то, что тень-то его осталась где-то и по ней кто-то судит о росте. Куда уж лучше вам пример.

— Да-а,— протянул Захар Макарыч.— Вот тебе и тень на плетень. Будет опять Яков Гордеич речи читать... Ох и любит он эту работу! Ажно взмокнет весь, бедняга. Но, думаю, сорвется он опять — не то времечко. А речи будет выдавать. О! Умеет.

— Не в этом дело... В Корневцах добрая половина колхозов сравнительно хороших. Переметов пока будет светиться их светом и воображать, что светит сам. И так до тех пор, пока не развалит дело и пока не пришлют нового «выправлять положение». А тень Переметова может и остаться — ему на пенсию не скоро. Достаточно вам этого примера? Или будем спорить?

— Долго спорили старик со старухой: как печку на зиму разделить. Да толку-то от того,— заключил Захар Макарыч.— Вот так-то и два охотника поспорили: кто искупается в ледяной воде в ноябре месяце и кто после этого не простудится. Один говорит: «Я не простужусь, я закаленный», а другой говорит: «Я не простужусь, я тоже закаленный». Побились об заклад. Бултыхнулись разом в речку: мало-мало поплавали даже, для форсу, и — назад. Вылезли. Один говорит: «Я тебе докажу — ты свалишься пластом, а я нет», а другой говорит: «Я тебе докажу — будет тебе воспаление легких с осложнением на нервной почве». И что вы думаете?.. Оба простудились! Свалились, к едрене бабке... Я это к чему? Да к тому же: не надо спорить, если и так ясно. Спорили мыши — кому кота казнить. Так и нам о Переметове. Ну его к лешему. Будем надеяться, что он последняя ошибка... А у тебя, Иван Васильевич, здоровенно получается: и «тень на плетень», и солнце — все здорово. Все правильно... Спать будем? — неожиданно спросил он и глянул на часы.— Без двадцати двенадцать накачало.— Затем полез в палатку, а оттуда добавил: — Ну что ж, будем думать.

Я тоже снял фонарик с камышей и лег в палатку, вытянувшись во весь рост. Спать не хотелось. И фонарик тушить не хотелось. Горит огонек...

Долго лежал я, не шевелясь, прислушиваясь к дыханию охотников. Потом повторил про себя слова Захара Макарыча: «Ну что ж, будем думать». Но усталость взяла свое. Тело становилось все легче и легче. Ночь забрала и меня с собой, оборвав нить паутинки осеннего дня. Я не заметил, когда лопнула паутинка, но... только паучки все

летели и летели... А малыш, Ванятка Кнут, гонялся за ними по селу, распугивая кур.

...Утро начал Захар Макарыч: постучал веслом о нос лодки и сказал:

— Подъе-ем... Вы гляньте-ка, что творится на белом свете.

Хотя уже начинало светать, но перед нами стояла сплошная пелена непробойного тумана. Захар Макарыч вытолкал челн на чистую воду и оттуда, невидимый, торопил:

— Поворачивайтесь-ка вы там, тени! Гляньте, что бог нам накуролесил.

Мы выбрались из камышей, стоя в челноках.

— Где ты, Макарыч? — окликнул я.

— Вот он, рядом. Смотри в оба. Видишь?

— Не вижу ни бельмеса.

— Подожди, чиркну спичкой.

Вспыхнул огонек спички, и я увидел... голову Захара Макарыча. Она стояла на тумане — одна голова. Густая-прегустая пелена закрыла озеро вровень с нашими плечами, а Иван Васильевич высунулся по грудь. В мутном рассвете еле заметные головы были сказочными.

— Смотрите сюда! — позвал доцент и тотчас же крикнул: — Ку-ку! — Голова его провалилась вниз.— А вот и дядька Черномор! — Он вылез снова.

Об охоте в таком туманище — и думать нечего. Все понимали это и решили обождать полного рассвета, еще с полчасика — может, рассосется. Мы прижались вновь к камышам все рядышком.

Через несколько минут одежда, весла, борта челноков стали влажными. Мы натянули плащи и съежились на лавочках в терпеливом ожидании.

— Не везет,— сказал Захар Макарыч.

— Не везет,— повторил Иван Васильевич.

— Обманули паучки. Они ведь всегда обещают вёдреную погоду,— попытался я свалить вину на насекомых, чтобы хоть чуть утешить друзей.

Утром спросонья, да еще в глубоком тумане, разговор шел лениво. Захар Макарыч позевывал во весь рот, потягиваясь и передергивая плечами от свежести и сырости.

— Похолодало здорово,— сказал он.— А паучкам как верить? Позднышки, последняя партия. Не будь в последние дни такого тепла — зазимовали бы они на месте...

Мы, оба его собеседника, отмолчались — не хотелось открывать рта: если не везет, то уж и нечего разговорами утешаться. Но Захар Макарыч вновь сердито забубнил:

— А туману вот теперь верь: раз низом стоит, то жди ненастья... Ишь ты! Даже руки зябнут... Ох, уж эти мне паучата... Последыши... Заморыши, нечистый вас возьми... Туда же!.. Пропала заря ни за понюх табаку.

Но время шло. Становилось все виднее и виднее. Теперь, если встать в челноке, открывалась удивительная картина: камыш, наполовину задернутый пеленой, казалось, рос из тумана — низкий, густой; лес на острове тоже был не на земле, а прямо на тумане, черный-черный и вдвое ниже обычного. Захар Макарыч ворочал головой из стороны в сторону, мы с Иваном Васильевичем тоже: три головы поплыли над туманом в разные стороны, каждая в свой скрадок. Сядь в челнок — ничего не видать. Встань — перед тобой чудо земли. Чудо из чудес! Осенняя сказка.

Я плыву. И пробую сочинить эту сказку: «Жил-был на земле Захар Макарыч, по прозвищу Пушкарь. Жил он тихо, но от него шел свет к добрым людям. Поехал однажды Пушкарь на охоту за жар-птицей и попал в такой-то густой туманище. Ни неба, ни земли не видать. Глядь-поглядь — в тумане голова плывет...» Чья голова?.. Может быть, Митьки Шмеля?.. Нет, чего не могу, того не могу: сказка у меня не получается — пусть напишет кто-то другой. Да и скрадок мой вот он — приехала голова, приплыла над туманом.

Вдруг крик Захара Макарыча:

— Иде-ет! Слуша-ай!

И в тот же миг просвистела крыльями стая уток. Шли они на юг... Минут через десять — пятнадцать — еще стая. Потом еще. Пошла северная! Но на озеро пока не садится ни одна: туман.

Ветерок зашумел в камышах и затих. Через некоторое время камыши вновь заволновались, зашептали, забеспокоились, стряхивая туман. И озеро очистилось, стало обычным, но уже зябко вздрагивающим от набегающего ветра то там, то тут.

И вот рябь покрыла всю водную гладь. С севера полезли серые, по-волчьи косматые облака. Затем выползло и медно-желтое большущее солнце. Все предвещало резкое изменение погоды.

Маленькая стайка белопузых чернетей упала метрах в пятнадцати от меня... Две остались после выстрела.

Доцент ударил дублетом. Захар Макарыч после громового удара крикнул: «Есть!» И пошла потеха!

Ветер уже ходил мелкой волной, чучела трепались и играли, как натуральные утки; камыши оживели — заропотали, зашумели. А часа через два небо заволокло космами.

Часам к десяти утра лёт прекратился, и мы съехались на то же место, где ночевали. Как бы там ни было, а все трое прибыли с трофеями, несмотря «на срыв работы по причине тумана», как выразился Захар Макарыч. Всего оказалось у нас четырнадцать уток.

— Для такого утра — прилично за глаза! — восторгался Захар Макарыч после подсчета.— Пошла утка. Пошла родная!

— Пришла моя любимая! Пришла неоцененная! — в тон ему продекламировал доцент.

Завтрак был веселым.

Но не успели мы допить чай, как уже в яростном порыве ветра бросились на нас капли секущего дождя — холодного, звучного и настойчивого. От него вода покрылась стеклянными свечечками. Миллионы их: что ни удар капли, то свечечка, вскочит — и нет ее. До того обманчиво, что кажется, свечки живые и выпрыгивают из воды сами собой.

Наскоро натянув палатки, мы забились в них и немедленно уснули: слишком убаюкивающим был непокорный шум камышей, барабанная дробь дождя о палатку, покачивание челнока, такой теплый уют палатки и мягкий воротник шубейки под щекой. Только настоящий охотник поверит, что в такую погоду в камышах можно проспать сутки без отдыху. Право же, я дрыхнул до трех часов дня, пока Иван Васильевич кликнул:

— Тени охотников! Зима подбирается.

Мы с Захаром Макарычем высунули головы из палаток.

Дождь шел со снегом! Ветер неистово рвал камыши и шлепал водой о челноки. А на озере... качались на волне три стаи уток. На наших глазах опустилась еще одна! В такой чичер утку прижало к земле, она садится на отдых смело.

Не сговариваясь, мы напялили плащи, спустили палатки и выбрались из камышей. Волна подхватила меня

и Захара Макарыча — нам по ветру плыть,— а Иван Васильевич довольно искусно пошел вдоль камышей против ветра, на свое место. Утки немедленно снялись, но Захар Макарыч успел-таки «схватить» одну на подъеме. Я, признаюсь, промазал — очень качало челнок.

При такой погоде, когда и днем сумерки, вечер наступил сразу. Но и в полутьме утка шла и шла, хотя стрелять уже было нельзя.

Зато в кромешной тьме против ветра мы с Захаром Макарычем попотели. Он то и дело окликал:

— Плывешь?

— Плыву!

Через некоторое время кричал ему я:

— Живой?

— Живой! — откликался он весело.

К Ивану Васильевичу мы подъехали «все в мыле». Но что это за трудности, если мы имеем за две зари двадцать три штуки уток на троих. Мы попали на последний вал пролета. Вполне удовлетворительно, если принять во внимание, как мы скисли утром.

— Вот что значит верить в удачу! Все начинается с надежды! — встретил нас Иван Васильевич, высунувшись из палатки.

Он уже успел натянуть ее как барабан, устроился похозяйски и в непогодь: с обеих сторон он закрепил челн суховилкой и веслом, воткнув их и связав сверху. Он положительно все умел делать: пахать, косить, молотить, работать на тракторе, учить студентов, писать книжки о грибах и охотиться.

— Надежда горы воротит,— поддержал Захар Макарыч, совсем забыв, как он ныл в тумане и проклинал паучков.— Не будь надежды — не было бы охотников на земле.

Устраивая челнок на ночь, надо было торопиться: дождь нахлестал в лодку — надо отчерпать, вновь положить на дно уже сырой камыш и быстро натянуть палатку.

Но вот все сделано. И только тогда мы поняли, что «спокойной ночи» никто из нас уже не скажет. Рукава мокрые, плащи мокрые и стоят колом; снизу, у дна, холодно от сырости. В таком случае остается один выход: вниз, под себя, меховую шубейку, сверху, на себя, ватник, а дверь палатки — на все пуговки. Плащ уже ни к чему — он лежит колом сбоку, в ногах.

Из своего логова Захар Макарыч спросил, как из-под земли:

— Запечатались?

— Под сургуч,— ответил Иван Васильевич.— Что будем делать?

— Лежать будем,— откликнулся и я под шум ветра и дождя.

— А до каких пор?

— До утра, если дождь не перестанет.

— А потом? Останемся или — домой?

— Утро вечера мудренее,— ответил Захар Макарыч.— Что-то мне кажется, на мороз тянет.

— А дождь идет? — возразил я.

— Ну и что ж, что дождь? В снег перейдет да как рубанет на всю катушку — кости захрестят. Было же такое? Было.

Голоса их слышались будто издали.

Не прошло и получаса, как Иван Васильевич снова пробубнил:

— Ужинать-то будем? Я бы не против. Очень даже не против.

— Будем,— ответил Макарыч.— Маленько подождем: может, дождик перестанет.

— Успеем еще,— сказал я.— Ночь-то будет длинная-предлинная — больше шестнадцати часов.

Все вышло пока по-нашему: дробь дождя становилась все тише и тише, и наконец и совсем перестало барабанить.

Мы «распечатались». Холод ворвался в палатку. Дрожко.

Захар Макарыч уже шумел у себя примусом, тоже приоткрыв застежки — у него теперь жарко.

Закусили малость, но чай пили с напором, до второго пота, пока опустел чайник.

И снова «под сургуч».

Ночь была долгая. В такую ночь отчетливо чувствуешь дыхание зимы. Она где-то рядом и может появиться неожиданно, в любой час, как снег на голову. Точная пословица: более неожиданного, чем первый снег, ничего не может быть в природе. Очень даже просто: встанем утром, а кругом белым-бело.

Но ветер помаленьку утихал.

Притеплившись и съежившись калачиком, я высчитал

дни после первого зазимка и пришел к тому же выводу: зима у ворот.

Зима, зима... Постепенно мысли перешли в прошлое.

Осень сейчас в природе. Осень и в моей жизни. Весну свою я помню хорошо — трудная весна. Лето помню. Но... ладно, не надо никаких «но». Все ведь прошло... А осень — вот она... Всю мою жизнь можно назвать просто: жизнь в поле...

...То были совсем не грустные мысли. Наоборот, в ту глубокую и черную осеннюю ночь радовался тому, что понял: я такой же, как Захар Макарыч, Василий Кузьмич, Петр Михайлович и многие колхозники. Пусть хуже их, но с ними на всю жизнь, а моя тень мало заметна для других и вполне соответствует росту.

Услышав, что доцент повернулся в лодке, я спросил:

— Не спится?

— Нет.

— Холодно?

— Нет, согрелся... О чем думаете, Тихон Иванович?

— О прошлом. А ты, Вань, о чем думаешь?

— О будущем.

— И что же там, светлая голова?

— Хорошо!.. А что у вас в прошлом получается?

— И очень и не очень. Все есть.

Захар Макарыч, доселе молчавший, видимо, прислушивался к разговору и внес свою лепту в разрешение этого вопроса:

— Культ-то умер. Да вот... как бы это сказать... культята есть.— Иван Васильевич рассмеялся, я — тоже. Но Захар Макарыч продолжал с напускной обидой: — Чего смеетесь? Не бричка мучает попа, а мучает попа чека. Думаете, культа нету, то и переметовых нету? Ведь это его зацепило боком, он и свалился спервоначалу. А другого, может, не зацепило. Куда его денешь?.. А вы: «Ха-ха!» Тоже мне комики... Куда ты его денешь? Должность-то ему надо давать? Надо. Он без должности захиреет. Он же ничего не умеет делать. А вы: «Ха-ха!»

— Да мы, может быть, с вами согласны, Захар Макарыч,— сказал сквозь смех Иван Васильевич.

— Если так, то это еще ничего,— пробурчал Макарыч.— А то: «Ха-ха!» А чего «ха-ха» — не сразу поймешь. Лет бы двадцать назад дал бы я тебе сгоряча подзатыльник,— только зубки бы щелкнули... А теперь тебя не ущипнешь, Ванятка.

Так за эти двое суток он называл его то Ваняткой, то Иваном Васильевичем, то снова Ваняткой. И все получалось просто.

...А ночь все тянулась и тянулась. Длинная осенняя ночь. И чего только в это время не передумаешь, чего не вспомнишь, о чем только не переговорят охотники, когда ночь не движется, а, кажется, висит черным пологом без конца и без края.

Но как бы там ни было, а в палатках мы надышали тепла, пригрелись и замолкли в ожидании далекого утра.

...С шумом пронеслись над камышами «белопузники»... Снова — они же. Еще раз. Одна и та же стайка кружила в облете над озером, каждый раз прошумев над палатками. Я высунулся наружу.

Захар Макарыч уже стоял на передней лавочке. Видимо боясь разбудить доцента, он полушепотом сказал мне:

— Попали мы, Тихон Иваныч, башкой в развилку.

Не сразу я сообразил, в чем дело.

— Видишь, утка не может сесть?

— Вижу.

— Пощупай за бортом.

За бортом был лед — челноки вмерзли в камышах. Палатка покрылась коркой, и на ней белела изморозь. Под лучом фонаря мы увидели: лед блестел и на озере. Все сковало!

До утра оставалось еще часа два.

— Пожалуй, надо нам, Захар Макарыч, выбираться, пока лед не стал толще.

— Пусть поспит,— прошипел он, указав на челнок Ивана Васильевича.— Ночь-то почти не спали...

Так отец, собираясь в поле, жалел и меня — не будил пока. Он сам укладывал на телегу соху, борону, корм, подмазывал колеса дегтем, насыпал семена. И только после этого, когда совсем уже рассветет, расталкивал: «Вставай. Пора ехать. Ишь дрыхнет, как сурок... Вставай, вставай». Помню, как спросонья садишься, бывало, на телегу и некоторое время еще клюешь носом, пока не проснешься совсем уже в пути и не поймешь, что ласка отца в его напускной строгости.

— Пусть поспит,— согласился я и перешагнул в челнок Захара Макарыча.

Там уселись мы бок к боку, засунули руки в рукава шубеек, опустили лопухи треухов и зашептались:

— Деловой,— говорю,— доцент, а?

— У-у! Этот даст им там... Этот знает, почем фунт лиха,— дыша мне в лицо, соглашался Захар Макарыч.

— Кому же это он даст?

— Коптильщикам.

— Неплохое слово.

— Факт, неплохое... А он не обманет. Кнутиковская закваска... Ишь, как похрапывает.

. . . . . .

— Камыш-то застыл,— говорю.

— Остекленел, бедняга.

. . . . . .

Каждый из нас знал, что мы обходим главное: как выбраться изо льда. Но каждый думал об этом. Это очень трудно! Вот попали!

С рассветом, когда заря вспыхнула и заиграла на льду, мы разбудили доцента. Он вынырнул из палатки заспанный, но бодрый.

— Ой ты! — воскликнул он, глядя на озеро.— Красотища какая! Сказка!

Все было волшебно. Казалось, все вокруг покрыто светлым лаком, отполировано до зеркального блеска и оставлено на долгое хранение до самой весны. Жизнь замерла, все недвижимо.

Осень кончилась.

— Сказка... Будет нам нынче сказка,— заворчал Захар Макарыч, осторожно свертывая палатку, чтобы не поломать мерзлый брезент.— Рыхлей складывайте,— посоветовал он и нам.

После короткого совещания мы наметили «план ледового похода». До русла надо было пробиваться километра два.

Капитаном единогласно назначен товарищ Пушкарь.

Обколоть челноки оказалось не так-то уж трудно: железные рогатки суховилки для этого вполне подходящи. Пробить перед челноком метр-другой уже труднее. Вытолкнуться из камышей еще труднее. Потом челнок упрся носом в лед — ни с места.

Немало хлопот доставило каждому из нас, чтобы стать друг за другом в одну линию. Труднее всего капи-

тану. Он с размаху разбивал лед, стоя в носу, потом переходил на корму и проталкивался на метр вперед. В двадцати метрах от места ночевки от Захара Макарыча уже валил пар.

Потом к нему из челнока в челнок перешел Иван Васильевич, привязав свой к моему. Теперь разбивал лед Иван Васильевич и перешагивал к корме, а Захар Макарыч проталкивал челн с приподнятым носом (ведь на корме двое). С размаху киль врубался в лед, обламывал его под собой и замирал. Затем все повторялось снова.

Прошло более часа, а мы отъехали какую-то сотню метров. Капитан перестал наезжать килем на необитый лед (лодка будет изодрана в клочья и угроблена окончательно). Поэтому продвигались мы еще медленнее. Мне досталось тащить на буксире челнок Ивана Васильевича с полной нагрузкой, но все-таки это было гораздо легче, чем бить лед.

Между тем небо вновь затянуло низкими, теперь плотными и спокойными облаками. Замелькали снежинки. Надежды на оттепель не было ничуть.

Не сговариваясь, остановились на отдых. Сели, покурили молча. Потом Захар Макарыч совершенно серьезно, видимо прекратив игру в ледовый поход, сказал:

— Вот что, мужики: надо беречь силы. Если заметелит, то нам тут хана.

Каждый из нас знал, как лет пятнадцать тому назад старик охотник вмерз с челноком в озере, выбился из сил и окоченел. Но никто ни разу не заговорил об этом. Положение наше было опасным.

А мороз нажимал все сильнее.

Мы решили меняться на колке льда через каждые полчаса и при этом отдыхать десять минут. Но прежде всего — обсохнуть от пота, для чего, пока не останавливаясь, продвигаться медленнее, спокойнее. Так и сделали.

Только к часу дня наша унылая эскадра с обессиленной командой стала против затончика, в конце которого была охотничья пристань. До нее было метров двести, а до русла Тихой Ольхи около километра. С ходу добраться до реки и думать нечего. Мы решили выйти на остров, чтобы отдохнуть, поесть.

Моя очередь пробивать лед. Ребро весла уже обтрепалось и стало мохнатым, руки в мокрых перчатках коченели. Как бы я ни старался спокойно работать, спина опять потная. Чем ближе к берегу, тем лед становился

толще. Но это не страшно. Ведь обратно, от берега до средины затона, мы будем ехать уже по пробитому следу, хотя кормой и вперед. Это не страшно. Надо отдохнуть. Обязательно отдохнуть. Силы иссякали с каждой минутой.

За десять метров до пристани сломалось мое весло. Жаль. Отличное было весло — кленовое, пятиметровое, прочное. И как это меня угораздило!

— Ты что же, идол, плашмя ударил! — крикнул на меня с остервенением Захар Макарыч.— Теперь с окомелком будешь шлепать! Клади его в лодку. Бери мое. Если сломаешь — шкуру спущу!

Он отдал мне свое тяжелое весло, а легкое весло Ивана Васильевича взял себе.

Я продолжал долбить и долбить. За «шкуру» свою, конечно, не боялся — просто Захар Макарыч тоже выбился из сил и, как говорится, сорвался.

Наконец-то последний окраек льда сбит, и лодка ткнулась в берег. Самое главное в тот день сделано: мы на земле, и теперь все пойдет проще.

— Чего это вы так напустились на Тихона Ивановича? — спросил Иван Васильевич.— Суховилки-то есть у каждого да два весла. Еще можно ломать — теперь уж все равно выберемся.

— Ну... так... сгоряча,— не очень-то энергично оправдывался Захар Макарыч.

Здесь мы были, конечно, не равны. Захар Макарыч здесь важнее. И мы это понимали. Даже гораздо важнее.

Захватив с собой пищу и чайник с водой, мы ушли в землянку. Там кто-то из охотников оставил дрова, поэтому через десяток минут уже пылала печка с полуоткрытым челом, а мы разделись.

Блаженный отдых! Описать это не в моих силах. Никогда не забыть такого часа. Мы ни о чем не разговаривали — мы наслаждались. Тянуло в дрему. Иван Васильевич, откинувшись на спину и подложив ладони под затылок, проговорил лениво:

— Эх, поспать бы...

— Все! — возразил Захар Макарыч.— Обсохли, пузо твердое — поехали.

Обратно до нашей главной магистрали протолкнуться не так уж трудно: развязали два челнока, последний стал передним. Так мы и стали вновь на курс.

Очередь была Захара Макарыча. Он размеренно, редко и точно орудовал уже не веслом, а тыкал в лед увесистой дубиной, срубленной в лесу. Дело пошло успешнее. Я проталкивал теперь челн. Иван Васильевич тащился позади с двумя челноками.

Во время передышки Иван Васильевич, явно обладавший более тонким слухом, чем мы, насторожился:

— Слышите?.. Кто-то бьет лед...

Мы пока не слышали, но затаили дыхание. Наконец и до нас донеслись удары. Человек пробивался от русла к острову. Было непонятно: кому вздумалось лезть сюда в такое время? По приближению звуков мы заметили, что охотник продвигался гораздо быстрее нас.

— Там, ближе к руслу, лед тоньше,— заметил Захар Макарыч.

— Но кто это может быть? — спросил Иван Васильевич.

— Леший его знает,— ответил Захар Макарыч.— Съедемся — узнаем.— Вдруг он вскрикнул: — О! Глянь-те! Вот он, ползет!

По льду быстро бежал красный паучок, тот самый, какого можно встретить и на снегу среди зимы. Удивительное насекомое!

— Как называется? — спросил Захар Макарыч у доцента таким требовательным тоном, будто тот обязан знать все на свете.

— Не знаю,— лаконично ответил Иван Васильевич, ничуть не смущаясь.— Снежные паучки почти совсем не изучены.

— Вот задача, скажи на милость: бежит, и не знаешь, кто бежит. Вон еще, смотрите! Ух ты! Строчит, каналья,— и мороз нипочем. Все это занятно.— Захар Макарыч задумался. Потом добавил: — И почему только человек так мало живет? Все бы можно было узнать. А оно, видишь, как получается... Почему бы и мне, скажем, не быть профессором? А ведь мог бы!.. Нет, если бог, допустим, и делал человека, то без соображения.

Так и выдал себя Макарыч: он, видимо, всю долгую ночь думал об этом и решил: «Мог бы».

Уже в конце четвертого часа дня, почти в сумерках, выйдя на повороте из-за камышей, мы узрели к всеобщему удивлению... Петьку Плакуна! Он тараном лез в глубь затона. Обнаружив нас, остановился и стоял в лодке, поджидая. Протолкал он, пожалуй, третью часть нашего

пути от острова до русла. Конечно, для нас это большое облегчение, но зачем все-таки он сюда-то направляется?

— Ты чего в ад за яблоками прешь, горшешный художник? — спросил у него Захар Макарыч.

Плакун не ответил, а спросил у нас:

— Алешку Русого не видали?

— Нет,— ответили ему в три голоса.

— А зачем он тебе? — спросил я, вспомнив, как Алеша отхлестал его уткой по лицу.

— Понимаешь, какое дело: думал, он вмерз в Голове.

— Ну и что же? — допытывался Захар Макарыч.

— Вот я... и поехал к нему. Думаю, пропадет... Мне-то от русла пролезть — ничего: назад-то по пробитому... А ему, думаю, одному-то... Где же он есть?

— Когда он поехал? — спросил я с беспокойством.

— Вечером слыхал его мотор.

— Тогда он на русле,— уверенно сказал Захар Макарыч.— Выше затона обязательно.

Как бы в подтверждение его слов раздался далекий дублет.

— Он! — воскликнул Петька.— Как подморозило, он и сообразил: утка пойдет на русло. Он!

До Тихой Ольхи, по следу Петьки, мы добрались еще завидно.

— Слава богу! Бог, он не дурак: знает, кому помогать.

После такого заключения Захар Макарыч приложил ствол к губам и продудел условный сигнал. Через несколько минут мы услышали ответный гудок.

— Он и есть,— радостно сказал Захар Макарыч, глядя на нас.— Переку-ур! Ледовый поход закрыт. Объявляю благодарность всему составу... кислой команды.

Я бросил взгляд на Ивана Васильевича: он был «кислым» в полном смысле, даже почернел от усталости, пота и двухдневной непогоди. Таков, видимо, был и я (Захар Макарыч слов на ветер не бросает).

Не более как через двадцать минут мы услышали мотор, а вскоре подкатил, рассекая воду, и сам Алеша Русый, размахивая шапкой в знак приветствия.

— Здорово, несчастные! — крикнул он.

— Здорово, хитрец! — ответил я.— Обманул погоду?

— Ага. Вижу, вечером на мороз тянет — значит, дичь в камыши не пойдет.

— А какие дела? — спросил Иван Васильевич, хитровато улыбаясь.

— Девять штук... Постой, постой! Да ведь это Ванятка! Сукин ты сын! Как ты сюда?! Вот не ждал! — Он подъехал к Ивану Васильевичу борт к борту и протянул руку:— Дай пожму. Помнишь, как к девчатам топали вместе?

— Угу! Помню.

Встретились друзья юности — тракторист и доцент сельскохозяйственного института. Только ханжа заскулит оттого, как Алеша выхватил поллитровку из корзины и воскликнул:

— За встречу, Ваня!

И всем поднес по сто граммов точно. Впрочем, он-то уж знал, как полезно нам, измученным и обессилевшим, чуть взбодрить себя.

— За встречу, Алеша! — сказал Иван Васильевич, опрокинув охотничий стаканчик-раскладушку.— В воскресенье жду в гости.

Поднося порцию Петьке, Алеша спросил:

— А ты как сюда? Ты ж в эти места не ездишь — всегда один, бывало.

— Я-то?

— Ты-то.

— А чего мне?.. Спасибочки. Будем! — Он опорожнил стопку и блаженно улыбался.

Я увидел Петьку не совсем похожим на того, какого знал несколько лет подряд.

— Знаешь, Ванятка, как я его отучал от браконьерства? — спросил Алеша, ткнув пальцем в Петьку.

— Как? — заинтересовался доцент.

— Знаем, да не скажем,— уклонился-таки от ответа Алеша и подмигнул мне и Захару Макарычу. Однако добавил: — Мудрость — не в наказании за зло, а в предупреждении зла. Кто это сказал?.. Не знаете?.. Эх вы, ученые люди! А я вот... тоже не знаю, кто сказал. Объявить, что ли, Петро, нашу с тобой историю?

— Ну, ты уж,— обиделся Петька.— Ну, было... Ну, было...

— Ладно. Молчу.— И Алеша закрыл рот ладонью.

...Уже в темноте пять моторчиков рубили воду, ревели друг за другом, разрывая на клочья тишину глухого и такого дорогого мне уголка Земли.

У Камышевца челноки забелели от снега — их хорошо стало видно и ночью. Каждый из нас вез на плечах белый-белый снег.

Прощай, осень! Прощай, мое Далекое! До будущей весны!

9. ВЕТЕР

Снег, снег и снег.

Горизонта нет никакого. Затушеванный налетом инея на бурьянах, он растаял в легкой дымке утреннего морозца. Поле в такие дни бескрайнее, однотонное, сизовато-белое и кажется безжизненным. Только это, конечно, кажется: жизнь все равно идет, а поле и зимой привлекательно и интересно своей неповторимостью, как и каждый день жизни человека. Все равно завтра поле будет другим и никогда не повторится. Жизнь идет. Ее не остановить ни снегами, ни морозами, ни ураганами.

Вот пожалуйста! Метрах в двадцати обозначились ярко-красные пятна и тотчас же растаяли: то снялась стайка снегирей. Перед Иваном Васильевичем Кнутиковым с жестким шумом вырвались из снега, как из ничего, куропатки. Он вскинул сгоряча ружье, но не выстрелил (запрещено!). Валерий Гаврилович Фомушкин наткнулся на пустую лежку зайца, остановился, чтобы обратить на себя наше внимание, указал пальцем под ноги. Понятно: «лежка есть». Захар Макарыч кашлянул и протянул вперед руку — гляньте: дескать, лисица улепетывает.

Жизнь в поле идет и зимой. Днем ее можно маленько расшевелить, если вот так, фронтом, идти по мягкой пороше, бесшумно и осторожно. Но по-настоящему поле оживает ночью. Видите, сколько наплясал заяц на жировке около кустиков — до самого утра топал на своих костылях косой.

А эти ровные строчки, как по струнке, написала огненно-рыжая днем и черная ночью лисица; она и утром, когда все вокруг уже светло, и вечером, еще зáвидно, мышкует с увлечением, то подпрыгивая свечкой, то припадая и распушив хвост трубой. Ночью она и ворует, хитрючка, досаждает Василию Кузьмичу на птицеферме. Ведь залезла же через форточку на птичник! «Юристка»,— обругал ее тогда Василий Кузьмич заочно и обиделся на сына за то, что тот за весь отпуск не убил ни одной лисы. В последние годы отец прямо-таки ненавидел

их. Доцент обещал убить. Четыре ночи он сидел на засидке около фермы и убил-таки. Теперь шкурка «юристки» висит в хате на стене.

Нас пятеро: Фомушкин, все так же председательствующий в райисполкоме, его зам — Чумак Петр Михайлович, доцент Кнутиков Иван Васильевич, все тот же Пушкарь Захар Макарыч и я.

Ночных следов все-таки мало: «не весь заяц» вставал на кормежку в снегопад. Но наша задача состояла главным образом в том, чтобы ухлопать все воскресенье в свое удовольствие.

Морозец легкий. Снег рыхлый. Хорошо.

От жировки я взял след. Остальные четверо, увидев такое, приостановились: наблюдают за мной, приготовились,— а может, наскочит! Захар Макарыч припал на колено в западинке, откуда торчит только его шапка. По большому и свежему снегу сегодня заяц не должен бы уйти далеко. И правда, после первой же смётки на кипенно-белом поле я заметил чуть-чуть темноватое пятнышко. Лежка!

И все равно заяц вырвался как ниоткуда — большой, рыжевато-серый. В идеально чистой, в такой «пустой» белизне, в полном безмолвии он кажется огромным. Хорош! Положил я его отлично.

Что ж: моя удача! Все подошли ко мне.

— С полем! — поздравил Фомушкин.

— Завидую и ревную! — патетически простонал Петр Михайлович Чумак, вскинув единственную руку вверх.

— Один заяц — не заяц,— убежденно сказал Захар Макарыч.— Нам надо еще четыре: пять зайцев — это уже зайцы.

Но все-таки желание Пушкаря не сбылось — мы ничего больше не взяли: то выскочит далеко, то позади кого-то. В общем, топали долго, добросовестно и настойчиво, но безрезультатно.

Здорового зимнего воздуха мы наглотались так, что к концу дня еле-еле волочили ноги, а все мысли сосредоточили на одном: дойти до Камышевца. Только бы дойти. Захар Макарыч уступил и изрек:

— И один заяц — заяц. Ладно, не каждый день удача. Только вот боюсь я, что потеряю тут в поле «Советскую власть на селе».

Это он о Фомушкине. Тот шел позади, не скрывая неимоверной усталости. Зато Макарыч пока тянул за собой

всех: топал и топал редко, размеренно, так же, как начал и утром,— в один тон. Но в начале дня он был позади, теперь же впереди. Вот что значит ритм в ходьбе. Так он вытянул нас на главный тракт, на грейдер,— налево в Камышевец, направо в областной город, и заявил, выйдя на средину дороги:

— Направо пойдешь — крендель найдешь, налево пойдешь — пустая пекарня. Тут и сказке конец и повесили корец.

— Это ты про меня? — устало спросил Валерий Гаврилович.

— Нет, про райпекарню.

— А тебе думается: вот взял Фомушкин да испек, сколько захотел. Так, что ли? — нехотя отбивался председатель.

Они теперь шли рядом с Захаром Макарычем. Мы же втроем позади них. По дороге идти стало далеко лучше, легче. Петр Михайлович толкнул меня в бок легонько, кивнул на передних (дескать, что получится у них из такого разговора).

— Ох и шпилька! — воскликнул председатель, перекинув ружье на другое плечо.— Вас бы с Василием Кузьмичом вдвоем натравить на кого-нибудь — глаза на лоб вылезут.

— Ой, как здорово! — наконец-то подал голос и доцент. Он «отсочал» на гладкой дороге, к нему вернулся дар речи, а валенки уже не волочились, как у меня, грешного.

Захар Макарыч будто нарочно, будто пользуясь усталостью «Советской власти на селе», докучал:

— Конечно, здорово! Вы пошлите нас с Кузьмичом на какой-нибудь областной пленум или к министру, допустим. Так мы...

Неожиданно Валерий Гаврилович стал как вкопанный. Мы тоже остановились. Он ударил себя по лбу и выпалил:

— Петр Михайлович! Я остолоп,— обратился он к Чумаку.— Ни единого пожилого колхозника не послали на областное совещание передовиков.

— А вы возьмите с собой Захара Макарыча и папашу,— предложил доцент.— Заслуживают ведь.

— Тоже, думаю, заслуживают. А сделать уже ничего нельзя. Список в райкоме утвердили — конец. Завтра

с автобусом едут. А мы с Петром Михайловичем послезавтра утречком.

— А нельзя больше десяти мест для района отвоевать? — спросил Петр Михайлович.

— Поздно, черт возьми. Жаль. Прохлопали ушами,— сокрушался на ходу Фомушкин.

— Ну, мы с Кузьмичом в следующий раз поедем,— утешал его Захар Макарыч.— Чего волноваться! Тогда мы речи приготовим, отпечатаем на машинке — все честь по чести. А сейчас все равно не успеем. Шутка ли! «Давали, даем и будем давать! И да здравствует вопче!» Такого сразу не сообразишь сказать — надо долго думать.

— Да ты, Макарыч, или меня уложить хочешь тут вот, на дороге? — огрызнулся Фомушкин.— И без того сил нету — весь вышел.

— С шуткой легче топать,— мирно проговорил Захар Макарыч.

Он явно пожалел Фомушкина и не хотел его обижать, он уважал этого молодого по сравнению с ним председателя, простого в обхождении, совсем не похожего на своих предшественников, дотошного в сельском хозяйстве, да еще и охотника.

Чем ближе к Камышевцу, тем все труднее и труднее идти. Знаю: последние метры будут еще более тяжкими. Но идти надо. Зимняя охота, особенно тропление зайца, штука тяжелая.

Теперь впереди шли молодые — доцент, пред и зам, а мы, старики, плелись в хвосте, совсем не удручаясь таким положением на данный день. Они что-то там мурлыкали себе под нос, не разобрать, а мы же просто только дышали и заботились об одном: поднять чуть-чуть ногу вперед. А становилась она уже сама собой, как чугунная. Захар Макарыч тоже сдал, бедняга.

Все же я разобрал-таки отрывок их разговора: отпуск у доцента кончается, и он едет послезавтра с ними в область, в свой институт.

Мне тоже ведь надо ехать!

— Валерий Гаврилович! — окликнул я Фомушкина.— Постойте-ка. Дайте догоню.— А поравнявшись, спросил: — Меня возьмете в «козла»? Документ там один на пенсию надо оформить.

— Неужели на пенсию? — удивился Валерий Гаврилович.— Неужели шестьдесят? Никак нельзя поверить.

— Да... шестьдесят.

Когда я произнес это слово, то почувствовал, что устал до полусмерти. Как же так? Уже шестьдесят. Мне было грустно, несмотря на то, что за спиной висел заяц.

Но Захар Макарыч нарочито громко гаркнул:

— В нашем полку прибыло, товарищ председатель райисполкома!

Грусти моей как не бывало: я очень желал бы служить в том самом полку, где Захар Макарыч. «Мы еще повоюем»,— думалось тогда. И главное — заяц за спиной!

— Возьмем, конечно,— сказал Петр Михайлович Фомушкину.— Ты, я, Иван Васильевич, Тихон Иванович — четверо. Сам Шмель — пятый. Как раз на «козла».

— Шмель! — воскликнул я.— Митяй Шмель?

— Да,— ответил Фомушкин.— Вот он подсунул.— И указал на Чумака.— Наш-то шофер ушел в ваш «полк», а этого взяли.

— Давно? — спросил я.

— С неделю назад. Временно пока. С начальником милиции советовались. «Попробуйте», говорит. Вот... пробуем.

— Ну и как он?

— Не верит. Работает. Молчит.

— Да он ни во что не верит... ни в кого,— вмешался в разговор Петр Михайлович.— А вас, Тихон Иванович, уважает. Знаю. Встречался с ним на охоте... Был в хуторе...

Да, я еще тогда, после пожара, понял, что Митяй мне теперь верит, он может верить. Мне не хотелось углублять этот разговор. Остальной путь, уже мимо безжизненных камышей под самым селом, мы прошли молча в сумерках. Каждый о чем-то думал сам по себе. Я тоже думал: «Зачем же советовались с начальником?» А в голове звучали слова Митяя: «За что? За что?»

Поднялся ветерок. Потянула легкая поземка. Камыши сухо зашелестели.

Мы расстались со словами «до послезавтра».

...В ночь ветер усилился. Дома, лежа на кровати, я слушал его довольно сердитую, скучную, однообразную и, казалось, бесконечную песню.

В трубе позвякивала вьюшка.

Ветер и ветер. Бесконечный ветер шарит по моему окну. Я прислушиваюсь к его нудному однообразию. Может быть, потому и мысли так отрывочны... Надо постараться не думать... Мне кажется, что уже не думаю... Но вновь я ткнулся, как слепой котенок в горячий чугунок!

«Он ни во что и ни в кого уже не верит...» Мне стало больно.

Я не мог отбросить мысли куда-нибудь в дальний уголок.

Встал. Записал в тетрадку весь день зимней охоты с утра и до этой минуты.

А ветер уже настойчиво царапался в стекло.

Будет метель. Она уже начинается.

Декабрь снежный да холодный — год хлебородный.

Дуй, ветер! Больше снега — больше хлеба.

К утру нанесло сугробы.

Два снегоочистителя прошли на тракт, разваливая снег на обе стороны. Теперь от проезжающих машин виден только кузов.

К концу дня трактор поехал выручать автобус с передовиками сельского хозяйства, застрявший где-то на пути в область.

Но Валерий Гаврилович, когда я зашел к нему в кабинет, подтвердил:

— Едем обязательно. Собирайтесь к семи утра.

— Не застрянем?

— Не думаю. Ветер притих. Снегоочистители прошли дважды. А потом ведь — «козел»! Это тоже понимать надо.

В общем, он был в самом лучшем настроении. У него, впрочем, всегда хорошее настроение.

— Как ноги? После вчерашнего? — спросил он.

— Ноют. Но ведь я-то хоть зайчишку ухлопал.

— Я тоже убил: «Зайца и лису и ноги на весу».

Потом он говорил мне, что думает сменить ружье.

— Плохой бой? — недоумевал я.

— Хорошо бьет: с полки упало — семь горшков разбило. Приклад не по мне: бью по жене, а промахиваюсь. Если без шуток: низит оно у меня. С собой завтра прихвачу, сдам в комиссионный, а себе возьму штучную «ижевку». Хорошие ружья — никаких заграничных не надо.

...А утром следующего дня мы уже ехали в область.

Пока выбирались из камышей, было тихо и дорога была чистой.

Петр Михайлович сказал Митяю:

— А ты, Дмитрий Данилыч, сомневался. Видишь, дорога-то!

— Я что? Я хоть к черту на рога поеду,— спокойно ответил Митяй.— Только вот шофера говорят, под Боськином нанесло, а снегопахи отвалили две стены. Получился туннель выше грузовика. И узко — не разъехаться.

Мы выбрались в чистое поле. Здесь ветерок оказался порядочный. Тянула змейками поземка и курилась дымком над сугробами-стенками с обеих сторон дороги. То и дело начали попадаться переносы. Митяй в таких случаях сдавал автомобиль назад и с разгону пробивал сугробчик. Получалось у него ловко.

Километр за километром ехать становилось труднее. Поземка зализывала след «козла» тотчас же, заклеивала, как пластырем, затирала, заметала и разравнивала.

Снег течет и течет. И дымит. Течет и дымит.

Митяя вижу в спину: он будто прирос к баранке, волосы у него мокрые, шапка на затылке. Давно уже едем, часа полтора-два, а от него мы не слышали ничего, кроме того, что он сказал о «туннеле».

Встретился грузовик — нос к носу. Шоферы вышли друг другу навстречу. Поздоровались за руку.

— Далеко? — спросил Шмель.

— В Корневцы,— ответил встречный.

Они стояли по колено в поземке, как люди без ног.

— Как там дальше? — спросил опять Шмель.

— Табак. На «козлике»-то проскочишь, но... с парком. А ты куда?

— В область.

— Начальников везешь?

— Начальников.

— Ну, вези,— будто разрешил встречный.— Из Камышевца?

— Оттуда. А у тебя чего в кузове?

— Отходы. Свиньям.

— Это за сто пятьдесят километров?! — громко ужаснулся Шмель.

— И-и, не говори!.. За морем телушка — полушка, на рупь перевозу. Зерно вывезли, а за отходами... А ну их!.. Как будем разъезжаться? Кому ближе назад сдавать?

— Должно быть, мне,— оглянувшись, сказал Шмель.

— Давай, крути «козлу» хвост.

— Ну, ты! — шутейно отозвался Митяй.— Ты лучше своей корове хвост подмажь — мухи докучать не будут.

Так шоферы, встретившись, за одну-две минуты узнают: куда, зачем, откуда, что и кого, да еще успеют обменяться шутками.

Митяй начинал жить по-человечески.

Он сдал «козла» назад, выбрал обочину с наименьшим отвалом снега и с разгону воткнулся в него передком. Встречный тихо, борт в борт прополз мимо нас. В десяти метрах позади он остановился. Наш автомобиль забуксовал — назад никак. Встречный подцепил его тросом и вытащил на дорогу. Было понятно, что оба шофера поездили свое в снегах.

— Ну, бывай! — сказал встречный.

— Добрый путь! — ответил Митяй.

Посмотрев назад, я увидел, как поземка принялась облизывать грузовик, и он, сразу посеревший, будто уплывал от нас, задернутый мутной живой пленкой.

Снег течет и течет. И дымит.

— Как это получается? — спросил Иван Васильевич у всех сразу.— Отвезти зерно, а за отходами — зимой, в такой холод, в такую дорогу? Ведь это же страшно дорого!

— Вот и получается,— заговорил Петр Михайлович.— В Корневецком районе выполнили полтора плана закупок, а скот «на бобах» остался. Падеж... Вот и возят. Весь автотранспорт гоняют. Люди мерзнут. Центнер отходов выходит им вдвое дороже центнера отборной пшеницы.

— Безобразие! — воскликнул доцент.— Чего же вы молчите? Вы, власть? — набросился он на Фомушкина и Чумака.

— А откуда вы знаете, что молчим? — отпарировал Фомушкин.

Доцент осекся: может, они и правда не молчат — почем знать, но все-таки задал вопрос:

— В самом деле, я серьезно: говорили вы лично где-нибудь об этом? Скажем, в областных верхах?

— Я тоже серьезно: говорили. Писали,— ответил за Фомушкина Чумак.— Мы-то выкладку дали в область точную. Потом ругались, спорили. А что сделаешь!.. В Корневцах заготовили кормов мало. Наш район им теперь пятьсот тонн сена взаймы дал — тоже зимой возят, мучают людей, рвут тракторы и автомобили.

— Дикость! — заключил Иван Васильевич.— Так почему же в Корневцах молчали раньше?

— Вот послали теперь в район «выправлять положение». Переметова направили... для пробы: вытянет — так, не вытянет — спета его песенка.

Митяй оглянулся на Чумака, внимательно посмотрел, но не произнес ни слова.

— Почему они молчали? — переспросил Фомушкин.— Скажу почему. Очень уж мне это самое в душу запало — все помню... Когда я был еще комсомольцем, один товарищ мне однажды сказал в своем кабинете так: «Ты, Фомушкин, много лишнего говоришь. Горяч, молод. Человек чаще страдает оттого, что «лишки» высказывает, но он никогда не жалеет и не страдает оттого, что молчит. Запомни на всю жизнь, чтобы тебе шею не сломали. Подумай». Вот они и молчали.

— К слову сказать, Валерий, с твоим характером тебе в свое время шею скрутили бы как пить дать,— сказал будто между прочим Петр Михайлович.

Теперь Митяй оглядел Фомушкина и снова врос в сиденье, приклеился к беспокойной баранке руля. Автомобиль бросало из стороны в сторону: ехать становилось все труднее и труднее.

И вот по обе стороны пошли стены снега — они были выше «козла». Здесь поземка юрилась вверху, над стенами, и ровным слоем садилась вниз. Автомобиль пошел лучше, спокойнее. Митяй вытер рукавом пот, поправил шапку и откинулся на спинку сиденья: он отдыхал, пользуясь ровной дорогой.

Но неожиданно перед нами вырос автомобиль, груженный мешками.

— В чем дело? — крикнул Митяй, приоткрыв дверцу.

Ему никто не ответил. Тогда он вышел и направился туда. Мы тоже вылезли поразмяться и пошли за ним.

Из-под грузовика торчали валенки: справа — одна пара, серая; слева — другая, черная. Валенки были живыми: то царапались, упираясь пятками, то чуть уползали под машину.

— Кукуем? — спросил Митяй, присев на корточки и заглядывая под кузов.

— Кукуем, лопни оно надвое,— ответил озлобленный голос.

— Что стряслось, братва?

— Кардан рассыпался, лап его разлап! Снимаем.

Другой голос спросил:

— Тебе встречался наш, с мешками?

— Встречался один.
— Далеко?
— За Лопыревкой.
— Значит, выбрался наш Аким.
— Чего же он бросил-то вас? — спросил Митяй.
— Сами послали. Может, доедет — пусть трактор гусеничный гонят навстречу. Он же головным шел в колонне — вот его и послали.
— В какой колонне?
— А ты глянь вперед хорошенько.

Мы все посмотрели туда. Метрах в двадцати пяти от этого грузовика в змейках поземки стоял второй, за ним третий... Дальше, за поземкой, ничего не видно.

— Сколько вас тут? — уточнял Митяй.
— За мной еще девять. Заштопорил я их: ни объехать, ни выехать.
— А что ж мы — бросим тебя тут, середь поля? — пробурчал второй голос.— Чего зря плетешь...— Потом громко, со злобой: — Да ударь ты ее молотком! Ударь ее! Чего качаешь, как дите на коленках?

Послышался удар молотка. Потом опять голос:

— Ну вот и снялась. Вылупилась!
— Рассыпалась крестовина! Что делать? — проговорил второй под кузовом, добавив крепкое прилагательное.

Первый утешал:

— Есть у меня крестовина старенькая. Только проваландаемся тут часа два, если не больше. Пойдем к Сове.

Они вылезли из-под кузова — широкоплечие, сильные, вымазанные нигролом. Один из них, молодой совсем, лет двадцати трех, не больше, с чубом навылет, окинул всех нас одним взглядом и заключил:

— Райком с потолком.
— Ошибся,— сказал Фомушкин.— Сначала надо говорить «здравствуйте».
— Извиняюсь. Мое почтение! — сдался шофер.— Невоспитанный я. Исправлюсь и учту.
— Это уже другое дело,— одобрил Фомушкин шутку и подал ему руку.— Здорово!

Второй сам протянул ладонь, предварительно вытерев ее тряпкой, отчего она не стала чище.

— Значит, райком с потолком? — спросил Фомушкин.— Впервые слышу. Как это понять? Тоже шутка?
— Ясно, шутка. А что: не райком вы?

— Райисполком.

— А не все равно! — возразил парень.— Тоже с потолком. Выше потолка и вы не прыгнете... Мне-то все едино. Работаю с энтузиазмом — и хватит. Вот машину с отходами промораживаю для борьбы с вредителями и полной очистки от амбарных насекомых.

Второй поправил, ухмыляясь:

— Но воспитывать нас, конечно, надо.

Оба они были явно хитрецы, себе на уме.

— Ну, что будем делать, соколы? — спросил у них Митяй.— Как нам-то через вас перепрыгнуть?

Ответил чубатый:

— Копай «козлику» хатку в стене — утюжком делай. Загоняй его туда хворостиной, дай сенца и ложись спать. Как мы починим рыдван, так и проедем мимо хлевушка твоего, а ты побредешь дальше. Если заметет тебя, за хвост вытянем на дорогу. Только и делов.— В его тоне слышалось этакое пренебрежение шофера большой машины к легковой, к мелюзге, что всегда мешает на дорогах, путается под ногами.

— А нельзя сдать назад всем девяти? А мы бы тебя обкопали сбоку.

— Куда та-ам! Это же три километра всей колонне пятиться раком. Шутишь — по такому снегу!.. Пойдем к Сове — он скажет.— Но тотчас же поправился: — К Совкину... Старший колонны.

Но они пошли вдвоем. Митяй в раздумье проговорил:

— Задача... Козу, капусту и волка переправить на другой берег. Кто придумает? — спросил он у всех разом.

Иван Васильевич немедленно вытянул блокнот и стал «думать» на бумаге. Петр Михайлович чертил на снегу и рассуждал вдвоем с Фомушкиным. Митяй что-то прикидывал в уме около автомобиля, глядя на стену снега. Он воткнул в нее лопату раз-другой и заворчал себе под нос:

— Ну и утоптала поземка... Как прессом... За двое суток утолкла что твой каток.

Все пришли к заключению, что есть только два варианта: зарыться в хатку сбоку дороги и ждать, когда встречные отремонтируют головную машину; либо обкопать ее и просить колонну объехать «штопор», продвинуться вперед, а мы объедем по их следу.

Первый вариант отклонил Митяй:

— Сунуть автомобиль в снег и ждать, пока его заметет доверху? Не пойдет. Может, они до ночи будут ремонтировать.

Итак, требовалось обкопать грузовик, вырыть «в полутюжка» под «козлика», стронуть колонну. Легко сказать! Это же надо вынуть несколько кубометров снега. Если одной лопатой, то на целый день.

— Так,— сказал Митяй.— Идите, Валерий Гаврилович, к этой... Сове. Пусть дает людей с лопатами. Иначе нам тут загорать до ночи.

Мы пошли втроем: Петр Михайлович, Валерий Гаврилович и я. Митяй немедленно принялся копать снег.

— По очереди будем рыть,— говорил позади нас доцент Митяю.

Большинство кабин на нашем пути было пусто. В двух сидели шоферы и прогревали моторы, не давая застыть воде в радиаторах. Остальные подкопали себе затишек в снежной стенке, настелили соломы там и сидели на корточках, прислонившись спинами. В средине восседал, поджав под себя валенки, плотный широкий человек и держал в руках старую крестовину, задумавшись.

— Здравствуйте, механики! — приветствовал их Фомушкин.— Застряли?

— Здорово был,— нехотя ответил широкий и тут же, почти не обратив внимания на нас, сказал: — И эта не дойдет, Конек.

Конек — это, видимо, уже знакомый нам чубатый, потому что именно он возразил:

— Сколько пройдет, столько и пройдет — надо ставить.

— А потом? Опять опухать где-нибудь ночью? Видишь: ребята уж посинели. Ехать надо.

— Ну, Совкин... Не бросать же машину! — противился Конек.

— Совкин, Совкин... Что Совкин?

— А как же нам проехать, товарищ Совкин? — спросил Фомушкин.— Областное совещание у нас вечером начинается...

— Да погоди ты со своим совещанием! — огрызнулся тот.— Видишь — авария. А ты совеща-ание... Небось ничего не изменится, если и не будет совещания.— Совкин теперь поднял на нас глаза. Они у него широкие, почти круглые, напоминающие, и правда, совиные. Но тут же перевел взгляд на своих шоферов: — Амба! Разгружать

машину Конька. Другую — отбавить наполовину, а к ней — Конька на буксир. Все.— И он встал.— Давай, братва. Серега! Мотор прогрей — чего пристыл?

Шоферы поднялись, казалось, нехотя, вполголоса поругиваясь. С машины Конька они взяли на плечи по мешку молотых отходов и унесли каждый на свою. В поземке они ходили синими тенями, не торопясь, медленно и вразвалку. Ясно: стоять нам тут придется долго.

— Не потеть! Не потеть! — прикрикнул Сова.— Запотеешь — загибнешь.

Сова был неприступен: он не желал слушать ни Фомушкина, ни Чумака. Наконец Валерий Гаврилович не выдержал и, чуть-чуть повысив голос, твердо сказал:

— Я председатель Камышевецкого райисполкома. Будем разговаривать или нет?

— Да по мне хоть облисполком,— ответил спокойно и невозмутимо Сова.— Вам ехать — и езжайте.

— Дай четырех ребят с лопатами. Обкопаем вашу головную сбоку, а ты протронь колонну.

Сова ничего не ответил. Он наблюдал, как разгружают автомашину.

— Ну так как же? — наседал Фомушкин.

— Никак. Ребят не дам... Строну колонну вперед — и поедете своей дорогой. Вам тридцать километров до города осталось, а мне больше сотни.

Делать нечего: мы ушли к своему «козлу». Нас встретил Митяй возгласом:

— Захрясли насовсем! Позади нас еще четыре грузовика.

Положение становилось критическим: две встречные колонны должны разъехаться в туннеле. Потом появился, как свалился с неба, в самом хвосте, тоже позади нас, еще «козел» (из него никто не вышел и не поинтересовался происходящим). Четверо же шоферов пришли к нам. А узнав, в чем дело, потопали к Сове. Там поднялся невообразимый шум и гвалт. Громче всех кричал Сова:

— А ну пошли к такой матери! Зарывайтесь в стенку — пропускай колонну!

— Да ты знаешь, сколько мы будем копать? Вместе давайте, чудо-кит, чертова бляха!

Потом все утихло. Те четверо наших попутчиков вернулись, разводя руками. Они теперь наши союзники. Один из них сказал:

— Знает ведь, что волей-неволей нам копать, а не поймет: если каждый сам по себе, то мы тут и в ночь присохнем. Кричит: «Пропускай колонну!» Это ли тебе не дурак?

— Подождите, ребята, не кипятитесь,— успокаивал их Петр Михайлович.— Может быть, он и не дурак. Видишь, разгружают машину? Управится с одним делом, а там уж... будем смотреть. Кажется, он совсем даже не дурак...

— А что ж: стоять будем? Ждать? — спросил у него Фомушкин, видимо стараясь понять Петра Михайловича.

Тот уточнил:

— Не стоит вмешиваться, Валерий, там, где люди лучше нас знают, что делать. Не может он из-за упрямства замерзнуть. Значит, у него есть какой-то план. С нами же просто не желает разговаривать... почему-то... Видать, твердый орешек... на него и камушек надо прочный.

Шофер-союзник внимательно слушал это, стоя рядом с нами.

Митяй спросил у него:

— Вы откуда, братва?

— Из Непаловки.

— Чего тащите?

— Мокрую кукурузу, на областной элеватор. Сушить негде — пропадает.

— Дак это ж от Корневцов сорок километров! — воскликнул наш доцент.

— Ну а что? — недоумевал союзник.

— Как «что»? Как «что»? — загорячился Иван Васильевич.— Вы кукурузу в область, а они — отходы из области. А живете рядом.

— Постой-ка,— остановил его тот союзник (другие пошли к своим автомобилям).— Постой-ка! — Он подошел к Ивану Васильевичу, высокий, сухолицый, в дубленом полушубке, ростом под стать доценту.— Ты-то сам кто?

— Я?.. Я доцент.

— Какой ты несмышленый, доцент. По-научному — наивный. Сразу видно — городской.

— Нет. Я родился и вырос в деревне! Это — дико! — уже кричал Иван Васильевич.

— Мало что! Не хотела ворона сыр ронять, да каркать надо. Писателя Крылова читал? То-то вот и оно... По мне так: есть путевой лист — а остальное меня не

касается. Скажут: свали кукурузу в яр — свалю, только документ дай, чтоб все законно.

— А совесть?! — почти выкрикнул Фомушкин так, что у меня пробежали по спине мурашки.

— Совесть, совесть...— растерялся шофер. И вдруг вспыхнул: — А это тебе совесть: борт о борт навстречу везем на копейку, а тратим тыщи? Это тебе совесть? Да? Ты вот, видно, начальник. Молодой ты начальник, по-научному — наивный. Чего молчишь?! — крикнул он.— Где твоя совесть? А я тоже человек, я тоже есть хочу. Машина — мой хлеб. Дай путевой лист — кукурузу в пруд свалю, а ты запишешь: рыбам на откорм. Совесть! Много вас, учить-то... Совесть!.. Думаешь, не тяжко? Туда же: совесть!

Возражений он выслушивать не пожелал: повернулся и ушел.

— Этого голыми ладошками не сцапаешь,— сказал Митяй Фомушкину, указывая в спину союзника, и крикнул: — Эй ты! Елкина мать — воронья совесть! (Тот обернулся.) Ехать-то надо или не надо? Вернись-ка, устроим потолкуй.

Длинный пришагал-таки обратно:

— Ну?

— Вот тебе и ну. Что ж вы: пошли, побрехали вороны с какой-то совой и — в кабину? Как тебя зовут?

— Егор.

— «По-научному, ты наивный», Егор... Как по отцу?

— Ефремыч.

— Значит, Егор Ефремыч. Это хорошо, что ты Егор Ефремыч. Ехать надо?

— Надо.

— Что думаешь делать?

— Копать буду.

— Сколько дней?.. Ну копай один. Документ подпишу: копал. Машину-то они разгрузили?

— Кончают.

— Что ж вы сказали этой Сове?

— А что ему скажешь? И слушать не хочет.

— Ты бы ему сказал: вас десять гавриков, а нас четыре, «козлы» не в счет. Нам, мол, не к спеху — замерзайте или копайте сами на десять машин. Не сказал так?

— И ты учить? Что-то, я посмотрю, как ни легковая, так учителей полна, как бочка с огурцами.

— Да не учу я тебя, «по-научному, наивный». Ведь

если их десять да вас четверо — четырнадцать сидорков! — возьметесь, то надо зарыть в стену-то только ваши четыре машины! Понял? Через час и поедем.

— Оно так. Слов нет. Приблизительно я и говорил ему почти то же самое. Но он уперся: «Пропускай колонну!» — и конец. Я таких знаю... Пойду копать.

— Ну иди... Иди, наивный Егор Ефремыч... Нет, постой! — Митяй изменил тон и заговорил так, что было понятно — возражений не требуется: — Слушай, Егор Ефремыч. Выбирайте там место, где поменьше стенка. Туда сдайте свои машины. Понял? И начинайте помаленьку зарываться шириной в полмашины. Ну, понимаешь? Чтобы около каждого был проезд. Делай. От вашей колонны ты уполномоченный.

— А вы все?

— Мы? Придем помогать. Все придем. Только командуй. Будешь командовать — придем, не будешь — не придем.

Егор Ефремович затопал дальше, даже заспешил.

— С чем мы придем к нему? С одной лопатой пятеро? — спросил доцент из «козла».

Они с Петром Михайловичем уже сидели в автомобиле, постукивая ногами: одеты были легче нас и, видно, успели продрогнуть.

Валерий Гаврилович спросил у Митяя:

— Дмитрий Данилыч! В самом деле, как же быть? Надо торопиться, а с этим Совкиным... Черт знает, что он за человек. Тут, в снегу, он царь и бог.

— Ладно... пойду и я,— загадочно проговорил Митяй.— Узнаем хоть, что он за птица.

Фомушкин не возражал. Мы втроем отправились, как мне показалось, на поклон.

Там уже пылал костер. Шоферы облили автолом солому и сидели вокруг огня кружком, греясь и переговариваясь неторопливо. Совкин явно выжидал: пусть сами копают! Он даже не обкапывал пока объезд, чтобы взять на буксир Конька. Пусть другие сделают, а он проедет с колонной. Так мне казалось. И я решил: пойду сейчас и скажу ему, что «ты, Совкин, самодур» и что «четырнадцать человек для четырех машин...»

Но я ничего не успел сказать, потому что Митяй еще в десятке метров от них запел надрывным блатным голосом песню, какую когда-то я уже слышал:

Ты меня ждешь...

Глаза шоферов вонзились в Митяя с интересом. Сова поворочал желваками, встал и спросил:

— Откуда ты... мальчик?

— От «Макара», папочка. От «Макара». За телятами ходил — зэкачами кормил.

— Урка,— заключил Совкин.

До сих пор Митяй ни на кого не взглянул — он смотрел мимо лиц или на огонь, но последнее слово как бы подбросило его: он вскинул рывком подбородок, глянул на Совкина, потом подошел тихо, медленно, стал вплотную к нему, в упор, и улыбался той самой, знакомой мне, угрожающей улыбкой.

— Э, да тут и Сова! — мило сказал он.

— А ты, мальчик, откуда меня знаешь? — спросил со злобой Совкин.

Я и впрямь подумал, что они знакомы, но, оказалось, Митяй просто определил точно, кто из них Сова. А тот, видимо, так и решил, что знает.

— Сову-то! — воскликнул Митяй, все так же улыбаясь.

Второй раз он назвал его по кличке. Это взбесило противника, и он неожиданно рявкнул:

— Пошел отсюда, каторжник, к... матери!

Митяй все так же мило спросил:

— Ка-атор-ж-жни-ик?!

И вдруг... ударил его кулаком, снизу вверх, под челюсть! Это был страшный удар! Совкин упал навзничь, как мешок, потом вскочил и замычал, кривясь от боли:

— Ты что? Ты что? Шутки не понимаешь? Ответишь! Ответишь!

В первые секунды все опешили, никто даже не стронулся с места — так внезапен был удар. Только уже после того как поднялся на ноги Совкин, мы с Фомушкиным рванулись к Митяю.

— Немедленно уходи! — крикнул ему вне себя Валерий Гаврилович.

— Митяй! Что ты делаешь? Что ты делаешь? — глупо спрашивал я.

А он повернулся к Фомушкину и сказал тихо и строго:

— Валерий Гаврилович, не вмешивайтесь в это дело. Вашей власти тут нету: видишь, метель начинается.

Первым вскочил Конек,— кажется, в ту же секунду, как рванулся Фомушкин. За ним все остальные шоферы. Они кричали наперебой:

— Нашего бить?

— А ну, братва! Дадим им всем на добрую память!

— Бери лопаты!

— Бей их, так их мать!

— Уходи, уходи! — настаивал Фомушкин, пятясь назад вместе со мной.

Что скрывать: не очень хотелось, чтобы кто-то огрел лопатой по голове, а такая возможность была. Однако наше замешательство было минутным. Мы увидели, как Конек, выпустив на лоб чуб, подскочил к Митяю петухом:

— Дать тебе?! Дать, гроб тебе?!

Митяй не стронулся с места. Он вынул из кармана кусок сала, отрезал финкой ломтик и спросил у Конька:

— Шамать хочешь, младенец? — И улыбался, увидев, как Конек сдал, а остальные присмирели. Затем он решительно шагнул к Совкину, что стоял у борта машины, зажав челюсть обеими руками.

Совкин попятился назад:

— Ты что? Ты что? — мычал он сквозь ладони.

Их было десять человек. А Митяй ходил среди них, подняв теперь голову. Совкину он сказал просто и даже снисходительно:

— Да ты не пяться раком. Значит, драться не будем?

— Пошел ты к черту! — И все-таки пятился.

— Не будем так не будем.— Митяй вплотную подошел к Совкину.

Тот перестал отступать и спросил с озлоблением:

— Ну, за что ударил?

— Это другой разговор! — воскликнул Митяй.— Это можно обсудить чин по чину. Блямбу я тебе прописал с точным адресом — за «каторжника».

— А сам как называл? — вспыхнул Совкин, чуть даже подскочив на месте.

— Э-э! Не-ет! Тут две вещи разные — «Сова» и «каторжник»,— возражал ему Митяй уже мирным тоном.

Шоферы сгрудились у огня, и, как это ни странно, некоторые уже посмеивались.

— Не хочу быть каторжником,— сказал Митяй.— Ты это понимаешь? Восемь лет — понимаешь?

— Хватит! — заорал Совкин.— Сам пять лет проглотил. А ты, как сука... скорей бить!

— Да я и ударил-то в четверть силы. От такой блямбочки, если по-настоящему, челюсть расходится по ком-

пасу и салазки пополам. Не во всю же я силу... Значит, и ты зэк?.. Вот оно как. Сказать по правде, я догадался. Выходит, ты шкурку снял всю — чистый. Теперь выслуживаешься. «Пусть хоть подохни другой, а я колонну в обиду не дам». Служить служи, да на лапках не ходи... На Доску почета хочешь? Валяй на доску — не возражаю, я сам не против, но только не грызи соседа... я, кореш, за тем ведь и шел: поговорить как человек с человеком. А ты: «Ка-аторжник». Надулся барабаном: я — не я! Должен был я тебе резолюцию наложить или не должен? Как по-твоему?

— Да хватит тебе! Я сказал или не сказал?! — заторопорщился Совкин.

— Ладно. Понял,— ответил Митяй и обратился уже к шоферам: — Вот что, мальчишки: лопатки в руки и — за мной. Нас тут четырнадцать. Та-ак... Четыре наших машины — вбок, отрыть объезд под буксир. Тут трех — хватит. Пятеро — к уполномоченному: спросите Егора Ефремыча. «Козла» своего мы почти спрятали. Так... Скоренько, скоренько! Шевелись, детский сад! За ручку и парочками! Чья аварийная? А! Твоя, чубатый петух? Ты и будешь за главного тут. С тобой буксирный. Кто? Ты? Вот вас и двое, а третьего выбирай сам. Остальные к уполномоченному. Так, Совкин?

— Пусть так.

— Марш-марш, браточки! Поддерживай порточки!

Мы пошли к своей машине.

Митяй еще некоторое время задержался после нас около Совкина. Мы не могли слышать, что там у них был за разговор. Через пять — десять минут прошли шоферы с лопатами, а Митяя все не было. Но вскоре он бегом нагнал их и пошел вместе.

Меня начал пробирать холод, поэтому я сначала потоптался, а потом, чтобы согреться, заплясал тоже к уполномоченному союзнику. Тут работа кипела вовсю. Митяй же стоял около них и приговаривал:

— Надуйся, братва! Метель заюрила. А вам еще до Лопыревки сорок верст хромать. Там и заночуете. Борща налупитесь!

Метель, правда, уже повалила и сверху: завихрила, заныла, зашлепала по лицу мокрыми горстями снега.

Вот тут-то, как заяц из лежки, буквально ниоткуда и появился Переметов. Оказывается, это его «козел» стоял позади нашей сборной колонны самым последним. Ока-

зывается, Переметов тоже ехал на совещание передовиков сельского хозяйства.

— Сколько я буду стоять? — кричал он.— Копать! Быстро! Работать разучились!

Хотя дело подходило уже к концу без его участия, но он бегал, кричал, указывал, куда бросать снег, и, в общем-то, мешался под руками и раздражал ребят.

— Ты чего не работаешь? — спросил он у Митяя.

— Задница запотела сидеть в машине. Жду, когда остынет. Да и указаний сверху не было.

— Вам на каждую машину по няньке надо! Распустились! Куда снег бросаешь? Направо надо, а ты куда его? — Он теперь героически шел вдоль дороги, несмотря на метель, и кричал: — Сидел-сидел! Сидел-сидел! Терпенье лопнуло!

Я брел за ним, приплясывая и пристукивая рука об руку; в движении быстро разогрелся, а от уверенности в том, что скоро поедем, даже взбодрел малость после всего происшедшего.

Когда Переметов поравнялся с нашим автомобилем, он заметил-таки Фомушкина с лопатой в руках и буркнул:

— Эх, вы! — Остановился и пояснил: — За вас бы другие руководили, а вы бы... Э, да ну вас!.. Давай-давай! — крикнул он тем шоферам, что уже кончали отрывать объезд около автомашины Конька.— Давай-давай!

— На! — зло ответил Конек и воткнул лопату в снег ручкой вниз.— Ты что: других слов не знаешь, кроме «давай-давай»?

— С кем так разговариваешь? — вспыхнул Переметов.

— Как ты — так и я, в точности.

— Знаешь — я ваш предрика!

— Пока не видал. А слыхать — слыхал. Теперь и в лицо знаю. Мое почтение! Извиняюсь, если чем обидел. Спасибо за воспитание.— Конек вновь принялся бросать снег.

Переметов был убежден, что без него мы все здесь померзли бы, а колонны ни за что не разъехались бы. Обратно он пошел тихо, уверенно, как победитель. А вновь остановившись около Фомушкина, сказал:

— Видишь, как сразу пошло дело? Уметь надо.

— Яков Гордеевич! — окликнул его Петр Михайлович.— Вы бы со старшим колонны поговорили: не добе-

рутся ведь ваши. Надо как-то помочь. Может, из города снегоочиститель направить?

— Дело! Где старший? Кто старший?

— Вон он, подошел к передней машине,— сказал я.

Совкин действительно стоял у автомобиля Конька и махал рукой, направляя, чтобы зацепить буксир.

Переметов подошел к нему и строго вопросил:

— Кто старший?

— Нету старшего,— ответил Совкин угрюмо.— Был, да нету.

— Как так нету? Почему беспорядок?!

— Чего кричишь? — казалось, спокойно спросил Совкин не глядя.— Чего ты взбеленился — завелся с пол-оборота? Ну, я старший... Правее руля! Еще. Еще чуть. Так. Крепи буксир.

— Фамилия? — все так же строго спросил Переметов.

— А что? — Совкин наконец глянул на Переметова.

— Фамилия, спрашиваю?

— Пошел ты к...! — выдавил Совкин сквозь зубы.— Отвяжись. (Он, наверно, тоже не видел еще своего председателя.)

— А ты знаешь, кто я есть? — взъершился Переметов.

Совкин не ответил.

— Ты знаешь, кто я есть?!

— Мне сейчас нету интереса знать, кто ты есть,— равнодушно произнес Совкин.

Переметов почти бегом заспешил к своему автомобилю и уже не остановился около Фомушкина.

— Гроза выдохлась,— многозначительно сказал Петр Михайлович.

Так закончился снежный аврал.

Сначала тихо проехал автомобиль с буксиром. За ним — второй... третий...

Совкин стоял против нашего «козла», провожая каждого своего шофера. Прошло девять автомашин. Он сказал Митяю:

— Подожди ехать — прогоню свою.

— А чего ты в хвосте?

— Потеряй я последнего — пропал шофер. (Подбородок у него уже был заклеен бумажкой.)

— Постой! — Митяй вылез из кабины и шагнул к Совкину.— В суд подавать будешь? — мрачно спросил он.

— Надо бы... да мне там делать нечего,— так же мрачно ответил тот.

— Ну... отквитай... что ли... Зачисть.

Совкин взял за грудки Митяя, подтянул к себе и ударил с размаху в грудь. Митяй упал, но тотчас же встал и опять шагнул к Совкину. Фомушкин выскочил из автомобиля:

— Стой!!!

Но... Митяй протянул руку Совкину и сказал коротко:

— На!

Они пожали друг другу руки. Совкин пошел.

Через несколько минут прополз мимо нас и его автомобиль. Совкин уезжал в метель, подпирая всю колонну.

И вот мы едем, едем и едем.

Уже проскочили снежные стенки.

Беспокойно ревет мотор на сугробах.

Мы все молчим.

Вокруг метель, метель и метель. Снежинки рвутся, кажется, со всех сторон на наши фары, но, не долетая до них и будто испугавшись, стремительно брызгают веером мимо автомобиля, в стороны.

Снег, снег и снег.

Митяй изредка передергивает плечом — ему, видимо, больно. Вести машину трудно. То она воткнется в перенос, то забуксует. И тогда Митяй вновь сдает назад, включает передний мост и снова пробивает.

Метель щекочет наш брезентовый кузов, как ведьма. Я слышу, как она скребет когтями и визжит неистово.

Снег. Метель. Снег и метель. Больше ничего нет на всем белом свете. Ничего.

...Огни города возникли неожиданно: справа, слева и впереди. Мы уже в пригороде.

Первым заговорил Валерий Гаврилович:

— Дмитрий Данилыч! А почему и он в ответ не ударил? Все отступал и пятился.

Митяй объяснил не сразу:

— Духу в нем, значит, меньше.

— А зачем же ты допустил напоследок, что он ударил?

— Да ведь... я тоже... виноват. Он ведь... не такой уж плохой, не хуже прочих, пожалуй... А что духом слабей оказался, то люди разные бывают... Он раньше нас все обмозговал, да только боялся — совещание в снегу устроим. Так и отрубил мне там, с глазу на глаз: «Сто советов — сто минут, а корова сдохла».

— На междугородную! — скомандовал Валерий Гаврилович. А когда подъехали к телефонной станции, он сказал нам: — Вылезайте — погрейтесь минут десяток.

Мы ввалились на переговорную сразу пятеро, внеся за собой пар и холод. Валерий Гаврилович, не закрывая двери кабины, как был в тулупе, кричал в трубку:

— Дорожный участок?! Сил Степаныч! Один снегоочиститель надо — от Камышевца до Лопыревки. Во что бы то ни стало! Да нет же, нет: сейчас, немедленно. Колонна из Корневцов загибнет... И пусть проводят их прямо до твоего участка. Организуй ночлег, навари картошки. Понял? Ребята выбились из сил. Понял или не понял? Пропадут ведь. Ну вот. Это хорошо. Завтра позвоню утром. Не подведи меня, пожалуйста. Бывай!

Мы поехали в Дом колхозника, где для моих попутчиков были забронированы места. Мне же предстояло пойти на ночлег к Ивану Васильевичу.

Город жил обычной жизнью. Никто не знал, что там сейчас в поле, в снегах.

— Если еще раз повторится — не обижайся. Понял? — Это сказал Валерий Гаврилович Митяю. Сказал так строго, как я от него еще никогда не слышал.

— Ладно,— ответил тот. А после некоторого молчания спросил: — Мне-то куда?

— Отвезешь Ивана Васильевича и Тихона Ивановича. Машину — во двор, а сам — с нами. Стоп! Мы тут и сойдем. Вон он. Дом колхозника. Видишь?

Петр Михайлович все время молчал и думал. Теперь он вышел из автомобиля вместе с Валерием Гавриловичем и тоже молча пожал нам руки на прощанье.

Снег. Метель. У яркого света фонарей она кружилась на одном месте. В городе не разобрать — откуда дует ветер. А он дует, настойчивый и упорный,— там, в поле. В городе еще можно идти против ветра, в поле — очень трудно.

10. И ЗИМОЙ КАМЫШИ ШЕЛЕСТЯТ

Приехал в Камышевец несколько дней тому назад. И вот сижу. Луна влезла в искристое окно и расплылась там — большая, лупоглазая, холодная. А окошко мое стало каким-то задумчивым-задумчивым.

В этот серебряно-синий вечер я зажигаю лампу. И ве-

чер провалился: как только засветила лампешка, сразу же наступила ночь.

Зачем прогонять луну из окна? Пусть оно искрится и переливается блестками. Тогда мне, кажется, совсем немного лет и я стою у новогодней елки.

Тушу лампу и жду последний, прощальный вздох такого короткого зимнего дня... И он улетел, зацепив за мое окошко. Иначе отчего же оно вдруг заблестело в уголке и тут же померкло, стало серым. Конечно же, зацепил!

Ночь пришла по пятам за днем. Зимой он уходит медленно и нехотя. Даже трудно различить, когда у них наступает час передачи дежурства. Кажется, оба, день и ночь, некоторое время живут в Камышевце вместе, без спора. Оттого так долги здесь зимние вечера. Оттого же и огни зажигаются у нас еще днем: пусть сами разбираются — кому и когда уходить и кому приходить на пост в Камышевец — дню или ночи.

А я знаю, когда совсем уходит день: он тихо-тихо взмахнет нежным крылом над снегами, а иной раз прошуршит в камышах, чуть встряхиваясь.

Тогда зажигаю огонек и у себя. И вспоминаю. И слышу.

Чу! Шепчут... Как музыка, шелестят в душе камыши и зимой. Лежит у меня к ним сердце.

То они тихие и покорные, нежные, как мизинчик ребенка, когда весной стрелочками только-только выходят из воды. То они могучие и спокойные, непробиваемой стеной охраняющие утиные топи, куда не каждый охотник отважится заглянуть даже и на челноке. То они буйные и непокорные в бурю, строптивые, бросающие вызов любому бурану, ливню, граду — чему угодно! И тогда они величественны в своем неповиновении: их можно только согнуть, но сломать — никогда.

То эти же самые камыши, пожелтевшие, с обвисшими, беспомощными листьями, высокие и тощие, раздетые первыми морозами почти догола, стоят над свинцово-синей водой и с сожалением смотрятся в зеркало окрайков ледяной корочки у берега; с грустью провожают они свои же опадающие листья, что лодочками беспокойно вертятся на воде и уплывают, будто оглядываясь, уплывают безвозвратно... Тогда камыши шумят о прошлом...

Когда же холодное и тоже желтое солнце кое-как еще растопит иней, то редкие капельки падают в воду с уми-

рающих, уже полусухих стеблей... Падают капля за каплей... То плачут камыши, тихо и безропотно.

Зимой я всегда вспоминаю о них с грустью. И очень хочется, чтобы скорее пришла весна и я вновь и вновь почувствовал новое в людях и в самом себе, чтобы вновь пожал руку дорогим друзьям-охотникам, моим неизменным спутникам жизни. Встретиться с ними в камышах... А кое с кем... молча разъехаться челноками в стороны.

Разные бывают люди — разные про них и песни. Разные люди и в Камышевце: иного из них пронесешь в сердце через всю жизнь, как близкого и родного, а от иного и на старости лет кровоточат раны.

Ах, камыши, камыши! Чего только не вспомнишь, слушая вас в Далеком.

Шумят камыши, шумят...

Вижу, как уходит морозный день.

И знаю: сколько бы раз ни повторялась зимняя ночь, а весна будет. И солнце!

Много света будет и от людей на земле. Верю.

1963

БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО

ПОВЕСТЬ

Посвящается
Александру Трифоновичу
Твардовскому

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДВОЕ В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Жалобно и, казалось, безнадежно он вдруг начинал скулить, неуклюже переваливаясь туда-сюда,— искал мать. Тогда хозяин сажал его себе на колени и совал в ротик соску с молоком.

Да и что оставалось делать месячному щенку, если он ничего еще не понимал в жизни ровным счетом, а матери все нет и нет, несмотря ни на какие жалобы. Вот он и пытался в первые два дня время от времени задавать грустные концерты. Хотя, впрочем, засыпал на руках хозяина в объятиях с бутылочкой молока.

Но на четвертый день малыш уже стал привыкать к теплоте рук человека. Щенки очень быстро начинают отзываться на ласку.

Имени своего он еще не знал, но через неделю точно установил, что он — Бим.

В два месяца он с удивлением увидел вещи: высоченный для щенка письменный стол, а на стене — ружье, охотничью сумку и лицо человека с длинными волосами. Ко всему этому быстренько привык. Ничего удивительного не было уже и в том, что человек на стене неподвижен: раз не шевелится — интерес небольшой. Правда,

несколько позже, потом, он нет-нет да и посмотрит: что бы это значило — лицо выглядывает из рамки, как из окошка?

Вторая стена была занимательнее. Она вся состояла из разных брусочков, каждый из которых хозяин мог вынуть и вставить обратно. В возрасте четырех месяцев, когда Бим уже смог дотянуться на задних лапках, он сам вытащил брусочек и попытался его исследовать. Но тот зашелестел почему-то и оставил в зубах Бима листок. Очень забавно было раздирать на мелкие части тот листок.

— Это еще что?! — прикрикнул хозяиин.— Нельзя! — И тыкал Бима носом в книжку.— Бим, нельзя. Нельзя!

После такого внушения даже человек откажется от чтения, но Бим — нет: он долго и внимательно смотрел на книги, склоняя голову то на один бок, то на другой. И, видимо, решил-таки: раз уж нельзя эту, возьму другую. Он тихонько вцепился в корешок и утащил это самое под диван; там отжевал сначала один угол переплета, потом второй, а забывшись, выволок незадачливую книгу на середину комнаты и начал терзать лапами играючи, да еще с припрыгом.

Вот тут-то он и узнал впервые, что такое «больно» и что такое «нельзя». Хозяин встал из-за стола и строго сказал:

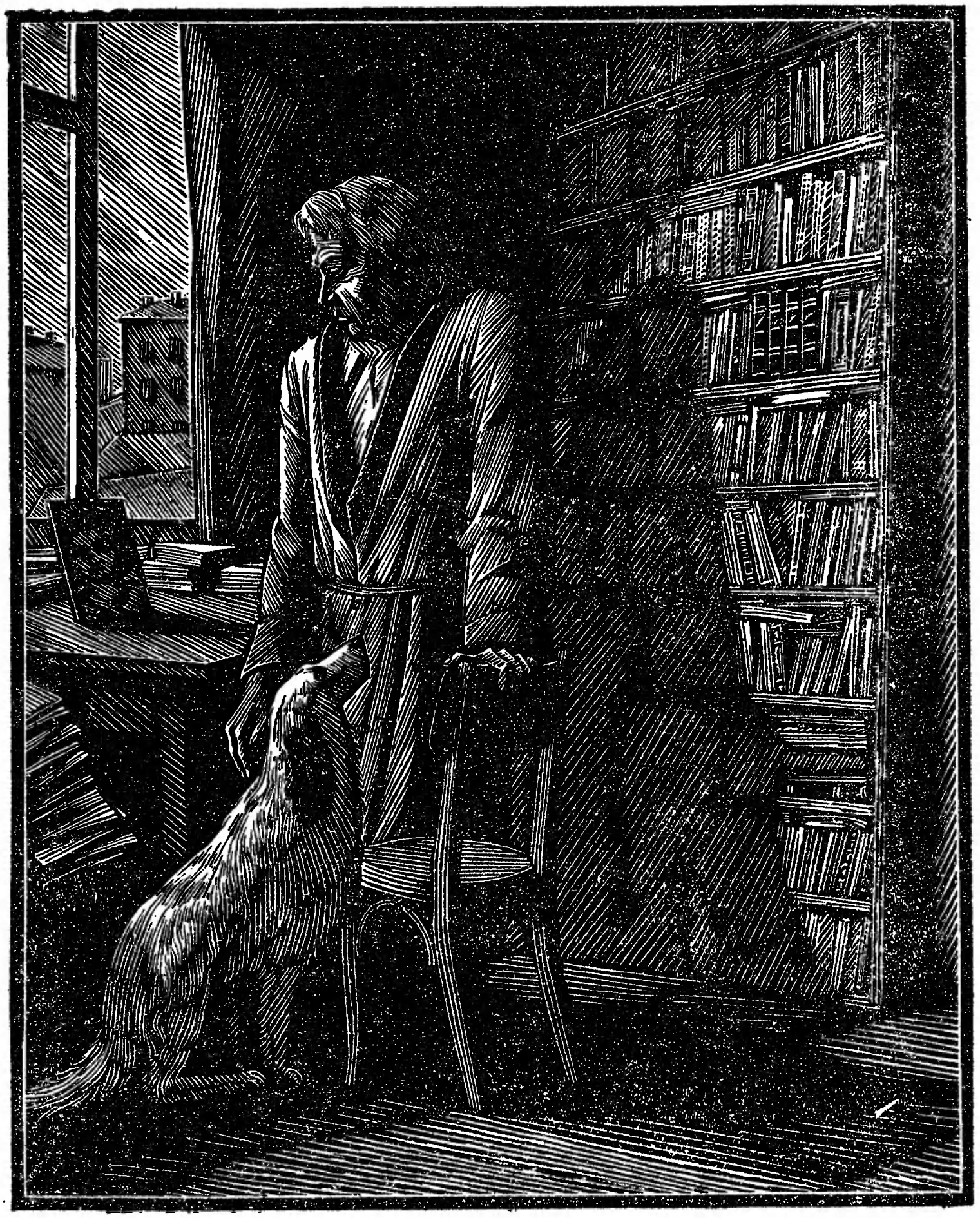
— Нельзя! — И трепанул за ухо.— Ты же мне, глупая твоя голова, «Библию для верующих и неверующих» изорвал.— И опять: — Нельзя! Книги — нельзя! — Он еще раз дернул за ухо.

Бим взвизгнул да и поднял все четыре лапы кверху. Так, лежа на спине, он смотрел на хозяина и не мог понять, что же, собственно, происходит.

— Нельзя! Нельзя! — долбил тот нарочито и совал снова и снова книгу к носу, но уже не наказывал. Потом поднял щенка на руки, гладил и говорил одно и то же: — Нельзя, мальчик, нельзя , глупыш.— И сел. И посадил на колени.

Так в раннем возрасте Бим получил от хозяина мораль через «Библию для верующих и неверующих». Бим лизнул ему руку и внимательно смотрел в лицо.

Он уже любил, когда хозяин с ним разговаривал, но понимал пока всего лишь два слова: «Бим» и «нельзя».



И все же очень, очень интересно наблюдать, как свисают на лоб белые волосы, шевелятся добрые губы и как прикасаются к шерстке теплые ласковые пальцы. Зато Бим уже абсолютно точно умел определить — веселый сейчас хозяин или грустный, ругает он или хвалит, зовет или прогоняет. А он бывал и грустным. Тогда говорил сам с собой и обращался к Биму:

— Так-то вот и живем, дурачок. Ты чего смотришь на нее? — указывал он на портрет.— Она, брат, умерла.

Нет ее. Нет...— Он гладил Бима и в полной уверенности приговаривал: — Ах ты мой дурачок, Бимка. Ничего ты еще не понимаешь.

Но прав был он лишь отчасти, так как Бим понимал, что сейчас играть с ним не будут, да и слово «дурачок» принимал на свой счет, и «мальчик» — тоже. Так что когда его большой друг окликал дурачком или мальчиком, то Бим шел немедленно, как и на кличку. А раз уж он, в таком возрасте, осваивал интонацию голоса, то, конечно же, обещал быть умнейшей собакой.

Но только ли ум определяет положение собаки среди своих собратьев? К сожалению, нет. Кроме умственных задатков, у Бима не все было в порядке.

Правда, он родился от породистых родителей, сеттеров, с длинной родословной. У каждого его предка был личный листок, свидетельство. Хозяин мог бы по этим анкетам дойти не только до прадеда и прабабки Бима, но и знать, при желании, прадедова прадеда и прабабушкину прабабушку. Это все, конечно, хорошо. Но дело в том, что Бим при всех достоинствах имел большой недостаток, который потом сильно отразился на его судьбе: хотя он был из породы шотландских сеттеров (сеттер-гордон), но окрас оказался абсолютно нетипичным — вот в чем и соль. По стандартам охотничьих собак сеттер-гордон должен быть обязательно «черный, с блестящим синеватым отливом — цвета воронова крыла, и обязательно с четко отграниченными яркими рыже-красными подпалинами»; даже белые отметины на не предусмотренных стандартом местах считаются большим пороком у гордонов. Бим же выродился таким: туловище белое, но с рыженькими подпалинами и даже чуть заметным рыжим крапом, только одно ухо и одна нога черные, действительно — как вороново крыло; второе ухо мягкого желтовато-рыженького цвета. Даже удивительно подобное явление: по всем статьям — сеттер-гордон, а окрас — ну ничего похожего. Какой-то далекий-далекий предок взял вот и выскочил в Биме: родители — гордоны, а он — альбинос.

В общем-то, с такой разноцветностью ушей и с подпалинками под большими умными темно-карими глазами морда Бима была даже симпатичней, приметней, может быть, даже умнее или, как бы сказать, философичней, раздумчивей, чем у обычных собак. И право же, все это нельзя даже назвать мордой, а скорее — собачьим

лицом. Но по законам кинологии белый окрас, в конкретном случае, считается признаком вырождения. Во всем — красавец, а по стандартам шерстного покрова — явно сомнительный и даже порочный. Такая вот беда была у Бима.

Конечно, Бим не понимал вины своего рождения, поскольку и щенкам не дано природой до появления на свет выбирать родителей. Биму просто не дано и думать об этом. Он жил себе и пока радовался.

Но хозяин-то беспокоился: дадут ли на Бима родословное свидетельство, которое закрепило бы его положение среди охотничьих собак, или он останется пожизненным изгоем? Это будет известно лишь в шестимесячном возрасте, когда щенок (опять же по законам кинологии) определится и оформится в близкое к тому, что называется породной собакой.

Владелец матери Бима в общем-то уже решил было выбраковать белого из помета, то есть утопить, но нашелся чудак, которому стало жаль такого красавца. Чудак тот и был теперешним хозяином Бима: глаза ему понравились, видите ли, умные. Надо же! А теперь и стоит вопрос: дадут или не дадут родословную?

Тем временем хозяин пытался разгадать, откуда такая аномалия у Бима. Он перевернул все книги по охоте и собаководству, чтобы хоть немного приблизиться к истине и доказать со временем, что Бим не виноват. Именно для этого он и начал выписывать из разных книг в толстую общую тетрадь все, что могло оправдать Бима, как действительного представителя породы сеттеров. Бим был уже его другом, а друзей всегда надо выручать. В противном случае — не ходить Биму победителем на выставках, не греметь золотым медалям на груди: какой бы он ни был золотой собакой на охоте, из породных он будет исключен.

Какая же все-таки несправедливость на белом свете!

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

В последние месяцы Бим незаметно вошел в мою жизнь и занял в ней прочное место. Чем же он взял? Добротой, безграничным доверием и лаской — чувствами всегда неотразимыми, если между ними не втерлось

подхалимство, каковое может потом, постепенно, превратить все в ложное — и доброту, и доверие, и ласку. Жуткое это качество — подхалимаж. Не дай-то боже! Но Бим — пока малыш и милый собачонок. Все будет зависеть в нем от меня, от хозяина.

Странно, что и я иногда замечаю теперь за собой такое, чего раньше не было. Например, если увижу картину, где есть собака, то прежде всего обращаю внимание на ее окрас и породистость. Сказывается беспокойство от вопроса: дадут или не дадут свидетельство?

Несколько дней назад был в музее на художественной выставке и сразу же обратил внимание на картину Д. Бассано (XVI век) «Моисей иссекает воду из скалы». Там на переднем плане изображена собака — явно прототип легавой породы, со странным, однако, окрасом: туловище белое, морда же, рассеченная белой проточиной, черная, уши т о ж е ч е р н ы е, а нос белый, на левом плече черное пятно, задний кострец тоже черный. Измученная и тощая, она жадно пьет долгожданную воду из человеческой миски.

Вторая собака, длинношерстная, т о ж е с ч е р н ы м и у ш а м и. Обессилев от жажды, она положила на колени хозяина голову и смиренно ожидает воду.

Рядом — кролик, петух, слева — два ягненка.

Что хотел сказать художник, поместив собаку среди людей на передний план? Видимо, он хотел сказать, что люди любили собак еще с глубокой древности, никогда их не покидали, даже в несчастье, даже на грани гибели народа, а собаки оставались преданными и верными, готовыми погибнуть вместе с человеком.

Ведь за минуту до этого все были в отчаянии, у них не было ни капли надежды. И они говорили в глаза спасшему их от рабства Моисею:

«О, если бы мы умерли от руки господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывел ты нас в эту пустыню, чтобы всех собравшихся уморить голодом».

Моисей с великой горестью понял, как глубоко овладел людьми дух рабский: хлеб в достатке и котлы с мясом им дороже свободы. И вот он высек воду из скалы. И было в тот час благо всем, идущим за ним, что и ощущается в картине Бассано.

А может быть, художник и поместил собак на главное место как укор людям за их малодушие в несчастье, как символ верности, надежды и преданности? Все может быть. Это было давно.

Картине Д. Бассано более трехсот лет. Неужели же черное и белое в Биме идет от тех времен? Не может того быть. Впрочем, природа есть природа.

Однако вряд ли это поможет чем-то отстранить обвинение против Бима в его аномалиях расцветки тела и ушей. Ведь чем древнее будут примеры, тем крепче его обвинят в атавизме и неполноценности.

Нет, надо искать что-то другое. Если же кто-то из кинологов и напомнит мне о картине Д. Бассано, то можно, на крайний случай, сказать просто: а при чем тут черные уши у Бассано?

Поищем данные ближе к Биму по времени.

Выписка из стандартов охотничьих собак: «Сеттеры-гордоны выведены в Шотландии... Порода сложилась к началу второй половины XIX столетия... Современные шотландские сеттеры, сохранив свою мощь и массивность костяка, приобрели более быстрый ход. Собаки спокойного, мягкого характера, послушные и незлобные, они рано и легче принимаются за работу, успешно используются и на болоте, и в лесу... Характерна отчетливая, спокойная, высокая стойка с головой не ниже уровня холки...»

Из двухтомника «Собаки» Л. П. Сабанеева, автора замечательных книг — «Охотничий календарь» и «Рыбы России»:

«Если мы примем во внимание, что в основании сеттера лежит самая древняя раса охотничьих собак, которая в течение многих столетий получала, так сказать, домашнее воспитание, то не станем удивляться тому, что сеттеры представляют едва ли не самую культурную и интеллигентную породу».

Так! Бим, следовательно, собака интеллигентной породы. Это уже может пригодиться.

Из той же книги Л. П. Сабанеева:

«В 1847 году Пэрлендом из Англии были привезены, для подарка Великому Князю Михаилу Павловичу, два замечательных красивых сеттера очень редкой породы... Собаки были непродажныя и променены на лошадь, стоившую 2000 рублей...»

Вот. Вез для подарка, а содрал цену двадцати крепостных. Но виноваты ли собаки? И при чем тут Бим? Это непригодно.

Из письма известного в свое время природолюба, охотника и собаковода С. В. Пенского к Л. П. Сабанееву:

«Во время Крымской войны я видел очень хорошего красного сеттера у Сухово-Кобылина, автора «Свадьбы Кречинского», и желто-пегих в Рязани у художника Петра Соколова».

Ага, это уже ближе к делу. Интересно: даже сатирик имел тогда сеттера. А у художника — желто-пегий. Не оттуда ли твоя кровь, Бим? Вот бы! Но зачем тогда... черное ухо? Непонятно.

Из того же письма:

«Породу красных сеттеров вел также московский дворцовый доктор Берс. Одну из красных сук он поставил с черным сеттером покойного Императора Александра Николаевича. Какие вышли щенки и куда они девались — не знаю; знаю только, что одного из них вырастил у себя в деревне граф Лев Николаевич Толстой».

Стоп! Не тут ли? Если твоя нога и ухо черны от собаки Льва Николаевича Толстого, ты счастливая собака, Бим, даже без личного листка породы, самая счастливая из всех собак на свете. Великий писатель любил собак.

Еще из того же письма:

«Императорского черного кобеля я видел в Ильинском после обеда, на который Государь пригласил членов правления Московского общества охоты. Это была очень крупная и весьма красивая комнатная собака, с прекрасной головой, хорошо одетая, но сетте-

риного типа в ней было мало; к тому же ноги были слишком длинны, и одна из ног совершенно белая. Говорят, сеттер этот был подарен покойному Императору каким-то польским паном, и слух ходил, что кобель-то был не совсем кровный».

Выходит, польский пан облапошил императора? Могло быть. Могло это быть и на собачьем фронте. Ох уж этот мне черный императорский кобель! Впрочем, тут же рядом идет кровь желтой суки Берса, обладавшей «чутьем необыкновенным и замечательной сметкой». Значит, если даже нога твоя, Бим, от черного кобеля императора, то весь-то ты вполне можешь быть дальним потомком собаки величайшего писателя... Но нет, Бим, дудки! Об императорском — ни слова. Не было — и все тут. Еще чего недоставало.

Что же остается на случай возможного спора в защиту Бима?

Моисей отпадает по понятным причинам. Сухово-Кобылин отпадает и по времени, и по окрасу. Остается Лев Николаевич Толстой: а) по времени ближе всех; б) отец его собаки был черным, а мать красная. Все подходяще. Но отец-то, черный-то,— императорский, вот загвоздка.

Как ни поверни, о поисках дальних кровей Бима приходится молчать. Следовательно, кинологи будут определять только по родословной отца и матери Бима, как у них и полагается: нет белого в родословной и — аминь. А Толстой им — ни при чем. И они правы. Да и в самом деле, этак каждый может происхождение своей собаки довести до собаки писателя, а там и самому недалеко до Л. Н. Толстого. И действительно: сколько их у нас, Толстых-то! Ужас как много, помрачительно много.

Как ни обидно, но разум мой готов уже смириться с тем, что Биму быть изгоем среди породистых собак. Плохо. Остается одно: Бим — собака интеллигентной породы. Но и это — не доказательство (на то и стандарты).

— Плохо, Бим, плохо,— вздохнул хозяин, отложив ручку и засунув в стол общую тетрадь.

Бим, услышав свою кличку, поднялся с лежака, сел, наклонил голову на сторону черного уха, будто слушал

только желто-рыженьким. И это было очень симпатично. Всем своим видом он говорил: «Ты хороший, мой добрый друг. Я слушаю. Чего же ты хочешь?»

Хозяин сразу же повеселел от такого вопроса Бима и сказал:

— Ты молодец, Бим! Будем жить вместе, хотя бы и без родословной. Ты хороший пес. Хороших собак все любят.— Он взял Бима на колени и гладил его шерстку, приговаривая: — Хорошо. Все равно хорошо, мальчик.

Биму было тепло и уютно. Он тут же на всю жизнь понял: «Хорошо» — это ласка, благодарность и дружба.

И Бим уснул. Какое ему дело до того, кто он, его хозяин? Важно — он хороший и близкий.

— Эх ты, черное ухо, императорская нога,— тихо сказал тот и перенес Бима на лежак.

Он долго стоял перед окном, всматриваясь в темно-сиреневую ночь. Потом взглянул на портрет женщины и проговорил:

— Видишь, мне стало немножко легче. Я уже не одинок.— Он не заметил, как в одиночестве постепенно привык говорить вслух «ей» или даже самому себе, а теперь и Биму.— Вот я и не один,— повторил он портрету.

А Бим спал.

Так они и жили вдвоем в одной комнате. Бим рос крепышом. Очень скоро он узнал, что хозяина зовут «Иван Иваныч». Умный щенок, сообразительный. И мало-помалу он понял, что ничего нельзя трогать, можно только смотреть на вещи и людей. И вообще все нельзя, если не разрешит или не прикажет хозяин. Так слово «нельзя» стало главным законом жизни Бима. А глаза Ивана Иваныча, интонация, жесты, четкие слова-приказы и слова ласки были руководством в собачьей жизни. Более того, самостоятельные решения к какому-либо действию никоим образом не должны были противоречить желаниям хозяина. Зато Бим постепенно стал даже угадывать некоторые намерения друга. Вот, например, стоит он перед окном и смотрит, смотрит вдаль и думает, думает. Тогда Бим садится рядом и тоже смотрит и тоже думает. Человек не знает, о чем думает собака, а собака

всем видом своим говорит: «Сейчас мой добрый друг сядет за стол, обязательно сядет. Походит немного из угла в угол и сядет и будет водить по белому листу палочкой, а та будет чуть-чуть шептать. Это будет долго, потому посижу-ка и я с ним рядом». Затем ткнется носом в теплую ладонь. А хозяин скажет:

— Ну, что ж, Бимка, будем работать.— И, правда, садится.

А Бим калачиком ложится в ногах или, если сказано «На место», уйдет на свой лежак в угол и будет ждать. Будет ждать взгляда, слова, жеста. Впрочем, через некоторое время можно и сойти с места, заниматься круглой костью, разгрызть которую невозможно, но зубы точить — пожалуйста, только не мешай.

Но когда Иван Иваныч закроет лицо ладонями, облокотившись на стол, тогда Бим подходит к нему и кладет разноухую мордашку на колени. И стоит. Знает, погладит. Знает, другу что-то не так. А Иван Иваныч поблагодарит:

— Спасибо, милый, спасибо, Бимка.— И будет снова шептать палочкой по белой бумаге.

Так было дома.

Но не так было на лугу, где оба забывали обо всем. Здесь можно бегать, резвиться, гоняться за бабочками, барахтаться в траве — все было позволительно. Однако и здесь, после восьми месяцев жизни Бима, все пошло по командам хозяина: «Поди-поди!» — можешь играть, «Назад!» — очень понятно, «Лежать!» — абсолютно ясно, «Ап!» — перепрыгивай, «Ищи!» — разыскивай кусочки сыра, «Рядом!» — иди рядом, но только слева, «Ко мне!»— быстро к хозяину —будет кусочек сахара. И много других слов узнал Бим до года. Друзья все больше и больше понимали друг друга, любили и жили на равных— человек и собака.

Но случилось однажды такое, что у Бима жизнь изменилась, и он повзрослел за несколько дней. Произошло это только потому, что Бим вдруг открыл у хозяина большой, поразительный недостаток.

Дело было так. Тщательно и старательно шел Бим по лугу челноком, разыскивая разбросанный сыр, и вдруг среди разных запахов трав, цветов, самой земли и реки ворвалась струя воздуха, необычная и волнующая: пахло какой-то птицей, вовсе не похожей на тех, что знал

Бим,— воробьев там разных, веселых синиц, трясогузок и всякой мелочи, догнать какую нечего и пытаться (пробовали). Пахло чем-то неизвестным, что будоражило кровь. Бим приостановился и оглянулся на Ивана Иваныча. А тот повернул в сторону, ничего не заметив. Бим был удивлен: друг-то не чует. Да ведь он же калека! И тогда Бим принял решение с а м: тихо переступая в потяжке, стал приближаться к неведомому, уже не глядя на Ивана Иваныча. Шажки становились все реже и реже, он как бы выбирал точку для каждой лапы, чтобы не зашуршать, не зацепить будылинку. Наконец запах оказался таким сильным, что дальше идти уже невозможно. И Бим, так и не опустив на землю правую переднюю лапу, замер на месте, застыл, будто окаменел. Это была статуя собаки, будто созданная искусным скульптором. Вот она, первая стойка! Первое пробуждение охотничьей страсти до полного забвения самого себя.

О нет, хозяин тихо подходит, гладит чуть-чуть вздрагивающего в трепете Бима:

— Хорошо, хорошо, мальчик. Хорошо.— И берет за ошейник.— Вперед... Вперед...

А Бим не может — нет сил.

— Вперед... Вперед...— тянет его Иван Иваныч.

И Бим пошел! Тихо-тихо. Остается совсем чуть — кажется, неведомое рядом. Но вдруг приказ резко:

— Вперед!!!

Бим бросился. Шумно выпорхнул перепел. Бим рванулся за ним и-и-и... погнал, страстно, изо всех сил.

— Наза-ад! — крикнул хозяин.

Но Бим ничего не слышал, ушей будто и не было.

— Наза-ад! — И свисток.— Наза-ад! — И свисток.

Бим мчался до тех пор, пока не потерял из виду перепела, а затем, веселый и радостный, вернулся. Но что же это значит? Хозяин сумрачен, смотрит строго, не ласкает. Все было ясно: ничего не чует его друг! Несчастный друг... Бим как-то осторожненько лизнул руку, выражая этим трогательную жалость к выдающейся наследственной неполноценности самого близкого ему существа.

Хозяин сказал:

— Да ты вовсе не о том, дурачок.— И веселее: — А ну-ка, начнем, Бим, по-настоящему.— Он снял ошей-

ник, надел другой (неудобный) и пристегнул к нему длинный ремень.— Ищи!

Теперь Бим разыскивал з а п а х перепела — больше ничего. А Иван Иваныч направлял его туда, куда переместилась птица. Биму было невдомек, что его друг видел, где приблизительно сел перепел после позорной погони (чуять, конечно, не чуял, а видеть — видел).

И вот тот же запах! Бим, не замечая ремня, сужает челнок, тянет, тянет, поднял голову и тянет верхом... Снова стойка! На фоне заката солнца он поразителен в своей необычной красоте, понять которую дано не многим. Дрожа от волнения, Иван Иваныч взял конец ремня, крепко завернул на руку и тихо приказал:

— Вперед... Вперед...

Бим пошел на подводку. И еще раз приостановился.

— Вперед!!!

Бим так же бросился, как и в первый раз. Перепел теперь вспорхнул с жестким стрекотом крыльев. Бим опять ринулся было безрассудно догонять птицу, но... рывок ремня заставил его отскочить назад.

— Назад!!! — крикнул хозяин.— Нельзя!!!

Бим, опрокинувшись, упал.

Он не понял — за что так. И тянул ремень вновь в сторону перепела.

— Лежать!

Бим лег.

И еще раз все повторилось, уже по новому перепелу. Но теперь Бим почувствовал рывок ремня раньше, чем тогда, а по приказу лег и дрожал от волнения, страсти и в то же время от уныния и печали: все это было в его облике от носа до хвоста. Ведь так больно! И не только от жестокого, противного ремня, а еще и от колючек внутри ошейника.

— Вот так-то, Бимка. Ничего не поделаешь — так надо.— Иван Иваныч, лаская, поглаживал Бима.

С этого дня и началась настоящая охотничья собака. С этого же дня Бим понял, что только он, только он один может узнать, где птица, и что хозяин-то беспомощен, а нос у него пристроен только для виду. Началась настоящая служба, в основе ее лежали три слова: нельзя, назад, хорошо.

А потом — эх! — потом ружье! Выстрел. Перепел падал, как ошпаренный кипятком.

И догонять его, оказывается, вовсе не надо, его только найти, поднять на крыло и лечь, а остальное сделает друг.

Игра на равных: хозяин без чутья, собака без ружья.

Так теплая дружба и преданность становились счастьем, потому что каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше того, что он может дать. В этом основа, соль дружбы.

К двум годам Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивой и честной. Он знал уже около ста слов, относящихся к охоте и дому: скажи Иван Иваныч «Подай» — будет сделано; скажи он «Подай тапки» — подаст, «Неси миску» — принесет, «На стул!» — сядет на стул. Да что там! По глазам уже понимал: хорошо смотрит хозяин на человека, и Биму он — знакомый с той же минуты; недружелюбно глянет — и Бим иной раз даже и взрычит; даже лесть (ласковую лесть) он улавливал в голосе чужого. Но никогда и никого Бим не укусил — хоть на хвост наступи. Лаем предупредить ночью, что к костру подходит чужой, пожалуйста, но укусить — ни в коем случае. Такая уж интеллигентная порода.

Что до интеллигентности, то Бим даже умел так: научился сам, дошел своим умом, царапаться в дверь, чтобы открыли. Бывало, заболеет Иван Иваныч и не идет с ним гулять, а выпускает одного. Бим побегает малость, управится как и полагается и спешит домой. Поцарапает в дверь, став на задние лапы, чуть поскулит просяще, и дверь открывается. Хозяин, тяжело шлепая по прихожей, встречает, ласкает и снова ложится в постель. Это когда он, пожилой человек, прихварывал (кстати, побаливал он все чаще, чего Бим не мог не заметить).

Бим твердо усвоил: поцарапай в дверь, тебе откроют обязательно; двери и существуют для того, чтобы каждый мог войти: попросись — тебя впустят. С собачьей точки зрения, это было уже твердое убеждение.

Только не знал Бим, не знал и не мог знать, сколько потом будет разочарований и бед от такой наивной

доверчивости, не знал и не мог знать, что есть двери, которые не открываются, сколько в них ни царапайся.

Как оно там будет дальше, неизвестно, но пока остается сказать одно: Бим, пес с выдающимся чутьем, так-таки и остался сомнительным — свидетельство о родословной не выдали. Дважды Иван Иваныч выводил его на выставку: снимали с ринга без оценки. Значит — изгой.

И все же Бим — не наследственная бездарь, а замечательная, настоящая собака: он начал работать по птице с восьми месяцев. Да еще как! Хочется верить, что перед ним открывается хорошее будущее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЕСЕННИЙ ЛЕС

На втором сезоне, то есть на третьем году от рождения Бима, Иван Иваныч познакомил его и с лесом. Это было очень интересно и собаке, и хозяину.

В лугах и на поле, там все ясно: простор, трава, хлеба, хозяина всегда видно, ходи челноком в широком поиске, ищи, найди, делай стойку и жди приказа. Прелесть! А тут, в лесу, совсем-совсем иное дело.

Была ранняя весна.

Когда они пришли впервые, вечерняя заря только начиналась, а меж деревьями уже сумерки, хотя листья еще и не появились. Все внизу в темных тонах: стволы, прошлогодние темно-коричневые листья, коричнево-серые сухие стебли трав, даже плоды шиповника, густо-рубиновые осенью, теперь, выдержав зиму, казались кофейными зернами.

Ветви слегка шумели от легкого ветра, жидко и голо; они будто ощупывали друг друга, то притрагиваясь концами, то чуть прикасаясь серединой сучьев: жив ли? Верхушки стволов легонько покачивались — деревья казались живыми даже и безлистые. Все было таинственно-шуршащим и густо-пахучим: и деревья, и листва под ногами, мягкая, с весенним запахом лесной земли, и шаги Ивана Иваныча, осторожные и тихие. Его ботинки тоже шуршали, а следы пахли куда сильнее, чем в поле. За

каждым деревом что-то незнакомое, таинственное. Поэтому-то Бим и не отходил от Ивана Иваныча дальше двадцати шагов: пробежит вперед — влево, вправо — и катит назад и смотрит в лицо, спрашивая: «Мы зачем сюда попали?»

— Не поймешь, что к чему? — догадался Иван Иваныч.— Поймешь, Бимка, поймешь. Подожди малость.

Так и шли, присматривая друг за другом.

Но вот они остановились на широкой поляне, на пересечении двух просек: дороги на все четыре стороны. Иван Иваныч стал за куст орешника, лицом к заре, и смотрел вверх. Бим тоже поглядывал туда, изо всех сил стараясь сообразить, что же там надо высматривать.

Вверху было светло, а здесь, внизу, становилось все темнее и темнее. Кто-то прошуршал по лесу и притих. Еще прошуршал и опять притих. Бим прижался к ноге Ивана Иваныча — так он спрашивал: «Что там? Кто там? Может, пойдем посмотрим?»

— Заяц,— еле слышно сказал хозяин.— Все хорошо, Бим. Хорошо. Заяц. Пусть его бегает.

Ну, раз «хорошо», значит, все в порядке. «Заяц» — тоже понятно: не раз, когда Бим натыкался на след зверька, ему повторяли это слово. А однажды видел и самого зайца, пытался его догнать, но заработал строгое предупреждение и был наказан. Нельзя!

Итак, недалеко прошуршал заяц. А дальше что?

Вдруг вверху кто-то, невидимый и неведомый, захоркал: «Хор-хор!.. Хор-хор!.. Хор-хор!..» Бим услышал это первым и вздрогнул. Хозяин тоже. Оба смотрели вверх, только вверх... Неожиданно, на фоне багряно-синеватой зари, вдоль просеки показалась птица. Она летела прямо на них, изредка выкрикивала так, будто это не птица, а зверек, летит и хоркает. Но то была все-таки птица. Она казалась большой, крылья же совершенно были бесшумны (не то что перепел, куропатка или утка). Одним словом, незнакомое летело вверху. Иван Иваныч вскинул ружье. Бим, как по команде, лег, не спуская взора с птицы... В лесу выстрел был таким резким и сильным, какого раньше Бим не слышал никогда. Эхо прокатилось по лесу и замерло далеко-далеко.

Птица упала в кусты, но друзья быстренько ее отыскали. Иван Иваныч положил ее перед Бимом и сказал:

— Знакомься, брат: в а л ь д ш н е п.— И еще раз повторил: — Вальдшнеп.

Бим обнюхивал, трогал лапой за длинный нос, потом сел, подрагивая и перебирая передними лапами в удивлении. Конечно же, он этим и говорил про себя: «Таких носов еще не вида-ал. Вот это действительно но-ос!»

А лес слегка шумел, но все тише и тише. Потом и совсем затих как-то сразу, будто кто-то невидимый легонько взмахнул могучим крылом над деревьями в последний раз: хватит шороху. Ветви стали недвижны, деревья, казалось, засыпали, изредка вздрагивая в полутьме.

Пролетели еще три вальдшнепа, но Иван Иваныч не стрелял. Хотя последнего они уже и не видели в темноте, а только слышали голос, но Бим был удивлен: почему друг не стрелял даже и в тех, каких хорошо видно? От этого Бим волновался. А Иван Иваныч или просто смотрел вверх, или, потупившись, слушал тишину. Оба молчали.

Вот уж когда не надо никаких слов — ни человеку, ни тем более собаке! Только напоследок, перед уходом, Иван Иваныч проговорил:

— Хорошо, Бим! Жизнь начинается вновь. Весна.

По интонации Бим понял, что другу сейчас приятно. И он ткнул его носом в колено, повиливая хвостом: хорошо, дескать, о чем речь!

...Второй раз они приходили сюда же поздним утром, но уже без ружья.

Ароматные набухшие почки березы, могучие запахи кореньев, тончайшие струйки от пробивающихся ростков трав — все это было поразительно ново и восхитительно.

Солнце пронизывало в лесу все насквозь, кроме сосняка, да и тот кое-где изрезан золотом лучей. И было тихо. Главное — было тихо. До чего же хороша весенняя утренняя тишина в лесу!

На этот раз Бим стал смелее: все отлично просматривается (не то что тогда в сумерках). И он носился по лесу вволю, не упуская, однако, из виду хозяина. Все было великолепно.

Наконец Бим наткнулся на ниточку запаха вальдшне-

па. И потянул. И сделал классическую стойку. Иван Иваныч послал «Вперед», а стрелять-то ему и нечем. Да еще приказал лежать, как полагается при взлете птицы. Абсолютно непонятно: видит хозяин или нет? Бим искоса поглядывал на него до тех пор, пока не убедился — видит.

По второму вальдшнепу все получилось так же. Что-то похожее на обиду Бим теперь все-таки выражал: настороженный взгляд, побежка сторонкой, даже попытки к неповиновению — одним словом, недовольство назревало и искало выхода. Именно поэтому-то Бим и погнался за взлетевшим, третьим уже, вальдшнепом, как обыкновенная дворняга. Но за вальдшнепом далеко не поскачешь: мелькнул в ветвях, и нет его. Бим вернулся недовольный, да к тому же еще был наказан. Что же, он лег в сторонке и глубоко вздохнул (собаки здорово умеют так делать).

Все это еще можно бы перенести, если бы не добавилась вторая обида. Бим на этот раз открыл новый недостаток у хозяина — извращенное чутье: и без того бесчутый, да еще... А дело было так.

Остановился Иван Иваныч и смотрит, смотрит по сторонам, и нюхает (туда же!). Потом шагнул к дереву, присел и тихонечко, одним пальцем, погладил цветок, малюсенький такой (для Ивана Иваныча он почти без запаха, а для Бима вонючий до невозможности). И что ему — в том цветке? Но хозяин сидел, улыбался. Бим, конечно, сделал вид, что ему тоже вроде бы хорошо, но это только исключительно из уважения к личности, а на самом деле он был немало удивлен.

— Ты посмотри, посмотри-ка, Бим! — воскликнул Иван Иваныч и наклонил нос собаки к цветку.

Такого Бим уже не мог вынести — он отвернулся. Затем незамедлительно отошел и лег на полянке, всем видом выражая одно: «Ну и нюхай свой цветок!» Расхождения требовали срочного выяснения отношений, но хозяин смеялся в глаза Биму счастливым смехом. И это было обидно. «Тоже мне, хохочет!»

А тот опять к цветку:

— Здравствуй, первенький!

Бим понял точно: «здравствуй» сказано не ему.

Ревность закралась в собачью душу, если можно так выразиться, вот что случилось. Хотя дома отношения как

будто и наладились, но день для Бима получился неудачный: была дичь — не стреляли, побежал сам за птицей — наказали, да еще — цветок тот. Нет, все-таки и у собаки жизнь бывает собачья, ибо она живет под гипнозом трех «китов»: «Нельзя», «Назад», «Хорошо».

Только не ведали они, ни Бим, ни Иван Иваныч, что когда-то этот день, если бы они вспомнили, показался бы им огромным счастьем.

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

В уставшем от зимней тягости лесу, когда еще не распустились проснувшиеся почки, когда горестные пни зимней порубки еще не дали поросль, но уже плачут, когда мертвые бурые листья лежат пластом, когда голые ветви еще не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг друга,— неожиданно донесся запах подснежника! Еле-еле заметный, но это — запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно-радостный, хотя почти и неощутим. Смотрю вокруг — оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля голубого неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья, кому оно положено и доступно. Но для каждого,— и счастливого, и несчастного,— он сейчас — украшение жизни.

Вот так и среди нас, человеков: есть скромные люди с чистым сердцем, «незаметные» и «маленькие», но с огромной душой. Они-то и украшают жизнь, вмещая в себе все лучшее, что есть в человечестве,— доброту, простоту, доверие. Так и подснежник кажется капелькой неба на земле...

А через несколько дней (вчера) мы были с Бимом на том же месте. Небо окропило лес уже тысячами голубых капель. Ищу, высматриваю: где же он, тот самый первый, самый смелый? Кажется, вот он. Он или не он? Не знаю. Их так много, что того уже не заметить, не найти — затерялся среди идущих за ним, смешался с ними. А ведь он такой маленький, но героический, такой тихий, но до того напористый, что, кажется, именно его испугались последние заморозки, сдались, выбросив ранней зарей белый флаг последнего инея на опушке.

Жизнь идет.

...А Биму ничего из этого недоступно понять. Даже

обиделся в первый раз, заревновал. Впрочем, когда было уже много цветов, он и тогда не обращал на них внимания. При натаске же вел себя — не ахти: расстроился без ружья. Мы с ним на разных ступенях развития, но очень и очень близки. Природа творит по устойчивому закону: необходимость одного в другом; начиная с простейших и кончая высокоразвитой жизнью, везде — этот закон...

Разве смог бы я вынести столь жуткое одиночество, если бы не было Бима?

...Как о н а была мне необходима! О н а тоже любила подснежники. Прошлое как сон...

А не сон ли — настоящее? Не сон ли это — вчерашний весенний лес с голубизной на земле? Что ж: голубые сны — божественно-целительное лекарство, пусть и временное. Конечно, временное. Ибо если бы даже и писатели проповедовали только голубые сны, уходя от серого цвета, то человечество перестало бы беспокоиться о будущем, приняв настоящее как вечное и в будущем. Удел обреченности во времени и состоит в том, что настоящее должно стать только прошлым. Не во власти человека приказать: «Солнце, остановись!» Время неостановимо, неудержимо и неумолимо. Все — во времени и движении. А тот, кто ищет только устойчивого голубого покоя, тот весь уже в прошлом, будь он молодым радетелем о себе или престарелым — возраст не имеет значения. Голубое имеет свой звук, оно звучит как покой, забвение, но только временное, всего лишь для отдыха; такие минуты никогда не надо пропускать.

Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так:

«О беспокойный Человек! Слава тебе вовеки, думающему, страдающему ради будущего! Если тебе захочется отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон действительности. Иди скорее: через несколько дней подснежников может и не быть, а ты не сумеешь запомнить волшебство видения, подаренного природой. Иди, отдохни. Подснежники — к счастью, говорят в народе».

...А Бим дрыхнет. И видит сон: подрыгивает ногами — бежит во сне. Этому подснежники «до лампочки»: голубое он видит только серым (так уж устроено зрение у собаки). Природа создала как бы очернителя действи-

тельности. Поди убеди его, милого друга, чтобы он видел с точки зрения человека. Хоть голову отруби, а видеть будет по-своему. Вполне самостоятельный пес.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕРВЫЙ НЕПРИЯТЕЛЬ БИМА

Прошло лето, веселое для Бима, радостное, заполненное дружбой с Иваном Иванычем. Походы в луга и болота (без ружья), солнечные дни, купание, тихие вечера на берегу реки — что еще надо любой собаке? Ничего не надо — это точно.

При тренировке и натаске они встречались и с охотниками. С этими знакомство происходило незамедлительно, потому что с каждым таким человеком была собака. Еще до того, как сходились хозяева, обе собаки бежали друг к другу и коротко беседовали на собачьем языке жестов и взглядов:

«Ты кто: он или она?» — спрашивал Бим, обнюхивая соответствующие места (конечно, для проформы).

«Сам видишь, чего и спрашивать»,— отвечала она.

«Как жизнь?» — весело спрашивал Бим.

«Работаем!» — взвизгнув, отвечала собеседница, кокетливо подпрыгнув на всех четырех ногах.

После этого они мчались к хозяевам и то одному, то другому докладывали о знакомстве. Когда же оба охотника усаживались для разговоров в тени куста или дерева, собаки резвились до того, что язык не умещался во рту. Тогда они ложились около хозяев и слушали тихую задушевную беседу.

Другие люди, кроме охотников, для Бима были малоинтересны: люди и все. Они хорошие. Но не охотники же!

А вот собаки, эти — разные.

Однажды в лугу встретился он с лохматенькой собачкой, вдвое меньше его, черненькая такая. Поздоровались сдержанно, без кокетства. Да и какое уж там кокетство, если новая знакомая на обычный для таких случаев перечень вопросов отвечала, лениво взмахивая хвостом:

«Я есть хочу».

У нее пахло изо рта мышонком. И Бим спросил удивленно, обнюхивая ее губы:

«Ты съела мышь?»

«Съела мышь,— ответила та.— Я есть хочу». И принялась грызть белый узловатый корень камыша.

Бим хотел попробовать камышовый корешок, но она, протестуя, сказала все то же:

«Я есть хочу».

Бим подождал сидя, пока она догрызла все, и пригласил ее с собой. Та пошла беспрекословно, притрухивая за ним, взлохмаченная, но чистая (видимо, любила купаться, как и большинство собак, отчего летом они и не бывают грязными, даже бездомные). Бим привел ее к хозяину, издали следившему за знакомством своего друга. Но Лохматка не поверила сразу в чужого человека, а села поодаль, несмотря на то что Бим перебегал от хозяина к ней и обратно, зовя ее, убеждая. Иван Иваныч снял рюкзак, достал оттуда колбаску, отрезал маленький кусочек и бросил Лохматке:

— Ко мне, ко мне, Лохматка. Ко мне.

Кусочек упал метрах в трех от нее. Она, осторожно переступая, дотянулась, съела его и села тут же. Со следующим кусочком приблизилась еще. А потом ела уже у ног человека, даже позволила погладить себя, хотя и с опаской. Бим и Иван Иваныч отдали ей все колечко колбаски: хозяин бросал куски, а Бим не мешал Лохматке есть. Все обыкновенно: брось кусочек — подойдет ближе, брось второй — еще ближе, с третьим, четвертым — уже у ног окажется и будет служить верой и правдой. Так думал Иван Иваныч. Он ощупал Лохматку, потрепал по холке и сказал:

— Нос холодный — здоровая. Это хорошо.— И дал команду обоим: — Поди, поди!

Лохматка не понимала таких слов, но когда увидела, как Бим взвился челноком по траве, то сообразила: надо бегать. И конечно, они взыграли по-собачьи так, что Бим забыл даже, зачем он тут находится. Иван Иваныч не возражал, а шел себе и шел, посвистывая.

До города Лохматка сопровождала без никаких, но на окраине неожиданно села сбоку дороги и — ни с места. Звали, приглашали — не идет. Так и осталась сидеть, провожая их взглядом. Ошибся Иван Иваныч — не каждую собаку можно купить на приманку.

Бим не знал и знать не мог, что у Лохматки тоже были хозяева, что жили они в своем маленьком домике, что улицу ту, где был домик, всю снесли, а хозяевам Лохматки дали квартиру на пятом этаже со всеми удобствами.

Одним словом, Лохматку бросили на произвол судьбы. Но она нашла-таки и тот новый дом, и дверь хозяина, а там ее побили и прогнали. Вот она и живет одна. По городу ходит только ночью, как и большинство бездомных собак. Иван Иваныч обо всем догадался, но Биму-то рассказать невозможно. Бим просто не хотел ее оставлять: оглядывался назад, приостанавливался и обращал взор к Ивану Иванычу. Но тот шел себе и шел.

Если бы он знал, как горькая судьба сведет Бима и Лохматку, если бы знал, когда и где они встретятся, не шел бы он теперь так спокойно. Но будущее неизвестно и человеку.

...Третье лето прошло. Хорошее для Бима лето, неплохое и для Ивана Иваныча. Однажды ночью хозяин закрыл окно и сказал:

— Морозец, Бимка, первый морозец.

Бим не понял. Он встал, ткнулся в темноте носом в колено Ивана Иваныча, чем и сказал: «Не понимаю».

Иван Иваныч знал собачий язык хорошо — язык глаз и движений. Он зажег свет и спросил:

— Не понимаешь, дурачок? — Затем разъяснил точно:— На вальдшнепов завтра. В а л ь д ш н е п!

О, это слово Бим знал! Он подпрыгнул и лизнул-таки друга в подбородок.

— На охоту завтра, н а о х о т у, Бим!

Куда там! Бим завертелся, заюлил волчком, хватая собственный хвост, взвизгнул, потом сел и впился глазами в лицо Ивана Иваныча, подрагивая очесами передних лап. Это обворожительное слово «охота» знакомо Биму, как сигнал к счастью. Но хозяин приказал:

— А пока — спать.— Выключил свет и лег.

Остаток ночи Бим пролежал у кровати друга. Какой уж тут сон! Он и сам, Иван Иваныч, то дремал, то просыпался в ожидании рассвета.

Утром они вместе собрали рюкзак, протерли от масла стволы ружья, легко позавтракали (на охоту идти —

нельзя нажираться), проверили патронташ, перекладывая патроны из гнезда в гнездо. Работы было много за этот короткий час сборов: хозяин на кухню — Бим на кухню, хозяин в чулан — Бим туда же, хозяин вынимает консервную банку из рюкзака (неудобно легла) — Бим берет ее и сует обратно, хозяин проверяет патроны — Бим следит (не ошибся бы); и в чехол с ружьем надо ткнуться носом не раз (тут ли?); а к тому же в такие долготные минуты чешется за ухом от волнения — то и дело поднимай лапу и чеши, будь оно неладно, когда и без того хлопотно до последней степени.

Ну, собрались. Бим был в восторге. Как же! Хозяин, уже в охотничьей куртке, перекинул на плечо охотничью сумку, снял ружье.

— На охоту, Бим! На охотку,— повторил он.

«На охотку, на охотку!» — говорил глазами и Бим в восхищении. Он даже чуть привизгивал от переполнившего чувства благодарности и любви к своему единственному в мире другу.

В тот момент и вошел человек. Бим его знал — встречал во дворе,— но считал малоинтересным и не заслуживающим какого-либо особого внимания с его стороны. Коротконогий, толстый, широколицый, он сказал чуть скрипучим баском:

— Привет, значит! — И сел на стул, вытирая лицо платком.— Та-ак... На охоту, значит?

— На охоту,— недовольно буркнул Иван Иваныч,— по вальдшнепам. Да вы проходите — гостем будете.

— Вот та-ак... на охоту... Придется повременить, значит.

Бим переводил взгляд с хозяина на Гостя, удивленно и внимательно. Иван Иваныч сказал почти сердито:

— Не понимаю вас. Уточните.

И тут Бим, наш ласковый Бим, сначала слегка взрычал и вдруг гавкнул. Сроду такого не было, чтобы вот так — дома и на гостя. Гость не испугался, он, казалось, был равнодушен.

— На место! — так же сердито приказал Иван Иваныч.

Бим повиновался: лег на лежак, положив голову на лапы, и смотрел в сторону чужого.

— Ишь ты! Слушается, значит. Та-ак... Значит, он и жильцов в подъезде облаивает так же, как, допустим, лисиц?

— Никогда. Никогда и никого. Это впервые. Честное слово! — тревожился Иван Иваныч и сердился.— Кстати, к лисицам он никакого отношения не имеет.

— Та-ак,— снова протянул Гость.— К делу давайте.

Иван Иваныч снял куртку и сумку:

— Я вас слушаю.

— У вас, значит, собака,— начал Гость.— А у меня,— он вынул бумагу из кармана,— жалоба на нее. Вот.— И подал бумагу хозяину.

Читая, Иван Иваныч волновался. Бим, заметив это, самовольно сошел с места и сел в ногах друга, как бы защищая его, но на Гостя уже не смотрел, хотя и был настороже.

— Глупости здесь,— сказал Иван Иваныч уже спокойнее.— Чепуха. Бим — собака ласковая, никого он не укусил и не укусит, никого не обидит. Собака интеллигентная.

— Хе-хе-хе! — потряс животом Гость. И чихнул некстати.— У-у, быдло! — обратился он беззлобно к Биму.

Бим отвернулся в сторону еще больше, но понял, что разговор идет о нем. И вздохнул.

— Как же это вы так рассматриваете жалобы? — спросил Иван Иваныч, теперь уже совсем спокойно и улыбаясь.— На кого жалоба, тому и даете ее читать. Я бы вам и так поверил, по пересказу.

Бим заметил в глазах Гостя смешинку. А тот проговорил:

— Во-первых, так положено. Во-вторых, жалоба не на вас, а на собаку. А собаке мы не дадим читать.— И рассмеялся.

Хозяин тоже посмеялся малость. Бим даже и не улыбнулся: он знал, что речь о нем, а что к чему, не мог взять в толк — очень уж непонятный Гость оказался. Тот ткнул пальцем в сторону Бима и сказал:

— Собаку надо увольнять.— И отмахнул рукой к двери.

Бим понял, что от него требуют точно: уходи. Но от хозяина он не отступил ни на сантиметр.

— А вы позовите жалобщицу — поговорим, уладим, может быть,— попросил Иван Иваныч.

Гость, сверх ожидания, вышел и вскоре же вернулся с женщиной:

— Вот, привел тебе тетку, значит.

Бим ее тоже знал: небольшого роста, визгливенькая и жирная, она, однако, днями сидела на скамейке во дворе с другими свободными женщинами. Однажды Бим даже лизнул ей руку (не от избытка чувств только к ней лично, а к человечеству вообще), отчего та взвизгнула и стала кричать что-то на весь двор, обращаясь к открытым окнам. Что уж она там кричала, Бим не понял, но испугался, бросился прочь и зацарапал в дверь домой. Больше вины за ним перед Теткой не было. И вот она вошла. Что с ним сделалось! Он сначала прижался к ногам хозяина, а когда тот погладил его, то, поджав хвост, ушел на лежак и смотрел на нее исподлобья. Он ничего не понимал из слов Тетки, а она стрекотала сорокой и все время показывала свою руку. Но по этим жестам, по сердитым ее взглядам Бим понял: это за то, что лизнул не тому, кому надо. Молод, молод был Бим, почему и не все еще соображал. Может быть, он думал и так: «Виноват, конечно, но что поделаешь теперь». По крайней мере, что-то подобное в его глазах было.

Только невдомек Биму, что обвиняли его ложно.

— Укусить хотел! Укуси-ить!!! Почти укуси-ил!

Иван Иваныч, перебив стрекот Тетки, обратился прямо к Биму:

— Бим! А принеси-ка мне тапки.

Бим исполнил охотно и лег перед хозяином. Тот снял охотничьи ботинки и сунул ноги в тапки.

— Теперь отнеси ботинки.

Бим и это проделал: поочередно отнес их под вешалку.

Тетка замолчала, вытаращив очи. Гость сказал похвально:

— Молоде-ец! Ты смотри, умеет, значит.— И как-то вроде бы недружелюбно посмотрел на Тетку.— А еще он умеет чего-нибудь?

— Вы садитесь, садитесь,— попросил Иван Иваныч и Тетку.

Она села, спрятав руки под фартук. Хозяин поставил стул Биму и скомандовал:

— Бим! На стул!

Биму повторять не требуется. Теперь все сидели на стульях. Тетка прикусила губу. Гость, удовлетворенно покачивая ногой, приговаривал:

— Ладно получается, ладно, ладно.

Хозяин же хитренько прищурил глаза в сторону Бима.

— А ну дай лапу.— И протянул ладонь.

Поздоровались.

— Теперь, дурачок, поздоровайся с гостем,— и указал на того пальцем.

Гость протянул руку:

— Здравствуй, братка, здравствуй, значит.

Бим все сделал элегантно, как и полагается.

— А не укусит? — осторожно спросила Тетка.

— Что вы! — изумился Иван Иваныч.— Протяните руку и скажите: «Лапку!»

Та действительно выволокла ладонь из-под фартука и протянула Биму:

— Только не укуси,— предупредила она.

Ну, тут уж описать невозможно, что произошло. Бим шарахнулся на лежак, занял немедленно оборонительную позицию, прижавшись задом в угол, и в упор смотрел на хозяина. Иван Иваныч подошел к нему, погладил, взял за ошейник и подвел к жалобщице:

— Дай лапку, дай...

Нет, не подал лапу Бим. Отвернулся и смотрел в пол. Впервые ослушался. И угрюмо поплелся опять в угол, медленно, виновато и удрученно.

Ой, что тут сотворилось! Тетка задребезжала рассохшейся трещоткой.

— Ты ж меня оскорбил! — кричала она на Ивана Иваныча.— Какая-то паршивая собака меня, советскую женщину, ни во что не ставит! — И тыкала пальцем в сторону Бима.— Да я... да я... Подожди-и!

— Хватит! — неожиданно рявкнул на нее Гость.— Брешешь ты, значит. Не укусила она тебя и не собиралась. Она же тебя боится, как черт ладана.

— А ты не ори,— попробовала она отбиться.

Тогда Гость сказал однозначно:

— Цыть! — И обратился к хозяину: — С такими иначе нельзя.— И снова к Тетке: — Ишь ты! «Советская женщина», тоже мне... Иди отсюда! — рыкнул он.— Еще намутишь раз, опозорю. Иди! — Жалобу он порвал у нее на глазах.

Последнюю речь Гостя Бим понял отлично. А Тетка ушла молча, гордо вскинув голову и ни на кого не глядя, хотя Бим теперь не спускал с нее глаз и даже продолжал

смотреть на дверь после того, как она ушла, а шаги ее затихли.

— Очень уж вы с ней... грубовато,— сказал Иван Иваныч.

— Иначе нельзя, говорю вам: весь двор перемутит, знаю. Раз говорю, значит, знаю. Вот они где мне, эти сплетницы да смутьяны,— он похлопал себя по загривку.— Делать-то ей нечего, вот она и норовит, кого бы ей укусить. Таких распусти — весь дом пойдет чертокопытом.

Бим все время следил за выражением лиц, за жестами, интонацией и понял отлично: Гость и хозяин — вовсе никакие не враги, а даже, по всей видимости, уважают друг друга.

Наблюдал он еще долго, пока они о чем-то потом беседовали. Но раз уж он установил главное, то остальное его интересовало мало. Он подошел к Гостю и улегся у его ног, как бы говоря этим: «Извиняюсь».

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

Сегодня был председатель домкома, разбирал жалобу на собаку. Победил Бим. Впрочем, гость мой судил как Соломон. Самородок!

Почему же Бим зарычал на него вначале? А, понял! Я ведь не подал руки, встретил вошедшего сурово (охоту же пришлось отложить), а Бим действовал согласно со своей собачьей натурой: недруг хозяина — мой недруг. И тут должно быть стыдно мне, но не Биму. Удивительно, какое у него тончайшее восприятие интонации, выражения лица, жестов! Это обязательно надо всегда иметь в виду.

После у нас состоялся интересный разговор с предомкома. Он окончательно перешел на «ты»:

— Ты,— говорит,— только подумай: сто пятьдесят квартир в моем доме! А четыре-пять смутьянок-бездельниц могут такое сотворить, что житья никому не будет. И все их знают, и все боятся, а потихоньку клянут. Ведь на дурного жильца даже унитаз урчит. Ей-бо!.. Самый мой страшный враг кто? Да тот, кто не работает. У нас, брат, можно и не работать, а есть от пуза. Тут что-то не так, скажу я тебе по душам. Не так, значит... Можно, можно не работать. Ишь ты! Вот ты, например, чего делаешь?

— Пишу,— отвечаю, хотя я и не понял, шутит он или говорит серьезно (люди с юмором частенько выдают такое).

— Да разве ж это работа! Сидишь — ничего не делаешь, а деньги небось платят?

— Платят,— отвечаю.— Но ведь я мало получаю — староват стал, на пенсию живу.

— А до пенсии — кем?

— Журналист я. В газетах работал. А теперь вот помаленьку пишу кое-что дома.

— Пишешь? — снисходительно переспросил он.

— Пишу.

— Ну, валяй, раз уж такое дело... Конечно, ты человек, видать, неплохой, а вот видишь... То-то и оно. Я тоже пенсию получаю, сто рублей, а работаю же преддомкома, бесплатно работаю, учти. Я привык работать, всю жизнь на руководящей, и из номенклатуры не вышибали, и по второму кругу не ходил. Под конец уж затерли: ниже, ниже и ниже. Последнее место — маленький заводик. Там и пенсию назначили. А персональную не дали — закавыка маленькая есть... Работать обязан каждый. Так я думаю.

— Но ведь у меня работа тоже трудная,— пытался я оправдаться.

— Писать-то? Глупости. Был бы ты молодой — взялся бы я и за тебя. Ну, раз пенсия... А так, если молодые, да не работают, выживаю из дома: иль трудись, иль катись куда подальше.

Он и правда гроза бездельников в доме. Кажется, главная цель его жизни теперь — пилить лодырей, сплетников и тунеядцев, но зато воспитывать — всех без исключения, что он и делает охотно. Доказать же ему, что писать — тоже работа, оказалось невозможным: тут он либо хитрил с подводным юморком, либо был просто снисходителен (пусть, дескать, пока пишет — есть бездельники и похлестче). Уходил он добрый, отбросив хитринку, погладил Бима и сказал:

— А ты живи, значит. Но с Теткой не связывайся.— И ко мне:— Ну, бывай. Пиши, видно, куда ж денешься.

Мы пожали друг другу руки. Бим проводил его до дверей, виляя хвостом и заглядывая в лицо. У Бима появился новый знакомый: Павел Титыч Рыдаев, в обыден-

ности: «Палтитыч». Зато у Бима завелся и неприятель: Тетка, единственный человек из всех людей, которому он не верит. Собака опознала клеветника.

Но охота сегодня пропала. Так бывает: ждет человек доброго дня, а выходят одни неприятности. Бывает.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЖЕЛТЫЙ ЛЕС

В один из следующих дней, рано утром, они вдвоем вышли из дому. Сначала ехали трамваем, стоя на площадке. Вагоновожатая оказалась знакомой Ивану Иванычу и Биму. Конечно же, Бим приветствовал ее, когда та выходила перевести стрелку. Вожатая потрепала его за ухо, но Бим руки не лизнул, а просто посеменил лапами сидя и отстучал хвостом соответственное случаю приветствие.

Потом, уже за городом, ехали в автобусе, в котором и было-то всего пять-шесть человек в такое раннее утро. При посадке водитель что-то заворчал, повторяя слово «собака» и «не положено». Бим легко во всем разобрался: шофер не желает их везти, и это плохо,— по лицам разобрался. Один из пассажиров вступился за них, второй, наоборот, поддержал шофера. Бим с большим интересом наблюдал за перепалкой. Наконец шофер вышел из автобуса. У порога хозяин дал ему желтенькую бумажку, поднялся по ступенькам вместе с Бимом, сел на сиденье и печально вздохнул: «Эх-хе-хе!»

Бим давно заметил, что люди обмениваются какими-то бумажками, пахнущими не разберешь чем. Однажды он почуял, что одна из лежащих на столе пахнет кровью, потыкал в нее носом, стараясь обратить внимание хозяина, но тот и ухом не повел — бесчутый! — а твердит свое «Нельзя». Да еще и запер бумажки в стол. Иные, правда,— пока чистые — пахнут хлебом, колбасой, вообще магазином, но большинство — множеством рук. Люди их любят, эти бумажки, прячут в карман или в стол, как хозяин. Хотя в этих делах Бим ничего не понимал, однако же легко сообразил: как только хозяин дал шоферу бумажку, они стали друзьями. А почему вздохнул Иван Иваныч, Бим не понял, что было видно по его внимательному взгляду в глаза друга. В общем, о магической силе

бумажек он даже и смутно не догадывался — недоступно это собачьему уму; не знал, что для него они сослужат когда-то роковую службу.

От шоссе до леса шли пешком.

Иван Иваныч остановился на опушке отдохнуть, а Бим поблизости обследовал местность. Такого леса он еще не видел никогда. Лес-то, собственно, тот же — они здесь бывали весной, приходили и летом (так, пошататься), но теперь здесь все-все вокруг было желтое и багряное, казалось, все горело и светило вместе с солнцем.

Деревья только-только начали сбрасывать одеяние, и листья падали, покачиваясь в воздухе, бесшумно и плавно. Было прохладно и легко, а потому и весело. Осенний запах леса — особенный, неповторимый, стойкий и чистый настолько, что за десятки метров Бим чуял хозяина. Лесную мышь он «прихватил» далеко, но не пошел за ней (знакомый пустяк!), а вот что-то живое так ударило издали в нос, что Бим приостановился. А подойдя вплотную, облаял колючий шар.

Иван Иваныч встал с пенечка и подошел к Биму:

— Нельзя, Бим! Нельзя, дурачок. Ежик называется. Назад! — И увел Бима с собой.

Выходит, ежик — зверюшка, и притом хорошая, а трогать его нельзя.

Теперь Иван Иваныч опять же сел на пенек, приказал Биму тоже сидеть, а сам снял кепку, положил ее рядом на землю и смотрел на листья. И слушал тишину леса. Ну конечно же, он улыбался! Он был сейчас таким, как всегда перед началом охоты.

Бим тоже слушал.

Прилетела сорока, прострекотала нахально и улетела. Перепрыгивая с ветки на ветку, приблизилась сойка, прокричала с кошачьим надрывом и тоже упрыгала так же, по веткам. А вот королек-малютка, этот совсем-совсем рядом: «Свить, свить! Свить, свить!» Ну что ты с ним будешь делать! И размером-то с жука, а туда же: «Свить, свить!» Вроде бы приветствует.

Все остальное было тишиной.

И вот хозяин встал, расчехлил ружье, вложил патроны. Бим задрожал от волнения. Иван Иваныч потрепал его ласково по загривку, отчего Бим еще больше разволновался.

— Ну, мальчик... ищи!

Бим пошел! Малым челноком пошел, лавируя между деревьями, приземисто, пружинисто и почти бесшумно. Иван Иваныч потихоньку двинулся за ним, любуясь работой друга. Теперь лес со всеми красотами остался на втором плане: главное — Бим, изящный, страстный, легкий на ходу. Изредка подзывая его к себе, Иван Иваныч приказывал ему лежать, чтобы дать успокоиться, втянуться. А вскоре Бим уже пошел ровно, со знанием дела. Великое искусство — работа сеттера! Вот он идет легким галопом, подняв голову, ему не надо опускать ее и искать низом, он берет запахи верхом, при этом шелковистая шерсть облегает его точеную шею; оттого он так и красив, что держит голову высоко, с достоинством, уверенностью и страстью.

Такие часы для Ивана Иваныча были часами забвения. Он забывал войну, забывал невзгоды прошедшей жизни и свое одиночество. Даже сын Коля, его кровное дитя, отнятое жестокой войной, будто присутствовал с ним, будто он, отец, доставлял ему радость даже мертвому. Он ведь тоже был охотником! Мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил, мертвые только не стареют, оставаясь в сердце живых такими, какими они ушли. Так и у Ивана Иваныча: рана зарубцевалась в душе, но болит всегда. На охоте же всякая боль души становится хоть немного, но легче. Благо тому, кто родился охотником!

И вот Бим замедлил ход, сужая челнок, чуть приостановился на секунду и пошел редким, крадущимся шагом. Что-то от кошачьего было в его движениях, мягких, осторожных, плавных. Теперь он уже вытянул голову вровень с туловищем. Каждой частицей тела, включая и вытянутый хвост, оперенный длинной шерстью, он был сосредоточен на струе запаха. Шаг... И поднимается только одна лапа. Шаг — и следующая лапа так же на долю секунды замирает в воздухе и неслышно опускается. Наконец передняя правая, как почти всегда, замерла, не коснувшись земли.

Позади, взяв ружье на изготовку, тихо подошел Иван Иваныч. Теперь две статуи: человек и собака.

Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы, купаясь в блестках солнца. Притихли молодые дубки рядом с величавым исполином дубом, отцом и прародителем. Бесшумно трепетали оставшиеся на осине

серебряно-серенькие листья. А на палой желтой листве стояла собака — одно из лучших творений природы и терпеливого человека. Ни единый мускул не дрогнет! В такие минуты Бим кажется полумертвым, это похоже на транс от восхищения и страсти. Вот что такое классическая стойка в желтом лесу.

— Вперед, мальчик...

Бим поднял вальдшнепа на крыло.

Выстрел!

Лес встрепенулся, ответив недовольным, обиженным эхом. Казалось, береза, забравшаяся на границу дубняка и осинника, испугалась, вздрогнула. Дубы охнули как богатыри. Осина, что рядом, торопливо посыпала листьями.

Вальдшнеп упал комом. Бим подал его по всем правилам. Но хозяин, приласкав Бима и поблагодарив за красивую работу, подержал птицу на ладони, посмотрел на нее и сказал задумчиво:

— Эх, не надо бы...

Бим не понял, вглядывался в лицо Ивана Иваныча, а тот продолжал:

— Для тебя только, Бим, для тебя, глупыш. А так — не стоит.

И опять Бим не понял — недоступно ему такое понять. Но за всю охоту стрелок, как казалось Биму, «мазал», как слепой. Очень недоволен был пес, когда хозяин и вовсе не выстрелил в одного из вальдшнепов. Зато самого последнего он свалил чисто.

Домой они возвратились уже затемно, усталые и оба добрые, ласковые друг к другу. Бим, например, не пожелал ночевать на своем лежаке, а стащил оттуда подстилку, приволок ее к кровати Ивана Иваныча и улегся рядом с ним, на полу. В этом был смысл: его нельзя прогнать на место, потому что «место» он принес с собой. Иван Иваныч потрогал его за ухо, потрепал по холке. Дружба, казалось, будет вечной.

Ночью же Иван Иваныч почему-то стонал тихонько, вставал, глотал таблетки и снова ложился. Бим сначала настороженно прислушивался, присматривался к другу, потом встал и лизнул вытянутую с кровати руку.

— Осколок... Осколок, Бимка... ползет. Плохо, мальчик,— сказал Иван Иваныч, держа руку у сердца.

Слово «плохо» Бим знал отлично и уже давно. И вот уже несколько раз он слышал слово «осколок», он его не

понимал, но собачьим нутром догадывался, что оно тревожное, плохое слово, жуткое.

Но все обошлось: утром, после прогулки, Иван Иваныч сел за стол, как и обычно, положил перед собой белый лист и зашептал по нему палочкой.

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

Вчера был счастливый день. Все — как надо: осень, солнце, желтый лес, изящная работа Бима. А все-таки какой-то осадок на душе. Отчего бы?

В автобусе Бим явно заметил, как я вздохнул, и явно же не понял меня. Пес вовсе не может представить, что я дал взятку шоферу. Собаке — наплевать на это. А мне? Какая разница — рубль я дал за малое «дело», или двадцать — за большое, или тысячу — за крупное? Все равно стыдно. Словно продаешь свою совесть по мелочам. Конечно, Бим стоит несравненно ниже человека, поэтому никогда и не догадается об этом.

Не понять того Биму, что бумажки эти и совесть иногда находятся в прямой зависимости. Но какой же я чудак! Нельзя же требовать от собаки больше того, что она может: очеловечивать собаку нельзя.

И еще: мне жаль стало убивать дичь. Это, наверное, старость. Так хорошо было вокруг, и вдруг мертвая птица... Я не вегетарианец и не ханжа, описывающий страдание убитых животных и уписывающий с удовольствием их мясо, но до конца дней ставлю себе условие: одного-двух вальдшнепов за охоту, не больше. Если ни одного — еще бы лучше, но тогда Бим загибнет как охотничья собака, а я вынужден буду купить птицу, которую для меня убьет кто-то другой. Нет уж, увольте от такого... А к кому, собственно, я обращаюсь? Впрочем, к самому себе: раздвоение личности в длительном одиночестве в какой-то степени неизбежно. Веками от этого спасала человека собака. Откуда же все-таки осадок от вчерашнего? И только ли от вчерашнего? Не пропустил ли я какую-то мысль?.. Итак, вчерашний день: стремление к счастью — и желтый рубль; желтый лес — и убитая птица. Что это: уж не сделка ли со своей совестью?

Стоп! Вот какая мысль ускользнула вчера: не сделка, а укор совести и боль за всех, убивающих бесполезно, когда человек теряет человечность. Из прошлого, из вос-

поминаний о прошлом, идет и все более растет во мне жалость к птицам и животным.

Я вспоминаю.

Была установка руководства Общества охотников об уничтожении сорок как вредных птиц, и это обосновывалось якобы наблюдениями биологов. И все охотники убивали сорок со спокойной совестью. Была такая установка и о ястребиных птицах. Их тоже убивали. И о волках. Этих уничтожили почти начисто. За волка платили премию в триста рублей (старыми деньгами), а за лапки сороки или коршуна, представленные в Общество охотников,— то ли пять копеек, то ли пятьдесят — не помню.

Но вдруг, в новой установке, коршун и сорока объявлены полезными птицами, не врагами птиц: уничтожать их запрещено. Строжайший приказ к уничтожению сменился строжайшим наказом к запрещению.

Осталась теперь единственная птица, подлежащая уничтожению, объявленная вне закона,— серая ворона. Она якобы разоряет птичьи гнезда (в чем, впрочем, обвинялась безапелляционно и сорока). Зато никто не отвечает за отравление ядохимикатами птиц степных и лесостепных районов. Спасая леса и поля от вредителей, мы уничтожали птиц, а уничтожая их, губили... леса. Неужели виноватой оказалась серая ворона, извечный санитар и спутник человеческого общества?

Вали на серую ворону! — самое верное, элементарное оправдание виновных в смерти птиц.

Длительные эксперименты со смертью — ужасно. Уже восстают против этого честные ученые-биологи и охотники, уже борьба за охрану птиц и лесов идет в международном масштабе. Поднял ли я в свое время голос против экспериментов со смертью? Нет. И это — укор и моей совести. Как бледно и немощно прозвучал бы мой голос теперь, если бы я сказал задним числом так:

Спасите серую ворону — отличного санитара местожительства людей, спасите ее от истребления, ибо она помогает очищать от нечистот местность вокруг нас так же, как сатирик очищает общество от духовных нечистот, спасите серую ворону за это самое; пусть она немножко воровка птичьих яиц, но на то и серая ворона, чтобы птицы умели строить гнезда; спасите эту колготную насмешницу, единственную птицу, обладающую наглостью наивности настолько, что она в глаза человеку может

так и ляпнуть с дерева: «Ка-ар-р!» (Уходи, дурак!) А только вы отошли, слетит вниз и, насмешливо покрякивая, примется вновь уплетать тухлый кусок мяса, который ни одна собака в рот не возьмет; спасите серую ворону — сатирика птичьего мира! Не бойтесь ее. Посмотрите, как маленькие ласточки дружно клюют ее и прогоняют оттуда, где и без нее чистота, а она улетает от них, ехидненько покаркивая, туда, где пахнет тухлым. Спасите серую ворону!

Действительно, получилось бы и немощно и бездоказательно. Но так пусть и остается такое в этой тетрадке о Биме. Сейчас прямо и напишу на обложке: «Б и м». Здесь все будет только для самого себя. Ведь записки я начал ради спасения чести Бима, виновного в своем рождении, но они разрастаются все больше, и уже обо всем том, что связано не только с Бимом, но и со мной. Никто их, видимо, не напечатает; да и кому интересно читать «о собаке, о себе»? Никому. Так и хочется написать словами Кольцова:

Пишу не для мгновенной славы:
Для развлеченья, для забавы,
Для милых искренних друзей,
Для памяти минувших дней.

...А Бим лежит и днем — наработался, дружище, нахватался целительных запахов желтого леса.

Ах, желтый лес, желтый лес! Вот вам и кусочек счастья, вот вам и место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище.

ГЛАВА ПЯТАЯ

НА ОБЛАВЕ В ВОЛЧЬЕМ ЯРУ

В один из осенних дней к Ивану Иванычу зашел человек, от которого пахло ружьем и собакой. Хотя он не был в охотничьих доспехах и одет обыкновенно, как все малоинтересные люди, но Бим уловил в нем и тонкий запах леса, и следы ружья на ладонях, и ароматный дух осеннего листа от ботинок. Конечно же, Бим обо всем этом сказал, обнюхивая гостя, бросая взгляды на хозяина и энергично работая хвостом. Видел он его впервые, а вот сразу же признал товарищем без никаких сомнений и колебаний.

Гость знал собачий язык, потому и сказал ласково:

— Признал, признал. Молодец, хорошо, хорошо.— Потрепал по голове и сказал уверенно и четко: — Сидеть!

Бим исполнил приказание — сел, в нетерпении перебирая лапами. И слушал, и смотрел неотрывно.

Хозяин и гость пожали руки, встретившись добрыми-добрыми глазами.

«Отлично!» — сказал Бим, взвизгнув.

— Умный пес,— сказал гость, бросив взгляд на Бима.

— Хороший Бим, лучше не надо! — подтвердил Иван Иваныч.

Вот так они поговорили втроем немного, и гость-охотник достал из кармана бумагу, разложил ее, стал водить по ней пальцем и говорить:

— Вот тут... тут, в самой гущине Волчьего яра. Сам подвывал. Пятеро откликнулись: три прибылых, два матерых. Одного перевидел. Ну и во-олк!

Бим знал слова хозяина на поиске: «тут-тут, тут-тут». И насторожился. Но когда было сказано «во-олк!», он расширил глаза: это тот жуткий запах лесной собаки, запах, которого испугался когда-то Бим, запах, о котором хозяин тогда устрашающе повторял, показывая след: «Волк! Это волк, Бим». Вот теперь и охотник сказал тоже так: «Ну и во-олк!»

Гость ушел, попрощавшись и с Бимом.

Иван Иваныч сел заряжать патроны, закладывая крупные горошины свинца и пересыпая их картофельной мукой.

Ночью Бим спал беспокойно.

А задолго до рассвета они вышли с ружьем на улицу и стали на углу. Вскоре подъехал большой автомобиль, загруженный охотниками. Они сидели в крытом кузове на скамейках, сидели тихо и торжественно. Иван Иваныч сначала подсадил Бима, потом и сам влез в шалаш. Вчерашний охотник сказал Ивану Иванычу:

— Э-э, нет! Зачем же Бима с собой!

— Собак не должно быть на облаве. Снять! — строго сказал кто-то.— Голос подаст — и пропала облава.

— Бим не подаст голоса,— будто оправдываясь, говорил Иван Иваныч.— Не гончак же он.

Ему возражали одновременно несколько человек, но кончилось тем, что вчерашний гость сказал:

— Ладно. С Бимом поставлю в запасную. Есть место, Иван Иваныч: было так, что волк прорывался там через флажки, по протоке.

Бим догадался, что его не хотят брать. Он тоже уговаривал соседей, но в темноте этого никто не понял. И все же автомобиль тронулся.

Уже солнце взошло, когда остановились у кордона знакомого лесника. Вышли все тихо, без единого слова, как и Бим. Потом долго шли гуськом вдоль опушки. Никто не курил, не кашлял, не стукнул даже сапогом о сапог, ступая по-собачьи: тут все знали — куда, кто и зачем. Не знал только один Бим, но он тоже шел тенью след в след за хозяином. Тот на ходу притронулся к уху Бима: хорошо, дескать, хорошо, Бим.

Впереди всех, главным, шел вчерашний гость-охотник. И вот он поднял руку — все остановились. Трое передних ушли в лес еще тише, по-кошачьи, и вскоре вернулись. Теперь Главный поднял вверх фуражку и отмахнул ею вперед. По этому знаку половина охотников пошла за ним, в том числе, позади прочих, Иван Иваныч и Бим. Так что Бим шел последним; тише его никто не мог передвигаться, но, несмотря на это, Иван Иваныч взял его на поводок.

По безмолвной команде Главного первый, идущий за ним, стал за куст и замер. Вскоре так же замер у дубняка второй, потом третий, и так поодиночке все заняли свои номера. Остались около Главного Иван Иваныч и Бим. Они шли еще осторожнее, чем раньше. Теперь Бим увидел, что сбоку их пути протянут шнур, а на нем не шевелясь висели куски материи, похожей на огонь. Но наконец Главный поставил и их вдвоем, а сам ушел назад.

Бим чутким ухом все-таки слышал его шаги, хотя людям казалось, что их никто не слышит. Бим уловил, что Главный провел и остальных охотников, но так далеко, что, по мере удаления, даже Бим уже не различал шороха.

И наступила тишина. Настороженная, тревожная тишина леса. Бим это чувствовал и по тому, как хозяин замер, как у него дрогнуло колено, как он беззвучно открыл ружье, вложил патроны, закрыл и снова застыл в напряжении.

Они стояли под прикрытием куста орешника сбоку промоины, заросшей густым терником. А кругом был могучий дубовый лес, суровый сейчас, молчаливый. Каждое дерево — богатырь! А между ними густой подлесок

еще сильнее подчеркивал необыкновенную мощь вековечного леса.

Бим превратился в сгусток внимания: он сидел недвижно и ловил запахи, но пока ничего особенного не примечал, так как воздух неподвижен. И от этого Биму было неспокойно. Когда есть хоть малый ветерок, он всегда знал, что́ там, впереди, он читал по струям, как по строкам, а в безветрие, да еще в таком лесу,— попробуй-ка быть спокойным, когда к тому же его добрый друг стоит рядом и волнуется.

И вдруг началось.

Сигнальный выстрел разорвал тишину на большие куски: эхо прокотало то там, то тут, то где-то вдали. А вслед, как бы в тон лесному рокоту, далеко-далеко голос Главного:

— Поше-е-ел! О-го-го-го-го-го-о-о!

Иван Иваныч наклонился к уху Бима и еле слышно прошептал:

— Лежать!

Бим лег. И дрожал.

— О-го-го-го-о-о! — ревели там охотники-загонщики.

Тишина теперь рассыпалась на голоса, незнакомые, неистовые, дикие. Застучали палками о деревья, затрещала трещотка, как сто сорóк перед погибелью. Цепь загонщиков приближалась с криком, гомоном и выстрелами вверх.

И вот... Бим зачуял знакомый с юности запах: волк! Он прижался к ноге хозяина, чуть-чуть — совсем чуть-чуть! — привстал на лапы и вытянул хвост. Иван Иваныч все понял.

Они увидели оба: вдоль флажков, вне выстрела, показался волк. Шел он широкими махами, голову опустил, хвост висел поленом. И тут же зверь скрылся. Сразу же, почти тотчас, раздался выстрел в цепи, за ним — второй.

Лес рокотал. Лес почти озлобленно встревожился.

Еще выстрел на номере. Это уже совсем близко. А крики все ближе, ближе и ближе.

Волк, огромный старый волк появился неожиданно. Он пришел промоиной, скрытый терником, а завидев флажки, резко остановился, будто на что-то напоролся. Но здесь, над промоиной, флажки висели выше, чем на всей линии, втрое выше роста зверя. А гомон людей настигал вплотную. Волк как-то не очень решительно

и даже вяло прошел под флажками и оказался в пятнадцати метрах от Ивана Иваныча и Бима. Вот он сделал несколько махов, но за это время человек и собака успели рассмотреть, что он был ранен: пятно крови расплылось на боку, рот окаймлен пеной с красноватым налетом.

Иван Иваныч выстрелил.

Волк, подпрыгнув на всех четырех ногах, резко, всем корпусом, не поворачивая шеи, обернулся на выстрел и... стал. Широкий мощный лоб, налитые кровью глаза, оскаленные зубы, красноватая пена... И все-таки он не был жалок. Он был красив, этот вольный дикарь. О нет, он не был трусом, он не хотел падать и сейчас, гордый зверь, но... рухнул-таки плашмя, медленно перебирая лапами. Потом замер, присмирел, успокоился.

Бим не смог вынести всего этого. Он вскочил и встал на стойку. Но что это была за стойка! Шерсть на спине взъерошилась, на холке она почти стояла торчком, а хвост зажат между ног: озлобленно-трусливая, безобразная стойка на своего брата, на гордого царя собак, уже мертвого и потому безопасного, но страшного духом своим и кровью своей страшного. Бим ненавидел брата своего. Бим верил человеку, волк не верил. Бим боялся брата, волк не боялся его даже смертельно раненный.

...А крики уже приблизились вплотную. Еще был один выстрел. И еще дублет. Видимо, какой-то опытный волк шел совсем близко от цепи и, возможно, прорвался через нее в самый последний момент, когда люди уже потеряли бдительность и уже сходились друг с другом. Наконец появился из подлеска Главный, подошел к Ивану Иванычу и сказал, глядя на Бима:

— Ух ты! И на собаку не похож: зверь зверем. А два прорвались все-таки, ушли. Один раненый.

Иван Иваныч гладил Бима, ласкал, уговаривал, но тот хотя и уложил шерсть на спине, однако все еще крутился на месте, часто-часто дышал, высунув язык, и отворачивался от людей. Когда же оба охотника направились к трупу волка, Бим не пошел за ними, а, наоборот, нарушив все правила, волоча за собой поводок, отошел метров на тридцать подальше, лег, положил голову на желтые листья и дрожал как в лихорадке. Вернувшись к нему, Иван Иваныч заметил, что белки глаз у Бима кроваво-красные. Зверь!

— Ах, Бимка, Бимка. Плохо тебе? Конечно, плохо. Так надо, мальчик. Надо.

— Учти, Иван Иваныч,— сказал Главный,— легавую собаку можно и загубить волком — леса будет бояться. Собака — раб, волк — зверь свободный.

— Так-то оно так, но Биму уже четыре года — собака взрослая, лесом не испугаешь. Зато в лесу, где волки, он уже не отойдет от тебя: наткнется на след и скажет: «Волки!»

— И правда ведь: волки берут легавых, как малых цыплят. А этого теперь вряд возьмет: от ноги твоей не отойдет, если зачует.

— Вот видишь! Только до года не надо пугать зверем. А так — что ж поделаешь! — пусть переживет.

Иван Иваныч увел Бима, а Главный остался у волка, поджидая загонщиков.

Когда собрались на кордоне все охотники, выпили по чарке и загомонили, веселые и возбужденные, Бим отчужденно и одиноко лежал под плетнем, свернувшись калачиком, суровый, красноглазый, пораженный и зараженный волчьим духом. Ах, если бы Бим мог знать, что судьба еще раз забросит его в этот же самый лес!

К нему подошел лесник, хозяин кордона, присел на корточки, погладил по спине:

— Хороший пес, хороший. Умный пес. За всю облаву не гавкнул и не завыл.

Тут все любили собак.

Но когда охотники уселись в автомобиль и Иван Иваныч подсадил туда Бима, тот кошкой выпрыгнул на землю, ощетинившись и скуля: он не желал быть вместе с тремя мертвыми волками.

— Ого! — сказал Главный.— Этот теперь не пропадет.

Незнакомый тучный охотник недовольно вышел из кабины и грузно полез в кузов, а Иван Иваныч с Бимом сели в кабину.

После было не так уж много охот на вальдшнепа, но Бим работал отлично, как и всегда. Однако стоило ему причуять след волка — он прекращал охоту: прижимался к ноге хозяина и — ни шагу. Так он четко выражал слово

«волк». И это было хорошо. А после облавы он еще больше стал любить Ивана Иваныча и верить в его силу. Верил Бим в доброту человека. Великое благо — верить. И любить. Собака без такой веры — уже не собака, а вольный волк или (что хуже) бродячий пес. Из этих двух возможностей выбирает каждая собака, если она перестала верить хозяину и ушла от него или если ее выгнали. Но горе той собаке, которая потеряет любимого друга-человека, будет его искать, ждать. Она тогда уже не сможет быть ни вольным волком, ни обыкновенным бродячим псом, а останется той же собакой, преданной и верной потерянному другу, но одинокой до конца жизни.

Я не буду, дорогой читатель, рассказывать ни одной из множества достоверных историй о такой преданности в течение многих лет и до конца собачьей жизни. Я расскажу только об одном Биме с черным ухом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

Как-то после охоты Иван Иваныч пришел домой, накормил Бима и лег в постель, не поужинав и не выключив свет. В тот день Бим здорово наработался, потому быстро уснул и ничего не слышал. Но в последующие дни и Бим стал замечать, что хозяин все чаще ложится и днем, о чем-то печалится, иногда внезапно охнет от боли. Больше недели Бим гулял один, неподолгу — по надобности. Потом Иван Иваныч слег, он еле-еле доходил до двери, чтобы выпустить или впустить Бима. Однажды он простонал в постели как-то особенно тоскливо. Бим подошел, сел у кровати, внимательно посмотрел в лицо друга, затем положил голову на вытянутую его руку. Он увидел, какое стало у хозяина лицо: бледное-бледное, под глазами темные каемки, небритый подбородок заострился. Иван Иваныч повернул голову к Биму и тихо, ослабевшим голосом сказал:

— Ну? Что будем делать, мальчик?.. Худо мне, Бим, плохо. Осколок... подполз под сердце. Плохо, Бим.

Голос его был таким необычным, что Бим заволновался. Он заходил по комнате, то и дело царапаясь

в дверь, как бы зовя: «Вставай, дескать, пойдем, пойдем». А Иван Иваныч боялся пошевелиться. Бим снова сел около него и проскулил тихонько.

— Что же, Бимка, давай попробуем,— еле выговорил Иван Иваныч и осторожно привстал.

Он немного посидел на кровати, затем стал на ноги и, опираясь одной рукой о стену, другую держа у сердца, тихо переступал к двери. Бим шел рядом с ним, не спуская взгляда с друга, и ни разу, ни разу не вильнул хвостом. Он будто хотел сказать: ну, вот и хорошо. Пошли, пошли потихоньку, пошли.

На лестничной площадке Иван Иваныч позвонил в соседнюю дверь, а когда появилась девочка, Люся, он что-то ей сказал. Та убежала к себе в комнату и вернулась со старушкой, Степановной. Как только Иван Иваныч сказал ей то же самое слово «осколок», она засуетилась, взяла его под руку и повела обратно.

— Вам надо лежать, Иван Иваныч. Лежать. Вот так,— заключила она, когда тот вновь лег на спину.— Лежать. Только лежать.— Она взяла со стола ключи и быстро ушла, почти побежала, засеменив по-старушечьи.

Конечно, Бим воспринял слово «лежать», повторенное трижды, так, будто оно относится и к нему. Он лег рядом с кроватью, не спуская взора с двери: горестное состояние хозяина, волнение Степановны и то, что она взяла со стола ключи,— все это передалось Биму, и он находился в тревожном ожидании.

Вскоре он услышал: ключ вставили в скважину, замок щелкнул, дверь открылась, в прихожей заговорили. Затем вошла Степановна, а за нею трое чужих в белых халатах — две женщины и мужчина. От них пахло не так, как от других людей, а скорее тем ящичком, что висит на стене, который хозяин открывал только тогда, когда говорил: «Худо мне, Бим, худо, плохо».

Мужчина решительно шагнул к кровати, но...

Бим бросился на него зверем, упер ему в грудь лапы и дважды гавкнул изо всей силы.

«Вон! Вон!» — прокричал Бим.

Мужчина отпрянул, оттолкнул Бима, женщины выскочили в прихожую, а Бим сел у кровати, дрожал всем телом и, видно, был готов скорее отдать жизнь, чем подпустить неведомых людей к другу в такую трудную для него минуту.

Врач, стоя в дверях, сказал:

— Ну и собака! Что же делать?

Тогда Иван Иваныч позвал Бима жестом поближе, погладил по голове, чуть повернувшись. А Бим прижался к другу лопаткой и лизал ему шею, лицо, руки...

— Подойдите,— тихо произнес Иван Иваныч, глядя на врача.

Тот подошел.

— Дайте мне руку.

Тот подал.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— сказал врач.

Бим прикоснулся носом к руке врача, что и означало на собачьем языке: «Что ж поделаешь! Так тому быть: друг моего друга — мне друг».

Внесли носилки. Положили на них Ивана Иваныча. Он проговорил:

— Степановна... присмотрите за Бимом, дорогая. Выпускайте утром. Он сам приходит скоро... Бим будет меня ждать.— И к Биму: — Ждать... Ждать.

Бим знал слово «ждать»: у магазина — «Сидеть, ждать», у рюкзака на охоте — «Сидеть, ждать». Сейчас он привизгнул, повиляв хвостом, что означало: «О, мой друг вернется! Он уходит, но скоро вернется».

Только понял его один Иван Иваныч, остальные не поняли — это он увидел в глазах всех. Бим сел у носилок и положил на них лапу. Иван Иваныч пожал ее.

— Ждать, мальчик. Ждать.

Вот этого Бим никогда не видел у своего друга, чтобы вот так горошинами скатилась вода из глаз.

Когда унесли носилки и щелкнул замок, он лег у двери, вытянул передние лапы, а голову положил на пол, вывернув ее на сторону: так собаки ложатся, когда им больно или тоскливо; они и умирают чаще всего в такой позе.

Но Бим не умер от тоски, как та собака-поводырь, прожившая со слепым человеком много лет. Та легла около могилы хозяина, отказалась от пищи, приносимой кладбищенскими доброхотами, а на пятый день, когда взошло солнце, она умерла. И это быль, а не выдумка. Зная необыкновенную собачью преданность и любовь, редко какой охотник скажет о собаке: «Издохла», он всегда скажет: «Умерла».

Нет, Бим не умер. Биму сказано точно: «Ждать». Он верит — друг придет. Ведь сколько раз было так: скажет «Ждать» и обязательно придет.

Ждать! Вот теперь вся цель жизни Бима.

Но как тяжко было в ту ночь одному, как больно! Что-то делается не так, как обычно... От халатов пахнет бедой. И Бим затосковал.

В полночь, когда взошла луна, стало невыносимо. Рядом с хозяином и то она всегда беспокоила Бима, эта луна: у нее глаза есть, она смотрит этими мертвыми глазами, светит мертвым холодным светом, и Бим уходил от нее в темный угол. А теперь — даже в дрожь бросает от ее взгляда, а хозяина нет. И вот глубокой ночью он завыл, протяжно, с подголоском, завыл как перед напастью. Он верил, что кто-то услышит, а может быть, и сам хозяин услышит.

Пришла Степановна.

— Ну, что ты, Бим? Что? Ивана Иваныча нету. Ай-ай-ай, плохо.

Бим не ответил ни взглядом, ни хвостом. Он только смотрел на дверь. Степановна включила свет и ушла. С огнем стало легче — луна отодвинулась дальше и стала меньше. Бим устроился под самой лампочкой, спиной к луне, но вскоре снова лег перед дверью: ждать.

Утром Степановна принесла кашу, положила ее в Бимову миску, но он даже и не встал. Так поступала и собака-поводырь — она не поднималась и тогда, когда приносили пищу.

— Ты смотри, сердешный какой, а? Это ж уму непостижимо. Ну, пойди погуляй, Бим.— Она распахнула дверь.— Пойди погуляй.

Бим поднял голову, внимательно посмотрел на старушку. Слово «гулять» ему знакомо, оно означает — воля, а «Поди, поди гулять» — полная свобода. О, Бим знал, что такое свобода: делай все, что разрешает хозяин. Но вот его нет, а говорят: «Пойди погуляй». Какая же это свобода?

Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, что такие, как Бим, понимают человека и без слов, а те слова, что они знают, вмещают в себе многое и, соответственно случаю, разное. Она, по простоте душевной, сказала:

— Не хочешь кашу, пойди п о и щ и чего-нибудь. Ты и травку любишь. Небось и на помойке что-то раско-

паешь (не знала она по наивности, что Бим к помойкам не прикасался). Пойди п о и щ и.

Бим встал, даже встрепенулся. Что такое? «Ищи»? Что искать? «Ищи» означает: ищи спрятанный кусочек сыра, ищи дичь, ищи потерянную или спрятанную вещь. «Ищи» — это приказ, а ч т о искать — Бим определяет по обстоятельствам, по ходу дела. Что же сейчас искать?

Все это он сказал Степановне глазами, хвостом, вопросительным перебором передних лап, но она ничегошеньки не поняла, а повторила:

— Пойди гулять. И щ и!

И Бим бросился в дверь. Молнией проскочил ступеньки со второго этажа, выскочил во двор. Искать, искать хозяина! Вот что искать — больше нечего: так он понял. Вот здесь стояли носилки. Да, стояли. Вот уже со слабым-слабым запахом следы людей в белых халатах. След автомобиля. Бим сделал круг, вошел в него (так поступила бы даже самая бездарная собака), но опять — тот же след. Он потянул по нему, вышел на улицу и сразу же потерял его около угла: там вся дорога пахла той же резиной. Человеческие следы есть разные и много, а автомобильные слились все вместе и все одинаковые. Но тот, нужный ему след пошел со двора туда, за угол, значит, и надо — туда.

Бим пробежал по одной улице, по другой, вернулся к дому, обегал места, где они гуляли с Иваном Иванычем,— нет признаков, никаких и нигде. Однажды он издали увидел клетчатую фуражку, догнал того человека — нет, не он. Присмотревшись внимательнее, он установил: оказывается, в клетчатых фуражках идут многие-многие. Откуда ему было знать, что в эту осень продавали только клетчатые фуражки, и потому они нравились в с е м. Раньше он этого как-то не приметил, потому что собаки всегда обращают внимание (и запоминают), главным образом, на нижнюю часть одеяния человека. Это у них еще от волка, от природы, от многих столетий. Так, лиса, например, если охотник стал за густой куст, закрывающий только до пояса, не замечает человека, если он не шевелится и если ветер не доносит от него запаха. Так что Бим увидел неожиданно в этом какой-то отдаленный смысл: по верху искать нечего, так как головы могут быть одинаковыми по цвету, подогнанными друг под друга.

День выдался ясный. На некоторых улицах листья пятнами покрыли тротуары, на некоторых лежали сплошь, так что, попадись хоть частичка следа хозяина, Бим ее уловил бы. Но — нигде и ничего.

К середине дня Бим отчаялся. И вдруг в одном из дворов он наткнулся на след носилок: тут они стояли. А потом струя того же запаха потекла со стороны. Бим пошел по ней, как по битой дорожке. Пороги отдавали людьми в белых халатах. Бим поцарапался в дверь. Ему открыла девушка, тоже в белом халате, и отпрянула с испуга. Но Бим приветствовал ее всеми способами, спрашивая: «Нет ли здесь Ивана Иваныча?»

— Уйди, уйди! — закричала она и закрыла дверь. Потом приоткрыла и крикнула кому-то: — Петров! Прогони кобеля, а то мне шеф намылит шею, начнет выпинаться: «Псарня, а не «скорая помощь»! Гони!

От гаража подошел человек в черном халате, затопал ногами на Бима и вовсе незлобно прокричал, как бы по обязанности и даже с ленцой:

— Вот я тебе, тварь! Пошел! Пошел!

Никаких таких слов, как «шеф», «псарня», «гони», «мылить шею», «выпинаться» и уж тем более «скорая помощь», Бим не понимал и даже вовсе никогда не слышал, но слова «уходи» и «пошел», в сочетании с интонацией и настроением, он понял прекрасно. Тут Бима не обмануть. Он отбежал на некоторое расстояние и сел, и смотрел на ту дверь. Если бы люди знали, что́ ищет Бим, они ему помогли бы, хотя Ивана Иваныча сюда и не привозили, а доставили прямо в больницу. Но что поделаешь, если собаки понимают людей, а те не всегда понимают собак и даже друг друга. Кстати, Биму недоступны такие глубокие мысли; непонятно было и то, на каком таком основании его не пропускают в дверь, в которую он честно царапался, доверительно и прямодушно, и за которой, по всей вероятности, находится его друг.

Бим сидел у куста сирени с поблеклыми уже листьями до самого вечера. Приезжали машины, из них выходили люди в белых халатах и вели кого-то под руки или просто шли следом; изредка выносили из автомобиля человека на носилках, тогда Бим чуть приближался, проверял запах: нет, не он. К вечеру на собаку обратили внимание и другие люди. Кто-то принес кусочек колбасы — Бим не притронулся; кто-то хотел взять его за

ошейник — Бим отбежал; даже тот дядька в черном халате несколько раз проходил мимо и, остановившись, смотрел на Бима сочувственно и не топал ногами. Бим сидел статуей и никому ничего не говорил. Он ждал.

В сумерках он спохватился: вдруг хозяин-то дома? И побежал торопливо, легким наметом.

По городу бежала красивая, с блестящей шерстью, ухоженная собака — белая, с черным ухом. Любой добрый гражданин скажет: «Ах, какая милая охотничья собака!»

Бим поцарапался в родную дверь, но она не открылась. Тогда он лег у порожка, свернувшись калачиком. Не хотелось ни есть, ни пить — ничего не хотелось. Тоска.

На площадку вышла Степановна:

— Пришел, горемышный?

Бим вильнул хвостом только один раз («Пришел»).

— Ну вот теперь и поужинай.— Она пододвинула ему миску с утренней кашей.

Бим не притронулся.

— Так и знала: накормился сам. Умница. Спи.— И закрыла за собой дверь.

В эту ночь Бим уже не выл. Но и не отходил от двери: ждать!

А утром снова забеспокоился. Искать, искать друга! В этом весь смысл жизни. И когда Степановна выпустила его, он, во-первых, сбегал к людям в белых халатах. Но на этот раз какой-то тучный человек кричал на всех и часто повторял слово «собака». В Бима бросали камнями, хотя и нарочито мимо, махали на него палками и наконец больно-пребольно стегнули длинной хворостинкой. Бим отбежал, сел, посидел малость и, видимо, решил: тут его быть не может, иначе не гнали бы так жестоко. И ушел Бим, слегка опустив голову. По городу шел одинокий, грустный, ни за что обиженный пес.

Вышел он на кипучую улицу. Людей было видимо-невидимо, и все спешили, изредка торопливо перебрасываясь словами, текли куда-то и текли без конца. Наверняка Биму пришло в голову: «А не пройдет ли он здесь?» И без всякой логики сел в тени, на углу, неподалеку от калитки, и стал следить, не пропуская своим вниманием почти ни одного человека.

Во-первых, Бим заметил, что все люди, оказывается, пахнут автомобильным дымом, а уж через него пробиваются другие запахи разной силы.

Вот идет человек, тощий, высокий, в больших, порядком стоптанных ботинках, и несет в сетке картошку, такую же, какую приносит домой хозяин. Тощий несет картошку, а пахнет табаком. Шагает быстренько, спешит, будто кого-то догоняет. Но это только показалось — догоняют кого-то все. И все что-то ищут, как на полевых испытаниях, иначе зачем и бежать по улице, забегать в двери и выбегать и снова бежать?

— Привет, Черное ухо! — бросил Тощий на ходу.

«Здравствуй»,— угрюмо ответил Бим, двинув по земле хвостом, не растрачивая сосредоточенности и вгляды-ваясь в людей.

А вот за ним идет человек в комбинезоне, пахнет он так, как пахнет стена, когда ее лизнешь (мокрая стена). Он почти весь серо-белый. Несет длинную белую палку с бородкой на конце и тяжелую сумку.

— Ты чего тут? — спросил он у Бима, остановившись.— Уселся ж д а т ь хозяина или затерялся?

«Да, ж д а т ь»,— ответил Бим, посеменив передними лапами.

— Тогда на-ка вот тебе.— Он вынул из сумки кулек, положил перед Бимом конфету и потрепал пса за черное ушко.— Ешь, ешь! (Бим не прикоснулся.) Дрессированный. Интеллигент! Из чужой тарелки есть не будет.— И пошел дальше тихо, спокойненько, не так, как все.

Кому как, а для Бима этот человек — хороший: он знает, что такое «ждать», он сказал «ждать», он понял Бима.

Толстый-претолстый, с толстой палкой в руке, в толстых черных очках на носу, несет толстую папку: все-все у него толсто. Пахнет он явно бумагами, по каким Иван Иваныч шептал палочкой, и еще, кажется, теми желтыми бумажками, какие всегда кладут в карман. Он остановился около Бима и сказал:

— Фух! Ну и ну! Дошли: кобели на проспекте.

Из калитки появился дворник с метлой и стал рядом с Толстым. А тот продолжал, обращаясь к дворнику, указывая пальцем на Бима:

— Видишь? На твоей небось территории?

— Факт, вижу.— И оперся на метлу, поставив ее вверх бородой.

— Видишь... Ничего ты не видишь,— сказал сердито.— Даже конфету не жрет, заелся. Как же дальше жить?! — Он злился вовсю.

— А ты не живи,— сказал дворник и равнодушно добавил: — Ишь как ты исхудал, бедняга.

— Оскорбляешь! — рявкнул Толстый.

Остановились трое молодых ребят и почему-то улыбались, глядя то на Толстого, то на Бима.

— Чего вам смешно? Чего смешно? Я ему говорю... собака! Тыща собак, по два-три кило мяса каждой — две-три тонны в день. Соображаете, сколько получится?

Один из ребят возразил:

— Три кило и верблюд не съест.

Дворник невозмутимо внес поправку:

— Верблюды́ мясо не едят.— Неожиданно он перехватил метлу поперек палки и так-то сильно замахал ею по асфальту перед ногами Толстого.— Посторонись, гражданин! Ну? Я чего сказал, дубова твоя голова!

Толстый ушел, отплевываясь. Те трое ребят тоже пошли своей дорогой, посмеиваясь. Дворник тут же и перестал мести. Он погладил Бима по спине, постоял немного и сказал:

— Сиди, ж д и. Придет.— И ушел в калитку.

Из всей этой перепалки Бим не́ только понял — «мясо», «собаки», возможно, «кобели», но слышал интонацию голосов и, главное, все в и д е л, а этого уже достаточно для того, чтобы умной собаке догадаться: Толстому — плохо жить, дворнику — хорошо; один — злой, другой — добрый. Кому уж лучше знать, как не Биму, что ни свет ни заря на улицах живут только дворники и что они уважают собак. То, что дворник прогнал Толстого, Биму даже отчасти понравилось. А в общем-то эта случайная пустяковая история только отвлекла Бима, хотя, может быть, оказалась полезной в том смысле, что он начинал смутно догадываться: люди все разные, они могут быть и хорошими, и плохими. Ну что ж: и то польза, скажем мы со стороны. Но пока для Бима это было совершенно неважно — не до того: он смотрел и смотрел на проходящих.

От некоторых женщин пахло остро и невыносимо, как от ландышей, пахло теми беленькими цветами, что ошарашивают нюх и возле которых Бим становился бесчутым; в таких случаях Бим отворачивался и несколько секунд не дышал — ему не нравилось. У большинства женщин губы были такого же цвета, как флажки на волчьей облаве; Биму такой цвет тоже не нравился, как и всем животным, а собакам и быкам в особенности. Почти все женщины что-нибудь несли в руках. Бим приметил, что мужчины с поноской попадаются реже, а женщины — часто.

...А Ивана Иваныча все нет и нет. Друг ты мой! Где же ты?..

Люди текли и текли. Тоска Бима как-то немножко забылась, рассеялась среди людей, и он еще внимательней вглядывался вперед — не идет ли он. Сегодня Бим будет ждать здесь. Ждать!

Около него остановился человек с мясистыми обвислыми губами, крупноморщинистый, курносый, с глазами навыкате, и вскричал:

— Безобразие! (Люди стали останавливаться.) Кругом грипп, эпидемия, рак желудка, а тут что? — тыкал он всей ладонью в Бима.— Тут среди массы народа, в гуще тружеников, сидит живая зараза!

— Не каждая собака — зараза. Смотрите, какой он милый пес,— возразила девушка.

Курносый смерил ее взглядом сверху вниз и обратно и отвернулся, возмущаясь:

— Какая дикость! Какая в вас дикость, гражданочка.

И вот... Эх, если бы Бим был человеком! Вот подошла та самая Тетка, «советская женщина» — та клеветница. Бим сначала испугался, но потом, взъерошив шерсть на холке, принял оборонительную позицию. А Тетка затараторила, обращаясь ко всем, стоящим полукругом в некотором отдалении от Бима.

— Дикость и есть дикость! Она же меня укусила. У-ку-си-ла! — И показывала всем руку.

— Где укусила? — спросил юноша с портфельчиком.— Покажите.

— Ты мне еще, щенок! — Да и спрятала руку.

Все, кроме Курносого, рассмеялись.

— Воспитали тебя в институте, чертенка, вот уж воспитали, гаденыш,— набросилась она на студента.— Ты

мне, советской женщине, и не веришь? Да как же ты дальше-то будешь? Куда же мы идем, дорогие граждане? Или уж у нас Советской власти нету?

Юноша покраснел и вспылил:

— Если бы вы знали, как выглядите со стороны, то позавидовали бы этой собаке.— Он шагнул к Тетке и крикнул: — Кто дал вам право оскорблять?

Хотя Бим не понял слов, но выдержать больше не смог: он прыгнул в сторону Тетки, гавкнул изо всей силы и уперся всеми четырьмя лапами, сдерживаясь от дальнейших поступков (за последствия он уже не ручался). Интеллигент! Но все-таки — собака.

Тетка завопила истошно:

— Мили-ция! Мили-ция!

Где-то засвистел свисток, кто-то, подходя, крикнул:

— Пройдемте, гр-раждане! Пройдемте по своим делам! — Это был милиционер. (Бим даже повилял чуть хвостом, несмотря на возбуждение).— Кто кричал?! Вы? — обратился милиционер к Тетке.

— Она,— подтвердил юноша-студент.

Вмешался Курносый:

— Куда вы смотрите? Чем занимаетесь? — запилил он милиционера.— Собаки, собаки — на проспекте областного города!

— Собаки! — кричала Тетка.

— И такие вот дикие питекантропусы! — кричал и студент.

— Он меня оскорбил! — почти рыдала Тетка.

— Граждане, р-разойдись! А вы, вы, да и вы, пройдемте в милицию,— указал он Тетке, юноше и Курносому.

— А собака?! — взвизгнула Тетка.— Честных людей — в милицию, а собаку...

— Не пойду,— отрубил юноша.

Подошел второй милиционер:

— Что тут?

Человек в галстуке и шляпе резонно и с достоинством разъяснил:

— Да вон, энтот студентишка, не хочеть в милицию, не подчиняется. Энти вон, обоя, хотять, а энтот не хочеть. Неподчинение. А это не положено. Ведуть — должон иттить. Мало бы чего...— И он, отвернувшись от всех прочих, поковырял в собственном ухе большим пальцем, как бы расширяя слуховое отверстие. Явно это был

жест убежденности, уверенности в прочности мыслей и безусловного превосходства перед присутствующими — даже перед милиционерами.

Оба милиционера переглянулись и все же увели студента с собой. Следом за ними потопали Курносый и Тетка. Люди разошлись, уже не обращая внимания на собаку, кроме той милой девушки. Она подошла к Биму, погладила его, но тоже пошла за милиционерами. Сама пошла, как установил Бим. Он посмотрел ей вслед, потоптался на месте, да и побежал, догнал ее и пошел рядышком.

Человек и собака шли в милицию.

— Кого же ты ждал, Черное ухо? — спросила она, остановившись.

Бим уныло присел, опустив голову.

— И подвело у тебя живот, милый. Я тебя накормлю, подожди, накормлю, Черное ухо.

Вот уже несколько раз называли Бима «Черное ухо». И хозяин когда-то говорил: «Эх ты, Черное ухо!» Давно-давно он так произнес, еще в детстве. «Где же мой друг?» — думал Бим. И пошел опять же с девушкой в печали и унынии.

В милицию они вошли вместе. Там кричала Тетка, рыкал Курносый дядька; понурив голову, молчал студент, а за столом сидел милиционер, незнакомый, и явно недружелюбно посматривал на всех троих.

Девушка сказала:

— Привела виновника.— И указала на Бима.— Милейшее животное. Я все видела и слышала там с самого начала. Этот парень,— она кивнула на студента,— ни в чем не виноват.

Рассказывала она спокойно, то указывая на Бима, то на кого-нибудь из тех трех. Ее пытались перебить, но милиционер строго останавливал и Тетку, и Курносого. Он явно дружелюбно относился к девушке. В заключение она спросила шутя:

— Правильно я говорю, Черное ухо? — А обратившись к милиционеру, еще добавила: — Меня зовут Даша.— Потом к Биму: — Я Даша. Понял?

Бим всем существом показал, что он ее уважает.

— А ну, пойди ко мне, Черное ухо. Ко мне! — позвал милиционер.

О, Бим знал это слово: «ко мне». Точно знал. И подошел.

Тот пошлепал по шее легонько, взял за ошейник, рассмотрел номерок и записал что-то. А Биму приказал:

— Лежать!

Бим лег, как и полагается: задние ноги под себя, передние вытянуты вперед, голова— глаза в глаза с собеседником и чуть набочок.

Теперь милиционер спрашивал в телефонную трубку:

— Союз охотников?

«Охота!» — вздрогнул Бим. «Охота!» Что же это значит здесь-то?

— Союз охотников? Из милиции. Номер двадцать четыре посмотрите. Сеттер... Как так нету? Не может быть. Собака хорошая, дрессированная... В горсовет? Хорошо.— Положил трубку и еще раз взял, что-то спрашивал и стал записывать, повторяя вслух: — Сеттер... с внешними наследственными дефектами, свидетельства о родословной нет, владелец Иван Иванович Иванов, улица Проезжая, сорок один. Спасибо.— Теперь он обратился к девушке: — Вы, Даша, молодец. Хозяин нашелся.

Бим запрыгал, ткнул носом в колено милиционера, лизнул руку Даше и смотрел ей в глаза, прямо в глаза, так, как могут смотреть только умные и ласковые доверчивые собаки. Он ведь понял, что говорили про Ивана Иваныча, про его друга, про его брата, про его бога, как сказал бы человек в таком случае. И вздрагивал от волнения.

Милиционер строго буркнул Тетке и Курносому:

— Идите. До свидания.

Дядька начал пилить дежурного:

— И это — все? Какой же у нас будет порядок после такого? Распустили!

— Идите, идите, дед. До свидания. Отдыхайте.

— Какой я тебе «дед»? Я тебе — отец, папаша. Даже нежное обращение позабывали, с-сукины сыны. А хотите вот таких,— ткнул он в студента,— воспитывать, по головке гладить, по головке. А он вас — подождите! — гав! И скушает.— Гавкнул действительно по-собачьи, натурально.

Бим, конечно, ответил тем же. Дежурный рассмеялся:

— Смотрите-ка, папаша, собака-то понимает, сочувствует,

А Тетка, вздрогнув от двойного лая человека и собаки, пятилась от Бима к двери и кричала:

— Это он на меня, на меня! И в милиции — никакой защиты советской женщине!

Они ушли все-таки.

— А меня что — задержите? — угрюмо спросил студент.

— Подчиняться надо, дорогой. Раз приглашают — обязан идти. Так положено.

— Положено? Ничего такого не положено, чтобы трезвого вести в милицию под руки, как вора. Тетке этой надо бы пятнадцать суток, а вы... Эх вы! — И ушел, пошевелив Биму ухо.

Теперь Бим уже совсем ничего не понимал: плохие люди ругают милиционера, хорошие тоже ругают, а милиционер терпит да еще посмеивается; тут, видимо, и умной собаке не разобраться.

— Сами отведете? — спросил дежурный у Даши.

— Сама. Д о м о й, Черное ухо, д о м о й.

Бим теперь шел впереди, оглядываясь на Дашу и поджидая: он отлично знал слово «домой» и вел ее именно домой. Люди-то не сообразили, что он и сам пришел бы в квартиру, им казалось, что он малоумный пес; только Даша все поняла, одна Даша — вот эта белокурая девушка с большими задумчивыми и теплыми глазами, которым Бим поверил с первого взгляда. И он привел ее к своей двери.

Она позвонила — ответа не было. Еще раз позвонила, теперь к соседям. Вышла Степановна. Бим ее приветствовал: он явно был веселее, чем вчера, он говорил: «Пришла Даша. Я привел Дашу». (Иными словами нельзя объяснить взгляды Бима на Степановну и на Дашу попеременно.)

Женщины разговаривали тихо, при этом произносили «Иван Иваныч» и «осколок», затем Степановна открыла дверь. Бим приглашал Дашу: не спускал с нее глаз. Она же первым делом взяла миску, понюхала кашу и сказала:

— Прокисла.— Выбросила кашу в мусорное ведро, вымыла миску и поставила опять на пол.— Я сейчас приду. Ж д и, Черное ухо.

— Его зовут Бим,— поправила Степановна.

— Жди, Бим.— И Даша вышла.

Степановна села на стул. Бим сел против нее, однако поглядывая все время на дверь.

— А ты пес сообразительный,— заговорила Степановна.— Остался один, а видишь вот, понимаешь, кто к тебе с душой. Я вот, Бимка, тоже... на старости лет с внучкой живу. Родители-то народили, да и подались аж в Сибирь, а я воспитала. И она, внучка-то, х о р о ш о меня любит, всем сердцем к о м н е.

Степановна изливала душу сама перед собой, обращаясь к Биму. Так иногда люди, если некому сказать, обращаются к собаке, к любимой лошади или кормилице-корове. Собаки же выдающегося ума очень хорошо отличают несчастного человека и всегда выражают сочувствие. А тут обоюдно: Степановна явно жалуется ему, а Бим горюет, страдает оттого, что люди в белых халатах унесли друга; ведь все неприятности для всего лишь немного отвлекли боль Бима, сейчас же она вновь возникла с еще большей силой. Он отличил в речи Степановны два знакомых слова «хорошо» и «ко мне», сказанных с грустной теплотой. Конечно же, Бим приблизился к ней вплотную и положил голову на колени, а Степановна приложила платок к глазам.

Даша вернулась со свертком. Бим тихо подошел, лег животом на пол, положил одну лапу на ее туфлю, а голову — на другую лапу. Так он сказал: «Спасибо тебе».

Даша достала из бумаги две котлеты, две картофелины и положила их в миску:

— Возьми.

Бим не стал есть, хотя третьи сутки у него не было во рту ни крохи. Даша легонько трепала его за холку и ласково говорила:

— Возьми, Бим, возьми.

Голос у Даши мягкий, душевный, тихий и, казалось, спокойный; руки теплые и нежные, ласковые. Но Бим отвернулся от котлет. Даша открыла рот Бима и втолкнула туда котлету. Бим подержал, подержал ее во рту, удивленно глядя на Дашу, а котлета тем временем проглотилась сама. Так произошло и со второй. С картошкой — то же.

— Его надо кормить насильно,— сказала Даша Степановне.— Он тоскует о хозяине, потому и не ест.

— Да что ты! — удивилась Степановна.— Собака сама себе найдет. Сколько их бродит, а едят же.

— Что же делать? — спросила Даша у Бима.— Ты ведь так пропадешь.

— Не пропадет,— уверенно сказала Степановна.— Такая умная собака не пропадет. Раз в день буду варить ему кулеш. Что ж поделаешь? Живность.

Даша о чем-то задумалась, потом сняла ошейник.

— Пока я не принесу ошейник, не выпускайте Бима. Завтра часам к десяти утра приду... А где же теперь Иван Иваныч? — спросила она у Степановны.

Бим встрепенулся: о нем!

— Увезли самолетом в Москву. Операция на сердце сложная. Осколок-то рядом.

Бим — весь внимание: «осколок», опять «осколок». Слово это звучит горем. Но раз они говорят про Ивана Иваныча, значит, он где-то должен быть. Надо искать. Искать!

Даша ушла. Степановна — тоже. Бим снова остался один коротать ночь. Теперь он нет-нет да и вздремнет, но только на несколько минут. И каждый раз он видел во сне Ивана Иваныча — дома или на охоте. И тогда он вскакивал, осматривался, ходил по комнате, нюхал по углам, прислушивался к тишине и вновь ложился у двери. Очень сильно болел рубец от хворостины, но это было ничто в сравнении с большим горем и неизвестностью.

Ждать. Ждать. Стиснуть зубы и ждать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В это утро Бим чуть не плакал. Солнце уже выше окна, а никто не идет. Он прислушивался к шагам жильцов подъезда, проходивших мимо его двери с верхних этажей или поднимавшихся снизу. Все шаги знакомые, а его нет и нет. Наконец точно услышал туфельки Даши. Она! Бим голосом подал о себе знать. Его крик в переводе на человеческий язык означал: «Я тебя слышу, Даша!»

— Сейчас, сейчас,— откликнулась та и позвонила Степановне.

Обе они вошли к Биму. С каждой он поздоровался, затем бросился к двери, стал там, повернув голову к женщинам, и потребовал, просяще повиливая хвостом: «Открывайте. Надо искать».

Даша надела на него ошейник, на котором теперь во всю ширину был прочно закреплен латунный жетон-пластинка с выгравированной надписью: «Зовут его Бим. Он ждет хозяина. Хорошо знает свой дом. Живет в квартире один. Не обижайте его, люди». Даша прочитала надпись Степановне.

— Какая же ты добрая душа! — всплеснула руками Степановна.— Любишь, значит, собак?

Даша погладила Бима и ответила необычно:

— Муж бросил, мальчик умер... А мне тридцать лет. Жила на квартире. Уезжаю.

— Одинокая. Ой ты, моя желанная,— запричитала Степановна.— Да ведь это же...

Но Даша отрубила:

— Пойду.— А у двери добавила: — Пока не выпускайте Бима — не убежал бы за мной.

Бим попробовал протиснуться в дверь вместе с Дашей, но она оттеснила его и вышла со Степановной.

Не более как через час Бим заскулил, потом и завыл с тоски в голос, так завыл, как про это говорят люди: «Хочется завыть собакой».

Степановна выпустила его (Даша теперь далеко):

— Ну, иди, иди. Вечером кулеша наготовлю.

Бим даже и не обратил внимания ни на ее слова, ни на ее глаза, а шемером скатился вниз и — во двор. Челноком просновал по двору, вышел на улицу, чуть постоял, будто подумал, а затем стал читать запахи строку за строкой, не обращая внимания даже на те деревья, где стояли росписи собратьев и читать которые обязана каждая уважающая себя собака.

За весь день Бим не обнаружил никаких признаков Ивана Иваныча. А перед вечером, как бы на всякий случай, забрел в молодой парк вновь отстроенного района города. Там четверо мальчишек гоняли мяч. Он посидел малость, проверил окружающее, насколько хватал нос, и хотел было уходить. Но мальчик лет двенадцати отделился от играющих, приблизился к Биму и с любопытством смотрел на него.

— Ты чей? — спросил он, будто Бим смог бы ответить на вопрос.

Бим, во-первых, поздоровался: повилял хвостом, но с грустинкой, склонив голову сначала на одну сторону, потом на другую. Это, кроме того, означало и вопрос: «А ты — что за человек?»

Мальчик понял, что собака ему пока не доверяет полностью, и смело подошел, протянул руку:

— Здравствуй, Черное ухо.

Когда Бим подал лапу, мальчик крикнул:

— Ребята! Сюда, сюда!

Те подбежали, но остановились все же на отшибе.

— Смотрите, какие умные глаза! — восхищался первый мальчик.

— А может, он ученый? — спросил резонно пухленький карапуз.— Толя, Толька, ты скажи ему чего-нибудь — поймет иль не поймет?

Третий, более взрослый, чем остальные, авторитетно заявил:

— Ученая. Видишь, табличка на шее.

— И вовсе не ученая,— возразил худенький мальчишка.— Она не была бы такая тощая и унылая.

Бим в самом деле страшно похудел без Ивана Иваныча и потерял уже былой вид: живот подтянуло, нечесаная шерсть свалялась на штанах и помутнела на лоснившейся когда-то спине. Тоска и голод не красят и собаку.

Толик прикоснулся ко лбу Бима, а он осмотрел всех и выразил теперь полное доверие. После этого все поочередно гладили Бима, и он не возражал. Отношения сразу же сложились добрые, а в атмосфере полного взаимопонимания всегда недалеко и до сердечной дружбы. Толик вслух прочитал написанное на латунной табличке и воскликнул:

— Он — Бим! Один живет в квартире! Ребята, он есть хочет. А ну по домам и — сюда: тащите, кто что может.

Бим остался с Толиком, а ребятишки разбежались. Теперь мальчик сел на скамейку, а Бим лег у его ног и глубоко вздохнул.

— Плохо тебе, наверно, Бим? — спросил Толик, поглаживая голову собаки.— Где же твой хозяин?

Бим уткнулся носом в ботинок и так лежал. Вскоре появились один за другим те ребятишки. Пухленький принес пирожок, Взрослый — кусок колбасы, Худень-

кий — два блинчика. Все это они положили перед Бимом, но он даже и не понюхал.

— Он — больной,— сказал Худенький.— Может, даже и заразный.— И попятился от Бима.

Пухленький зачем-то вытер руки о штанишки и тоже отошел. Взрослый потер колбасой нос Бима и заключил уверенно:

— Не будет. Не хочет.

— Мама говорила — все собаки заразные,— все опасался Пухленький,— а эта и вовсе больная.

— Ну и уходи,— сердито буркнул Толик.— Чтоб я тебя тут не видел... «Заразная»... Заразных ловят собачатники, а эта — вон с какой табличкой.

Рассудительное доказательство подействовало: ребятишки вновь окружили Бима. Толик потянул за ошейник вверх. Бим сел. Толик завернул у него мягкую губу и увидел щелку в глубине челюсти, где кончаются зубы; отломил кусочек колбасы и засунул в эту щелку — Бим проглотил. Еще кусочек — и еще проглотил. Так покончили с колбасой под общее одобрение присутствующих. Все наблюдали сосредоточенно, а Пухленький с каждым глотком Бима тоже глотал, хотя во рту ничего не было: он как бы помогал Биму. Кусочки пирожка никак нельзя было втолкнуть — они рассыпались, тогда Бим наконец взял пирожок сам, лег на живот, положил пирожок на лапы, посмотрел-посмотрел на него и съел. Сделал он так явно из уважения к Толику. У него такие ласковые руки и такой мягкий, даже чуть грустный, взгляд, и так он жалеет Бима, что тот не устоял против теплоты душевной. Бим и раньше относился к детям особо, а теперь он окончательно уверился, что маленькие люди все хорошие, а большие бывают разные, бывают и плохие. Он, конечно, не мог знать, что маленькие люди потом становятся большими и тоже разными, но это — не собачье дело рассуждать, как и почему из маленьких хороших вырастают большие плохие люди, такие, как Тетка или Курносый. Он просто-напросто съел пирожок для Толика, и все. А от этого ему стало легче, потому он не отказался и от блинчиков. И кроме того, за неделю Бим ел всего лишь второй раз.

Первым после трапезы Бима заговорил Толик:

— Попробуем узнать, что он может делать.

Худенький сказал:

— В цирке, если прыгать, кричат «Ап!».

Бим привстал и внимательно посмотрел на мальчика, будто спрашивая: «Через что — ап?!»

Двое из них взялись за концы пояска, а Толик скомандовал:

— Бим! Ап!

Бим легко перепрыгнул через наивный барьер. Все были в восторге. Пухленький приказал четко:

— Лежать!

Бим лег (пожалуйста, для вас — с удовольствием!).

— Сидеть,— попросил Толик. (Бим сел.) — Подай! — и бросил фуражку.

Бим принес и фуражку. Толик обнял его от восхищения, а Бим со своей стороны в долгу не остался и лизнул его прямо в щеку.

Конечно же, Биму стало куда легче с этими маленькими человечками. Но тут-то и подошел дядька, поигрывая палочкой-тростью, подошел так тихо, что ребята и не заметили его, пока он не задал вопрос:

— Чья собака?

С виду он был важный, в серой узкополой шляпе, при сером бантике вместо галстука, в сером пиджаке, серо-белых брюках, с короткой серой бородкой, в очках. Он, не спуская глаз с Бима, повторил:

— Так чья же собачка, дети?

В два голоса одновременно ответили Взрослый мальчик и Толик.

— Ничья,— сказал один наивно.

— Моя,— настороженно сказал Толик.— В эту минуту моя.

Толик не раз видел Серого дядьку: он важно прогуливался вокруг парка в одиночку. Как-то раз даже вел с собой собаку, которая упиралась и не хотела идти. А однажды подошел к ребятишкам и зудел им, что они и играть-то не умеют, как прежде, и вежливости у них нет, и воспитывают их неправильно, не так, как прежде, и что за них люди воевали даже еще в гражданскую, за вот этих, таких, а они не ценят и ничего не умеют, и что все это стыдно. В тот далекий день, когда Серый поучал их, Толику было девять лет. Теперь же двенадцатый. Но дядьку этого он помнил. Сейчас Толик сидел, обняв Бима, и сказал: «Моя».

— Ну, так как же: ничья или его? — спросил дядька, обращаясь ко всем и указывая на Толика.

— На ней вон табличка есть,— вмешался Пухленький не в добрый час.

Серый подошел к Биму, потрепал ухо и стал читать на ошейнике.

Бим точно почуял, совершенно точно: от Серого пахло собаками, пахнет как-то отдаленно, многодневно, но пахнет. Он посмотрел ему в глаза и немедленно, тут же, не поверил — ни в голос, ни во взгляд, даже и ни в запахи. Не может быть, чтобы человек просто так вобрал в себя далекие запахи разных собак. Бим прижался к Толику, пытаясь отцепиться от Серого, но тот не отпускал.

— Нельзя лгать, мальчик,— укорил он Толика.— По табличке — не твоя собака. Стыдно, мальчик. Тебя что, родители так приучили говорить неправду? Какой же ты будешь, когда вырастешь? Эх-хе-хе! — Он вынул из кармана поводок и пристегнул к ошейнику.

Толик схватил за поводок и крикнул:

— Не троньте! Не дам!

Серый отвел его руку.

— Я обязан доставить собаку по месту назначения. А может быть, придется прóтокол составить. (Он так и сказал «прóтокол».) Возможно, его хозяина áлкоголь заел. (Так и произнес — «áлкоголь».) Если так, тогда надо собаку изъять. Должность моя такая — делать все по-честному, по-человеческому. Так-то. Найду его квартиру, проверю — правильно ли.

— А табличке не доверяете? — укоризненно и почти плача спросил Толик.

— Доверяю, мальчики, доверяю полностью. Но...— Он поднял палец вверх и поучительно произнес, почти торжественно: — Доверяй, но проверяй! — И повел Бима.

Бим упирался, оглядывался на Толика, видел, как тот заплакал от обиды, но — что поделаешь! — потом пошел-таки за Серым, поджав хвост и глядя в землю, сам на себя непохожий. Всем видом своим он говорил: «Такая уж наша собачья жизнь, когда нигде нет хозяина». Тут бы и всего дела — укусить бы за ляжку и бежать, но Бим — собака интеллигентная: веди, куда ведешь.

Шли они по улице, на которой стояли новые дома. Все новые. Все серые и настолько одинаковые, что даже Бим мог бы в них заблудиться. В одном из домов-близнецов

поднялись на третий этаж, при этом Бим заметил, что и двери все одинаковые.

Открыла им женщина в сером платье:

— Опять привел? Да господи боже мой!

— Не гундеть! — строго оборвал Серый. Он снял с Бима ошейник и показал:— На, смотри.— Женщина разбирала, надев очки, а он продолжал: — Понятия нет. Во всей республике я — единственный коллекционер собачьих знаков. А эта табличка — вещь! Пятисотый знак!

Ничего не было понятного для Бима, ровным счетом ничего, никаких знакомых слов, никаких понятных жестов — ничего. Вот Серый пошел из прихожей в комнату, с ошейником в руках. Оттуда позвал:

— Бим, ко мне!

Бим подумал-подумал и осторожно вошел. В комнате осмотрелся, не подходя к Серому, а так — сидя у двери. На чистой стене висели доски, обшитые бархатом, а на них рядами висели собачьи знаки: номерки, жетоны, медали серые и медали желтые, несколько красивых поводков и ошейников, несколько усовершенствованных намордников и другие доспехи собачьего обихода, даже — капроновая петля для удушения, смысла которой Бим, конечно, не понимал; где ее раздобыл владелец коллекции, понять невозможно даже и человеку, а для Бима она была обыкновенной веревкой, не больше.

Бим смотрел внимательно, как Серый повертел в руках его ошейник, плоскогубчиками снял табличку и прикрепил в середине одной из досок на бархат; так же поступил и с номерком, а затем надел ошейник на Бима и сказал:

— Ты — собака хорошая.

Точно так же говорил когда-то хозяин, но теперь Бим не поверил. Он вышел в прихожую и стал у двери, говоря: «Выпускай! Мне тут делать нечего».

— Уж выпусти,— сказала женщина.— Чего сюда-то припер его? Снял бы на улице.

— Нельзя было — пацаны привязались. И сейчас нельзя: увидят они — без таблички, могут довести до сведения... Так что пусть ночует до зари. Лежать! — приказал он Биму.

Бим лег у двери: ничего не поделаешь! И опять же: стоило ему завыть в голос, заметаться по квартире, на-

броситься на Серого, и все! Выпустил бы. Но Бим умеет ждать. Да и устал он, обессилел так, что даже у чужой двери на некоторое время задремал, хотя и тревожным сном.

То была первая ночь, когда Бим не пришел домой, в свою квартиру. Он это почувствовал, когда очнулся от дремоты, и не сразу сообразил, где находится. А сообразивши, затосковал. Он же снова видел во сне Ивана Иваныча; каждый раз, как только засыпал, видел его, а проснувшись, ощущал еще теплоту его рук, знакомых с малого щенячьего возраста. Где он, мой хороший и добрый друг? Где? Тоска невыносимая. Одиночество тяжкое, и никуда от него не денешься. А тут еще Серый человек храпит, как заяц под борзой. И пахнет от всех этих бархатных досок умершими собаками. Тоска. И Бим заскулил. Потом чуть взлаял дважды, тоже с легким подвывом, как гончая, когда она добирает след зайца по вчерашней жировке. И наконец не выдержал — взвыл протяжно.

«Ох-хо-хо-ой! Ой-ой, лю-юди-и,— плакал он.— Тяжко мне, ой тяжко без друга. Отпустите вы меня, отпустите искать его. Ой-ой-ой, лю-юди-и-и, ой!»

Серый вскочил, включил свет и стал молотить Бима палкой и шипеть:

— Молчи, молчи, выродок! Соседи слышат. На́ тебе! На́ тебе!

Бим уклонялся от ударов, инстинктивно оберегая голову, и стонал, как человек: «Ох... Ах-х... Ах-хр-р... Ох...»

Но злой человек изловчился-таки и саданул по голове. Бим на несколько секунд потерял сознание, задрыгав лапами, но быстро опомнился, отскочил от двери, уперся задом в угол и оскалил зубы. Впервые оскалил.

Серый попятился от Бима:

— Ишь ты! Укусит еще, черт...— И распахнул дверь.

Но Бим не верил даже и в то, что дверь действительно открыта, не верил и тогда, когда Серый говорил:

— Ступай, ступай. Поди, Бим, гуляй. Иди, собачка, иди.

Не верил он этому ласковому, вкрадчивому тону, этой лести и заискиванию после побоев. О, лесть после побоев — новое открытие Бима в его жизни. Тетка и Курносый — люди просто нехорошие. А вот этот... этого Бим уже ненавидел. Ненавидел! Бим начинал терять веру в человека. Да, именно так.

Бим вытянул шею, оскалил зубы и... пошел на Серого, тихо, но решительно, медленно, но уверенно. Серый прижался к стене:

— Ты что?! Ты что?!

Женщина в ночной рубахе орала на Серого:

— Допрыгался! Укуси-ит!

Бим увидел, что страшный дядька испугался его, что он его до страсти боится. От этого Бим укрепился в решимости: прыгнул, цапнул увернувшегося врага за мягкое место и выскочил в распахнутую дверь. Бим бежал и ощущал во рту вкус человеческого мяса от задницы, которую он возненавидел всем существом. Нет, Бим не считал себя несчастным и жалким, наоборот, сейчас он был храбрым, а храбрость всегда совмещается с гордостью и чувством собственного достоинства — даже у хорька.

В предрассветной мути бежал Бим по улице, хотя и в своем ошейнике, но уже без номерка «24». Сначала он впопыхах направился не туда, то есть не в город, а из города (дальше домов не было). Он вернулся обратно и попал в тот же лабиринт одинаковых домов. Кружил, кружил, петлял, петлял, да и попал к тому же дому, из которого выскочил. Тут уж он заспешил в нужном направлении, чему помогло совершенно закономерное обстоятельство, мало известное людям: вчера, когда его вели здесь, он уловил на одном углу роспись какого-то собрата, на другом углу — второго; теперь же, пробежав от знакомого по этому признаку угла до следующего, он и взял нужный ориентир. Поистине нужно отличное чутье, чтобы не только найти здесь дом, но и выбраться отсюда. Бим обладал отличным чутьем и замечательной сметкой.

Уже засветло он прибежал к своему дому, поднялся к своей родной двери, поцарапался. Ответа не было. Еще поцарапался — то же самое: тишина. Главное, у двери не было следов Ивана Иваныча. И еще слишком рано, чтобы Степановна услышала в заревом сне позывные Бима. Он посидел у двери в задумчивости.

Болело все от побоев, стучало в голове и сильно тошнило, сил не было. Но он все же пошел. Искать пошел своего друга. Да и кто же, кроме Бима, будет его искать?

По городу бежала с виду унылая собака, но преданная, верная и смелая.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СЛУЧАЙ НА СТРЕЛКЕ

Дни шли за днями. Бим их уже не замечал. Он регулярно обследовал город и узнал его во всех подробностях. Теперь он ходил по заранее намеченному маршруту; если бы люди догадались, то они могли бы проверять по Биму свои часы. Появись он у парка — пять утра, у вокзала — шесть, у завода — половина восьмого, на проспекте — двенадцать, на левобережье — четыре часа дня и так далее.

Завелись и новые знакомые среди людей. Бим установил, что большинство из них — добрые, но такие шли по улицам молча, а нехорошие всегда много болтали. Нашел и людей, пахнущих маслом и железом (раньше он встречал их поодиночке). Эти ежедневно, около восьми утра, текли сплошным потоком в ворота, потом в двери будки.

Здесь они были говорливы, как грачи, так что разобрать, пожалуй, ничего нельзя, да это, впрочем, и не интересовало Бима. Он садился в стороне от потока и смотрел и ждал.

— Эй, Черное ухо! Привет! — здоровался каждое утро паренек в синем комбинезоне и выкладывал перед Бимом припасенный сверток с едой.— Жив, курилка? Здравствуй.— И подавал Биму свою добрую человеческую лапу, грубую, но теплую.

Иные молча протягивали ему ладонь, здоровались и спешили дальше. Никто ни разу здесь не обидел Бима.

Теперь Бим мало-помалу научился различать людей по сортам. Вот, например, часто попадается ему на пути дебелая бабочка, ноги — бутылками, всегда такая довольная, бодрая, на лице счастье; но, встречаясь с Бимом, она фыркала кошкой, плевалась, поднимала сумку с продуктами на уровень пышной груди и каждый раз твердила одно и то же:

— Фу, какая гадость! Неужели нельзя подушить всех собак, чтоб не трепали нервы? Вот вам, пожалуйста: «Моя милиция меня бережет». Как же! Уберегут... А тут каждый кобель среди бела дня запросто может спустить с тебя юбку. А что милиция? Милиции мы — пятая нога собаке.

Ввиду того, что она часто повторяла одно и то же,

Бим, по простоте собачьей, почел, что бабочку так и зовут — Пятая Нога. Но он знал точно: к этой подходить нельзя. Мало ли что он не понимал ее слов, кроме ее же клички, зато он слышал и видел, потому и взял за правило: к таким — ни шагу, не связываться. Потом он както стал (чутьем, что ли?) определять — кого надо обходить и сторониться. Добрых было огромное большинство, злых — единицы, но все добрые боялись злых. Бим же — нет, не боялся, но ему было тоже не до них. Познание человеков расширялось и углублялось, а с собачьей точки зрения, он уже не казался каким-то вылощенным дилетантом и идеалистом, готовым вилять хвостом каждому прохожему. Бим за короткое время стал худущим, но серьезным псом, и у него была цель жизни — искать и ждать.

И вот однажды ранним утром, проверяя запахи одного из тротуаров, он опешил от радости. Он остановился, фыркнул и побежал, как бешеная собака, ничего не разбирая и не видя впереди. Но так могло показаться со стороны, а на самом деле он бежал по свежему следу: здесь прошла Даша! Она только-только что была тут.

След привел его к вокзалу. Пройти в помещение не было никакой возможности: люди, люди и люди без конца; даже на улице, у какого-то окошка, они мяли друг друга, кричали, пыхтели, вопили, будто гончие приспели до зайца и рвут его в клочья, не слушаясь ни арапника, ни рога. В такой обстановке оказалось невозможным уловить след Даши — след пропал. Тогда Бим дал круг по-над вокзалом и вышел на перрон. Здесь люди стояли группами около дверей длинных домиков на колесах, не рычали, не толкались, а, наоборот, обнимались, целовались и даже плясали в одном месте, у двери домика. Никому не было дела до Бима, потому он свободно сновал челноком под ногами и сосредоточенно вчитывался в перрон.

И вдруг у одной из дверей пахнуло Дашей. Бим потянул к порогам, но женщина с большим жетоном на груди отогнала его. Однако Бим не сдался: он стал пронюхивать окна и всматриваться в них. Потом заметил, что последними вошли в домик две женщины в белых халатах. Он бросился было к ним, но домики потихоньку поехали. Бим кинулся к окнам. В его собачьем уме возникли совершенно, казалось, правильные заключения: Даша

там, люди в белых халатах там, значит, Иван Иваныч может быть там тоже. Может! Не увезли ли его люди в белых халатах?

И Бим, бедный Бим, теперь уже несчастный Бим, сначала легко бежал вровень с домиком, заглядывая в окна. Тут-то и увидела его Даша.

— Бим! Би-им!! — закричала она.— Милый Бим! Пришел проводить! Мой добрый Бим! Би-и-м! Би-и...

Голос ее становился все тише и тише. Домик убегал. А Бим, как ни старался, как ни напрягался изо всех сил, все отставал и отставал.

Потом он бежал некоторое время за последним домиком до тех пор, пока тот не скрылся из виду, бежал и дальше, по той же дороге, потому что она никуда не сворачивала. Долго бежал. И наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, даже жить не хотелось.

Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно — тихо, без ропота, в страданиях, неизвестных миру. Не дело Бима и не в его способностях понять, что если бы не было надежды совсем, ни одной капли на земле, то все люди тоже умерли бы от отчаяния. Для Бима все было проще: очень больно внутри, а друга нет, и все тут. Как лебедь умирает после потери любимой, взмывая вверх и бросаясь оттуда камнем; как журавль, потеряв родную и единственную журавлиху, вытягивается плашмя, распластав крылья, и кричит, кричит, прося у луны смерти; так тогда и Бим: лежал, видел в бреду единственного и незаменимого друга и готов был ко всему, даже не сознавая этой готовности. Но он теперь молчал. Нет на земле ни единого человека, который слышал бы, к а к умирает собака. Собаки умирают молча.

Ах, если бы Биму сейчас несколько глотков воды! А так, наверно, он не встал бы никогда, если бы...

Подошла женщина. Она была в ватном пиджаке и ватных же брюках, голова повязана платком. Сильная, большая женщина. Видимо, она сперва подумала, что Бим уже мертв,— наклонилась над ним, став на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослабел со времени прощания с другом, что ему, конечно, нельзя было устраивать такой прогон, какой он совершил за

поездом,— это безрассудно. Но разве имеет значение в таких случаях разум, даже у человека!

Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла:

— Что с тобой, собачка? Ты что, Черное ухо? За кем же ты так бежал, горемыка?

У этой грубоватой на вид женщины был теплый и спокойный голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице воды, снова приподняла голову

Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине. Она поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно, тяжко до жути — провожать навсегда, это все равно что хоронить живого.

Она каялась Биму:

— Я вот — тоже... И отца, и мужа провожала на войну... Видишь, Черное ухо, старая стала ...а все не забуду... Я тоже бежала за поездом... и тоже упала... и просила себе смерти... Пей, мой хороший, пей, горемыка...

Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел женщине в глаза и сразу же поверил: хороший человек. И лизал, лизал ее грубые, в трещинах, руки, слизывая капельки, падающие из глаз. Так второй раз в жизни Бим узнал вкус слез человека: первый раз — горошинки хозяина, теперь вот— эти, прозрачные, блестящие на солнышке, густо просоленные неизбывным горем.

Женщина взяла его на руки и снесла с полотна дороги под откос:

— Лежи, Черное ухо. Лежи. Я приду,— и пошла туда, где несколько женщин копались на путях.

Бим смотрел ей вслед мутными глазами. Но потом с огромным усилием приподнялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та оглянулась, подождала его. Он приплелся и лег перед нею.

— Хозяин бросил? — спросила она.— Уехал?

Бим вздохнул. И она поняла.

Подошли они к той группе работающих. Все здесь были — женщины, одеты так же, как и Хороший человек, а сбоку стоял и мужчина, в треухе на затылке и с трубкой в зубах. Он спросил сердито:

— За собакой увязалась, Матрена? А кто будет работать? Эх ты, Матрена, Матрена... Одно слово — Матрена.— И тыкал пальцем в ее сторону.

Бим уловил: Хороший человек — это Матрена. Она приказала ему лежать у обочины, а сама взяла какие-то огромные клещи и вцепились ими в шпалу вместе с другими женщинами.

— Раз-два, взяли! — рявкнул мужчина.— Еще разик! Еще раз! — орал он подбоченясь и даже гордо.

На каждый его крик женщины отвечали дружными

рывками так, что бревно подчинялось и ползло за ними, зажатое со всех сторон клещами. При каждом таком рывке лица женщин напрягались до красноты, а у одной из них, худосочной и квелой, наоборот, лицо бледнело и даже синело. Эту Матрена отстранила рукой и сказала ей так, как когда-то говорил хозяин Биму, отгоняя его:

— У й д и! Отдохни, а то богу душу отдашь.— И к мужчине: — Ну, кричи, что ль, антихрист!

— Раз-два, взяли! — гаркнул тот и, поправив треух, стал выводить как бы с огромным трудом:— Ой, бабочки, еще раз! Муж уехал на Кавказ! Не доехал до Кавказа! Оженился там, зараза! Стоп! Ложи струмент!

Слово «зараза» Бим уже слышал от Курносого дядьки: плохое слово. Других слов он не понял.

А женщины положили в сторону клещи, взяли железные клинья и стали забивать их тяжелыми и длинными молотками. Матрена легко, вроде бы играючи, вколачивала штырь тремя ударами, а Квелая при каждом ударе охала, стонала:

— Ах-ха! Ох-ха!

— Давай, давай! — покрикивал Зараза, набивая трубку.— Давай, давай, Анисья! — Он приблизился к женщине: — С потягом бей, с потягом на себя — легче пойдет.

Анисья — это квелая. Она дольше других возилась с каждым клином и в конце концов оказалась на отшибе. Странное для женщин произошло тут событие и непонятное: Бим подошел к Анисье расслабленной походкой и тоже, как Матрене, полизал горькие брезентовые рукавицы. Все приостановили работу и с удивлением смотрели на Бима.

Потом они, по приказу Заразы, сели все под кустами и обедали, каждая из своего узелка. И покормили Бима. Он ел. Теперь он уже брал пищу из рук хороших людей. Это было его спасением.

К вечеру он забеспокоился: подходил к Матрене, садился, вяло семенил передними лапами, смотрел ей в лицо, снова отходил, ложился, но вскоре опять подходил и снова отдалялся.

— Уйти хочешь, Черное ухо,— догадалась Матрена.— Ну, иди, ступай, Черное ухо. Куда же я тебя дену? Некуда. Иди.

Бим попрощался и пошел, медленно, шагом, не по-собачьи. Пошел вдоль железной дороги обратно. Дорога есть дорога, она указывает, куда идти,— никогда не собьешься, если взял правильное направление. Только вот все тело мучительно ныло от вчерашних побоев Серого, трудно было дышать на ходу, но — что поделаешь! — идти надо, благо он подкрепился у добрых женщин, да и тропинка по бровке была гладкой и ровной. Постепенно втянувшись, он легонько-легонько и затрусил. Как же живучи собаки и отходчивы!

Если посмотреть со стороны, ничего особенного в этом не было: по полотну железной дороги семенила хворая собака. И только.

Ближе к городу из одного пути стало два: еще пара железных непрерывных полос потянулась рядом. Потом их стало три. Недалеко от будочки неожиданно заморгали поочередно два красных глаза: левый, правый, левый, правый — метались из стороны в сторону. Красное для всех зверей неприятно; волк, например, не в силах даже перепрыгнуть линию красных флажков, а лисица, обложенная ими, остается в кольце на двое-трое суток и больше. Так что Бим решил обойти громадные красные живые глаза. Он сошел на третью линию рельсов, остановился, вглядываясь в моргающее красное, еще не решаясь идти дальше. И вдруг под ногами что-то скрежетнуло...

Бим взвыл от страшной боли, но никак не мог оторвать лапу от рельсов: на стрелке лапа попала в могучие тиски. Из воя Бима и можно было понять только одно: «Ой, больно! Помоги-ите-е!»

Людей поблизости нет. Люди не виноваты. Отгрызть собственную лапу, как это делает иногда волк в капкане, собака не может, она ж д е т помощи, она н а д е е т с я на помощь человека.

Но что это? Два огромных ярких белых глаза осветили путь и самого Бима, они ослепили его, надвигаясь медленно и неумолимо. Бим сжался в комок от боли и страха. И замолчал в предчувствии напасти. Но гремящее существо с такими глазами остановилось шагах в тридцати, а в зону света выпрыгнул из темноты человек и подбежал к Биму. Потом, сразу же, появился и второй.

— Как же ты попал, бедняга? — спросил первый.

— Что же делать? — спросил у первого второй.

От них пахло почти так же, как от шоферов, оба были в фуражках с большими медалями.

— За остановку нам влетит, хоть мы и рядом со станцией,— сказал первый.

— Теперь все равно,— отозвался второй и пошел в будочку.

Наш бедный Бим понял по интонации (не по словам): это его спасители. Он слышал, как пронзительно зазвонил в будочке звонок, а через минуту тиски отпустили лапу. Но Бим не двигался, он оцепенел. Тогда его взял человек и отнес за линию дороги. Там Бим закрутился волчком на месте, зализывая раздавленные пальцы. И, однако (до чего же собаки наблюдательны!), он слышал говор из окон и дверей поезда; теперь, не ослепленный светом, он видел поезд из темноты сбоку; разные голоса повторяли слова «собака» и «охотничья», слова очень понятные.

Бим был благодарен хорошим, добрым людям. Вот так. Где-то, кто-то перевел стрелку той дороги, по которой доверительно шел Бим. И никакому «кто-то» нет теперь дела до того, что какой-то собаке защемило ногу и она стала калекой. Как бы там ни было, но теперь он уже никогда не пойдет по железной дороге: это он понял так же, как понял еще в юности, что там, где бегут автомобили, ходить нельзя.

Бим попрыгал на трех ногах, измученный, изуродованный. Он часто останавливался и лизал онемелые и уже припухшие пальцы больной лапы, кровь постепенно утихла, а он все лизал и лизал до тех пор, пока каждый бесформенный палец не стал идеально чистым. Это было очень больно, но другого выхода не было; каждая собака это знает: больно, но терпи, больно, а ты лижи, больно, но молчи.

...К родной двери он прихромал далеко за полночь. Нет! Опять нет следов Ивана Иваныча. Бим хотел поцарапаться в дверь, как и обычно, но, оказалось, нельзя: с больной ногой невозможно не только встать на задние лапы, но даже и сесть,— только стоять на трех ногах или лежать плашмя. Тогда он уткнулся носом в угол двери и проверил запахи внутри: хозяина не было. Значит, уехал совсем. Так он стоял долго, как бы поддерживая головой ослабевшее тело. Затем подошел к двери Степановны и громко, коротко, в отчаянии сказал:

«Гав!» (Я тут.)

Степановна ахнула:

— Ах, боже ж ты мой! Да где же тебя так-то? — Открыла дверь, впустила и вошла с ним в его квартиру.— Ой ты, собака, собака, несчастная собака, что же мне с тобой делать-то теперь? И что скажет Иван Иваныч?

Бим только было лег посреди комнаты, вытянув ноги, но... Как так? «Иван Иваныч»? Бим поднял голову, повернул ее с усилием к Степановне и смотрел, смотрел на нее, не спуская глаз, он явно спрашивал: «Иван Иваныч? Где?»

Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, как кормить и ухаживать, она, однако, умела жалеть. Может быть, чувство жалости и помогло ей теперь понять Бима, догадаться, что слова «Иван Иваныч» пробудили в больной собаке проблеск надежды.

— Да, да, Иван Иваныч,— подтвердила она.— Подожди-ка: я сейчас приду.— Торопливо выйдя, она сразу же и вернулась с письмом в руках, поднесла его к носу Бима:— Видишь вот? Письмо прислал Иван Иваныч.

Бим, бедный Бим, умиравший и воскресший, раздавленный и спасенный, больной и без капли надежды, Бим задрожал. Он уткнул нос в письмо, потом прошелся ноздрями по краям: да, да, да... вот он сильно провел пальцами по конверту туда-сюда... Когда Степановна подняла конверт с пола и вынула из него письмо, Бим с усилием встал и потянулся к ней; теперь достала из того же конверта совершенно чистый лист бумаги и положила его перед Бимом. Он завилял хвостом: здесь написан запах пальцев Ивана Иваныча, да, это он нарочито тер пальцами.

— Тебе прислал-то,— сказала Степановна.— Так и пишет: дайте Биму этот чистый лист.— Она близко указывала на бумагу, приговаривая: — Иван Иваныч... Иван Иваныч...

Бим вдруг расслабленно опустился на пол и вытянулся, положив голову на лист. Из глаз его покатились слезы. Бим плакал первый раз в жизни. Это были слезы надежды, счастливые слезы, скажу я вам, лучшие в мире слезы, не хуже, чем слезы радости встреч и счастья.

...Дай-то бог, дорогой читатель! Но верь мне: сеттер умеет смеяться и плакать.

...Степановна начинала понимать собаку, но она поняла и то, что ей не справиться, не осилить одной, не может. Долго она сидела около Бима и думала о своей жизни. И так ей захотелось в деревню, где она родилась и выросла, так стало тоскливо в этих каменных клетках, где люди годами не знают друг друга, живя в одном доме, даже — в одном подъезде. Но все же догадалась она дать Биму воды.

Ой как надо было ему воды!

Он, чуть привстав, пил жадно, теряя капли на пол, а потом снова лег в том же положении. Бим закрыл глаза, казалось, забылся.

Уже перед рассветом Степановна вышла, так тихо, будто боялась беспокоить тяжело больного человека.

А посреди комнаты лежала всего лишь одинокая собака.

Сколько Бим проспал, он не знал: может, несколько часов, может, и сутки. Проснулся от жгучей боли в ноге. Был день, потому что светило солнце. Несмотря на боль, он понюхал листок. Запах хозяина стал слабее и дальше, но это было уже не важно. Главное в том, что он есть, где-то есть, и его надо искать. Бим встал, напился из миски и заходил по квартире на трех ногах; было больно, но он ходил, ходил, ходил из комнаты в прихожую и обратно, кружил по комнате. Инстинкт ему подсказывал: если отлежал один бок, если больно, то надо ходить. Вскоре приспособился передвигаться, не причиняя боли раздавленной лапе: ее надо слегка поднимать вверх, а не волочить над полом — тогда боль меньше. Когда же Степановна принесла еду, он уже повилял ей хвостом, порадовал, а потом и поел.

И почему, собственно, не поесть, если появилась надежда и возникли в собачьей голове два магических слова — «искать» и «ждать».

Но сколько он ни просился, сколько ни требовал, Степановна не выпускала его. (Сиди дома, ты — больной.)

Но наконец и тут она уяснила, что Бим — существо живое, что ему тоже надо выйти по надобности. Она, безусловно, не знала, что были случаи, когда собаки уми-

рали от разрыва кишечника или задыхались при запорах, если тех собак не выпускали более трех дней. А такие случаи были не раз.

Большая человеческая жалость и доброта души руководили Степановной в ее жизни. Только и всего. Она прицепила поводок к ошейнику и пошла. А Бим захромал рядом.

Во дворе, в дальнем углу, стояли двое: старая седая женщина и хромая худущая собака — вот такая получилась картина.

Ребятишки выскакивали из подъездов, спешили в школу, но многие из них подбегали и спрашивали:

— Бабушка, бабушка, почему Бим на трех ногах?

Или так:

— Бимка, больно тебе?

Но в школу бежать надо: это большая ответственность — ходить в школу, самая первая ответственность в жизни — перед семьей, перед учителем, перед друзьями. Потому они и не задерживались, убегали. Это обстоятельство оказалось очень важным и для Степановны, и для Бима, хотя они ничего не подозревали, а просто ушли домой, когда наступило к тому время.

У подъезда встретил их Палтитыч (Павел Титыч Рыдаев) и обратился к Степановне:

— Такое дело, значит. Кобель этот — собака стоящая, и ее надо беречь. Раз уж хозяин дал тебе поручение, то вот тебе совет: привяжи на цепь. Обязательно. Иначе убежит. Не укараулишь. Выскочит в дверь, и — каюк.

— Да разве ж можно такую умную собаку на цепь? — не очень уверенно возразила Степановна.

— Что: и тебя надо воспитывать? Учти: без хозяина и без цепи кобель почует волю. И — каюк.

— Да он же обозлеет, цепной сделается.

— Пойми ты, темный ты человек! Обозлеет — зато жив будет. На цепь, на цепь — вот тебе и вся моя инструкция. Добра желаючи говорю: на цепь!

Не подчиниться председателю домкома Степановна не могла, поэтому она купила цепочку за рубль десять и на ней выводила Бима во двор. Но дома отцепляла ее от ошейника и бросала в уголок. Хитрая бабушка Степановна — и волки сыты, и овцы целы. Впрочем, ей самой пришлось выходить с Бимом всего лишь два-три раза, причиной чего оказались необыкновенные события, развернувшиеся вокруг имени Бима.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ, ЛОЖНЫЕ СЛУХИ, ТАЙНЫЙ ДОНОС НА БИМА И ОТСТУПЛЕНИЕ АВТОРА

В школе, делясь новостями, ребятишки на первой же перемене распространили слух: есть в их дворе собака — ходила на четырех ногах, а теперь на трех, и худущая-прехудущая, а была не худущая, и она была гладкая, а теперь взлохмаченная, была веселая, а теперь унылая, и зовут ее Бим; хозяина увезли в Москву на операцию, а водит ее теперь бабушка Степановна.

Слух дошел до одного из учителей-методистов, тот на очередном районном собрании работников просвещения осветил это на следующий день в интересном выступлении приблизительно так: растет молодое поколение отличное, оно «приобщается к идее доброты, включающей в себя жалость, как таковую, ко всему живущему на Земле». Все это он подтвердил глубоким, опять же, интересом одной школы даже к какой-то неизвестной собаке с черным ухом, хозяина которой надолго положили на операцию.

Три дня подряд во всех школах района города учителя говорили детям о жалости к животным и рассказывали, как хорошо и тепло отнеслись в школе номер такой-то к собаке. Но наиболее осторожные, однако, предупреждали, что собака, в таком случае, не должна быть бешеной, чего и следует остерегаться. В школе, где учился Толик, учительница рассказывала об этом же, но просто и душевно.

— Ну, подумайте, дети, вы только подумайте! — говорила она. — Какой-то жестокий человек оторвал у собаки ногу. (Так несколько изменился слух уже среди учителей: слух есть слух!) Это недостойно советского человека! А несчастная собачка с черным ухом навеки калека.— Она нашла в тетради нужную страничку и продолжала: — Теперь, дети, напишем сочинение, маленькое и теплое, на свободную тему: «Я люблю животных». Для свободного изложения и для того, чтобы вы чего-нибудь не напутали, вот вам планчик-вопросник.

И она написала мелом на доске, глядя в тетрадку:

1. Как зовут вашу собаку?
2. Белая она, черная или какая?

3. Острые у нее уши или вислые?
4. С хвостом она или с коротышкой?
5. Какой она породы, если это известно дома?
6. Ласковая она или злая?
7. Играешь ли ты с ней, а если играешь, то как?
8. Кусается она или нет? Если кусается, то — кого?
9. Любят ли ее папа и мама?
10. За что ты любишь собаку?
11. Как ты относишься к другим животным (куры, гуси, овцы, олени, мыши и другие)?
12. Видел ли ты когда-нибудь лося?
13. Почему корову доят, а лося не доят (домашние животные и дикие)?
14. Надо ли любить животных?

Толик сидел как на иголках, он не мог ничего писать. В общей тишине он спросил, не выдержав:

— Анпална, а как зовут собаку с черным ухом?

Учительница посмотрела в блокнот и ответила:

— Бем!

— Бим! — вскрикнул Толик, взбудоражив этим возгласом весь класс.— Отпустите меня, Анпална. Пожалуйста! Я пойду искать Бима, я его знаю — он очень добрый. Пожалуйста! — просил он жалобно, готовый в благодарности целовать руки Анпалне.

— Толя! — строго обратилась к нему Анна Павловна.— Ты мешаешь другим работать. Думай и пиши сочинение.

Толик сел. Он смотрел на чистый лист тетради, а видел Бима. Казалось, он сосредоточился на свободной теме вместе со всеми, но он написал только одно заглавие: «Я люблю животных». Лишь незадолго до звонка он начал быстро-быстро сочинять ответы. Даже и после звонка он на некоторое время задержался, а Анна Павловна, как обычно в таких случаях, сидела за столом и терпеливо ждала. Наконец Толик, мрачный, неизвестно чем недовольный, положил перед Анной Павловной свое сочинение. И вышел.

Его работа, таким образом, была сдана самой последней, поэтому, как и всегда, Анна Павловна прочитала ее самой первой (сверху лежит).

Толик точно, даже с превышением, ответил на все вопросы свободной темы. Его творение включало даже и

поэтические опыты, хотя и с явным плагиатом из популярной песенки, знакомой каждому малышу. В общем же все выглядело так:

«Я ЛЮБЛЮ ЖИВОТНЫХ

Ее зовут Бим. Она белая с черным ухом. Уши вислые. Хвост настоящий. Порода охотничья, не овчарка. Ласковая. Играл один раз, но какой-то дядька-зуда увел, дурной старикан и неподобный ни на что. Не кусается. Мама и папа ее любить не могут, она чужая, с желтой табличкой на шее. За что люблю, не знаю, просто так. Кур, гусей, овцы, олени, мыши люблю, но мышей боюсь. Лося пока не видел, они в городе не живут. Корову доят, чтобы было молоко в магазинах и чтобы выполнялся план. («А ведь он дефективный!» — подумала Анна Павловна.) *Лося не доят потому, что в магазинах не бывает лосиного молока и оно никому не нужно. Животных любить надо, а собака лучший друг человека. Я сочинил песенку сейчас!*

И лось хорошо,
И олень хорошо,
И мышь хорошо,
А собака лучше.

Еще я заводил морских свинок, но мама сказала, они очень пахучие в квартире, нос зажимай, и отдала чужой девочке. А Бима я все равно найду, пусть даже вы меня и не отпустили. Все равно найду, сказал найду и найду. Хоть вы Анна Павловна, мне все равно».

У Анны Павловны глаза на лоб полезли: «Он же из рамок вон выскочил! Он же черт-те о чем думает. В тихом омуте...» Последнюю мысль она не стала додумывать дальше, так как была педагогом, а просто, с сознанием долга, поставила двойку.

Вот ведь как оно выходит. Анна Павловна была на хорошем счету, дети ее, похоже, любили и слушались, за исключением некоторых, без каковых, впрочем, не обходится ни в одном классе. Воспитание — штука сложная, сложнейшая, скажу я вам, потому, видимо, Толик и написал такое, одно из первых своих, сочинение: просто-напросто от необъяснимой обиды и, конечно, несознательно, если иметь в виду, что о морских свинках и Анне Павловне никаких вопросов в теме не было. Может быть,

с возрастом он и поймет свою ошибку детства, но пока ему этого не сообразить. Он даже не пришел в класс после перемены. А это уже — ЧП!

Толик поехал из своего нового района в другой, старый, в ту школу №... и допытался-таки у ребят обо всем: когда они видели Бима и где он живет. К радости своей, он узнал также, что нога вовсе не оторвана, а только висит. И пошел с ребятами в тот дом, к Биму.

Он нажал кнопку звонка. Бим ответил вопросом: «Гав!» (Кто там?)

— Это я — Толик! — крикнул гость. Потом услышал, как Бим, прислонив нос к щели, фыркал и втягивал воздух.— Бим, это я — Толик.

Бим взвизгнул, залаял. Так он кричал: «Здравствуй, Толик!»

И мальчик его понял, впервые понял фразу из собачьего языка.

Степановна, услышав лай и разговор человека с собакой, вышла:

— Ты чего, мальчик?

— Я — к Биму.

Выяснилось все без труда. Они вошли вдвоем.

Толик не узнал Бима: поджарый, без живота, сваляв-
шаяся шерсть, кособокая походка, выпирающие наружу ребра — нет, это не Бим. Но глаза, умные и полные ласки, сказали: «Я — Бим». Толик присел на корточки и дал волю собаке. Бим, обнюхивая его, лизал пиджачок, подбородок, руки и наконец положил мордаху на носок ботинка Толика. Казалось, он успокоился.

Все рассказала Степановна Толику, незнакомому мальчику, все, что знала о Биме и об Иване Иваныче, но не могла только объяснить, где и кто раздавил лапу.

— Судьба,— определила она.— И у каждой собаки — своя судьба.

Говорила она с мальчиком спокойно, хоть и с горечью, не кичась своей старостью и не подозревая своего большого жизненного опыта, на равных.

— А где табличка? — спросил Толик.— Была же. Я читал.

— Была. Тебя как звать-то?

— Толик.

— Толик — это хорошо... Была. Кто-то снял, стало быть.— Толик подумал: «Он снял, Серый дядька». Но

все-таки вслух не произнес, поскольку не был еще уверен в этом.— И что я с ним буду делать, господи? — спросила Степановна, глядя на Бима.— И жалко-то, и что делать — не знаю. Витинара бы ему.

— Ветеринара,— поправил Толик, тоже не ощущая своего превосходства, и ответил на вопрос «что делать»: — Я буду приходить каждый день после школы, буду его водить. Можно?

Так нашелся у Бима новый маленький друг. Он ежедневно, после обеда, ехал через весь город к Биму, ходил с ним по двору, по улицам, по парку и, к удовольствию всех ребят, говорил гордо:

— Собака — лучший друг человека.

Смысл в этих словах был совсем иным, чем в сочинении, написанном от обиды.

Но твердо решил Толик: найти того Серого дядьку и поговорить начистоту. В своем новом районе он стал его подкарауливать. И все-таки встретил лицом к лицу.

— Дяденька,— спросил он, приподняв козырек фуражки и заложив руки за спину,— зачем вы сняли табличку с Бима?

— Ты что — очумел, мальчик? — ответил тот вопросом на вопрос.

— Вы же его увели с табличкой. Я видел не один.

— И отпустил с табличкой. Он же меня укусил! Небось отпустишь, если кусается как волк.

— Вы, дяденька, врете: Бим ласковый пес.

— Я? Я вру, щенок?.. Где твои родители? Где твои родители? Говори! — присучился он.

Отчасти Серый был прав. Именно отчасти: он не врал, что был укушен Бимом, и имел полное право возмущаться, но он врал, что будто бы не снимал табличку с ошейника. Первопричиной происшедшего он считал укус Бима, но не снятие таблички, а перестановка местами причины и следствия всегда очень выгодный прием доказательства. Он был глубоко убежден, что говорит правду, но то, что он говорил не всю правду,— это его уже не касалось. А кто знает, где она, причина, и где следствие: собака укусила сначала или табличка снята сперва? Это так и останется тайной для всех. Но Толик был глубоко убежден в том, что Бим укусить Серого не мог, потому что он— человек, а не заяц какой-нибудь или лисица. Потому он и повторил еще раз:

— Вы обманываете меня, дяденька. Это — стыдно.

— Бр-рысь! — гавкнул дядька. И ушел, прихрамывая и отставляя зад в сторону (видимо, здорово тяпнул его Бим).

Удивительно, как бывают правы обе стороны, когда один говорит полуправду, а другой не знает второй половины правды.

Серый же шел и думал: «Пойдет с теми сопляками в милицию, доложит, они придут, увидят коллекцию... Нет, юбилейный, пятисотый не отдам. За него можно дать двадцать знаков любых». И он решил: «Лучший вид обороны — нападение».

Дома он написал заявление, а затем отнес его в ветеринарный пункт. Там прочитали:

«...Бежала собака (беспородный сеттер с черным ухом), с разлету укусила, вырвала из соответствующего места моего организма кусок мяса и убежала дальше... Бежала она как бешеная, опустивши и хвост, и голову к земле, глаза были налитые кровью... Либо ее изловить и уничтожить, на что дать распоряжение бригаде ловцов бродячих собак, либо я буду жаловаться выше на ваш бюрократизм и бездушие в деятельности...» и т. д.

Ветврач заволновался:

— Куда укусила? Когда? Где? При каких обстоятельствах?

Серый врал, как заправский сочинитель, только без малейшего воображения. Для врача же все было ясно из личного документа укушенного, а именно: укушен бродячей собакой на улице! Он снял трубку телефона и вызвал дежурного пастеровского пункта.

Вскоре, буквально через несколько минут, приехала на автомобиле женщина-врач, спустила брюки Серого, глянула, спросила:

— Сколько дней прошло?

— Дней десять,— ответил невольный пациент.

— Через четыре дня сбеситесь,— категорически утвердила врач. Но так как пациент ничуть не заволновался от такого приговора, у нее возникли, видимо, какие-то сомнения, что ли, и она спросила: — А сколько месяцев вы не купались?

— С третьей субботы перед укушением. Боялся засорить, как бы антонов огонь не схватить... Место-то серьезное...

Вмешался ветврач:

— Место у вас действительно серьезное. Как телевизор. (Он был шутником, этот симпатичный ветврач.)

— Что же вы наделали! — воскликнула женщина-врач, еще раз присмотревшись к ране.— На пункт, на пункт, на пункт! Немедленно уколы против бешенства... в живот... в течение шести месяцев.

— Да вы что, очертенели! — взревел Серый дядька.

— Ничего не очертенели,— спокойно обрезал его ветврач.— Не подчинитесь — будем силой действовать, через милицию, дома вас возьмут, если вы такой темный человек.

— Я? Темный человек?! — вскричал Серый.— Да вы знаете, где я в свое время работал?!

— Меня это не касается,— ответила врач.— На пункт! — добавила она еще строже, чем прежде.

Теперь доносчик регулярно должен был ходить на уколы в определенные дни и часы. Мало приятного, попал как кур во щи: кобель — в задницу, а доктора — в живот.

А дальше было так.

Как уж они сошлись с Теткой той — неизвестно, но как-то сошлись. Может быть, они были знакомы давно (пожалуй, так оно и было), но в тот день они встретились на улице. Такие чуют друг друга так же, как рыбак рыбака, дурак дурака, а клеветник клеветника. Сошлись, значит, и разговорились. Выяснилось, что он кособочится от укуса собаки с черным ухом.

— Да я же ее знаю! Ей-богу, знаю! — всхрапнула Тетка.— И меня кусала.

Серый-то знал, что она врет, однако же сказал так:

— Я лично написал заявление, чтобы ее изловили и уничтожили. Так подсказывает мне совесть.

— И правильно подсказывает! — с воодушевлением поддержала Тетка.

— А вы тоже напишите... если, конечно, вы честный человек.

— Я? Я не отступлю!

И она в тот же день отнесла заявление туда же, в ветеринарный пункт. В глубине души Серый думал (про себя думал): «Раз соврала, то пусть-ка тебя доктора — в животик». Он не любил, когда ему говорили неправду, и гордился этим. Ну, Тетка и попала тоже как кур во

щи: вопила, ругалась, врала по мере надобности, в частности про то, что ранка была небольшая и уже зажила, тыкала пальцем в старый шрамчик на руке и еще кричала, что она, как честная советская женщина, написала для пользы дела, а ее за то наказывают в живот.

Странно, но почему-то ее отпустили, записав адрес, и сказали, мол, заедем завтра на дом для выяснения. Как бы там ни было, но Тетка возненавидела Бима лютой ненавистью, Серого — тоже, но несколько меньше, хотя он и подвел ее под монастырь.

В связи с такими двумя заявлениями через два дня в областной газете появилось объявление:

«Есть основание полагать: собака, беспородный сеттер, ухо черное, кусает прохожих. Знающих местопребывание таковой, а также укушенных просим сообщить по адресу... на предмет изловления для анализа и ликвидации возможных последствий. Граждане! Берегите свое здоровье и здоровье других — не молчите»... и т. п.

В ближайшие дни немедленно посыпались письма читателей. В одном из них сообщалось:

...(такого-то числа и месяца сего года)... бежала собака в направлении к вокзалу (беспородный сеттер, ухо черное), она не разбирала ничего и перла напрямую; так здоровые духом собаки не бегают — напрямую или наискосок через площадь, а обходят препятствия или предметы, встречающиеся на пути следования. Хвост был опущен вниз, и морда была действительно опущена вниз. Вышеупомянутая собака (беспородный сеттер, черное ухо) вполне опасна, может укусить любого гражданина Советского Союза и даже иностранного туриста, каковые есть, а потому ее следует ловить и ликвидировать без никаких исследований, о каковых упомянуто в объявлении вашей уважаемой нами газете».

Под петицией стояло двенадцать подписей.

Были и другие письма (всех не упомянешь). Ну, например, такое: «...Точно такая же собака, но без черного уха, бежала тоже напрямую»... Или: «Город забит собаками, а которая из них бешеная, понять невозможно никак». Или: «И вовсе та собака не бешеная, сами вы бешеные, витинары». Или: «Если облисполком не может поставить на широкую ногу организацию планомерного, рассчитанного на года, уничтожения собак, то куда мы

идем, товарищ редактор? Где план? Где действенная критика и почему вы к ней не прислушиваетесь? Хлебы-то мы умеем печь, а вот охранить здоровье трудящегося гражданина — кишка тонка. Я — честный человек и говорю всегда в глаза одну матку-правду. И не боюсь я никого, кстати. А вы подумайте над теми моими словами. Мне уж терпеть нету мочи: пишешь, пишешь, а толку ноль».

В общем, писем было так много, что развернулась дискуссия, следствием чего явилась редакционная статья «Том в квартире», где приводились выдержки из письма доцента пединститута. Тот доцент был явным собаконенавистником. Почему это так, трудно догадаться, но воспитательное значение для детей и юношества его высказывание имело огромное: если они его поймут правильно, то с малых лет будут душить собак, заботясь о здоровье трудящихся, а на человека, содержащего дома собаку, будут коллективно и дружно кричать на улице: «Бездельник!» (таким словом доцент обозвал людей, любящих собак), «Грязнуля!» (тоже творчество того доцента).

Как уже сказано выше, всех писем перечислить не представляется возможным, но одно приведем все-таки, последнее. Оно было из двух строк. Читатель просто задал вопрос: «А на обоих ухах по черному если — бить?» То был читатель-практик, далекий от абстрактного восприятия мира. Но тем не менее это письмо не попало ни в статью, ни вообще на страницы печати и даже осталось без ответа. Только подумать! Какое неуважение к запросам человека, предлагающего свои услуги.

Есть, есть еще читатель отзывчивый, не перевелся, слава богу. Такой читатель не пропустит возможности высказаться и заклеймить. Так вот и в нашей истории: Бима искали уже по всему городу, опорочили добрую собаку. А за что? Ладно: пусть он укусил, скажем,— это правда, а обстоятельства при укушении и то, что он бешеный,— это сущая неправда. Заботливый читатель смешал все это вместе не по своей вине: он не подозревал клеветы, а у нее хоть и короткие, но зато прочные ноги.

Но редактор вовремя заметил, что дискуссия эта — стихийная, вызванная, видимо, укушенным человеком, дискуссия вовсе не организованная, а самотечная. И он поступил мудро — дал объявление нонпарелью (тем

шрифтом, какой никогда не пропустит устойчивый читатель): «Собака Черное ухо — поймана. Редакция прекращает дискуссию на эту тему. Рукописи не возвращаются».

Редактор тот был юморист, чего «читатель-борец» терпеть не может.

Но то была неправда: Бима никто не изловил. Просто-напросто Толик, узнав в школе про объявление, нашел перед вечером квартиру ветврача, позвонил, а когда ему открыли, сказал:

— Я — от Черного уха, от Бима.

Выяснился вопрос незамедлительно: на следующий день Толик поехал к Биму и отвел его, трехногого, на ветеринарный пункт к врачу. Тот осмотрел, сказал:

— Враки — вся эта дискуссия. Собака не бешеная, а больная. Избитая и изуродованная. Эх, люди! — как-то неопределенно вздохнул он.

Зато осмотрел больную лапу, ослушал внутренности, выписал мазь для ноги, дал микстуру для внутренностей и, провожая друзей — мальчика и собаку, спросил на прощанье:

— Тебя как же зовут, герой?

— Толик.

— Ты хороший мужик, Толик. Молодец!

Бим, уходя, тоже поблагодарил врача. От него пахло лекарствами, но он вовсе не был больной, а наоборот, высокий, мужественный человек с добрыми глазами.

«Хороший человек,— сказал ему Бим хвостом и взглядом.— Очень хороший вы человек!»

...Читатель-друг! Не тот читатель, что мнит, будто без его клеймящих писем собаки поедят всех граждан и гражданок, нет — не тот. Другой — мой читатель, к тебе обращаюсь. Прости, что в лирическо-оптимистической повести о собаке я иногда напишу одну-две сатирические картинки. Не обвиняй в нарушении законов творчества, ибо у каждого писателя свои «законы». Не обвиняй, дорогой, и в смешении жанров, ибо сама жизнь — смешение: добро и зло, счастье и несчастье, смех и горе, правда и ложь живут рядом, и так близко друг к другу, что иногда трудно отличить одно от другого. Хуже мне было бы, если б вдруг ты заметил у меня полуправду. Она похожа на полупустую бочку. А ведь разницу между полупустой и полуполной бочкой доказывать нет смысла.

Главное, я за то, чтобы писать обо всем, а не об одном и том же. Последнее вредно. Ты подумай! Если писать только о добре, то для зла — это находка, блеск; если писать только о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать; если писать только о серьезно-прекрасном, то люди перестанут смеяться над безобразным.

Впрочем сказать, я ведь и пишу только о собаке. В подтверждение чему следуют дальнейшие главы занимательных и, замечу кстати, не всегда веселых историй с нашим добрым Бимом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЗА ДЕНЬГИ

Благодаря стараниям Толика и Степановны Бим поправлялся. А недели через две лапа стала заживать, хотя и осталась разлапистой, широкой по сравнению с остальными; Бим уже пробовал на нее наступать, но пока еще так, немножко — только пробовал. Расчесанная Толиком шерсть придала Биму вполне пристойный вид. А вот голова стала болеть не переставая: от ударов Серого что-то в ней будто сместилось. Иной раз Бим испытывал головокружение; тогда он останавливался, ждал в удивлении, что же с ним будет, но потом, слава богу, прекращалось до следующего приступа. Так вот и у человека, травмированного или ошеломленного несправедливостью, неожиданно, не сразу, а через некоторое время, вдруг зашумит в ушах, закружится голова, заскочит не туда сердце, и он, покачиваясь, останавливается и ждет в горестном удивлении, что же с ним будет; потом действительно проходит, а иногда даже и не повторяется. Все бывает и все проходит. Человек — тоже животное, только более чувствительное.

...Лишь поздней осенью, уже по устойчивым заморозкам, Бим пошел на четырех ногах, но так-таки и прихрамывал — нога почему-то стала чуть короче. Да, Бим остался калекой, хотя с головой дело будто бы и уладилось. Истинно: все бывает и все проходит.

Это еще ничего бы, но хозяина-то нет и нет. И листок письма давно уже ничем не пахнет, а лежит в углу как

обыкновенная, всегда бесполезная бумага. Бим уже мог бы снова искать друга, но Толик не спускал с поводка, когда с ним гулял. Толик все еще боялся и того объявления в газете, и Серого дядьку, да и прохожие иногда спрашивали: «А не та ли это собака, бешеная, с черным ухом?» Толик не отвечал и быстро уходил, оглядываясь. Он мог бы сказать: «Нет, не та собака» — и делу конец. Но он не умел лгать и скрывать свои чувства — страх, опасение, сомнение и прочее; даже наоборот, все это проявлялось открыто и прямо: ложь он называл ложью, правду — правдой. Более того, в нем зарождалось чувство юмора, как одного из способов выражения справедливости, настоящего юмора, при котором смешное говорится без тени улыбки, хотя обладатель этого чувства может внутренне почти плакать. Первым проявлением этого было то самое сочинение, сути которого он сам еще не понимал. Он еще ничего не понимал как следует, он только смутно начинал догадываться кое о чем.

Итак, мальчик в спортивных осенних брючках и желтых ботиночках, в светло-коричневом пиджачке и осенней ворсовой фуражечке каждый день, перед вечером, шел с хромой собакой по одному и тому же маршруту. Он всегда был такой чистенький и опрятный, что любой встречный думал: «Сразу видно — из культурной семьи мальчишка». К нему уже стали привыкать ближайшие к его маршруту жители, а некоторые из них спрашивали друг друга: «Чей же это такой хороший и смирный мальчик?»

С внучкой Степановны, Люсей, беленькой ровесницей, тихой и скромной, Толик подружился крепко, хотя почему-то и стеснялся брать ее на прогулки. Зато в квартире Ивана Иваныча они, бывало, забавлялись с Бимом, а тот платил им преданной любовью и неотступным вниманием. Степановна тут же сидела с вязаньем и радовалась, глядя на детей.

Однажды они разравнивали Биму очесы на ногах и подвесок на хвосте, а Люся спросила:

— Твой папа тут, в городе?

— Тут. Только его утром увозят на работу, а вечером привозят обратно, совсем уж поздно. Страшно устает! Говорит, «нервы напружинились до отказа».

— А мама?

— Маме всегда некогда. Всегда. То прачка приходит, то полотеры, то портниха, то телефон звонит без конца —

никогда ей нету покоя. Даже на родительское собрание вырваться не может.

— Трудно,— вздохнув, подтвердила Люся чистосердечно, с грустинкой в глазах. Она ведь и задала Толику вопрос лишь потому, что всегда думала о своих папе и маме. Потому-то и сказала: — А мои папа-мама далеко. Самолетом улетели. Мы с бабушкой вдвоем...— И совсем весело добавила:— У нас два рубля в день, вот сколько!

— Хватает, слава богу,— поддержала Степановна.— Десять буханок белого хлеба купить можно. Куда та-ам! А бывало-то, давно-то — вспомнишь... Да что та-ам! Аж муторно: сапоги мужнины, твоего дедушки, Люся, отдала за буханку...

— А когда это было? — спросил Толик, удивленно вздернув бровки.

— В гражданскую войну. Давно. Вас и на свете не было. Не дай бог вам такого.

Толик с удивлением смотрел на Люсю и на Степановну: для него было совсем непонятно, как это так, чтобы папы и мамы не жили с детьми и чтобы когда-то хлеб покупали за сапоги.

Степановна угадала его мысли по взгляду:

— Да и уехать нам нельзя: квартиру-то надо оберегать... а то отнимут... Теперь вот и эту тоже надо оберегать, пока приедет И в а н И в а н ы ч. А как же! Само собой: мы ж — соседы с И в а н И в а н ы ч е м.

Бим присмотрелся к Степановне и догадался: Иван Иваныч есть! Но где он? Искать, надо искать. И он стал просить, чтобы его выпустили. Желание оказалось несбыточным. Он улегся у двери и стал ждать. Казалось, никто из присутствующих ему не нужен. Ждать! — вот цель его существования. Искать и ждать.

Толик заметил, что бабушка Степановна говорит неправильно — «соседы», но теперь, в отличие от первой встречи, промолчал, потому что он уже уважал старушку, хотя и не мог бы сказать, за что, если бы его спросить об этом. Так просто — Люсина хорошая бабушка. Вот Бим, любит же он Степановну. Толик так и спросил:

— Бимка, ты любишь бабушку Степановну?

Бим не только знал всех по имени, не только знал, что без имени нет ни одного существа, даже самой паршивой собаки, но он точно исполнял, когда дети приказывали,

чьи надо принести тапки. Он и теперь, по взглядам Толика и Степановны, по ее улыбке, понял, что речь идет именно о ней, потому подошел и положил ей голову на колени.

Степановна раньше была равнодушна к собакам (собака и собака, делов-то!), а Бим заставил ее любить, заставил своей добротой, доверием и верностью своему другу-человеку.

Теплые и милые эти четыре существа в чужой квартире — три человека и одна собака. У Степановны на душе было тоже тепло и спокойно. Что еще надо на старости!

Потом, после, через много лет, Толик будет вспоминать эти предвечерние часы со светло-сиреневым окном. Будет. Конечно, будет, если его сердце останется открытым для людей и если пиявка недоверия не присосется к его сердцу... Но в тот раз он спохватился:

— Мне надо к девяти домой. В девять — спать, точно. Завтра я тебе, Люся, принесу альбом для рисования и чешские цветные карандаши — ни в одном магазине таких ни за деньги, ни за сапоги не купишь. Заграничные!

— Правда?! — обрадовалась Люся.

— А ты папе-то сказал, куда ходишь? — спросила Степановна.

— Не-ет. А что?

— Надо сказать. Как же, Толик? Обязательно.

— Он же не спрашивает. И мама не спрашивает. Я к девяти всегда дома.

Когда Толик уходил, Бим очень, очень просил, чтобы выпустили, но тщетна была мольба. Его берегли и жалели, не учитывая того, что он страдал и тосковал о друге, хотя и любил их.

На следующий день Толик не пришел. А Люся так ждала его с альбомом и карандашами, каких не бывает в магазинах и какие не купить за деньги. Так ждала! Она и Биму повторила несколько раз:

— А Толика нету. Толик не идет.

Бим, конечно же, понял ее беспокойство, да и время прихода Толика уже прошло, потому он вместе с Люсей заглядывал через окно на улицу и ждал его с нетерпением. Но Толик не появился.

«Сказал отцу»,— подумала Степановна, а вслух произнесла:

— Вот тебе и собака... Плохо нам будет без Толика. Кто же будет водить Бима?

У Люси сжалось сердчишко, оно предсказывало что-то недоброе.

— Плохо,— согласилась она дрожащим голосом.

Бим подошел к ней, смотрел на ладошки, закрывавшие личико, и чуть проскулил (не надо, дескать, Люся, не надо). Он помнил, как Иван Иваныч, сидя за столом и опершись локтями, иногда так же закрывал ладонями лицо. Это было плохо — Бим знал. Бим всегда в таких случаях подходил к нему, а хозяин гладил ему голову и говорил: «Спасибо, Бим, спасибо». Вот и Люся тоже: отняла ладошки от лица и погладила Бима по голове.

— Ну, вот и все, Люсенька, вот и все. Зачем и плакать? Толик придет. Приде-ет, не тревожься, детка. Толик придет,— утешала бабушка.

Бим подхромал к двери, будто хотел сказать: «Толик придет. Пойдем поищем его».

— Просится,— сказала Степановна.— Я уж стала его понимать. И не водить нельзя — животность же...

Люся чуть вздернула подбородок и, как-то не похоже на себя, сказала твердо:

— Я поведу сама.

Степановна вдруг заметила: взрослеет девочка не по дням, а по часам. И ей тоже стало горько оттого, что не пришел Толик.

...Девочка с собакой шла по улице. Навстречу — три мальчишки.

— Девочка, девочка,— затараторил один из них, рыжий Конопатик,— твоя собачка — мужичок или бабочка?

— Дурак! — ответила коротко Люся.

Все трое окружили Люсю с Бимом, а она готова была заплакать от первого в ее жизни хамства. Но, увидев, что шерсть у Бима на холке встопорщилась и он пригнул голову, вдруг осмелела и крикнула резко:

— Пошли вон!

Бим так гавкнул, так рванулся, что все трое посыпались в разные стороны. А Конопатик, отбежав и обидевшись за свой собственный страх, закричал чибисиным голоском:

— Э! Э! Девчонка с кобелем! Э! Бессовестная! Э! Э!

Люся побежала что было силы домой. Бим, конечно, за нею. Впервые в жизни он встретил плохого маленького человека — Конопатика.

После такого случая вновь стали выпускать Бима одного, по-старому. Сначала Люся выходила за ним и, стоя за углом, следила, посвистывая по-мальчишески, чтобы далеко не отходил. Потом Степановна отпустила его ранним утром одного. С этого раза и вовсе он гулял один, а вечером возвращался и охотно ел.

Надо же тому случиться. Как-то на перекрестке, на переходе через трамвайную линию, его кто-то окликнул:

— Бим!

Он оглянулся. Из двери трамвая высунулась знакомая вагоновожатая:

— Бим, здравствуй!

Бим подбежал и подал лапу. Это та же самая добрая женщина, что возила Бима с хозяином на охоту, до автобусной остановки. Она!

— Что-то давно не видать хозяина? Или заболел Иван Иваныч?

Бим вздрогнул: она знает, она, может быть, к нему и едет!

Когда же вагон тронулся, он прыгнул туда через порожки. Женщина-пассажир вскрикнула дико, мужчина заорал («Поше-ел!»), некоторые смеялись, сочувствуя Биму. Вагоновожатая остановила трамвай, вышла из кабины, успокоила пассажиров (Бим определенно это заметил) и сказала Биму:

— Уйди, Бим, уйди. Нельзя.— Легонько подтолкнула его и добавила: — Без хозяина нельзя. Без Ивана Иваныча нельзя.

Что ж поделать: нельзя, значит, нельзя. Бим сел, посидел мало-мало и затрусил в ту сторону, куда поехал трамвай. Тут они ездили с хозяином, тут — это точно, вот поворот у башни, вот постовой милиционер,— тут!

Бим бежал по линии трамвая, не пересекая ее даже и на поворотах. Милиционер свистнул. Бим на ходу обернулся и побежал своей дорогой. Он уважал милиционеров: такие люди никогда его не обижали, ни разу; он помнил и свой первый привод в милицию, все помнил, умный пес; оттуда они пошли с Дашей домой, и все было хорошо. Больше того, он не раз видел милиционера с собакой — черная такая, сильно серьезная с первого взгля-

да; с нею он даже знакомился когда-то на тротуаре: Иван Иваныч и милиционер подпустили их друг к другу и дали возможность поговорить вдоволь.

«От него пахнет лесом»,— сказала черная собака, глядя на милиционера.

— Были вчера на охоте,— подтвердил Иван Иваныч.

«Какая ты чистюля!» — сказал Бим черному, завершая законную процедуру обнюхивания.

«А как же иначе! Работа такая»,— вилял обрубком хвоста черный.

В знак наметившейся дружбы они даже расписались на одном и том же дереве, внизу.

Нет, милиционер — человек хороший, он собак любит, тут Бима не провести и не обмануть.

И он бежал себе и бежал помаленьку вдоль трамвайной линии, но только сбоку, так как помнил, что наступать на железные полосы нельзя — прижмут ногу.

У конечного кольца он дал круг по ходу трамвая и застопорил у остановки. Посидел, посмотрел: люди кругом все добрые. Так. Это уже хорошо. Отсюда они переходили с Иваном Иванычем улицу — вон к тому месту с дощечкой на столбе. Бим пошел туда не спеша и сел рядом с небольшой очередью, ожидающей автобуса. Присмотрелся: опять плохих людей не видать.

Когда подошел автобус, очередь уползла в дверь, а Бим потопал последним, как и полагается всякой скромной собаке.

— Ты куда? — вскричал шофер. Вдруг он глянул еще раз на Бима и пропел: — Постой, постой. Да ты мне знакомый.

Бим точно понял, что это — тот друг, что взял бумажку из рук хозяина. И завилял хвостом.

— Помнит, собачья душа! — воскликнул шофер. Потом подумал и позвал Бима в кабину: — Ко мне!

Бим уселся там, прижавшись к стеночке, чтобы не мешать, уселся в волнении: ведь именно этот шофер и вез их когда-то до леса, на охоту.

Автобус рычал и рычал, ехал и ехал. Замолчал он у той остановки, где Бим всегда выходил с Иваном Иванычем в лес.

Тут-то Бим и загорелся! Он царапался в дверь, скулил, просил слезно: «Выпусти. Мне сюда и надо».

— Сидеть! — строго крикнул шофер.

Бим подчинился. Автобус снова зарычал. Один из пассажиров подошел к шоферу и спросил, указывая на Бима:

— Твоя собачка?

— Моя,— ответил тот.

— Ученая?

— Не очень... Но умная. Видишь? Смотри: лежать! Бим лег.

— Может, продашь собачку? Моя померла, а я стадо овец пасу.

— Продам.

— Сколько?

— Четвертную.

— Ого! — произнес пассажир и отошел, предварительно потрепав Бима за ухо, приговаривая: — Хорошая собака, хорошая.

Очень знакомы эти добрые слова Биму, слова хозяина. И он вильнул хвостом чужому.

Бим теперь вовсе не знал, куда едет. Но, глядя в ветровое стекло из кабины, он примечал путь, как и всякая собака, едущая впервые по новому месту: так уж у собак заведено — никогда не забывать обратный путь. У людей этот инстинкт с веками пропал или почти пропал. А зря. Очень полезно не забывать обратный путь.

На одной из остановок тот Хороший человек, от которого пахло травой, вышел из автобуса. Шофер тоже вышел, оставив Бима в кабине. Бим следил за ними, не спуская взора. Вот шофер указал в сторону Бима, вот он взял за плечо Хорошего человека, а тот, улыбнувшись, достал бумажки и отдал их, затем, перекинув рюкзак через плечо, вошел в кабину, снял с себя пояс, прицепил Бима за ошейник и сказал:

— Ну, пойдем.— А в нескольких шагах от автобуса, обернувшись, спросил: — Зовут-то его как?

Шофер вопросительно посмотрел на Бима, потом на покупателя и ответил уверенно:

— Черное ухо.

— А ведь не твоя собака? Признайся.

— Моя, моя. Черное ухо, точно.— И поехал.

Итак, Бим был продан за деньги.

Он понимал, что происходит не то, совсем не то. Но человек, пахнущий травой, был явно добрый, и Бим пошел с ним рядом, печальный и расстроенный.

Шли, шли они молча, и вдруг тот человек обратился непосредственно к Биму:

— Нет, ты не Черное ухо: так собак не зовут. А найдется твой хозяин — отдаст мне мои пятнадцать рублей. Что за вопрос?

Бим смотрел на него, склонив голову набок, будто хотел сказать: не понимаю тебя, человек.

— А ты, брат, видать, с о б а к а умная, х о р о ш а я.

Вот и еще раз он сказал слова, так часто повторяемые хозяином. Теперь Бим завилял хвостом в знак благодарности за ласку.

— Ну, раз такое дело, живи со мной,— заключил человек.

И пошли они дальше. Раза два Бим в пути все же пытался упираться, натягивал поводок и указывал взглядом назад (отпусти, дескать, мне — не туда).

Человек останавливался, гладил пса, говорил:

— Мало бы что... Мало бы что.

Тут бы — пустяк: хватить за поясок разок-другой и — пополам. Но Бим знал: поводок для того, чтобы за него водили, чтобы собака шла не дальше и не ближе положенного. И прекратил свои просьбы.

Шли они сначала лесом. Деревья были задумчивыми и молчаливыми — голые, холодные, успокоенные морозцем; трава в лесу пожухлая, немощная и перепутанная, скучная. Тоска Биму, да и только.

Потом потянулись озимые, ковром укрывшие землю, мягкие и веселые. Стало Биму тут немного легче: простор, неимоверно много неба, веселое посвистывание человека рядом — это всегда было хорошо при Иване Иваныче. Но когда дорога пошла по зяби — опять веселого мало: земля черновато-серая с крапинами мела, а комков на ней никаких; казалась она мертвой, местами полумертвой — распыленная, изношенная земля.

Человек сошел с дороги, потоптал каблуком зябь и вздохнул.

— Плохо, брат,— сказал он Биму.— Еще одна-две ч е р н ы х б у р и, и конец землице. П л о х о, б р а т...

Слова «плохо, брат» Биму очень хорошо знакомы от Ивана Иваныча, и он знал, что это означает уныние, печаль или «что-то не так», а слова «черная буря» он принял, как «черное ухо» в неизвестной ему интерпретации. Однако то, что это относится к земле, Биму понять недоступно. Человек явно догадался об этом:

— Конечно, ты — собака, и ты ничего не смыслишь. А кому скажешь? Вот я тебе, черноух, и жалуюсь... Погоди-ка!..— Он посмотрел на Бима и добавил: — А пущай-ка ты будешь Черноух. Это по-собачьему — Черноух. Само вырвалось, так тому и быть.

Ну и что? Еще не доходя до деревни, Бим уже знал, что он теперь — Черноух: человек-то много раз ласково повторял:

— Черноух — это хорошо.— Или так: — Молодец, Черноух, идешь хорошо.— Или в том же роде, но обязательно «Черноух».

Так, за деньги, люди продали доброе имя Бима. Хорошо хоть, Бим не знал этого, как не знал и того, что за те бумажки иные люди могут продать честь, верность и сердце. Благо собаке, не знающей этого!

Но Бим теперь обязан забыть свое имя. Что же поделаешь — тому, значит, быть. Только не забудет он своего друга, Ивана Иваныча. Хотя жизнь пошла иная, нисколько не похожая на все, что было в прошлом, но его забыть он не мог.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЧЕРНОУХ В ДЕРЕВНЕ

Деревня, куда привезли Бима, прямо-таки удивила его. Здесь тоже жили люди, но все было не так, как там, где он родился и вырос. Домики маленькие — прямо на земле без никаких лестничных площадок, без многочисленных порогов, двери не щелкают замками. Ночью, правда, двери запирают на засов изнутри. Все домики покрыты ребристыми серовато-белыми листами. Утром, в одно и то же время, из каждого домика идет вверх дым, но, однако же, они не едут и не улетают никуда, а стоят себе ровненько рядами и дымят тихо и мирно, без скрежета.

Но самым поразительным для Бима (теперь Черноуха) оказалось то, что вместе с людьми здесь живут разные животные и птицы: коровы, куры, гуси, овцы, свиньи, знакомство с которыми состоялось не сразу. У животных, позади каждого людского домика, свои домики, покрытые иной раз соломой, а иной раз камышом и огороженные невысокой просвечивающей стеной из перекрученных

палок и хворостин. И никто никого не трогает — ни люди животных и птиц, ни животные людей, и никто ни в кого не стреляет из ружья.

В первый день Биму постелили сена в углу сеней. Человек привязал его за веревку, хорошо накормил и куда-то ушел, надев плащ. Остаток дня Бим провел в одиночестве, при полной тишине и безмолвии. Перед вечером он услышал, как зашуршали копытцами по земле овцы, как они вошли во двор, как промычала корова внутри сарая (чего-то просила). А вскоре пришел и человек тот, но теперь с мальчиком в плаще, в сапогах, на голове шапка, в руках длинная палка. Лицо у него было такое же коричневое, как у доброго человека, а пахло от мальчика овцами.

— Ну, Алеша, смотри нового товарища,— сказал взрослый мальчику.

Они подошли к Биму вплотную.

— Папаня, а не укусит?

— Нет, Алеша, такие не кусаются... Ух ты, Черноух... Черноух — хорошая собака.— И легонько похлопывал его по боку.

Бим лежал и настороженно рассматривал мальчика. Тот тоже погладил:

— Черноух... Черноу-ух...— И обратился к взрослому.— Папаня, а если отвязать — не убежит?

— Подождем пока.— Он ушел в дверь, внутрь дома.

Бим встал, присел, подал мальчику лапу, чем и сказал: «Здравствуй. Ты — хороший».

— Папаня! — крикнул мальчик.— Папаня, иди-ка!

Тот вернулся.

— Здравствуй, Черноух! — протянул ладонь мальчик.

Бим еще раз поздоровался. Оба человека явно одобряли его вежливость. Эти первые минуты знакомства были важными для Бима: он узнал, что того, кто привел его сюда, зовут Папаня, а мальчика — Алеша. Даже обыкновенные, ничем не примечательные дворняги скоро узнают имена людей, а Бим... Да что там говорить! Мы уже знаем, что это за собака.

Потом, уже в сумерках, пришла женщина. Эта была одета странно: голова укутана двумя платками, ватник на ней натянут барабаном, штаны такие же, как у той доброй женщины на железной дороге, что забивала костыли. Но от этой пахло землей и свеклой (сладкий такой корень, каким и Бим, бывало, не брезговал). Она вошла в дом, о чем-то там говорила с мужчинами, сразу же про-

топала через сени во двор с ведром в руках. Теперь Бим установил, не сходя с места: одна дверь из сеней — на улицу, другая — к животным, третья — в дом. Но до них не дотянуться — не пускает веревка. Вот пока и все, что узнал Бим.

Он снова лег.

Пахнет овцами, сильно пахнет, со двора. Что такое овцы — Бим знал давно. Они живут, как думалось раньше, стадом и ходят по полю и ничего не делают, только едят и кричат. А около них, бывало, всегда человек в брезентовом плаще, с длинной палкой с крючком на конце; один такой как-то подходил к Биму и Ивану Иванычу, когда они отдыхали у стога сена, жал руку хозяину; и еще с ним был большой лохматый пес. Бима он встретил воинственно. Сначала бежал на него с разлету и лаял жутко, но Бим тогда лег на спину, подняв лапы вверх, и сказал: «В чем дело? Разве я в чем-то виноват?»

Корректность, конечно, победила грубость, а Лохматый пес, обнюхав Бима, полизал живот, отошел немного и расписался на камне. Бим сделал то же самое. В общем, это означало: миру— мир. А пока хозяин Бима разговаривал с хозяином Лохматого, они поиграли в догонялки и пятнашки, при этом Бим оказался и быстрее, и увертливее настолько, что заслужил нескрываемое уважение нового знакомого. Когда они расставались (надо же было идти за хозяевами!), то понюхали камень и переглянулись так:

«Ты приходи когда-нибудь сюда»,— сказал Бим и попрыгал дальше.

«Эх, работа...» — сказал Лохматый и поплелся к стаду, опустив голову.

Так было. Вот и теперь пахнет овцами. Бим не мог не вспомнить Ивана Иваныча при этом тревожащем память запахе: в чужих сенях, в чужом доме, в полутемноте сумерек, без людей, ему стало тоскливо-тоскливо.

Потом он услышал, как о железо ритмично жужжали какие-то струйки: жжих-жжих! жжих-жжих! Бим не знал, что это такое — жжих-жжих! жжих-жжих! Незнакомые звуки замолкли, и тотчас со двора, с тем же ведром, вошла женщина. А из ведра пахло молоком. Знаменито пахло! В городе такого запаха от молока Бим не чуял ни разу, а это — другое, но все же молоко — это точно. В городе молоко не пахнет человеческими руками, разными приятными травами и совсем не пахнет коро-

вой — вот что удивительно. А здесь все это вместе смешалось в восхитительный аромат, поражающий своей обаятельной, какой-то розовой пахучестью. Не будем спорить: уж если человек иногда отличает молоко от «молока», то как же не заметить того нашему Биму, обладающему сверхдальним чутьем, как не поразиться запаху, в котором человеческие руки перемешаны с цветами и травами. Потому-то он и вскочил быстро да и повилял хвостом женщине. Но вряд ли она могла понять восторг Бима.

За долгие четыре года своей жизни он, к сожалению, так ни разу и не видел, как доят коров. А молоко пахнет все-таки коровой. Какая-то неясность так и оставалась у Бима: он кое-чего не знал. Впрочем, мало ли чего не знает любая собака? В этом ничего зазорного нет. А если какой пес и скажет, допустим, что он все знает, и уверен в том, что может поучать, как и что делать и куда бежать, то даже курица ему не поверит; мало ли что он сильнее курицы — не поверит. А такие собаки бывают, скажу я вам. Например, скочтерьер, возьмите вы его: он делает вид, что его голова-кирпич набита разными идеями (борода! длинные усы и брови! философ!), а на деле — бестолковый, командует, ругается на хозяина день при дне, как нервнобольной, финтит беспрестанно. А толку? Да никакого! Одна внешность. А внутри пух либо вовсе пустота.

Нет, Бим — другое дело: он искренен и прям сердцем. Если чего не знает, то такой и вид подаст: чего не знаю, того не знаю. Если кого не любит, так и скажет: «Ты — нехороший человек. Иди отсюда! Гав!» И взлает иной раз так, что — дай бог!

Женщину же, которая добывает где-то такое божественное молоко, он не мог не уважать. Потому-то он все смотрел и смотрел на ту дверь, в какую она ушла с ведром.

Но кто-то подошел с улицы и решительно распахнул дверь.

«Кто? — однозначно спросил Бим.— Гав!»

Вошедший шарахнулся из сеней обратно. Из дома выскочил Папаня, включил в сенях свет и спросил:

— Кто тут?

— Я, бригадир,— ответил незнакомец.

Затем он вошел в сени, они пожали друг другу руки (значит, друзья — лаять не положено) и подошли к Биму.

Папаня присел на корточки, гладил Бима и говорил:

— А ты молодец, Черноух. Молодец — службу знаешь. Хороший пес.— Отвязал его и впустил в комнату.

Самое важное: в комнате была хромая курица. Бим прицелился на нее, сделал стойку, приподняв переднюю лапу, но как-то неуверенно, а это означало, что он говорит присутствующим: «Что за птица? Что-то не приходилось...»

— Смотри, бригадир! — воскликнул Папаня.— Да он же золотой пес, Черноух,— на все руки!

Но поскольку курица — ноль внимания на Бима, то он сел, все же искоса посматривая на нее, что на собачьем языке означало короткие и много вмещающие слова: «Надо же... Туда же!.. Ты еще мне!» И обратился взором к присутствующим.

— И кур не тронет! — восторгался Алеша.

Бим внимательно наблюдал за ним, глядя в лицо.

— А глаза! Маманя, а глаза! Как человечьи,— радовался Алеша.— Черноух, иди к о м н е... к о м н е!

Разве Бим не отзывался на искреннюю радость! Он подошел к Алеше и сел около него.

За столом пошла беседа. Папаня распечатал бутылку, Маманя подала еду. Бригадир выпил из стакана все. Папаня — тоже. Маманя — тоже. Алеша почему-то не выпил, а ел ветчину и хлеб. Он бросил кусочек хлеба на середину пола, но Бим не сдвинулся с места (надо же было сказать «Возьми!»).

— Интеллигент, должно быть,— заметил раскрасневшийся бригадир,— хлеб не кушает.

Курица прихромала и утащила тот кусочек, предназначенный Биму. Все смеялись, а Бим внимательно-внимательно смотрел на Алешу: не до смеха, если нет взаимопонимания даже и в атмосфере дружбы.

— Подожди-ка, Алеша,— сказал Папаня. Он положил кусочек хлебца на пол, отогнал курицу и обратился непосредственно к Биму: — Возьми, Черноух. Возьми!

Бим с удовольствием проглотил вкусный кусочек хлеба, хотя и был сыт.

Бригадир тоже положил так же кусочек ветчины.

— Нельзя! — предупредил он.

Бим сидел. Курица бочком-бочком подхрамывала к ветчине, но, только-только хотела схватить, Бим фырк-

нул на нее, чуть не толкнув носом. Та закостыляла под кровать. Одним словом, комедия, да и только.

— Черноух, в о з ь м и! — разрешил бригадир.

Бим вежливо скушал и этот кусочек.

— Все! — кричал Папаня. Он говорил громко, а покраснев, стал еще добрее.— Черноух — чудо преестественное! — И даже обнял его.

«Хорошие люди»,— подумал Бим. Еще ему понравились усы у Папани, мягкие, шерстяные, что он ощутил, когда тот обнимал.

А дальше пошел такой разговор, из которого Бим понял только одно слово — «овцы», но зато точнехонько определил, что двое мужчин вначале стали спорить.

— Ну, Хрисан Андреевич, давай о деле.— Бригадир положил руку на плечо Папани.— Овцы хотят есть иль не хотят?

— Хотят,— ответил Папаня.— Только мой срок кончился, мне — до покрова, а покров прошел.

— Овцы частные, личные, а не колхозные, и они тоже желают кормиться. Мне уж колхозники уши прозудели: снега нету, корм под ногами есть, овца должна до снегу на подножном. И правильно говорят.

— «Овца — до снегу»... А я железный? А Алешка тебе — железный?

— До снегу, Хрисан Андреевич,— твердил бригадир.— Плату положим двойную. Понял?

— Не буду,— твердил Папаня.— Баба моя на свекле закисла — надо помогать, а ты — «до снегу».

Но все-таки они похлопали по рукам друг друга вполне согласно и кончили твердить «овцы до снегу». Затем бригадира проводили на крыльцо все втроем, забыв про Бима.

Что ж, он тоже вышел на крыльцо, обежал вокруг двора, постоял за плетнем, постоял, втянул запахи овец, с какими связано одно из воспоминаний о любимом и единственном человеке, и присел в нерешительности.

Ночь. Осенняя темная ночь в деревне, тихая, притаившаяся от зимы, хотя и готовая ее встретить. Все в этой ночи неизвестно Биму. Собаки вообще не любят путешествовать ночами (разве что бродячие, избегающие людей, потерявшие веру в человека), а Бим... Что и говорить!

Бим сомневался пока. Да и Алеша — такой хороший маленький человек.

Сомнения прервал голос Алеши. Он тревожно, во весь голос закричал:

— Черноу-ух!

Бим подбежал и вошел за ним в сени. Алеша уложил его на место, подоткнул сено с боков, поласкал и ушел спать.

Все затихло. Не слышно ни трамвая, ни троллейбуса, ни гудков — ничего привычного.

Новая жизнь началась.

Сегодня Бим узнал, что Папаня — еще и Хрисан Андреевич, еще он же — Отец, а Маманя — еще и Петровна, Алеша же — так Алеша и есть. Кроме того, курицу он не презирал, но и не уважал: птица, по собачьему разумению, должна обязательно летать, а эта только ходит, потому и недостойна уважения, как бескрылая и дефективная к тому же. Но вот овцы: они напоминают об Иване Иваныче; от Алеши пахнет овцами тоже... От Петровны — землей и свеклой... А такие запахи земли всегда волновали Бима. Может быть, и Иван Иваныч сюда придет...

Бим уснул, притеплившись в духовитом сене. В таком сене, дух которого вызывает невольную улыбку, даже человек засыпает немедленно, и от запаха свежего сена у него возникает в очах голубой цвет перед сном. Бим же был далеко чутьистее человека, поэтому каждый тончайший оттенок этого аромата успокаивал, ублажал его тоску.

Разбудил Бима крик петуха. Когда-то он его слышал не раз, но не так близко, а этот — прямо за стеной, громко, протяжно, гордо: «Ку-ка-ре-ку-у-у!» Ему откликнулись все петухи на селе. (Несколько позже Бим узнает, что этот петух — запевала и что такие петухи бывают сердитые.) Бим сидел и слушал удивительную музыку; она перекатывалась волнами по селу — то ближе, то дальше, в зависимости от того, кому подходила очередь, что ли, а последним, в одиночку, прокричал какой-то немощный кукарешник, сипло, коротко и неподобно петуху, заслуживающему уважения. Потом, со временем, Бим разберется, что именно такие петухи — трусы, убегают даже от чужого петуха, врывающегося во дворовые владения, хотя по всем правилам куриного общежития этот трус обязан защищать покой подведомственных ему

кур. А он убегает, идол. Зато именно такой петух безжалостен к чужим цыплятам — клюет, падаль такая, между тем как любой петух, если он не лишен чувства собственного достоинства, никогда не клюнет цыпленка, забредшего невесть откуда. Такой вот и пропел последним, и только тогда, когда убедился, видимо, что не ошибся во времени. Люди назвали бы такого петушишку конъюнктурщиком, но Биму было просто-напросто смешно. Кстати, Бим вовсе не представлял, ввиду отсутствия опыта, что по таким задохлым полупетухам никто никогда не отсчитывает время.

Бим прилег и задремал. Вдруг снова прокатилось по селу из конца в конец песнопение. И Бим снова сел и снова слушал с большим удовольствием. Потом — в третий раз, еще сильнее, голосистее и, право же, возвышеннее. Ах, здорово поют! Вот уж здорово! А что они вытворяли где-то вдали, представить невозможно! Бим пока не знал, что это раздеклешивали хором на колхозной птицеферме, по неписаным нотам, белые как кипень, самоуверенные петухи-красавцы, а в тот раз,— не будь он запертым в сенях,— он обязательно сбегал бы посмотреть и послушать поближе такое чудо. Но сени были его клеткой.

В щель двери мало-помалу расслабленно вползал серенький осенний рассвет. Бим встал, обследовал сени: стоит кадушка с зерном, в одном углу — закромок с початками кукурузы, в другом — кочаны капусты. Вот и все.

Вышла с ведром Петровна. Бим ее приветствовал. Она — во двор, и Бим — во двор, следом. Она села под корову, Бим — неподалеку. Струйки зазвенели о ведро, а Бим засеменил передними лапами от удивления: молоко! Корова стояла смирно и жевала про себя, без ничего — будто шептала и булькала симпатичная живая цистерна с открытыми краниками.

Петровна окончила дойку, позвала Бима («Черноух»), налила ему в миску молоко, сказала: «Нельзя», чуть постояла, сказала: «Возьми», засмеялась добрым смехом и заторопилась в дом.

Ах, боже мой, какое же это было молоко! Теплень-кое, духовитое, тут тебе и травами отдает, и цветами, полем — всем вместе, а еще (теперь уж точно!), еще — руками самой Петровны, а не просто человеческими руками вообще, как показалось Биму вчера на расстоянии.

Бим вылакал все, вылизал, сделал утренний туалет и быстренько обследовал двор. Корова приняла его с полным доверием, даже лизнула в голову, за что Бим притронулся языком к ее шершавому, молочно-пахучему носу; овцы из-за перегородки потопали на него копытцами, вроде бы угрожая, но тут же и успокоились, поскольку уточнили, что Бим не имеет никаких агрессивных намерений; свинья и два поросенка в первый раз не удостоили Бима вниманием, а просто перехрюкнулись между собой иронически и даже не пошевелились, хотя и лежали головами к Биму, у решетки. Так приняли его четвероногие. Но вот куры — это да-а! Собственно, не сами куры, а красный петух. Он, как только слетел с насеста, захлопал крыльями и зло заворчал: «Ко-ко-ко-ко-ко!» Да и бросился на Бима коршуном. Красный петух, с красным гребнем ударил грудью и когтями собаку. (Вот какие петухи бывают!) Бим рыкнул на него в ответ и ударил лапой наотмашь. И тут, в ту же секунду, петух, повесив крылья и пригнувшись, побежал в угол двора к курам, собравшимся беспокойной стайкой участливых зрителей; бежал он от Бима в совершеннейшем унижении, а подскочил к ним уже героем. Да еще и закричал: «Вот как я его! Вот как, вот как!» Куры в один голос явно хвалили петуха изо всей куриной силы. И что же вы думаете? Бим пристально посмотрел на петуха даже с уважением. Как ни говори, а Бим еще не видел, чтобы птица напала так смело на собаку. А это все-таки что-то значит.

— Что тут за переполох? — спросил Хрисан Андреевич, выходя из сеней во двор. И курам:— Цытьте, вы! Собаки испугались, оглашенные.— Взял Бима за ошейник, подвел к курам, постоял так с ним и отпустил.

Бим отошел и отвернулся: а ну их! С тех пор петух и куры не подходили к собаке, но и бояться особо не боялись, а так — прококочет иная и — в сторону с пути Бима. А ему что? Ходят куры, не летают, не плавают; опять же, никто в них не стреляет,— значит, не птица, а так себе — смехоподобное существо. Петух — это, конечно, да: и на крышу взлетит, и предупредит о приближении чужого чуть ли не раньше Бима, да и руководит достойно — сам червяка не съест, а скличет подчиненных и, бывает, поделит даже. Так что петух вполне заслуживает своего звания.

Ввиду того, что Бима пока не выпускали со двора еще

с неделю, он, как-то само собой, стал тут за главного: ляжет посреди двора и следит глазами. Кур он уже знал в лицо всех на четвертый день, а когда залетела через плетень чужая курица, он ее так разогнал, так разогнал, что она долго еще тараторила, то убегая куда-то, то возвращаясь и топчась на одном месте, оглядываясь в страхе и любопытстве. Смех, да и только!

Поросенок, например, тот сам предложил знакомство на короткую ногу: подошел к Биму, хрюкнул, чуть-чуть толкнул его влажным пятачком в шею и смотрел глупенькими белобрысыми глазенками. Бим лизнул его в пятак. Тому неимоверно понравилось: он подпрыгнул от удовольствия и стал копаться около Бима, подковыривая под ним землю. Бим снисходительно перешел на другое место, а хрюшка опять к нему: поворчала что-то непонятное (свиньи и собаки не понимают друг друга так же, как иностранцы) да и улеглась, прижавшись к теплой шерстистой спине Бима. Поэтому когда в один из холодных дней Биму стало не по себе (дверь в сени закрыта на день), то никто во дворе не удивился тому, что Бим спал между поросятами на мягкой подстилке, подогреваемый с двух сторон. Против такой дружбы и мама поросят не возражала, даже наоборот, каждый раз, как Бим входил в их жилище, она энергично стонала от прилива дружелюбия, но вовсе не от боли. Кстати, такую особенность свиного языка Бим отметил без труда, хотя дальше этого он в языкознании не продвинулся и потом. Пожалуй, это и не столь важно — знать язык. Собака и свинья — разные по всем статьям, но это не мешает им жить в мире и согласии.

Кормили Бима очень хорошо, а кроме того, и поросята,— уже росленькие, в полроста от Бима,— не возражали, если он у них иногда снимал пробу из корытца. Каждое утро он получал около литра молока, что здесь ни во что не считалось. Казалось бы, что еще нужно собаке? Но двор есть двор, клетка-лагерь, огороженный плетнем и всегда закрытыми воротами и калиткой. Не для охотничьей собаки это дело — лежать, караулить кур, воспитывать поросят,— нет и нет, да еще с таким выдающимся чутьем, каким, как мы уже давно знаем, обладал наш Бим.

Он уже привык ко двору, к его населению, не удивлялся сытой жизни. Но когда с луга тянул ветер, Бим

беспокойно ходил, ходил от плетня к плетню или становился на задние лапы перед плетнем же, будто хотел, хоть немного, приблизиться к высоте, и смотрел вверх, в небо, где летали голуби — легкие, вольные. Что-то внутри сосало, а он смутно догадывался, что при такой сытости и хорошем обращении не было чего-то самого главного.

...Ах, голуби вы, голуби, ничего-то вы не знаете о сытой собаке в неволе!

Бим почувствовал еще и то, что доверия к нему нет, раз не выпускают. Каждое утро Хрисан Андреевич с Алешей выгоняли своих овец со двора и уходили с ними на весь день, в плащах, с палками. А Бима, как он ни просился, оставляли во дворе.

И вот однажды Бим лежал, уткнувшись носом в плетень, а ветер приносил вести: луг есть, где-то недалеко есть и лес. Свобода рядом! Увидел в щелку — пробежала собака. Тогда-то ему и стало невмоготу. Он копнул лапой землю под плетнем раз, другой, копнул еще и пошел трудиться изо всех сил: передними копал и совал землю под себя, а задними выбрасывал дальше; даже разлапистой можно работать, хоть и не в полную мочь.

Неизвестно, что произошло бы потом, но когда Бим почти уже закончил подкоп, вошли во двор овцы. Они увидели, как земля брызжет из-под плетня, и шарахнулись обратно в калитку, где стоял Алеша, пригнавший их с пастбища. Овцы сбили Алешу с ног и вдарились вдоль улицы как помешанные.

Алеша побежал за ними, а Бим не обращал внимания ни на что: копал и копал.

Но подошел Хрисан Андреевич, взял его за хвост. Бим замер в своей норе, будто неживой.

— Затосковал, Черноух? — спросил Хрисан Андреевич, легонько подергивая за хвост, тем и приглашая Бима обратно.

Бим вылез. Что поделаешь, если тебя тянут за хвост!

— Что с тобой, Черноух?! — удивился Хрисан Андреевич и отстранился, оторопев.— Уж не сбесился ли ты?

Глаза у Бима налились кровью, он нервно подергивался, водя носом из стороны в сторону, часто-часто дышал, будто только-только кончил напряженную охоту. Он беспокойно забегал по двору и наконец стал ца-

рапаться в калитку, оглядываясь на Хрисана Андреевича.

Тот, стоя посредине двора, глубоко задумался. Бим подошел к нему, сел и говорил глазами совершенно отчетливо: «Мне надо туда, на простор. Пусти меня, пусти!» Он просяще вытянулся на животе и заскулил так тихо и жалобно, что Хрисан Андреевич нагнулся и стал его ласкать:

— Эх, Черноух, Черноух... И собака хочет воли. Куда-а там! — Затем зазвал Бима в сени, уложил на сено, привязал на веревку и принес миску с мясом.

Вот и все. Грустно. Сытая жизнь без свободы опротивела Биму.

К мясу он не притронулся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

НА ПРОСТОРЕ ПОЛЕЙ. НЕОБЫЧНАЯ ОХОТА. ПОБЕГ

Утром, как и ежедневно, в доме Хрисана Андреевича все повторилось по заведенному порядку: пружина трудового дня начала распускаться с последних, третьих петухов, потом промычала корова. Петровна подоила ее и затопила печь; Алеша вышел поласкать своего, теперь уж любимого Черноуха, Папаня задал корм корове и свиньям, посыпал зерноотходы курам, после чего все сели за стол и позавтракали. Бим в то утро не прикоснулся даже к ароматному молоку, хотя Алеша и просил его, и уговаривал. Потом, пока родители хлопотали по дому, Алеша принес воды и вычистил котух коровы и еще раз просил Бима поесть, совал его нос в миску, но, увы, Черноух неожиданно стал почти совсем чужим. Под конец сборов на работу Хрисан Андреевич наточил огромный нож и засунул его над дверью.

С солнцем Петровна укуталась в свои толстые одежды и платки, взяла сумку и тот огромный нож, что точил Папаня, и ушла. За нею, надев плащи, вышли во двор Алеша с отцом и, слышно, выгнали овец на улицу.

Неужели оставили Бима одного да еще на привязи в полутемных сенях? Бим не выдержал — взвыл горько и безнадежно.

И вот открылась дверь с улицы, вошел Хрисан Андреевич, отвязал Бима и вывел на крыльцо, потом запер дверь снаружи, направился к стайке овец, около которых стоял Алеша, передал ему из рук в руки Бима на веревке, сам зашел впереди овец и крикнул:

— Пошли, пошли-и!

Овцы двинулись за ним вдоль улицы. Из каждого двора к ним присоединялись то пяток, то десяток других, так что в конце села образовалась порядочная отара. Впереди все так же шел Хрисан Андреевич, позади Алеша с собакой.

День выдался морозный, сухой, земля под ногами твердая, почти такая же, как асфальт в городе, но более корявая; даже запорхали густо снежинки, заслонив на короткое время и без того холодное солнце, но тут же и перестали. Это была уж не осень, но еще и не зима, а просто настороженное межвременье, когда вот-вот заявится белая зима, ожидаемая, но всегда приходящая неожиданно.

Овцы бодро постукивали копытцами и блеяли, переговариваясь на своем овечьем протяжном языке, понять который, ну, право же, совершенно невозможно. Присматриваясь, Бим заметил: впереди отары, пятка в пятку за Хрисаном Андреевичем, шел баран с крученными рогами, а позади всех, прямо перед Алешей, хроменькая маленькая овечка. Алеша изредка легонько подталкивал ее крючком палки, чтобы не отставала, и тогда кричал:

— Папаня, осади малость! Хромушка не тянет!

Тот замедлял шаг не оборачиваясь, а вместе с ним сбавляло ход и все стадо.

Бим шел на веревке. Он видел, как важно выступал Папаня перед овцами, как они подчинялись малейшему его движению, как Алеша по-деловому, сосредоточенно, следил за овцами сзади и с боков. Вот одна из них отделилась и, пощипывая желтоватую травку, потянула в сторону от стада. Алеша побежал с Бимом и крикнул:

— Куда пошла-а?! — и бросил перед нею свою палку.

Овца вернулась. Слева сразу три пожелали проявить самостоятельность и побрели себе к зеленоватому пятну, но Алеша так же побежал и так же поставил их на свое место. Бим очень быстро сообразил, что ни одна овца не должна отлучаться от сообщества, а в очередной пробеж-

ке с Алешей он уже гавкнул на ту овцу, что нарушала порядок и дисциплину. «Гав-гав-гав!» — так же беззлобно, как и Алеша, предупредил он нарушительницу, то есть: «Куда пошла-а?!»

— Папаня! Слышишь? — крикнул Алеша.

Хрисан Андреевич обернулся и прокричал одобрительно:

— Молодец, Черноух!

На склоне яра он поднял над головой палку и еще прокричал так же громко:

— Распуска-ай! — А замедлив шаг, двигался теперь поперек хода отары.

Алеша стал делать то же самое, как и отец, но здесь, позади, он шагал торопливо, иногда перебежкой, прижимая овец к Хрисану Андреевичу. И тогда отара мало-помалу расходилась все шире и шире и наконец, не переставая щипать травку, выстроилась в одну линию, не гуще, чем в три-четыре овцы. Теперь Хрисан Андреевич остановился лицом к овцам, окинул взором строй, а рядом с ним пристроился и баран-вожак. Пастух достал из сумки буханку хлеба, отрезал корку и отдал ее почему-то тому барану. Бим не мог знать, что баран-вожак обязательно должен не только не бояться, а любить пастуха, поэтому, по своему неведению, он просто видел подтверждение того, что Папаня — человек добрый, и только. А Папаня, если по совести, был еще и человек хитрый — баран ходил за ним иногда собакой и всегда отзывался на голос. Не Биму, конечно, постичь всю премудрость пастуха. А Хрисан Андреевич знал отлично, что глупый, отбившийся баран небольшой отары, да еще если без собаки, уведет стадо невесть куда — только проморгай, засни от усталости и от размора солнцепеком. Нет, тут баран-вожак был особый, дрессированный баран, потому и Бима он принял с дорогой душой.

Хрисан Андреевич закурил трубочку и сказал Алеше:

— Ты не нажимай, не нажимай — тут кормок хороший.

...А что ты думаешь, дорогой мой читатель? Накормить овцу поздней осенью — дело действительно премудро-хитрое: не умеючи если, то через неделю полстада подохнет и на хорошем корму — затопчут его, и вся недолга; а с толком если, то и на посредственном выпасе овца будет сытая и жирная. Ухитряется же Хрисан Анд-

реевич накормить стадо по пустырям, да по окрайкам, да перед носом у тракторов, когда они пашут зябь, а для этого требуется определенный талант и призвание и любовь к животным. Огромный труд — пасти овец, а в общем-то и красивый труд, потому что человек-пастух, иногда даже и не задумываясь над тем, чувствует себя неотъемлемой частицей природы и ее хозяином и добродеем. Вот в чем соль. Читатель простит, что я на время забыл о нашем Биме и заговорил о человеке на просторе поздней осенью.

Итак, овцы с дружным перетреском щипали короткую травку и хрумтели так согласно, что все это сливалось в один сплошной звук, спокойный, ровный, умиротворяющий. Теперь Папаня и Алеша были близко друг от друга и говорили уже тихо, не крича, как раньше издали.

Алеша спросил:

— Папаня, спустить Черноуха?

— Давай пробовать. Не должон бы убечь сейчас: от воли не бегут. Спущай. Но сперва отстань, поиграй с ним — не колготи овцу.

Алеша подождал, пока отара отошла подальше, отвязал веревку и весело крикнул:

— Черноух! Побежали! — Тут он кинулся с горы в яр, топоча сапогами и подпрыгивая.

Бим обрадовался неимоверно. Он тоже подпрыгивал, стараясь на бегу лизнуть Алешу в щеку, отбегал в сторону и стрелой возвращался в восхищении полной свободой; потом схватил какую-то палку, помчался к Алеше, сел перед ним. Алеша взял ту палку, бросил в сторону и сказал:

— Подай, Черноух!

Бим принес ее и отдал. Алеша еще раз бросил, но теперь не взял изо рта Бима, а пошел вверх из яра к отаре, приказав:

— Черноух, держи. Неси!

Бим пошел за ним с поноской. Когда поднялись вверх, вместо палки Алеша вложил в рот Бима свою шапку. Бим понес и ее с удовольствием. Алеша же бежал вприпрыжку и повторял:

— Неси, Черноух. Неси, мой молодец. Вот хорошо. Вот хорошо.

Но к отаре они подошли тихо («Не колготи овцу»). Алеша скомандовал:

— Отдай Папане.

Хрисан Андреевич протянул руку. Бим отдал. Новое его качество открылось для пастухов неожиданно. Все трое были в восторге.

А не больше как через неделю Бим сам, своим умом дошел, что у него появилась обязанность: поворачивать самовольных овец к стаду, следить за ними, когда они распущены в линию, но не возражать, когда, войдя перед вечером в село, они разбредались стайками по домам.

Бим познакомился с двумя собаками, охраняющими огромную колхозную отару, где было три пастуха, и все взрослые, и все тоже в плащах. Хотя отары колхоза и колхозников никогда не сближались и не смешивались, но при коротких осенних остановках на тырлище Алеша бегал к колхозным пастухам, а Бим, вместе с ним, к колхозным собакам. Хорошие собаки: палевые, шерстистые, большие, но смирные, спокойные; они даже и играли с Бимом спокойно и снисходительно, а вокруг стада ходили тихо, пешком, а не так, как Бим — вприпрыг или стелющимся галопом: с чувством собственного достоинства собаки. Нравились они Биму. И овцы тоже хорошие.

Началась вольная трудовая жизнь и для Бима. Хотя они, все втроем, возвращались усталые и оттого притихшие, но это была воля и доверие друг к другу. От такой жизни не бегают и собаки.

Но однажды, как-то вдруг, посыпал снег, закрутил ветер, закружил, заметелил. Хрисан Андреевич, Алеша и Бим сбили овец в круг, постояли немного, да и повели стадо в село среди дня. На овцах был белый снег, на плечах людей снег, на земле снег. Белый снег всюду, только один снег в поле — больше ничего. Заявилась зима, свалилась с неба.

То ли Хрисан Андреевич решил, что такой собаке, как Бим, не положено спать с подсвинками или сидеть на веревке, то ли по чему-либо другому, но Бим перешел теперь ночевать в теплейшую будку, сколоченную в углу тех же сеней и набитую мягким сеном. А вечерами он входил в дом как член семьи и оставался там, пока не поужинают.

— Не может того быть, чтобы — зима. Рано,— сказал как-то Хрисан Андреевич Петровне.

Слово «зима» повторяли они в разговоре часто, о чем-то беспокоились; впрочем, Бим знал: зима — это белый холодный снег.

В тот вечер Петровна пришла, вся запорошенная снежком, мокрая, с обветренным и опухшим лицом. Бим видел, как она, раздевшись, трясла руками и стонала. Руки у нее были в красноватых трещинах и землистых пятнах, как бы в подушечках, похожих на подушечки пальцев Бима. Потом она опускала руки в теплую воду, отмывала их, долго-долго втирала мазь и охала. А Хрисан Андреевич смотрел на Петровну и о чем-то вроде бы горевал (чего Бим не мог не заметить по его лицу).

А следующим утром он наточил ножи, и все вчетвером вышли из дому: Петровна, Хрисан Андреевич, Алеша и Бим. Сначала шли ровным белым полем, покрытым мелким снежком — в пол-лапы, не больше, так что идти было легко. Вокруг тихо, но холодно. Потом они оказались на поле, где рядами разбросаны кучи — буртики свеклы, сложенной листами наружу и прикрытой сверху листами же. У каждой кучки сидели женщины, одетые так же, как и Петровна, и что-то делали, молча и сосредоточенно.

Все четверо подошли к одному такому буртику, сели вокруг него, и Бим стал внимательно смотреть, что же тут происходит. Петровна взялась за ботву, вытащила свеклу из кучи, ловко повернула ее корнем к себе и — чик! — ножом: листья отлетели. Еще чик-чик — по головке свеклы: головка чистая. И бросила в сторону, рядом с собой. Хрисан Андреевич повторил за нею все в точности. Алеша — тоже, даже ловчее, чем Папаня. И пошло! Чик-чик! — долой ботва. Чич-чик! — чистая головка. Трах! — свекла в стороне, уже в новой, очищенной, кучке.

Невдалеке, у такого же буртика свеклы, сидела женщина, одна, и делала то же самое. У следующего — тоже, но уже два-три человека вместе. И так на всем поле: свекла шалашиками, укутанные женщины с потрескавшимися ладонями и припухшими от холода лицами. Все работали или в легких брезентовых рукавицах, или голыми руками. Чич-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — нет ботвы. Чич-чик! — человек бросает нож и дует ртом на ладони, трет их друг о друга, и снова: чик-чик! — чистая головка. Как часы!

И холодно. Следя за ножами, Бим начал зябнуть, а потому встряхнулся и стал обследовать местность поблизости, не отбиваясь далеко. Согрелся и вернулся обратно к своим, хотя по пути его приглашали и другие женщины (все на селе уже знали, что такое Черноух).

Потом к ним подошла та женщина, что сидела и работала одна-одинешенька — молодая, но тощая. Она на что-то жаловалась, сморкалась на землю, затем села рядом с Петровной и показывала ей руки. Петровна тоже протянула ей свои ладони. Женщина пригорюнилась, закашлялась, прижимая брезентовой рукавицей грудь, и затихла. А звали ее Наталья.

Петровна — чик-чик! Хрисан Андреевич — чик-чик! Алеша — чик-чик! И дуют на руки, и трут щеки. Петровна — чик-чик!.. И вдруг — блюк!.. У той женщины-горемыки из глаз упала на лист капля. Она закрылась рукавом и ушла к себе, к своей свекле.

— Избави, боже, еще и ты не застудись,— сказала Петровна Алеше, подошла, поправила ему теплый платок под шапкой, подоткнула на шее, сняла с себя холщовый кушак и опоясала Алешин меховой кожушок.

Бим тоже тыкался носом в Алешин кожух, помогал Петровне. Но Алеша, как установил Бим, вовсе не так уж и озяб, как казалось; наоборот, он был гораздо теплее Папани и Петровны (Бим-то уж чувствовал это лучше людей).

— Слышь, Алеша,— сказал Хрисан Андреевич, работая ножом за двоих. (Бим навострил уши.) — Поди-ка побегай с Черноухом, погрейтесь маленько.

И вот Бим уже бежит перед мальчиком по свекловичному полю, закаменелому от мороза. Прошли они поле поперек, Алеше стало жарко, и он снял шапку, развязал платок, сунул его за пазуху, шапку надел, приподняв у нее уши.

Рядом с лесной полосой, в густой желтой траве, Бим приостановился, потянул воздух, забегал челноком и неожиданно для Алеши замер в стойке.

Алеша подбежал к нему:

— Что тут, Черноух?

Бим стоял неподвижно и ждал приказа. Алеша сообразил-таки, в чем дело:

— Пужай! Пужай!

Бим ждал магического слова «Вперед». Но Алеша крикнул еще громче:

— Пужай!

Бим пошел на подводку и поднял на крыло стайку куропаток.

Не долго думая, Алеша побежал обратно вместе с Бимом. Бим понял, что снова у них нет взаимопонимания — Алеша не знает слов Ивана Иваныча, но все же бежал рядом. А тот, запыхавшись и раскрасневшись, рассказал родителям, как Черноух нашел куропаток и «спужнул» их.

— О х о т н и ц к а я собака Черноух, ученая,— одобрил Хрисан Андреевич.— Р у ж ь е бы нам, Алешка! И на о х о т у. А?

Ружье? Охота? Какие знакомые и дорогие слова для Бима! Он знает, что это значит.

Бим завилял хвостом, заласкался к Алеше, к Хрисану Андреевичу, к Петровне, он говорил им на своем языке отчетливо и ясно. Но его никто здесь не понял: никто не пошел за ружьем и никто не пошел на охоту и без ружья. Бим сел за спиной Алеши, прижавшись к кожуху, и задумался,— по крайней мере, такой у него был вид.

Уже в сумерках они вернулись домой, усталые и прозябшие. А через несколько дней и вовсе перестали ходить на свеклу — кончили свою делянку.

Теперь Петровна никуда не уходила и была явно тому рада. Она все дни что-нибудь делала: чистила корову, стирала белье, мыла полы, рубила капусту, сбивала масло, топила печь, варила, шила на машинке, чинила одежду, выносила корове лохань — всего не перечислишь. Бим следил за ее работой.

За Алешей приходила чистая женщина с книжками, журила Петровну (но не сердито, как отметил Бим), обе они повторяли слова: «Алеша», «овцы», «свекла». На следующий день, утром, Алеша ушел с книжками, и так пропадал теперь ежедневно. Хрисан Андреевич отправлялся к сроку куда-то с вилами, а по возвращении от него пахло навозом.

В один из обычных вечеров, когда собрались все и ужинали, вошел человек: высокий, широкий, костистый, крупнолицый, но с маленькими лисьими глазками и в лисьей шапке. Бим приметил, что Хрисан Андреевич гля-

нул на вошедшего без улыбки, а из-за стола не поднялся навстречу, как всегда, и руки не подал.

— Здорово были,— равнодушно сказал гость, не снимая шапки.

— Здравствуй, Клим,— ответил Хрисан Андреевич.— Садись.

Тот сел на лавку, свернул громадную цигарку, рассматривая Бима, и спросил:

— Так это и есть Черноух? — (Бим навострился.) — Пропадет собака без охоты. Иль убегет. Продай: дам двадцать пять.

— Непродажная,— сказал Хрисан Андреевич и теперь вышел из-за стола, закончив ужин.

Бим на расстоянии в три шага легко понял: от гостя пахнет зайцем. Он подошел, обнюхал, вильнул хвостом и глянул в лицо лисьей шапки, что и означало на языке Бима: «Понимаю — охотник».

— Видишь? — спросил Клим.— Чует Черноух, с кем дело имеет. Продай, говорю.

— Не продам, Клим, не продам. Дело прошлое,— даже Алеша не знал сперва,— послал я три рубля в редакцию в областную и дал объявление: «Пристала собака охотницкая, белая, с черным ухом». Получил ответ: «Не объявляйте, пожалуйста. Пусть живет до срока». В чем дело — не знаю, но чую — собака эта важнецкая, беречь надо.

— А ты загубишь. Продай,— настаивал Клим, начиная сердиться.

— Дела не будет,— отрезал Хрисан Андреевич.— Так — бери на охоту, а приводи в тот же день. Пущай Черноух породу соблюдает, как ему по уставу положено.

— Так что непродажная,— вмешался и Алеша.

— Ну, так и так,— недовольно заключил Клим, потрепал Бима по холке и ушел.

После ужина, под фонарь, Хрисан Андреевич заколол валушка и, подвесив за задние ноги на распялке, снял с него шубу, выпотрошил, обмыл тушку и оставил ее в сарае до утра.

Петровна весь вечер то укладывала яйца в корзину, то набивала банки сливочным маслом или заливала топленым. Она потом аккуратно устанавливала их в базарные, из белых хворостинок, корзины.

Вот теперь-то Бим уловил, что от всего этого (барашек без шубы, яйца, масло, корзины) пахнет городским базаром. Ему ли не знать! Весь город от края и до края он изучил в поисках Ивана Иваныча. И Бим заволновался: базар, город, корзины, своя собственная квартира — все связалось в одно: Иван Иваныч там. Ночь он не сомкнул глаз.

Утром, рано-рано, Хрисан Андреевич завернул уже твердую тушку в чистую мешковину, обмотал шпагатом и вскинул на плечо. Петровна надела на коромысло две корзины, подняла и положила его на оба плеча. Как Бим просился с ними! Он ясно же говорил, втолковывал им настойчиво: «Мне надо с вами. Я — туда. Возьмите».

Никто не понял его переживаний. Больше того, Хрисан Андреевич сказал, поправляя и прилаживая к плечам тушку:

— Придержи-ка, Алеша, Черноуха — как бы не убег за нами.

Алеша взял его за ошейник и придержал на крыльце. А Папаня и Маманя, каждый с тяжелой ношей, медленно пошли к шоссе, к автобусной остановке. Бим провожал их взглядом, не обращая внимания на ласку и уговоры Алеши, провожал, пока они не скрылись из виду.

Вскоре пришел Клим с ружьем и рюкзаком. Охотничьей сумки и патронташа на нем нет (недостаток экипировки Бим отметил немедленно). Но все-таки — ружье! — вот в чем смысл. Бим доверчиво потянулся к охотнику и тут же установил, что патроны насыпаны в карман. Тоже непорядок большой. Главное же — ружье. За человеком с ружьем он пойдет куда угодно. Надолго или нет, а пойдет. Такая уж натура у легавых собак, и Бим не был исключением: у него на какой-то срок затихла тоска, возникшая в последний день,— даже так. В отношении к ружью Бим был обыкновенной охотничьей собакой. Не надо его обвинять в отсутствии логики, истину он постигал только практикой, хотя и был умнейшей собакой из собак. Ему еще много предстоит пережить только от одного того, что он — собака. Не будем обвинять.

— Пошли-ка, Черноух, на охоту,— сказал Клим.

Бим запрыгал перед ним: «На охоту, на охоту!»

Клим же взял его на ременный поводок, а Алеша предупредил:

— Дядя Клим, когда Черноух станет, вытянется, замрет, то тут и куропатки. Ему надо крикнуть так: «Пужай!» А то с места не сойдет.

— Аль правда?

— Ну дык! Знаю же,— степенно ответил Алеша.— Мне вот уроки учить, а то бы показал сам.

— Мы тоже кой-чего понимаем. Не впервой,— заверил Клим.

Итак, после большого перерыва и многих переживаний Бим пошел на охоту. Сначала им ничего и не попадалось, кроме норы вонючего хоря.

— Рой,— сказал Клим.

Бим такого не понимал, отошел в сторону и сел в недоумении.

К середине дня сильно потеплело. Солнечно, тонкий слой снега раскис, под лапами уже хлюпала грязь, очесы на ногах Бима обмокли и вымазались, он стал поджарым и невзрачным, как и всякая мокрая легавая. Но Бим искал по всем правилам — челноком впереди Клима, поперек и с поверочным заходом. На опушке кустарникового колка Бим стал по куропаткам.

Клим крикнул:

— Пужай!

Бим даже вздрогнул от басового рыка и поднял куропаток рывком, без подводки (ай, какая ошибка!), но выстрела не последовало. Бим обернулся. Охотник засовывал патрон в одностволку, а — никак. Потом стал его вынимать, тоже — никак. Бим сел, не сходя с места подъема куропаток, и, не приближаясь, однако, к охотнику, следил за ним. А Клим стал ругаться так, как ругаются вечером на тротуаре пьяные: качаются и ругаются друг на друга или просто в черную ночь. Этот же и не качался, а ругался.

Хотя Клим в конце концов вынул патрон, вставил другой и закрыл ружье, он был злой и чем-то напоминал Серого.

— Ну, ищи! — приказал он Биму.— Черноух, ищи!

Отвернувшись и выходя против ветра на челнок, Бим сделал вид: «Ну что ж, буду искать».

Но что-то такое апатичное появилось в прихрамывающей побежке, не та уж прыть, что до подъема куропаток. Клим принял это как физическую слабость собаки,

не понимая того, что у Бима это самое означает начало сомнений в человеке: вот так, искоса, оглядываться на него, не останавливаясь и не приближаясь, держась на почтительном расстоянии. Он как бы и не искал, а только следил за охотником, но это только казалось. Страсть необоримая, страсть вечная, пока существуют охотничьи собаки, взяла свое. В сущности, Бим шел за ружьем, а вовсе не за Климом.

Неожиданно он поймал запах зайца. По этим зверькам Иван Иваныч не охотился с Бимом, хотя раза два-три Бим и делал по ним стойку. Они ведь, эти зайцы, не держат стойку ничуть: только приостановись, а он — теку. Гонять за ним нельзя — хозяин не разрешал. Летом, правда, они кое-как еще лежат и под стойкой, но Иван Иваныч всегда отзывал Бима; а одного зайчонка величиной с ладонь даже отнял из-под лапы и пустил на волю. Так что заяц — не птица. Однако Бим настроил нос на струю, идущую от зайца, пошел точно и стал на стойку — мокрый, чуть кособокий на испорченную лапу. Нет, уже не та стойка у калеки. Не та художественная стать.

— Пужа-ай! — заорал Клим.

Заметим, в мягкую погоду, а тем более в раскисшей грязи, заяц лежит крепко, а Бим пока все еще не стронулся с места, будто хотел сказать: неправильно кричишь-то.

— Пужа-ай, черт хромой! — рыкнул Клим.

Поднял зайца Бим и прилег, как и полагается перед выстрелом.

Клим бабахнул, как пушка. Заяц бежал, но все медленнее и медленнее. Потом сел, потом спрятался в борозде и пропал из глаз.

Клим кричал дико:

— Ату, ату его! Ала-ала-ла-ла! Ату! — и бежал по направлению, где спрятался заяц.

Бим, хотя и запрыгал рядом с Климом, знал точно, что все это происходит не по правилам: охотник не должен бежать с собакой, Бим и сам найдет, если надо — даже зайца, если приказал бы Иван Иваныч.

Клим остановился, запыхавшись, и неистово орал:

— Ищи, балда! Калека чертова!

Пошел Бим как-то обиженно. И без того запах зайца не так-то уж его интересовал и раньше, а тут — позади

топает ногами Балда. Но все же следом, следом Бим дотянул, стал в стойке, дождался противного «Пужай» и размахнулся на подъем зайца. Но тот буквально выполз из борозды и заковылял как больной. Клим выстрелил. а заяц бежал. Еще выстрелил, а заяц тихо-тихо ковылял с приостановками. Бим лежал, как и полагается, несмотря на грязь, ждал приказа.

А Клим рычал:

— Ату, гад! Ату его, балда! — И указывал на зайца.

Бим вновь нашел затаившегося подранка и опять сделал стойку. Третью! И опять Балда промазал. И снова заяц побежал.

Так Клим и не смог понять в своем озлоблении, что Черноух не приучен рвать подранков и душить их, что это ниже достоинства интеллигентного сеттера, что сеттер не терпит таких охотников, как он. Когда в последний раз заяц скрылся из виду (он пошел несколько бодрее — видимо, рана была открытой), Клим снова рассвирепел: он подошел вплотную к Биму и часто повторял слово «мать», зло, с ненавистью: явно проклинал Бима.

Бим отвернулся сидя, собираясь уходить от ружья. И тут Клим с размаху ударил его изо всей силы носком громадного сапога в грудь снизу...

Бим охнул. Как человек охнул.

«О-о-х! — вскрикнул протяжно Бим и упал.— Ой, ой...— говорил теперь Бим человеческим языком.— Ой... За что?!» И смотрел мучительным страдающим взглядом на человека, не понимая и ужасаясь.

Потом он с трудом встал на четыре лапы, покачался чуть-чуть и рухнул вновь, шевеля лапами.

— Что ж я наделал! — схватился за голову Клим.— Теперь придется четвертную отдавать. Пропали деньги! — И затрусил скоро-скоро, будто убегая от взгляда Бима.

В тот день Клим не появился в селе, а где-то прошлялся до ночи. В полночь, крадучись огородами, заполз в свою хату, что на самом краю села.

Что же Бим? Где он?

Он остался один на сырой холодной земле, один-одинешенек на всем белом свете. Внутри что-то оборвалось от удара, и это «что-то» стало теплым, оно захватило дыхание, сперло грудь, оттого он и потерял сознание. Но

вот он кашлянул, его стошнило, вздохнул — дышать больно. Еще раз схватил воздух открытым ртом и откашлялся. С усилием приподнял голову: поле качалось так, будто Бим плыл по волнам в половодье. Он натужился, сел: поле качалось, солнце качалось, как подвешенное на веревке.

Сегодня с Бима спросили больше того, что он может; от него потребовали: ты д о л ж е н, о б я з а н сделать то, чего н е м о ж е ш ь сделать против своей собачьей чести и совести. За неисполнение жестоко и свирепо избили. А он, Бим, не позволит душить подранка.

«За что-о-о... За что-о-о...— скулил тихонько Бим.— Где ты, мой добрый друг... Где-е? Где?..» — все тише и тише жаловался Бим, а наконец и замолк.

Со стороны показалось бы, что лежит в открытом слякотном поле мертвая собака. Но это было не так.

Вот он приподнял зад, укрепился на ногах — не упал. Переступил раз — не упал. Постоял. Переступил второй раз. И заскоблил по пашне, волоча лапы, перечеркивая свой собственный след.

...О великое мужество и долготерпение собачье! Какие силы создали вас такими могучими и неистребимыми, что даже в предсмертный час вы движете тело вперед? Хоть помаленьку, но вперед. Вперед, туда, где, может быть, окажется доверие и доброта к несчастной, одинокой, забытой собаке с чистым сердцем.

И Бим шел. Еле шел, но все-таки шел. На губах выступила кровь, а он шел. Кашлял кровью, а шел. Спотыкался, припадая на колени, и шел. Ложился от бессилия на холодную землю, вставал и вновь продвигался вперед еще.

У ручья жадно напился воды — стало чуть легче. Что-то ему подсказывало: от воды уходить не надо. Он действительно добрался до ближайшей скирды, через силу просунулся под нависшую до земли солому и затих. Так собаки отлеживаются от недуга, скрываясь от взора людей и зверья; этому научила их сама природа. Слава ее законному порядку и разумной целесообразности!

Сколько Бим пролежал в забытьи, он не знал, но, очнувшись, почувствовал острую боль в груди; голова закружилась, и он, ощутив нутром, что сейчас что-то произойдет с ним, выполз из соломы. Полежал на открытом воздухе. Ощутил, что шерсть стала сухой. Сел. Осенняя

трава теперь не качалась, скирда не качалась, солнце — тоже, и оно теплое, немножко греет. Бим доплелся до ручья и вновь пил, пил, пил. Отдыхал немного и опять пил уже маленькими глотками. Он заметил недалеко от ручья степную осоку, мелкую и еще зеленую, похожую на пырей (морозы не скоро ее берут). Бим стал есть осоку. Что ему подсказывало об этой невзрачной травке, люди никогда так и не узнают, но он-то знал: обязательно надо есть именно ее. И ел. Потом попалась уже присохшая запоздалая ромашка, а на ней прижатые осенью полусухие цветы. Он ел и ромашку. Еще вернулся к ручью, напился и пошел к деревне. Шел вперед и вперед.

Так-таки и добрел, когда уже смеркалось. Нет, Бим не пошел в деревню. Как же! Туда побежал Клим... Нет, за ним он не пойдет. Клим может взять снова за ошейник, и тогда... Нет, такого не будет.

Бим устроился в остатках копны, отлежался немного. Почуял рядом стебель лопуха, попробовал его— сухой, отгрыз его вровень с землей и стал щипать корень, вгрызаясь в глубину. Это он тоже знал, что уж лопух-то надо есть обязательно.

Велики и многогранны лечебные познания собаки. Отпустите собаку в начале бешенства в лес: через две-три недели она придет истощенная до полного бессилия, но здоровая. Заболела собака желудком — ведите в лес или в степь и поживите с ней пару-тройку дней: она вылечит себя травами. Именно у собаки и надо учиться, как ее лечить. Природа закрепила настолько богатые «знания» у собаки, что чуду этому люди никогда не перестанут удивляться.

...Ночь прошла. Большая, осенняя, ноющая внутри ночь.

Прокричали первые петухи. Бим не стал дожидать вторых и третьих, последних, рассветных. Он поднялся, но никак не мог сдвинуться с места от боли в груди. Но все же с усилием размялся, дважды ложась и вставая вновь, да и побрел тихонько.

Он притащился к Хрисану Андреевичу, взобрался через два порожка на крыльцо и прилег. В доме было безмолвно.

Кто знает, может быть, он не ушел бы отсюда сегодня, но рядом, совсем рядом, прошел Клим, тихо, крадучись вором. Бим задрожал. Бим готов был защищаться до по-

следнего издыхания. В Биме проснулась гордость обреченного, когда тому больше нечего терять. Но Клим перегнулся через балясину и сказал полушепотом:

— Пришел, Черноух.— И торопливо, трусливо потопал обратно, будто повеселел.

У Бима не было сил, чтобы догнать и мстить за коварный жестокий удар сапогом, лаять он не мог, потому что кроме хрипа из этой попытки ничего не получилось в искалеченной груди. Но Бим не желал и того, чтобы Клим вдруг пришел и пытался взять его. И вот он встал, тихо обошел двор, принюхался к подсвинкам, к корове, овцам, чуть посидел и пошел из села вон. А как хотелось прилечь у друзей-поросят!

...Пропели третьи петухи. Светало.

По направлению к шоссе шла собака. Голова опущена, хвост висел безжизненным, как у бешеной. Со стороны она и могла бы показаться бешеной, в последней стадии болезни: вот-вот рухнет, наткнувшись на первый попавшийся предмет, и умрет тут же. Это был наш Бим, наш добрый и верный Бим. Он шел искать своего хозяина, Ивана Иваныча. Шел точно старым путем, по которому его вели сюда.

От деревни до остановки автобуса было километров пять-шесть, но где-то на полпути Бима снова оставили силы, он едва дотянул до стога сена. Кто-то, воруя ночами, продергал в стоге дыру — туда Бим и забрался. Лежал там долго, почти весь день, а перед заходом солнца вышел из своего ухорона. Хотелось пить, но воды не было. Боль сверлила грудь, хотя дышать стало легче, а голова не закружилась, когда он тронулся в путь. Теперь ему попалась кулижка бессмертника, он съел и эти цветочки — желтенькие, сухие, не изменяющие цвета от начала цветения до созревания и дальше, на всю зиму, до весны. Общипал и кустик ромашки, но у этой головки оказались созревшими, во рту рассыпались и першили в горле, отчего еще сильнее захотелось пить. Когда он переходил одну из полевых дорог, попалась лужица от растаявшего снега в колее. Так дорога сберегла для Бима водички. Он напился и пошел помаленьку дальше.

Затемно он прибыл наконец на шоссе. Посидел малость, проводил глазами несколько автомобилей с ослепительным светом и уже знал: надо идти туда. Но — не ночью же! А вдруг — Клим? Или — Серый дядька? Или — волк?

Бим решил не отходить от автомобильной дороги и спрятаться на ночь неподалеку, где-нибудь рядом. Он дотащился до автобусной остановки, где был маленький домик без одной стены, но с широкими лавками внутри, там забился в угол, под лавку, и стал ждать.

За ночь он не сомкнул глаз, несмотря на неимоверную слабость. То один, то другой проскакивали мимо автомобили — дорога жила и ночью. Автобус замедлял ход перед остановкой, где лежал Бим, но из-за отсутствия пассажиров уезжал дальше.

Ночь была хотя и настороженная, и больная, но теплая, слава богу,— осень еще раз прогнала зиму.

Что же произошло в деревне за эти сутки в отсутствие Бима?

Хрисан Андреевич с Петровной вернулись с базара уже в сумерки. Алеши не было — дом на замке. Они вошли, пересчитали деньги, вырученные в городе, спрятали их пока в сундучок, чтобы завтра отнести в сберкассу. Тут и заявился Алеша.

— Куда ты запропал? — спросил отец.

— Ходил до Клима.

— Аль он не привел Черноуха?

— Еще не пришел с охоты.

— Придет. Приведет — никуда не денется,— успокоила Петровна, примеряя Алеше новенький свитерок.

— Так-то оно так,— неуверенно сказал Хрисан Андреевич,— да только Клим-то, вишь, ворюга... Хоть бы брал-то одно колхозное — оно там ничье, а то ведь у колхозников тащит. О, с этим свяжись — рад не будешь. Любой-каждый его боится. Пущай уж берет Черноуха на охоту, леший с ним, с Климом.

— Как так — «ничье»? — спросил Алеша.— Наше же?

— Оно, конечно, так... Оговорка... Это ты правильно — наше... Но, как бы тебе потолковее сказать? Там — наше, а тут — свое. Ну, скажем так: школа, к примеру, наша и дети все наши, а ты — мой. Или так: поля — наши, а усадьба — своя... Стало быть, и скотина: есть — наша, а есть — своя. Понял?

— Ну дык! Как не понять... А ты — «ничье».

— Это ты правильно: совсем ничье — не может того быть.

Отец всегда разговаривал с Алешей как со взрослым. Алеша отвечал тем же:

— Стало быть, и Клим: брал бы из нашего, а не из моего.

— Фактически так,— заключил отец.— Мы же с тобой берем... сенца там иль свеколки для коровы? Берем. Потаенно от председателя, а берем чуть. Да и он, председатель, знает, и бригадир знает, все знают. И от этого никуда не денешься: из нашего берем. И берем по совести, из прошлогодних стогов иль добираем остатки свеклы. А как же? Скотину кормить-поить надо.

— Фактически так,— подтвердил тринадцатилетний мужичок, который уже может и пасти стадо, и ухаживать за «своей» скотиной, и пахтать масло, помогая матери, если свободен, конечно, и чистить по морозу «нашу» свеклу, и копать «свою» картошку.

А Хрисан Андреевич разъяснял дальше:

— Как положено по уставу, так и действуем все: там — наше, а тут — мое. Я вот отнес барашка в город. А как же? Кормить-поить народ надо— мы к тому приставлены. И мать отнесла яйца. И масло. Все по уставу, все планово. Жизня, Алешка, наладилась хорошо, обуты, одеты не хуже учителя аль председателя, телевизор есть и все такое, деньжонки есть по потребности. А что работаем много, так, окромя крепости, от этого ничего не бывает. Только вот водку не надо пить,— наставлял Хрисан Андреевич.

— А сам пьешь,— резонно заметил Алеша.— Раз не надо — и не надо. Проку-то!

— Это ты правильно,— согласился отец.— Разве что бригадира уважить, так это ж не нами заведено... А Клим — что? Клим — ворюга. Как это так: пойти к соседу и украсть курицу? Это же надо потерять всякую совесть. Куда-а там! Пропал человек.

В ожидании Черноуха Алеша и Хрисан Андреевич проговорили так до одиннадцати вечера. Потом ходили вокруг двора, заглядывали к поросятам, под крыльцо (может быть, убежал от Клима да и спрятался). Наконец Хрисан Андреевич пошел сам. Наталья, жена Клима, тихая и забитая мужем, та самая, что уронила слезу на свекольный лист, сказала горестно:

— Не пришел еще, бродяга. Заночевал где-нибудь, идолище. Либо запил, окаянный. Ох, горе мое! Считай,

теперь завтра придет, шатун. А собаку он никуда не денет, знаю его. Приведет.

Хрисан Андреевич вернулся домой, рассказал, что слышал, и они с Алешей улеглись на покой, разговаривая шепотом, чтобы не будить мать. Они не слышали, как приходил Черноух на крыльцо, как подкрадывался и убежал Клим, как ушел их добрый новый друг от злого человека.

Утром отец разбудил Алешу:

— Вставай. На крыльце свежие следы: пришел Черноух.

Вдвоем они стали искать, звать, свистеть, но Черноух уже не мог их услышать. Хрисан Андреевич почти бегом затрусил до Клима, разбудил его.

— Привел же, привел,— басил тот хрипло и недовольно.— За полночь привел, не хотел тебя будить... Хочешь, следы свои покажу. А ты вот меня разбудил, растревожил. Как думаешь: по-человечески ты поступаешь или как? Да и кобель твой негодный для охоты. Сдался он мне — не буду его брать никогда.

Хрисан Андреевич не спорил: с этим только свяжись.

Они обошли с Алешей все село, огороды, были на колхозном дворе (не у собак ли Черноух в гостях). Нет, никто нигде не видел Черноуха. Пропал Черноух.

— Стало быть, Клим его побил,— догадался Хрисан Андреевич.— Убег Черноух.

А у Алеши щемило сердце от жалости и горя. Он стал рассматривать пол на крыльце: следы уже высохли, но место, где лежал Черноух, осталось заметным. Алеша наклонился и неожиданно кинулся в дом с криком:

— Папаня! Кровь!

Тот выбежал, присмотрелся: там, где лежала голова Черноуха, остались высохшие пятнышки от слюны, перемешанной с кровью.

— Зверь! — сказал Хрисан Андреевич. Подумал и предупредил Алешу: — Смотри не связывайся с этим человеком — беды наживешь. Вот что: пойдем-ка по путю Черноуха — кроме ему некуда.

Они добрались до автобусной остановки, по дороге зовя и выискивая Черноуха, долго там поджидали, да и ушли домой. Думалось, если шел сюда, то теперь он уже далеко-далеко. В этот день они проходили неподалеку от того стога, где отлеживался Бим, их Черноух.

Вечером Алеша несколько раз выходил на крыльцо, ждал, звал. А потом вернулся в сени, сел у собачьей будки, набитой сеном, и заплакал, откровенно, по-детски, всхлипывая и размазывая рукавом непослушные слезы.

Хрисан Андреевич услышал. Вышел в сени, включил свет.

— Э, да ты никак — того? — удивился он.

— Того,— ответил Алеша, вздрагивая.

Отец провел шершавой, деревянной ладонью по волосам сына и проговорил:

— Это хорошо, Алеша... Душа в тебе есть, мальчик...

Вышла и Петровна.

— Жалко Черноуха? — спросила она.

— Жалко, маманя!.. Жалко...

— Горе-то какое, отец,— всхлипнула она,— Что же теперь поделаешь, Алешенька... Так тому быть.., Жалко...

...А в это самое время Бим уже лежал под лавкой павильончика автобусной остановки.

Лежал и ждал. Ждал он только одного — рассвета.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ЛЕСНАЯ БОЛЬНИЦА. ПАПА С МАМОЙ. ГРОЗА В ЛЕСУ

Как только забрезжил рассвет, Бим попробовал встать, но это было нелегко, почти невозможно. Главное, трудно разогнуться из калачика: что-то застыло теперь внутри и будто склеило там. Кое-как, не по-собачьи, он сначала вытянул одну заднюю ногу, как курица из-под крыла, потом — вторую, уперся ими о стенку и выполз из-под лавки. Чуть полежал и пополз из павильона. Сел. Отекшие ноги стали отходить. Превозмогая боль и утишая ее слабым поскуливанием, про себя, он пошел — сначала с трудом, чиркая лапами о землю, потом все прочнее и прочнее.

Попробовал малость впритруску — так боль в груди меньше. И вот он легонько-легонько потрусил и потрусил вперед. Со стороны, конечно, показалось бы, что со-

бака и не бежит и не идет, а сучит ногами, почти не сотрясая тела. Так Биму легче. Он почувствовал, что ему и вообще стало легче от трав и движения. И он семенил и семенил по бровке шоссе.

Шел по левой стороне дороги, против встречных автомобилей. Он, безусловно, не знал «Правил уличного движения по дорогам СССР» и никакой логики и целесообразности, как могло показаться встречным шоферам, в его законном движении не было — просто инстинкт подсказывал: этой стороной меня везли сюда, этой же стороной пойду и обратно. Люди, мелькающие в окошках автомобилей, обязательно думали: «Умная собака какая — соблюдает правила движения. Но больная». На самом же деле тут никакого разума особого не требовалось, чтобы подтвердить, что соответствующая статья правил удовлетворяет требованиям безопасности.

Долго семенил Бим,— может, три, может, четыре часа (с остановками и отлежками — больше, конечно). Скорость его не превышала скорости пешехода, возможно, чуть-чуть даже и больше. И то уже хорошо!

Но вот он, неожиданно для самого себя, узнал ту самую автобусную остановку, где они всегда сходили с Иваном Иванычем перед началом охоты. Узнал!

Около павильона стояли люди в ожидании автобуса. Бим приостановился, не доходя до них, и свернул влево, на ту дорогу, по какой хаживал на охоту. Кто-то засвистел ему вслед, кто-то заулюлюкал, кто-то крикнул: «Бешеная!» Бим не обращал внимания. Он даже пытался прибавить ходу, пробуя перейти в намет, но это ему не удалось, скорость не прибавилась, только стало еще труднее.

Главное — туда. Туда, где, возможно, был недавно или скоро будет Иван Иваныч. Туда, вперед.

Бим трусил к лесу. На опушке он остановился, осмотрелся и пошел в лес. Неподалеку сразу же отыскал знакомую полянку и стал у пенечка как вкопанный. Постоял, проверил носом вокруг, не сходя с места, обошел тот пенечек, принюхиваясь вплотную к земле. И вдруг, как-то решительно, лег у пенька на палую листву: здесь, вот здесь всегда сидел Иван Иваныч перед охотой. Бим вытянул голову и терся, терся ею о желтые листья на том месте, где стояли когда-то ноги его друга, хотя всякие запахи давно выветрились.

А день тот был теплый-теплый!..

Бывает, поздней осенью, даже и после зазимка, вернется лето и зацепит уходящую осень огненным хвостиком. И осень растает, разнежится и притихнет, словно ласковая собака, которую гладит женщина. И тогда лес запахнет прощальным ароматом палой листвы, рубиновыми плодами шиповника и янтарем барбариса, терпким и острым, как перец, копытнем, белым грибом, никем не тронутым, уже развалившимся, пропитанным водой, но все еще пахучим, напоминающим о прошлых погодах; и потечет по лесу улыбчивый добрый дух от сосны к березе, от березы к дубу, а тот ответит могучими запахами силы, крепости лесной и вечности. В запахах леса есть что-то вечное и неистребимое, особо ощутимое в теплые, мягкие и ласковые прощальные последние дни уходящей осени; она уже освободилась от нудных дождей, злючих наскоков зазимья и дотошных, все обволакивающих иголок инея: все ушло, все в прошлом. И будто осень, засыпая, видит сон о лете, а нам показывает свои божественные видения во всем величии одухотворенной красоты и в животворящих ароматах земли. Благо тому, кто сумел впитать в себя все это с детства и пронес через жизнь, не расплескивая ни капли из дарованного природой сосуда спасения души!

В такие дни в лесу сердце становится всепрощающим, но и требовательным к себе. Умиротворенный, ты сливаешься с природой. В эти торжественные минуты сновидений осени так хочется, чтобы не было неправды и зла на земле. И в тишине уходящей осени, овеянный ее нежной дремотой, в дни недолгого забвения предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только честь, только чистая совесть, и обо всем этом — с л о в о. Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми.

Может быть, поэтому я и пишу о судьбе собаки, о ее верности, чести и преданности. О той самой собаке, которая лежала в тот теплый-теплый осенний день в лесу у пенечка. И тосковала.

Итак, в один из счастливых дней природы в лесу лежала несчастная собака Бим. А день был — боже мой! — теплый-теплый!

Но земля-то была холодная. Поэтому Бим свернулся у пенечка, будто в ногах у хозяина, отдохнул маленько да и пошел потихоньку лесом, что-то выискивая. Захотелось есть. У свежесваленного осокоря он стал грызть сочную его кору, вкусную, любимую пищу лосей. Подозревал ли Бим, что эта кора — целебная для него?

Впрочем, людям, может быть, и невдомек, что тончайшее чутье собак, возможно, отличает полезные запахи от вредных. Ведь не стал же Бим есть ядовитый копытень, а у корня валерьяны остановился. Почему собаки и кошки любят ее запах? Тоже неизвестно. Но Бим кое-как копнул разок-другой мягкую, пухово-листовую землю, отгрыз корешок и съел. И еще съел. Корень валерьяны почти сверху — достать его не трудно. Съел он столько, сколько надо, никак не больше, покрутился на месте, будто вытаптывая и готовя место для лежки, но место не понравилось (тоже неизвестно почему). Сделал небольшой круг, потом сузил его, напал на старый фронтовой окопчик, забитый доверху листьями, спустился туда и вновь закружился на месте. Уже он обтоптал себе глубокую и мягкую постель, но, видимо, не хотел ложиться, как бы борясь со сном; однако же, как-то рывком, упал в постель и тут же, немедленно, уснул крепким сном.

Валерьяна взяла свое. Купырь называется в Тамбовской области. Но ни в какой области и губернии здоровые собаки не ели и не едят корень купыря, разве что потрется какая мордой о него, а вот больные едят. Бим в этом смысле был не хуже других собак, хотя и интеллигент. Вот он и съел. Так что, очень прошу вас: тише. Тише. В той ямке спит наш добрый Бим.

Уже третьи сутки ничего не ел Бим, кроме трав, и не спал от боли и настороженности, пожалуй, и давно так не спал крепко. В ямке было тепло и тихо. Лес, по-осеннему притихший, оберегал покой больного Бима, лечил его травами и целительным воздухом. Спасибо тебе, лес!

Проснулся Бим уже перед вечером. Вышел наверх. Идти хоть было и трудно, но уже легче, далеко легче, чем утром. Внутри отмякло. Только вот сил все еще не было. Он сходил к родному пенечку, посидел немного и вернулся к своему логовищу. Опять посидел. И опять проверил нюхом, осмотрелся: все было спокойно. И вновь улегся

в теплую, уютную глубокую ямку. Наверно, Бим видел хороший сон. Даже обязательно видел, потому что слегка, чуточку, повиливал хвостом.

Так он проспал всю ночь. И не прозяб.

На рассвете его разбудил тихий шорох, он приподнял голову, прислушался: кто-то копается в листве. Вылез Бим, прочитал носом еле заметные в безветрие микроскопические струйки воздуха и установил точно: вальдшнеп!

Непреоборимая страсть охотника напружинила слабое тело и притушила давящую внутри боль. Вальдшнеп был шагах в пяти, не больше. Он разрывал лапками листву, просовывал нос в мягкую землю, абсолютно точно нацеливая его в отверстие хода червя-росовика, вытаскивал того червя и съедал охотно. Крыло птицы волочилось по земле (так остаются подранки от горе-охотников, живут до зимы, а потом либо становятся добычей лисы, либо погибают, если ухитрятся уцелеть до больших морозов).

Бим переставил лапу — вальдшнеп не услышал, увлеченный работой. Переставил другую — не слышит, работает. Вальдшнепу тоже нельзя терять времени: с теплом червь подходит к поверхности или даже залегает прямо под плотной листвой. Бим подкрался вот так, из-за дерева, и замер в стойке. Никто не крикнул ему «Вперед!», он сам стронулся, хотел прыгнуть на птицу и прижать ее лапами, но прыжка не получилось: просто упал и схватил вальдшнепа зубами. Подержал, лежа на боку, повернулся на живот и... съел дичину. Всю. Остались одни перья. Даже клюв, совершенно мягкий, как установил Бим, тоже съел начисто.

Как же так получилось, что дрессированный, натасканный опытной рукой охотника, Бим нарушил честь — съел дичь? То-то вот и оно, я и сам об этом думаю. Получилось так потому, что и собака хочет жить. Другое предположение вряд ли можно придумать.

Силы у него прибавилось, вот в чем суть. Захотелось пить. Бим нашел лужицу, каких в любом гостеприимном лесу сколько угодно, и утолил жажду. На обратном пути нащупал нюхом мышь: съел, в дополнение к первой порции. И стал искать травы. Первым делом сорвал уже полусухие стебельки дикого чеснока, выплюнул их, зато выковырнул его головку. Съел, поморщившись (как-никак чеснок). Брел по лесу и находил, что ему нужно. Бог

его знает, откуда стало ему известно, что в чесноке — два или три десятых процента йода? Никто не ответит на этот вопрос. Можно только догадываться, что в тяжкие, почти предсмертные часы, два дня назад, ему как откровение пришел опыт его далеких предков, опыт, запрограммированный еще из прошлых многих веков, еще со времен Моисея. И это было тоже чудо природы!

Лечился Бим еще пять дней. Питался чем бог поможет, но лечился настойчиво. Спал в обжитой ямке, ставшей на время его домом. Однажды даже наткнулся на спящего зайчишку, но отпробовать его не удалось: тот вскочил и дал стрекача. Бим и не пытался гнаться за ним. Не догнать и здоровому сеттеру, а тут — нечего и думать. Он проводил взглядом, облизнулся, да и только. Однако лес не обижал Бима, он кое-как прокормился,— плохо, конечно, но прокормился. Хотя он исхудал, отощал от болезни и недокорма, но травы сделали свое дело — Бим не только остался жив, но нашел возможным продолжать путь, искать человека-друга. И опять это произошло без особого разума, а только от сердца, от преданности и верности.

При очередной проверке полянки с пенечком Бим прилег, встал, еще прилег и еще встал. Наверно, он решил-таки, что Ивана Иваныча здесь не дождаться. Вернулся к ямке, от нее опять же — к пенечку; там и тут задерживался на минуту и вновь возвращался. Очень сильное нетерпение выражалось в такой пробежке туда-сюда; беспокойство все усиливалось. Наконец он пробежал все-таки мимо пенечка, не остановившись, и легкой трусцой направился к шоссе. Было это в предвечерний час, когда солнце собиралось уходить на покой.

В город Бим пришел поздним вечером. В городе было светло, не так, как в лесу ночью, но именно эта светлота и беспокоила Бима. Такого с ним не было никогда. И он шел осторожно и в то же время торопливо, насколько позволяло здоровье, направляясь, конечно, домой — к хозяину, к Степановне, к Люсе, к Толику: все они, наверно, там. Но неожиданно для самого себя, еще в окраинном новом районе, среди тех домов-близнецов, Бим решил обойти опасный участок, чтобы миновать дом Серого. Дал кружной ход, свернул в боковую улицу и уткнулся в забор. Начал было его обходить и вдруг замер у калит-

ки: след Толика! Мальчик, какого так полюбил Бим, прошел здесь. Вот только-только прошел. Калитка была заперта, но Бим, не задумываясь, подлез под нее пластом и пошел по следу маленького друга. Ну вот же, вот сейчас прошел! Это был крохотный парк-сад, а в середине его стоял небольшой двухэтажный дом. Туда и повел след.

Бим подошел к двери, в какую вошел Толик совсем недавно. Приученный со щенячьего возраста относиться к любой двери с доверием, он поцарапался и в эту. Ответа не было. Биму было невдомек, что такое его поведение у данной двери можно было назвать нахальством наивности. Но он еще раз поцарапался, уже сильнее.

Из-за двери голос женщины:

— Кто тут?

«Я,— ответил Бим.— Гав!»

— Это еще что? Толик! Кто-то к тебе с собакой. Еще чего не хватало!

«Я, я! — сказал Бим.— Гав, гав!»

— Бим! Бим! — закричал Толик и открыл дверь.— Бим, милый Бим, Бимка! — И обнял его.

Бим лизал руки мальчика, курточку, тапки и непрерывно смотрел ему в глаза. Сколько было надежды, веры и любви во взоре собаки, перенесшей столько испытаний!

— Мама, мама, ты посмотри, какие у него глаза. Человеческие! Бимка, умный Бимка, нашел сам. Мама, сам нашел меня...

Но мама не проронила ни слова, пока друзья радовались встрече. Но когда восторги улеглись, она спросила:

— Это — та самая?

— Да,— ответил Толик.— Это Бим. Он хороший.

— Сейчас же прогони.

— Мама!

— Сейчас же!

Толик прижал Бима к себе:

— Не надо, мама. Пожалуйста! — И заплакал.

Прозвенел музыкальный звонок. Вошел человек. Он добрым, но усталым голосом спросил:

— Что у вас тут за крик? Ты плачешь, Толик? — Он снял пальто, разулся, надел тапки и, подойдя к мальчику с собакой, сказал: — Ну, что ты, дурачок? — И погладил

Толика по голове, потрепал за ушко и Бима: — Ишь ты! Собачка. Смотри-ка, какая собачка... худая.

— Папа... папа, он — хороший, Бим. Не надо.

Мама теперь уже закричала:

— Вот так всегда! Я одно говорю ему, а ты — другое. Воспитание называется! Изуродуешь ребенка! — Она перешла на «вы»: — Будете локти кусать, Семен Петрович, да поздно.

— Подожди, подожди, не кричи. Спокойно.— И увел ее в дальнюю комнату, где она кричала еще больше, а он ее уговаривал.

Из всего этого Бим понял, что Мама против Бима, а Папа — «за» и что он пока останется у Толика. Слова понимать не потребовалось бы даже человеку, он все понял бы даже в том случае, если бы ему наглухо заткнули уши. А тут все-таки собака с открытыми ушами и умными глазами. Как не понять! И правда, Толик повел Бима в свою отдельную комнату (там пахло исключительно одним Толиком).

Ни Бим, ни Толик не слышали дальнейшего разговора Мамы и Папы.

А там происходило вот что:

— Зачем же ты при Толике такие слова говоришь: «Изуродуешь ребенка» и тому подобное? Это же для него пагубно.

— А это не пагубно: явно больная собака, бродячая — да в нашу образцовую чистоту! Ты что — с ума сошел? Да он завтра же заболеет от нее черт-те чем. Не позволю! Сейчас же выгони пса!

— Эх, мать, мать! — вздохнул Семен Петрович.— Ни капли ты не представляешь, что такое тактика.

— Провалитесь вы со своей тактикой, Семен Петрович!

— Ну вот, опять за свое... Надо же сделать с умом: и Толика не травмировать, и пса уволить.— Потом что-то пошептал ей и заключил: — Так и сделаем: уволим.

— Так бы и говорил сначала,— успокаивалась Мама.

— Не мог я сказать этого при Толике... А ты, дурочка, несешь: «провалитесь с тактикой».— Он потрепал ее по щеке (то есть помирились).

Они вошли к Толику, Мама сказала:

— Ну, пусть живет, что ли...

— Конечно, пусть,— поддержал Папа.

Толик возрадовался. Он смотрел благодарно на Маму и Папу, он рассказывал о Биме и показывал все, что тот умеет.

Это была счастливая семья, где все теперь были довольны жизнью.

— Но одно условие, Толик: Бим будет спать в прихожей и ни в коем случае не с тобой,— заключил Папа.

— Пусть, пусть,— согласился Толик.— Он ведь очень чистоплотный, Бим. Я хорошо знаю.

Бим приметил, конечно, что Папа — хороший, спокойный, уверенный и ровный. А когда, несколько позже, Толик провел Бима по комнатам, знакомя с квартирой, то и тут Бим заметил, что Папа ест один, с газетой в руках, и тоже — спокойно и уверенно. Хороший человек — Папа, он же и Семен Петрович.

Допоздна провозился Толик с Бимом: расчесал его, покормил немного (больше не велел Папа — «Голодной собаке много нельзя, загубить можно»), выпросил у Мамы тюфячок (совсем новый!), постелил в углу прихожей и сказал:

— Вот твое м е с т о, Бим. На место!

Бим беспрекословно лег. Он все понял: здесь он будет пока жить. Внутри у него потеплело от ласки и внимания маленького человечка.

— Пора спать, Толик. Пора. Уже пол-одиннадцатого. Иди, ложись,— уговаривал Папа.

Толик лег в постель. Засыпая, он думал: «Завтра пойду к Степановне и скажу, пусть у меня живет Бим, пока вернется Иван Иваныч»... И еще вспомнил такое: когда он рассказал, что ходит к Степановне и там есть Люся, а он водит Бима, то мама раскричалась, а папа сказал Толику: «Больше туда не пойдешь»; когда же Толик плакал, то папа напоследок сказал маме: «Мы забыли с тобой, что такое тактика». И гладил Толика по голове, говоря: «Что теперь поделаешь? Надо тебе вырасти, большим человеком стать, но не собачником и не по бабкам разным там ходить. Ничего не поделаешь!» А теперь вот Бим будет жить у него, и «по бабкам» ходить не надо... Он только один разик сходит к Степановне, чтобы сказать ей обо всем... и к Люсе... Она милая девочка, Люся... А Бим небось спит. Хороший Бим.

На этой мысли Толик уснул спокойным, радостным, светлым сном.

...Глубокой ночью Бим услышал шаги. Он открыл глаза, не поднимая головы, и смотрел. Папа тихо подошел к телефону, постоял, прислушался, потом взял трубку и полушепотом сказал всего два слова:

— Машину... Сейчас.

Значения этих слов Бим, конечно, не понял. Но заметил, что Папа тревожно смотрел на дверь Толика, бросил неспокойный взгляд на Бима, ушел в кухню, вышел оттуда на цыпочках, с веревкой и каким-то узелком. Бим сообразил: что-то не так, что-то в Папе изменилось — он не похож сам на себя. Внутреннее чутье подсказывало — надо залаять, надо бежать к Толику! Бим, вне всяких сомнений, сделал бы именно так, но Папа подошел и стал гладить Бима (значит, все хорошо), потом привязал веревку к ошейнику, надел пальто, тихо-тихо открыл дверь и вывел Бима.

У подъезда стоял и журчал живой автомобиль.

И вот едет Бим на заднем сиденье. Впереди человек за рулем, рядом с ним Семен Петрович. Из узелка, что положен рядом с Бимом, пахнет мясом. На шее веревка. Люди молчат. Бим тоже. Ночь. Темная, темная ночь. Небо заволокло тучами — оно черное, как чугун в доме Хрисана Андреевича, непроглядное. В такую ночь невозможно собаке следить за дорогой из автомобиля и заприметить обратный путь. И куда везут, Бим тоже не знал. Собачье дело — что? Везут, и все. Только вот веревка зачем? Беспокойство окончательно овладело Бимом, когда подъехали к лесу и остановились.

Семен Петрович повел Бима на веревке в глубь леса, захватив с собой ружье. Шли вниз, в яр, освещая просеку фонариком. Дорожка уперлась в небольшую полянку, окруженную огромными дубами. Тут Семен Петрович привязал Бима к дереву за веревку, развернул узелок, вынул из него миску с мясом и поставил перед Бимом, не произнося ни единого слова. И пошел обратно. Но, отойдя на несколько шагов, обернулся, ослепил Бима фонарем и сказал:

— Ну, бывай. Вот так.

Бим провожал взглядом удаляющийся свет фонарика и молчал — в удивлении, в неведении и горькой обиде. Он ничего, ровным счетом ничего не понимал. И дрожал в волнении, хотя было тепло и даже душно, необычно для осени.

Автомобиль уехал. «Туда уехал» — определил Бим по удаляющемуся звуку, что становился все тише и тише, а потом и совсем заглох; звук тот как бы проложил Биму направление — куда идти, в случае чего.

Лес молчал.

Темной-темной осенней ночью сидела в лесу собака под могучими деревьями, привязанная на веревке.

И надо же случиться такому именно в эту ночь! Редко, очень редко так бывает, но случилось: в конце ноября, при таком необычном потеплении, где-то далеко-далеко прогремел гром.

Сначала Бим сидел и слушал лес, проверяя вокруг, насколько хватало чутья. Для собаки не трудно определить — какой это лес, если она хоть однажды побывала в нем. Бим вскоре понял, что он находится там, где когда-то был с хозяином на облаве. Тот самый лес. Но волком пока нигде поблизости не пахло. Бим прижался к дереву боком, прижук в непроглядной темноте, слился с нею, одинокий, беззащитный, брошенный человеком, которому он не сделал никакого зла.

Внутренне, где-то в самых глубинах существа, инстинктом, Бим понял, что к Толику теперь идти не надо, что он теперь пойдет к своей родной двери, только туда и никуда больше. И так ему захотелось туда, что он, забыв о веревке, рванулся от дерева изо всех оставшихся сил и упал: боль в груди отдалась во всем теле и подкосила его. Теперь он лежал недвижимо, вытянув все четыре лапы. Но это продолжалось недолго, он вновь поднялся и вновь сел к дереву, казалось смирившись со своей судьбой.

В черной ночи еще раз пророкотал гром, теперь уже ближе, и прокатился по безлистому лесу грузно и широко. Подул ветер, ветви деревьев заныли, как от предчувствия беды, стволы, что послабее, закачались, и наконец все слилось в единый тревожный черный шум, в котором отчетливо выделялся стон полусухой осины; она ритмично скрипела и скрипела где-то у корня, уже надломившаяся и изношенная; ее глухой тоскливый стон пугал Бима больше, чем весь шум леса.

А лес шумел, шумел и шумел. А ветер все разыгрывался полным и единственным властелином в кромешной тьме, разыгрывался так, что застонали и дубы. Биму казалось, что кто-то черный-черный, огромный, распла-

стался над могучими дубами, над безнадежной, умирающей старой осиной, над ним, затерявшимся в этой суровости псом; и этот черный бил полами черного плаща по верхушкам леса, обхватывал деревья и качал их в дикой пляске, шаманил, подергиваясь и извиваясь, крича и завывая в стоголосой дикости.

Биму стало так жутко, что боль в теле на время отошла, забылась. Он вдавился в ствол дерева, влип. Ветер начал бросать на лес холодом, отчего внизу яра потекла знобящая струя и сразу же пронизала Бима. Так всегда позднее потепление резко сменяется похолоданием. Бим передвинулся на другую сторону ствола, от ветра, и так, чтобы против ветра следить чутьем, а под ветер — глазами. Но впереди было непроглядно темно. Бим дрожал.

Вдруг, как огненным узким ножом, молния рассекла черноту, на секунду осветив строптиво воющий лес, а вслед за нею что-то грохнуло вверху, ударило, задребезжало чем-то разбитым, ухнуло вниз и покатилось по лесу в разные стороны. Молния и гром будто испугали шамана, и он стал убегать, убегать, а потом и совсем затих; и тогда застучали сверху капли. Дождь был короткий, сильный, холодный. Потом и он перестал.

Лес теперь потихоньку ворчал, отряхиваясь и оправляясь, словно после боя. Но вдруг осина скрипнула, затрещала, цепляясь за другие деревья, прощаясь с соседями, жутко зашумела и повалилась на землю, ломая свои ветви, в горестной предсмертной безнадежности: выдержала последний бой и пала. Осина стояла близко от Бима, ему было тревожно слышать смерть дерева и страшно оттого, что она падала, как ему вначале казалось, прямо на него; он в ту минуту попятился от своего рокового дуба, натянув веревку, но... веревка есть веревка.

Бим сидел до рассвета, продрогший, больной, измученный. Перед ним стояла миска с мясом — к нему он так и не прикоснулся.

Перед рассветом далеко завыл волк. Один провыл: больше к очередной перекличке в лесу не оказалось. То был самый хитрый, спасшийся тогда от облавы волк. Бим приподнял шерсть на холке, застучал зубами и слушал, слушал, слушал, хватал чутьем воздух, глубоко втягивая. Он приготовился к встрече, ничуть не подозревая, что в нем есть храбрость самозащиты, которую можно

назвать героизмом отчаяния (ведь укусил же он Серого дядьку, чуть не сбив его с ног!). Но волк на этот раз не пришел. Ветра уже не было, так что издали зверь не мог зачуять Бима, а время заброда по его участку, видимо, еще не наступило. Однако Бим в напряженном ожидании, незаметно для самого себя, уже натянул веревку, отчего ошейник стал душить до хрипоты. Тогда Бим попятился к дереву, прижался задом к стволу, перехватил коренными зубами веревку и... перегрыз. Как ножом отхватил!

Свершилось!

Бим свободен, хотя и одинок в дремучем лесу.

Так любая собака в конце концов и поступает, хотя у разных пород это происходит по-разному: цепные сторожевые — те перегрызают веревку немедленно, так как они любят только прочные цепи; моська хотя и не перегрызает, но, будучи привязанной на веревочку, начинает биться, вертеться, вопить и может даже удушиться; гончие долго думают, но перегрызают; интеллигентная собака, что работает по красной дичи, просидит много дней в ожидании хозяина, но веревку перегрызет только в минуты опасности или в отчаянии, когда станет ясно, что никто уже не придет на помощь. Вот так и Бим: пришел срок, и он сделал то, чему быть должно.

Бим отошел от дерева осторожно, оглядываясь, прислушиваясь к лесу. Неожиданно неподалеку застрекотала сорока. «Тут кто-то, кто-то, кто-то есть! Кто-то есть, кто-то, кто-то есть, кто-то есть!» И Бим немедленно, с первого же предупреждения сороки, остановился в чаще молодого дубняка, плотно окружившего старый толстенный дуб-вековик. Боли он уже почти не чувствовал, она ушла куда-то в глубину. Он прилег на листву, вытянув шею и прижав голову к земле. Сорока прокричала близко — Бим увидел ее на высоком дереве. Он, конечно, ушел бы, не теряя ни минуты, но сорока кричала об опасности с той стороны, куда надо было идти Биму. Ждал он в трепете, в то же время с решимостью и еще с благодарностью к сороке за своевременное сообщение о враге. Спасибо тебе, сорока! Только хищные животные ругают эту птицу, замечательную вестунью, урожденную с телеграфом на хвосте, добровольную служку мирных жителей леса. Не будь сороки, население, бегающее и летающее, было бы окончательно лишено информации о жизни леса.

Волчица вышла на край поляны и остановилась. Передняя нога у нее кривая (значит, она когда-то была ранена человеком). Прихрамывая, она переступила еще несколько шагов, повернула голову точно к Биму и с разлету... бросилась в его сторону. Но промахнулась — помешала неправая нога. Бим ускользнул от нее в самый последний момент, прыгнув в сторону. Зверь, повернувшись и как бы подпрыгнув на трех ногах, кинулся вновь на Бима. Однако тот юлой откатился за дуб и почувствовал спиной отверстие, дупло. И тут же, в момент второго промаха волчицы, в ту же секунду, протиснулся в дупло, выставил зубы, зарычал неистово и стал лаять так, как никогда в жизни не лаял,— как гончая на следу, как лайка у берлоги, без передыху. Голос Бима зазвенел по лесу одним-единственным словом, понятным каждому: «Беда-а! Беда-а!» А лес подхватил и помогал эхом: «Беда-а! Беда-а!!!»

Спасибо тебе, лес!

И понеслось от сороки к сороке, быстрее телеграфа, тревожное оповещение: «Кто-то кого-то ест, кто-то кого-то ест, кто-то кого-то, кто-то кого-то...» Лесник на кордоне определил, что и собачий неистовый лай, и редкостное беспокойство сорок — не к добру. Он взял ружье, зарядил картечью и пошел в глубину леса. Человек шел смело, потому что лес был почти его домом, а обитатели лесные знали его в лицо. Да и он знал многих из них, знал в лицо и волчицу, но почему-то не убивал ее. «Не затесался ли кто из молодых охотников на законную собственную территорию волчицы, не испугался ли ее и не забрался ли на дерево, оставив собаку на растерзание?» — подумал он, поторапливаясь. Лай раздавался издалека, в самом конце Волчьего яра, но вдруг оборвался. «Готова!» — решил он и пошел теперь уже тише, хотя и в том же направлении. Эх, а надо бы было спешить. Спешить бы!

Что же там произошло, у дуба векового?

Волчица была «тертая»: она отошла от дупла, чтобы Бим замолк, знала, что вместе с собачьим лаем всегда появляется человек с ружьем. Бим потому и примолк, что волчица уже не бросалась на него. Через некоторое время она передвинулась ближе и села, не спуская с Бима глаз. Так две собаки смотрели друг на друга око в око: собака дикая, далекий родич Бима и враг человека, и собака интеллигентная, которая не может жить без

доброты человека; волк ненавидит всех людей, а Бим любил бы всех их, если бы они все были добрыми к нему; собака — друг человека и собака — враг человека смотрели друг другу в глаза.

Волчица понимала, что в отверстие дупла ей не пролезть, но она подошла к нему, потянулась мордой. Бим попятился в глубину, оскалив зубы, но уже не лаял, он был в своей крепости недосягаем.

Сколько времени так продолжалось бы, неизвестно. Но вот волчица повела носом вокруг, резко повернулась от дупла и, пригнувшись, как перед опасностью, шаг за шагом стала продвигаться к полянке, к тому дубу, за который был привязан Бим. Шла она с каким-то ужасом, опустив хвост-полено.

В страсти охоты за Бимом она пропустила это место, потому что ночной дождь сильно смыл запахи, а теперь, как только немного обветрело, она их обнаружила: веревка на дереве, миска с мясом. О, она знала уже, что это означает: здесь был человек! Человеком пахнет веревка, железом пахнет круглый предмет, а следы тоже его; мясо же — обман, предательство, капкан. Она чуть приостановилась, прыгнула в сторону и побежала, как от великой напасти. Так волк убегает от капкана, поставленного неумело — не замаскированного внешне, и по запаху.

Убежала от Бима последняя в лесу, храбрая и гордая волчица.

...Единственное существо на земле, какого ненавидит волк,— это человек. Ходят по земле последние волки, и ты, человек, убьешь их, этих вольнолюбивых санитаров леса и поля, очищающих землю от нечисти, падали, болезней и регулирующих жизнь так, чтобы оставалось только здоровое потомство. Ходят последние волки... Ходят для того, чтобы уничтожать чесоточных лисиц, оберегая от заразы других, ходят для того, чтобы ослабевшие от эхинококка зайцы не распространяли болезнь в лесах и полях и не производили потомства, хилого и порочного; ходят для того, чтобы в годы размножения мышей, несущих туляремию, уничтожать их в огромных количествах. Ходят последние волки по земле.

Когда они тоскливо и надрывно воют в ночи, твоя душа, человек, почему-то содрогается от этого откровенного и прямого оповещения на всю округу: «Я-а-а е-есть!

Я есть!» И ведь ты знаешь, человек, что волчица не тронет маленького щенка-сосунка собаки, а примет его, как родное дитя; и не тронет маленького ребенка, а перетащит в логово и будет толкать его к сосцам. Сколько их, таких случаев, когда волк из человека-ребенка выкармливал человека-волка! Шакалы так не могут. Даже собаки не могут. А тронет ли волк овцу в своем родном районе, где он живет? Никогда. Но ты все равно боишься волка, человек. Так ненависть, затмевая разум (отличие от животных!), может иногда настолько овладеть существом, что полезное считается вредным, а вредное — полезным.

Но последние волки пока ходят по земле.

Один из них убежал от ненавистного и опасного запаха человека, но не от Бима. Мы не знаем, чем бы кончилась их встреча и сколько бы просидела волчица у дупла. Может быть, они и снюхались бы (ведь она была одинокой волчицей, а Бим — самец). Не будем говорить о том, чего не произошло, только напомним, что люди-то видывали собаку в стае волков не раз. Но Бима такая участь миновала.

Когда убежала волчица, возникла, сама собой, у Бима сильная боль в надорванной груди. Он стал задыхаться, а потом и выполз из дупла, да и упал тут же — будь что будет! И все-таки он не стал есть мясо даже и после того, как вновь отлежался и смог подняться. Оставалось одно: идти вперед, насколько хватит сил.

И Бим пошел. Долго и трудно взбирался он по крутому, огромному, в километр, подъему. Где-то на половине этого склона он наткнулся на след волчицы, перейти его не решился (она ведь отсюда и шла!), поэтому свернул в густой непролазный терник и... увидел волка. Увидел прямо перед собой, мертвого. Это был тот, что ушел внутрь круга облавы, смертельно раненный, около которого все еще кружила волчица, время от времени оповещая округу своей страшной для человека тоской. Мертвый волк. Шерсть с него оползла клоками. Осталась лишь часть растаявшего и осевшего зверя. Только когти стали длинными, зловеще-чистыми и страшными. Бим увидел: даже у мертвого, истлевшего волка когти остаются. И они пугают.

Бим полукружьем поспешил, насколько было силы, обратно на ту же дорожку, обойдя столкнувший его след.

Наконец он поднялся наверх, остановился на том месте, где вчера был автомобиль, осмотрелся и пошел совершенно точно туда, куда надо,— домой. И снова силы покидали его, снова он отлеживался то в скирде, то в сосновой хвое, снова искал травы по пути и ел их.

По шоссе бежала тощая хромая собака. Вперед бежала, только вперед, медленно, тяжко, но вперед, к той двери, у которой есть доброта, около которой Биму хотелось лечь и ждать, ждать хозяина, ждать доверия и самой обыкновенной, простой человеческой ласки.

...А что же Толик? Как он там, после того как проснулся утром?

Он, еще не одевшись, в нижнем бельишке, побежал к Биму и вдруг закричал:

— Мама! Где Би-им?! Где!!!

Мама успокоила:

— Бим захотел попысать, папа выпустил его, а он не вернулся. Убежал. Папа его звал, звал, а он убежал.

— Папа! — заплакал Толик.— Неправда, неправда, неправда! — Он упал на кроватку, мальчик в нижнем бельишке, и кричал с укором, с мольбой, с надеждой на то, что это не так: — Неправда, неправда, неправда!

Теперь стал утешать Семен Петрович:

— Придет он, придет... А не придет, так сами разыщем и возьмем его к себе. Обязательно возьмем. Найдем — собака не иголка.

Толик перестал плакать и смотрел в одну точку. Потом он глянул на родителей, вытирая слезы, и сказал твердо:

— Все равно найду.

Он так уверенно произнес эти слова, что отец с матерью с опаской переглянулись, говоря друг другу глазами: «У мальчика собственное мнение».

С того дня Толик стал молчаливым дома и в школе, замкнутым, настороженным к близким.

Он искал Бима. Часто можно было видеть в городе, как чистенький мальчик, из счастливой культурной семьи, останавливал прохожего, выбрав его только по лицу, и спрашивал:

— Дяденька, вы не видели бе́лую собаку с черным ухом?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПУТЬ К РОДНОЙ ДВЕРИ. ТРИ УЛОВКИ

Когда Бим подходил к городу, ноги почти уже его не слушались. Ведь он опять же был голоден. Да и что можно было съесть около шоссе? Ничего. Разве что выброшенную корочку арбуза, но это — не питание, а одна видимость. Такой собаке надо мясо, хороший кулеш, борщ с хлебом (если остается от стола), одним словом, все, что ест обыкновенный человек. А Бим питался почти две недели впроголодь. При его больной груди, разбитой сапогом, такое голодание — медленная погибель. Если же к тому добавить, что в борьбе с волчицей он сильно зашиб раздавленную стрелкой заднюю лапу и костылял на трех ногах, то можно себе представить, какой вид был у Бима, когда он входил в свой родной город.

Но свет не без добрых людей. На самой окраине он остановился у малюсенького домика с одной дверью и одним окошечком. Вокруг домика лежали горы кирпича, камней, каменных плит, досок, бревен, железа и всякой всячины, а рядом, с другой стороны, стояла половина нового огромного дома, но без окон и дверей и без крыши. Ветер путался в глазницах окон, шипел по ярусам булыжника и кирпича, пел в штабелях досок и завывал в верхотуре строительного крана — и везде у него разный голос. В такой картине ничего удивительного для Бима не было (везде строили и строили без конца), а по совести говоря, он не раз обращался за время скитаний к строителям с просьбой: «Дайте, ребята, пожрать». Те понимали его язык — подкармливали. Однажды шутник из их компании в обеденном перерыве вылил в консервную банку ложку водки и предложил Биму:

— А ну, долбани-ка, песик, за здоровье тех, кто тут не ворует.

Бим обиделся и отвернулся.

— Точно! — воскликнул шутник.— Не за кого тебе пить, благоразумный. Это я знаю точнехонько.

Все присутствующие здорово смеялись и называли шутника-парня Шуриком. Зато тот же Шурик отхватил ножом кусок колбасы — настоящей, магазинной, а не из помойки! — и положил перед Бимом:

— За правду тебе, Черное ухо. Возьми, мудрец.

И опять смеялись люди в замазанных комбинезонах. А Шурик добавил, видимо, самое смешное:

— А то, брат, за эту ночь опять доски усохли на одну треть.

И еще смеялись, хотя парень тот и не улыбнулся.

Бим понял речь Шурика по-своему: во-первых, водка собаке — плохо, а если ты ее не пьешь, то тебе дадут колбасы; во-вторых, все эти ребята, пахнущие кирпичами, досками и цементом,— хорошие. Биму так и показалось, что Шурик говорил все время именно об этом.

Вспомнив такое, руководствуясь знакомыми из прошлого запахами, то есть по праву памяти, Бим, обессилевший до последней степени, прилег у двери маленького того домика, у сторожки.

Было раннее утро. Кроме ветра, вокруг никого не было. Через некоторое время в сторожке кто-то кашлянул и заговорил сам с собой. Бим привстал и, опять же по тому же праву, поцарапался в дверь. Она открылась, конечно, как и всегда. На пороге появился человек с бородой, одно ухо шапки опущено вниз, другое торчит вверх, плащ туго натянут на кожух: личность, вполне внушающая доверие Биму.

— Э, да тут гость, никак? Эка тебя подвело, бездомник несчастный, право слово. Ну, заходи, что ль.

Бим вошел в сторожку и молча лег, почти упал у порога. Сторож отрезал кусок хлеба, бросил в ведерце, размочил водицей и подставил Биму. Тот с благодарностью съел, после чего положил голову на лапы и смотрел на дедушку.

И пошел у них разговор о жизни.

Скучно сторожу, где бы он ни сторожил, а тут — живое существо смотрит на него изумленным, человеческим, измученным, откровенно страдающим и потому даже поражающим взором.

— Плохая твоя жизнь, Черное ухо, видать сразу... Оно — что же,— спросил он первым делом,— либо твоя очередь на ордер еще не пришла? Либо — что?.. Я, брат, тоже вот: очередь приходит и уходит, а Михей остается. Сколько их, домов-то, понастроили, а я все вот с этой будкой переезжаю с места на место. Ты вот убегаешь, к примеру, и попробуй ты написать мне письмо: некуда.

Без адреса пятый год: «СМУ-12, Михею». И вся тебе роспись. Не пакет, а одно унижение. Пить-есть — пожалуйста, под завязку; обуться-одеться — пожалуйста, хоть галсник навешивай и шляпу — на лоб; а вот жить пока негде, понимаешь. Куда же денешься! Временные трудности... А зовут меня — Михей. Михей я,— тыкал он себя пальцем в грудь и отпивал малость из горлышка бутылки (делал он это каждый раз, как только кончался заряд речи).

Бим твердо понял монолог Михея по-своему, по-собачьи, то есть по виду, по интонации, по доброте и простоте: хороший человек Михей. Впрочем, вовсе не важно понимать слова (оно даже и не нужно понимать собаке), а важно понять человека. Бим понял его и тут же задремал, пропуская мимо ушей дальнейшую беседу. Но все же из уважения к собеседнику он то закрывал, то открывал глаза, преодолевая сон.

А Михей продолжал тем же тоном:

— Ты вот уснул, и вся недолга́. А мне нельзя. Нагрянет контроль: «Где Михей? Нету. Уволить Михея. Обязательно». То-то вот и оно. Не окажись на посту или засни — сейчас бы тебе в нос: «Где Михей? Нету. Уволить Михея!» И вся недолга́.

Сквозь дремоту Бим только и разбирал слова: «Михей... Михей... Михей... И вся недолга́».

А Михей отпил еще пару глотков, вытер усы, посолил хлебца, понюхал и стал его есть, одновременно обращаясь к Биму:

— А я и так скажу, Черноушко, собаке-то даже лучше выложить душу: тут тебе никаких прений — она никому не скажет, а самому полегчает... Вот я, Михей,— охрана. С ружьем. Теперь вопрос: а если ворует не один? Что Михей сделает? Ничего он не сделает. И вся недолга́... Закон, говорят. Закон — хорошо: поймал — пять лет ему, с-сукину сыну! А-а! Да только его надо поймать, вот в чем корень. Как поймать? То-то и оно. Вот ты — собака. Насажаю я в кошелку зайцев, двадцать штук, и выпущу их сразу всех, а тебя заставлю ловить. Они прыснут в разные стороны — и вся недолга́. Ну, поймаешь ты одного. А другие? Убя-агу-уть! — Михей так заразительно рассмеялся, что Бим приподнял голову — впору хоть самому улыбнуться.

Дверь открылась. Вошел человек, тоже сторож, и сказал:

— Смена. Ложись, Михей, спать.

Тот добрался до лежака и тут же немедленно уснул. А Смена сел за стол на место Михея, посидел чуть и заметил Бима:

— Это еще что тут за филин? — спросил он у Бима, видимо обратив внимание на его большие глаза.

Бим сел, как того требует вежливость, устало вильнул хвостом («Больной я, дескать. Хозяина ищу»). Смена ничего не понял, как и многие люди не понимают собак, а вместо ответа открыл дверь и подтолкнул Бима ногой:

— Сматывайся, образина.

Бим вышел с убеждением: Смена — человек паршивый. Но идти дальше он не мог: наевшись тюри у Михея, он почему-то еще больше обессилел, а сон буквально валил его с ног. Борясь со сном, Бим забрел в новостроящийся дом, зарылся в ворошок стружек, от которых пахло сосной, и уснул крепко-крепко.

За день его никто не потревожил. Так он и пролежал до вечера. В сумерках обследовал нижний этаж, нашел на окне почти полбуханки хлеба, большую часть съел (досыта), меньшую вынес из дома и зарыл в мягкую землю около траншеи; все это он сделал основательно, как и полагается: хоть и не было силы, а собачье правило «Хорони кусок про черный день» соблюдать надо. Теперь он почувствовал, что может продолжать путь. И пошел к своей родной двери.

К родной двери, к той самой, знакомой с первых дней жизни, к двери, за которой доверие, наивная святая правда, жалость, дружба и сочувствие были настолько естественны, до абсолютной простоты, что сами эти понятия определять не имело смысла. Да и зачем Биму все это осмысливать? Он, во-первых, не смог бы это сделать как представитель собачьих, а во-вторых, если бы он и попытался подняться до недосягаемой для него высоты разума Гомо, он погиб бы уже оттого, что его наивность люди почли бы дерзостью необыкновенной и даже преступной. В самом деле, Бим тогда кусал бы подлеца обязательно, труса — тоже, лжеца — не задумываясь, бюрократа он съедал бы по частям и т. д., и кусал бы сознательно, исполняя долг, а не так, как он укусил Серого, уже после того, как тот жестоко избил по

голове. Нет, та дверь, куда шел Бим, была частью его существа, она — его жизнь. И — все. Так ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не все они и не так уж часто обладают преданностью другу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, естественной основой самого существа, когда благородство души — само собой разумеющееся состояние.

Дверь, к которой шел Бим,— это дверь его друга, а следовательно, его, Бима, дверь. Он шел к двери доверия и жизни. Бим хотел бы достичь ее и либо дождаться друга, либо умереть: искать его в городе уже не было сил. Он мог только ждать. Только ждать.

Но что мы можем поделать, если и в эту ночь Бим так-таки и не дошел до своего дома?

Надо было прежде всего обойти район Серого, а для этого обязательно пройти мимо дома Толика. Так оно и получилось. Бим оказался у калитки маленького друга и не мог, просто не мог пройти ее, будто чужую. Он прилег у высокого кирпичного забора, свернувшись в полукалачик и вывернув голову в сторону; то ли раненая собака, то ли умирающая, то ли совсем мертвая — мог бы подумать любой прохожий.

Нет и нет, Бим не пойдет уже к двери этого дома. Он только отдохнет от боли и тоски у забора, а потом пойдет домой. А может быть... может быть, заявится сюда сам Толик... Разве мы имеем право обвинять Бима в отсутствии логики, если она ему недоступна? И он лежал в тоскливой собачьей позе безо всякой логики.

Был темный вечер.

Подъехал автомобиль. Он вырвал у темноты часть забора, потом пощупал весь забор и выпучил прямо на Бима два ослепительных глаза. Бим поднял голову и смотрел, почти сомкнув веки. Автомобиль поурчал, поурчал тихонько, и из него кто-то вышел. За запахом дыма нельзя было установить дух человека, шедшего к Биму, но когда тот оказался освещенным глазами автомобиля, Бим сел: к нему шел Семен Петрович. Он приблизился, убедился в том, что это действительно Бим, и сказал:

— Выбрался. Ну и ну!..

Вышел из автомобиля и второй человек (тот, что вез

Бима перед грозой к волчице), посмотрел на собаку и по-доброму сказал:

— Умный псина. Этот не пропадет.

Семен Петрович пошел на Бима, расстегивая пояс.

— Бимка, Бимка... Ты хороший, Бимка... Ко мне, ко мне...

О не-ет! Бим не верил, Бим потерял доверие, и он не пойдет к этому человеку, хотя бы он и захотел взять его с добрыми намерениями. Может быть, Семен Петрович и думал возвратить Бима Толику, поняв состояние сына, да не тут-то было: Бим побежал. Именно не пошел, а побежал от Семена Петровича вдоль забора по освещенному пути. И откуда силы взялись?!

Семен Петрович — за ним. Второй человек — наперехват. Бим соскользнул со света в темноту, спустился ползком в траншею и здесь уже пошел пешком, еле переставляя лапы. Но направился Бим не в ту сторону, куда под светом бежал до траншеи, а в обратную.

И опять в минуту опасности Биму пришло откровение предков: путай след! Так поступают зайцы, лисицы, волки и другие звери — обычная уловка номер один при преследовании. Лисица и волк в подобных случаях обратно могут идти след в след так искусно, что только опытный охотник, да и то после, сообразит по коготкам, что его надули; уловка номер два — это петля (пошел влево, пришел вправо) или сметка (со своего обратного следа — прыжок в сторону); уловка номер три — отлежка: запутав след, отлеживаться в глухом месте и слушать (если прошли, лежать, если идут напрямик, то все начать сначала, путать). Все эти три уловки зверей хорошо знают настоящие охотники, но Семен Петрович никогда не был охотником, хотя и держал ружье и даже выезжал на открытие сезона ежегодно.

В общем, так: Семен Петрович побежал в одну сторону, уже освещая свой путь фонариком, а Бим — в другую, да еще под прикрытием спасительной траншеи.

Но вот канава кончилась — Бим уперся в торцовую стенку, сбоку которой висел ковш экскаватора. Оказалось, ему не вылезти из западни: спуститься-то он смог, а взобраться наверх нет силы: с боков — стенки, впереди — стенка. Был бы он здоров, на четырех ногах, тогда другое дело, а теперь он может только выйти — не выпрыгнуть, не выскочить, а только выйти.

Посидел, посидел наш Бим, посмотрел вверх на ковш, кое-как приподнялся на заднюю лапу, опираясь о стену передними, оглядел отвал земли и снова сел. Казалось, он думал, но он просто слушал: нет ли погони. Потом он так же приподнялся на противоположную стенку без отвала и заметил, что фонарик ерзал на одном месте, вихляясь из стороны в сторону, а затем и затух. Увидел он и то, как автомобиль поехал обратно и стал приближаться к нему, но стороной. Бим прижался в уголок канавы и слушал, вздрагивая. Автомобиль проехал мимо, где-то совсем рядом.

Поблизости все стало тихо. А дальше слышно: не очень сильно покрякивают коротко автомобили, скрежещет трамвай — все звуки знакомые, безвредные.

Темной осенней холодной ночью сидела в канаве собака. И никому на свете не помочь ей сейчас. А ей надо, очень надо, идти к своей двери. Бим попробовал подпрыгнуть, но упал. Куда там! И пошел он обратно по своему же следу, тихо, осторожно, прислушиваясь и в то же время нет-нет да и ощупывая стены. В одном месте он обнаружил небольшую осыпь, стал на нее, приподнялся на заднюю лапу — теперь передние достали до отвала. И Бим начал грести землю сверху вниз, под себя; чем больше он работал, тем выше становилась осыпь. Бим отдыхал и принимался вновь. Наконец-то он смог опереться грудью о край канавы, но зато землю с отвала достать уже не мог. Тогда он спустился вниз по своей горочке, полежал. Так хотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико, на весь город! Но Бим обязан молчать — ведь он спутал след и притаился. Вдруг он решительно встал, попятился от накопанного холмика и, забыв о боли, взмахнул всем телом, как тряпкой, подскочил на холмике на обе задние ноги и упал на самый край канавы, в то углубление, что отрыл сам же, спуская вниз землю.

Как он смог превозмочь неимоверную боль и немощь? Кто ж его знает... Как, например, волк отгрызает себе лапу, защемленную капканом? Никто не скажет, как это возможно — своими же зубами перегрызть свою же ногу. Можно ведь только предполагать, что волк делает это из инстинктивного стремления к свободе, а Бим забыл самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия.

Как бы там ни было, а Бим выбрался из западни и лежал в той ямке наверху.

Ночь была холодная. Город спал, каменно-железный, потихоньку скрежещущий и ночью, даже во сне. Бим долго еще слушал и слушал. Продрогнув, он все-таки пошел.

По пути он забрел в открытый подъезд одного из домов, и только потому, что надо было обязательно прилечь, хотя бы на короткое время — настолько он стал слаб. Ложиться прямо на улице нельзя, погибнешь (он видел не раз раздавленных автомобилем собак). Да и холодно на асфальте. А там, в подъезде, он прижался к теплому радиатору и уснул.

В чужом подъезде, глубокой ночью спала чужая собака.

Бывает.

Не обижайте такую собаку.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

У ПОСЛЕДНЕЙ ДВЕРИ. ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОГО ФУРГОНА

Проснулся Бим еще до рассвета. Не хотелось уходить от теплого, такого гостеприимного места, где никто не потревожил его сон. Ему показалось, что у него прибавилось сил,— попробовал встать на ноги, но сразу это не получилось. Тогда он сел. Это удалось, однако закружилась голова (так же, как тогда в поле после удара в грудь): стены покачнулись в одну сторону, перила лестницы задрожали, а пороги ее слились в сплошную горку и заколебались гармошкой, лампочка закачалась вместе с потолком. Бим сидел и ждал, что же с ним будет дальше, сидел теперь, опустив голову.

Кружение остановилось так же внезапно, как и началось. И Бим пополз на животе по порогам вниз. Дверь подъезда оказалась открытой, Бим выполз, полежал немного на освежающем холоде и все-таки поднялся на ноги. Находясь где-то на грани полной потери сознания и потому не чувствуя боли, он, повинуясь неведомой людям внутренней собачьей воле, пошел качаясь, как чумной.

Вряд ли дошел бы он до своего дома, если бы не наткнулся на помойку, где копалась маленькая собачонка. Бим подошел и сел. Собачонка, шерстистая и неряшливая, обнюхала его, помахала хвостом.

«Ты куда?»— спросила таким образом Лохматка.

Бим сразу узнал Лохматку — с нею он познакомился в лугах, в тот день, когда она грызла корешок камыша. Потому ответил доверительно и грустно, одними глазами: «Плохо мне, подружка».

Собачка вернулась к помойке, как бы приглашая гостя, там повернула голову в сторону Бима и завиляла хвостом, что и означало: «Тут кое-что есть. Иди-ка».

И что же вы думаете? Того-сего, по кусочку, по корочке, по селедочной головке — Бим наелся все-таки. Силы помаленьку возвращались, а вскоре, облизавшись и поблагодарив Лохматку, пошел дальше, пошел намного прочнее.

Нет, помойка в трудную минуту жизни — великое дело! С этого часа Бим стал бы относиться с уважением к таким местам, если бы...

Трудно об этом рассказать.

Серым предрассветным утром, когда остатки вчерашнего смога осели к земле легкой прозрачно-синей дымкой, Бим наконец добрался до своего дома... Вот он! Вот и окно, из которого, вместе с Иваном Иванычем, бывало, они смотрели на восходящее солнце. Не выйдет ли он к окну и сейчас? Бим сел с противоположной стороны улицы и смотрел, смотрел, смотрел теперь с радостью и надеждой. Ему стало хорошо. Пошел через улицу, хоть и не спеша, но уже подняв голову, будто улыбаясь, будто вот-вот встретит незабвенного друга. Это была минута ожидания счастья. Да и кто из живых существ не был более счастлив в минуты ожидания, чем в минуты самого счастья?

Так, на середине улицы, перед родным домом, уже недалеко от той самой двери, Бим был счастлив от возникшей вновь надежды.

Но вдруг он увидел страшное: из арки дома вышла Тетка! Бим сел, расширив глаза от ужаса и дрожа всем телом. Тетка бросила в него кирпичом. Бим спешно отошел обратно на противоположный тротуар.

Людей на улице в такую рань не было, даже дворники еще не выходили с метлами. Только одна Тетка да Бим

смотрели друг на друга. Она явно решила — стоять и не пускать, она даже поставила ноги пошире, для прочности, и утвердилась изваянием в средине арки, упершись кулаками в бока; на Бима она смотрела надменно, презрительно, уничтожающе и гордо, с сознанием чувства собственного достоинства, превосходства и правоты. Бим же был беспомощен, но у него оставались вполне надежными только одни зубы, тоже страшные — если в предсмертной хватке. Он это знал, он этого не забыл, потому даже чуть пригнулся и приподнял верхнюю губу, обнажив передние зубы. Человек и собака смотрели друг на друга неотрывно. Минуты казались Биму долгими.

Пока человек и животное, не спуская взора, следили за малейшим движением друг друга, обратимся к самой Тетке, хотя отчасти мы ее уже знаем из предыдущих историй с Бимом. Тетка была совершенно свободная женщина: свободна от эксплуатации капиталиста, от какого-либо отдаленного понятия о долге перед социализмом, свободна от труда. Но она все-таки оставалась рабой желудка, не замечая ярма этого рабства. Кроме того, у нее все же были обязанности. Она поднималась, например, раньше всех жителей многолюдного дома, еще до рассвета. Своей первейшей обязанностью она считала нижеследующее: проследить, кто из чужих вышел на заре из того или другого подъезда; у кого горит свет в окне в то время, когда все спят крепким заревым сном; кто поехал на рыбалку или на охоту и — с кем; кто первый, еще в темноте, пронесет что-то на помойку. Потом она посмотрит и определит, что произошло, судя по помойке: бутылки если,— значит, от жены прятал; старое пальто негодное,— значит, скупец хранил дома ненужную тряпку; тухлое мясо выброшено,— значит, хозяйка растяпа, и так далее. Если же девушка придет домой перед рассветом, то это для Тетки было уже верхом торжества. Собак и их владельцев она ненавидела, потому наблюдение за ними составляло, пожалуй, одно из самых важных мероприятий Тетки, при этом она посылала им вслед непотребные слова, запас которых был у нее неистощим, что свидетельствовало о большой памяти и эрудиции.

Все это было существенно необходимо для ежедневной информации, когда она вместе с несколькими, тоже

свободными, женщинами будет долго сидеть на заботливо выкрашенных скамейках и докладывать о том, кто есть кто: и тут уж никто не будет забыт и ничего не будет забыто. Талант! Подобный непечатный бюллетень она выпускала регулярно. И это она считала своей второй обязанностью перед обществом. Такая осведомленность касалась даже и международных событий (сама слыхала: война — вот-вот, крупы надо запасать, соли); слух шел дальше при участливом содействии подобных ей, но уже со ссылкой на «такого-то», а он — доцент, брехать не будет, сам «слухал».

При всем при том, как уже известно, Тетка называла себя не иначе как «советская женщина», гордилась этим в полной уверенности, что это так, что ее дремучая совесть есть не что иное, как образец для подражания. Будь у нее ребенок — какой бы вышел человечище!

Но два дня в неделю у нее были выходными: в воскресенье она что-то покупала на базаре у колхозников, а в понедельник продавала то же самое. Поэтому, не имея кур, огорода, сетей для рыбной ловли, она продавала яйца, самих кур, помидоры, свежую рыбу и все прочее, необходимое для жизни человека. Благодаря такой, третьей обязанности (в выходные дни!) Тетка имела сберегательную книжку и жила безбедно, отчего никогда и нигде не работала. Существовала же она в квартире с удобствами, соответствующими ее высокой культуре (два шифоньера, три зеркала, картина с базара «Девушка и лебедь», большой глиняный орел и вечные цветы из стружек, холодильник, телевизор). Все у нее было, что надо, и ничего не было, чего не надо...

Итак, Тетка стояла в центре арки, и миновать ее Бим не мог. Уходить бы ему надо, уходить, но он не в силах уйти от родного дома. Он теперь будет ждать с оскаленными зубами, пока не уйдет враг, ждать, сколько бы времени на это ни потребовалось. Кто — кого!

Но вот в сероватой холодной мгле появился одинокий автофургон и неожиданно остановился между Теткой и Бимом. Фургон был темно-серый, обитый жестью, без окон. Из него вышли двое и направились к Тетке. Бим внимательно наблюдал, не сходя с места.

— Чья собака? — спросил усатый, указывая на Бима.

— Моя,— надменно ответила Тетка, не задумываясь.

— А чего не уберешь? — спросил второй, молодой парень.

— Попробуй... убери. Видишь, конец веревки на шее — перегрызла. И кусает каждого. Сбесилась, сволочь. Обязательно сбесилась.

— Привяжи,— сказал усатый,— заберем ведь.

— Я сама писала заявление. И ходила, и просила — заберите. Что та-ам? Бюрократ на бюрократе! — Она уже кричала: — Душу вымотали бюрократы.

— Давай,— обратился усатый к безусому.

Тот взял из автомобиля малокалиберку, а усатый вытащил из держателя, сбоку фургона, длинный шест с обручем на конце и сеткой, будто сачок для ловли бабочек величиной с овцу. Первым подошел тот, что с ружьем, а за ним второй, изготовив сачок.

Бим увидел ружье. Бим завилял хвостом, говоря этим жестом: «Ружье! Ружье! Знаю ружье!»

— Ласкается,— сказал парень.— Никакой он не бешеный. Заходи.

Усатый вышел вперед. Бим почуял, что от него пахнет собакой.

«Ну, конечно же, вы — хорошие люди!» — говорил он всем видом.

Но вдруг внутри фургона тоскливо проскулила собака, безнадежно и горестно. Бим все понял: обман! Даже ружье — обман. Все — обман! Он шарахнулся было в сторону, но... поздно: обруч сачка накрыл его. Бим прыгнул вверх и оказался в сетке, теперь перекинутой им самим через край обруча...

Бим грыз веревки, скрежетал зубами, неистово хрипел и бился, бился судорожно, будто в припадке. Он быстро истратил на это последние силы и вскоре затих. Собаколовы просунули сачок в дверь автофургона и вытряхнули Бима на пол.

Дверь захлопнулась.

Усатый обратился к неожиданно повеселевшей Тетке:

— Чего осклабилась? Не умеешь собак держать, так и не мучила бы. Сама наела лягушкино рыло, а собаку довела — жутко смотреть: на собаку не похожая.

(Он оказался наблюдательным: опущенные уголки больших губ, плоский нос и вытаращенные очи Тетки напоминали действительно «лягушкино рыло».)

— Меня, советскую женщину, ты, вонючий собашник, оскорбляешь, гад! — И пошла, и пошла, не стесняясь в выборе выражений, как и всегда. Слова, какие нельзя

писать на бумаге, выскакивали из нее легко и свободно, как-то даже плавно и широко, ибо они, по всей видимости, были запрограммированы: нажми кнопку, и вот они, тут как тут.

— Ты не безобразь! — крикнул ей парень.— А то вот накрою подсаком, да в железный ящик. Таких, как ты, надо бы, хоть на недельку в году, сажать в такой вот фургон.— Он и правда схватил шест с обручем и решительно зашагал к ней.

Тетка побежала писать жалобу за оскорбление. И написала ее на имя председателя горсовета, при этом обвиняла его ничуть не меньше, чем собаколовов. Она ни за что не несла ответственности, ни за что не отвечала перед обществом, но зато со всех требовала ответственности. Последнее тоже было частью ее обязанностей, как и любого паразита общества.

...Солнце всходило в то утро большое и желтое, по-предзимнему холодное и невеселое. Оно отмахнулось от утренней дымки так неохотно и так вяло, что местами сизоватый туманчик так и остался над городом рваной кисеей: на одной улице светло, на другой — мутно и серо.

Темно-серый, обшитый жестью автофургон выехал за город и завернул во двор одиноко стоящего дома, обнесенного высоким забором. Над воротами вывеска: «Вход посторонним воспрещен — опасно для здоровья». То был карантин, куда привозили бешеных собак и сжигали дотла, сюда же попадали и отловленные бродячие псы, как возможные разносчики эпидемий,— этих не сжигали, а отправляли для науки или снимали шкуры; других животных с инфекционными болезнями тут же и лечили, если они того заслуживали; лошади, например, давали лекарства до последнего часа жизни, а уничтожали ее только при одном-единственном условии — при заболевании сапом. Очень редкая теперь это болезнь, потому что лошадей остались единицы, болеть сапом некому.

Те два человека, изловившие Бима, были простыми разнорабочими этого двора. И вовсе они не плохие люди. Больше того, они всегда подвергали себя опасности заразиться тяжелым недугом или быть укушенными бешеной собакой. Они же время от времени очищали город от бродячих псов или забирали собаку по личному заявлению владельца. Эту обязанность они считали неприятной

и тяжелой, хотя за каждую отловленную собаку получали, кроме основного заработка, дополнительную плату.

Бим не слышал, как приехал железный фургон во двор, как вышли те двое из кабины и ушли куда-то: он был без сознания.

Очнулся наш Бим через два-три часа. Около него сидела та самая, давно знакомая, Лохматка, с какой он встретился на рассвете у помойки. Сейчас она лизала Биму нос и уши...

Удивительное существо — собака! Вот у матери умирает один из щенков, а она лижет ему носик, лижет ушки, лижет, лижет без конца, долго-долго, массирует животик. Бывает, щенок возвращается к жизни. А массаж-то и вообще считается у собак непременным условием ухода за новорожденными щенятами. Дивно все это и удивительно.

Лохматка облизывала Бима тоже по неведомому для нас наитию природы. Видимо, она была искушенной в своих скитаниях, а возможно, не впервые попала и сюда. Неизвестно.

Тонкий-тонкий лучик солнца прорвался в щелочку двери и упал на Бима. Он приподнял голову. В железной тюрьме их было только двое: он и Лохматка. Превозмогая боль в груди, Бим попробовал изменить положение тела, но с первой попытки не получилось. Однако во второй раз он подвернул под себя все четыре лапы, освободив бок от холодного железа, на котором лежал. Лохматка, тоже продрогшая, пристроилась вплотную к нему и свернулась калачиком. Вдвоем стало чуть теплее.

Две собаки, лежа в железной тюрьме, ждали своей участи.

Бим все время смотрел и смотрел на дверь, на тоненький лучик солнца, единственный вестник из светлого. Но вот где-то неподалеку раздался резкий выстрел. Бим встрепенулся. О, как знаком ему этот звук! Он напомнил о хозяине, Иване Иваныче, это — охота, это — лес, это — воля, это — и призыв, если собака заблудилась или чрезмерно увлеклась следом птицы или зайца. Где взялись силы у Бима после выстрела, когда он встал и, качаясь, подошел к двери, приложил нос к щелке и втягивал воздух свободы? Но он уже стоял на ногах, казалось, он вос-

крес. И начал медленно ходить маятником по фургону из угла в угол. Потом снова к двери, снова нюхал через щель и наконец установил по запахам: во дворе что-то тревожное. И вновь ходил, ходил, чиркая когтями по жести, разогреваясь и будто готовясь к чему-то, разминаясь.

Сколько так прошло времени, сказать трудно. Но Бим... начал царапаться в дверь.

Эта дверь никак не походила на другие, что знавал Бим: она обита жестью, местами уже с острыми рваными пятнами. Но это была дверь, теперь единственная, через которую можно было взывать о помощи и сочувствии.

Наступила ночь. Холодная, морозная.

Лохматка завыла.

А Бим царапался. Он грыз зубами клоки жести и вновь царапался, уже лежа. Звал. Просил.

К утру в фургоне стало тихо: Лохматка не выла, Бим тоже притих, разве что изредка нет-нет да и скребнет лапой по железу. Изнемог ли он до полного бессилия или смирился, потеряв надежду и ожидая своей участи безропотно,— мы не знаем. Пока это оставалось тайной железного фургона.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ВСТРЕЧИ В ПОИСКЕ. СЛЕДЫ БИМА НА ЗЕМЛЕ. ЧЕТЫРЕ ВЫСТРЕЛА

В воскресный день в городе оказывается гораздо больше людей, чем в обычные дни: идут, едут, бегут, покупают, продают, набиваются в поезда, автобусы, троллейбусы, трамваи, как сельди в бочку, спешат из города как угорелые. В средине дня толчея несколько утихает, а вечером снова: одни возвращаются из сел и лесов в город, другие уезжают из города к себе, в села и леса.

Не удивительно поэтому, что в один из воскресных дней и Хрисан Андреевич приехал в город вместе с Алешей. Оба договорились, что Алеша попробует поискать Черноуха, пока отец распродаст на базаре продукты. Хрисан Андреевич и раньше брал с собой сына и отпу-

скал погулять по городу без всякой опаски (номер трамвая знает, «свою» автобусную остановку знает, а чтобы набаловать чего — ни в жизнь). В таких случаях Алеша получал на руки три рубля и мог купить себе что угодно и поехать в любое место города — хоть в кино, хоть в цирк. На этот раз Хрисан Андреевич засунул сам в «нутряной карман» Алеши пятнадцать рублей и сказал:

— Случаем, попадется Черноух, а отдавать не будут — давай десятку. Не отдают — давай двенадцать. Не отдают — ложи все пятнадцать. А если и тогда не желают, пиши себе адрес и — ко мне: сам поеду. Допоздна не ходи: к четырем часам к автобусу; день стал короткий — по-темному поедем. Да спрашивай про Черноуха культурно: «Вопрос можно, товарищ?» А уж потом докладывай: так, мол, и так — из деревни мы, пастухи, и без собаки нам невозможно, а пропала. Убег, мол, в город. Добрых людей много: ты спрашивай, знай, свое.

...По городу шел степенный мальчик-крепыш и изредка обращался к встречным, к тем, кто, по его мнению, заслуживает доверия:

— Вопрос можно, товарищ? Мы, стало быть, пастухи...

Жирных встречал неимоверно много, особенно женщин, но пропускал таких (должно, не работают, оттого и толсты без предела). Но именно жирный-то товарищ, услышав вопрос мальчика, не к нему — к другому, остановился и посоветовал пойти на вокзал (там, дескать, за день вся молодежь пройдет через ворота — уж кто-нибудь да знает). Мальчишек же Алеша не пропускал ни одного.

В то же самое время и Толик вышел из дому на очередные поиски Бима. Он искал настойчиво уже три дня, но — после уроков, а сегодня решил начать с утра: воскресенье — в школу не идти.

Шел по городу чистенький мальчик из культурной семьи, шел, вглядываясь в лица, как бы изучая прохожих, и спрашивал по выбору:

— Дяденька, скажите, пожалуйста, не видели ли вы собаку с черным ухом?.. Белая, в желтом крапе?.. Нет, не видели. Жаль. Извините.

Толик уже однажды был у Степановны, несмотря на запрет родителей, уже отдал Люсе чешские карандаши,

каких не бывает ни в одном магазине, и альбом для рисования, уже рассказал, что Бим был у него, ночевал, а потом пропал; узнал он от Степановны и то, что Иван Иваныч, которого он никогда в жизни не видел, прислал письмо — скоро приедет. Сегодня Толик к вечеру обязательно зайдет еще раз — нет ли каких новостей о Биме, к тому же Люся обещала ему подарить свою картину «Наш Бим».

На одной из улиц, поблизости от вокзала, к Толику подошел мальчик лет тринадцати, загорелый, прочный, в новом костюмчике, сшитом по-взрослому, и спросил:

— Вопрос можно, товарищ?

Такое обращение, как к большому, Толику понравилось, и он охотно ответил:

— Можно.— В свою очередь спросил: — А что ты хотел?

— Пастухи мы. А собака пропала — в город ушла. Случаем, не видал? Белая, с желтыми крапинками, а ухо черное-черное. И нога...

— Как зовут собаку? — вскрикнул Толик.

— Черноух,— ответил Алеша.

— Бим,— сказал Толик.— Он!

Нетрудно понять, как мальчики объяснились: Толик установил, когда и где куплен Бим, когда он ушел из села; Алеша понял, что приходил к Толику именно Черноух, а не кто-либо другой. Все сходилось: Бим был где-то в городе. Оба они даже и не подумали о том, кому из них достанется Бим, если найдут. Главное, искать, скорее искать.

— Сперва станем-ка у вокзала,— предложил Алеша.— Человек мне посоветовал.

— Народу тут тьма, кто-то уж обязательно видел Бима,— согласился и Толик.

Наивность такого поиска была очевидна, но не Алеше и не Толику. Они просто почувствовали дух товарищества, объединились одним желанием, одной любовью к Биму, они верили — вот в чем и гвоздь их поведения. А воображение уже рисовало, что Бим и сам может попасться им на глаза.

— А потом зайдем к твоей Степановне,— уже на ходу решил Алеша.— Ее он не минует. Фактически, он туда и идет, обязательно туда. Ему иначе нельзя: дом.

— Зайдем,— согласился Толик.

Ему положительно нравился Алеша своей степенной речью и в то же время наивностью и простотой. Подобные знакомства остаются на всю жизнь. И хорошо тому мальчику, которому улица подарит доброго товарища, а не жулика.

Ребята уже расспросили не меньше сотни людей и все продолжали выбирать тех, кому следует задавать вопрос.

В то же утро в общую вокзальную толчею, опираясь на палочку, вышел из вагона скорого поезда седой человек в коричневом пальто. Пройдя вокзал, он приостановился и осмотрелся вокруг. Так человек, надолго разлучавшийся с родными местами и возвратившийся обратно, смотрит — все ли на месте, не изменилось ли что. В этот момент к нему и подошли два незнакомых мальчика. Один из них, явно сельский, спросил:

— Вопрос можно, товарищ?

Седой, чуть склонив голову на сторону и пряча улыбку, ответил:

— Конечно, можно, товарищ.

Второй, явно городской, продолжил вопрос:

— Скажите, пожалуйста, вы не видели собаку с черным ухом, белая, с кра...

Седой сжал плечо мальчика и с нескрываемым волнением воскликнул:

— Бим?!

— Да, Бим. Видели? Где?

Все трое сели на скамейку привокзального скверика. И все трое доверяли друг другу без каких-либо сомнений, хотя мальчики абсолютно не знали этого старого человека, не знали, что это и был Иван Иваныч, хозяин Бима, даже не сразу бы и догадались, если бы он сам не сказал о себе.

Пожалуй, и знакомые не вдруг узнали бы его. Он стал чуть сутулее, лицо худое, морщин прибавилось (операция близко от сердца — не курорт), но глаза остались такими же — внимательными, сосредоточенными, смотрящими как бы внутрь человека. Только по этим густо-карим глазам и можно было бы определить, что когда-то обладатель их был брюнетом. Теперь же он стал окончательно белым как снег.

Толик рассказал все, что знал о Биме, даже и то, что он хромой и больной. Алеша толково и коротко поведал о жизни Черноуха в селе. Ребятам все нравилось в Ива-

не Иваныче: разговаривает он с ними как со взрослыми, иногда положив ладонь на плечо собеседника, нравилось и то, как он слушает не перебивая, и то, что он белый-белый, и имя, и отчество у него хорошее, а главное, он любит их, незнакомых мальчиков,— это уж яснее ясного. Иначе к чему же он сказал в заключение:

— Хорошие вы ребята. Будем друзьями, по-настоящему... А теперь — ко мне. Судя по всему, Бим уже пришел домой.

Дорогой он осторожно расспрашивал мальчиков и без труда установил, кто они, откуда, из каких семей, кто чем занимается, кому и что нравится.

— Овец пасешь — это хорошо, Алеша. И учишься в школе? Трудно небось?

— Овцу, ее накормить — уметь надо,— отвечал, как и отец, Алеша.— Дело трудное. Распустить отару фронтом, не топтать корм под ногами — это не раз плюнуть, намотаешься так, что ноги гудуть. И обратно же: вставай чуть свет. Хлопотно. С собакой хорошо — помогает лучше человека, если он ни шиша не понимает в этом деле. А без собаки нам никак невозможно. Пастухи мы. Куда ж денешься?

— А ты, Толик, чем занимаешься? — спросил Иван Иваныч.

— Я? — удивился Толик.— Я учусь в школе.

— Скотина у вас есть какая, дома-то? — спросил Алеша у Толика.

— Скотины нет никакой,— ответил тот.— Морские свинки были — мама запретила... Пахнут.

— Ты приезжай ко мне — покажу: Милка у нас —золотая корова, под пузо лезь, и ногой не шевельнет. Шапку лижет тоже... и ладони. Петух у нас — всем петухам петух, заводила называется, первым кричит на заре, а другие уж — за ним. Таких петухов — редкость... А вот собаки нету. Была — померла. Черноух был — убег.— Алеша вздохнул: — Жалко. Такой ласковый...

Иван Иваныч позвонил к Степановне. Она вышла вместе с Люсей и запричитала:

— Ой, Иван Иваныч! И как я теперь отвечать буду? Нету Бима. Вот был у Толика три дня назад, а домой не пришел.

— Не пришел,— задумчиво повторил Иван Иваныч. Но, ободряя мальчиков, добавил: — Найдем, обязательно найдем.

Степановна отдала ключи хозяину, и все пятеро вошли к нему. В комнате было все так же, как оставил Иван Иваныч: та же стена книг, удивившая теперь Алешу, тот же письменный стол, даже стало чище (Степановны хлопоты), но пусто-пусто — не было Бима. На его лежаке чистый лист писчей бумаги — письмо Ивана Иваныча; Степановна сохранила даже и это. Иван Ивавыч стал спиной к гостям и смотрел в окно, потупившись. Степановне показалось, что он тихонько простонал.

— Полежал бы, Иван Иваныч, с дороги,— посоветовала она.

Тот прилег на постель, полежал при общем молчании, глядя в потолок, а Степановна пыталась заговорить ему боль:

— Выходит, благополучно операция-то? Раз уж сам приехал, то все будет хорошо.

— Все хорошо, Степановна, все хорошо. Спасибо вам, милая, за все. Дай-то бог, чтобы родные так относились друг к другу, как вы к чужим.

— Вона! Об чем завел! Глупости одни говоришь. Не велик труд — помочь соседу. Было бы только все по-доброму. (Степановна даже как-то стеснялась, когда ее хвалили.)

Через несколько минут Иван Иваныч встал, посмотрел на ребят и сказал:

— Такой план, ребятишки, вы ищите здесь, в нашем районе, спрашивайте смелее — Бим должен быть где-то недалеко. А я...— Он чуть подумал.— Я поеду в одно место... не пристал ли он к сторожевым собакам... где-нибудь.

При выходе Люся передала Толику картину «Наш Бим». Толик показал ее Алеше, а тот удивился:

— Сама?

— Сама,— ответила Люся.

— Ты художница?

— Не-ет,— рассмеялась Люся.— Я в пятый перешла.

На картине Бим был очень похож: черное ухо, черная нога, желтенькие точки по белому и большие глаза; только одно ухо, пожалуй, подлиннее другого, но это вовсе не важно.

Итак, Алеша и Толик отправились вновь на поиски. Они так же выбирали по лицу прохожего (теперь уже со-

ветуясь основательно), так же задавали один и тот же вопрос и поясняли приметы Бима.

А Иван Иваныч, еще на постели, решил: скорее в карантинный участок! Предупредить собаколовов, рассказать приметы, дать денег, чтобы сообщили ему, если увидят. А может быть, Бим уже там. Ушел он от Толика в ночь на четверг... три дня. Скорее, скорее!

Он взял такси и вскоре был у ворот карантинного участка. Кроме сторожа, никого не оказалось (выходной). Но он на вопросы Ивана Иваныча охотно и многословно отвечал:

— В четверг и пятницу собак не ловили, а вчерашние есть — сидят в фургоне. Сколько их, нечистый их знает, не ведаю, но есть. Завтра придет врач и скажет: какую — в науку, какой — укол усыпительный и на шкуру, а бывает, зарывают со шкурой. На то и врачи. А как же! Бывает, и жгут начисто.

— А охотничьи попадают? — спросил Иван Иваныч.

— Редко. Этих не расходывают и в науку не отдают на растерзание, а сперва пождут хозяина или звонят в Союз охотников — так и так, мол, разберитесь. А как же! На то и врачи. Одна такая там есть, охотницкая,— Иван говорил, белая, запаршивленная, бесхозная, говорит, сама хозяйка сдала. А как же! Может, у нее муж помер.

«Он или не он?» — думал Иван Иваныч и стал просить:

— Пропустите к фургону, пожалуйста. Ищу свою собаку, замечательную. Может быть, она сидит там. Пустите.

Сторож был неумолим:

— Замечательных не сажают. Сажают вредных, чтобы не заражала,— безапелляционно утвердил он и убежденно. И тут же лицо его изменилось: он вздернул подбородок и отмахнул рукой, как бы отстраняя просителя от ворот, по другую сторону которых тот стоял, удрученный и бессильный что-либо предпринять. Даже сторож не мог избежать соблазна насладиться властью, потому он и сказал строго: — Видишь? «Вход запрещен». Читай и понимай,— указал он на рамку под стеклом, где золотыми буквами было написано: «Вход воспрещен — опасно для здоровья».

Иван Иваныч уже потерял надежду проникнуть во двор, но все же сказал:

— Эх ты! Человек, человек!.. Операция была. От войны осколок носил вот тут. Приехал, а Бим пропал.

— Как так? Боле двадцати годов носил осколок? Вот тут? — Сторож неожиданно стал самим собой, таким, как был в начале встречи.— Ты смотри-ка! Расскажи кому — не поверит. То-то ты...— Он не договорил фразу и примирительно пригласил, открывая засов: — Заходи. Да только никому не говори.

Иван Иваныч отпустил такси, в надежде на то, что он поведет Бима на поводке, и пошел к фургону. Шел он действительно с огромной надеждой: если Бим здесь, то он сейчас его увидит, приласкает, если же Бима нет, то, значит, он тоже жив, найдется.

— Бим, мой милый Бимка... Мальчик... Дурачок мой, Бимка,— шептал он, идя по двору.

И вот сторож распахнул дверь фургона.

Иван Иваныч отшатнулся и окаменел...

Бим лежал носом к двери. Губы и десна изодраны о рваные края жести. Ногти передних лап налились кровью.

Он царапался в последнюю дверь долго-долго. Царапался до последнего дыхания. И как мало он просил! Свободы и доверия — больше ничего.

Лохматка, забившись в угол, завыла.

Иван Иваныч положил руку на голову Бима — верного, преданного, любящего друга.

Запорхал редкий снежок. Две снежинки упали на нос Бима и... не растаяли.

...А тем временем Алеша и Толик, еще теснее сдружившись, шли по городу. Спрашивали они, спрашивали да и попали на тот ветеринарный участок, куда Толик когда-то водил Бима. Там они узнали у дежурного, что никаких собак тут нет и что если собака пропала, то ее надо искать прежде всего в карантинном участке, потому что там собаколовы.

Наши два мальчика были вовсе не теми, что могут написать адрес «На деревню дедушке». Потому они через час, не больше, спешили от автобусной остановки по пустырю на карантинный двор.

Навстречу им вышел из ворот Иван Иваныч. Увидев ребят, он заторопился, а подойдя, спросил:

— И вы сюда?

— Направили нас,— сказал Алеша.

— Здесь нет Бима? — спросил Толик.

—

— Не было его тут? — переспросил Алеша.

— Нет, мальчики... Бима тут нет... и не было.— Иван Иваныч старался скрыть тяжесть на душе и боль сердца; это в его состоянии оказалось очень и очень трудно.

И тогда Толик, приподняв густые черные бровки и собрав гармошку на лбу, сказал:

— Иван Иваныч... не обманывайте нас, пожалуйста.

— Бима здесь нет, мальчики,— повторил Иван Иваныч уже более твердо и уверенно.— Искать его надо. Искать.

Снег порошил.

Тихий снег.

Белый снег.

Холодный снег, прикрывающий землю до следующего, ежегодно повторяющегося начала жизни, до весны.

Седой как снег человек шел по белому пустырю. Рядом с ним, взявшись за руки, два мальчика шли искать своего общего друга. И у них была надежда.

И ложь бывает святой, как правда. Так умирающий человек, улыбаясь, говорит любимым: «Мне совсем стало хорошо». Так мать поет безнадежно больному ребенку веселую песенку и улыбается.

А жизнь идет. Идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние убило бы жизнь.

Весь день мальчики продолжали искать Бима. А вечером, уже в сумерках, Толик проводил Алешу на трамвае до «нашей» автобусной остановки.

— А это — мой папаня,— познакомил Толика Алеша.

Хрисан Андреевич подал Толику руку:

— Понятно: друга, стало быть, нашел. Ты что же, к Алеше в гости? Милости просим.

За Толика ответил Алеша:

— Он потом приедет. И я приеду... к Ивану Иванычу. Мы будем еще искать.

— Ну ладно. Добро. Дома расскажешь все чин чином, а сейчас — во-он он! — идет наш автобус.

Перед посадкой Алеша отдал папане пятнадцать рублей.

— Все целы. Не потребовались.

— Тоже понятно,— с грустинкой сказал отец.

Толик помахал вслед отъезжающему автобусу. Было и грустно расставаться с новым другом, и радостно оттого, что он есть. Теперь Толик будет жить еще и ожиданием встреч с Алешей. А ведь это Бим оставил такой четкий след на земле.

Дома Толик сказал папе уверенно:

— Бим где-то в городе. Обязательно найдем. Мы найдем.

— Кто это «мы»?

— Алеша, Иван Иваныч и я... Найдем, вот посмотришь.

— Кто — Алеша? Кто — Иван Иваныч? — спросила мама.

— Алеша — мальчик из деревни, отец у него — дядя Хрисан, а Иван Иваныч — не знаю кто... добрый он... хозяин Бима.

— А зачем же тебе Бим, если нашелся хозяин? — спросил папа.

Толик не мог ответить, он не понимал вопроса ввиду крайней его неожиданности и сложности.

— Не знаю,— тихо произнес он.

А поздно вечером, когда Толик спал и видел во сне, как Алешина корова лизала его шапку, папа и мама спорили в дальней комнате.

— Безнадзорный растет у тебя сын,— строго говорил папа.

— А ты где? — отпарировала мама.

— Я на службе.

— А я еще хуже, чем на службе. Ты ушел из дому, и все. А мне... мне одна чистота всю душу съела.

— Кто бы где ни служил — у него есть обязанности, которые он должен выполнять честно. Я говорю о другом: кто же будет воспитывать Толика? Ты или я? Или оба? Тогда нам надо найти общий язык.

— Наверно, не ты и не я.

— Кто же? — нажимал папа.

— Вся надежда на школу,— ответила мама уже более мирно.

— И улица? — давил папа.

— Хотя бы и улица. Чего в том? Все дети на улице.

— А честность, я спрашиваю, честность кто будет воспитывать? — повысил теперь голос папа.

— На́ вот, читай. Впрочем, я сама. Слушай.— Мама читала, вырывая отдельные фразы из газеты: — «Организованность, неусыпный надзор, строгий учет, взыскательность — вот чем воспитывается в людях честность»... «Честного человека надо поднимать на щит»... Слышишь: на щит! Да ну вас к лешему! — Мама упала на кушетку лицом вниз.

Папа уже не хотел углублять спор, он любил маму, и она его любила, а мирился он всегда первым. Да и долгие разногласия у них почти не бывали. И на этот раз он примирительно сказал:

— Что ж, придется разобраться. Попробую я найти Бима. Попробую. Хозяин нашелся, сюда Толик уже не притащит собаку, а если мы с тобой найдем ее, то наш авторитет возрастет в глазах Толика.

Нет, не те слова сказал он, что вертелись на уме, не те. В тот вечер Семен Петрович уже не был спокойным и уверенным: сын подрастал и шел мимо отца, а он, родной отец, не заметил этого в текучке. Семен Петрович думал. Семен Петрович вспоминал, как видел однажды у пивной на берегу реки юношу, еще безусого: тот стоял у стены, покачиваясь и путаясь ногами, и кричал, и плакал с надрывом... Жутко стало от такого воспоминания. Семен Петрович с ужасом представил у пивной своего Толика лет через пять, и от этого сдавило в груди. Он подошел к жене, сел около нее и спросил тихо, примирительно и для нее неожиданно:

— А может быть, купим Толику хорошую собачку?.. Или выпросим Бима у хозяина, а? Хорошо заплатим. Как думаешь ты?

— Ох, не знаю, Семен, не знаю. Давай купим, что ли.

Конечно, Семен Петрович не учел маленького обстоятельства, что дружба и доверие не покупаются и не продаются. Не знал он того, что Бима уже не найти, если бы он и захотел. Но Бим, наш добрый Бим, оставил след и в душе папы Толика. Может быть, это был укор совести. От нее никогда и никому не уйти, если она не похожа на идеально прямую хворостину: такую можно согнуть в дугу и, отпустивши по желанию, выпрямить, как вам угодно. Но Бим тревожил Семена Петровича и ночью.

А в ту ночь Бим лежал все еще там же, в фургоне, обитом жестью. Завтра же папа Толика организует

поиски Бима. Найдет ли он, постигнет ли тайну железного фургона, поймет ли всю силу и непобедимость стремлений Бима к свету и свободе, к дружбе и доверию?

Нет, этого не произошло по самой простой причине. Утром следующего дня, в понедельник, Иван Иваныч взял ружье в чехле и поехал на карантинный участок. Там встретился с теми двумя собаколовами, с горечью и болью узнал от них, что изловили они Бима около дома. Оба они возмущались той Теткой и ругали ее нещадно, обзывая всяческими словами. Тяжко было Ивану Иванычу оттого, что Бим пал жертвой предательства и наговора. Он не винил этих двух рабочих, исполняющих свою обязанность, хотя молодой парень, как видно, чувствовал себя виноватым, хотя бы уже потому, что поверил Тетке.

— Да если бы я знал...— Он не договорил и стукнул кулаком по капоту автофургона.— Вот и поверь такой гадюке.

Иван Иваныч попросил их отвезти Бима в лес и предложил за это пять рублей. Оба охотно согласились. Поехали втроем в кабине того же фургона.

На полянке, где перед каждой охотой Иван Иваныч садился на пенечек и слушал лес, на той полянке, где в тоскливом ожидании Бим терся мордой о палые листья, в нескольких метрах от того пенечка, зарыли Бима. А поверх засыпали легонько, тоненько, желтыми листьями, перемешанными со снежком.

Лес шумел ровно и негромко.

Иван Иваныч расчехлил ружье, вложил в него патроны и, как бы чуть подумав, выстрелил вверх.

Лес, из-за шума, глухо, без ропота, по-осеннему отозвался печальным эхом. Вдали оно замерло коротким, оборвавшимся стоном.

И еще раз выстрелил хозяин. И еще ждал, когда простонет лес.

Оба его спутника недоуменно смотрели на Ивана Иваныча. Но он, не сходя с места, заложил еще два патрона и так же размеренно, с абсолютно равными промежутками, определяемыми по замиранию звука вдали, выстрелил еще дважды. Затем зачехлил ружье и пошел к пенечку.

Старший спросил:

— Это к чему же — четыре-то раза?

— Так полагается,— ответил Иван Иваныч.— Сколько лет было собаке, столько раз и стрелять. Биму было... четыре года. Любой охотник в такие минуты снимет шапку и постоит молча.

— Ты смотри-ка! — тихо удивился молодой парень.— Как при напасти... как в беде...— Он отошел к фургону, сел в кабину и закрыл за собой дверцу.

Иван Иваныч присел на свой пенечек.

Лес шумел, шуме-ел, шуме-ел, однотонно, почти по-зимнему, шумел холодно, голо и неуютно. Снега было — всего чуть-чуть. Давно уже пора бы ему, а запоздал надолго. Может быть, потому и шум леса стал теперь ворчливо-нудным, сонливым, казалось, настолько безнадежным, что вроде бы и зимы не будет, и весны не будет.

Но вдруг Иван Иваныч ощутил в себе, в той пустоте, что осталась после потери последнего друга, теплоту. Не сразу он догадался, что это такое. А это были два мальчика, их привел к нему, сам того не ведая, Бим. И они опять придут, придут не раз.

Странным, очень странным показался Иван Иваныч двум простецким собаколовам, когда, садясь в кабину, он сказал как бы самому себе:

— Неправда. И весна обязательно будет. И будут подснежники... В России бывают и зимы, и весны. Вот она какая, наша Россия,— и зимы, и весны обязательно.

На обратном пути молодой парень неожиданно остановил автомобиль против небольшой деревни, неподалеку от шоссе, открыл дверь фургона и выпустил Лохматку.

— Не желаю. Не хочу! — воскликнул он.— Беги, собака, в деревню, спасайся,— там цела будешь.

— Что ты? Что ты?! Знают же — было две собаки,— крикнул из кабины старший.

— Одна покончилась, другая убежала — и весь сказ. Не хочу. Ничего не хочу. Не желаю. И весь сказ!

Лохматка отбежала от шоссе, села, в удивлении проводила взглядом фургон, потом осмотрелась и побежала сама по себе, побежала в деревню, к людям. Смышленая собачка.

Еще в лесу Иван Иваныч узнал, что молодого парня зовут Иваном и старшего — тоже Иваном. Все трое — Иваны, редчайшее совпадение. Это их сблизило еще больше, и расставались они добрыми знакомыми. А и всего-то между ними было только одно: втроем зарыли собаку, которая не вынесла собачьей тюрьмы. Бывает, люди сходятся в больших делах и расходятся, а бывает, сходятся в малых делах и надолго, на всю жизнь.

Когда Иван Иваныч вышел из кабины и подал обещанные пять рублей молодому Ивану, тот отстранил его руку и сказал те же самые слова:

— Не желаю. Не хочу. И весь сказ!

Стало окончательно ясно, что он считает себя тоже виноватым в гибели Бима; видимо, он испытывал укор мертвого. Что ж, укор мертвых — самый страшный укор, потому что от них не дождаться ни прощения, ни сожаления, ни жалости к сотворившему зло кающемуся грешнику. Но молодой Иван слишком уж близко принял к сердцу свою маленькую ошибку. И это делает ему честь. Вот и еще один след на земле доброй, преданной и верной собаки. Кстати, старший Иван не испытывал особых душевных неудобств — он взял пятерку из рук Ивана Иваныча и положил ее в боковой карман — с благодарностью. Обвинять его абсолютно не в чем: он получил договорную плату за труд, а ловя Бима, всего лишь исполнял свою обязанность.

...В тот же день Семен Петрович организовал поиски. Во-первых, в газете появилось объявление: «Пропала собака — сеттер, белый с черным ухом, кличка Бим, выдающегося ума ученая собака. Местонахождение просим сообщить за хорошее вознаграждение по адресу...»

Большой город заговорил о Биме. Трещали телефонные звонки, шли сочувственные письма читателей, сновали в поисках гонцы.

Так Бим прославился дважды: один раз при жизни — как бешеный, второй раз после смерти — как «выдающегося ума собака». В последней славе Бима заслуга Семена Петровича была несомненна.

Но следов Бима так-таки и не нашли, ни в течение всей зимы, ни после. Да и кто мог знать? Молодой Иван рассчитался с карантинного двора и, по понятным причинам, не откликнулся на объявление; Ивана-старшего

предупредил Иван Иваныч — чтобы ни гугу! А больше ни один человек не ведал, что Бим лежит в лесу, в свежей промерзшей земле, запорошенной снегом, и что его уже никто никогда не увидит.

Зима в тот год была суровой, с двумя черными буря-ми. После них белый снег в полях стал черным-черным. Но на той, знакомой нам полянке в лесу он оставался чистым и белым. Ее защитил лес.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ЛЕС ВЗДОХНУЛ

(Вместо послесловия)

И вновь пришла весна. Солнце выталкивало зиму вон. Она улепетывала, раскисшая, на полурастаявших и немощных ногах, а вслед за нею, помаленьку, но не отставая, прибавлялись и прибавлялись теплые дни, поджигали старуху пятнами, разрывали на грязно-белые клоки. Весна всегда безжалостна к умирающей зиме.

И вот ручьи уже успокоились, не торопятся, становятся все меньше и меньше, все тоньше и тоньше, а ночью почти совсем замирают. Весна пришла поздняя, ровная.

— Такая весна — к урожаю,— сказал Хрисан Андреевич на днях, когда ночевал с Алешей у Ивана Иваныча.

Скоро они выгонят овец на выпас, но Алеша теперь до самых каникул будет только «выпроваживать» с отцом стадо утром и «встревать» за селом вечером.

Алеша и один приезжал несколько раз. В такие дни они с Толиком неразлучны и вновь ищут Бима, милые мальчишки. Но однажды, когда все вместе пили чай у Ивана Иваныча, Хрисан Андреевич рассудил так:

— Раз уже в газетах пропечатали да не объявился, то, стало быть, его кто да нибудь увез далеко. Россия велика, матушка,— пойди найди. Ежели бы он загиб, то

обязательно кто-то заявил бы по объявлению: так, мол, и так — покончилась ваша собака, видал там-то и там-то. Главное дело — жив, вот в чем вопрос. Не каждый находит свою собаку. И тут, фактически, ничего не поделаешь.— Он понимающе переглянулся с Иваном Иванычем и добавил: — Так что искать его, ребята, бесполезно. Правильно я говорю, Иван Иваныч?

Тот согласился кивком головы.

С этого дня поиски прекратились. Осталась только память, и осталась она у мальчиков на всю жизнь, до конца дней. Может быть, через много-много лет они, наши мальчишки, расскажут своим детям про Бима. Ведь любой отец или дедушка, если у него был друг-собака, не преминет рассказать детям и внучатам о забавных или печальных историях, происшедших с нею. И тогда подростку захочется иметь с в о ю собаку.

Уходя, Хрисан Андреевич положил за пазуху месячного щенка овчарки — подарок Ивана Иваныча. Алеша был в восторге.

...В комнате забавляется со старым ботинком новый щенок, тоже — Бим, породистый, типичного окраса английский сеттер. Этого Иван Иваныч приобрел «на двоих» — себе и Толику.

Но старого друга он уже никогда не забудет. Не забыть ему охотничьих зорь, подаренных Бимом, не забыть его доброты и всепрощающей дружбы. Память о верном друге, о его печальной судьбе тревожила старого человека. Именно поэтому он и оказался на той самой полянке и сел на тот же пенечек. Осмотрелся. Он пришел послушать лес.

Был неимоверно тихий весенний день.

Небо густо забрызгало поляну подснежниками (капельки неба на земле!). Много раз в жизни Ивана Иваныча повторялось такое чудо. И вот оно пришло вновь, тихое, но могучее в своей истинной простоте и каждый раз удивительное в неповторимой новизне рождения жизни — весна.

Лес молчал, только-только пробуждаясь ото сна, окропленный небом и уже тревожимый теплыми солнечными зайчиками на блестящих и таких томительно-нежных язычках еще не развернувшихся листочков. Ивану Иванычу показалось, что сидит он в величественном храме с голубым полом, голубым куполом, с колоннами из живых дубов. Это было похоже на сон.

Но вдруг... Что бы это значило? По лесу прокатился короткий шум — глубокий вздох. Было очень похоже на вздох облегчения от того, что после длительного ожидания жизнь деревьев пробуждается вновь, уже обозначившись язычками распустившихся почек. Иначе почему же ветви шевельнулись, и вслед за этим засвиркала синица, а дятел бодро застрочил барабанной музыкальной дробью, призывая подругу, оповещая лес о начале любви? Он ведь одним из первых, как и вальдшнеп, подает сигнал к торжественной симфонии весны; но только вальдшнеп зовет тихо, в сумерках, осторожно, зовет сверху: «Хор-хор! Хор-хор!» — то есть хорошо-хорошо! А дятел, найдя свое сухое дуплецо на заветном суку, неистово, смело, решительно возвещает на первозданном инструменте радости: «Кр-р-р-р-р-р-р-р-р-расота!»

Ясно: потому и вздохнул лес облегченно, что чудо началось и наступило время исполнения надежды. И птицы откликнулись ему, могучему богатырю и спасителю. Иван Иваныч слышал это отчетливо. Ведь он и пришел сюда затем, чтобы послушать лес и его обитателей.

И он был бы счастлив, как и каждый год в такие часы, если бы на краю полянки не выделялось пятно — пустое, не заполненное голубым, обозначенное лишь свежей землей, смешанной с палыми прошлогодними листьями. Грустно смотреть на такое пятно весной, да еще в самом начале всеобщего ликования в природе.

Но зато снизу вверх добрыми, наивными, ласковыми и невинными глазенками смотрел на Ивана Иваныча новый Бим. Он уже успел покорить Толика, он так и начал жить — с доброты, маленький Бимка.

«Какова-то будет его судьба? — подумал Иван Иваныч.— Не надо, нет, не надо, чтобы у нового Бима, начинающего жизнь, повторилась судьба моего друга. Не хочу я этого. Не надо».

Иван Иваныч встал, выпрямился и почти вскрикнул:

— Не надо!

Лес коротким эхом повторил несколько раз: «Не надо... не надо... не надо...» И замолк.

А была весна.

И капли неба на земле.

И было тихо-тихо.

Так тихо, будто и нет нигде никакого зла.

Но... все-таки в лесу кто-то... выстрелил! Трижды выстрелил.

Кто? Зачем? В кого?

Может быть, злой человек ранил того красавца дятла и добивал его двумя зарядами... А может быть, кто-то из охотников зарыл собаку, и ей было три года...

«Нет, неспокойно и в этом голубом храме с колоннами из живых дубов» — так подумал Иван Иваныч, стоя с обнаженной белой головой и подняв взор к небу. И это было похоже на весеннюю молитву.

Лес молчал.

1971

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОХОР XVII И ДРУГИЕ. Из записок агронома

Никишка Болтушок 5
Гришка Хват 17
Игнат с балалайкой 36
Прохор семнадцатый, король жестянщиков 57
Прицепщик Терентий Петрович 95
Тугодум 115
Один день 133

У КРУТОГО ЯРА. Рассказы

У Крутого Яра 169
Соседи 199
Митрич 228

ПОВЕСТИ

В камышах 262
Белый Бим Черное ухо 413

Гавриил Николаевич ТРОЕПОЛЬСКИЙ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1982, 592 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» Ю. Алексеевой

Редактор Е. Бережная

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор В. Новикова

Корректор Н. Милосердова

●

Сдано в набор 14.04.82. Подписано в печать 16/VII-82 г. А 06161
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Латинская».
Печать высокая. Печ. л. 18,5. Усл. печ. л. 31,08. Уч-изд. л. 32,305.
Заказ 2-140. Тираж 240.000 экз.

Цена 2 руб. 30 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе. 310057, Харьков-57,
ул. Донец-Захаржевская, 6/8.

В 1982 году

издается 16 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книги 1-я, 2-я.

А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книги 2-я, 3-я.

В. Астафьев. Последний поклон. Повесть.

Г. Ахунов. Ядро ореха. Романы. Повесть. Перевод с татарского.

В. Бээкман. И сто смертей. Роман. Повесть. Перевод с эстонского.

Д. Гранин. Место для памятника. Повести.

С. Капутикян. Меридианы карты и души. Перевод с армянского.

В. Козько. Судный день. Повести. Перевод с белорусского.

Проза молодых. Сборник. К 60-летию образования СССР.

Т. Пулатов. Завсегдатай. Повести. Рассказы.

П. Сажин. Севастопольская хроника. Повесть.

З. Скуинь. Нагота. Романы. Перевод с латышского.

М. Слуцкис. На исходе дня. Роман. Перевод с литовского.

Г. Троепольский. Повести. Рассказы.

О. Чиладзе. И всякий, кто встретится со мной... Роман. Перевод с грузинского.

А. Якубов. Совесть. Романы. Перевод с узбекского.

В 1982 ГОДУ

В РОЗНИЧНОЙ СЕРИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЖУРНАЛУ «ДРУЖБА НАРОДОВ» «БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ»

выйдут:

Л. И. Брежнев. Малая земля. Возрождение. Целина. Воспоминания.

М. Горький. Дело Артамоновых. Фома Гордеев. Романы.

Б. Кербабаев. Небит-Даг. Роман.

Л. Леонов. Барсуки. Соть. Романы.

Ю. Смуул. Ледовая книга. Японское море, декабрь. Монологи.

Scan Kreyder - 30.01.2016
STERLITAMAK

2p-30k